

к 100-летию
со дня рождения
В.М.Глинки



ХРАНИТЕЛЬ

ХРАНИТЕЛЬ

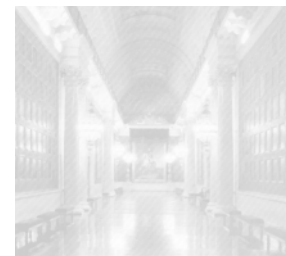


СТАТЬИ ПИСЬМА ПРОЗА

СТАТЬИ ПИСЬМА
ПРОЗА

APC

к 100-летию
со дня рождения
В.М.Глинки



ХРАНИТЕЛЬ
СТАТЬИ • ПИСЬМА • ПРОЗА



К 100-летию
со дня рождения В.М.Глинки

ХРАНИТЕЛЬ

СТАТЬИ • ПИСЬМА • ПРОЗА

Автор-составитель М.С.Глинка

Авторы идеи – Г.В.Вилинбахов, М.С.Глинка

- © В.М.Глинка, рассказы, 2003.
- © М.С.Глинка, составление, вступительная статья, комментарии, 2003.
- © Г.В.Вилинбахов, идея проекта, комментарии, 2003.
- © А.П.Виноградов, дизайн, 2003.
- © ООО «Издательство «АРС», 2003.

ISBN 5-900351-41-6

Владислав Михайлович Глинка был неким символом разных сторон Эрмитажа, в первую очередь, эрмитажной интеллигентности и учености. Кроме того, сама судьба Владислава Михайловича была символична, как судьба именно эрмитажная – в 1930-е годы он несколько лет путешествовал по разным музеям, сопровождая коллекции русской старины, пока, наконец, вместе с ними не пришел в Эрмитаж. И эти коллекции стали не просто гордостью Эрмитажа. Особенно важно, что русская история в том ее варианте, которым занимался Владислав Михайлович, – торжественном, парадном, военном – является характерной частью черт необыкновенного лица Эрмитажа: ни у одного музея нет той культурно-государственной значимости, которая есть у Эрмитажа. И роль, которую играл в Эрмитаже Владислав Михайлович, была олицетворением этой значимости.

Ну, а если говорить не об Эрмитаже, а о себе, то у нас всегда был праздник, когда Владислав Михайлович заходил к нам домой. Жили неподалеку, и когда он, гуляя, заходил к нам, – это всегда был праздник, притом не только для родителей, но и для нас, детей, потому что каждый раз даже просто видеть его было и величайшим удовольствием, и величайшей школой – я никогда больше не встречал людей столь элегантных и элегантно-умных, как Владислав Михайлович...

*М.Б.Пиотровский
директор Государственного Эрмитажа.*



Двадцатый век, начинался для России мировой славой русской литературы, триумфом дягилевских сезонов, появлением целой плеяды удивительных художников и композиторов. Европа знакомилась с глубинами религиозно-философской русской мысли. Русские ученые начали получать нобелевские премии. В России было завершено строительство самой длинной в мире железной дороги, российский рубль утвердился устойчивейшей валютой. Но этот самый двадцатый век, так блистательно начинавшийся, оказался, тем не менее, для всего того, что можно было бы назвать культурой России, веком смертельной опасности.

Гибель монархии, классовый переворот и несколько лет гражданской войны обернулись для России небывалым по масштабам исходом – за границу хлынули реки россиян, в первую очередь, представители привилегированных классов. Эмигрировало и огромное количество людей из того слоя, который представлял культурный костяк российского дореволюционного общества. Дальнейшие десятилетия целенаправленной политики новой власти довершили картину почти полного разрушения этого слоя. Одновременно с переворотом политическим в России произошел переворот и культурный. Новое государство, отрицая всякую преемственность, осуществило пересмотр ценностей буквально во всех областях.

Особенно пристальной ревизии подвергалось то, что хоть отчасти касалось идеологии – литература, искусство, а, более всего история. Корректировкой истории в России, конечно, занимались и раньше. Подгоняли “под себя” историю Иван Грозный и Борис Годунов, кое-что из того, что имело место в предыдущие царствования, приказывала считать иным Елизавета Петровна. Весьма существенно поправляла прошлое – например, картину отстранения ею от власти Петра Третьего – Екатерина Вторая. Однако дореволюционные примеры деформации прошлого в сравнении с тем, что стало нормой в советской исторической науке, выглядят сущей гомеопатией...

Эйфория некоторых деятелей искусства – Мейерхольда, Маяковского, Эйзенштейна, поначалу околдованных разрушением всяческих канонов, – просуществовала не слишком долго. Огромную страну, отколовшуюся от предыдущей истории, относил временем во все большую изоляцию от остального мира, особенно же от Европы, в тесном контакте с которой Россия была уже более трех веков. От этой изоляции съезживалась наука, костенели искусства, совершенно новые формы принимали отношения между человеком и государством, а также отношения людей между собой. Циклопические стройки на костях, противоестественная экономика, не удовлетворявшая потребности населения даже в самом необходимом, сквозная милитаризация и при этом абсолютная неподготовленность к войне, обернувшаяся миллионами жертв, – понятно, что стране, существовавшей в подобных категориях, потребна была и культура совершенно специфическая. Эпоха России как европейской страны скрылась за горизонтом, а если что и оставалось – например, здания дворцов да кое-где уцелевшие коробки церквей, – то на фронтонах дворцов уже красовались алебастровые эмблемы нового времени, а в церквях размещались склады химических удобрений или ремонтировались трактора.

Но ложь, особенно государственная, не может быть вечной, хотя бы потому, что она экономически невыгодна. Страна беднела, и ее правящий аппарат все больше скрипел. И по прошествии десятилетий однопартийное зазеркалье, хотя и постоянно огрызаясь, где слегка сторонилось, а где уже и устало махало рукой.

Потому что средний человек мгновенно отличал драматургию от пропаганды, безошибочно распознавал честные книги и фильмы, в том числе и на исторические темы, и норовил ходить в музеи, где можно было увидеть не только маузеры и кожаные куртки комиссаров гражданской войны... И в театрах со временем вновь появлялся и Островский, и Чехов, и даже Булгаков. И печатался не только Покровский, но и Ключевский, а потом уже и Соловьев. И начали издавать Бунину, хоть и не всего, а лет через пятнадцать после войны кинорежиссеры всю взяли за Достоевского.

И начала понемногу приоткрываться заграница. Зажурчал ручеек иностранных туристов, жаждущих увидеть эрмитажного Рембрандта. И вдруг даже тем, кому казалось, что новый тип государства предполагает и какой-то новый вид культуры, как-то само собой стало ясно, что никакой новой культуры не видно, а непреходящие ценности существуют. И понятно стало, что среди художественных коллекций, пострадавших от революционных реквизиций и последующих приказных распродаж, еще полно сокровищ мирового значения, и их надо беречь, а многое и спасать. И собрания уникальных предметов прошлого быта – мебели, одежды, посуды, картин, прикладного искусства, часто потерявшие имена своих изготовителей и хозяев – должны быть сохранены, и они ждут атрибуции. А еще стало ясно, что это бесценное наследство, созданное еще тогда, когда не было блюмингов и гидростанций, но тарелку или стул умели изготовить так, что они становились произведениями искусства, могут по-настоящему сберечь лишь очень немногие.

Впрочем, таких специалистов никогда и нигде не бывало в избытке.

В стране, где оборвать историю и начать все с чистого листа было задачей новой власти, таких людей не могло остаться много.

В Ленинграде же после гонений 1920-х, страшных 1930-х, блокадных 1940-х, специфических для Ленинграда 1950-х («Ленинградское дело») таких специалистов остались лишь единицы.

История – это мир событий, происшествий, действий, имевших место в прошлом. Но это же и мир отношений между людьми прошлого. Кроме того, это мир материальный, предметный. И то, и другое, и третье – тесно между собой связано, но для того, чтобы представить себе общую картину прошедших времен, мало его знать – прошлым надо жить...

Профессия человека, к которому можно обратиться за консультацией как к знатоку прошлого, не имеет, да и не может иметь четкого названия... Разве что – хранитель. Впрочем, должность того, о ком расскажет эта книга, в самом большом музее нашей страны так и именовалась.

Мне, автору этих строк, редко можно сказать, лотерейно повезло. В те сталинские десятилетия, когда в стране целенаправленно подвергалась разрушению сама материя не только исторической, но и семейной, особенно родовой памяти – главой нашей семьи был историк. Он был братом моего отца, а в 1942, после гибели отца на фронте, меня усыновил. Когда в других семьях уничтожали семейные фотографии и портреты, жгли письма и семейные записки, в нашей семье этого не делали. Наверно, дядя шел на сознательный риск, а может, просто не поднималась рука. Областью интересов дяди являлась история именно русская, в значительной степени военная, ее XIX век. Звали дядю Владиславом Михайловичем Глинкой. Был он главным хранителем в русском отделе Эрмитажа, и это он в нашей семье не дал разорваться времени.

Вотчиной дяди в Эрмитаже была Военная галерея 1812 года.

Объем того, что по профилю своей профессии – русская военная история – дядя знал, и не в чертах общих, а в собираемых десятками лет мельчайших подробностях, поражал даже самых дотошных специалистов. О чем бы он ни начинал рассказывать – о том ли, как сто лет назад напылялась на еще сырые гипсовые фигурки музейных солдатиков тонкая крошка нужного цвета сукна, о том

ли, что общего между обувью «Медного всадника» и шеголеватыми военными сапогами 1930-х годов, о том ли, как ему дважды случалось переодевать знаменитую «Восковую персону» – слушатели замирали. Бывало, сняв очки, он шурился на поднесенную к самому глазу фотографию. И невозможно было понять, как на черно-белом снимке он безошибочно распознает не только цвета, но даже оттенки кантов, околышей, орденских лент.

Дружба была для него делом святым. Расценив действия одного из знакомых, как донос на друга, он навсегда порвал отношения с этим человеком. Зарабатывая в музее гроши, он, обремененный собственной семьей, не только усыновил нас с сестрой, когда мы во время войны остались без родителей, но еще и ежемесячно отсылал в деревню деньги своей старухе-няне до самой ее смерти. В семье постоянно гостили приезжающие из других городов друзья, дети друзей, на месяцы, а то и навсегда поселялись брошенные собаки и кошки. То в ссылку троюродному брату, то каким-то подопечным в костромскую глушь, где семья была в эвакуации во время войны, слались посылки: еда, одежда, книги. Для того, чтобы тянуть этот все тяжелеющий воз, кроме службы в Эрмитаже, дядя непрестанно писал – ежевечерне и до глубокой ночи. После него остались научные книги – о галерее 1812 года, о пожаре Зимнего дворца, о способах атрибуции портретов неизвестных. Осталась и беллетристика, героями которой были реальные люди русского прошлого. Бестселлерами, возможно, из-за некоторого оттенка дидактичности эти книги никогда не были, но существовал твердый круг преданных читателей, поскольку из каждой книги можно было извлечь тысячи достовернейших сведений и деталей. Недаром, когда затеяли снимать в кино «Войну и мир», то выбор, кого назначить главным консультантом по историко-бытовым вопросам, пал на дядю, а незадолго до своей высылки из СССР Солженицын через общих знакомых тайно прислал ему на консультацию свой «Август 1914-го». У меня хранится копия листков с десятками дядиных, чуть было не сказал, замечаний. Нет, это были не замечания, а, скорее, пояснения человека, любимой работой которого в течение всей долгой жизни был разбор и анализ даже не событий и явлений, а волокон, молекул прошлого. Дядя разъяснял, или, точнее, показывал, как размышались в воинском эшелоне офицеры и как нижние чины; почему офицерам, попавшим в окружение в 1914 году, было бессмысленно надеяться сойти за нижних чинов, лишь сняв свои погоны и ордена; а также, что сломать о колено русскую шашку было невозможно.

Владислав Михайлович Глинка родился 6(19) февраля 1903 года в городе Старая Русса. Семья его отца была дворянской, служилой. Отец, Михаил Павлович Глинка, за четыре года до того окончил Военно-медицинскую академию. Впрочем, начиная с молодости с военной службы было в семье давней традицией дед Владислава служить на военном флоте, плывал на паро-парусных клиперах вместе с К.М.Станюковичем, прадед служил в гвардейских саперах, прапрадед – в драгунах. Может быть, отсюда, от сознания давности военного звания в своей семье, у будущего историка всю жизнь была такая приверженность к истории именно военной...

Старая Русса в начале XX века представляла собой очень своеобразный город. Центр его составлял курорт, солевые грязи которого пользовались громкой известностью не только из-за их целебности, но и потому, что находились они всего в двухстах верстах от столицы. Каждое лето в Старую Руссу наезжали тысячи людей из Петербурга и Москвы, и среди них – художники, артисты, ученые. Михаил Павлович Глинка пользовался в городе репутацией опытного врача, интересного собеседника, доброго, гостеприимного хозяина. В разные годы его пациентами были А.Г.Достоевская, художник Б.М.Кустодиев, известный путешественник П.К.Коз-

лов, академик Н.С.Курнаков, профессор В.П.Семенов-Тянь-Шанский, будущий маршал Ф.И.Толбухин, артисты театра Незлобина, приехавшего в Старую Руссу много сезонов подряд.

В 1919 году шестнадцатилетний Владислав Глинка уходит добровольцем в Красную армию. В таком шаге не было никакой идейной натяжки – оба деда были горячими сторонниками освобождения крестьян, гласного суда, уравнения всех сословий в правах и обязанностях, родители с раннего детства внушали своим сыновьям самые демократические идеалы, брат Владислава Сергей уже служил в Красной армии. Было, впрочем, и еще одно немаловажное обстоятельство. «Большое значение в моем детстве и отрочестве, – писал В.М.Глинка уже на склоне своей жизни, – сыграла няня Елизавета Матвеевна – крестьянка приильменской деревни Буреги, умершая в 1970 году за 90 лет от рода и похороненная рядом с моим отцом и бабушкой в Старой Руссе. Ее вера в высшее начало добра и справедливости, вековое крестьянское поклонение любому труду, своеобразные афоризмы и поговорки, сама деревенская очень выразительная речь вошли в меня вместе с ее заботами о здоровье, сне, физической и нравственной чистоте и прилежании в ученье. Впрочем, речь и идеология красноармейцев, в среду которых я вступил в 1919 году, были также очень мало тронуты городским налетом. Все эти, за малым исключением, недавние крестьяне думали и говорили очень близко к моей няне, хотя многие из них прошли войну с немцами и в различной форме участвовали в революции...».

Однако, война, которая идет, – это война гражданская, и как для Сергея с Владиславом естественно вступить в Красную армию, так для старшего их брата – Михаила столь же естественно было оказаться по другую сторону... Открытки от сыновей приходят в родительский дом с противоположных фронтов (поразительно, но почта работает и в таких условиях!). Михаил (он на пять лет старше Владислава), недавний студент-медик, служит на санитарном поезде в тылу белой армии, Владислав попадает с красными на Южный фронт, где идет борьба с Деникиным. Правда, ни одному, ни другому брату оружия применить не приходится. В начале ноября 1920 года, за несколько дней до знаменитого штурма Перекопа врачебный персонал санитарного поезда, стоящего в ближнем врангелевском тылу, перебит ворвавшимися ночью неопознанными вооруженными людьми. Михаил убит от удара штыком в живот. Кто эти ночные убийцы? За что перебили врачей? Ответ один – гражданская война... В феврале 1921 года курсантов Петроградской кавалерийской школы, в которой учатся Сергей и Владислав, отправляют на подавление мятежного Кронштадта, но Бог милостив – стрелять в соотечественников им не выпало. Кронштадт подавлен, и с полдороги кавшкочу отправляют обратно в казармы.

После окончания войны Владислав уходит из армии в запас. Затем недолгое посещение Старой Руссы, однако после фронтов юноше уже тесно в провинциальном городе, манит Петроград. Надо получать образование. Но родной провинциальный город продолжает притягивать к себе, и женой 23-летнего Владислава становится, хотя и петроградская студентка, но уроженка Старой Руссы – Лида Павлова... Совместной их жизни, однако, не суждено быть долгой – тиф, наследие гражданской войны, еще гуляет по стране, и Лидия умирает через несколько месяцев после свадьбы... Этот удар судьбы – и случайный, и неслучайный. Что-то в жизни Владислава Глинки не только не ладится, но явно идет не по той дороге, к которой лежит душа. Он учится на юридическом факультете, сдает какие-то зачеты, что-то механически штудирует, равнодушно переходит с курса на курс, но все это происходит словно не совсем с ним. К 1927 году В.М.Глинка оканчивает Ленинградский университет, получает диплом юриста, но с тем же остраненным равнодушием, с каким учился юридическим наукам, он теперь смотрит на перспективы юридической практики.

И, вдруг, будто что-то вспомнив в себе, круто меняет судьбу.

История. Музейное дело. Вот что, оказывается, уже давно влечет его. Ведь уже много лет он буквально вливается в мемуары и исторические сочинения, именно эта область, этот род знаний влечет его, сразу оживляя воображение, язык, память, чувства. Но хотя он и начитан, и история, особенно русская, и особенно военная, уже не неведомая страна, а давно его родной дом, но формального-то права претендовать на место в учреждении, занятом хранением истории, у него нет... Профиль диплома не тот. И Владислав начинает с самого низа – поступает дежурным в экспозиционный зал в музей Революции. Зал, в котором ему надлежит начинать свой долгий путь, посвящен декабристам.

В самом конце 1920-х В.М.Глинка становится экскурсоводом, а затем и научным сотрудником во дворцах-музеях. Петергоф, аракчеевское Грузино, Царское Село, Фонтанный дом Шереметевых, Русский музей, Эрмитаж – вот многочисленные места службы В.М.Глинки в 1927–1941 годах. Можно добавить еще, что начиная с 1932 года, В.М.Глинка “путешествует” вместе с огромной коллекцией предметов русской старины, которая весной 1941 года “осела”, наконец, в Эрмитаже. По существу же это “путешествие” вместе с Русской Историей. И.А.Орбели, Е.В.Тарле, В.Ф.Левинсон-Лессинг, С.Н.Тройнишкий, М.В.Доброклонский – вот те люди, рядом с которыми В.М.Глинка теперь работает изо дня в день. Пока еще он только внимает, впитывает, копит. Возможно, это напоминает ему отчасти его роль молчаливого слушателя, когда в детстве появлялись на отцовской веранде А.Г.Достоевская, художник Кустодиев или профессор Тянь-Шанский. Наступают годы скрупулезного, неустанного, ежедневного труда в музейных фондах, кладох, библиотеках, архивах. «Около трех лет, – писал В.М.Глинка в письме к академику Д.С.Лихачеву в 1970-х годах, – я работал научным сотрудником Центрального исторического архива (в бывшем Сенате), заведуя фондами министерства двора и уделов... Пишу здесь об этом потому, что возня с документами тоже дала мне кое-что как писателю, – дух и стиль времени в росчерках гусиных перьев, в следах песка на коричневых строках... А главное, ясные очертания социальной системы от Павла I до 1917 года, и вереницы чиновных людей – лжецов, льстецов, лицемеров и казнокрадов, работавших рядом с трудолюбивыми и честными, сберегавшими казну каждую копейку. За документами вставали живые люди; каждый со своим характером, биографией, уровнем образованности, кругозором... там есть не главы, а романы, несмотря на казалось бы чисто экономическую тематику заглавия».

К концу 1930-х годов имя В.М.Глинки становится в одном ряду с именами самых знающих музейных работников Ленинграда. В.М.Глинку начинают приглашать для историко-бытовой консультации. Оказывается, в таких консультациях нуждаются люди множества профессий.

В них, конечно же, нуждаются сценаристы и драматурги, режиссеры театра и кино – этим надо знать, какими могли или не могли быть отношения между людьми сто и двести лет назад, как могли или категорически не могли они между собой говорить, каковы бывали манеры, нравы, возможные привычки, обычаи, что могло считаться любезностью, а что дерзостью, что почиталось обычным, а что совершенно невозможным...

В таких консультациях нуждаются художники, иллюстраторы книг, скульпторы, театральные костюмеры и специалисты по реквизиту – этим необходимо знать в мельчайших деталях, как выглядели и как носились те или иные мундиры, ленты, ордена, аксельбанты, прически, зонтики, трости, ямщицкие кушаки, ночные чепцы, нижние юбки, онучи, оружие; какие были экипажи, детали упряжи, поддужные колокольчики, дорожные погребцы, мостовые, кузнечные меха, дворцовая посуда, шипцы для снятия нагара, донышко цилиндра, женское седло...

В них нуждаются и сами музейщики, а также и искусствоведы... Казалось бы, этим-то что? Но вот частный пример необходимости в помощи особого специалиста – распознавание портретов неизвестных. Специфичность подобного рода зада-

чи для особенностей нашего времени заключается в том, что таких портретов необыкновенно много именно по той причине, что страна испытала страшный разрыв исторической судьбы с изгнанием из своих пределов миллионов граждан, истории семей которых также были разорваны. В экспозициях больших и малых музеев, куда попадали портреты из реквизированных домов и усадеб, в музейных запасниках, где портреты десятилетиями стояли стопками, как бы все далее уходя в нераспознаваемость, этот жанр живописи напоминал уходящую под воду Атлантиду. Если уже пятьдесят лет назад не удалось определить, кто изображен на портрете, если не удастся сделать этого и сейчас, то кто сможет это сделать после нас? Тут мало быть просто музейщиком...

К 1930-м годам относится дружеское сближение Владислава Михайловича с драматургом Е.Л.Шварцем, режиссером Н.П.Акимовым, историком Л.А.Раковым – будущим основателем Музея обороны Ленинграда, а затем и директором Публичной библиотеки.

Начиная с конца тридцатых годов в ленинградских журналах появляется проза В.М.Глинки. Пока это небольшие рассказы и очерки из военного прошлого России. Публикация этих очерков продолжается в осажденном городе. Журналы «Костер», «Звезда», «Ленинград» помещают очерки В.М.Глинки о Суворове, Кутузове, Денисе Давыдове.

Всю блокаду В.М.Глинка, не взятый в действующую армию из-за болезни сосудов ног, проводит в Ленинграде, в самые страшные месяцы 1942 года работая санитаром в эвакогоспитале, затем до 1944 года сохраняя коллекции музея Института русской литературы. В 1944 году он окончательно переходит в Государственный Эрмитаж, где становится главным хранителем Отдела истории русской культуры.

Центром и сердцем этого отдела в Эрмитаже является Военная галерея, со стен которой на посетителя смотрит, кажется, сам 1812 год. Книга В.М.Глинки «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» вышла в 1949 году в издательстве Государственного Эрмитажа. По поводу нее известный историк академик Е.В.Тарле так писал директору Эрмитажа И.А.Орбели: «Дорогой Иосиф Абгарович! Какую прекрасную, прекрасную, прекрасную книгу Вы издали!...» Но к этому письму мы впоследствии еще вернемся.

Многие годы Владислав Михайлович Глинка может писать лишь вечерами и ночами. Во время войны, как уже говорилось, им и его женой (Владислав Михайлович женился в 1931 году на Марианне Евгеньевне) усыновлены малолетние дети погибшего на войне брата Сергея (один из них – автор этих строк), – денег постоянно не хватает, и потому нельзя даже помыслить изменить твердой службе: В.М.Глинка работает в музее, и как работник музея он весь рабочий день должен участвовать в инвентаризации экспонатов, разборке архивов, подготовке научных сообщений. Однако ни научный, ни научно-популярный жанр вскоре уже не могут удовлетворить историка. Его влечет художественная, свободная ткань повествования. Разведанный в архивах пунктир интересной человеческой судьбы, штрихи жизни, отразившиеся в немногих строках тех самых, написанных гусиными перьями казенных бумаг, беглое упоминание в чьих-нибудь мемуарах требуют затем огромной работы по реконструкции вероятных событий... Только художественное произведение – рассказ, повесть, роман – может дать достаточную свободу для того, чтобы из ушедшего в небытие прошлого возродились дышащие, живые фигуры. Так, из небольшой гравюры, изображавшей офицера с боевыми орденами на мундире и прислонившего к плечу костыли, и из найденного через много лет после гравюры чертежа протеза ампутированной ноги, сконструированного изобретателем И.П.Кулибиным, родилась книга. Имя, стоявшее под изображением на гравюре, и имя того, для кого сконструировал искусственную ногу Кулибин, совпадали. На поиски подробностей жизни офицера ушли годы, но затем появилась «Повесть о Сергее Непейшине», а за ней и продолжение – повесть «Дорогой чести».

«Домик магистра», «Старосольская повесть», «Жизнь Лаврентия Серякова», «История унтера Иванова», «Судьба дворцового гренадера» – все эти книги являются образцом точности автора во всем, что касается истории, деталей прошлого, ушедшего навсегда быта. Но кому нужны такие скрупулезные, такие неподкупные строгость и точность? Так ли уж они обязательны? Ответ на это дают люди, связанные с необходимостью воссоздавать атмосферу ушедших времен. В послевоенные годы еще более упрочился авторитет Владислава Михайловича Глинки как консультанта по историко-бытовым вопросам. Когда ставился спектакль или снималась картина, действие которых происходило в российском прошлом, Н.П.Акимов, Г.М.Козинцев, С.Ф.Бондарчук, Г.А.Товстоногов, И.Е.Хейфиц приглашали В.М.Глинку для участия в работе над своими постановками. 34 театральных спектакля и 19 кинокартин проконсультировано историком за послевоенные годы, в том числе и киноэпопея «Война и мир». Но так же, как работу в музеях, Владислав Михайлович всегда стремился дополнить трудом писательским, так и труд романиста он до самого конца жизни подкреплял чисто научной работой. На восьмидесятом, последнем году своей жизни он готовил к изданию обширный труд о русских военных формах, он заинтересованно рецензировал присылаемые ему из издательств на отзыв рукописи, принимал участие в горячих полемиках в излюбленной своей области – распознавании неизвестных лиц на старых портретах. Историк А.Г.Тартаковский, сам глубокий знаток быта и истории старой России, предварял одну из подобных работ такими словами: «На чем же покоился свойственный В.М.Глинке дар “прочтения” портретов неизвестных лиц? В немалой мере, естественно, – на незаурядной искусствоведческой эрудиции, но более всего – на глубочайшем знании быта эпохи в его вещно-материализованных проявлениях... Особенно впечатляли познания в области военного быта и военной истории – здесь он был энциклопедистом, и здесь, пожалуй, ему не было равных. Обмундирование множества полков различных родов войск, оружие, ордена всех степеней и иные знаки отличия – русские и иностранные, правила их ношения, прически, чины, звания (не только военные, но гражданские и придворные) – все это входило в сферу пристального и, можно сказать, стереоскопического внимания В.М.Глинки. Он опирался, однако, не на какие-либо отдельные из этих признаков, а на всю их систему... Тщательно учитывалась и сложная эволюция элементов форменной одежды и наградных знаков, мельчайшие, трудноуловимые изменения в их реальном бытовании. При таком всеохватывающем, синтетическом взгляде не только наличие определенных признаков, но и – как это ни парадоксально – отсутствие хотя бы одного из них, особенно типичного для эпохи, оказывалось порой достаточным для атрибуции».

Дядя вел огромную переписку, писем остались ящики. С 1970-х начали приходить письма и из-за границы. Тем, кто интересуется русской военной формой, несомненно, известны имена Евгения Молло (Лондон), Георгия Иванова, который изготавливал в Стокгольме целые дивизии оловянных солдатиков в формах российской гвардии, жившего в предместьях Парижа В.В.Звегинцева, оставившего толстые папки скрупулезнейших рисунков форменной одежды и справочных данных о русской армии...

Владислав Михайлович написал за свою жизнь, вероятно, много тысяч писем. Сколько в этих письмах было дано советов по поиску той или иной исторической подробности, того или иного персонажа российской истории! Сколько особенно редких сведений, дано подсказок! И почти все эти письма писались от руки (его красивейшим, но совершенно кошмарным, если говорить о разборчивости, почерком), и почти все, к великому сожалению, – без оставления у себя копий. Лишь некоторые из них он надиктовывал жене, а она печатала на машинке, подкладывая под копирующую вторую листок. Это были особые письма, и теперь, расположив их копии, одну за другой, я пытаюсь определить, чем эти немногие

объединены. Вот письмо троюродному брату в ссылку – со сведениями об общих предках. Письмо Д.А.Гранину с деталями воспоминаний о разрушениях в освобожденной от немцев Старой Руссе. Письмо В.П.Катаеву с указанием несоответствий историческим реалиям в его повести «Кладбище в Скулянах». Вот копия письма А.И.Солженицыну и копия перечня тех мест в рукописи «Августа 1914-го», которые, по мнению В.М.Глинки, можно было бы уточнить. Общее письмо, подписанное Владиславом Михайловичем, совместно с двумя историками, с критикой версии о том, что на Дантесе во время дуэли могла быть защитная кольчуга...

Что в этих письмах общего? Вероятно, лишь то, что каждое из них написано с каким-то особым волнением. Обсуждаемым обстоятельством каждого из них является переплетение волокон большой, общей российской истории с волокнами чисто личными, – а для дяди личным было многое: и история его предков, и история любимой Старой Руссы, и тонкости мундироведения, и вопросы чести (да, Дантес негодяй, но клеветать нельзя и на негодяя!)... А еще дядя, видимо, считал, что именно за те строки, которые написаны им с особым волнением и чувством, он отвечает вдвойне, отвечает за каждое слово, и копией такого текста как бы дополнительно контролировал самого себя...

Категорически не принимая многого в новом порядке вещей, дядя при этом никогда не смотрел ни на кого свысока, и, бывало, одним своим присутствием вдруг, будто людей расколдовывал. Сотрудник музея-квартиры Пушкина уже через много лет после смерти дяди сказал мне, что когда женщины в музей видели в окна, выходящие во двор, что по двору идет со своей тросточкой Владислав Михайлович, они все, как по команде, бежали, розовея и прихорашиваясь, мыть руки – известно было, что дядя всем дамам, независимо от их служебного положения, говорит при встрече что-нибудь приятное и целует ручки.

Историк. Музейщик. Писатель... Казалось бы, достаточно уже самих названий этих профессий, чтобы определить место человека в нашей культуре, но если говорить о В.М.Глинке, то слов этих явно не хватает. Владислав Михайлович был, несомненно, к тому же не только хранителем, но и реставратором человеческих образов. Стершиеся за их неброскостью достойные имена, забытые историей трагические судьбы, искверканные конъюнктурным политическим враньем крупные фигуры прошлого, герои, могилы которых затоптали сапожищами потомки, – вот то реставрационное поле искусствоведческой и литературной деятельности, на котором неустанно до самого последнего дня он работал. В.М.Глинке было свойственно еще одно, может быть, самое главное и ценное качество насыщенного редкостными знаниями специалиста – дар щедрой, бескорыстной, радостной их отдачи. И художники, писатели, артисты, режиссеры, музейные работники, наконец, просто читатели (знакомые и незнакомые), которым хотелось что-либо из прошлого узнать или уточнить, многие десятки лет писали, звонили, приходили к Владиславу Михайловичу Глинке. Число людей, которые пользовались его знаниями, как пользуются справочниками, книгами, архивами – огромно. Однако справки эти никогда не были сухими. Получавший их всегда и очень точно знал, как сам Владислав Михайлович относится к тому, что сообщает. Получая сведения об ордене на каком-либо портрете, интересующийся узнавал не только об ордене, но и о награжденном. Человеческое величие и низость, корыстолюбие и честь, лживость и достоинство, ложь и правда – вот те полюса нравственного магнита, в которые заключал Владислав Михайлович любую из своих бесчисленных исторических справок...

Владислава Михайловича уже не было, а письма с вопросами, благодарностями, просьбами все шли и шли на его имя: Как найти? Куда обратиться? Где узнать?..

М.Глинка

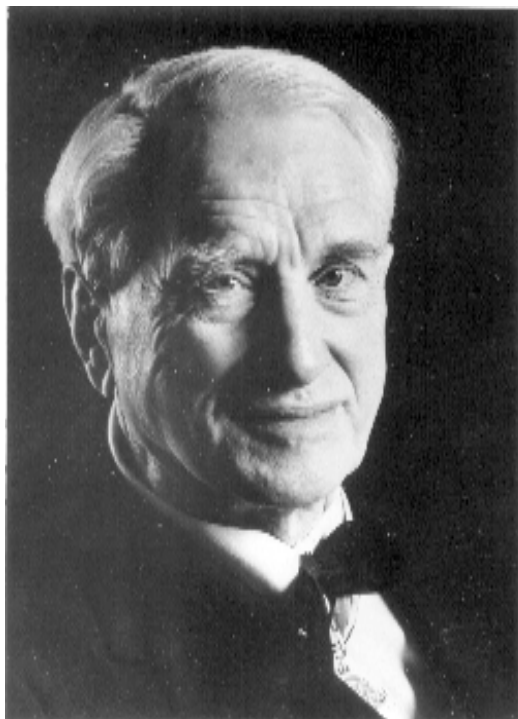
АДРЕС – РУССКАЯ ИСТОРИЯ



Историк и писатель Владислав Михайлович Глинка, один из лучших знатоков жизни и быта России XIX века, долгие годы работал в Государственном Эрмитаже. Про В.М.Глинку среди музейщиков рассказывали легенды. Говорили, что на старых черно-белых фотографиях он легко распознает цвета, в съемочной группе «Войны и мира» (Глинка консультировал съемки) утверждали, что он знает на память скрип рессор и колес всех типов старых экипажей, а знатокам портретной живописи известно, что методикой определения неизвестных лиц на старых портретах, разработанной В.М.Глинкой, –

когда по отрывочным и косвенным признакам путем сопоставления удается определить, казалось бы, безвозвратно утраченные имена портретируемых – сейчас сплошь и рядом пользуются музейные работники более молодых поколений.

В.М.Глинка написал несколько искусствоведческих и научно-популярных книг, а также целый ряд исторических повестей и романов, являющихся примером глубокого психологического осмысления того архивного и музейного материала, которым писатель занимался всю свою жизнь. Художественная проза В.М.Глинки обычно брала свое начало именно



в архивах, и потому центральными фигурами его романов часто становились реально существовавшие люди...

...Из всех тем, которыми он занимался (а их было много: суворовские походы, 1812 год, аракчеевские военные поселения, солдатский быт времен Александра I и Николая I, декабристы), главной темой писателя-историка остается Отечественная война 1812 года. К ней, как к средоточию всего наиболее привлекавшего его в истории России XIX века, В.М.Глинка возвращался во все годы своего творчества. Взгляд на эту войну под тем или иным углом, прохождение тех или иных исторических лиц или вымышленных персонажей сквозь события 1812 года, влияние этой войны на русское общество – пути решения темы меняются, круг вопросов остается. Книга «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» находится в том же кругу. Историко-патриотическая тема, столь близкая каждому из нас, здесь сплетена с другой вечной темой русской культуры XIX века – с пушкинистикой, то есть целым направлением, которое ныне включает в себя не только историю, литературу и критику, но множественные исследования в самых разных областях. Среди тем – «Пушкин и театр», «Пушкин и музыка», «Друзья Пушкина», «Пушкинский Петербург» – тема «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» занимает полноправное место, поскольку в более многословном заглавии она могла быть обозначена как целый ряд экскурсов: «Пушкин и 1812 год», «Пушкин и его южная ссылка», «Пушкин и декабристы», «Генералы-друзья и генералы-враги» и т.д.

Кроме того следа, который оставил в жизни Пушкина каждый из тех конкретных людей, кому посвящены главы книги, на жизнь великого поэта, несомненно, повлияли и его отношения с Зимним дворцом, как с некоей собирательной «личностью». Зимний дворец привлекал и отталкивал Пушкина, от Зимнего дворца зависела издательская судьба его произведений, в Зимнем дворце блистала Наталья Николаевна... Наконец, Зимний дворец был главным зданием «военной столицы». Интерьеры огромного дворца, сохранились они в том виде, который был у них в первой трети XIX века, могли бы стать еще одной иллюстрацией к пушкинскому Петербургу. Но страшный пожар в декабре 1837 года уничтожил эти интерьеры. Примечательно, что именно Военная галерея (откуда, правда, успели вынести все портреты) была первым из помещений, погибших в огне. Пожар дворца, случившийся в год смерти поэта, не только символически, но и вполне реально завершил страницу жизни дворца, связанную с Пушкиным.

*Академик Б.Б.ПИОТРОВСКИЙ,
директор Государственного Эрмитажа в 1964–1990 гг. (из предисловия ко второму изданию книги В.М.Глинки «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца»).*

В.М.Глинка

ПОЖАР ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Вечером 17 декабря 1837 г. в Зимнем дворце начался грандиозный пожар, длившийся более тридцати часов. Он уничтожил все, что могло гореть во втором и третьем этажах огромного здания.

Невозвратимой утратой явилась гибель в пламени архитектурно-декоративного убранства помещений, отделанных выдающимися зодчими.

Пожар Зимнего дворца, как отмечали современники, помимо значительных художественных и материальных ценностей, уничтожил исторический памятник, неразрывно связанный с различными событиями русской жизни второй половины XVIII–первой трети XIX в.

С гибелью дворца как бы потускнели и те исторические воспоминания, которые были связаны с Зимним дворцом. Ведь в его залах, галереях и жилых комнатах не раз звучали голоса М.В.Ломоносова, А.Н.Радищева, Г.Р.Державина, Н.М.Карамзина, В.А.Жуковского, П.А.Румянцева, А.В.Суворова, М.И.Кутузова. Сюда приезжали запыленные курьеры с депешами о победах при Кагуле и Рымнике, о Бородинском сражении и об

Пожар Зимнего дворца 1837.
(Вид с площади). Рисунок
Б.Грина. 1838



изгнании французов из России. Сюда же вечером 14 декабря 1825 г. приводили на допрос арестованных декабристов. Здесь получал указания царя в последний раз уезжавший в Персию посол А.С.Грибоедов, сюда, на дворцовые приемы, обязан был являться как камер-юнкер двора А.С.Пушкин.

Пожару посвящено немало описаний очевидцев. Но почти все они освещают чрезвычайно узкий круг вопросов с одних и тех же верноподданических позиций.

Знакомясь с этими источниками, можно составить представление о пожаре. Уже за два дня до катастрофы из отдушины отопления в Фельдмаршальском зале, близ выхода в Министерский коридор, был периодически «слышен дымный запах», который приписывали неисправности дымохода. Этот запах ощущался особенно отчетливо днем 17 декабря, затем он исчез и появился вновь только в начале 8-го часа вечера. Струйки дыма, показавшиеся вскоре из отдушины в зале и в соседней комнате дежурного флигель-адъютанта, встревожили дежурную прислугу. Во дворце началась тревога. Наряд пожарной роты обследовал отдушину, чердак над нею и дымовую трубу на крыше, обильно залив все водой из брандспойтов. В то же время несколько пожарных спустились в подвал, где, казалось, и обнаружили причину появления дыма. Отдушина в Фельдмаршальском зале, как и печь во флигель-адъютантской комнате, по предположению пожарных офицеров, сообщалась со стояком, в котором сходилась несколько дымоходов, в том числе главный – от очага аптечной дворцовой лаборатории. Дворцовая аптека помещалась в первом этаже, под Министерским коридором, а лаборатория еще ниже, в подвале, под флигель-адъютантской комнатой. Здесь-то в кладке трубы, над аптечным очагом, где варились лекарства, было проделано отверстие, сквозь которое по окончании топки, естественно, вытягивало из помещения и все тепло. Поэтому постоянно ночевавшие в аптечной лаборатории «мужики-дровоносы» затыкали отверстие рогожей. Эту-то тлеющую, дымящуюся рогожу извлекли из отверстия и залили водой. Но прошло всего несколько минут, и дым повалил в Фельдмаршальский зал с новой силой, а когда пожарные приступили к вскрытию паркета близ отдушины, то при первом же ударе ломом на них рухнула ближайшая к Министерскому коридору фальшивая зеркальная дверь, и за нею вдруг вспыхнуло и разлилось во всю высоту открывшегося пространства яркое пламя. Тотчас оно появилось и выше, на хорах, в соседнем Петровском тронном зале. Попытки залить пламя из пожарных труб ни к чему не привели. Одна за другой падали с хоров обгоревшие части балюстрады, уже горели деревянные позолоченные люстры, огонь пожирал деревянные крепления ниши Петровского зала, а главное, уже перешел на балки чердачных перекрытий.

Приехавший из театра Николай I приказал разбить окна на хорах Фельдмаршальского зала, так как помещение уже наполнилось дымом. С притоком свежего воздуха огонь еще яростнее рванулся в двух направлениях: из Петровского к Гербовому залу, к Галерее 1812 года и церкви и в другую сторону – к Невской анфиладе, угрожая расположенным за нею личным комнатам царской семьи. Сухие вошенные паркетные, окрашенная масляной краской или золоченая по левкасу резьба наличников и светильников, холсты живописных плафонов и, наконец, целый лес чердачных строил не могли уже быть потушены силами двух рот дворцовых пожарных и нескольких городских пожарных частей, прибывших им на помощь.

Только теперь выяснилось, что на чердаках дворца нет ни одного брандмауэра. Чтобы преградить огню доступ к личным комнатам царской семьи, солдаты начали носить кирпичи со двора по церковной лестнице и возводить глухие стены в Концертном зале и на чердаке над ним. Но пламя бежало одновременно по стенам, полам, потолкам, по чердаку, охватывая все новые участки. Скоро работа солдат стала бессмысленной; стены поднимались слишком медленно, а огонь уже подступал к Концертному залу. Оставалось только спасать то, что могли поднять люди. В различных частях обреченного на гибель здания в эту работу включились

рота дворцовых гренадеров и дежурные батальоны гвардейских пехотных полков. Как рассказывает участник события Колокольцов, эти батальоны, вызванные по тревоге, более часа простояли перед дворцом на площади в полном бездействии, ожидая распоряжений растерявшегося начальства, и появились в здании только тогда, когда пламя вспыхнуло над дворцом ослепительно ярким заревом.

В то же время гвардейцам было приказано образовать сплошную цепь вокруг горящего здания, не пропуская к нему никого из непрерывно сгушавшейся толпы. Солдат расставили так, чтобы между ними и дворцом оставались Дворцовая площадь и Адмиралтейский проезд. Это пространство предназначалось теперь для размещения выносимого из дворца имущества. Скоро на затоптанном снегу выросли беспорядочные груды всевозможных предметов. Мебель, посуда, мраморные статуи, каменные и фарфоровые вазы, хрусталь, картины, ковры, драпировки, сундуки, белье и одежда, книги и альбомы, туалетные и письменные принадлежности, бронзовые часы, люстры и канделябры – роскошное и ценное имущество царского жилища причудливо перемешалось со скарбом лакеев, поваров, трубочистов, ламповщиков, дровоносов и других чердачных, подвальных, угловых жильцов дворца (по свидетельству современников, в 1837 г. во дворце жило не менее трех тысяч человек).

Очевидцы рассказывают: в эту ночь зарево было так велико, что за 50–70 верст от столицы его видели путники на дорогах и крестьяне окрестных деревень.

К 6 часам утра пламя охватило уже весь дворец, и борьба с ним продолжалась только с той стороны, где находился Эрмитаж. Оба существовавшие в то время перехода в музей были разобраны, дверные проемы наглухо заложены кирпичом так же, как и обращенные к дворцу окна конюшни и манежа. Все средства борьбы с пожаром были сосредоточены теперь на этом участке. Созданную таким образом глухую стену, за которой находились сокровища Эрмитажа, непрерывно поливали из брандспойтов. Другие пожарные трубы ослабляли огонь в помещениях дворца, обращенных в сторону музея. Обожженные, измученные пожарники руководили также добровольцами – «трубниками» из горожан и, главным образом, из гвардейских солдат. Солдаты были основной силой, качавшей ручные помпы, которые подавали воду из бочек, беспрерывно подвозимых от прорубей на Неве и Мойке. К рассвету хмурого декабрьского дня появилась надежда, что Эрмитаж удастся отстоять.

За раскаленными массивными стенами дворца то замирало и падало, то вновь вспыхивало пламя. На прилегающих площадях, охраняемых сменявшейся два раза в сутки цепью солдат, сновали люди, осматривая, сортируя, разнося на руках и развозя на лошадях по временным хранилищам спасенные от огня вещи.

Не затронутым в официальных сообщениях и весьма скудно освещенным в воспоминаниях современников является вопрос о причине пожара. Касаясь этой темы, авторы мемуаров чаще всего указывают на неисправность дымохода, пролежавшего между Фельдмаршальским и Петровским залами, и на горящую рогожу, которая зажгла сажу в трубе. Лишь вскользь отдельные авторы упоминают о некоей деревянной перегородке, возведенной при строительстве Фельдмаршальского зала за несколько лет до катастрофы и загоревшейся оттого, что она находилась слишком близко к дымоходу.

Архивное дело под заголовком «О пожаре в Зимнем дворце, исследовании причин оно и размещении разных лиц и должностей», начатое на другой же день после возникновения пожара, дает возможность до мельчайших подробностей проследить все стадии специального следствия, проводившегося весьма тщательно, но несколько своеобразно.

20 декабря были допрошены флигель-адъютанты, дежурившие 15–17 декабря. Их служебное помещение находилось в начале Министерского коридора, совсем рядом с местом, где вспыхнул пожар. Затем давали показания находившиеся

во дворце в те же дни начальники конногвардейского караула, располагавшегося в Фельдмаршальском зале. После них комиссия допрашивала дворцового печника. Он засвидетельствовал, что в августе заново перекалывал очаг в дворцовой аптекарской лаборатории, а перед началом топки осмотрел как аптекарскую, так и духовую печь, топка которой располагалась под Петровским залом, а отдушины выходили в Фельдмаршальский, и нашел все в исправности. За печником допрашивали трех «рабочих при лаборатории», тех самых, что ночевали в ее помещении. Затем были допрошены дворцовый аптекар, дежуривший 17 декабря, камер-фурьер и дворцовые гренадеры, стоявшие на постах поблизости от места возникновения пожара 15–17 декабря. Они не смогли сообщить ничего нового, так же, как и последний в этот день, двадцать третий по счету, свидетель – командир роты дворцовых гренадеров полковник Качмарев.

На заседании следственной комиссии, происходившем 21 декабря, допрашивались четыре дворцовых трубочиста. Они свидетельствовали об образцовой тщательности и строгой периодичности, соблюдаемых при чистке труб. Дежурные пожарные и лакеи систематически обходили порученные их надзору участки дворца и до вечера 17 декабря ничего подозрительного не заметили. В показаниях камер-лакея содержится, между прочим, упоминание, что близ места возникновения пожара имелась деревянная лестница, ведшая из малого коридора за Галереей 1812 года на хоры Фельдмаршальского зала, т.е. находившаяся непосредственно за нишей Петровского зала.

В этот же день члены комиссии архитекторы В.П.Стасов и А.□.Штауберт собирались совместно с архитектором гофинтендантской конторы А.И.Шарлеманем осмотреть место, где начался пожар, но не смогли сделать этого, потому что, как сказано в «деле», оказались не готовы «подмости, по коим можно было пройти по всем местам обозрению подлежащим».

Совместное обследование произвели утром 22 декабря. Заседание комиссии началось докладом Штауберта и Стасова. Комиссия постановила на другой день произвести в полном составе осмотр на месте и зачитала письменные показания дежурившего 17 декабря камер-фурьера, который из-за тяжелого ушиба, полученного на пожаре, не мог явиться «в присутствие». А уже 23 декабря комиссия весьма подробно осмотрела «все места, где первоначально показался дым».

Возвратившись в квартиру А.Х.Бенкендорфа – председателя следственной комиссии, – допросили трех рядовых пожарной роты, топивших печь под Петровским залом 15–17 декабря, затем командира этой роты капитана Шелетова и, наконец, одного из камер-лакеев, подтвердившего, что топкой этой печи ведали только пожарные, а не дворцовая прислуга.

На заседании 24 декабря были опрошены три дровоноса, доставлявшие 15–17 декабря дрова к духовой печи. Один из них упомянул о деревянных конструкциях-подпорках, поддерживающих недалеко от печи потолок коридора.

26 декабря комиссия, вызвав еще ряд свидетелей, продолжала выяснять все подробности ежедневного порядка топки все той же подпольной печи духового отопления, а также проверяла периодичность и тщательность очистки дымовых труб.

Всего за семь дней декабря перед комиссией прошло сорок свидетелей.

В записке, представленной 29 декабря Николаю I, следующие выводы: «Многие полагают, и многое заставляет думать, что главнейшей причиной этого происшествия была загоревшаяся сажа в лабораторной трубе, из коей первоначально выкинуло искры и самый огонь; но по осмотру оказалось, что труба, идущая из лаборатории, толщиной в 1/2 кирпича, по наружности совершенно исправна, не имеет ни трещин, ни пробоев, кроме тех, кои несколько входят в нее, не касаясь, впрочем, канала трубы. Хотя за сим нельзя достоверно отнести причину пожара к сей трубе, но не менее того комиссия обязывается доложить, что



Пожар Зимнего дворца 1837.
(Вид с Невы). Рисунок

несмотря на хорошее состояние лабораторной трубы, в котором она ныне найдена, воспламенение от одной искры могло произойти от двух причин: или от огненных искр, кои могли вылететь из-за заслонки поверх хор, незаделанную оставленной, которая, впрочем, найдена комиссией запертою, без следов огня и дыма или от того, что при разгорячении трубы в тех местах, где имеет соприкосновенность с деревянными устройствами; они, согреваясь при всегдашней топке, быть может, приняли свойства к возгоранию. Другое обстоятельство, внимание комиссии обратившее, есть устройство печи под полом позади комнаты Петра I, близ коей находились балки с деревянными подкосами, поддерживающими потолок подпольного коридора и боров духовой трубы. Но эти все указания причин пожара, не быв подкрепленными настоящими доводами, суть только одни предположения».

Однако не только комиссия занималась выяснением причин пожара. Одновременно в том же направлении действовали чиновники гофинтендантской конторы во главе с ее вице-президентом А.А.Шербиным. Рвение этих лиц становится понятным, если учесть, что на них ложилась ответственность за хозяйственные и административные неисправности, следствием которых явился пожар. И в тот же день, когда комиссия Бенкендорфа подписала свой доклад, на имя министра двора князя П.М.Волконского поступил пространный рапорт Шербина.

Текст рапорта повествует об обстановке и причинах пожара. В нем говорится о воздушном мешке, заключенном между каменной и деревянной стенами Фельдмаршальского и Петровского залов, о деревян-

ных перемычках, оставленных в окнах и дверях при переделке залов, о незаделанном поблизости отверстии в пятах деревянных паदуг, соединившихся с дымоходом, в который оказался вмонтированным один из железных кронштейнов хоров Фельдмаршальского зала, а также – и о плохо заделанном душнике, «так что теплота из печи должна была, мало-помалу, нагревать пустоту и вместе с тем дым, в оной накопившийся, ударил в залу через отверстие душников».

Гофинтендантская контора «не видит никаких других вероятных причин пожара, кроме следующих: пустота между каменною и деревянною стенами в Фельдмаршальском зале должна была нагреваться от проходивших внутри каменных дымовых труб, в том числе и от лабораторной, равно от проникавших в оные железных укреплений и от самой духовой печи, из которой через неплотно обделанный около каменной стены душник теплота проходила не только в зал, но, мало-помалу, и в сказанную пустоту. Таким образом, все деревянные части в устройстве зала должны были расщеляться, получить большую степень сухости и приготовиться к воспламенению. При усиленном же огне в лаборатории и особенно от горевших в дымовой ее трубе 17-го числа рогож искры легко могли проникнуть в пустоту через отверстие в трубе, которое находясь внутри пустоты на одной высоте и близ самых падуг, не было заделано кирпичом, конечно, по небрежению производивших сию работу мастеровых и прикрывалось только трубными дверцами, поныне оставшимися на месте. От проникновения таковых искр, хотя в одном только пункте, вся деревянная надстройка сия, особенно хоры Фельдмаршальского зала и потолочные падуги, должны были разгореться в самое короткое время. Пожар действовал там скрытно, без сомнения, уже и тогда, когда дым показался из-за печи флигель-адъютантской комнаты непосредственно от огня в лабораторной трубе, каковые видимые признаки прекращены в начале дворцовой пожарной командою. Засим, быстрое распространение огня в соседний Петровский зал само собою объясняется как через существование непосредственной связи между деревянною в сем последнем надстройкою и хорами Фельдмаршальского зала, так равно и через непрочную заделку дверей и оставленные в одной из них деревянные брусья, которые должны были вскоре прогореть».

Огромная масса огня, охватив деревянные устройства, зажгла балки и стропила, «отчего в скорое время повергнуты были самые плафоны и распространились по всему чердаку потоки смолистого дыма, который столько же служил дальнейшим проводником огня, сколько препятствовал – к усугублению несчастья – всякому предохранительному против пожара действию».

К этому рапорту были приложены планы Фельдмаршальского и Петровского залов. Деловая ценность рапорта Шербина состояла, прежде всего, в том, что в его заключительной части весьма обоснованно разобраны явления, возбудившие первоначальную тревогу во дворце, и дано объяснение причин неожиданного возникновения пожара после того, как, казалось бы, начало его было ликвидировано. Из этой части рапорта явствует, что дым, показавшийся у печки флигель-адъютантской комнаты, шел из примыкавшего к этой печке лабораторного дымохода и действительно происходил от горевших в лабораторном очаге рогожи и сажки. Пожарным легко удалось все залить, действуя через дымовую трубу с крыши, в то время как другие спустились в лабораторию в подвале, откуда вытащили из отверстия в дымоходе остатки тлевшей рогожи и потушили ее.

Вторая часть рапорта Шербина гораздо важнее. В ней говорится, что дым, выходявший из душника в Фельдмаршальском зале, происходил от скрытого для глаз и недоступного воде, заливаемой пожарными в лабораторную трубу, тления деревянной фальшивой стены, начавшегося, вероятно, задолго до тревоги. Причиной этого медленного тления могли быть искры от той же, горевшей и в предыдущие дни, рогожи, залетавшие через незаделанную «трубную дверцу» в щели деревянной стены, которая, по словам документа, «получила большую степень

сухости и приготовилась к воспламенению». Это воспламенение и произошло почти мгновенно, когда доступ воздуха был открыт в результате того, что обрушилась фальшивая дверь.

Кого же считала гофинтендантская контора виновником совершившегося? На кого, не называя имени, указывал своим заключением Шарлемань, а за ним и Шербинин?

Если в одном месте рапорта прямо говорится, что отверстие в трубе, выходящей в пустоту между каменной и деревянной стенами Фельдмаршальского зала, не было заделано кирпичом, «конечно, по небрежности производивших сию работу мастеровых», то в целом, дав описание причин пожара, документ констатирует, что «масса огня, охватившая деревянные в двух залах устройства, примыкавшие к потолку, должна была непосредственно зажечь балки и стропила». При всей внешней объективности описания здесь подчеркнута постоянная пожарная опасность, заключающаяся в деревянных «устройствах», появившихся за четыре года до катастрофы, при работах по созданию Фельдмаршальского и Петровского залов. Однако имя автора этих сооружений ни в одном документе ни разу не названо. Его как бы не рискуют назвать. Но мы его знаем. Это любимый архитектор Николая I – Огюст Монферран.

Легко можно себе представить, как много было в дворянском и бюрократическом обществе обеих столиц толков о пожаре Зимнего дворца, о гибели этого «сердца империи», о потерях и убытках, о человеческих жертвах. Конечно, называли и виновников. Помимо трех лабораторных «мужиков» с их злополучной рогожей, о которых упоминают и мемуаристы, в разговорах современников фигурировало также имя Монферрана. Доказательством тому служит письмо самого Монферрана московскому приятелю графу С.П.Потемкину, являвшееся ответом на не дошедшее до нас письмо, в котором, очевидно, содержался пересказ ходивших по Москве толков о пожаре с упоминанием обвинений, направленных против Монферрана. Приводим выдержки из письма Монферрана, написанного 18 февраля 1838 г.

«Пожар в Зимнем дворце произошел ни от чего другого, как от огня в дымоходе, начавшегося в лаборатории аптеки, которой пользовалось 3500 лиц, живших во дворце. Вот все, что мне пожелал сообщить министр дворца по поводу этой катастрофы.

При одном химическом опыте часть спирта вспыхнула и выбросила пламя в печную трубу с такой силой, что сочли нужным известить об этом князя В. (имеется в виду министр двора кн. П.М.Волконский. – В.Г.). Помощь оказана быстро, огонь считали потушенным и больше этим не занимались.

В 8 часов, т. е. 4 часа спустя, запах дыма распространился по дворцу, главным образом в Фельдмаршальском зале и в зале Петра Великого.

Министр, который был в театре, прибыл, как только был извещен, что пламя появилось вверху Фельдмаршальского зала. Начали ломать стену, чтобы убедиться, откуда идет огонь, и в одно мгновение он показался повсюду, распространяясь по балюстрадам, по деревянному своду зала Петра Великого, наконец, по стропилам дворца. Сгустившийся под кровлей дым прекратил вход на чердак, который запылал, и, как по электрическому проводнику, пожар вспыхнул в разных точках. Наконец, дворец сделался добычей пламени...

Не знаю, что я могу иметь общего с пожаром дворца. 10 лет назад я декорировал помещение умершей императрицы-матери. Вот уже 7 лет, как я переделал помещения покоев Их Величества. 5 лет назад я закончил Фельдмаршальский зал и зал Петра Великого. С этого времени я не вбил ни одного гвоздя в Зимнем дворце. Г-ну Б., очевидно, неизвестно, что когда я получил приказ создать Фельдмаршальский зал и зал Петра Великого, была назначена комиссия для управления этими работами, и если свод зала Петра Великого и потолок Фельдмаршальского зала были сделаны из дерева и заштукатурены, то они были сделаны такими точно, как

и все другие потолки и своды бельэтажа дворца. Комиссия приказала закончить в пять месяцев эти два зала, на что во всякой другой стране потребовалось бы пять лет для выполнения в камне того, что было из дерева, и чтобы закончить живопись и прекрасные наборные паркетные, что было исполнено в шесть недель.

Только для Вас, дорогой граф, а не для этого Б., знайте, что я делал несколько предложений, но что дешевизна и короткие сроки, которые были даны, заставили избрать эти легкие конструкции, оказав им предпочтение перед другими...».

В суждениях цитированного письма по интересующему нас вопросу есть и доля правды. При самом строгом суде Монферран не мог нести один всей ответственности за деревянные конструкции, воздвигнутые в Зимнем дворце с согласия царя. Николай I мнил себя знатком строительного дела и архитектуры, входил во все подробности дворцового строительства; без согласования с ним ничего не могло быть сделано при перестройках, руководимых Монферраном.

Таким образом, первым виновником катастрофы оказывался сам Николай, не сумевший, утверждая проекты Монферрана, учесть всей их пожарной опасности.

Очевидность этого положения для лиц, сведущих в строительном деле, определила и характер заключительной части доклада комиссии Бенкендорфа. Стасов и Штауберт видели при осмотре пожара то же, что и Шарлемань. Но у них не было необходимости выгораживать гофинтендантское ведомство от надвигавшейся на него грозы и пытаться направить эту грозу на Монферрана с опасной возможностью одновременно задеть и самого царя. Они могли после осмотра, произведенного во дворце, растолковать суть дела Бенкендорфу, от которого зависело придать тот или иной характер дальнейшему расследованию и заключению комиссии. А этот опытейший царедворец предпочел не дублировать рапорт Шербинина, о характере которого он, несомненно, знал и в котором к тому же мог заранее видеть некую «ахиллесову пяту», дающую возможность иного поворота дела. Бенкендорф почел за лучшее, проявив нужное рвение при следствии, в котором все велось по чисто формальной линии, не углубляться в вопрос по существу и представил Николаю весьма неопределенное заключение.

Не назвав во всем следственном производстве имя Монферрана, даже не намекнув на его участие в создании конструкций, ставших очагом пожара, Бенкендорф представил царю возможность оз-

Дом Эрмитажного театра на Зимней канавке. Окна квартиры, в которой В.М.Глинка жил в 1960-е гг.





Петербург. Зимняя канавка

накомиться с рапортом гофинтендантской конторы и самому решить, обрушится ли на своего любимца или в отношении его «придать дело забвению».

Николай избрал второй путь: Монферран был слишком нужен ему в качестве главного строителя Исаакиевского собора. Несмотря на это, можно предположить, что отношение Николая к Монферрану изменилось: к восстановлению сгоревшего дворца он не был привлечен.

После рассмотрения царем обоих документов от Волконского к Шербинину один за другим поступают запросы о том, почему так редко (раз в месяц) чистили сажу в лабораторной трубе, почему командир пожарной роты не знал о рогоже, заткнутой в пролом трубы; требуют сведения о различных лицах, «прикосновенных к делу». Шербинин отвечал начальству почтительно, но неизменно защищая своих подчиненных.

Между другими, по существу незначительными, запросами Волконского был один, имевший весьма существенное значение для судьбы самого Шербинина. Это запрос о том, почему в гофинтендантской конторе не было

«хороших и полных планов» той части дворца, где возник пожар. Запрос был по действительно уязвимому месту рапорта Шербинина, в котором говорилось, что установленные архитектором Шарлеманем после пожара подробности «деревянных устройств» Фельдмаршальского и Петровского залов не были до того известны гофинтендантской конторе. Скрытые от нас рассуждения Николая и Волконского клонились к тому, что если бы руководители конторы имели такие планы, а они обязаны были их иметь в связи со скрытой в этих «устройствах» опасностью, то и меры, принятые при тушении пожара, должны были быть совершенно иными, идущими по правильному пути.

С критикой действий руководства гофинтендантской конторы было связано и рассмотрение существовавшей во дворце пожарной службы, оказавшей столь малоэффективной при столкновении с огнем. Во всех сообщениях о пожаре упоминается, что на первом этапе огонь заливали из пожарных труб, действуя ими в Фельдмаршальском зале, на чердаке и на крыше. Откуда же бралась вода? Ответ на это дает рапорт Шербинина от 30 декабря: «Механик Пинкерстон, быв извещен о происшедшем 17 декабря пожаре, поспешил к паровой водопроводной машине. За топлив в подвальном этаже паровую печь, он успел поднять воду в резервуар, который находясь, как известно, на чердаке над канцелярией вашей светлости, начал уже истощаться по мере того, как в среднем этаже, через имеющиеся краны, вытекала вода для погашения огня в Фельдмар-

шалском зале. Деревянный резервуар, вмещавший до 4000 ведер, наполнился. Охваченный после того огнем, он должен был прогореть и лед, образовавшийся под ним часть строения, чему доказательством служил лед, образовавшийся по прекращении огня во многих окнах квартиры вашей светлости и который был виден еще несколько дней спустя; уменьшение огня на сем пункте не могло не содействовать отчасти перерыву пожара в направлении к Эрмитажу».

Не удалось найти архивных данных, которые помогли бы выяснить, когда установлен этот бак, а также и то, имелись ли в других пунктах здания еще резервуары. Но в данном случае важно, что запаса в четыре тысячи ведер с излишком хватило бы на ликвидацию начавшегося пожара, если бы лица, руководившие действиями пожарных, сразу проникнув за фальшивую стену Фельдмаршальского зала, обнаружили источник пожара и обратили все силы на борьбу с огнем, не дав ему проникнуть на хоры в Петровский зал.

Руководители гофинтендантской конторы были неправы, полагая, что в случившемся целиком повинен создатель фальшивой стены и прочих смежных с нею деревянных конструкций. Монферран, а вместе с ним и Николай I были действительно виновны в создании условий, при которых пожар мог легко возникнуть. Но на руководителей гофинтендантской конторы и командира пожарной роты, ведавших противопожарной охраной данной части дворца, ложилась ответственность за то, что они не сумели учесть опасности этих «устройств». Перед нами образец безалаберности, и растерянности, тем более непростительной, что таившие в себе опасность конструкции возводились на глазах у всех обитателей дворца всего за четыре года до катастрофы. Забыть о них, казалось, было невозможно.

Должно быть, именно так рассудили Николай I и глава придворного ведомства князь Волконский. В начале 1838 г. вице-президент гофинтендантской конторы Шербинин и командир пожарной роты капитан Шепетов были уволены в отставку.

Пожар вызвал множество мероприятий предохранительного характера, проводившихся в течение 1838 и 1839 гг. по всем «зданиям, прикосновенным к Зимнему дворцу», т.е. по Эрмитажу, Шепелевскому дому и театру. Прокладывали свинцовые водопроводные трубы, возводили брандмауэры, новые каменные и чугунные лестницы, отодвигали от перегородок и перекладывали заново печи, выводили новые дымоходы, ставили кованые железные двери и оконные ставни. Везде дерево заменяли чугуном, железом, кирпичом.



Однажды мы шли с дядей Дворцовой площадью по дуге вдоль здания Главного штаба к арке, и вдруг он остановился (дело было зимой, а сердце на морозе у него пошаливало) и повернулся лицом к Зимнему дворцу. Незадолго до того был снегопад, и по площади большими кругами ездил вокруг заиндевевшей колонны снегоуборочная машина.*

– Знаешь, что было на чердаке Зимнего дворца до пожара? – спросил он, отдышавшись. – Ну, тогда послушай...

И я услышал то, во что никогда бы не поверил, если бы только не услышал это от дяди сам.

Оказывается, в полутора десятках метров над головами императорской семьи существовал скотный двор. Ну, если и не вполне настоящий, то, во всяком случае, нечто подобное.

* Здесь и далее данным шрифтом выделены комментарии и дополнения автора-составителя М.С.Глинки

Во дворце жило не менее трех тысяч человек самого различного ранга и занятий, и от их стола ежедневно оставалось огромное количество пищевых остатков и отходов.

По площади всего чердака для утепления тогда лежал толстый войлочный ковер, а поверх ковра были проложены дощатые мостки или дорожки. И от этих мостков в стороны, к откосам крыши со временем как бы сами собой возникали такие же дощатые ответвления, заканчивавшиеся небольшими стойлами, загоролками, клетками, чуланами. И в них жили, откармливаясь, гуси, индюки, овцы и даже свиньи... Очевидцы свидетельствовали, сказал дядя, что вой и вопли этих несчастных животных иногда прорывались сквозь рев огня.

На мой вопрос, кто и каким образом транспортировал на тридцатиметровую высоту живых поросят и ягнят, из которых вырастали потом соответственно взрослые животные, дядя лишь пожал плечами. Те, кто их потом откармливал, сказал он. Но за важностью других послепожарных расследований, устанавливать это впоследствии, видимо, никто и не стремился. Еще он сказал, что никакого контроля, особенно на черных лестницах, в общем не было. И не только в допожарное время, а даже много позже, когда всю уже действовали народовольцы... Как бы иначе Халтурину удалось натаскать во дворец столько динамита?

Дядя не только несколько десятилетий работал в Эрмитаже, но долгие годы и жил в здании Эрмитажного театра (Дворцовая наб., 32). Первой по времени (1950-е годы) была квартира на втором этаже. Это было бывшее фойе театра – потом оно стало фотолaborаторией, а ныне – буфетом и столовой Эрмитажа.

Уходящая вглубь дома эта большая квартира имела лишь два окна во двор (только они остались сейчас на прежнем месте), и разгорожена была стенами и перегородками на десять частей, по меньшей мере шесть из которых считались комнатами. Три из этих шести были попросту чуланами, и в один из них можно было войти, лишь поднявшись метра на полтора по лестнице, находящейся внутри него же. Архитектурная особенность чулана объяснялась тем, что, подняв пол, удалось скрыть несколько ступеней каменного марша, как будто бессмысленно уходящего в глухую стену. По этой каменной, в 1950-х годах уже никуда не ведущей лестнице, за сотню лет до того часто, как говорил Владислав Михайлович, проходил из театра в фойе Николай I. Ванной в квартире не было, газа не было, готовили на керогазе..., кто сейчас помнит, что это за устройство? Зато было два беломраморных камин, которые, естественно, не топилась.

Затем Эрмитаж предоставил дяде другую квартиру – на первом этаже того же кваренгиевского дома, окнами на Зимнюю канавку. Всего там (до того, как Эрмитаж сделал эти помещения служебными) было то ли две, то ли три совсем маленьких квартиры, и Владислав Михайлович говорил, что примерно в этой части старого (еще предшествовавшего нынешней постройке) дома, который Кваренги вобрал в свой проект, умер Петр I.

Как-то, когда мы шли с ним по другому берегу Зимней канавки, Владислав Михайлович сказал, что поскольку гроб Петра был огромным, вынести его в двери тесных комнат оказалось невозможно, и пришлось вытаскивать через окно на канавку. И дядя указал мне своей тростью через канавку.

– Кажется, вон тот оконный проем расширяли, – сказал он.

В другой раз он указал мне тростью на лепные каски над окнами второго этажа того же дома.

– Как ты помнишь, – сказал он, – двумя самыми классическими дворцовыми переворотами в России, если говорить о том, насколько их основу можно использовать, как сюжет приключенческого повествования, были два «женских» переворота XVIII века – елизаветинский и екатерининский. Если грубо схематизировать, то первый из них можно назвать «солдатским», второй – «офицерским».

В первом случае награды достались роте Преображенского полка, во втором – небольшой группе главных участников во главе с братьями Орловыми. Говоря о «роте Преображенского полка», я имею в виду то, что буквально все солдаты этой роты, а их было более трехсот пятидесяти человек, были возведены в потомственное дворянство, получили офицерские звания, особые гербы, а также земельные наделы с крестьянами. Рота эта получила название «лейб-кампании», была размещена в доме, стоявшем на месте того, перед которым мы сейчас стояли. В течение всего царствования Елизаветы Петровны лейб-кампанцы пользовались колоссальными привилегиями. За два десятка лет царствования Елизаветы лейб-кампанцы – за исключением нескольких очень немногих, да и то, в основном из тех, кто и до переворота был офицером – спились, спустили в кутежах свои имения или проиграли их в карты. Эти лепные каски над окнами второго этажа – единственное напоминание о них в истории России и о том, что бывает, когда власть попадает в руки тех, кто к ней не подготовлен...

К нему, как к старожилу этого квартала, часто обращались за справками об окружающих домах...



В.М.ГЛИНКА – Б.Б.ПИОТРОВСКОМУ

28 мая 1966 года.

Дорогой Борис Борисович!

Ты просил меня составить справку о прошлом здания, стоящего на ул. Халтурина под номером 33, ныне занятого конвойным полком. Обещая тебе сделать это, я, по правде сказать, надеялся, что сумею почерпнуть интересные тебе сведения в Инспекции по охране памятников или, на крайний конец, в истории Преображенского полка, которому это здание, я знаю, принадлежало в XIX и начале XX века. Оказалось, что, увы, оно не состоит под охраной и, что в истории преображенцев (их существует три) о нем нет ничего вразумительного. Это задержало составление этой короткой справки, которую представляю тебе сейчас.

К 1741 году территория, ныне занятая Конвойным полком, была уже застроена хозяйственными зданиями дворцового ведомства, примыкавшими к первому и второму Зимним дворцам Петра I, выходившим на Неву и канавку, и все эти хозяйственные здания вытянулись в единый двухэтажный корпус, выходивший своими скучными, однообразными фасадами на Канавку и на Миллионную (фасады эти запечатлены на стокогельских чертежах).

Вскоре после дворцового переворота 25 ноября 1741 года, возведшего на русский престол Елизавету Петровну, в этих хозяйственных зданиях разместилась гренадерская рота лейб-гвардии Преображенского полка, сыгравшая в этом событии решающую роль. Эта воинская часть, состоявшая из 364 человек (со своими церковниками, медиками, музыкантами и нестроевыми чинами), получила название Лейб-кампании и была осыпана всевозможными милостями – весьма высокое содержание ее взяла на себя Придворная контора, все солдаты ее были пожалованы в дворяне и т.д. Так что размещение гренадеров по соседству со 2-м Зимним дворцом (где жила до 1749 года Елизавета), в зданиях, названных с этих пор Лейб-кампанским домом, не было похоже на казарменное – они жили по двое-по трое «в покое», имели своих слуг, лошадей и т.д. (см. Чичерин. История Преображенского полка, ч. II, СПб., 1883, стр. 479; Панчулидзе. История кавалергардов, ч. I. СПб., 1899, стр. 373–382).



С расформирования Лейб-кампании, состоявшегося в 1761 году, и вплоть до конца XVIII века в Лейб-кампанском доме размещались различные придворные учреждения, в том числе Пажеский корпус, в котором в 1762–66 гг. учился А.Н.Радишев.

В августе 1797 года, очевидно, в целях постоянной охраны жизни императора отборной гвардейской частью, Павел I приказал расквартировать в Лейб-кампанском доме 1-й батальон Преображенского полка (Указ кабинету Е.В. от 4 августа 1797 года об отпуске средств на ремонт и приспособление помещения).

В начале XIX века в Петербурге была предпринята постройка каменных казарм для многих полков гвардии, до того квартировавших по деревянным строениям в полковых слободах. В связи с этим 24 июня 1803 г. издан указ на имя Санктпетербургского военного губернатора, в котором между другими мерами, было приказано батальон Преображенского полка, размещенный на Миллионной ул., вывести в казармы на Кирочной, коль скоро они будут достроены, а дом на Миллионной передать городским властям.

Однако этот пункт указа никогда не был выполнен, вероятно, в интересах охраны Зимнего дворца, казавшейся особенно важной после царевубийства 1 марта 1801 г. Слишком существенной была возможность в любую минуту вызвать усиленный караул, который мог, даже не выходя на улицу, очень быстро пробежать через театр и Эрмитаж к личным царским комнатам. Отметим, что 14 декабря 1825 г. первой верной Николаю частью, пришедшей на Сенатскую площадь, оказался именно квартировавший на Миллионной 1-й батальон Преображенского полка.

С другой стороны, размещение такой отборной гвардейской части рядом с дворцом представляло немалые удобства для стажировки в строю представителей царской семьи. Отметим, что ротами и всем 1-м батальоном в разное время

командовали не только многие великие князья, но и будущие цари – Ал.[ександр] II, Ал.[ександр] III и Ник.[олай] II.

Немногое, что мне удалось собрать, следует закончить тем, что при Николае I в 1852 году старый Лейб-кампанский дом был сломан, и на месте его по проекту академика архитектуры В.П.Львова возведено в 1853–54 новое здание, которое мы знаем сейчас.

На время перестройки солдаты были переселены в помещение ныне не существующего экзерциргауза напротив кленцевского Эрмитажа, а под офицерские квартиры (командира полка, командира батальона, адъютанта и т.д.) занят дом актера Каратыгина (ул. Миллионная, 31), в котором ныне живешь ты сам.

В.Глинка



В.М.ГЛИНКА – И.Л.АНДРОНИКОВУ

Июль 1978 г.

Многоуважаемый Иракий Луарсабович!

На днях двое моих коллег по работе в Эрмитаже рассказали мне о бывшем недавно докладе одной из сотрудниц отделения рисунков о панораме Петербурга, выполненной Г.Г.Чернецовым. При этом мне передали, что некто из числа слушателей задал докладчице вопрос о рисунке, изображающем Чернецова, рисующего эту панораму с верхней площадки Александровской колонны до постановки на ней фигуры ангела, и докладчица ничего не слыхала об этом рисунке. При этом было упомянуто, что Вы когда-то интересовались этим рисунком и запрашивали Эрмитаж о нем и будто Вам не смогли ничего ответить.

Вот эти дошедшие до меня сведения и побуждают написать Вам. Дело в том, что, являясь ответственным лицом за создание юбилейной пушкинской выставки 1949 г. в Эрмитаже, я был уполномочен И.А.Орбели пересмотреть фонды музея и выявить все, что могло быть показано на выставке. При этом в наследстве С.П.Яремича я обнаружил вышеупомянутый рисунок и поместил его на выставке рядом с литографированной панорамой. Полагаю, что и сейчас он находится в составе той же коллекции. Неужто же в ответ на Ваш запрос Вам действительно не написали правды об интересовавшем Вас рисунке?

К сожалению, я могу поверить этому, так как несколько лет назад узнал, что из Эрмитажа Вам не ответили на запрос о Шепелевском доме. Между тем, только в моих печатных работах трижды поясняется, где он стоял, что собой представлял и когда был снесен при постройке Нового Эрмитажа. Из коллекции чертежей музея Академии художеств я получил фото фасада и планы всех четырех этажей Шепелевского дома, а также имею перечень всех проживавших в нем в 1826 году. Все эти материалы были предоставлены мной Р.З.Иезуитовой во время ее работы над книгой «Чуковский в Петербурге» года два назад и, конечно, давно были бы доставлены Вам, если бы знал о Вашем запросе.

Одним словом – если Вам еще нужен рисунок Чернецова, то напишите мне, фото с него будет мной заказано и переслано Вам.

Пользуюсь случаем сказать Вам, что всем сердцем сочувствую Вашему большому горю. Я мало знал Манану, мне довелось только несколько раз беседовать с ней, когда приезжала в Ленинград по поводу дипломной работы о Боголюбове, и я мог указать ей два пейзажа этого художника в частных собраниях. Но воспоминание о ее уме, отменной воспитанности и редкой одаренности осталось. Если найдете удобным, то передайте эти чувства Вашей супруге, с которой мы встречались на обеде у Шварцев.

Желаю Вам всего лучшего. В.Глинка

И.А.АНДРОНИКОВ – В.М.ГЛИНКЕ

5.VIII.1978.

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович:

Я очень тронут Вашим вниманием и Вашим заботливым письмом. Это правда, что я искал в Эрмитаже рисунок, изображающий Чернецовых на лесах Александровской колонны, обращался даже к Борису Борисовичу Пиотровскому, искали и – не нашли. А я говорил, что видел его на выставке, что Вы показывали мне. Этот рисунок должен был украсить строки воспоминаний петербургского чиновника Василия Завелейского, который описывает, как он с И.А.Крыловым поднимался на леса полюбоваться открывающейся оттуда панорамой и как братья Чернецовы (по фамилии он их не называет) низко поклонились славному нашему поэту. Издание с иллюстрациями вышло, но, как знать, может, будет другое. Тогда рисунок найдет соответствующий текст.

Насчет Шепелева дворца тоже интересовался многожды и не перестал интересоваться до сих пор. Меня интересуют и жители дворца, и бывали ли в нем балы, в частности, маскарады. Может быть, Вы сможете сообщить мне названия Ваших работ: я возьму их в библиотеке. Меня больше всего интересует начало 1835 года в связи с утерянной в подъезде Шепелева дворца половиной бриллиантовой серьги. И «утраченного» разыскивают через газетную экспедицию с предложением явиться в штаб корпуса горных инженеров к экспедитору Тигровскому с тем, чтобы открыть имя. Очень похоже на два браслета, один из которых потерял Ниной Арбениной в «Маскараде». И второго такого в петербургских магазинах нет – это оговорено в тексте драмы, другой только на руке потерявшей. Словом, меня продолжают занимать недомолвки, иносказания, секреты и тайны, стоящие за текстом лермонтовского «Маскарада», который, по мнению Бенкендорфа, оказался крамольной гоголевского «Ревизора» и на сцену так и не был пропущен, потому что слишком напоминал «истинное происшествие, бывшее недавно в нашей столице». Может быть, что-то зацепится за подъезд Шепелева дворца (если, скажем, из него убегала замаскированная дама). За все Вам заранее большое спасибо.

Строки о Манане в конце Вашего письма глубоко тронули нас и сохраняются в нашей памяти как живые черты ее образа. Спасибо Вам за все. Я никогда Вас не забываю (начиная с Ист. быт. отдела РМ).

Всегда Ваш Иракий Андроников



В.М.ГЛИНКА – И.А.АНДРОНИКОВУ

17.VIII.78

Глубокоуважаемый Иракий Луарсабович!

Отвечаю на Ваше письмо с некоторым опозданием, ибо нездоров, лежу в постели, не сразу все могу сообразить и разыскать необходимые данные, которые следует Вам сообщить.

Но прежде два слова о рисунке Н.Чернецова, изображающем Г.Чернецова во время исполнения им панорамы Петербурга. По возвращении из заграничной командировки хранителя данного фонда рисунков, я разыщу это изображение, отдам в пересылку и перешлю Вам. Несмотря на свой характер наброска, он очень по-своему красноречив: художник сидит в шинели, подняв ее воротник и повязав фуражку платком, чтобы не унес ветер. Пусть будет у Вас хотя бы для коллекции. Поразили Вы меня сообщением, что И.А.Крылов при своей толщине отважился влезть на такую высоту.

Теперь о Шепелевском доме – он же дворец. Писал я о нем сначала в книге «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца», изд. Эрмитажа. 1949 год, стр. 12.

Указывал его местонахождение дважды в своих вступительных статьях к книге «Военная галерея Зимнего дворца», написанной совместно с А.В.Помарнацким (1-ое издание Эрмитажа, 1963, стр. 10, 2-ое – «Аврора» 1974, стр. 11). Но гораздо более тщательным изучением истории и назначения этого здания я занялся в те 10 лет, которые работал над историческим романом, первую часть коего Вам посылаю. А вторая часть, вся почти проходящая в нижнем этаже Шепелевского дома и в Зимнем дворце в 1827–1837 гг., сейчас в типографии и будет у Вас («е.б.ж.») (если буду жив – М.Г.) в первом квартале 1979 г.

Дело в том, что в нижнем этаже Шепелевского дома в эти годы размещалась казарма роты дворцовых гренадер, что само говорит уже о не слишком парадном назначении сего здания в то время, а герой мой служил в этой роте. Однако и тогда в парадном этаже сохранялись по-дворцовому отделанные покои, и они по временам отводились «именитым приезжавшим». Когда-то как раз в них жила даже сам Г.А.Потемкин. Историк Зимнего дворца А.Суслов в своей книжечке 1920-х гг. сообщает, что Шепелевский дом служил и позже «как запасное дворцовое помещение». О характере убранства комнат можно судить по гравюре Беннета и Райта, по рисунку Мартынова 1826 г., изображающей мастерскую Д.Дюу, отведенную ему в зале этой парадной половины (см. нашу с Помарнацким книгу изд. 1974 г. стр. 18–19). А также – и главное – посмотрите прилагаемый мной перечень всех помещений Ш.д. по этажам в книге А.Успенского «Зимний дворец» – «Описание Шепелевского дома комнатам, кем сколько занимается и сколько остается незанятой в 1826 г.». Как наглядное пособие к этому тексту Вам пригодятся также планы всех этажей и фасад этого дома, послужившие мне в годы работы над книгой, которую окончил полтора года назад. Авось, Вам пригодятся.

В записках гр. М.Д.Бутурлина «Р.А.», 1897, 1, стр. 413 и дальше найдете описание непривлекательного «антре» этого дома, в котором до 1838 г. жили его тетки, престарелые фрейлины гр. Воронцовы.

Однако главное, на что я хочу обратить Ваше внимание, в связи с Вашими розысками, это то, что хотя, полагаю, в самом Шепелевском доме балов и маскарадов в 1830-х гг. не бывало, но ведь он через свой парадный этаж – как раз через ту залу, где до 1827 г. находилась мастерская Д.Дюу, – сообщался с лоджией Рафаэля, а через нее с Эрмитажным театром и линией парадных залов по Неве до перехода в Ламотов павильон, а оттуда, уже через Западную галерею его с самим Зимним. По многолетней традиции, шедшей с середины XVIII века, в первый день Нового года в Зимнем устраивался маскарад «для всякого звания людей» на 20 тысяч человек, «был бы трезв и опрятно одет». И такие маскарады бывали не раз во времена Николая I вплоть до 1841 г. А в начале января, если не ошибусь 6-го, давали парадный спектакль в Эрмитажном театре с ужином в самих Эрмитажных залах, освещенных тысячами свечей, что наносило тяжкий ущерб картинам (копоть, царапины и т.д.). Короче говоря, во втором случае празднество происходило где-то рядом с дверями, ведшими в парадную половину Шепелевского дома.

На Вашем месте я бы устремился по этому следу – что происходило там в январе 1836 года? Иначе говоря, взялся бы прежде всего за Камерфурьерский журнал, правда, он за эти годы не опубликован, лежит в Ленинграде в Архиве Министерства двора, но Вам, разумеется, охотно вышлют ксерокопию тех страниц, которые связаны с нужным Вам месяцем.

На чертеже парадного этажа я проложил пунктиром след нашей беглянки через парадную половину Шепелевского дома к лестнице единственного его подъезда. Конечно, дверям в эту половину из лоджий Рафаэля полагалось быть всегда закрытыми, но кто знает? Может, кто ей и помог бежать с парадного спектакля, который шел буквально в двух шагах от лоджии Рафаэля? От чего или от кого она бежала – судите сами.

Теперь позволю себе приписать страницу совсем о другом. Помнится, В.А.Мануйлов говорил мне когда-то, что 4-го сентября в день его рождения и Вы также новорожденный. Поздравляю Вас от всей души и желаю быть здоровым, находить радость в работе. И еще всего, чего Вы сами хотите. Не забудьте же поздравить Виктора, которому стукнет 75 лет. А жизнь его стала ах, какая трудная! Из университета в благодарность за многие годы самоотверженной безотказной работы его выперли, и остался он на 160-ти рублевой пенсии. При этом каждый гонорар за журнальную статью фининспектор из нее вычитает. А у него на шею тунейка-сестрица – вечный его крест, требующая на добавку к своей пенсии самое малое 50–60 рублей в месяц. Признаться, не представляю, как он изворачивается. Ходил я даже в Союз писателей, говорил с А.Н.Чепуровым о присвоении В.А. персональной пенсии, которая бы все сгладила, дав возможность дорабатывать до 300 рублей в месяц или, кажется, даже больше. Чепуров сказал, что ходатайствовать должен Институт русской литературы, а Союз писателей охотно это ходатайство поддержит. Боюсь однако, что теперь, когда Виктору 75 лет, он стал никому не нужен, и новое руководство Института начисто забыло, что в блокаду именно он таскал на себе архивы умерших и эвакуированных писателей на Тучкову набережную, поднимал на крышу железо для латок после обстрела и т.д. и т.п. без конца в течение почти трех лет, не говоря о его педагогической и общественной деятельности, которую Вы знаете лучше меня. Ведь в брошюре, посвященной 50-летию Института, Виктора даже не упомянули.

Простите, что пишу я Вам все это, но я знаю, что Вы давний искренний друг В.А. и, может быть, где-то молвите слово о его персональной пенсии или напишите в Институт русской литературы несколько веских слов, которые подвинут дирекцию на ходатайство о таковой, в чем Виктор столь нуждается.

А за сим будьте же здоровы и еще раз примите поздравление с днем 4-го сентября.



В.Глинка.

Виктор Андроникович Мануйлов, литературовед и критик, лермонтовед и пушкинист (см. именной указатель) был близким приятелем В.М.Глинки еще с блокадных лет, когда они вместе работали в Пушкинском доме. Образ В.А.Мануйлова, человека добрейшего и бескорыстнейшего, был бы не полон, если не указать на феноменальное сочетание – Мануйлов был членом партии и в то же время совершенно не скрывал, что гадает людям по руке. В партию он, правда, вступил в 1942 году в блокадном городе, чтобы его не лишили права быть ответственным хранителем, а иначе его бы, возможно, усадили на «большую землю», и он оставил бы в городе умирающую мать. Учился В.А.Мануйлов в Бакинском университете у Вяч. Иванова (того, что в конце жизни был библиотекарем Ватиканской библиотеки), познакомил Есенина с Шаганэ, видел на руке Маяковского «звезду самоубийства», пытался выращивать в 1920 году кроликов на продажу, предвещал лекциями выступления цыганских хоров, а также первые выступления Галины Улановой, несколько лет был литературным секретарем А.Н.Толстого... Эпизоды из его устных воспоминаний всегда были подобны коротким новеллам.

– Мне, – говорит, – было лет тринадцать, а Серафимовичу уже сильно за пятьдесят, и он пригласил меня покататься на мотоцикле. Но я не знал, что останавливаться он еще не умеет, и поэтому мы ехали до самого перевала, пока у него не кончился бензин.

– Вы знаете, что есть стихи Мандельштама, посвященные мне? Это было в 30-е, в филармонии. Во время антракта все движется кругами по фойе. И вот подходит сбоку Мандельштам и говорит: «Посреди огромных буйволов ходит маленький Мануйвол».



В.А.Мануйлов

На Большой Невке, рядом с Пушкинским домом, во время блокады швартовались подводные лодки, и подводники к нам заходили. Я был тогда хранителем библиотеки. И вот один из них, фуражка набок, день за днем уговаривает меня выдать ему томик Есенина. Вы ж, говорят, даже с ним знакомы были (узнал откуда-то), уж вы-то знаете, что ничего в нем антисоветского нет, неужели не выдадите? А как выдать? Есенин тогда числился кулачком, кабакшиком – запрет полный... Как я его выдам? Но уговорил все-таки, мол, на задание иду...

– Ладно, – говорю, – но формуляр на вас заполнить я все равно обязан.

– Заполняйте, – говорит. – Александр Иванович Маринеско.

Странная фамилия, румыно-украинская, надо думать.

В начале 50-х, еще был жив Сталин, на одно из писательских собраний в Ленинград приехал что-то критиковать и громить всеильный Александр Фадеев и, выступая, запутался. Критиковать надо было некоего Веселовского, но литературоведов и историков с такой фамилией оказалось не один и не два, а целых четверо, ни об одном из них Фадеев толком ничего не знал и запутался в именах-отчествах. Писатели, сгорая от стыда, сидели, глаза в пол. Встал один Мануйлов и разъяснил залу и московскому гостю, кто из Веселовских есть кто. Фадеев, побагровев, слушал. В перерыве он все-таки подошел к Мануйлову.

– Знаете... – сказал он. – Все ездить, выступаешь... Некогда.

Вследствие ли подобных особенностей его природы или по другим причинам, но скоро В.А.Мануйлова, который был ректором Библиотечного института, спустили на ступеньку ниже – в деканы, потом – в заведующие кафедрой, и, наконец, просто в преподаватели. Впрочем, понижений этих он, будто, даже не замечал. Зато он был вдохновителем и организатором издания Лермонтовской энциклопедии, являлся неформальным хранителем и распорядителем в мастерской в доме Волошина в Коктебеле, готовил на кухне коммунальной квартиры гречневую кашу

вместе с компотом, чтобы кормить этим студенток и аспиранток, у него воровали замечательные зарубежные издания, брали без отдачи деньги, он обожал женщин любой внешности и манер, даже тех, которые по его выражению «рыдали мужским голосом», но никогда не мучился ревностью, его бессовестно и расчетливо обманывали, но он никогда и никого ни в чем не винил... Дядя обожал его, может быть, не всегда принимая отдельные его черты всерьез. Называл его иногда «мистером Пиквиком»... Конец его, как и большинства бессребреников был грустным. Он закончил жизнь в печальном медицинском учреждении около станции Удельная.

Когда его не стало, имуществом, находившимся в его двух комнатах (он всю жизнь прожил в коммуналке) быстро распорядились две зорко следившие за ситуацией пожилые дамы.

Похоронен Виктор Андроникович в Комарове, он завещал поставить на могиле лишь деревянный крест, но настоящим памятником ему является созданная под его руководством Лермонтовская энциклопедия, да память об его удивительной доброте.



Война 1812 года и декабристы – это не только постоянно встречающиеся и пересекающиеся темы в творчестве Владислава Михайловича. Для него это гораздо большее, нежели поле художественного, искусствоведческого и историографического поиска. Для него эти два события – главные, определяющие, краеугольные для всего XIX века русской истории. История нравственного развития нации в XIX веке, история русской литературы ее золотого века, пути общественной мысли – все, по его мнению, берет начало именно в этих двух главных событиях первой четверти XIX века...

Е.Рейтерн. Портрет рядового лейб-гвардии Павловского полка. 1832



Неизвестный художник. Офицер и рядовой Кабардинского пехотного полка (1825). 1850



ФРАГМЕНТЫ ЛЕКЦИИ, ПРОЧИТАННОЙ В ОДНОМ ИЗ ЛЕКТОРИЕВ (1980–82 гг.?)

(распечатка магнитофонной записи)

...В истории наполеоновских войн не было ни одного похода, который был бы так тщательно подготовлен, как поход 1812 года. Плацдармом для подготовки служило Варшавское герцогство, выделенное из прусских владений после разгрома Пруссии. И, если мы назовем цифры: 200 тысяч волов, 30 миллионов бутылок вина и рацион на 400 тысяч солдат на полгода, которые были заготовлены на территории Варшавского герцогства, то мы получим хотя бы отдаленное представление о той тщательной подготовке, которая велась наполеоновским военным ведомством перед вторжением в Россию. Россия, для которой не была тайной концентрация французских войск на западных границах, тоже готовилась к этому неминуемому столкновению. Если мы берем хронику старой русской армии, то узнаем, что примерно половина существовавших в 1814 году пехотных полков была сформирована в 1810 и 1811 годах. Множество новых единиц русской пехоты и артиллерии рождается в эти годы. Идут рекрутские наборы, идет спешное обучение – спешное, против тогдашних правил жесткой многолетней муштры. Примером такого обучения является 27 пехотная дивизия генерала Неверовского, созданная в 1811 году, а в 12-м показавшая неслыханное мужество под Красным, в том бою, за который Мюрат назвал отступление дивизии Неверовского «отступлением львов».

Какие же офицерские кадры могла подготовить Россия в это время? Какие офицерские школы комплектовали младший офицерский состав, ибо генералитет и старший офицерский состав были уже налицо, закаленные в предшествовавших боях с французами, турками, шведами. Ну, во-первых, существовало три кадетских корпуса – два в Петербурге, один в это время в Гродно, потом в Смоленске, а потом ставший Московским. Существовал Пажеский корпус, который выпускал очень небольшую группу офицеров – 15–20 человек в год. В это время был создан так называемый Дворянский полк – специальное учреждение, родившееся в 1807 году при Втором петербургском кадетском корпусе, который вмещал порой до двух тысяч дворянских недорослей, которых готовили к прапорщичьему чину весьма поспешно и, по свидетельству современников, довольно небрежно. Впрочем, подготовка младшего офицерского состава, которая велась в большинстве случаев в частях, была не лучше. Поступавший, имевший по сословным привилегиям право стать унтер-офицером в войсках молодой дворянин проводил около года в звании подпрапорщика, пользуясь наставлениями своего дядки унтер-офицера, вызубривая небольшое количество строевых пунктов или параграфов устава, после чего получал звание прапорщика. Мы знаем, что в числе офицеров периода Отечественной войны были люди, окончившие Институт путей сообщения или корпус при Институте путей сообщения, Горный корпус, несколько человек было из родившейся только перед войной, на время войны закрытой и после войны возродившейся школы колонновожатых полковника, а потом генерал-майора Николая Николаевича Муравьева, но самой значительной группой, которой комплектовалось младшее офицерство, был уже упомянутый мной институт подпрапорщиков. Такие хорошо известные вам люди, как Петр Яковлевич Чаадаев, Матвей Иванович Муравьев-

Апостол, Иван Дмитриевич Якушкин, Фонвизин и другие видные декабристы прошли через этот путь. Этот путь важен для нас потому, что он приближал, как нигде и никогда, молодого дворянина к рядовой солдатской массе. Делить поход вместе с солдатами, нести такую же нагрузку, которую несет солдат. А нагрузка эта была немаленькой. Солдат должен был нести ружье, которое весило в переводе на теперешний наш счет около шести килограммов, ранец, который весил шестнадцать килограммов, то есть ровно пуд, остальная же амуниция в виде тесака, патронной сумы и прочее доводила нагрузку на плечи рядового солдата до тридцати-тридцати двух килограммов на ходу. Поэтому становится понятно, что перед атакой давалась команда «снять ранцы, снять скатки!». Для того чтобы бежать в атаку, нужно было облегчить человека. И вот я повторяю – подпрапорщики, подобные Матвею Ивановичу Муравьеву-Апостолу или будущему знаменитому шеголю лейб-гусару Петру Яковлевичу Чаадаеву, в строю Семеновского полка, идя мимо Лицея и дальше к русским границам весной 1812 года, несли наравне с солдатами эту нагрузку, шли пешком весь этот дальний путь и имели возможность рассмотреть и близко взглянуть в русского солдата, подружиться с ним и впервые понять, какой материал представляет собой русский человек на войне...

...нашипанные куски, то есть нитки из хорошо стираного белья, которые за отсутствием в то время ваты, накладывались на рану, и как пишет этот медик, за отсутствием корпии использовались сваленные в канавы архивенские смоленских общественных мест. То есть бралась бумага, размачивалась в дождевой воде в луже и накладывалась на рану. Этим я хочу подчеркнуть, что всякий раненный сколько-нибудь тяжело, был обречен. В этих условиях, отходя вглубь страны, армия роптала, что ей не дают сразиться с французами, стать с ними грудь грудью...

...это был бой (Бородино – М.Г.), который шел с рассвета до темна, это бой, который справедливо прозвали военные историки «битвой генералов», потому что из французской армии выбыло 49 генералов убитыми и ранеными, из русской – 22 генерала, то есть генералитет шел во главе своих соединений и подвергался тем же физическим опасностям, которым подвергались рядовые офицеры и солдаты.

...Ночью Кутузов приказал отступить, получив донесение о потере в своих войсках, и на поле боя остались французы, но состояние французской армии было ужасно. Один из французских историков – генерал Лябом говорит: «это было кладбище французской кавалерии», потому что, если до этого лошади очень страдали на походе, то здесь во время кавалерийских атак лошадей было убито очень много. Когда весной 1813 года земской полиции было приказано убрать трупы на Бородинском поле, то руководивший этим полицейский офицер донес, что им сожжено около 52 тысяч человеческих трупов и 35 тысяч трупов конских...

...После Смоленска началось страшное отступление французов с безумной смертностью, о которой говорят все современники. Вот две цитаты из записок современников, хорошо вам известных. Николай Николаевич Муравьев, автор замечательных записок пишет: «Начиная от Вязьмы, преимущественно же от Смоленска до Вильны, дорога была усеяна неприятельскими трупами. Из любопытства сосчитал я однажды, сколько на одной версте лежало их. Нашел от одного столба до другого только на полотне дороги сто один труп. Но верста сия в сравнении с другими еще не была избыточна телами, на иных верстах валялась их, может быть, и до трехсот. Кроме того, места, где французы ночевали, обозначались горами замерзших людей и лошадей. Я сам видел в Борисове шалаш, выстроенный из замерзших, окостенелых трупов, шалаш, под коим умерли сами его строители. Корчмы, выстроенные на большой дороге, были набиты мертвыми и живыми людьми, от разведенного среди них огня загоралась сама корчма, и в ней находив-

Военачальники русской армии
Отечественной войны 1812 г.



Орден Св. Владимира.
Принадлежал Н.А.Тучкову.



шиеся погибали в пламени». Таких свидетельств можно найти бесчисленное множество. Но я должен сказать, что русская армия, которая шла по пятам за французами, испытывала тоже страшные недостатки. Мы знаем по запискам того же Матвея Ивановича Муравьева-Апостола, которого мы так часто упоминаем, что питались солдаты исключительно заплесневевшими сухарями, что лошадей кормили остатками соломы, снимаемыми с крыш, с изб, что лошади походили на медведей, так они обросли нечесаной грязной шерстью, что люди падали от изнеможения, сапоги износились, шинели, прожженные у костров, плохо грели, что когда во время биваков подпрапорщики, в том числе Матвей Иванович Муравьев-Апостол и другие, хотели согреться, они ложились между солдатами. Он рассказывает точную механику этих ночевок. Весь взвод, пишет он, снимал шинели, которые застегивали пуговицами, и одну половину их расстилали на снегу,



Л.А.Белусов. Рядовой кексгольмского гренадерского (императора австрийского) полка. 1830-е гг.

затем все мы, ложились на один бок, мы подпрапорщики, втискивались между солдатами, другой половиной шинелей прикрывались. Ночью, по команде все враз переворачивались на другой бок. Мы, подпрапорщики, грелись теплом солдат...

...Позвольте вам напомнить, что военная служба для нижних чинов продолжалась в то время 25 лет, а в гвардии, начиная с 1818 года – 22 года. И только в 1834 году была сокращена до 15 лет, но при этом только в случае беспорочной службы. А под беспорочной службой подразумевалось не иметь ни одного взыскания. Смещение из унтер-офицерского звания в рядовые было уже взысканием, и с этого момента солдат служил бессрочно, хотя бы до 70 лет. Таким образом, декабристы – молодые люди, пришедшие в армию после войны, попадали в круг людей участников войн, и свидетельства об этом мы находим без конца в мемуарах молодых декабристов. Они приходят на батарею, в эскадрон или роту и тот дядька, которому отдают этого юношу-подпрапорщика в мушкетру для того, чтобы подготовить его к строевому экзамену – это человек с медалью за 1812 год и с солдатским Егорием за Бородино. Это обычная история – бывалого солдата прикомандировывают к этому барчуку, чтобы он его учил и наставлял...

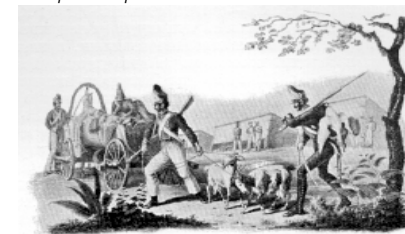
Уральские казаки. Раскрашенная литография П.Верне. 1840-е гг.



Фабер дю-Фор. В окрестностях Корушины 28 июня 1812г.



Фабер дю-Фор. Реквизиция



Каждый вспоминающий о Владиславе Михайловиче Глинке приводит примеры его феноменальных познаний. Так оно и было – познания его были необыкновенны, а то, что о них помнят, говорит, слава богу, не только о наших малых знаниях, но и о том, что мы хотели бы знать побольше, а раз так, то традиция будет продолжена.

Владислав Михайлович Глинка, был одним из самых интересных людей, которых я встречал. Он был писателем, автором прекрасных сочинений о лоялах конца XVIII–начала XIX века («Повесть о Сергее Непейцыне», «Повесть об унтере Иванове» и др.). Кроме того, что они написаны умно, благородно, художественно, – кроме этого, их отличает щедрость точного знания. Если речь идет, например, об эполетах или о ступеньках Зимнего дворца, о жалованье инвалида, состоящего при шлагбауме, или деталях конской сбруи 1810-х годов, – все точно, все так и было, и ничуть не иначе.

Удивляться этому не следует, ибо писатель В.М.Глинка – это и крупный ученый В.М.Глинка, работавший во многих музеях, являвшийся главным хранителем Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и великолепно знавший прошлое...

Приносят ему, например, предполагаемый портрет молодого декабриста-гвардейца. Глинка с нежностью глянет на юношу прадедовских времен и вздохнет:

– Да, как приятно, декабрист-гвардеец; правда, шитья на воротнике нет, значит, не гвардеец, но ничего... Какой славный улан (уж не тот ли, кто обвенчался с Ольгой Лариной, – «улан умел ее пленить»); хороший мальчик, уланский корнет, одна звездочка на эполете – звездочка, правда, была введена только в 1827 году, то есть через два года после восстания декабристов, – значит, этот молодец не был офицером в момент восстания. Конечно, бывало, что кое-кто из осужденных возвращал себе солдатской службою на Кавказе офицерские чины – но эдак годам к тридцати пяти – сорока, а ваш мальчик лет двадцати... да и прическа лермонтовская, такого зачеса в 1820–30-х еще не носили... Ах, жаль, пуговицы на портрете неразборчивы, а то бы мы определили и полк и год.

Так что не получается декабрист никак – а вообще славный мальчик...

Говорят, будто Владислав Михайлович осердился на одного автора, упомянувшего в своем вообще талантливом романе, что Лермонтов «расстегнул доломан на два костылька», в то время как («кто ж не знает!») «костыльки» – особые застежки на гусарском жилете-доломане – были введены в 1846 году, через пять лет после гибели Лермонтова: «Мы с женой целый вечер смеялись...»

Вот такому удивительному человеку автор этих строк поведал свои сомнения и рассуждения по поводу одной небольшой детали из биографии прадеда Пушкина Абрама Петровича Ганнибала. Дело в том, что известный историк Дмитрий Бантыш-Каменский записал о Ганнибале со слов Пушкина, что тот в опальном уединении занялся описанием истории своей жизни, но однажды, услышав звук колокольчика, вообразил, что за ним приехал нарочный из Петербурга, и поспешил счесть интересную рукопись.

– Не слышу колокольчика, – сказал Владислав Михайлович.
 – То есть, где не слышите?
 – В восемнадцатом веке не слышу и не вижу: на рисунках и картинах той поры не помню колокольчиков под дугою, да и в литературе, по-моему, раньше Пушкина и его современника Федора Глинки никто колокольчик, «дар Валдая», не воспевал...

Не помнил Владислав Михайлович в XVIII столетии колокольчика и предложил справиться точнее у лучшего специалиста по всем колоколам и колокольчикам Юрия Васильевича Пухначева. Отыскиваю Юрия Васильевича, он очень любезен и тут же присоединяется к Глинке – не слышит, не видит колокольчика в Ганнибаловы времена: «Часто на колокольчике стоит год изготовления... Самый старый из всех известных – 1802-й, в начале XIX столетия...»

Оказалось, что по разным воспоминаниям и косвенным данным время появления ямщицкого колокольчика под дугою относится к 1770–80-м годам, при Екатерине II.

Выходит, Ганнибал, если и мог услышать пугавший его звон, то лишь в самые поздние годы, когда был очень стар, находился в высшем генеральском чине и жил при совсем не страшном для него правлении «матушки Екатерины II».

Но вот – колокольчик...

Колокольчика боялся, конечно, сам Пушкин!

Не зная точно, когда его ввели, он невольно подставляет в биографию прадеда свои собственные переживания.

Но даже не об этих удивительных познаниях Владислава Михайловича хочется сказать, когда его вспоминаешь... Не только о них... Владислав Михайлович был красивый, стройный, добрый человек с огромным положительным полем. Я считаю его существенной, если можно так выразиться, достопримечательностью Ленинграда. Это не просто комплимент и не только уважение к личности. Я считаю, что именно это обстоятельство – особенность его личности – позволяло ему быть на «ты» с прошлым. Прошлое не всякому открывается. Я помню, как об одном специалисте сказали: «все знает – ничего не понимает». Знания большие, а чувства духа нет – и прошлое не дает себя явить, – это лишь склад знаний. Все знания Владислава Михайловича были оживлены его личностью, его духом, его улыбкой, его сарказмом, его добротой, и он был конгениален своим положительным героям, во всяком случае таким, как декабристы, Пушкин, герои 1812 года. Благодаря особенностям своей личности он вступал в разговор с прошлым, и прошлое ему отвечало. Я думаю, что одним из главных заветов Владислава Михайловича может считаться мысль о значении хорошего человека в истории и в изучении истории. Мы не всегда об этом вспоминаем, а ведь надо быть хорошим человеком, чтобы разговаривать с историей. Плохой человек, даже вводя в обиход новые факты, окрашивает их своей дурной личностью – и эти факты почти погибают. У меня есть ощущение, что Владислав Михайлович, разумеется, объективно передавая факты 1812 года, занимаясь атрибуцией старинных портретов, размышляя о декабристах, в то же время давал тому, о чем писал и говорил, некоторую окраску своей личности. Но вот странный химический эффект: еле заметное прикосновение личности Владислава Михайловича – и эти давно ушедшие люди как будто особо и заново освещались, становились виднее, ярче, реальнее как люди именно XIX века, а отнюдь не как выдуманные люди XX-го. Хороший, прекрасный человек, Владислав Михайлович знакомил нас с ними, представлял нам целую галерею лиц, ситуаций, персонажей того века, и мы, читая его романы, читая его книжки для детей и юношества, читая его строгие научные исследования, не только познаем, а познаем, одновременно получая эмоциональный заряд. При этом мы, я надеюсь, становимся лучше, а это, может быть, даже главнее, важнее, чем некая сумма знаний...

В.М.ГЛИНКА – Н.Я.ЭЙДЕЛЬМАНУ

Дорогой Натан Яковлевич!

Благодарю Вас за согласие написать рецензию (речь идет об отзыве на второе издание книги В.М.Глинки и А.В.Помарнацкого «Военная галерея Зимнего дворца» – М.Г.). «Звезда» на днях письменно обратится к Вам с этой просьбой. Объем, который они называют, 3,5 или 6 страниц на машинке. Сообщаю Вам сведения, которые могут, как я думаю, пригодиться.

По тексту последней страницы Вы можете видеть, что перед Вами «издание 2-е, исправленное и дополненное», по сравнению с вышедшим в 1963 году. Исправления все по мелочам, о которых не стоит и говорить, кроме разве того, что во вступительной статье (на стр. 11) впервые в литературе появляются конкретные, почерпнутые мной из архивов, сведения о порядке (или, вернее, обычном российском беспорядке) составления Инспекторским департаментом Главного штаба списков генералов, подлежащих портретированию и о докладе этих списков председателем Военного департамента Государственного совета графом Аракчеевым императору Александру, Решавшему кто сей чести достоин. Здесь же я ввел короткую, но едкую цитату из записок И.Х.Габбе, оценившего большинство генералов своей молодости как «ничтожных». Все остальное в этой статье, включая и попытку проанализировать служебные пути, национальный и социальный состав генералитета 1812–1814 гг., почти таковы, как и в первом издании.

Заново введены в число лиц, которым посвящены отдельные очерки, пять генералов, избранных за разнообразие биографий. Властов – безродный греченок, ставший доблестным генералом и покинувший службу в разгар послевоенной реакции. Кикин – родовитый барин – безупречный статс-секретарь Александра I, неужившийся с Николаем I, деятельный создатель Общества поощрения художников. Лихачев – армейский служака без связей, боевой кавказец, единственный генерал, взятый в плен при Бородине израненный штыками и умерший по дороге во Францию. Мадатов – «русский Мюрат» – армянин, даже на портрете готовый рубить врага. Потемкин – командир семеновцев, друг будущих декабристов, гуманный и мужественный. Каюся, – появление этих пяти биографий – мой грех. Хотелось сделать книгу разнообразнее и занимательнее, чтобы биографии генералов не были похожи одна на другую и не являлись перечислением сражений, в которых они участвовали. Но более всего разысканий пришлось сделать для биографии Глебова, Лукова и Ставракова, вошедших в 1-е издание. Многие для них собрано «по крохам».

Идуший следом за биографиями список всех, чьи портреты находятся в галерее, доставил А.В.Помарнацкому много труда. Различные данные, даже даты жизни приходилось добывать по «Некрополям», полковым историям, спискам генералов по старшинству и т.п. изданиям.

То же, но в еще большей степени, относится и к впервые введенному в военно-исторический обиход, публикуемому по рукописи из ГПБ списку, составленному полковником Висковатовым в конце 1840-х гг. Для него мы оба рыскали по множеству изданий, ибо оригинал носит характер черновика, в котором отсутствуют не только даты жизни, но и многие имена-отчества. Таким образом, благодаря этим двум спискам, книга может пригодиться для справок тем, кто занимается войнами 1812–1814 гг.

Что же, вот, пожалуй, все, что хотел Вам написать. Разве вот еще: существовавшие доселе издания подобной тематики суть:

1. «Александр I и его сподвижники», выпускавшиеся отдельными тетрадками в 1840-х гг. в СПб Михайловским-Данилевским и Висковатовым и охватившие около 150 биографий с литографиями, сделанными с портретов генералов в галерее, сделанными весьма посредственно.

2. «Военная галерея Зимнего дворца» – альбом, выпущенный в[еликим] к[нязем] Николаем Михайловичем с хорошими репродукциями всех портретов и экстрактами послужных списков оригиналов. Напечатан в 1912 году в Экспедициях заготовления государственных бумаг в СПб.

И то и другое издание – библиографическая редкость ныне. А засим от всей души желаю Вам быть здоровым.

В.Глинка
Без даты



В.М.ГЛИНКА – Н.Я.ЭЙДЕЛЬМАНУ

Комарово 28.X.71

Глубокоуважаемый Натан Яковлевич!

Очень вероятно, что это письмо не окажет на Вас того действия, на которое я надеюсь, но не написать это я положительно не могу.

Много-много лет я мечтал написать повесть или научно-популярную книгу о декабристе Иване Ивановиче Сухинове. Вижу теперь (да уже не один год, как вижу), что мне этого не сделать. И лет многовато, и силы сдали, и другие работы уже начаты, но далеко не dokonчены. Сколько ни оглядывался я вокруг (тоже не один год), ища человека, который, по-моему мнению, мог бы выполнить этот труд, и такового не находил, пока не прочел Вашу умную и благородную книгу о М.С.Лунине.

Уверен, что Вы помните многое о Сухинове, и все же решаюсь немного рассказать о нем. Ведь он единственный из декабристов, кроме Лунина, не сложивший оружия после суда и ссылки. Он один пытался поднять восстание сибирских каторжан, чтобы освободить декабристов. Этот человек во всей своей жизни полярно противоположный высокообразованному аристократу кавалергарду Лунину. Среда по рождению – мелкочиновничья, с учебой на медные гроши, служба солдатом в 1812–14 гг. и младшим офицером в армейской пехоте, прозрение и перерождение от сближения с С.И.Муравьевым-Апостолом, действенное, смелое участие в восстании Черниговского полка и удивительное, подлинное благородство чувств, когда мог бежать за границу. Был на ней и предпочел разделить судьбу единомышленников, сам отдался в руки полиции. Путь в Сибирь пешком, закованным, с каторжниками, подготовка к бунту и самоубийство, когда бунт не удался. Это самый близкий к народу декабрист, и в то же время вполне декабрист по высокому настрою души. Подлинно трагический путь ныне забытого героя. Как хотелось бы, чтобы о нем было написано. Подумайте об этом, пожалуйста, и будьте здоровы.

Ваш В.Глинка



Н.Я.ЭЙДЕЛЬМАН – В.М.ГЛИНКЕ

13 декабря 1971 года

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

Я все время убегаю из столицы, чтобы поработать хоть немного, и поэтому ответил Вам с опозданием и извинениями – и на Ленинградский адрес (может быть, Вы уже не в Комарове?).

Письмо Ваше очень меня растрогало и обрадовало – как раз я собирался огорчаться из-за разной суеты, а, прочитав Вас, понял, что есть вещи, поважнее всех сует.

Мне очень приятно и даже неловко за столь лестное ко мне доверие. Спасибо Вам!

Позвольте только не поверить Вам насчет того, что «силы сдают», ей-ей, по последним книгам видно обратное – я всем рекомендую «Непейшына» как редкую в наши дни познавательную и добрую, очень нравственную книгу. Я, кстати, зашел в «Новый мир» и предложил тему для рецензии, но там почти все сменились за последний год и говорить нелегко. Я бы охотно и радостно написал – да вот не найду «продюссера».

О необыкновенности Сухинова Вы, конечно, совершенно правильно написали, и вот что я думаю по этому поводу.

В серии ЖЗЛ декабристская тема сейчас не идет – новый глав. ред. (ленинградец) Семанов не жалует 14-е декабря.

Однако есть серия в Госполитиздате «Пламенные революционеры» – они требуют книги в 15–20 листов, желательны романы или документально-беллетристические сочинения о героях, которых они сами (т.е. издатели) отобрали и «утвердили». Я высмотрел себе в их списке Сергея Муравьева-Апостола (Сухинова там нет) – но на далекое будущее, сейчас они уже заполнили свой «стол заказов», но года через полтора-два разговор возобновится. Я этому промедлению рад, потому что сейчас по горло завяз в большой 20-листовой книге для издательства «Мысль» – «Секретная политическая история XVIII–XIX веков в вольной российской печати» (кстати, в феврале-марте поеду в Ленинградские архивы и был бы рад, если это возможно, повидать Вас).

Итак, в некоторой перспективе сухиновская тема существует как элемент муравьевский. Но все же я думаю, что лучше Вас никто бы не написал об Иване Ивановиче Сухинове: кто же сейчас так знает и чувствует тот старый армейский офицерский быт?

Поэтому, я думаю, лучше, если бы мы так поступили:

1. Вы присылаете подробный проспект книги о Сухинове.

2. Я иду к «Пламенным революционерам» и, пользуясь некоторыми уже завязавшимися знакомствами, стараюсь убедить их насчет внесения в их план и этой темы – тем более, что они очень хотят, чтобы у них было побольше авторов немосковских, да обязательно – членов Союза писателей.

Что Вы думаете о таком решении вопроса?

Буду рад получить новую весть от Вас (и буду стараться быстрее и убедительнее отвечать!).

Будьте здоровы. Всего Вам лучшего и пользуюсь случаем поздравить Вас с 1972-м.

Н.Эйдельман

(О декабристе Сухинове впоследствии все же было написано, но не Н.Я.Эйдельманом и не В.М.Глинкой, а Я.А.Гординым – М.Г.).



В Пушкинскую Комиссию при Отделении Литературы и языка Академии Наук СССР
В редакцию журнала «Нева»
На кафедру Судебной медицины Института Усовершенствования врачей им. С.М.Кирова

В связи с имевшим место 8 октября с.г. заседанием кафедры судебной медицины ГИДУВа, на котором был заслушан доклад врача, судебного эксперта В.Софронова, ранее опубликованный в сокращенном виде под названием «Поединок или убийство?» в журнале «Нева» № 2 за 1963 г., считаем необходимым сообщить Вам наши соображения по существу трактуемых тов. Софроновым вопросов.

Тов. Софронов утверждает, что на дуэли с Пушкиным Дантес вышел к барьеру, облаченный в кольчугу, или снабженный другим защитным приспособлением, делавшим для него поединок совершенно безопасным.

По мнению автора статьи, основанным будто бы на «изучении военной одежды и перемен ее с 1800 по 1850 годы», Дантес на дуэли с Пушкиным был одет в сюртук, на котором пуговицы располагались «в один ряд на средней линии груди». Именно на этом основании тов. Софронов и утверждает, что злонамеренной ошибкой являлось принимаемое до сих пор без критики положение, будто пуля Пушкина была отклонена от правой стороны груди Дантеса пуговицей форменного сюртука.

Между тем, элементарное знакомство с историей русского военного костюма убеждает в том, что никогда никаких офицерских однопортных сюртуков с пуговицами, расположенными «в один ряд по средней линии груди» не существовало. Более чем странным, является и утверждение автора, что «кроме кавалергардов никто сюртука не имел», в то время как с начала XIX века и вплоть до войны 1914 года их носили почти все офицеры русской гвардии и армии.

Указанная неточность уничтожает всю концепцию тов. Софронова, согласно которой «линия пуговиц далеко отстояла от места удара пули в грудь Дантеса». В действительности же пуговицы на двубортном сюртуке находились именно на боковых линиях груди, почему не случайно современники дуэли соглашались с существовавшей версией, объяснявшей попаданием пули в пуговицу легкость ранения и контузию Дантеса.

По поводу утверждения тов. Софронова о характере офицерских пуговиц того времени, будто бы сделанных «из тонкого олова, покрытого сверху тончайшими листиками латуни», следует сказать, что известные нам образцы таких пуговиц вылиты из серебра или некоторых сплавов. Из олова же и меди, поскольку нам приходилось наблюдать, изготавливались пуговицы лишь для солдатских мундиров.

Нельзя не отметить также целый ряд других совершенно несостоятельных «аргументов» тов. Софронова.

Выводы автора основываются не на использовании каких-либо новых фактов и не на установлении новых данных в результате глубокого анализа известного материала, а лишь на априорных предположениях, которые не подтверждаются никакими доказательствами. Подбор подобных «умозаключений» и подводит к выводу, который должен был бы рассматриваться также в виде предположения, но преподносится, как факт. В настоящее время в нашей печати уже появился ряд заметок, в которых гипотеза тов. Софронова предлагается читателям в качестве сенсационного открытия. Быть может, эти легковесные конструкции и способны впечатлить неопытного читателя, к тому же исполненного понятной, неизбывной ненависти к убийце великого поэта, но серьезной критики они не выдерживают.

Примером «метода» нашего автора может служить хотя бы следующее рассуждение, которое должно подготовить читателя к тому выводу, что Дантес и его секундант нарушали правила дуэли:

«Как родственник, д'Аршиак мог дать Дантесу пистолеты для пристрелки. А это было бы не только нарушением дуэльного кодекса, но и преступлением!»

Но ведь в нашем распоряжении нет и намека на то, что д'Аршиак давал Дантесу пистолеты для пристрелки, как нет и других данных, порочащих секунданта Дантеса.

Или:

«Под угрозой гибели на месте поединка такой бесчестный человек, как Дантес, мог пойти на любую подлость. Тем более что имел дело с Пушкиным и Данзасом – людьми слишком доверчивыми, которым и в голову не могла придти мысль о каких-либо ухищрениях противника».

Но, во-первых, низкие нравственные качества Дантеса были Пушкину совершенно очевидны, что и доказывает дважды сделанным вызовом. Во-вторых, в отношении друга и секунданта поэта инженер-подполковника Данзаса никак нельзя предположить, чтобы этот прославленный своей храбростью боевой офицер и безупречный в вопросах чести человек, мог оказаться «слишком доверчивым», т.е. небрежным к любой мелочи дуэли, как к поведению дуэлянтов, так и к оценке равноценности их оружия. Поэтому, если как пишет сам тов. Софронов, Данзас утверждал, что пистолеты Пушкина, купленные в магазине, «были совершенно схожи с пистолетами д'Аршиака», нам кажется необидительным выводом, сделанный автором статьи, будто пистолеты дуэлянтов «могли быть и были в действительности различного калибра и убийной силы».

Еще одним примером легкости, с которой тов. Софронов обращается с фактами, может служить заключительный абзац, посвященный обвинению Дантеса:

«Собственная жизнь для таких людей была дороже их дворянской чести, которая была слишком отвлеченным понятием для скороспелых дворян времен Наполеона».

Однако, семья Дантесов не может быть отнесена к «скороспелым дворянам времен Наполеона»: Дантесы получили дворянство еще при Людовике XV. К тому же, именно военное дворянство времен Наполеона славилось своей храбростью, как на полях сражений, так и у дуэльных барьеров. Общеизвестно, что в период реставрации Бурбонов бывшие бонапартистские офицеры буквально превратили дуэль в средство политической борьбы с роялистами. Наконец, уместно ли для советского исследователя рассуждение, закрепляющее за старым дворянством привилегии чести и храбрости, звучащее несколько комично и в наши дни.

Разумеется, мы не хотим ни в чем смягчать несмыслимой вины темного авантюриста Дантеса. Этого безнравственного проходимца навсегда приговорил стих Лермонтова:

**«Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог шадить он нашей славы...»**

В России Дантес был бездельником на службе, пустым хлыщом в петербургском «свете», холодным, бездушным орудием заговора царя и придворной клики против величайшего поэта, как позже, у себя на родине, он стал бесстыдным торговцем политическими убеждениями и циничным участником финансовых спекуляций правящей плутократии империи Наполеона III.

Человек такого сорта был способен на многие грязные дела – унижить подчиненного, оскорбить женщину, разорить бедняка, сражаться в рядах иноземных войск против своего народа и т.д. и т.п. Но чего Дантес не мог сделать –



А.Л.Раков и В.М.Глинка.
1960-е гг.

надеть кольчугу, отправляясь на дуэль: даже в случае легкого ранения в шею или в плечо это привело бы к такому позорному разоблачению, которое люди «высшего круга», способные не заметить и забыть любую подлость из отмеченных выше, никогда бы не простили. Это был бы скандал, после которого ни в России, ни в каком-либо другом месте Европы, Дантеса не пустили бы ни в один дом, принадлежащий людям его круга, ни один из бывших его знакомых не узнал бы его на улице, не подал бы ему руки. С точки зрения людей «большого света», с точки зрения представителей правившей тогда военно-феодальной верхушки это был бы проступок, не заслуживающий ни малейшего снисхождения. Надо совершенно не знать и – главное – не понимать жизненного уклада и традиций этой среды, способной, повторяем, простить многие преступления, но не уклонение от вызова на дуэль или попытку при помощи защитного приспособления обезопасить себя от пули противника. Такое представление входило в сложившийся веками кастовый «кодекс чести».

Доктор юридических наук, профессор	Я.Давидович
Кандидат исторических наук, доцент	А.Раков
Член Союза писателей	В.Глинка

Ленинград 14-Х-63 г.

Лев Львович Раков (1904–1970) – ученый-античник, знаток истории русского военного костюма, драматург – в разные годы был ученым секретарем Эрмитажа, устройтелем и первым директором Музея обороны Ленинграда, директором Публичной библиотеки. В шестидесятые годы мне посчастливилось каким-то образом завоевать его доверие и очень часто с ним видеться. Не решаюсь употребить слишком лестное для меня слово «дружить» – между нами было больше тридцати лет разницы. Это был, несомненно, человек министерского ума, к тому же античного масштаба администратор. Да еще и ученый-энциклопедист и редкостно живой, остроумнейший собеседник.

Пунктов несогласия в их разговорах с Владиславом Михайловичем было немало, но самым главным был спор у них о роли Петра I. Дядя исповедывал пушкинскую традицию, Лев Львович считал Петра правителем, совершившим множество непростительного. Сюда он относил и канцелярско-бумажный формализм, и насильно насаждаемые им в России обычаи чуждого ей быта и, конечно, страшную жестокость Петра.

Сидел Лев Львович дважды. Первый раз его приговорили в тридцать седьмом, второй – в пятидесятом. Он рассказывал, как однажды поздней осенью сорок восьмого года он был поднят ночью. Офицеры госбезопасности, ничего не объясняя, привезли его в Музей обороны, а через некоторое время туда же приехал Берия. Одежду Ракова ошупали, и ему было приказано следовать в двух шагах за министром. Сзади шли еще двое. Берия медленно прошел из конца в конец экспозиции, приостановившись лишь около стоящих вдоль стен снаряженных гильз и обезвреженных бомб. Пенсне его блеснуло.

Когда Ракова арестовали, то первую неделю допросов ему не давали спать. Вменялось ему в вину то, что он создал склад оружия для перехода Ленинграда на сторону Финляндии. Можно было сказать – на сторону Норвегии или Боливии, роли это не играло. Приговорили его к двадцати пяти годам тюрьмы и повезли куда-то в товарном вагоне. Лежать ему досталось около плохо подогнанной откатной двери. В шель под дверь иногда удавалось что-нибудь увидеть. Однажды ночью состав медленно прополз мимо освещенной прожекторами станции. Раков увидел ноги часового, приклад винтовки, бетон голый, залитой мертвым светом платформы, а потом в строгом порядке, во много рядов мимо поплыли белые ноги в белых сапогах. Он ничего еще не мог понять, пока ноги не сменились белыми торсами Сталина. Сборный гипсовый памятник жалал рассылки по колхозам. Раков говорил, что только после этого ночного видения он понял, что в его аресте нет никакой ошибки.

Сидел он потом (до 1954 года) в тюрьме города Владимира. В камере их было четверо: А.Л.Раков – историк, Даниил Андреев – религиозный философ и поэт (сын писателя Леонида Андреева), академик В.В.Парин (впоследствии руководивший медициной космических полетов) и немецкий генерал, военнопленный. Про такую отсидку я, признаться, слышал единственный раз в жизни. Они читали друг другу лекции, каждый по своей науке. Первые трое написали огромный двухтомник лукавых сатирических биографий вымышленных деятелей всех времен и народов – «Новейший Плутарх», иллюстрировали его сотнями замечательных рисунков, сочинили (да как!) недостающую «декабристскую» главу «Евгения Онегина». О смерти Сталина узнали по гробовому молчанию начальства и по траурной музыке, доносившейся с городского катка.

«Новейший Плутарх» – уникальный образец книги, не только написанной, но иллюстрированной и даже переплетенной в тюрьме, а также повесть с вошедшей в сюжет, якобы утерянной ранее главой «Евгения Онегина», переданы мной в рукописный отдел Национальной библиотеки. Там же и огромный трактат Ракова «История русской форменной одежды» с тремя сотнями иллюстраций.

Труд не окончен: от рынд, окольныхчих и стольников он доведен лишь до начала XIX века... Льву Львовичу не хватило отпущенного ему времени.

Однако, возвратившись на шажок обратно, к лукавым, порой даже плутовским новеллам, написанным в тюрьме, хочется особенно отметить в натуре Льва Львовича это умение смеяться на краю пропасти. Да и в обычной жизни речь Льва Львовича, почти любая его реплика имела какую-нибудь подкладку – шутивную, ироническую, сатирическую, мистификаторскую. К тому же разговор с ним был постоянным экзаменом. И нынешний бесконечный конвейер телевизионных угадаек и соображек – «Поле чудес», «Слабое звено», «Кто, где, когда?», «Клуб знатоков» и т.п., – кажется мне адаптированной телеверсией того спектакля, который я видел когда-то вживую и с другими актерами.

Чаще всего, конечно, эта игра в «слабое звено» касалась неточностей в сказанном или написанном. Естественно, что неучей и профанов не ловили – это неинтересно, интересно было помериться силами с профессионалом.

Вот пример. Прочтя «Капитальный ремонт» Л.Соболева Лев Львович написал автору письмо, в котором, сначала рассыпался в комплиментах, а затем доказал, что главное действующее лицо книги – линейный корабль, если уж он обязательно должен быть назван именем Суворова с титулами – мог иметь пять вариантов названий, но только не такое, которое дал кораблю автор. Ответ Соболева пришел вскоре. Он чрезвычайно польщен вниманием... Только в Петрограде–Ленинграде, городе эрудитов, мог найтись столь тонкий знаток...

И если бы только книга уже не разошлась... А сейчас, увы, уже нет никакой возможности...

Темы второго письма Льва Львовича со второй шпилькой не помню. Знаю только, что Соболев ответил очень сухо. Мол, стоит ли обращать внимание на мелочи... Помню тему третьего письма. Гардемарин Ливитин, писал Раков, садится в вагон первого класса, и вагон этот синий. Так оно и было на всех дорогах России: первый класс – синие. Кроме Финляндской дороги, по которой собирается ехать Ливитин, – здесь вагоны первого класса были желтые... На это письмо Соболев не ответил.

В той же Владимирской тюрьме, где четыре года провел Раков, сидел в эти же годы и Василий Шульгин, бывший лидер правого крыла последних Государственных дум, издатель монархической дореволюционной газеты «Киевлянин», один из тех двоих, кто принимал отречение Николая II...



В.М.Глинка и В.В.Шульгин. 1970

А.В.Помарнацкий, В.Н.Петров и В.М.Глинка на встрече с В.В.Шульгиным. 1970



Шульгина взяли в 1944-м в Югославии и сидел он до 1956 года, выйдя из тюрьмы семидесяти восьмью лет. Казалось бы, жизнь кончается, но это было далеко не так. Прошел еще почти десяток лет, и режиссер Ф.М.Эрмлер предложил Шульгину сняться в главной роли в фильме, где Шульгин играл самого себя. От антисемитизма Шульгина, которым он был известен в молодости, давно не осталось и следа под влиянием эмигрантской, а затем и тюремной жизни, всем, кто знал Шульгина в те годы, это было известно, в том числе, конечно, и Эрмлеру. Они вместе стали работать над фильмом, назывался он «Перед судом истории». Эрмлеру в это время было 66 лет, Шульгину – 87. В перерывах между съемками Эрмлер с тревогой спрашивал у ассистентов:

– Ну, как он там? Доживет?

То же самое, но только об Эрмлере, спрашивал с трудом переводивший дух после жары под съемочными софитами Шульгин.

Я видел этого очень старого человека в 1970, а затем в 1972 году. Так случилось, что он гостил тогда в Ленинграде у моего приятеля. На чей-то лукавый вопрос о том, за кого он будет голосовать (приближались очередные выборы) Шульгин показал, вынув из бумажника, два документа, при помощи которых живет в СССР. Это были «вид на жительство» (что-то вроде паспорта без герба) и гостевой билет на XX съезд партии за номером 0002, лично врученный ему Хрущевым.

– А голосовать, – сказал он, – нэма дурных.

Все годы после тюрьмы Шульгин просил разрешения уехать за границу к сыну. Он отсидел свой срок, снялся в фильме четырежды лауреата Сталинской премии, издал книжку с призывами к русской эмиграции отказаться от враждебного отношения к СССР. Он думал, что хоть эта книжка поможет, но не помогла ни конформистская книжка, ни личное знакомство с Хрущевым, ни то, что ему было 85, потом 90, а потом уже и 98 лет... Так и не пустили.

Портрет А.М.Булатова.
Карандашный рисунок



ПИСЬМО В.М.ГЛИНКИ А.А.БУЛАТОВУ.

Апрель 1975 г.

Дорогой Алеша!

Сведения, сообщаемые ниже, частично почерпнуты мной из печатных источников, частично из документов, увы, погибших в Старой Руссе в 1919–20 гг. и в 1941–42 гг., а также из рассказов моего отца.

Не знаю, с какого времени, но в середине XVIII века Булатовы принадлежали к мелкопоместному дворянству Крестецкого уезда Новгородской губернии. Отец и дед нашего с тобой прадеда Алексея Мироновича служили унтер-офицерскими чинами лейб-гвардии в Измайловском полку и с получением чина армии прапорщика выходили в отставку, после чего жили в деревне, в усадьбе Романово. Родство свое с лейб-кампанцем Булатовым они решительно отрицали, утверждая, что происходят от какого-то татарского мирзы. Какова была фамилия матери Алексея Мироновича в девичестве мне точно неизвестно, кажется, Небарова (из средней дворянской фамилии, служившей мужской своей частью морскими офицерами), но будто бы она принесла с собой в приданое Рыдино (около 600 десятин леса) в том же Крестецком уезде, где, действительно, в отношении населения было пусто,

А.А.Булатов 3-й и
А.А.Булатов 4-й



т.е. не жило крестьян, и, кроме хвойного, главным образом, леса в изобилии росла только клюква, над чем подшучивали в моем детстве, когда Рыдино принадлежало уже моему отцу. У Алексея Мироновича был старший брат Мирон Миронович, история жизни которого мне почти неизвестна, кроме ее последнего периода. Выйдя в молодые годы в отставку из военной службы, он жил в Романове вместе с незамужней сестрой, нигде ничему не учившейся и почти неграмотной, которая за малым количеством крепостных рабочих рук сама участвовала в полевых работах. Мирон Миронович считался всему хозяином, отличался крайней дряхлостью и копил деньги, мечтая прикупить соседние владения и стать помещиком средней руки.¹ Он не один год торговал у кого-то из соседей деревню, но все не сходилось в цене. Все деньги свои, обмененные на какие-то «казначейские билеты» или другие денежные документы, он всегда носил при себе в шелковом объемистом бумажнике с «секретным» замком. Однажды, где-то близко к 1830 году, он возвращался зимой, в метель, из Крестец с именин городничего, сбился с дороги и спяну обронил где-то свой бумажник. Лошадь сама нашла дорогу к Романову, где и обнаружилась пропажа. Из экономии, чтобы больше было рабочих рук в поле, кучера не держал, ездил всегда один на беговых дрожках или легких саночках в одну лошадь, и винить в потере было некого. Несмотря на самые тщательные поиски, ничего найти не удалось, все следы занесло снегом. От огорчения, вернее даже сказать с горя, Мирон Миронович повредился в уме и летом повесился где-то в поле на одиноком дереве, вокруг которого тшетно искал зимой и весной свои сокровища. А вскоре после этого крестьяне на первой косьбе нашли бумажник в канаве и принесли его «барышне», т.е. сестре М.М. и А.М. «Секретный» замок был цел и даже открылся оставшимся от М.М. ключом, но пачка ценных бумаг так размокла и частично сгнила, что обменять на иные валютные единицы их в Крестцах отказались. Женат Мирон Миронович не был, однако при нем состояла ключницей некая крестецкая мешанка, от какового соседства имелась дочка. После самоубийства скряги «сестрица» быстро спровадила обеих этих особ из Романова без всякого «награждения». Впрочем, ей и дать, верно, им было нечего.

Теперь перехожу к известному мне о жизни Алексея Мироновича. Родился он в 1805 году и «воспитывался», как тогда писали, в 1-м кадетском корпусе в Петербурге, на Васильевском острове. Тогда из корпусов выпускали сразу офицерами, и А.М. в 1821 или 1822 г. был произведен в прапорщики полевой артиллерии. Очевидно, учился он хорошо, так как в артиллерию и саперы выпускали лучших по успехам в науках, особенно в математике. Замечу в скобках, что в те же годы, в том же корпусе, но двумя классами младше обучался и Константин Дмитриевич Глинка (1805–1859), отец Павла Константиновича и Елены Константиновны, который предстояло сочетаться браком с детьми Алексея Мироновича.

Алексей Миронович был выпущен в одну из артиллерийских рот, состоявшихся во 2-й так называемой Южной Армии, расквартированной на Украине и Вольни, со штабом в Тульчине. Первые годы службы он, несомненно, близко наблюдал некоторых из будущих декабристов – членов Южного общества или Общества Соединенных славян, – среди последних была целая группа юных офицеров-артиллеристов.

Из войн Алексей Миронович участвовал только в русско-турецкой 1828–29 гг., на которой, кажется под Варной, был тяжело ранен в лицо «С раздроблением левой челюстной кости», как сказано было в его послужном списке, заверенная копия которого, принадлежавшая Анне Алексеевне Глинка, утрачена в Руссе в 1941–42 гг. В Руссе же находилось несколько писем Ал.Мироновича к брату Мир. Мир., написанных в 1829 г. из Одесского госпиталя. В первом из этих писем – весьма дружественных и подробных, рассказывалась история участия в бомбардировании турецкой крепости, ранения и особенно подробно о мучительном переезде ночью



А.А.Булатов 2-й

на парусном корабле в сильную качку по Черному морю, в болтающейся подвесной матросской парусиновой койке. Сочетание морской болезни с израненным ртом, забитым тампонами из корпии и стянутым перевязкой бинтами вокруг головы, вызывало, вероятно, тяжкие страдания. Под утро, когда качка, наконец, успокоилась, к задремавшему в полном изнеможении Алексею Мироновичу подошли два матроса, исполнявшие на корабле обязанности санитаров и, заглянув ему в лицо, решили: «Ну, его благородие тоже, кажись, за борт», – т.е. сочли его мертвым. «Я поспешил погромче застонать и брыкнуть ногой, чем снова весьма растревожил свою рану», – писал он брату². Затем следовало описание лечения в Одесском госпитале, где ежедневно продергивали сквозь рану вложенный в нее накануне бинт, чтобы «удалять гнилую материю». Несмотря на такой зверский метод, а, м.б. именно благодаря ему, Ал.Мир. поправился совершенно и мог даже нести строевую службу, хотя и значился «раненым 2-го класса».

В другом письме той же пачки, уже перед отъездом в свою часть, А.М. писал, что, будучи незадолго до начала войны в Киеве, он встретил юную девицу, которая впервые в жизни представилась ему возможной супругой, но теперь, со столь обезображенным лицом, он никогда не решится ей даже показаться. Тут же сообщалось, что за войну он награжден орде-

А.А.Булатов 1-й



ном и чином, а в обратном адресе первого письма автор именовался уже штабс-капитаном. Следовательно, по службе он шел хорошо, за семь лет получив чины подпоручика, поручика и штабс-капитана.

Несмотря на грустные строки последнего письма, А.М. женился в 1830 или в 1831 г. именно на той девице, которую увидел в Киеве перед войной. Некоторые подробности этой первой встречи известны мне со слов отца, которому рассказывала их сама героиня романа, моя и твоя прабабушка Елизавета Александровна, рожденная Фредерицы. Какой нации был ее отец, этот самый Фредерицы, я не знаю – верно, из каких-нибудь немцев. Но матушка ее (Елизаветы Александровны), на которой женился оный господин Фредерицы в 1813 году, лежа раненым в бою с французами молодым офицером русской службы, на частной квартире в Кенигсберге, была точно кровная пруссачка, фамилии которой я не помню. К тому же времени, когда появился на сцену Алексей Миронович Булатов, г-н Фредерицы служил в Киеве не то полковником, не то подполковником.

Так вот, первая встреча А.М. с Е.А. произошла в кондитерской, где весьма молодая девица, собственно подросток (она родилась в 1814 году), в обществе своей маменьки покупала «киевское сухое варенье», знаменитые и в моем детстве засахаренные фрукты. Алексей Миронович так ею пленился, что тут же сказал приятелю-офицеру, с которым тут же что-то ел или покупал: «Эта барышня так мила, а е[□] маменька столь почтенна, что я хотел бы представиться и быть принят в их доме». И тут же, отделившись от своего спутника, пошел за дамами по пятам до их квартиры, узнал, кто они и где служит отец Е.А., вскоре нашел способ с ними познакомиться, был приглашен и «стал ездить в дом». Но тогда, в 1827–28 гг. ей было 14–15 лет, даже для того времени рановато стать супругой. Судя по фотографии, которая всегда висела в кабинете моего отца в Руссе, прабабушка Елизавета Александровна имела очень правильное, несколько строгое лицо. Впрочем, на этом снимке она была запечатлена уже вдовой около 60 лет от роду. Алексей же Миронович, судя по портрету, погибшему в Романове, с которого у меня есть карандашная копия, имел глаза на выкате, нос башмачком и большой шрам на лице. Но он был герой, проливший кровь на войне, верный поклонник своей избранницы, и в 1830 или 1831 году они повенчались, после чего, по семейному преданию, прожили очень дружно более 20 лет. Как рассказывала Е.А. своему внуку – моему отцу, А.М. был человеком очень добрым, сдержанным и честным. Он никогда не бил солдат, что являлось тогда большой редкостью, жили они строго на его жалованье, что бывало вовсе не просто, и жена его помнила только два случая, когда он «повысил голос». Во-первых, когда кто-то в обществе сказал, что декабристы были безнравственными людьми, А.М. ответил резко: «Вы молоды, их не знали и не извольте так говорить. А я знал нескольких и могу сказать, что хотя были преступниками перед государем, за что наказаны законом, но нравственность имели чистой и личных интересов никаких не искали». Второй случай «повышения голоса» совсем в другом духе. А.М. рассердился на самое Е.А., когда она не надела что-то теплое из одежды или обуви на некую прогулку, хотя он ей об этом заранее сказал. Последний случай говорит, возможно, о ее беспрекословном повиновении, м.б. только о заботе, существовавшей в этом супружестве. Надо было бы самому услышать этот рассказ, чтобы вернее судить, а я слышал его в пересказе папы, да и сам-то был тогда юн и глуп.

Служил Алексей Миронович счастливо, и в 1843 или 1844 году получил чин полковника. Однако в середине 1830-х гг., когда он капитаном еще командовал батареей, был момент, когда из-за трений с каким-то начальником всерьез подумывал об отставке. В связи с этим взял отпуск и один, без Е.А., отправился в Романово. В Руссе было уничтожено два, кажется, письма А.М. к жене, отправленных из Петербурга, куда он проехал, проведя в «родном гнезде» всего неделю. Тон писем давал представление о полном умении излагать свои мысли и о вполне

дружеских и серьезных отношениях с женой. Алексей Миронович, во-первых, сообщал, что Романово, в котором не бывал с детства, когда отвезли в корпус, – глушь совершенная, дом мал и ветх, обстановка бедная, сада нет никакого, сестрица проста, невежественна и суеверна, она ест, спит, говорит и думает, как крестьянка. Ближние соседи-помещики, которых поспел визитовать, ничем, кроме местных сплетен и обжорства, не помышляют, книг ни у кого нет и в помине. Словом, ехать туда, как очевидно, они было думали, на настоящее житье никак нельзя. Даже если построить новый дом и разбить сад, то жить, как они привыкли, в Романове совершенно невозможно. «Общества нет никакого, поговорить не с кем. Наши офицеры перед здешними помещиками сущие профессоры», – писал он. И в заключение сообщал, что отправился в Петербург искать возможности к переводу «хотя бы в гарнизонную артиллерию», на что имел все права, как раненый 2-го класса. Следующее письмо из Петербурга было очень коротко, в нем говорилось, что перевод обещают, затем шел перечень покупок, сделанным по заказу жены, из чего следовало, что они предвидели возможность заезда его в Петербург. Тут были мотки шелка и шерсти, а также рисунки для вышивок, перчатки и кофейник «аплике», ноты и ленты (по данному образчику), детский серебряный рожок и кукла из лайки.

Детей у них было, кажется, четверо, но двое старших умерли в ранних годах, а двое младших выжили, хотя моя бабушка Анна Алексеевна (1851–1893) была слабого здоровья и умерла от чахотки. Зато Алексей Алексеевич (1847–1905) был здоровяк и в 40 лет поднимал одной рукой пять пудов.

Может быть, тогда же, вскоре после поездки в Петербург, и состоялся перевод Алексея Мироновича в гарнизонную артиллерию (не помню, как это было отмечено в послужном списке), ибо последние годы жизни в чине полковника занимал должность «начальника артиллерийского гарнизона и арсенала в Калуге» и ждал, по словам вдовы, производства в генерал-майоры и перевода на такую же должность в Москву. Но какая же полковница не мечтает стать генеральшей? А, с другой стороны, в полковниках Алексей Миронович просидел уже около 10 лет, когда в 1854 г. пришел конец его жизни.

Очевидно, крупных сбережений в этой семье не существовало. Алексей Миронович действительно не наживался на службе, потому что его вдове пришлось после почетного положения в губернском городе, с большой казенной квартирой, выездом, тремя денщиками и т.п., распродать большую часть своего имущества и уехать в два детства и двумя «девушками»-прислугами в захолустье Романово.

Бог весть, как ладил она с сестрицей и как хозяйничала. Жилось, очевидно, более чем скромно, – вспомни ее домик, существовавший в наше время в Романове. Крепостных «мужска полу» было 10 или 12 душ, так что сразу по приезду Елизавете Александровне пришлось ехать к соседям покупать невесту для своего парня: своих девушек на возраст не случилось, а жених вместе с отцом, пришедший просить барыню «пожаловать женку», указал и возможную кандидатку, так же как имя помещиков. Елизавета Александровна вспоминала об этом как о первом дебюте романовской жизни. С соседями она вскоре перезнакомилась, с некоторыми подружилась. Ездил раз в четыре месяца в Кресты в казначейство получать пенсию «за треть», которая, кажется, исчислялась около 30 рублей в месяц. Отвезла детей в Петербург и определила на казенный счет – Алексея Алексеевича в 1-й кадетский корпус, а Анну Алексеевну в Патриотический институт (Васильевский Остров, 10 линия. Здание сохранилось донныне).

Алексей Алексеевич окончил корпус отлично, мог бы выйти в артиллерию, но вместо того поступил на юридический факультет Университета. Это было в начале 1860-х годов – новое время «великих реформ», новые стремления. Он сорок лет проработал в учреждениях министерства юстиции. О службе его знаю только, что в 1870-х гг. состоял судебным следователем в Старой Руссе, а в конце жизни был

в чине тайного советника членом совета министерства. Одним из его дел было создание эмиральной кассы этого ведомства. Читал когда-то его некролог, где говорилось о редкой честности, знаниях и т.п. Знаю, что его очень уважал и с его мнением считался в специальных вопросах знаменитый юрист и почетный академик А.Ф.Кони, о чем свидетельствовали надписи на его книгах, подаренных Алексею Алексеевичу.

Где познакомил брат и сестра Булатовы с братом и сестрой Глинка я не знаю, но летом 1870, кажется, года в Петербурге и в Старой Руссе в один и тот же день состоялись бракосочетания девицы Елены Константиновны Глинка с молодым юристом Ал.Ал. Булатовым и девицы Анны Алексеевны Булатовой с лейтенантом флота Павлом Константиновичем Глинкой. Такой одновременный брак устраивали потому, что церковь воспрещала подобное перекрестное родство, а тут делалось, будто брачующиеся не знали о совершаемом в другом городе. При вступлении в брак Анна Алексеевна получила в приданое Рыдино, а за Алексеем Алексеевичем осталось Романово. Позже, кажется, около 1908 года, твой отец отдал всю его землю, кроме усадьбы и какого-то луга, потребного для пастбы коров и лошадей, безвозмездно соседним крестьянам.

Брак Алексея Алексеевича и Елены Константиновны оказался не очень удачным: лет через пять или шесть они навсегда разъехались, и я не знаю, какую роль играла мать в воспитании твоего отца и тети Ляли (будущей Марковой), названной в честь нее Еленой, и Веры (в замужестве Бубновой).

Не знаю и того, когда появилась около Алексея Алексеевича-старшего Елена Васильевна, – сначала горничная, а потом сожительница и мать пятерых детей (Алексея, Елизаветы, Елены, Петра и Анны) носивших фамилию Богдановых и отчества Павловичей и Павловн (последняя из них жива еще, Анна Павловна Ягн). Знаю, что Елена Васильевна была родом из-под Старой Руссы, и, м.б., она появилась в семье Булатовых очень рано. Может быть, была причиной того, что навсегда разъехались Елена Константиновна и Алексей Алексеевич. И никто нам теперь уже этого не расскажет.

Вот тебе, дорогой брат Алеша, и весь сказ о предках твоих Булатовых. Исписал мелко 7 страниц, а у бедной Марианны Евгеньевны на машинке выйдет и больше. Перепечатать надо не только, чтобы ты мог разобрать, но чтобы и моему внуку остался один экземпляр. Сам-то я не собрался бы намарать такое сочинение, а, благодаря тебе – вот оно – получай!

Крепко обнимаю. Твой В.Глинка.



Елена Владимировна, мать 5-х детей Богдановых

1 Отец М.М. и А.М. звался также Мироном и по преданию также был скрягой, передавшим старшему сыну накопленное.

2 Здесь и дальше я цитирую эти старые письма по памяти. Я читал их много раз в 1916-19 гг. и считаю, что они в немалой степени пробудили во мне интерес к старине. К сожалению, в мои годы более зрелые их уже не существовало.

В.М.ГЛИНКА – Д.С.ЛИХАЧЕВУ

2.IX.65

Дорогой Владислав Михайлович!

Мы вернулись с дачи, и я узнал, что Вы звонили и спрашивали – получил ли я письмо Ваше. Из этого догадался, что Вы не имеете моего ответного письма.

Альбом Л.А.Ракова толст, тяжел, но и «тяжел» на подъем (речь идет о рукописи Л.А.Ракова «История русской форменной одежды» – М.Г.). Мне кажется, что надо начать с печати. Давайте, сочиним письмо в «Лит. газету» или в «Сов. культуру». Пусть будут подписи: акад. М.П.Алексеева, директоров Эрмитажа и Русского музея, Пушкинского Дома, Акимова, Товстоногова, Эрмлера. Хорошо бы Бондарчука!

После опубликования этого письма надо начать переговоры с изд-вом «Искусство».

С Вами и Л.А.Раковым встретиться мне большое удовольствие. У меня теперь есть дом. телефон: Г 439–81.

Буду ждать Вашего звонка, но звоните, не откладывая: числа 9-го я уеду в Копенгаген.

Всегда Ваш Д.Лихачев

Альбом, несомненно, хорошо пойдет за границу.

Есть у меня к Вам и еще одно предложение. Надо издать с Вашей вступ. статьей для режиссеров, актеров и литературоведов «Хороший тон» Германа Гоппе. Там множество ценнейших указаний для всех, кто ставит или играет пьесы XIX века. Книгу надо издавать по 2-му изданию. Хорошо бы узнали, кто ее автор (Гоппе – редко издается). Англичане издали нечто подобное для театральных работников: «The polite world». Кто знает теперь – как надо носить перчатки, шляпу, как кланяться, управлять экипажем, как вести себя во время музыкального вечера и пр. Книга будет иметь безумный успех. «Best seller».

Д.Л.



Д.С.ЛИХАЧЕВ – В.М.ГЛИНКЕ

2/XI/76

Дорогой Владислав Михайлович!

Я договорился в КЛЭ («Краткая Литературная Энциклопедия» – М.Г.), что напишу о Вас статью, объемом в 1 страницу. Сегодня уезжаю отдыхать. Статью сдам им в январе. Вернусь из отпуска 25 декабря. К этому времени прошу Вас дать мне материал о себе (биограф. сведения, библиографию) и фотографию в 2 экз. (хочу настаивать на фотографии, но еще не договорился). С материалом, пожалуйста, не спешите, так как я хочу написать о Вас в одной своей книжке. Не могли бы Вы дать мне оттиск (еще один) Вашей статьи в Трудах Эрмитажа об узнавании лиц на портретах? Представьте себе: в КЛЭ Вас считали историком? Так оно, конечно, и есть, но не все же в этом?

Любящий Вас
Д.Лихачев

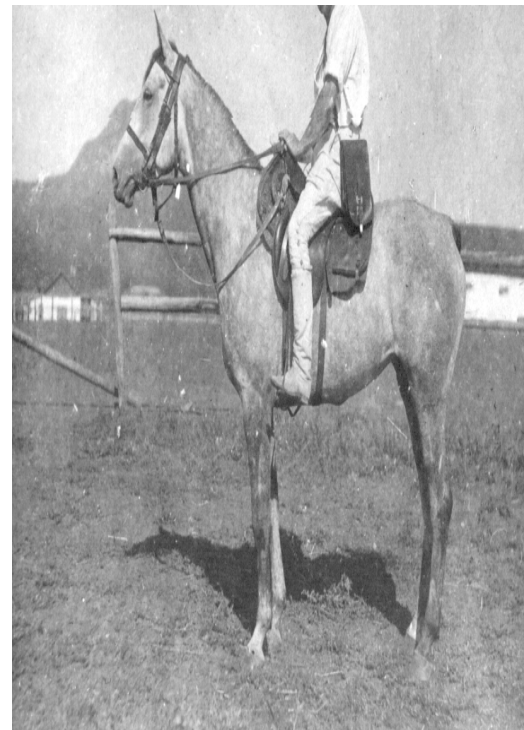


В.М.ГЛИНКА – Д.С.ЛИХАЧЕВУ

Ноябрь 76 г.

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Думаю, что помимо знакомства Вашего с моими книгами и тех сведений, которые прочтете в бумагах, скопированных с ранее писанного для официальных инстан-



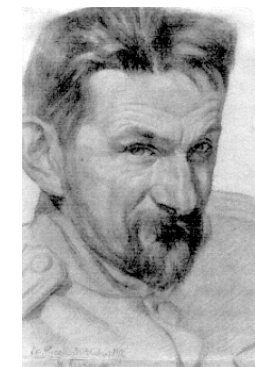
П.К.Глинка. 1900. Севастополь

ций, мне следует сообщить Вам еще кое-что о себе, выходящее за рамки анкеты.

Прежде всего напишу, что лучшим в себе (видя также немало и дурного) я обязан влиянию и примеру отца Михаила Павловича Глинки (1872–1939), гуманнейшего из людей, которых знал. Он был врачом идейного типа, шедший в любую час суток на призыв больного, часто неся с собой не только лекарства и пищу, если мог предположить, что они нужны, но порой и деньги. Это совсем не значит, что отец при частной практике не получал гонораров от состоятельных пациентов, но у него никогда не было «таксы», а при выходе из его кабинета стоял глубокий керамический ковш, в который и опускали любую сумму, какую считали сообразно своим средствам. Мама моя была доброй помощницей отцу всегда и во всем.

Большое значение в моем детстве и отрочестве сыграла няня Елизавета Матвеевна – крестьянка прильменской деревни Буреге, умершая в 1970 году за 90 лет отроду и похороненная рядом с моим отцом и бабушкой в Старой Руссе. Ее вера в Бога,

М.П.Глинка. 1917. Рисунок Я.А.Корнфельда



как высшее начало добра и справедливости, вековое крестьянское поклонение любому труду, своеобразные афоризмы и поговорки, сама деревенская очень выразительная речь, вошли в меня вместе с ее заботами о здоровье, сне, физической и нравственной чистоте и прилежании в учении. Впрочем, речь и идеология красноармейцев, в среду которых я вступил в 1919 году, были также очень мало тронуты городским налетом. Все эти, за малым исключением, недавние крестьяне думали и говорили очень близко к моей няне, хотя многие из них прошли войну с немцами и в различной форме и степени участвовали в революции. Много из того, что видел тогда, кажется теперь довольно странным. То, скажем, что при купанье в Дону в августе 1919 года на подавляющем большинстве красноармейцев оказались нателные кресты, или что в том же полку на 1000 бойцов и командиров было менее 20 членов РКП(б). И дрался полк с деникинцами отчаянно. Но это так – стариковский «отскок» в сторону.

Выше упомянутая бабушка была вдовой довольно известного в 1880–1900-х годах публициста С.Н.Кривенко (1847–1907), редактора «Русского богатства». Хранившийся у нее архив деда из сотни записочек и писем Тургенева, Салтыкова, Гаршина, Михайловского, Шелгунова, Плещеева, Короленко и многих других, был для меня первым благоговейным чтением ненапечатанных историко-литературных документов.

Дед по отцовской линии – Павел Константинович Глинка (1844–1902) – происходил из мелкопоместных дворян. У моего прадеда было 29 душ крестьян «мужеска пола» в деревеньке близ Смоленска, доставшихся в 1856 г. старшему брату деда, для управления ими вышедшего в отставку из флота, по воле овдовевшей матери. А дед мой всю жизнь существовал одним жалованием морского офицера, в молодости плавал на паро-парусных клиперах вместе с К.М.Станюковичем и окончил жизнь в чине генерал-лейтенанта по адмиралтейству. Но будучи горячим поклонником реформ 1860-х гг. – освобождения крестьян, гласного суда, всеобщей воинской повинности и земства, отклонил сыновей от военно-морской службы и дядя стал адвокатом, а отец мой – врачом, молодые годы отдавшим земству, начав с больнички в глухой деревушке в 70 верстах от ж.д.

Атмосфера в нашем доме в годы моего детства и отрочества была, вероятно, типичной для состоятельной провинциальной интеллигентской семьи того времени. По субботам собирался круг друзей с женами человек более 20-ти: педагоги, врачи, два офицера местного полка, которых отец случайно перевязывал, служа в соседней части в 1905 г. в бою у Путиловской сопки, в Манчжурии. Несколько человек играли в винт, остальные слушали музыку – квартет или квинтет любителей, игравших, по-моему, недурно от Гайдна до Рахманинова. Помню разговоры и споры о Чехове, Куприне, Бунине, Андрееве, Гауптмане и Гамсуне. Ужинали с малым количеством вина и расходились около часу ночи. Следует, пожалуй, добавить, что летом Русса преобразалась, и курортный сезон в парке минеральных вод играл симфонический оркестр под управлением Токаревича, Вольф-Израиля, Цанибони – второстепенных, но серьезных дирижеров. Гастролировали концертанты – певцы и балет. А главное, весь сезон играл драматический театр К.Н.Незлобина – тогдашний серьезный соперник Московского Малого театра, ныне забытый, как частная антреприза. Мы, подростки, пересмотрели в нем всех русских классиков, и я помню 600-й спектакль «Орленка» Ростана, в финале которого почти весь театр плакал или хоть сморкался.

Война 1914–1917 гг. все перевернула и в нашей семье. Отец был сразу же мобилизован. Через два года ушли оба мои брата, старший из них погиб в Гражданскую войну при неясных обстоятельствах, служа на санитарном поезде, второй, став позже агрономом, был мобилизован как командир запаса в 1941 г. и убит в бою под Ленинградом.

Вероятно, отрочество, совпавшее с войной 1914–1917 гг., и длинная вереница предков военных (публицист Кривенко также в молодости послужил офицером),

сказалось в моем интересе к военным людям, но не столько к тому как и чем воевали, к тактике и стратегии, а как и чем жили эти вояки, что думали и чувствовали, чему учились, как воспринимали свою службу, исповедывали преданность родине, относились к начальникам и подчиненным.

Я всегда буду благодарен судьбе, что ввела меня в среду музейных работников в 1920–1930-х гг. – бедняков, живших на очень скудную зарплату, но подлинно любивших доверенные им памятники прошлого. Однако, проведя в этой среде беспрерывно 35 лет, я остался дилетантом – не стал специалистом по изобразительному искусству, нумизматике, керамике или мебели. Опять же меня интересовала общая картина прошлой жизни – материальной и духовной: что люди носили, чем занимались для развлечения, что читали, во что верили, что прощали друг-другу, а что считали позором. Эти интересы привели меня к театру и кино-фабрикам в качестве «консультанта по быту» и к собственному писательскому труду. Захотелось расска-



Н.Кривенко. 1892



Няня Елизавета Ложкина с Владиком. 1903

зять о прошлом, которое я познавал через прикосновение материальное и духовное к его памятникам, и видел порой очень ясно, как мне казалось.

В моей официальной автобиографии пропущено, что около трех лет я работал научным сотрудником Центрального Исторического архива (в бывшем Сенате), заведя фондами министерства двора и уделов. В 1937 г. меня оттуда «сняли» без объяснения причин и сдачи кому-либо дел. Позже оказалось, что в это время на Северном Кавказе арестовали моего брата Сергея Михайловича, работавшего там на военно-конном заводе. Просидел он до весны 1940 г., когда был полностью реабилитирован, а в 1941 г. призван в армию и убит под Колпино 13-го марта 1942 г. Пишу об этом здесь потому, что возня с документами тоже мне что-то дала как писателю – дух и стиль времени в росчерках гусиных перьев, в следах песка на коричневых строках. А главное – ясные очертания социальной системы от Павла I до 1917 г. и вереницы чиновных людей – лжецов, льстецов, лицемеров и казнокрадов, работавших рядом с трудолюбивыми и честными, сберегавшими казне каждую копейку. За документами вставляли живые люди; каждый со своим характером, биографией, уровнем образованности, кругозором. Мы – трое сотрудников архива – даже составили сборник документов по удельному хозяйству с большим комментарием и вступительными статьями. Его оплатили на 60% и он где-то почит в пыли того же архива. А там есть не главы, а романы, несмотря на, казалось бы, чисто экономическую тематику заглавия.

В те годы, т.е. 1930-е, я начал ночами писать прозу. Ночами потому, что у меня было три места работы и, уйдя из дому в половине девятого, я возвращался через полсутки, ел, спал и часа три в ночь писал. Конечно, раньше, в 20-х годах я начал как все, со стихов, тоже на исторические темы, но потом перешел на прозу. Наконец, написал рассказ, который одобрили мои близкие и я сам. Не будучи знаком, я понес его Евгению Львовичу Шварцу, с чьей легкой и доброй руки его взяли в «Костер». С того и пошло мое не очень-то обильное печатание, отраженное в прилагаемом списке, кроме газетных статей. Как, верно, у многих писак, есть немало и лежашего «в столе» – две пьесы, повести, рассказы. По мне, они не худшие, а вот не пошли же.

Просматривая список напечатанного, Вы можете заметить, что с 1949 по 1959 гг. не вышло сколько-нибудь объемной книги. Это объясняется тем, что большая семья требовала непрерывных заработков. Во время войны мы с женой усыновили двух детей убитого брата, вдова которого вскоре скончалась. На нашем же иждивении оказались и обе состарившиеся мамы. Я хватался за любую работу, главным образом консультационную. Потом стало легче – дети кончали ВУЗы. В 1957 г. Георгий Петрович Блок познакомил меня с редактором Московского Детгиза Г.А.Дубровской, которая сразу приняла мою заявку на повесть о гравере Серякове и с тех пор совершенно бескорыстно провела через издательские Сциллы и Харибды уже четыре мои книги, дай ей Бог здоровья! Достоинно внимания, что заявки на все три исторические мои повести – о Серякове, Непейшине и об Иванове (рукопись 2-го тома отправил в ноябре в издательство) ранее предлагались мной в «Молодую гвардию» и «Советский писатель», откуда получал кислые отказы.

Простите, дорогой Дмитрий Сергеевич, за сумбурное и длинное письмо. Но этакое, нечто вроде творческой автобиографии, пишу впервой и не совсем уверен, что именно нечто подобное Вам хотелось бы получить. Конечно, теперь больше всего мечтаю написать о блокаде, которую всю провел здесь и о которой ничего до конца правдивого еще не читал. Но это скорее мемуары, к которым начинает тянуть все сильнее, по закону возраста.

Если что захотите узнать дополнительно – позвоните, – отвечу устно или письменно, как Вам будет угодно.

В.Глинка

Д.С.ЛИХАЧЕВ – В.М.ГЛИНКЕ

19.VII.82

Дорогой Владислав Михайлович!

Спасибо Вам за интереснейшее письмо. Ведь Ваша поездка через Новгород в Старую Руссу в мае 1944 года совпала и с моей поездкой в Новгород тоже по командировке ИРЛИ (В.А.Мануйлова). Кажется Виктор Андроникович предложил мне поехать вслед за Вами. Тоже ночевал в здании б. Дворянского собрания, тоже видел бурьян и траву на месте города. Тоже пели соловьи, заливались. Ходил я по Торговой стороне был в Юрьевом монастыре, у Нередицы, на Рюриковом городище, смотрел груды камня на месте Ковалева и Волотова.

А в эту мою поездку гостем на Съезд Общества охраны памятников в Новгороде ездил я и в Старую Руссу. Видел Ваш каменный Дом (ошибка, дом Глинок был деревянным и сгорел во время войны. – М.Г.) недалеко от Дома Достоевского, в котором мне было очень хорошо (лучше, чем в последней квартире Достоевского на Кузнечном). Зав. музеем Вера Ивановна мне пишет, а я ей стараюсь помочь добыть для экспозиции прижизненные издания и устроить небольшую библиотеку в первом этаже. Милые дамы музейные хотят сделать Дом Достоевского маленьким культурным центром. По моей просьбе у нас в Пушкинском Доме будет заниматься Старой Руссой Галаган – добывать книги и пр. Вами в Старой Руссе гордятся (как это приятно!) и, если Вы им еще не послали для библиотеки свои книги, то обязательно пошлите – Вере Ивановне.

Вышел 10-й том Новгородского исторического сборника под ред. В.А.Янина. Там опубликованы частично воспоминания Н.Г.Порфиридова о старом Новгороде. Но уж очень он «старался» – пишет, что старое духовенство – главный виновник гибели старины в Новгороде. Зачем это было ему нужно? Воспоминания уговорил его писать я, но такого не ожидал. Впрочем, в Воспоминаниях есть и фактическая сторона, которая все же пробивается «скрозь» хронический испуг. А в Ясной Поляне служит тоже Румянцев. Его жена похоронена в Комарове и он приезжает изредка на могилу, а всегда еще бывает и у могилы Веры. Вера лежит под деревянным крестом и очень мне грустно будет заменить дерево каменной плитой – как это сейчас принято («модно»), но придется, ибо камень навсегда. Наброем византийский крест (выбрал из Вериных книг), но добыть камень трудно.

Об уничтожении памятников на Бородинском поле мне подробно рассказывал Ник. Иван., с которым бы хорошо Вам познакомиться. Происходило что-то фантастически нелепое, отвратительное. Черепом – Багратиона – играли в футбол – царский де сатрап. Все-таки что-то сейчас повернулось в головах людей к лучшему. Будем на это надеяться.

Я так и не зашел к Вам по поводу «Петербурга»: навалились не только дела, но и новые несчастья... Зин. Алекс. Вам сердечно кланяется. Привет большой, большой Наталии Ивановне.

Любящий Вас Д.Лихачев

Г.В.ВИЛИНБАХОВ О В.М.ГЛИНКЕ

(расшифровка магнитофонной записи)

Про Владислава Михайловича мне трудно говорить как про В.М.Глинку, потому что всю мою сознательную жизнь он был для меня «дядей Владей». И тут, конечно, дело двойное – с одной стороны, раннее знакомство с ним и дружба – это удача, даже счастье, но с другой стороны, я был лишен той неожиданности, которая подстерегала других молодых сотрудников, когда они, придя работать в Эрмитаж, впервые встречали Владислава Михайловича. Это, мне кажется, можно сравнить с тем, как еще задолго до того, как подошел к берегу моря, ты ощущаешь какой-то звуковой фон, гул какой-то. Никогда не видевший моря, ты не знаешь, что это такое, и, лишь выйдя на берег, понимаешь – это прибор... Я думаю, что те, кто тогда приходил работать в Эрмитаж, если не в первый день, то на второй наверняка, еще ни разу Владислава Михайловича не видя, уже о нем слышали – в музее нельзя было о нем не услышать, и, особенно, конечно, если речь заходила о Русском отделе. Новый сотрудник невольно ощущал предвкушение встречи – что же это за человек, о котором столько говорят, с мнением которого так считаются? А потом происходила эта встреча, и оказывалось, что ожидание – это одно, а реальность – совсем другое. При этом, началось с самого первого впечатления, с того, как дядя Владя выглядел, какая у него



была походка, как он здоровался, как знакомился с молодыми сотрудниками, как он моментально овладевал вниманием, и как, в свою очередь, умел слушать собеседника... Собеседник даже не замечал, как попадал в плен, и потом уже не мог понять, отчего это произошло – от содержания ли тех историй, которые Владислав Михайлович рассказывал, от уровня и стиля обсуждения профессиональных вопросов, который сразу обнаруживался, или от увлекательности, с которой обсуждалась повседневная работа, будь то исследование портрета, анализ проектируемой экспозиции, история отдельных предметов или целых коллекций. Я помню, как все и всегда поражались, как ему удается держать в памяти мельчайшие детали и приметы вещей предметного мира, а также и нюансы мира отношений, а дядя Владя объяснял, что совсем не обязательно все запоминать, или заучивать, например, кто с кем в каком родстве. Надо просто любить, интересоваться и тогда все укладывается в памяти само собой. Но главное даже и не в этом – нужно просто знать, где, в каком справочнике это можно найти, где посмотреть.

Не скажу, что это рисовка, это, конечно был, психологический прием доброжелательного мэтра, который на самом-то деле, вопреки своим словам, обладал огромным объемом знаний, позволявшим ему во множестве случаев обходиться без справочников. Однако мэтр, прежде всего, считал необходимым дать надежду каждому. Надежду, что даже тогда, когда распутать какую-то загадку, связанную с прошлым, кажется уже безнадежным и невозможным, следует вспомнить, что существует пара десятков справочников. Поскольку, когда дело касается портретов, мундиров, знамен – голова закружится у любого. А надо лишь помнить, где о чем можно посмотреть. Владислав Михайлович никогда не давал почувствовать свое превосходство над собеседником, которое порой бывало невероятным, а как бы говорил: вот, до моего возраста дорастешь и будешь знать столько же. И нет тут, мол, ничего необычного.

Что же касается воспоминаний о старых сотрудниках блокадного периода и доблокадного времени, то никто, казалось, не может обрисовать их точнее и характерней, чем он. И еще он был, конечно, связующим звеном с миром тех людей.

Я помню, для меня это было особенно важным, как, мне кажется, и для всей атмосферы в музее, что среди работавших в Эрмитаже были люди, являвшиеся не только крупными учеными, но и личностями, пользовавшимися огромным уважением, независимо от должностей, ими занимаемых. Для каждого эрмитажника это имена, на которых до сих пор зиждется понимание того, что такое наш музей. Могу навскидку назвать несколько таких имен. Это Алиса Владимировна Банк, это Иван Георгиевич Спасский, ну, и естественно, тут место и Владиславу Михайловичу Глинке. Можно упомянуть еще очень многих, но я специально, не в обиду никому, не продолжаю список.

Присутствие этих людей было чрезвычайно важным, потому что именно их авторитет и нравственная репутация устанавливали некую шкалу, по которой можно было определять – что такое хорошо, а что такое плохо. Это важно в жизни всегда, но особенно важно в такие времена, когда происходит сбой понятий, и представление о том – что можно, а чего нельзя, исчезает. И когда некоторым начинает казаться, что нет никаких ограничений, и можно делать все.

В связи с этим для меня, с того времени, как я себя помню, очень важна была существовавшая в нашем доме легенда о дяде Владе, с семьей которого наша семья дружит очень давно, еще со времен детства и молодости дедушки и бабушки в Старой Руссе. И то, что он работает в Эрмитаже, и появление его книжек – это всегда обшая радость и гордость. А еще с детства запало в память случайно услышанное мной в гостях в одном доме, что Глинка перестал подавать руку одному из старых своих знакомых в связи с тем, как тот вел себя во время «ленинградского дела». И это тоже было значимо, об этом говорили, но не как о проходном обстоятельстве или о соре двух людей, а как о том, что дает ориентиры. И мне, еще мальчику, становилось понятным, что раз это связано с таким именем, как «дядя Владя», то это вовсе не обычная ссора, а нечто значащее гораздо больше. Это – сигнал. Мол, есть вещи, которые нельзя делать. А если ты этого не понимаешь, то тебе могут перестать подавать руку. Ну, и для меня, повторяю, мальчика, было очень важно понять, что же это за вещи.

И предметный урок на данную тему, правда, много позже я получил лично. Это случилось уже после того, как я был дяде Владе представлен, и уже прошло какое-то время, и между нами уже сложились очень теплые отношения. Настолько теплые, что кроме встреч в Эрмитаже, я, как минимум, раз в неделю, а то и чаще, бывал у него дома: либо приносил какие-нибудь книжки, либо так просто – это уже было как бы само собой. И мы, конечно, много разговаривали. Об эрмитажных делах, ну, и, конечно, о людях. Иногда один на один, иногда в присутствии еще кого-нибудь. И в связи с этими разговорами урок, и прямо скажу, неожиданный, я и получил. Не буду называть фамилии человека, которого это касалось, его уже давно нет, да дело и не в нем.

В один из понедельников дядя Владя пришел в отдел и, посмотрев что-то ему нужное, попросил меня его проводить. Мы прошли несколько залов, и вдруг он каким-то очень строгим голосом спросил меня, помню ли я тот разговор, который возник у нас, когда в последний раз я у него был. Тон, которым он произнес эти слова, был таким для меня необычным, что я до сих пор помню даже место, где их услышал – это был Малахитовый зал. Я ответил, что помню, он кивнул и опять достаточно строго сказал, что все-таки напомнит мне, что говорили мы об одном общем знакомом (гораздо старше меня), и я позволил себе высказаться об этом человеке без должного уважения и даже несколько пренебрежительно. Дядя Владя сказал, что это его старый знакомый, а потому он просит меня объяснить, почему я говорил о нем именно так. Основания у меня были. И хотя не могу сказать, что мне было приятно их излагать, изложить их я был вынужден. И поскольку я рассказывал дяде Владе то, что в действительно-

сти имело место и чему сам был свидетелем, а также, что это могло быть подтверждено и другими людьми, то впоследствии дядя Владя от него отдалился, и отношения с этим человеком у него прекратились.

Это был важный для меня урок – и дело не в том, что я оказался прав и ко мне прислушался человек старшего возраста, а было важно то, что когда дяде Владе показалось, будто я несправедлив к кому-то, он не прошел мимо, мол, его ли дело отношения между другими людьми? Нет, человек, о котором отозвались без уважения, был из его круга, и Владислав Михайлович не считал возможным остаться в стороне. Это было его дело и, поскольку я был для него уже не чужой (чужого, вероятно, он бы поставил на место сразу и еще резче), он потребовал от меня неких объяснений. Это был очень важный для меня воспитательный момент – с одной стороны, урок того, что нельзя о людях без оснований говорить с неуважением, с другой стороны, мне был преподан урок защиты человека своего круга. А то, что в данном случае защищать было особенно нечего – это уже другая история. Тут важно то, что – хоп! – Владислав Михайлович зафиксировал мою реплику и по поводу ее счел необходимым специально со мной проговорить. Это было важно для него, и это было важно для меня. Он дал мне понять, что раз у нас уже такие близкие отношения, то я должен знать и запомнить, что подобное никогда не будет проходить незамеченным. И произошло что бы то ни было, я должен быть готов объяснить, что имею в виду.

Делил ли он людей в зависимости от объема и качества их знаний? Нет, тут, пожалуй, зависимости не было – относился он ко всем одинаково ровно. Это если говорить о том, насколько уважительно он к тому или другому относился. Другое дело, что глубина общения уже определялась интересом к этому человеку и к тому, чем он занимался, но я думаю, что и тут, прежде всего, играло роль то, порядочным был в глазах дяди Владя этот человек или непорядочным. А еще у него и у круга близких ему людей была такая формула – приличный это человек или неприличный. И я помню, что при встречах с Петром Андреевичем Зайончковским или Юрием Михайловичем Лотманом, когда речь заходила о каком-то еще не знакомом человеке, то один из вопросов был таким: ну, а как этот человек – приличный? И им не надо было объяснять друг другу, о чем идет речь. Это была некая, давно взятая ими за основу определения образа человека формула. И означала она, что нравственные законы, определяющие, что можно, а что нельзя, никто не отменял.

И помню, что некие неписанные обязательства, из которых вытекала ответственность, я испытывал перед дядей Владей всегда. И когда передо мной вставали какие-то трудности нравственного порядка – у кого этого не бывает, – то мнение Владислава Михайловича по этому поводу было для меня всегда чрезвычайно важным.



ПИСЬМО С ПОСЛЕСЛОВИЕМ

Письмо, которое Владислав Михайлович написал в 1974 году человеку, которого долгие годы любил и даже считал другом, занимает в его эпистолярном наследии место особенное... Впрочем, и должность адресата была тоже особенной.

Но едва ли удастся полностью понять дальнейшее, если не знать главной темы беллетристических книг, написанных в послевоенные годы В.М.Глинкой. Книг таких было несколько – это XIX век России. И магистральной темой каждой из них, а также всех, вместе взятых, была тема очень нелегкой, но полной истинного достоинства жизни некоего персонажа. Персонаж этот, кем бы он ни был – искалеченным на войне солдатом Егором Подтягиным или воевавшим без ноги офицером Сергеем Непейшиным, художником-гравером из солдатских детей Лаврентием Серяковым или дворцовым гренадером Александром Ивановым – обладал неким обязательным набором нравственных качеств: был добр, скромен, необыкновенно трудолюбив, не пользуясь протекциями, служил с самого низа, был наделен глубоким чувством долга, а одним из самых больших и непростительных грехов считал неблагодарность.

Этот собирательный герой сложился, вероятно, у Владислава Михайловича неспроста. Семейные идеалы, насколько можно их зафиксировать, были устойчивы –

Эрмитажники в Михайловском.
1950-е гг.



его дед был идеалистом-народником (организация «культурных скитов», тюрьма, ссылка и т.д.), бабушка, имея дочь, заботилась еще о двух воспитанниках; отец (хоть и был сыном генерала) по собственному желанию уехал с женой и двумя младенцами в глухую деревню лечить местных крестьян; к тому же родители, уже имея троих детей, взяли на воспитание еще троих... Сам дядя был неустанным труженником, и в самое голодное время (1944 г.), он и его жена, Марианна Евгеньевна, усыновив, после смерти наших родителей нас с сестрой, еще неукоснительно посылали деньги в деревню дряхлеющей няне Лизе. Долг, напряженный труд, крайне обостренное чувство границ того, что можно, а чего нельзя. Наверно, это можно назвать чувством чести.

Но создание литературных персонажей не мешало тому, что Владислав Михайлович искал и находил черты своих любимых героев в людях совершенно реальных. Это были лица самых разных возрастов и профессий – огромного роста столяр из Эрмитажа – дядя Митя, вдова замученного в лагерях дядинного друга писателя Г.Э.Сорокина Нина Николаевна, профессор-иранист Александр Николаевич Болдырев...

Однако, видимо, самым близким приближением к его литературному идеалу многие годы после войны дяде представлялся Семен Степанович Гейченко.

Те, кто бывал в Пушкинских Горах в первые десять-пятнадцать лет после войны, вероятно, не могут не согласиться, что Пушкиногорский заповедник тогда был местом совершенно особым.

Все, что имело отношение к памяти Пушкина в тех местах, к весне 1945-го оказалось либо полностью уничтоженным, либо непоправимо разрушенным. И для возрождения всего этого необходимо было найти человека, который оказался бы одинаково сведущ как в строительных делах и музейном хозяйстве, так и во всем, что касалось пушкинского творчества. А еще он должен был все сразу – Пушкина, природу, работу, заведывание, общение со множеством людей – любить. И зажигать своей любовью других. Как сказали бы теперь, человек этот оказался тогда в нужное время и в нужном месте.

Владислав Михайлович и Семен Степанович были знакомы и притесствовались еще с 1930-х годов по работе в Петергофе, а затем в Русском музее. Эти теплые отношения в первые послевоенные годы переросли в дружбу.

Как-то много лет назад, вероятно, это были 1970-е годы, во время посещения дома Вульфова в Тригорском, я сказал своим спутникам, что турецкая сабля в ножнах, висящая на стене одного из залов музея, не целая, а конец ее обломан. Слова мои вызвали возмущение женщины, проходившей мимо. Оказалось, что она – то ли экскурсовод, то ли работник музея. Сабля эта первой трети XIX века, заявила она, сабля подлинная и целая. При этом добавила, что никто не давал мне права порочить репутацию музея. Я предложил вынуть саблю из ножен, но оказалось, что на это прав нет не только у меня, но и у нее. Мы со спутниками пошли дальше, но на их вопросы пришлось отвечать, и я объяснил, что на стене в музее висит любимый предмет моего послевоенного детства. Мы жили тогда в Ленинграде на Басковом переулке, 20, кв.15 (рассказывая это сейчас, я добавляю, что через четыре дома от нашего в сторону Маяковской вскоре родился В.Путин), а эта сабля лежала на подоконнике маленького кабинета дяди и, приходя из школы, когда дядя был в Эрмитаже, я забирался в этот кабинетик, вытаскивал саблю из ножен и играл ею, как играл бы всякий второклассник. Могу я после этого не знать, сколько клинка там осталось в ножнах или куда загнут загиб излома? А в конце сороковых или в начале пятидесятых, когда Гейченко, наезжая в Ленинград, жаловался дяде, как старому другу, что в Пушкиногорском музее пусто, экспонатов нехватка, дядя отдал ему эту саблю. Да, наверняка, и не только ее.

Как отдал в музей Достоевского в Старой Руссе ширму и пару кресел XIX века... А где, в каком музее сейчас кремневый пистолет, с вырезанной на замке цифрой «1813», который лежал на подоконнике рядом с саблей? Десятилетнему, каким я был тогда, больше помнятся именно эти предметы...

Если взять в руки «Повесть о Сергее Непейцыне» В.М.Глинки, написанную в конце 1950-х – начале 60-х годов, то можно убедиться, что на пятидесяти первых страницах в качестве основного положительного персонажа, направляющего главного героя, еще мальчика, по славному жизненному маршруту, фигурирует дядя и благодетель Сережи, имя которого – Семен Степанович. Случайность? Нечаянное совпадение?

Все это я рассказываю к тому, как относился дядя к Семену Степановичу Гейченко и к его заповеднику...

Но шло время, и среди других историко-литературных памятных мест в стране – домов, усадеб, заповедников – именно Пушкиногорский заповедник все более занимал место, ни с каким другим уже более не сравнимое. На содержание его отпускались все большие средства. Заповедник густым потоком посещало литературное, академическое, а также и высокое партийное начальство, туда возили иностранцев, там устраивались грандиозные гулянья и летние торжества, называвшиеся поэтическими праздниками. А во главе этого, с каждым годом расширяющегося хозяйства: сначала литературно-мемориальной усадьбы, потом литературно-ландшафтного поместья, а затем уже огромного литературно-развлекательного концерна (с уклоном в масс-культуру) – десятилетие за десятилетием бесценно стоял с 1945 года царь и бог этих мест – Семен Степанович Гейченко.

Помню, был свидетелем, как дядя, говоря с кем-то (с В.А.Мануйловым? с А.В.Помарнашким?), вдруг сказал странным каким-то голосом, что у Семена Степановича, видно, уже нет времени ни на что, даже не успевает вычитать гранки. И, мол, если верить его недавно вышедшей книге «У Лукоморья», Николай I во время пожара Зимнего дворца вызывал для тушения военные корабли с Кронштадтского рейда. Это 17-го декабря, воскликнул дядя, когда до Кронштадта сплошной лед! И добавил, что почитать Семена дальше, так лед, возможно, и успели бы порубить – мол, судя по написанному на той же странице, дворец горел не 30 часов, как было на самом деле, а «целую неделю»... А еще добавил, что его поразила сцена, в которой Николай I обсуждает с Бенкендорфом, каким должен быть надгробный памятник Пушкину! Откуда, мол, взято?! А день рождения Пушкина, который назван у Гейченко именинами?

Но главное, чувствовалось, было вовсе не в неточностях – в своем кругу эти историки и музейщики постоянно играли в вечную викторину на скрупулезное знание прошлого, а знание это никогда и ни у кого не могло быть абсолютным... Причина была и не в самом факте литературного домысливания – кто из писателей обходится без него? Причины того странного голоса, которым дядя теперь говорил о Гейченке, были уже совсем другие.

Шли срединные годы брежневского правления, время звездопада награды. На знаменитого директора главного литературного заповедника посыпались ордена и привилегии. Но привилегии, на то они и привилегии, касались лишь узкого круга лиц. По правилам игры номенклатуры, переходивший на следующий ярус менял и круг близкого общения.

В апреле 1974 года В.М.Глинка написал С.С.Гейченке письмо, и оставил на сей раз не одну, а три копии и в разных местах. Вероятно, на случай, если какая-то потеряется.

Вот это письмо.

Дорогой Семен!

Пишу тебе, не скрою, после долгих колебаний. Таких долгих, что срок их – несколько лет. Но лучше без предисловий изложу по порядку причину колебаний, а за ней и существо дела.

Уже несколько лет, с тех пор как ты вошел в славу, стали доходить до меня упорные слухи, что ты занесся, т.е. перестал узнавать многих старых знакомцев по музейной части, держишься на людях высокомерно, на манер «наместника Пушкина на земле», как выразился некий острослов. Рассказы эти, шедшие от весьма различных людей, очень меня опечалили. Отчасти они подтверждались тем, что и со мной ты перестал видаться, бывая в Ленинграде, и отношения наши свелись к обмену поздравлениями в праздники и присылке книг с авторскими надписями, впрочем, я-то к этому отношусь спокойно, будучи не ревнив и по совести считая себя не очень занимательным собеседником. Упоминаю об изменении наших отношений только потому, что это отняло у меня возможность обратиться к тебе непосредственно, когда назрела в том надобность.



Г.А.Принцева, Н.И.Никулина, В.М.Глинка, Б.Г.Биргер. 1950-е гг.

Но вот недавно я смог убедиться, что некоторая теплота в моем отношении ко мне все же сохранилась. Случайно оказавшись по делу в вестибюле Дома ученых в вечер твоего выступления, я был тобой весьма ласково встречен. Затем, будучи зван настойчиво, пошел к тебе домой, чтобы проверить свое ощущение. И там мне показалось легко и просто, как встарь. Теперь, обретя прежнюю свободу обращения, перехожу к тому, ради чего написал такое длинное вступление.

Не один человек и не два, а по крайней мере с десяток из тех, кто близко наблюдал твою жизнь в послевоенные годы (и я в том числе), очень огорчились не найдя в «Лукоморье» упоминания о Матвее Матвеевиче Колоушине, а ведь мы все знаем, что Матвей в те годы и для Заповедника и для тебя лично сделал очень много доброго. Как же это вышло? Уж кого только ты ни упомянул в книге по имени, отчеству и фамилии. И лесоводов, и металлургов, и археологов, и архитекторов. И хороших, дельных людей, и иных вроде Лактионова или Бельчикова. Только Колоушина ни разу не вспомнил.

Так вот, Семен, прошу тебя, при переиздании твоей книги сыщи ты место достойное и вставь доброе слово в память Матвея, который того, право же, заслужил. Твердо верю, что вышло так не намеренно, но нужно это исправить, поверь мне, пожалуйста. А засим крепко тебя обнимаю.

Твой (подпись)
8 апреля 1974 г.

В рабочей тетради 1982 года В.М.Глинки вклеен листок с машинописной копией приведенного выше, а на обороте этого листка приписка: «Ответа на это письмо я не получил, текст книги при переиздании не менялся, и мне передавали, что ССГ очень на меня рассержен за мое обращение к его совести».

Книга «У Лукоморья» переиздавалась несколько раз. В 1981 году вышло 4-е ее издание...

В конце 1982 года, за несколько месяцев до смерти, Владиславом Михайловичем, после упомянутого вклеенного листка были исписаны еще две страницы:

1.X.82

Считаю своим долгом сделать следующую запись. Отдавая должное огромному труду С.С.Гейченко, который поднял даже не из руин, а из небытия начисто стертый войной с лица земли Пушкинский заповедник, не могу умолчать о следующем. Перед войной, при разгроме коллектива, созданного П.И.Архиповым в Петергофе, С.С. был уволен, затем работал в Русском музее (отдел скульптуры), сильно пил, ушел оттуда, служил сигнальщиком на аэродроме. Был арестован летом 1941 года в связи со знакомством с некоей дамой, носившей нерусскую фамилию и обвиненной в шпионаже. Арестованным вывезен из Л-да (что спасло ему жизнь, заключенных уничтожали, как... неразборчиво – М.Г.), попал рядовым на войну и был тяжело ранен. Он появился в Л-де, если мне не изменяет память, весной 1945 года без руки, худой и бездомный. Прописки в Л-де он получить не мог. В это время М.М.Колоушин, у которого приютился С.С., заведовал музеем Института русск. литературы, в который входил до войны и лет 20 после нее заповедник, и разыскивал человека, который взял бы на себя тяжкую задачу его восстановления. На совещание по этому поводу М.М.Колоушин собрал трех старых знакомцев и приятелей своих – Б.Ф.Чирскова, С.В.Трончинского и меня. Был поставлен вопрос: можно ли рекомендовать С.С.Г. на должность директора (или заведующего, не помню) заповедника. При этом Гейченко в предварительном разговоре с М.М.К. обещался (в этом месте поверх строки вставлено «и мало» – М.Г.) не пить. По всем остальным качествам С.С. вполне подходил – опытный музейный работник, создатель новых экспозиций в Петергофе, отлично знает и любит Пушкина, хорошо

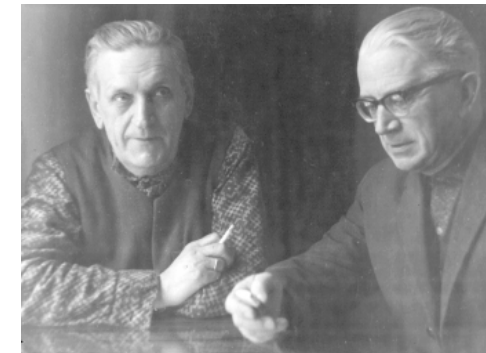
говорит и легко пишет. Да к тому же и единственный кандидат в то время, который соглашается ехать в глушь, едва ли не в землянку, строить все как есть заново, подбирать себе помощников из местных – кто еще из Л-да туда поедет? Решили, что М.М.К. надо его рекомендовать. Пишу все это столь подробно, чтобы заявить, что вся запись Дудина в предисловии к «Лукоморью» – чистая выдумка – его или Гейченки, не знаю. Никогда до войны С.И.Вавилов не знал С.С.Г. И только рекомендация и ручательство М.М.Колоушина решило его назначение.¹

Не могу я не записать и то, что первые лет 15, а то и 20 существования заповедника (это можно уточнить по архиву Пушкинского музея) он оставался филиалом сначала музея ИРЛИ, а потом Всесоюзного музея Пушкина, и руководил им М.М.Колоушин, любовно опекая заповедник, как только умел это делать – умно, щедро, бескорыстно. Строительные дела музея и посылка в (неразборчиво – М.Г.) – все шло через академстрой при активной помощи Колоушина. Первоначально эта позиция вся состояла из того, что выделял из фондов музея М.М.Колоушин. Добавлю, что в Л-де С.С.Г. всегда останавливался у М.М.К. и для всех представлялся его ближайшим другом.

Все это, очень хорошо мне известное, и побудило меня лет 8 назад написать выше подклеенное (в копии) письмо. Ответа я не получил, но мне стало известно через свидетелей, что С.С.Г. сильно бранил меня за попытку напомнить ему о дружбе с М.М.К. Что же, жаль! Черная душа и чрезмерная самовлюбленность – плохие помощники в творчестве, как и на любой стезе жизни. Семена Степановича вознесли до небес, и никто не замечает, что книги его фальшивые во всем, где фигурирует и особенно говорит живой Пушкин, не всегда и точны; что дом в Петровском нельзя было строить – ведь каким он был при Ганнибалах неизвестно; что лестница в воду из Михайловского дома никогда не стояла, где стоит; что «златая цепь» – нелепа, безвкусна и т.п.

Семен Степанович не выдержал испытания известностью, потерял меру вкуса и собственного достоинства, возомнил себя действительно «наместником Пушкина на земле». И как же это нелепо. А особенно мне обидно за память так много для него сделавшего Матвея Матвеевича Колоушина.

В.Глинка.



В.М.Глинка и С.С.Гейченко

¹ Из предисловия Михаила Дудина к книге С.С.Гейченко «У Лукоморья»: «Бывший тогда президентом Академии наук Сергей Иванович Вавилов, по старой памяти, через верных друзей разыскал Семена Степановича Гейченко. Он знал его давно как работника Пушкинского дома, как хранителя Петергофских дворцов; ценил этого не ведающего покоя ученого, умеющего мыслить и действовать. Может быть, при встрече кто-нибудь из них произнес вслух, а может, каждый поодиночке, про себя вспомнил пушкинские слова, которые были для них с мальчишества клятвой верности: «Мой друг, Отчизне посвятим Души прекрасные порывы!»

- ...Я надеюсь на вас. Беритесь. Восстанавливайте! – сказал Сергей Иванович, заканчивая беседу».

В том же Тригорском, о котором уже шла речь, в доме Вульфов висит картина работы московского художника Бориса Георгиевича Биргера (1923–2001), ближайшего друга Владислава Михайловича с конца 1940-х и до самой смерти. Эскизы к этой картине сейчас в трех домах – женские фигуры у моей сестры и у сестры Наталии Ивановны Глинка, а мужские – у меня.

Картина написана, кажется, в 1955 году и изображает сцену домашнего вечера в доме Вульфов. Сюжет картины Б.Г.Биргер и В.М.Глинка придумали сообща, и дядя, воодушевленный идеей всемерной помощи С.С.Гейченко и вырастающему из пепла заповеднику, сам подбирал в костюмерных кладовых Русского отдела Эрмитажа подходящие костюмы для того, чтобы художник мог увидеть воочию то, во что должны быть одеты персонажи его картины. Позировали при этом Г.А.Принцева (до сих пор работающая в Эрмитаже), Н.И.Никулина (через 30 лет ставшая женой Владислава Михайловича), А.В.Помарнацкий и сам Владислав Михайлович. Да и художник – это, видимо, тоже помогало входить в эпоху – не прочь был надеть старый мундир...

Это еще один штрих к тому, как Владислав Михайлович относился в 1950-х годах и к Гейченко, и к заповеднику.

Напоследок все же приведу надпись, которую сделал С.Гейченко на своей книге «У Лукоморья», посылая ее (первое издание) дяде.

Дорогому другу моему Владиславу Михайловичу Глинке.
Когда же ты вновь появишься в наших краях? Приезжай, батюшка поскорее.
Твой старый Семен Г.
28.4.71
Пушкинские Горы.

«Когда же ты вновь появишься в наших краях?»... Было ли это искренним? Наверно, для 1971 года и было. Да, не исключено, что и позже, как знать... Может быть, все было далеко не так просто, и эти обильно рассыпанные по заповеднику пушкинские цитаты в мраморе (как бы регламентирующие около ели испытывать одно чувство, а около молодых сосенок совершенно иное), эта крашеная золотом цепь на дубе (которую несколько раз тайком от «повелителя» отрывали и выбрасывали, что вызывало его неистовый гнев, и которую он, неизменно разыскав, приколачивал на прежнее место), это шутовское костюмирование тети Шуры под Арину Родионовну – было только дипломатией и данью вкусам тех высоких псковских и московских гостей, от которых напрямую зависел не только ремонт крыши в Михайловском, но и то, будет ли колбаса в местном магазине. Мы слишком многое из той жизни уже начисто стали забывать... Из той жизни эпохи секретарей, многие из которых, по некоему снайперскому высказыванию, «имели высшее образование, не имея среднего». И если именно таким образом мимикрируя, Семену Степановичу удавалось сойти у них за своего, и это помогало не только содержать заповедник, но и кормить работающих в нем людей, то что тут скажешь – кто-кто, а уж он-то сам глотнул в своей молодости лиха...

В качестве последней реплики этого сюжета, можно добавить, что нечто совершенно неожиданное подстерегло Владислава Михайловича и как автора жизнеописания Сергея Непейцына. Этот, как уже говорилось, реально существовавший офицер, потеряв ногу под Очаковым, воевал затем в 1812 году в рядах кавалерии. Готовясь к написанию книги, Владислав Михайлович с лишь ему присущей скрупулезностью обследовал все те архивные и библиотечные хранилища, где была вероятность найти что бы то ни было о своем герое или о тех, с кем по ходу книги Непейцыну предстояло встретиться. Перебирая сейчас кипы страниц и тетради с выписками, чертежами, планами, списками имен, ссылками на архи-



В.М.Глинка в Михайловском

вные номера, вклеенными фотографиями портретов, я думаю, что это был египетский труд.

Но через десяток лет после того, как книга вышла уже вторым изданием, Наталия Ивановна, жена дяди и тоже историк, наткнулась в одном из ведомственных архивов на совершенно неожиданный и абсолютно непонятно как попавший туда документ.

Из документа следовало, что герой, который по книге дяди заканчивал свою жизнь в очень скромном достатке, каковой только и мог быть достойным завершением его неомраченной никакими нравственными компромиссами жизни, в действительности имел к старости 500 душ крестьян, отнюдь не бескорыстно пользовался покровительством Аракчеева и вообще оказался человеком совершенно иного образа жизни, нежели тот, который изображен в книге... Для дяди это было ударом. Он написал на особом листке запрещение кому бы то ни было и когда бы то ни было переиздавать «Непейцына». Каюсь, я обнаружил этот листок слишком поздно... Наталия Ивановна говорила мне потом, что никогда не могла себе простить того, что не скрыла своей находки. Но оба они были историками...

Впрочем, написав это, я читаю написанное самим собой с оторопью. Кого сейчас, в наше время,



В.М.Глинка. 1970-е гг.

когда бывшие спортивные тренеры вдруг, как по шучьему велению становятся владельцами сырьевых комбинатов и нефтяных компаний, а молодые люди абсолютно неясного происхождения покупают самолеты и виллы на экзотических островах, может неприятно поразить или даже просто спасти от зевоты тот факт, что полтора года назад какой-то офицер-инвалид воспользовался протекцией Аракчеева? Воспользовался, скажет наш нынешний соотечественник, ну, и правильно...

Иногда невольно думаешь о том, как хорошо, что Владислав Михайлович с его взрывной реакцией внука идеалиста-народника не дожидается наших дней.

В те дни, когда я это пишу (февраль 2003), исполняется сто лет со дня рождения С.С.Гейченко. Эту дату отметило и телевидение, и, конечно, самым торжественным образом заповедник. Герой соотруда, знаменитый, заслуженный, полвека бывший незамеченным. Действительно, своротивший гору. Все это так. Но в этом же месяце, и тоже как раз столетие исполняется со дня рождения Владислава Михайловича – так уж у них вышло. И там, где нет ни орденов, ни привилегий, ни почестей, один из них уже десять лет, а другой – двадцать. И как хотелось бы надеяться, что эти две души, так любившие когда-то друг друга, снова обрели между собой что-то такое, что у нас здесь зовется... прощением? согласием? ладом?



НА СТРАЖЕ
ДОСТОВЕРНОСТИ

В произведениях Владислава Михайловича Глинки я больше всего ценю их талантливую достоверность. Исторические произведения непременно должны быть достоверны в мелочах и в главном: в изображении быта и обычаев, интерьеров и всей окружающей обстановки, в изображении событий и расстановки исторических лиц. Но более всего они должны обладать достоверностью в изображении натуры людей той или иной эпохи – их характерной сути. Люди меняются больше, чем костюмы и формы, и для изображения достоверных людей той или иной эпохи еще недостаточно знаний, которыми обладал историк Владислав Михайлович Глинка, – к знаниям понадобилось приложить его большой талант понимания людей иного времени и различных социальных положений.

Владиславу Михайловичу Глинке веришь, как свидетелю, как мемуаристу, как человеку описываемой им эпохи. Он был старомоден в хорошем понимании этого слова: весь его облик, его манеры внушали совершенное доверие к его произведениям, невозможно себе вообразить, что он в чем-то мог недоумать или недоисследовать (извините за такое монструозное слово) изображенное им. Он был талантлив и добросовестен, не жертвовал одним в угоду другому.

Настоящий исторический писатель, писатель, которому веришь, – большая редкость и большая ценность в наши дни. Мы ведь годами стремились очернить наше прошлое и очень осовременить характеры своих исторических героев. Но тем ценнее, что и в те годы в нашем городе работал историк и писатель таких знаний и с такой совестью.

Д.С.Лихачев



О БЛОКЕ

В октябре 1916 года на уроке гимнастики я сильно ушиб колено. Тогда в Старой Руссе не существовало рентгеновского кабинета и отец, служивший врачом в запасном полку, решил отвезти меня в Петроград, чтобы показать специалистам. Выехали из Руссы вечером в пятницу, так чтобы я пропустил всего один учебный день. Утром в субботу из дядиной квартиры в верхнем этаже нового дома на Солдатском переулке отец начал звонить по телефону своим товарищам по Военно-Медицинской академии, большинство которых оказалось вне Петрограда. Наконец, разыскал невропатолога Грибоедова, который назначил нам приехать к трем часам в госпиталь, где служил, с тем что покажет мое колено опытному хирургу и доставит возможность сделать рентгеновский снимок. Обещав заехать за мной в два часа, отец отправился с тетушкой в Гостиный двор делать порученные мамой покупки, а я, сидя в столовой на диване, просматривал журналы, полные фотографиями и корреспонденциями, связанными с войной.

Часть квартиры дяди Алексея Павловича, как значилось на медной дощечке входных дверей «присяжного поверенного и присяжного стряпчего», выходила на Солдатский. Туда смотрели его кабинет, гостиная (она же приемная) и спальня. А по другую сторону от прихожей располагались столовая и пустовавшие сейчас комнаты моих двоюродных братьев, находившихся на военной службе. Со своего места я слышал звонок в квартиру и то, как горничная Настя попросила пришедшего к дяде по делу пройти в приемную.

Кажется, около часу дня после нового звонка она сказала какому-то мужчине, что сейчас доложит о его приходе Алексею Павловичу, предложила присесть в столовой и открыла в нее дверь. Вошел стройный человек в военной форме защитного сукна с серебряными погонами. Я встал и поклонился. Он поздоровался со мной ошутимым и в то же время мягким рукопожатием, после чего присел рядом на диван, отодвинув в сторону кипу журналов. Он показался мне очень красивым, но, может быть, от этого чуть пренебрежительного движения я несколько смутился и не сразу поднял глаза на его лицо. Запомнились высокие сапоги мягкой кожи, хорошо сшитые галифе и френч, пахнувший духами, напоминавшими вялое сено.

Тут мой сосед спросил, как я прихожусь Константину Алексеевичу, с которым он служит в инженерно-строительной дружине, и я поднял глаза. Его лицо оказалось не только красивым, но открытым и приветливым, здоровым и загорелым до надбровья, прикрываемого на воздухе козырьком фуражки. Я не знаю ни одного портрета, передающего внутренний свет оживления и общительности, который тогда увидел и навсегда запомнил. Не знаю и портрета, где бы цвет волос воспринимался таким, как мне тогда показался – русым, рыжеватым с золотистым оттенком. На его вопрос я ответил, что довожусь братом Константину Алексеевичу.

– А мне казалось, – сказал гость, – что у него один брат, старший, который служит на Кавказском фронте офицером артиллерии.

– Я двоюродный брат, – пояснил я и рассказал, что только сегодня утром приехал с отцом из Руссы, чтобы быть показанным здешним врачам.

– А что с Вами?



В.М.Глинка – реалист

Только успел я окончить краткое сообщение о своем неудачном прыжке с параллельных брусьев, когда вошел дядя Леша, как всегда во время приема клиентов, в визитке и с неизменной папиросой в длинном пенковом мундштуке. Поздоровавшись, он передал гостю «посылку» дяди Кости – маленький пакетик с лезвиями безопасной бритвы «Жиллет» которые тогда нельзя было достать в провинции, и спросил, не согласится ли Александр Александрович с нами позавтракать, при этом рассказав немного о жизни дружины в Полесье.

– С удовольствием, – сказал гость. – Но ведь у Вас еще идет прием.

– Помощник мой уходит в суд, а мне осталось только пробежать глазами и подписать два документа, – ответил дядя Леша. – Настя! Накрывайте на стол и подавайте завтрак.

Дядя вышел, а гость, подойдя к окну во двор и глядя на крыши и небо, заложил руки за спину и что-то напевал или декламировал.

Я даже обиделся на такое невнимание после его участливых вопросов, но дядя Леша очень скоро вернулся, и мы сели за стол. Во время завтрака Александр Александрович охотно и живо рассказывал о товарищах по службе, о несложных своих и Костиных обязанностях табельщиков, о крестьянах-белорусах, которые работают в дружине, – все люди не молодые – отцы и дяди солдат, о поездках верхом по окрестным дорогам, о лесах, которые так жалко вырубать на нужды войны. обстоятельно отвечая на дядины вопросы, он, выслушивая их, ухитрялся исправно и будто не торопливо есть омлет, пирожки и пить кофе.

Когда он встал и простился, дядя Леша и я вышли проводить его в прихожую. Настя подала гостю шинель, а он уверенным и одновременно мягким движением опустил в карманчик ее белого передника какую-то монету.

Возвратясь в столовую, дядя снова присел за стол, закурил новую папиросу, налил себе еще кофе и спросил меня:

– А знаешь ли, чем занимается только что ушедший господин?

– Вероятно, саперный офицер, если заготавливает материалы для блиндажей и фронтовых дорог, – ответил я, в то же время смущенно соображая, что Костя, занимающий такое же место, всего студент второго курса Университета, не способный к строю из-за врожденного дефекта ступни. А наш недавний гость явно много старше и без признаков военной выправки.

– Во-первых, он не офицер, а военный чиновник, – не спеша поправил дядя. – У него узкий пагон и галун на нем иного рисунка. А во-вторых, и это главное, он, пожалуй, сейчас самый известный поэт России. Его зовут Александр Александрович Блок. Слыхал про такого?

– Нет, – сознался я.

– Интересно, кого же ты знаешь из современных поэтов поновее Надсона и Фофанова? – спросил дядя Леша.

Я обиделся. Сестра моего приятеля, гимназистка шестого класса, собиралась стать актрисой, и у нее имелись все три тома сборника «Чтец-декламатор», который мы с Юркой усердно читали.

– Мирру Лохвицкую, Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Мережковского, Игоря Северянина, – перечислил я без запинки.

– Ого! – закивал сквозь облако табачного дыма дядя Леша. – Спору нет – это имена! Но все-таки Александр Александровича ты накрепко запомни. Еще расскажешь когда-нибудь, что близко видел Блока в военной форме... А заметил, какими отличными английскими духами надушен? Даже я через свой табак почувствовал еще в прихожей от его фуражки. И как ел опрятно и красиво. Это, братец мой, воспитание настоящее. Вот тетка твоя будет жалеть, что с ним не познакомилась.

Прошло меньше четырех лет. Летом 1920 года я служил во 2-ом автомобильном отряде 7-ой армии, квартировавшем на Троицкой улице, дом 5. Старый петербургский интеллигент Иван Иванович Амассийский, заведывавший отрядной канцелярией, давал мне читать книги по истории и архитектуре города и наставлял по части зрелищ. Как самый интересный театр он рекомендовал Большой драматический, игравший тогда в здании Консерватории. Там я еще в начале лета увидел «Дона Карлоса» и «Разбойников» с Аленевой, Юрьевым, Монаховым, Максимовым. И там же, но в фойе, не раз наблюдал Блока, бывшего душой и председателем дирекции этого по-официальному наименованию «Театра классической трагедии, высокой комедии и романтической драмы». Теперь я уже смотрел на поэта почти с благоговением, потому что читал почти все его стихи и многие знал наизусть. Но как же изменился он за эти годы! Был желто-бледен, нос обострился, волосы поредели и потеряли блеск, воротнички мягких рубашек казались слишком широкими на похудевшей шее. Только взгляд остался тем же прямым, но, может быть, не всегда видевшим, кто был перед ним, зная каким недоброжелательством окружен за свои «Двенадцать». Однажды я едва не схватился с каким-то господином, без стеснения прошипевшим в двух шагах от Блока:

– Большевицкий Пушкин! И не стыдно писать: «Пальнем-ка пулей в святую Русь»..!

– Так это же у него красногвардеец говорит, – примирительно возразил собеседник.

– А двенадцать по числу апостолов и Христос впереди тоже от лица красногвардейцев? – возразил почти полным голосом ненавистник Блока.

От агрессивного вмешательства в этот разговор меня удержала седина обоих собеседников и то еще, что почувствовав мое раздражение, дама, которую сопровождал, накрепко сжала мой локоть.

На другой день я возмущенно рассказал об услышанном Амассийскому и услышал подтверждение, что очень многие интеллигенты считают «Двенадцать» святотатством и гимном Октябрьской революции, возмущаясь в ней всем, вплоть до частушечного ритма некоторых строф, который самому Ивану Ивановичу казался вполне уместным в связи с сюжетом и характерами действующих лиц.



В.М.Глинка. Кавалерийская школа. 1921

А поэма буквально залила Петроград. Она стала излюбленным номером множества концертов, звучала в хоровой декламации, ее издали с иллюстрациями Юрия Анненкова (которые тогда мне не нравились), ее строфы я постоянно слышал на улицах и в трамваях. Но, по правде сказать, все от молодежи.

Вот теперь, наконец, я вплотную подхожу ко второму эпизоду моего рассказа. В августе в газетах появилось сообщение, что Большой драматический театр получает здание Суворинского театра на Фонтанке и в сентябре откроет новый сезон. А в одну из ближайших недель у нас в отряде объявили субботник по разгрузке дров из барки, пришвартованной на Фонтанке, против нашего заднего двора, который смыкался с недавним парадным двором особняка родственницы царской семьи графини Карловой. Мы таскали бревна почти все время на пару с канцеляристом Володей Жуковым и складывали их около гаражей – недавних каретных сараев. Шоферы, их помощники, ремонтники, комсостав работали дружно и уже почти опорожнили барку, когда мимо нас с Володей к Невскому прошли две ярко и претенциозно одетые девицы, возмущенно воскликнувшие:

– Дойти до такого безобразия, чтобы Максимов и Блок разгружали дрова! Неужели нельзя прислать роту солдат? – ткнула пальцем в нас с Володей одна из них.

– Употреблять на это цвет нации! – возмушалась ее подруга. – Только при большевиках возможно, чтобы Максимов, Блок, Бенуа и Шуко таскали дрова!..

Из этих взволнованных реплик мы поняли, что и Большой драмтеатр в эту субботу получил барку дров, и сейчас вся труппа занята тем же, что и мы, – обеспечивает отопление своего здания на будущую зиму. Переглянувшись с Володей, мы, никому не докладываясь, припустили по Фонтанке посмотреть на диковинное зрелище. Имя Максимова – прославленного красавца и денди, одного из «королей немого кино», инфанта Карлоса и разбойника Карла Моора в идущих сейчас спектаклях, звучало для девиц на первом месте. Но нас с Жуковым не меньше привлекли имена Блока и Бенуа.

– Что же, поможем, если надо, – великодушно сказал Володя. – Изобразим роту солдат, о которой так презрительно упомянула барышня. Для театра и два солдата – рота.

Действительно, перед Большим драмтеатром стояла барка побольше нашей и также почти разгруженная. Но мы все-таки увидели, как белозубый веселый Монахов, которого я недавно видел на гастролях в «Летнем Буффe» дурачком-резонером в оперетте «Золотая Ева», а раньше мрачным королем Филиппом, напевал что-то вроде тарантеллы и приплясывая, бежал по сходням с порядочным бревном на плече. Видели и как всегда элегантного Максимова в бриджах и коричневых крагах тоже несшим толстое бревнышко, но не спеша и придерживая его рукой в замшевой перчатке. А за ним художник Бенуа азартно катил через мостовую во двор театра тачку со «швырком».

– А где же Александр Александрович Блок? – отважился я спросить проходившего мимо испитого юношу с длинными волосами, расчесанными а ля Гоголь, в полотняной блузе до колен, запятнанной красками.

– А вон на барке актрисам поленья вручает, – взмахнул он нечистой рукой.

Мы глянули в указанном направлении. Блок был виден по пояс, он стоял на дне барки и подавал подходившим к нему вереницей женщинам не толстые полешки. Тут, конечно, были не только актрисы, но и костюмерши, балеринки, билетерши, пианистки и другие театральные дамы. Поэт был в защитной гимнастерке с расстегнутым воротом и без шапки. Ветерок и солнце украсили его голову золотистым нимбом волос. Лицо было оживленно и весело – он, очевидно, шутил с подходящими к нему чередой женщинами.

– Ну, роте тут делать нечего, – сказал Жуков. – Бежим обратно, пока комиссар не обратил внимания, что дезертировали с трудового фронта. – И мы потрусили к Чернышеву мосту и на свою сторону Фонтанки.

Прошло еще десять месяцев, наступил май 1921 года. Непоседа, начав военную службу в марте 1919 года конным ординарцем в стрелковом полку, я в декабре 1920 года из автоотряда перешел курсантом на Петроградские командные кавалерийские курсы. В то время судьба свела моего друга и однокурсника с умной и милой по внешности девушкой, которая была студенткой Большого драмтеатра и одновременно билетершей там же. Благодаря этому многие спектакли, шедшие в эту зиму, посмотрел не только он и я, но и четверо наших товарищей по взводу. А я побывал даже на двух репетициях «Слуги двух господ», которые так интересно и умно вел Александр Николаевич Бенуа, что присутствовать на них сбегалась вся молодежь театра. Конечно, я никогда не забуду того удивительного умения рассказать об итальянском характере, нравах, музыкальности, растолковать и даже убедительно показать, чего он хочет от актера, каким обладал этот лысоватый, близорукий, с проседью в бороде человек, одетый в помятое пальто (в фойе, где репетировали в апреле, было весьма прохладно). Но это уже другая тема – умение спокойно, мягко и доброжелательно добиться от актера всего, что каждый из них может дать...

Возвращусь к Блоку. Всю эту весну я часто видел его в театре и при всем тогдашнем юношеском эгоцентризме с тревогой заметил, как он таял, или, может быть, вернее сказать, как мерк, обесцветивался, будто уходил куда-то. Уже почти никогда не улыбался, стал еще бледнее, порой как-будто отекал. И когда проходил мимо, создавалось впечатление, что он смотрит «сквозь» окружающих, не видя их. Наша знакомая барышня-билетерша говорила, что Александр Александрович сильно недоумогает, что все это вялеть, толкует, что надо бы отправить его в санаторий. Мария Федоровна Андреева выхлопотала ему такую поездку, но он не хочет, отказывается.

Должен сознаться, что мне ужасно хотелось напомнить Блоку о нашем «знакомстве», обратить на себя его внимание. Я казался себе очень эффектным в выходной курсантской форме – краповых, т.е. красно-коричневых гусарских рейтузах (чакчирах) и в синем кителе с начищенными до сияния пуговицами. Не забудьте, пожалуйста, что мне было 18 лет и что ускоренная кавалерийская учеба не напоминала университетского курса. К тому же мне казалось, что упоминание о том времени, когда мы виделись, об отпуске в Петрограде осенью 1916 года, когда поэт выглядел таким оживленным, и о службе в инженерной дружине в Полесье должно быть ему приятно. Ведь тогда он так охотно и ярко рассказывал о природе, о сослуживцах и крестьянах-лесорубах.

И вот однажды в мае – думаю так, потому что зрители в театре были уже без верхней одежды, как сидели на спектаклях всю зиму, – я стоял в коридоре за ложами, увидел идущего мимо Блока и отважился ему поклониться. Точнее шелкнул шпорами и резко мотнул вперед головой не сгибая спины, «уронить ее в короткий военном поклоне», как писал в своих плохих романах Н.Н.Брешко-Брешковский.

Блок взглянул на меня несколько удивленно, замедлил шаг, потом повернулся и шагнул ко мне.

– Мы с Вами знакомы? – спросил он негромко, глуховатым голосом.

– Да, Александр Александрович, я был Вам представлен у моего дяди присяжного поверенного Алексея Павловича Глинки, к которому Вы заходили за пакетиком для передачи моему кузену Косте, – доложил я, повторяя поклон.

– Ах, вы тот гимназист у которого тогда болела рука или нога, – сказал он, улыбаясь. – Ведь правда, у Вас тогда что-то болело?..

– Болело колено, Александр Александрович, – подтвердил я, радуясь его ласковой, но, может быть, чуть насмешливой улыбке. Верно, в своих красных галифе, с до блеска приглаженным пробором и очень румяным юношеским лицом я показался ему забавным.

– Но теперь у Вас, очевидно, ничего не болит, – сказал он, продолжая улыбаться. – А где сейчас Константин Алексеевич? В Петрограде?

– Нет. Они, то есть вся семья дяди, застряли в Черниговской губернии, куда уехали летом 1917 года, – сказал я.

– В таком случае, когда он возвратится, попросите его обязательно со мной повидаться.

Блок подал мне без пожатия холодную и сухую руку и пошел дальше по коридору опять смотря «мимо людей», теперешней своей неспешной и какой-то неуверенной походкой.

Конечно, до конца этого сезона я видел еще не раз Александра Александровича, но все издали. Я исправно ему кланялся, если была надежда, что он меня увидит, и получал в ответ вежливый кивок.

А осенью того года, когда он скончался, я был в отпуску вне Петрограда и не смог проводить его гроб на Смоленское кладбище.

Так в моей памяти и живут два Блока – загорелый, оживленный, общительный осенью 1916 года и бледный, притушенный болезнью в 1920–21 годах. Но оба приветливые и внимательные к едва знакомому мальчику или юноше.



Г.С.ГАБАЕВ – ПИСЬМА ИЗ ССЫЛКИ (БУДОГОШЬ)

Г.С.Габаев, кадет Киевского кадетского корпуса. 1895

23.IX.1949

Для В.М.Глинки

Несколько мыслей и пожеланий в связи с необходимостью второго издания книги «Пушкин и Военная галерея Зимнего Дворца».

Пишу только для Вас, ввиду Вашего разрешения не стесняясь высказать те мысли и пожелания, которые вызвало во мне чтение Вашей замечательной публикации, и с горячим желанием увидеть ее второе издание, несколько расширенное. Многого, м.б. только «мечтания», но м.б., что и пригодится Вам из мыслей и впечатлений, вызванных Вашей книгой у старика, полвека посвятившего изучению военно-исторической и военно-бытовой стороны трактуемой Вами эпохи. Следуют пункты:

1. Внимательное чтение Вашего труда дало мне не только радость знакомства с новым культурным трудом, но и несколько уточнений в моей большой работе о «Войне и мире» с военно-исторической точки зрения.

2. В этой эпопее сверх 15^{ти} исторических погрешностей, обнаруженных А.Н.Витмером в 1868 г., мне пришлось обнару-



жить более 300 неверностей, противоречий и других погрешностей. Мне бы хотелось видеть Ваш труд без единого места желательных уточнений. Таких мест было три: на стр. 56 о фухтелях. Это были не шомпола, а битье плашмя клинками сабель у гусар и легкой кавалерии, и палашей у кирасир, и тесаков в пехоте, но, кажется, это было наказание более кавалерийское, а в пехоте могли применять и шомпола. Фухтеля, насколько знаю, были наказанием не уставным, а бытовым. Стр. 78: Сколько помнится, у Аракчеева был не Андрей Первозванный, от которого он отказался, а Александр Невский с алмазами. Хорошо бы проверить. Стр. 147: Константин Павлович, насколько помню, скончался не в Минске, а в Витебске. В приобретенной у меня коллекции должна быть гравюра К.П. в гробу в доме Витебского губернатора, но все-же лучше проверить.

3. Вы говорите о портрете Багратиона Д. Доу, что оригинал неизвестен. Мне казалось, что в этом портрете Доу, есть сходство с портретом Багратиона, кажется Тропинина, несколько фантастическом, в рост, сидя, раненым, но с повелевавшей рукой. Не помню, где он должен был находиться, но снимки с него были в юбилейных альбомах 1812 с картинами Гесса и портретами Военной галереи. Их было 2 большого формата, один парижского изд. Lapine (Лапина), а другой какой-то отечественный. (Оба в пропавшей части моего собрания). Впечатление у меня было, что портрет должен быть большой, в натуральную величину фигуры, в pendant к фельдмаршальским портретам галереи. Помнится, что лицо было схоже с Доуским, только бакенбарды пышные и Доу, так сказать, послал Багратиона к парикмахеру и дал мертво-казенную позу, так не вяжущуюся с темпераментом Багратиона. М.б. все это у меня ошибка, но мне кажется, что стоит поразобраться и даже разыскать для галереи этот, героически-неправдоподобный, но очень в стиле эпохи, портрет. Стоит и перелистать «Словарь русских гравированных портретов» Ровинского и среди гравюр с портретов Багратиона поискать вариант, который мог послужить Доу.

4. В начале 900-х годов во время Псковских маневров, я побывал в знаменитом псковском собрании Плюшкина. Там больше было икон и нумизматики, но был и портрет кн. С.Волконского, формата и манеры Военн. галереи. О нем Плюшкин уверял, что это тот, который был изгнан Николаем I из галереи. Память уже плохо служит, и ручаться не могу, но у меня осталось впечатление, что на этом портрете С.Г.Волконский более схож с ранними портретами, напр., флигель-адъютантом, что приложен к его запискам, а восстановленный вскоре в галерее, с бритым длинным лицом, совсем будто бы не схож с ранними портретами Волконского. В этом стоит поразобраться. Портрет м.б. попал в Русский музей, приобретший по смерти Плюшкина большую часть его собрания, кажется, через Рейникова.

5. Одним из крупнейших достижений Вашего труда, по-моему, является то, что Вы дали не только вождя, но и представителей войсковой солдатской массы. Ваши строки о них замечательны. Об этом отделе Вашей работы решаюсь сообщить свои пожелания к ее пополнению, может быть, с чем-нибудь и согласиться:

а) По-моему, очень бы сюда подошла картина, изображающая караул дворцовых grenадер во дворце и министра двора Волконского, шефа роты, в их форме и с гофмаршальским жезлом. Сколько помнится, это из серии полковых групп гвард. офицеров и солдат начала 1850-х годов, работы Гебенса. Оригиналы, по смерти Николая I, были розданы Александром II в полки; куда попала группа дворцовых grenадер – не знаю. С них были изданы литографии, полный подбор которых был и в Интендантском музее, и, вероятно, в библиотеке Зимнего Дворца. Дворцовых grenадер я видел только литографию. Думаю, что, хотя группа и последних дней эпохи Николая I, но характерна для роты за весь период 1827–1855.

б) Хорошо было бы упомянуть, что рота получила Георгиевское знамя за подвиги гвардии (и армии) в 1812–14 гг., и оно было особое – наполеонов парчовое с золотой вышивкой, вроде государственной хоругви в миниатюре.

в) Хорошо бы упомянуть, что кроме внутренних караулов во дворце, дворцовые гренадеры были почетными часовыми на постах у Александровской колонны, а позднее у памятника Николаю I, и, сколько помнится, небольшая часть роты была в Москве и имела пост у памятника Александра II.

г) Не помню художника, но на одной из выставок 1910–14 гг. была замечательно исполненная картина: идет смена дворцовых гренадер. Старики в их мохнатых шапках и черных шинелях, а впереди внуки-мальчуганы барабанщики и флейтщики. Конечно, это уже другая эпоха, и не берусь судить, подойдет ли она, как концовка к Вашему экскурсу истории роты.

д) Не знаю, была ли издана история роты, но составлением таковой занимался один из последних командиров роты, некто Гринев. Он получил свой солдатский Георгиевский крест за постановку мин на Дунае, будучи вольноопределяющим гальванич. команды л.-гв. Саперн. батальона. Я лично его не знал и он не был в почете в батальоне.

е) С первого взгляда видно, что форма дворцовых гренадер – подражание формы гренадерской старой гвардии Наполеона I. Николай I был в молодости под гипнозом Наполеона, и в 1817 г. проектировал формы для русской армии по образцам наполеоновской. Альбом в библиотеке Зимн. дворца. Вопреки уверениям Корера, Шильдера и Лакруа о том, что мать Николая Павловича оберегала его от сверстников и увлечения фронтонией, мне удалось доказать, что в 1810–1814 г. для военно-командной практики Николая Павловича и Михаила Павловича существовала специальная «Лейб-гвардии дворянская рота», составленная из камерпажей и пажей старших классов, и в этой роте Н.П. был штабс-капитаном, а М.П. поручиком. Командовал кавалер Ушаков, а шефом был Александр I. Приказы писал Николай Павлович, и они у меня приведены. Так вот, для этой роты Н.П. спроектировал в 1810 г. ту форму, которую осуществил на деле через 17 лет в роте дворцовых гренадер, только приборные цвета были его двора – серебро с синим. Об этом подробно в составленной мной Главе I Очерка III истории свиты Николая I, из серии историч. очерков 100-летия Военн. Министерства.

ж) На известной гравюре, когда Н.П. и М.П. учились гравировать у Кипренского, Н.П. награвировал задуманного им еще мальчиком будущего дворцового гренадера в наполеоновской гренадерской шапке (с лашканом?).

з) В библиотеке Зимнего Дворца был альбом проектов форм 1817 г., по которому не только гвардия, но и армия – и генералы и штабные по примеру француз. и польской армий должны были получить лашкана (у генералов расшитые по краю золотым шитьем), но на деле лашкана получила тогда гвардия и литовский корпус. Думается, к этому проекту был причастен Н.П.

Я знаю, что наговорил много лишнего, но может быть, что-нибудь и пригодится. б. Думается, что, может быть, лишним был бы портрет в рост Аракчеева на фоне военных поселений кисти Доу, о котором Шедрин в «Истории одного города» писал, что небо, как солдатское сукно.

7. М.б., Вы нашли-бы что-нибудь на Вашу тему в моих статьях в «Журнале Русского Военн.-Истор. об-ва» за 1911 г. В № 1 «О способах ознаменования 100-летней годовщины св. памяти 1812 года». Там довольно подробно перечислена графика с 1812–1814 гг. и в № 3 «о портретах Александра I, наиболее близких к эпохе Отечеств. войны». Я доказывал, что таковым является редкий 2-ой вариант портрета Волкова 1810 г. Я с трудом нашел 2-ой вариант и подарил Музею 1812 года.

8. Хорошо бы дать главу об изданиях гравированных и других репродукций сокровищ Военной галереи. Мне попадались при просмотре ряда больших коллекций в подвалах Фельтона, у Дашкова и в Эрмитаже следующие серии репродукций с портретов Военной галереи: а) большие листы чудных гравюр Генриха Доу и Райта. Среди них были прекрасные (en couleur). б) Меньшие оплечные листы тех же гравюр в виде альбома с русским и франц. текстом. в) Издания Лагревиа

и Песоцкого; Александр I и его сподвижники в 1812–1815 гг. с литограф. портретами. Текст начат Михайловским-Данилевским, а исполнен большей частью Висковатовым: Александр I, Кутузов, Барклай и вид галереи в гравюрах. 2) Известное юбилейное изд. Н.М. и частные юбилейные издания Lapine и др. Стоило бы дать главу критико-библиографическую об этих изданиях, дав и образцы репродукций, типичные для каждого. Это, как вынесение сокровищ галереи за ее стены в широкую публику, что, казалось бы, стоит отметить. Но, конечно, мне неизвестны возможности тех или иных расширений программы Вашего замечательного труда, и я делюсь своими мыслями о нем, как материале, из которого м.б. хоть крупица Вам пригодится.

9. В 1832 г. были изданы литографии, исполненные инженер-кондуктором, затем инж.-прапорщиком Белоусовым с оригиналов, кажется, Зауервейда: типы и формы русской армии, на каждую гвард. часть по 3 листа. Оригиналы с собственноручными поправками Николая I, хранились в библиотеке Зимнего Дворца. Твердо не помню листов роты дворцовых гренадер, но наверное были таковые. Изображены были и знаменщики со знаменами. Это ведь первые годы после основания роты, и изображают, как и помещенные Вами репродукции, дворцовых гренадер первого состава, а личные поправки и редакции Николая I, тончайшего знатока трынчиков и ремешков, ручаются за документальность отображения первого состава дворцовых гренадер, и м.б. были бы нелишни во втором издании Вашего труда.

10. В той же библиотеке стояли раскрашенные гипсовые фигуры – типы солдат и офицеров гвардии 1830–1850-х гг., тоже, большей частью розданные Александром II в полки. Работал их, пеших – Газенбергер, а конных Клодт. Не помню, но думаю, что были и дворцовые гренадеры. Принимал их лично Николай I и переводным циркулем проверял точность уменьшения с солдата, служившего оригиналом.

11. Совсем вне рамок Вашего труда, но вплотную к его теме, была бы глава о военных друзьях Пушкина, не достигших генеральского чина и не попавших в Военн. галер., (как М. Орлов и Д.Давыдов), но раз у Вас есть и генералы, и солдаты 1812–1815 гг. то, м.б. не совсем лишними были бы и офицеры участники этих войн, из числа друзей Пушкина, как гусары Чаадаев и Грибоедов, ополченцы Жуковский, Вяземский и много других, которые Вам, конечно, известны.

На этом кончаю пункты и прошу великодушно простить, что загрузил Вас столь подробным гейзером мыслей, порожденных Вашей прекрасной книгой. Я постарался разболтаться, но мне думалось, что лучше представить на Ваше усмотрение и выбор, если далеко не все, то хоть некоторые из мыслей, пожеланий и мечтаний, которые у меня связались с горячим желанием увидеть 2-е изд. Вашей книги, и, притом, в еще более широком масштабе.

Кроме того, считаю долгом подтвердить, что все привожу на память, около 1/4 века оторванный судьбой от материала. Поэтому, те пункты, которые будут возможно по условиям переиздания, и Вы сами пожелаете использовать, необходимо будет проверить, не полагаясь на мою стариковскую память.

Очень буду рад, если что-либо из сообщаемого мною здесь пригодится Вам.

Искренне уважающий и благодарный

Г.Габаев

P.S. – Думается еще, что группы Дворцов. гренад. первого состава должны быть на тарелках, так называемых «фельдмаршальских приборов»; насколько помню, такие приборы 1830-х гг. имели рисунки, скопированные с серии 1832 г. Зауервейда-Белоусова, конца эпохи Николая I и за эпоху Александра II на этих приборах были рисунки А.Шарлеманя, а за годы Александра III – с рисунков Мазуровского. Репродукция тарелок прибора 1830-х гг. с фигурами дворцовых гренадер, м.б. подошла бы, как типичное явление эпохи.



Г.С.Габаев. 1916

P.P.S. – Другим, очень типичным явлением мундирно-ремешкового стиля эпохи является, хранившаяся в библ-ке Зимн. Дв., азбука Грибанова. По ней обучался в детстве Александра II. На каждую букву карточка: и форма полка (например, «А» – атаманеш), краткая хроника полка, рисунок знамени и славнейшего сражения и ноты полков. марша. Не помню, есть-ли там дворц. гренадеры, но если есть, это было бы типично, как метод внедрения с самых юных лет мундирования в сознание будущего главы государства. 24.IX.49.

P.S. 27.IX.49. Вспомнилось еще два пункта, имеющих некоторое отношение к отражению в искусстве (м.б. и весьма второсортном) популяризации лет 110–120 назад «золотой роты», точное «роты Дворцовых гренадер».

К пункту 5. и)

В 1830-х гг. Преображ. офицер Чернышев, написал сказку о двух царях («Русский царь и царь немецкий»), в которой в очень выпретенных и гиперболических тонах давал картины соревнования этих двух царей, причем русский царь изображался сказочным богатырем, а немецкий какой-то жалкой обезьяной. Последнее их соревнование было дворцами, причем, конечно, дворец немецк. царя оказался какой-то жалкой лачугой, по сравнению с Зимним, сказочного великолепия, и в этом дворце на страже стояли какие-то чудо-богатыри, мундиры кот. были сплошь расшиты золотыми галунами, а на каждой золотой петлице или пуговице название славной победы, в кот. участвовал этот чудо-богатырь. Конечно, это гиперболизированное изображение дворц. гренадер. Сказка была напечатана в самом ограниченном количестве экземпляров, чтобы не попала немецким родственникам, а Чернышев попал во флигель-адъютанты. В моей коллекции был экземпляр сказки, но пропал. Позже я ее увидел в книге Гербеля «Русские поэты» изд. 2. – В той же книге был напечатан и замечательный текст Федотова к его знаменитой картине «Сватовство майора», и прекрасным изображением фрунтового пафоса на смотру. Что-то вроде:

Вот идут, идут по-взводно
Ровным шагом землю бьют,
Эхо дальних даль и гор
Дразнит музыкантский хор.
Поле ровное трясется
И из строя раздается:
«Рад стараться ваше-ство!»
И на лицах торжество.

Только это приблизительно, п.{аче} ч.{аяния} память изменяет.

К пункту 5 – к). – В прежнее время (1830–1850-е гг.) были очень в ходу так называемые «Кадетские листы» –

литографии с изображением по одному офицеру, унтеру, барабанщику и многих рядовых, каждого гв. полка отдельный лист. У меня их был большой подбор. Бывали и раскрашенные листы, а «кадетскими листами» назывались, т.к. поощрялось раскрашивание в правильные цвета самими кадетами. Среди таких листов был у меня лист и с дворц. гренадерами.

Г. Габаев



Для В.М.Глинки

24.IX.1949. Будогощь.

Несколько мыслей, пожеланий и уточнений, в связи с необходимостью переиздания «Старосольской повести».

Это произведение произвело самое отрадное впечатление на меня, особенно как на человека, полвека посвятившего изучению изображенной эпохи. Оно резко выделяется среди многочисленных современных халтурных попыток повествований на исторические темы и верностью тона, соответствующего среде и эпохе, и правдивостью восприятия и передачи духа и стиля ее, и тесной связью с занимательно и естественно разворачивающейся фабулой.

Повесть Ваша напомнила мне любимые с юности повести и рассказы А.Ф.Погосского (3 тома сочин., изд. Фену 1860–1870-х гг.), как «Неспособный человек», «Сибирячка», «Штуцерник Нечипор Зачины-Ворота», «Заметки (или мелочи) солдатской жизни». У Погосского, лично тянувшего несколько лет солдатскую лямку, последних годов поражает его знание солдатского быта, умение ярко передать его и замечательно теплое, сердечное, искреннее отношение к русскому солдату 40–50-х гг., когда быт был еще тот же, что в 20-х и 30-х. Для меня он в этом отношении был всегда выше и Толстого, и Даля, и мое сопоставление с ним есть высшая из доступных мне оценок.

Среди 22 причин неверностей в «Воине и мире», я подробно останавливаюсь на том, что Л.Н.Толстой изучал эпоху 1805–1812 гг. только с чужих слов, печатных, писанных и устных, и не пытался взглянуть на нее своими глазами, т.е. – изучать картины, портреты, графику и вещественные памятники изображаемой эпохи, как это делал Вальтер Скотт. В Вашей книге, наоборот, сказывается любовное изучение эпохи по ее, не только письменным, но и графическим, и вещественным памятникам, но мы с Вами изучали ее в разное время и в разных условиях, и мне пришлось видеть и слышать многое, чего сейчас увидеть и услышать нельзя. Поэтому я позволяю себе целый ряд уточнений и указаний на Ваше усмотрение, потому что такое исключительное произведение должно полностью отражать правду эпохи, даже в мелочах по вопросам истории организации, быта русских войск той эпохи и о деталях мундирования, как строгой дисциплины из области истории материальной культуры.

Верю и надеюсь, что Вы не посетуете на меня за придирчивые и мелочные уточнения и пожелания иногда детализировать приводимые Вами типы и картины. Поэтому решаю на Ваше суждение и выбор представить все те указания, которые явились у меня при чтении Вашей замечательной книги.

Начинаю постранично:

Стр. 40 – 4-я строка сверху: «Разные капральства, по-теперешнему взводы» – характеристика этих выводов правильная и четкая, но организация грен. роты была несколько иная. В подражание Наполеоновской, где в линейном полку в каждом батальоне было по одной роте гренадер, по 4 роты центра (фузилер) и по одной роте вольтижеров, т.е. стрелков, Аракчеев с Барклаем в 1810–1811 гг. создал несколько более скупую организацию батальонов в русской пехоте. В гренад. полках было в батальоне по одной гренад. и 3 фузилерных роты. Каждая рота

из 2-х взводов (полурот). В фузил. ротах оба взвода были фузилерными, а в гренадерской – один взвод гренадерский, а другой стрелковый, так правильно Вами охарактеризованные, но это относилось не к капральствам, а к целым взводам, а капральства были частями взводов, как позднее отделения.

Стр. 42 – Вы пишете: «2-ая гренад. дивизия». И я так писал в своей «Росписи полкам 12-го года». И, м.б., так их в быту и называли, т.к. 1-я и 2-я дивизии были составлены каждая из 6-и гренад. полков (прочие дивизии из 4-х пех. и 2-х егерск.), но потом я убедился, что официально они в 1812 г. назывались «1-я и 2-я пехотные дивизии», и только в 13–14 году учреждены 3 гренад. дивизии, каждая из 4-х гренад. и 2-х карабин. полков, сначала называвшихся гренадерскими егерскими. В прочих дивизиях погоны были разных цветов по № полка в дивизии, на погонах № дивизии, а у гренадер. полков в 1812 г. у всех погоны были красные с начальной литерой названия, а с 1814 г. во всех гренад. и карабин. полках погоны желтые, с тех пор только одним гренад. дивизиям присвоенные.

Стр. 50 – Строка 4-я сверху. О батальонном знаменщике. В ту эпоху честь носить знамя в пехоте принадлежала подпрапорщику из дворян, а строевые унтер-офицеры были при нем ассистентами. Конечно, фактически, знамя в походе несли эти ассистенты, но в бою и на параде – подпрапорщик. У вас правильно и точно о батальонном флаге.

Стр. 52. Строка 10 сверху. «Желтая тесьма». Тесьма на музыкантских мундирах была желтой только в частях старой гвардии, а в армии, молодой гвардии и в гренад. полках тесьма была белая. На той же стран. о Преображ. марше. Вы, вероятно, взяли это из каких-нибудь записок, но в гвардии часто и на наш саперный юбилей в 1912 играли частый, так назыв. «Парижский марш», о котором в гвардии держалось предание, что именно под этот марш гвардия и, вообще, русские войска, вступали в Париж в 1814 г. Как было на деле – судить не берусь, это требует проверки и я говорю это между прочим, п.ч. Ваше описание очень хорошо и четко, и ярко и жаль было бы менять.

Стр. 53. – О тамбурмажорах. При внимательном изучении штатов той эпохи, я не сумел найти приказа о введении тамбурмажоров. Продолжал числиться только полковой барабанщик. Что касается описания разукрашенной формы тамбурмажоров, оно было утверждено, помнится, лишь в 1815 г. (надо проверить по Висковатову). Но, конечно, вполне возможно, что введенные в подражание французским, русские тамбурмажоры были введены уже в 1814 г. Если память мне не изменяет, то только в старой гвардии вместо тесьмы у тамбурмажоров мундир был расшит золотым галуном. У каждой пуговицы золотая кисточка, эполеты генеральские, но с добавлением цветной нитки. В молодой гвардии, в армии, у гренадер галуны и эполеты были, кажется, серебряные. Хорошо бы проверить по Висковатову.

Прекраснейшие, типичные изображения тамбурмажоров 1815–1818 гг. не ретроспективные, как у Висковатова, а с натуры и с их типичными позами, даны Килем; альбом гравюр Поля с его замечательных рисунков типов и форм русской армии указанных годов, может быть и раскрашенный, должен быть в библ. Зимн. Дворца. Прекрасные акварельные оригиналы, с более богатым, чем на гравюрах, фоном военных фигур и сцен, хранились в Интендант. музее. Увы, я стал уже неполный комплект. Медные доски гравюр хранились в граверном классе Акад. Художеств и, в 1910-х гг. еще можно было заказывать оттиски (портретов К.П. верхом в кирасе из моей коллекции прорисован на таком оттиске). Думается, что репродукция с Килевского тамбурмажора была бы уместна в Вашей прекрасной книге? Сколько помнится, положений и поз тамбурмажора нет в «Рекрутской школе» 1817 г. на гравюрах Шифлера, но м.б. есть в фигурах к «Рекрутской школе» на больших листах 1822 г., исполненных по рисункам Сапожникова в чертежной генерал-инспектора Николая Павловича. Каждая фигура, каждый прием раскрашен в форму другого полка. Там и приемы шпагой, знаменные,

музыкантские. Альбом, с которого я копировал в библ-ке Зимн. Дв., был неполный, но думаю, что в полном должны были быть и приемы тамбурмажора.

Стр. 159 строка 8-я сверху: «эполет пришит заново к мундиру». Эполеты не пришивались, а продевались под контр-эполет и застегивались на пуговицу у воротника.

Стр. 187 стр. 14 сверху: «Подали шпагу». В этот период в пехоте, не только у офицеров, но и у генералов (при полковом мундире) были не шпаги, а полусабли. При обще-генеральской форме были шпаги. Не помню, как у штабных. Хорошо бы уточнить по Висковатову. На той же странице «Арестантский халат с черным бубновым тузом на спине». Вообще тузы на спине были красные или оранжевые, яркие, чтобы удобнее целится по убегающему. М.б., в арестантск. ротах военно-инженерного ведомства (на строительстве крепостей) были и черные тузы. Не ручаюсь.

Стр. 220 стр. 18 снизу: «в недалеком прошлом» очевидно, опечатка, т.к. автор, наверно, имел ввиду: «в недалеком будущем».

Стр. 254 стр. 3 сверху: «Кепи с синим околышем». У лейб-гренад. околыш на кепи 1862–1872 гг. был действительно, светло-синий. Сначала, в 1862 г. (1863 г.) гвардии кепи были даны белые, и тогда околыш у лейб-гренадер был синий, но в том же году кепи были даны темно-зеленые или черные и в гвардии, но, в отличие от армии, с нашитым по цветному околышу желтым басоном у солдат), и галуном у офицеров, т.ч. у лейб-гренадер на кепи допущен был бросаться в глаза этот желтый басон по синему фону.

После победы пруссаков над французами, кепи, заимствованные у севастопольских победителей, Александр II заменил в гвардии касками по образцу седанских победителей и вернул гвардии фуражки 1808 г.

Вот и все, что я мог сказать, при самом доброжелательно-придирчивом подходе, часто не на тему, а только около нее.

Примите эти летучие указания, как они сделаны – от сердца, и от горячего желания видеть 2-е изд. Вашей прекрасной книги недоступным для каких-либо поправок самого придирчивого фанатика изучения эпохи.

Искренне уважающий и благодарный

Г.Габаев

P.S. В записках сенатора Дена (в одном из исторического журнала) он вспоминает, что был дежурным флигель-адъютантом, в день кончины Николая I и далеко не с одобрением описывает, что первым распоряжением Александра II, когда тело его отца было еще не положено в гроб, было заменить генеральские лосины красными штанами с золотым галунами, как у генералов Наполеона III, победивших под Севастополем. Так и кепи 1864 г. и каска 1872 обезьянство, равнение по последним победителям. Это не для книги, а попутно вспомнившееся. Не терплю безвкусицу и бесстыдность эпохи Александра II. 25.IX.1949



4.XI.54 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Владислав Михайлович,

Еще до получения Вашего доброго письма от 30/X я собирался спешно писать Вам, чтобы просить воздержаться пока от каких-либо выступлений о портрете Кипренского «Гусар Давыдов», т.к. тут выясняется кое-что новое (в наст. время этот портрет атрибутирован, как портрет Еврафа Давыдова – прим. редактора), и я был бы очень огорчен, если бы подвел Вас на выступление ошибочное. Пока не вдаюсь в описание сути, но как только это станет возможным, первому сообщу Вам. Отчасти при углубленном разборе этого вопроса произошел раздор между моими коллегами, а моя попытка примирить их точки зрения только усилила его, т.ч. может быть, я выйду из нашего начинания по изданию справочника по русским

мундирам, т.к. и программа, и состав редакции изменились. Когда окончательно выяснится, напишу подробнее, но это испортило мне много крови и нервов. Вообще, многое бьет по нервам: 24/IX скончался мой старый друг А.А.Сиверс. К счастью, свои рукописи и замечательную картотеку русских деятелей он завещал Ист. Музею, где работал до последних дней. Он умер на 89-м году, а 4/X 53 г. скончался другой мой старый друг В.А.Афанасьев (за три недели до 80 лет, мне 77?). Я просил его сына о передаче его архива в одно из научных хранилищ. Он обещал, но исполнил ли, я узнать не смог.

Из Ленинграда мне писали о тяжелой болезни Евгения Григорьевича; но не знаю, в каком состоянии его здоровье?

Недавно писал старшей внучке Нат. Серг. Габаевой, прося зайти в Эрмитаж и позвонить Вам насчет кружки с миниатюрой Константина Павловича. Не откажите посоддействовать передаче кружки ей. У меня появились кое-какие перспективы насчет этой вещи.

Евгений Григорьевич как-то передавал мне через внучку при возвращении не взятого Эрмитажем в 1946 г. материала, что он может быть принят бесплатно. У меня кое-что сохранилось, и я просил Соф. Григ. в случае моей кончины озаботиться передачей этого в Эрмитаж. Несколько гравюр радуют мой глаз, как память о моем бывшем собрании. Кроме того, в 1946 г. я поддался искушению оставить себе ту маленькую гравюрку с портретом Константина Павл., под которой подпись: «Великодушием ты смертных превзошел и шастье истинно в спокойствии нашел». Она была мне дорога, как показатель романтической черты в облике Константина Павловича, по которой он, ради брака с любимой девушкой, окончательно отказался от престола. Если эта гравюра может быть интересна Эрмитажу, я удовлетворюсь фотокопией, а оригинал смогу уступить Эрмитажу, а то оставлю ее до передачи после моей кончины. Вот, кажется, все вопросы, о которых хотел написать независимо от Вашего письма, опасаясь что-либо упустить, а сейчас начинаю пункты в ответ на Ваше письмо.

1. Очень ценю, что по возвращении в Ленинград, Вы, при всей Вашей загруженности и накоплении всяких дел свыше нормы, все же отправили письмо мне.

2. Очень рад, что наши взгляды на недопустимость версии Азаркиной совпадают, но, как и пишу выше, тут есть новая фаза, требующая изучения.

Вы правильно отметили, что странно, что на портрете, если он Дениса, отсутствие боевых орденов после его участия в кампаниях 1806–1807 и Финляндской 1808–1809, а также «белого локона на лбу». У меня сейчас нет под рукой данных о его чине и орденах 1809 г. (в 1806 поручик, в 1812 ротмистр гвардии, а в 1809?), а также нет рисунка лейб-гусарской выкладки на ментике, которая должна была быть у штаб-офицеров иная, чем у обер-офицеров. Кажется, и у Висковатова это дано уже позже 1809 г.

Евдокима, конечно, как никогда не бывшего гусаром, придется удалить из кандидатов на оригинал Кипренского, но дальше сложно.

3. Спасибо за готовность проверить подпись под этим портретом Русск. музея. Интерес к этому не остыл, но уже потерял былую срочность.

4. Я крайне заинтересовался Вашей работой о дворцовом гренадере Иванове и с радостью сообщу все, что знаю или предполагаю:

а) Я позволю себе привлечь Ваше внимание к запискам Каульбарса, напечатанным в журн. Русского Военно-Ист. общ-ва на 1911 или 1912 г., не Каульбарса конно-егеря в Суворовс. войсках под Римником, а конно-гвардейца – участника 14/XII. Извлечение об этом дне было издано отдельной брошюрой с неправильным планом, меня подведшем, которую я подарил Войтову (существует ли он?). В этих записках Каульбарса могут оказаться полезные для вас штрихи.

б) Конечно, в полковую историю конной гвардии Вы заглядывали.

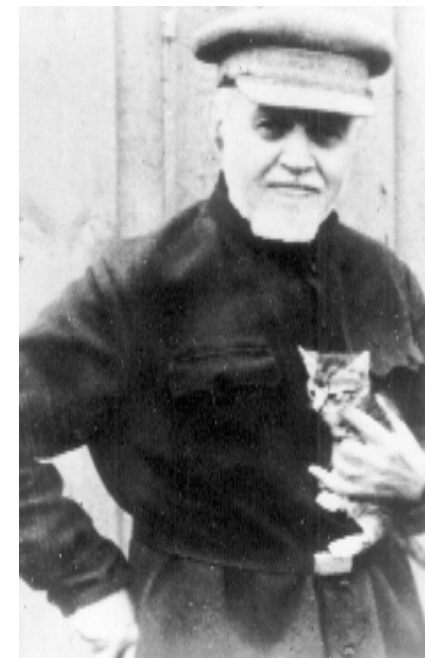
в) Вопросами ремонта я специально не занимался, но на основании многих впечатлений от изучения той эпохи, думаю, что применялись оба способа отправления команд: и походным порядком, и в случае срочности, на перекладных. Так, на перекладных были пересланы в начале 1813 г. по 1 унтер-офицеру и по 2 сапера от 10 рот (из 24-х), оставшихся от похода за границу, как кадр для нового л.-гв. Сап. батальона, а прочее укомплектование шло походным порядком.

В 1855 г. запасные и резервные батальоны, предназначавшиеся на сформирование пехотных полков, точнее, их остатки, не были отправлены из-под Севастополя на Волгу, где шло формирование этих резервных полков, а туда были отправлены лишь малые кадры и знамена на перекладных.

В 1860 г., когда кирасир. полки на поселении были упразднены, их названия и штандарты были переданы некоторым драгунским полкам и отводили их штандартные взводы. У Григоровича приведено трогательное описание прощания взвода с Орденским полком.

По правилам комплектования гвардии, гренадер и кирасир., порядок пополнения был такой: из армии отбирались лучшие в гренадеры и кирасиры, а из гренадер и кирасир в гвардию. Об этом у меня в книге Преснякова стр... (так в письме – М.Г.) Прямых указаний не помню, но думаю, что эти небольшие команды перебрасывались на почтовых, а равно ремонтные команды на большие расстояния и только уже с ремонтом возвращались конно. Возможна и намеченная Вами схема: конный поход за ремонтом на браковках. Дед, служивший в Малоросс. кирасирском полку, рассказывал, что когда он поручиком по смерти отца вышел в отставку, его красавец-конь был куплен в гвардию и там, при англоизировании (укорочение костей хвоста) погиб. Вероятно, он из-под Елизаветграда путешествовал в СПб при ремонтной конной колонне.

Думаю, что решающим были срочность и численность расстояния и не сомневаюсь, что применялись оба способа. Не имею точных указаний, но думаю, согласно духу эпохи, что полковые ремонтные команды сводили в дивизионные, но при экстренной необходимости для какого-нибудь одного полка могли отправлять и одну его команду и, конечно, тогда на почтовых. Думаю, что посылал из запасного эскадрона. Какие гв. архивы Вы смотрели в Москве? Те подлинники, которые шли от полков в высшие инстанции и осевали в центральных архивах, или те черновики, которые оставались в полковых? Эти последние я усердно собирал в 1918–1919 гг., формируя 1 отделение 3-й секции Главархива, собирал их в одну из зал Кронверка. Слышал, что были переданы в бывш. архив Главн. штаба. Если не нашли нужные в Москве, м.б., найдете в Лен-граде в архиве л.-гв. конного полка или штаба гв. корпуса.



Г.С.Габаев. Будогошь. 1954

Насчет отпусков могу сказать одно, что надо проглядывать полковые приказы той эпохи, кого и на сколько отпускали. Думаю, что только старослуживых, георг. кавалеров и вообще, пользовавшихся доверием начальства и думаю, что не часто, разве на близкие расстояния.

Очень рад буду, если мои, весьма приблизительные данные смогут быть Вам хоть сколько-нибудь полезны. Очень-очень прошу Вас не стесняться. Всегда буду рад ответить Вам о всем, что мне известно по интересующим Вас вопросам.

Благодарю за внимание и сообщение, что моя статья в книге Преснякова служит историкам, но огорчен, что меня подвел план Каульбарса, а план Николая I я увидел позже. Там стройка Исаакия и ее заборы доходят до Синода. У меня готов черновик большого формата (лучший застрял у Войтова), но если бы Эрмитаж захотел заказать кому-либо чистовой, я с радостью и, конечно, бесплатно предоставлю черновик в Ваше распоряжение на то время, которое нужно для снятия копии.

Соф. Григ. шлет сердечный привет милой Надежде Сергеевне и Вам. Примите мой горячий привет и лучшие пожелания и, повторяю, радуйте меня вопросами.

Очень Ваш
Г.Габаев



О ГАБАЕВЕ И БЕЛАВЕНЦЕ

Одной из особенностей российского офицерского корпуса было то, что в нем, начиная с начала XIX века, служило много людей, получавших хорошее образование, а к тому же нередко добавлявших к своей основной военной профессии еще и какую-нибудь дополнительную – техническую или гуманитарную, ремесленную или творческую. Сочетали военную службу с творчеством Державин и Лермонтов, художник Федотов и молодой Лев Толстой. Следствием того, что Николай I определил в воспитатели пятилетнему великому князю Константину (которого предназначали в будущем возглавить российский флот) блестящего гидрографа и исследователя полярных морей Ф.П.Литке, явился расцвет мореведческих наук в России, достигнутый через несколько десятилетий усилиями именно морского офицерского корпуса. Сочетали с военной службой свою научную и изобретательскую деятельность организатор магнито-компасного дела в русском флоте И.П.Белавенец, изобретатель «воздухоплавательного снаряда» А.Ф.Можайский, географы Н.М.Пржевальский и П.К.Козлов, адмирал «всех морских наук» С.О.Макаров, специалист по гидродинамической теории смазки генерал Н.П.Петров, инженер и изобретатель А.Г.Гагарин.

Имена двух офицеров – военных историков и архивистов, которые нам хочется назвать, стоят рядом не только потому, что отрасли военно-прикладных наук, в которых они работали, тесно соприкасались, но и потому, что эти два человека дружили.

Мы говорим о Петре Ивановиче Белавенце (1873–1936) и Георгии Соломоновиче Габаеве (1877–1957). Первый из них, капитан 1 ранга (1917), окончивший Морской корпус, Артиллерийский офицерский класс и два археологических института – Петербургский и Московский, – сделал огромный вклад в отечественное знаменоведение (вексилологию). Второй – Г.С.Габаев, командир лейб-гвардии саперного батальона (1917), всю свою длинную жизнь занимался целым рядом смежных военно-исторических дисциплин – историей полков, эмблематикой, награждением (фалеристикой), мундироведением и уже упомянутым знаменоведением.

Судьба обоих мне известна лишь в общих чертах. Знаю, что П.И.Белавенец был поздним сыном замечательного ученого-девиатора Ивана Петровича Белавенца, что на броненосце береговой обороны «Адмирал Сенявин» участвовал в Цусим-

ском бою, что были у него Анна и Станислав вторых степеней, что был он выдающимся знатоком военно-морской истории, опубликовал более 60 книг и статей и трудолюбив был нечеловечески. Занимаясь в музейных фондах трофейными знаменами, он сделал вывод, что подобными хранилищами старых русских знамен обладают и государства, веками воевавшие с Россией. Перед Первой мировой войной, отправившись за границу, он скопировал фотоспособом по частям множество хранящихся в иностранных знаменохранилищах старых русских знамен (изображений которых не было в России), и раскрасил эти склеенные из кусков муляжи. При этом дублировались следы всех индивидуальных особенностей полотнища – дыры от пуль, прорывы от штыков, подпалины, следы разрушения от времени и т.п. Работа была колоссальной, но теперь, благодаря этому огромному труду, отечественное знаменоведение обладает редкостным архивом точных изображений старых русских знамен. 1930-е годы были нелегкими для П.И.Белавенца, нелегкими не только из-за политической обстановки, но и по каким-то личным и очень горьким для него семейным причинам. П.И.Белавенцу почему-то не было доступа к его архиву, и жил он у приютившего его Габаева. В середине 1930-х работал он в Артиллерийском музее и, предчувствуя скорый конец, завешал накрыть его, когда придет его час, андреевским флагом. И когда такой день пришел, его просьбу исполнили. Но как раз накатила очередная полоса арестов бывших офицеров, и за бывшим капитаном 1 ранга пришли в этот самый день.

– Где Белавенец? – спросили пришедшие.

– А вон. Под флагом.

– А... – сказали пришедшие. – Ну, тогда ладно.

Владислав Михайлович Гинка не был знаком с П.И.Белавенцом, но огромное хранилище знамен Русского отдела Эрмитажа входило в его хозяйство, и научной основой этого хранения были те изыскания, которые проводил за несколько десятилетий до того Петр Иванович Белавенец.

Георгий Соломонович Габаев происхождение имел несколько причудливое. По отцу он принадлежал к знатному грузинскому роду Габаонели, по материнской линии – к обрусевшим гугенотам по фамилии Россет. Да еще приходился племянником внебрачному сыну Александра II – адмиралу Е.И.Алексееву. Г.С.Габаеву принадлежит оригинальная идея использовать черты сходства между историей дворянских родов и историей полков для разработки «полковых родословий» (поскольку некоторые из российских полков насчитывали уже более 200 лет). Обилие трудов Г.С.Габаева чрезвычайно. Подобно П.И.Белавенцу получивший, кроме военного образования, еще и археологическое, он, будучи еще очень молодым, уже выдвинулся как ученый чрезвычайных знаний. Однако звание полковника гвардии, выслужившего к 1917 году генеральский чин и значительный авторитет в военно-научной среде, были, вероятно, причиной того, что в 1921, 1926, 1930 и 1944 гг. его арестовывали. И если в первый раз дело ограничилось месяцем заключения, то при втором аресте он получил три года, при третьем – 11 лет (просидел 7), а четвертый кончился пожизненной ссылкой в Будогош. Но даже из ссылки старый мундировед пытался соединять времена. Те времена, в которые было можно поехать в Берлин, Стокгольм или Вену и работать там в архивах, хранилищах и музейных кладовых, с другими, когда поехать было никуда нельзя, а в любой статье надо было поминать о классиках марксизма-ленинизма.

В эти годы Габаев и дядя переписывались, и дядя, насколько я помню, глубочайшим образом чтит своего корреспондента. За что тот был в ссылке? Какой вред и кому мог принести этот старый ученый, живя около тех музеев, которыми он только и дышал?

Моя сестра на два года старше меня, и потому из первых послевоенных лет помнит больше. Она говорит, что даже ей тогда было понятно, что старик, который несколько раз приезжал к дяде на поляна из Будогоши, был еще беднее нас...

Ю.Б.ШМАРОВ – В.М.ГЛИНКЕ

г. Печора 24.XII 1959.

Многоуважаемый Владислав Михайлович!

С большим удовлетворением прочел Вашу прекрасную книгу о Л.А.Серякове. Как она отличается от большинства книг, написанных нашими присяжными искусствоведами, которые, как правило, излагают в них обычно известный всем материал, и стараются доказать, что они нашли что-то новое, никому не известное. Большинство этих книг, написаны если даже и со знанием материала, но без всякой души и любви к изображаемым ими персонажам. Как правило, они сухи, бездушны и поэтому не пользуются спросом у широкого круга читателей. Ваша книга написана с большой душевной теплотой, просто и без всяких претензий, сразу ощущается, что автор прекрасно знаком с бытом, эпохой и историческим материалом.

В Вашей книге Вы упоминаете об Александре Михайловиче Булатове (отношения к Булатовым, родственникам В.М.Глинки, не имеет. – М.Г.), личности, которая меня очень интересует и которая, кстати, является моим дальним родственником. Темой моей работы является «Декабрист Булатов и его окружение». В поисках материалов о нем и его окружении я много работал в различных архивах, в том числе и провинциальных, и мои труды были не безуспешны, но в отношении самого декабриста материалов оказалось немного.

Несколько лет тому назад, будучи в Ленинграде, работая над картотекой Модзалевского, я много слышал о Вас от сотрудников Пушкинского дома и Центрального исторического архива и собирался лично навестить Вас, но за краткостью времени, к сожалению, не успел.

В предисловии к Вашей книге указано, что «в основе повести лежат литературные и архивные материалы». Меня очень интересует вопрос, что в отношении Булатова, Вы пользовались архивными или литературными материалами? То, что Вы сообщаете об А.М.Булатове, печаталось в «Русской старине», где также имеется и изображение с его памятника. Имеются ли у Вас какие-либо архивные материалы о роде Булатовых и родственных им фамилий? Является ли Антипов лицом действительным или это художественный вымысел.

Буду Вам очень признателен если Вы ответите на мое письмо.

Я в продолжении многих лет, занимаюсь генеалогией и являюсь учеником Ник. Петр. Гулкова. Имею очень хорошую библиотеку по генеалогии и довольно значительную картотеку по образцу Модзалевского. Поэтому если чем-либо могу быть полезен Вам, то с большим удовольствием исполню Вашу просьбу, если Вам понадобятся справки генеалогического порядка.

Живу я с 1957 г. опять постоянно в Москве. Семья моя еще до сих на севере в Печоре. Поэтому я Вам сейчас пишу из Печоры, где и пробуду до 1 марта 1960 г.

Мой адрес: до 1 марта: Коми АССР г. Печора

Первомайская ул. д. № 9 кв. 1.

Московский: Москва 34 «Г». Хрушевский переулок дом № 7/15 к. 2

Шмарову Юрию Борисовичу

Крепко жму Вашу руку, и с нетерпением жду Вашего ответа.

P.S. Владислав Михайлович! Прошу Вас мне написать Ваш домашний адрес, т.к. данное письмо я посылаю через Эрмитаж.



Многоуважаемый Владислав Михайлович!

Несколько лет тому назад, когда вышла Ваша книга о Серякове, я обратился к Вам с просьбой сообщить мне источники о декабристе А.М.Булатове, которыми вы пользовались. На мое письмо Вы мне очень любезно ответили, почему я позволяю себе вновь обратиться к Вам со следующей просьбой:

Был такой художник Павел Дмитриевич Шмаров, мой однофамилец, а, может быть, и дальний родственник. Он окончил Академию художеств, был учеником Репина, и в 1916 г. получил звание академика. В 1922 г. он эмигрировал. Он был очень дружен с семьей Бенуа, в доме которого постоянно бывал. Перед своим отъездом за границу он оставил А.Н.Бенуа запечатанный пакет со своими личными документами на сохранение, т.к. очевидно не думал, что он более в Россию никогда не вернется. Потом за границу уехал и А.Н.Бенуа, а пакет остался в их семье, которая, как Вам известно, была очень многочисленной. Прошло много лет, и вот год тому назад от родственников Бенуа, ко мне в руки попал этот опечатанный пакет, в котором оказались его дневники, рисунки и другие документы. Ознакомившись с содержанием дневников, я очень заинтересовался этим художником, как со стороны его биографической, так и художественной. И имея в руках такой материал о нем, решил пока для себя написать монографию о его творчестве. Из его дневников мне удалось установить перечень его работ, примерно до 50 вещей. Вращался он в высшем Петербургском обществе, и был близок к Ленинградскому балету (видимо, к «петербургскому» – М.Г.), в войну 1914–1918 гг. он работал в «Новом времени» у Суворина, в качестве военного корреспондента, и его рисунки с фронта опубликованы в иллюстрированном приложении к «Новому времени». Работал он в журнале «Лукоморье» (имеется ряд его обложек). Несколько его работ воспроизведены в «Столице и Усадьбе». Художник он был очень крупный, но, поскольку оказался эмигрантом, у нас он естественно забыт, и о нем ничего неизвестно. Он писал в основном портреты. Из его дневников я узнал, что им был нарисован большой портрет балерины Анны Павловой, портрет балерины Муромцевой, артистки Вадимовой и ряд других, портрет Ф.Ф.Юсупова старшего, с семьей которого он очень был близок, портреты гр. Сувориных, генер. Куропаткина, кн. Эристовой, портрет Юрия Голяева (театральн. критика). Гр. Крейца, Стоянова, Глаголева, гр. Мусиной-Пушкиной и ряд других. По перечню портретов Вы можете судить, какова была его клиентура и его отъезд за границу был, очевидно, закономерен. Он являлся участником многочисленных выставок в СПб., неоднократно бывал за границей до 1922 г. – в Париже, Лондоне, Италии (Рим), Испании, где он был вместе с Кустодиевым. О его жизни за границей мне ничего не известно. Помимо портретов и других вещей им были исполнены 2 больших полотна: «Бородино», «Ополчение 1812 г.».

Последние две картины представляют особый интерес, т.к. в розыске и приобретении их особенно заинтересована «Бородинская панорама» в Москве, в которой я состою консультантом и членом закупочной комиссии.

Когда я рассказал им о его этих двух картинах, они страстно заинтересовались, и хотели их бы разыскать. Где они, эти вещи? Поскольку это были большие полотна, очевидно, они в их время писались по заказу несчастных лиц и не исключена возможность, что они где-нибудь лежат в фондах какого-либо из музеев в Ленинграде.

Сейчас я всецело занят работой об этом художнике и начал, естественно, с Москвы: в Третьяковке, Историческом музее его работ нет, в Бахрушенском музее обнаружил 5 его театральных рисунков, в Ленинской библиотеке проверил все каталоги выставок с 1899 г. (года выпуска его из академии художеств) по 1922 г. (год отъезда). Проверил все, что удалось узнать о нем по журналам и газетам в Ленинской библиотеке и на этом все мои розыски о нем по Москве окончились. Естественно, теперь надо перенести розыски в Ленинград. В связи с этим у меня к Вам большая просьба помочь мне Вашим советом, где искать в Ленинграде (я имел в виду к кому обращаться мои письма персонально и в какие учреждения и музеи и особенно прошу Вас помочь мне советом в розыске «Бородино» и «Ополчение 1812»).

Если для этого нужны будут письма от Бородинской панорамы, то они, конечно, будут написаны за «генеральской» подписью.

Письмо это к Вам послал с оказией с Михаилом Николаевичем Картесковым, который является моим очень хорошим знакомым, который Вам сам его доставит. Заранее приношу Вам свою благодарность.

Уважающий Вас Ю.Б.Шмаров



12/III. 1961г. Москва

Дорогой Владислав Михайлович!

С опозданием отвечаю на Ваше письмо от 28.IX, т.к. 2/X я уезжал к брату в Тамбов и только 16/X вернулся в Москву. Держу в руках Вашу книжку «Галерея 12-го года». Книжка издана хорошо, но иллюстрации чересчур красные, не научились у нас их делать по-настоящему. Сегодня позвонил по телефону Андрею Валентиновичу (А.В.Помарнашкому – М.Г.), он мне сообщил, что ему издательство обещало 20 экземпляров и если его не обманут, обещал мне прислать 1 экземпляр.

В Москве эту книгу даже при моих связях, достать невозможно, как и 2 других выпуска: 1) Воспоминаний Лерм. и 2) Пушкина в воспоминаниях современников. Такого рода книги прилавка не видят и расходятся из-под прилавка по рукам.

Насколько успешно движется Ваша работа по книге о формах Русской армии? Если Вам удастся закончить и выпустить ее в свет, это будет огромный вклад, в историю Русской Императорской армии.

Желаю Вам успеха, в Вашей замечательной работе и крепко-крепко жму Вашу руку.

Ю.Б. Шмаров

P.S. Прошу передать мой привет Вашей супруге.



В.Н.ПЕТРОВ – В.М.ГЛИНКЕ

16 марта 1964 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

От души благодарю тебя за дружеское письмо. В эти тяжелые дни твое сердечное участие было для меня очень нужным.

Смерть папы (Н.Н.Петрова, академика, врача-онколога – М.Г.) ни для кого не была неожиданной. Казалось, что его возраст и, главное, то обстоятельство, что в последние годы он был, в сущности, уже непричастен к жизни, делают его кончину естественной и даже, быть может, нужной для него самого. И все же, когда его сердце перестало биться, я испытал такое же острое горе, как если бы он умирал в расцвете сил.

В последний месяц его жизни я был при нем почти неотлучно. Он угасал у меня на глазах. И в редкие, но все же иногда наступающие минуты просветления учил меня не бояться смерти.

Он умер без страданий. За шесть дней до кончины он заснул – или, вернее, лишился сознания и больше уже не приходил в себя.

Разумеется, по медицинской линии для него было сделано все возможное. Смерть искусственно задержали на несколько дней.

Более важно то, что за три дня до смерти состоялось соборование со всеми обрядами. Отпели его дома, в день смерти, в присутствии самых близких людей.

Папа похоронен на Комаровском кладбище, рядом с могилой мамы, на месте, которое он сам для себя выбрал.

Ты легко поймешь, что события и переживания последних месяцев совершенно выбили меня из колеи. Работа валилась у меня из рук, а общение с людьми казалось непереносимо трудным.

Теперь я понемногу привычаюсь жить прежней жизнью и стараюсь наверстать упущенное в работе. Очень хотелось бы присоединиться к тебе и провести месяц в Ялте, но в ближайшее время это вряд ли будет осуществимо.

Думаю о тебе с огромной дружбой, еще раз благодарю и сердечно обнимаю.

Искренне твой
В.Петров



12 мая 1971 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

Три дня назад я получил твою книгу («Дорогой чести» – М.Г.), прочитал ее сразу, почти не отрываясь, и хочу поблагодарить тебя за истинную радость, которую она мне доставила.

Мне кажется, что это лучшая из твоих книг, наиболее зрелая и цельная, наиболее оригинальная и наиболее отчетливо воплотившая (хотя, конечно, и не исчерпавшая) твой духовный мир и своеобразие твоей писательской индивидуальности.

То, что мне хотелось бы написать дальше, представляет собой, разумеется, не рецензию или критическую статью (на это я не претендую), а всего лишь изложение некоторых моих читательских впечатлений, может быть, не совсем безразличных тебе, как всякому автору.

Твоя книга показалась мне очень одинокой. Ее, в сущности, не с чем сравнивать. Она настолько непохожа на всю современную литературу, настолько в стороне от нее – что трудно, даже невозможно сопоставить ее духовную атмосферу с чем бы то ни было из прочитанного мною за последние годы.

Твоего героя отличают благородство и скромность. Те же качества присущи и всей твоей книге. Я думаю, что это – качества твоей собственной души, которые ты сумел объективизировать в литературе. Недаром же ты выбрал себе такого героя – или сделал его таким.

Я думаю далее, что, несмотря на детгизовскую форму (от которой идут некоторые, на мой взгляд, уязвимые стороны твоей книги – о них скажу ниже) и несмотря на массовый тираж, книга твоя – для немногих.

Чтобы оценить ее надлежащим образом, нужно иметь некий запас любви к России и уважения к ее прошлому, нужно желать знаний, нужно уметь преодолевать трафаретные представления. Много ли най-

В.М.Глинка, А.В.Помарнацкий,
В.Ф.Помарнацкий, В.Н.Петров,
В.В.Шульгин. 1972 г. (с
автографом Шульгина)

В.Н.Петров. 1970-е гг.



После битвы. Рис. А.О.Орловского



дется таких читателей, у которых все это есть?

Мне кажется, что ты проявил немалое мужество, рассказав объективно и с оттенком уважения о таком заплеванном человеке, как Аракчеев.

Не меньше смелости понадобилось, я думаю, и для того, чтобы – после Гоголя! – говорить с уважением и симпатией о городничем начала прошлого века.

Смелая и решительная объективность составляет, на мой взгляд, одно из существенных достоинств твоей книги. Твоя позиция опирается на такое глубокое знание и тонкое понимание истории, которое не может не убеждать читателя.

Теперь позволь сказать о тех особенностях книги, которые показались мне несколько уязвимыми.

Впрочем, ее недостатки, в ряде случаев, представляют собой как бы оборотную сторону достоинств.

Безупречное знание старинного быта приводит иногда к перенасыщению текста всевозможными сведениями и подробностями, которые композиционно не всегда необходимы для повести и несколько затягивают изложение.

Однако, не мне судить тебя за это – именно такие страницы со справочными сведениями и подробностями быта я читал с особым интересом и увлечением.

Я уже сказал, что главными достоинствами книги являются, на мой взгляд, благородство и скромность. Это относится и к ее языку. Он скромнен и благороден. Но, может быть, не слишком ли скромнен и ровен? Нет ли в нем той литературности, которая как бы нивелирует собственный голос автора? Я, читая, почти не находил твоих характерных интонаций и присущей тебе яркой выразительности.

Есть такое понятие «магия слов».

Ты прекрасно понимаешь, что это такое, потому что сам в полной мере владеешь этой магией как оратор и рассказчик. Но мне показалось, что в письменной речи ты несколько пренебрег ею, как бы наступив на горло собственной песне.

Наконец, последнее замечание. Мне показалось, что Непейцын в твоём изображении только скромнен и благороден, но совершенно лишен трагизма. А, между тем, ведь он трагическая фигура, человек с мучительной судьбой и исковерканной жизнью.

У меня все время возникали ассоциации с Павлом Андреевичем Федотовым, который был человеком столь же благородным, как Непейцын, человеком нравственно чистым, едва ли не девственником – и, вероятно, именно на этой почве лишился рассудка. Мне думается, что трагедия Непейцына должна бы быть в таком же роде. А у тебя его любовная история изображена в слишком уж светлых и безмятежных тонах.

Решительно не понравилось мне только название твоей книги («Дорогой чести» – М.Г.). Я бы сказал, что неудачно оно не по смыслу, а по грамматической форме – без подлежащего и сказуемого. Такие названия характерны не для русской, а скорее для немецкой литературной традиции – например, «Мне на праздник» (Р.-М.Рильке), «И не сказал ни единого слова» (Г.Бельм) и т.п.

В заключение несколько пустых и, вероятно, даже смешных чисто личных претензий.

Среди второстепенных и третьестепенных персонажей твоей книги фигурируют некоторые мои родичи.

Впрочем, начну не с претензии, а с благодарности. В описании Клястицкого сражения упомянут тобой среди убитых «капитан Грамолин, отличный офицер». Я с большим удовольствием встретил упоминание этой фамилии – девичьей фамилии моей матери – хотя исторически это, я думаю, неверно. Насколько я знаю, никто из Грамолиных не участвовал в Отечественной войне. Мой прапрадед был тогда пятнадцатилетним юношей. Старших братьев он не имел, а двоюродные были еще моложе.

К другим моим родичам, исторически более достоверным, ты отнесся гораздо суровее.

В смешном и непривлекательном виде изображен псковский губернатор Харитон Лукич Зуев, на правнучке которого был женат мой дед. Впрочем, я ничего толком не знаю о Харитоне Лукиче. Может быть, он и вправду был глупым и вздорным стариком. Тут уж Бог тебе судья.

Среди великолукских чиновников действует у тебя почтмейстер Нефедьев, порядочная скотина, читатель чужих писем и т.д.

С Нефедьевым я тоже состою в довольно близком свойстве: родная сестра моей бабушки была замужем за последним потомком рода Нефедьевых. Их семейные бумаги и некоторые вещи перешли ко мне.

Я ничего не знаю о почтмейстере Нефедьеве. Не знаю даже, придумал ли ты его, или, со свойственной тебе добросовестностью, отыскал в адрес-календарях. Но в любом из этих случаев зачем ты лишил его герба? Нефедьевы – фамилия столбовая и весьма почтенная, герб у них имеется, внесен в общий Гербовник и утвержден Александром I в 1807 году, то есть именно в то время, о котором идет речь в твоей повести. И, конечно, столь пустой и суетной человек, как твой почтмейстер, не преминул бы воспользоваться своим гербом, тем более, что он несложен и очень подходил бы для изображения на фонаре: шит рассечен, слева знамя на длинном древке, справа серебряная шпага. Мне жаль, что ты своевременно не использовал услуг твоего постоянного геральдического консультанта.

Но это шутки, конечно. Не принимай всерьез моих пустых упреков.

Еще раз благодарю за прекрасную книгу и братски обнимаю тебя.

Твой В.Петров.



В.М.ГЛИНКА – В.П.НЕКРАСОВУ

9 ноября 1967 г. Ленинград
Дорогой Виктор Платонович!

Только на днях добрался я до Вашего «Дома Турбиных», о котором слышал так много восторженных отзывов. Конечно, как вся Ваша проза, страницы эти очень талантливо написаны. Но не для того я Вам пишу, чтобы хвалить их; наоборот, пишу, чтобы сказать, что очень и очень ими опечалился и огорчился, как всегда, когда оказывается, что человек, которого считаешь единомыслящим и единочувствующим, сделал что-то не так. Как же Вы могли выставить на посмешище всего света, и уж во всяком случае, всего Киева, людей, живущих в доме 13, по Андреевскому спуску (и дважды доверчиво дававших Вам доброхотную информацию) только потому, что они, по Вашему предположению, являются литературными и кровными потомками бугаковского Василисы. Вот этого я понять не могу. Как при том, что в семье Турбиных столь много разночтений с семьей Бугаковых, Вы сочли себя в праве так твердо сблизить эти семьи и лиц, их окружавших? Кто Вас уверил, что все качества трусового мешанина Василисы Бугаковой взял не от другого

человека, не от нескольких людей, а все целиком, фотографически от своего домохозяина? А ведь только на основании этого, весьма шаткого, соображения Вы с такой презрительной насмешкой пишете о его детях, внуках, правнуках.

Словом, по-моему, Вы поступили нехорошо, некорректно, не «по-турбински», и я считаю своим долгом Вам об этом написать.

Всегда Ваш В.Глинка



В.П.НЕКРАСОВ – В.М.ГЛИНКА

25 ноябрь 1967 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

Простите, что пишу карандашом – кончились чернила.

В ответ на вполне понятное мне Ваше письмо приведу несколько цитат из письма Надежды Афанасьевны – сестры М.А.Булгакова:

«...и в каждый свой приезд обязательно посещала дом № 13 по Андреевскому спуску, посещала семью, живущую в нашей бывшей квартире. Это семья дочери домовладельца – инженера Вас. Павловича Листовнича («Вас.Лис»). Близости с Кончаковскими (это теперь фамилия жены) у меня не было. Весной этого года Вы посетили нашу бывшую квартиру и беседовали с Инной Васильевной, дочерью Листовнича. Вы пишете мне, что «вдруг» пожалели И.В. и что Вам грустно, что она на Вас обиделась. А я, грешный человек, ничуть не пожалела ее, а сказала серьезно: «Так ей и надо!» Вы дали ей урок, но пойдет ли он ей на пользу, не знаю. Она трудно пробиваема».

И в другом месте:

«Она, по-видимому, не очень умна, эта дама» – так пишете Вы мне (это мягко сказано). А я добавлю – и не умна, но самоуверенна и избалована с детства, и не добра. Ина не уважает людей, ей не дано понимать их. Ведь не говоря уже о том, что она неприятно, враждебно, злорадно говорила о писателе М.Булгакове, как бы сводя какие-то мелкие бытовые счеты, она всю нашу семью, даже маму постаралась задеть. Исключение она сделала только для нашего брата Николая – «Умница был...».

Мог бы привести еще много цитат, но вряд ли стоит.

Засим обнимаю и сообщаю, что с 25/XII мы в Ялте. Не присоединитесь ли? Привет большой от мамы. Обнимаю.

Ваш В.Некрасов.



В.М.ГЛИНКА И А.И.СОЛЖЕНИЦЫН

(по прочтении Глинкой, по просьбе Солженицына, рукописи «Август 1914-го.»).

Январь 1971 г.

Ответы на некоторые вопросы.

Стр.1. Дворцовый мост начат постройкою в 1912 году, но война 1914 года помешала завершению его отделки. Движение по мосту открыто 23 декабря 1916 г. с временными деревянными перилами и будками. Только в 1956–57 гг. появились гранитные парапеты и т.д.

2. кн. Павел Павлович Путятин родился 17/VI. 1872 г., окончил Пажеский корпус, откуда выпущен в Кавалергардский полк, в котором служил до 1907 г. Вышел в отставку с чином полковника, после чего состоял «в должности шталмейстера двора е.в.» вплоть до 1917 г. Женат с 1898 г. на Ольге Павловне Зеленой. У них дочь Наталья род. 1903 г. Портрет П.П.П. см. «Биография кавалергардов» т. IV, стр. 366.

3. Квартира П.П.П. во втором этаже дома 10 по Миллионной улице занимала половину парадного этажа и состояла из 9–10 комнат (точнее определить за перепланировкой невозможно), выходящих на Миллионную улицу и на широкий двор. На последний выходили также людские и кухня, расположенные под прямым углом к Миллионной.

4. Хорошая фотография М.А.Романова (в шинели и фуражке), относящаяся к январю 1917 г., помещена в журнале «Нива» 1917 г., № 3, стр. 47.

5. Солдаты запасных батальонов гвардейских частей, составлявших основную часть петроградского гарнизона в феврале 1917 г., зачастую носили некоторые элементы формы мирного времени, а именно: цветные петлицы на шинелях и красные погоны, а также белые или черные пояса с медными бляхами (белые – в 1-х, 2-х и 3-х полках пехотных дивизий, черные – в 4-х полках и артбригадах). В белых поясах были оркестры 2-го марта, при похоронах жертв революции. Иногда «в город» носили даже цветные бескозырки, какую видим на фотографии известного в то время унтер-офицера л.-гв. Волинского полка Тимофея Ивановича Кирпичникова, награжденного командующим Петроградским военным округом ген. Л.Г.Корниловым солдатским Георгием IV-ой степени за то, что «первым поднял знамя восстания среди солдат Петроградского гарнизона».

8. Через три недели после начала войны на всех железных дорогах шло движение множества эшелонов, перевозивших команды запасных нижних чинов к месту формирования второочередных полков. Везли лошадей, повозки, кухни и другие виды военного имущества. От фронта в тыл уже двигались поезда, набитые легкоранеными, от которых разгружали прифронтовую полосу.

12. Станция тогда называлась не Ясная Поляна, а Козлова Засака.

19. В то время словом «трельяж» никто не называл тройное зеркало, а только стенку-решетку для вьющихся растений.

21. Солдат «двадцатипятилетник» – не совсем точно. С 1834 года действительная служба продолжалась пятнадцать лет, а последующие десять строевые нижние чины находились в запасе, призываясь на один месяц в году на сборы.

4. Почему Ксения закрывает дверь своей комнаты на ключ, будучи в родительском доме, где нет никого, кроме своей семьи и испытанной прислуги?

6. Почему Роман входит к ней в кепке? Даже безбожник, он с молоком матери всосал необходимость, входя в дом, снимать головной убор.

29. Либо балет, либо – босоножки. Это два противоположных, враждующих течения.

32. Таких цен на золото не бывало. Золотой портсигар стоил 200–300 рублей. Для такой цены, как у Вас, он должен быть осыпан бриллиантами, иметь платиновые украшения и т.д.

64. «Шофер виногоградский сынок, научился в армии...» Чему? Автомобильному делу? Весьма маловероятно. В начале войны 1914 года в Русской армии существовало всего две автороты. А ведь очевидно, он отбывал воинскую повинность в году 1909–10.

58–59. В гимназиях не было семестров, а были четверти.

62. «Срывает шляпу» в спальне, а сам уже крестился на святой угол.

67. Почему палантин «через плечо»? Естественнее – на плечах.

68 «Договорился» – оборот речи очень новый, советский. Лучше – условился, обещал.

69. Наполеон похоронен не в Пантеоне, а в Доме инвалидов. После 1912 года, когда очень широко отмечалась его память, об этом знали все грамотные люди в России. Тем более что гробница из финляндского гранита была подарена Николаем I.

70. Почему он не вспомнит, что именно восточную Пруссию мы заняли в семилетнюю войну, и генерал-губернатором ее был Суворов-отец полководца?

Флажками обыватели обозначали на картах только линии фронтов, т.е. того, что мы отдали или заняли.

76. Чаше говорили в то время «разводка», а не «разведенка». Что за «великосветский князь»?

80. Эполет во время войны не носили. И в мирное время с 1907 года существовала летняя форма – китель, на котором даже в парадных случаях носились погоны при всех орденах, пояском шарфе и т.п.

82. То же о мундире. Его, конечно, Самсонов с собой не имел. Для встречи английского генерала он облекся в более свежий, не мятый китель с орденами.

80. Трудно барабанить пальцами по аксельбанту. Это же шнур. По наконецникам, разве.

98. Не «ездовые», а повозочные.

100. Никакой неповоротливости не было у солдат при привычке к произношению офицерских титулований. Говорили скороговоркою «ваше скблагородие». «Товариш капитан», «товариш полковник» – не короче. Почему унтер, сопровождающий Воротынцева, так плох на коне? Почему он взят не из команды конных ординарцев, которая существовала при всех штабах армии, или из конвойной сотни?

101. Непонятно, что за «Петровские штандарты» рядом с «Суворовской славой»?

107. Филармоний в то время не было. Существовали филармонические общества, которые и организовывали концерты. Не лучше ли здесь просто говорить о концертах?

110. Досточах ли рассказы о недостачах постоянного состава в кадровых дивизиях? Все кадровые пехотные полки имели в мирное время по 55–75 офицеров, в частности, Нарвский полк имел на 1909 год 67 офицеров, Копорский – 70. Между прочим, число офицеров зависело в значительной степени от места стоянки полка. Чем лучше была стоянка, больше город, тем охотнее туда выходили из военных училищ. Это право выбора получали по лучшим отметкам. Выпускники 1914 года, хотя и досрочно выпущенные, заранее выбрали свои полки. Ваш Харитонов выбрал хороший пехотный полк, стоявший в Смоленске, имевший старшинство с 1703 года, Георгиевское знамя и т.д. В ротах кадровых полков бывало по три-четыре офицера. Но в момент мобилизации полк увеличивался в два раза за счет призыва запасных солдат и младших офицеров (главным образом прапорщиков запаса). Одновременно одна четверть-одна треть уходила на формирование второочередных пехотных полков. Поэтому мне кажется маловероятным, чтобы пусть очень юный, прямо из училища, подпоручик Харитонов получает только взвод. На взводы ставили прапорщиков. Его же верно поставят на полуроту. Не очень точен и разговор о «самых первых номерах». Таких «самых первых» было очень много: и гренадерские полки от первого до шестнадцатого, и драгунские от первого до двадцатого и уланские от первого до семнадцатого, и т.д.

Почему полк оказался в Орле в конце июля? «Сбор» этой дивизии после лагерей происходил только в августе-сентябре? Тот же вопрос относился к штабам дивизии и корпуса. Они же в июле должны быть в Смоленске. Или у Вас есть достоверные данные, что в июле 14-го года они оказались в Орле?

111. Для всех офицеров и чиновников полка в любом эшелоне подавался классный вагон. Ни один офицер в теплушке с солдатами не мог ехать. Он к ним заходил на станциях, заболтавшись с ними, мог проехать один перегон. В пехотных полках не было старших адъютантов. Существовал адъютант полка и четыре адъютанта батальонов. Полковой адъютант обычно бывал в чине не выше штабс-капитана, батальонный – не выше поручика.

115. Уверен, что в это время никакой русский крестьянин (а, следовательно, никакой солдат) на работе не снимал нижнюю рубаху. Ему в голову не приходила эта возможность. Гимнастерку – да, но «загорать» начали с 1930-х годов.

126. «За училище экстерном сдал». Что за исключительный случай? Обычно отбывавшие воинскую повинность вольноопределяющиеся первого разряда после

лагерного сбора сдавали экзамены на чин прапорщика запаса, весьма облегченные по сравнению с объемом знаний военных училищ.

127. Любуй чин того времени обязательно ответит: «двадцать девятого пехотного Черниговского полка».

129. Эка, далась вам эта «русско-балтийская карета»! Русско-Балтийский завод в Риге выпускал отличные по выносливости и отнюдь не дешевые автомобили различных видов, прекрасно служившие именно на русских дорогах.

131. Отстегнуть можно было только все сразу – пояс с шашкой и револьвером, надетыми на него при помощи ременных муфт. Часто к этому прибавлялась еще так называемая «шлея», то есть ремни, шедшие спереди через погоны и скрещенные на спине.

132. Как надеется Воротынцев связаться телефоном со ставкой? Из немецкого города?

133. Термин «передний край» в 1914 году не существовал, он появился позже при позиционной войне.

138. Никакой «золотой шпаги» в поход, конечно, не возили. Да ее и не было у Самсонова. У него было так называемое «золотое», или «георгиевское оружие», т.е. шашка с золоченым эфесом и эмалевым Георгиевским крестиком на верхней его части. Значение этого знака отличия отнюдь не следует переоценивать. За одну японскую войну им было награждено более 600 человек. Шпаги генералы действительно носили, но только при вишмундирах мирного времени, и, не числясь по казачьим войскам, как это было с генералом Самсоновым, который при всех видах формы обязан был носить только шашку.

150. Ни в коем случае невозможно, чтоб генерал называл своего адъютанта просто по фамилии. Либо «поручик», либо по имени-отчеству. Адъютант – офицер, а не холод. Его по фамилии, да еще на «ты» не называли. На «ты» генерал мог называть его разве только, если знал его еще с детства, с кадетского времени, т.е. был близко знаком с его семьей.

152. Постучал о пряжку чего? Солдатская пряжка поясная в пехоте и полевой артиллерии была медная литая, но все пряжки офицерского снаряжения военного времени были сквозные тонкие.

156. Чтобы Ярослав пожимал ладонь фельдфебеля – немисливо. Офицер с нижними чинами за руку не здоровался, и Ваш Ярослав это твердо узнал за два года военного училища да еще такого строгого, как Александровское.

157. Полевая книжка того времени была именно книжка в черном клеенчатом переплете, она имела отрывные листки служебных записок, под которые подкладывалась копирка, и дубликат оставался отправителю. Размеры ее были: ширина – 13,5 см, высота – 19 см.

158. Фельдфебель из запаса – явление очень редкое. Чтобы дослужиться до фельдфебеля, требовалось пройти длинную лестницу унтер-офицерских чинов и хорошего фельдфебеля в запас старались не отпускать.

Пики были также и у немецкой конницы.

162. На слова штаб-офицера урядник не посмеет пожать плечами, это дерзость. А офицер не скажет ему «вы», так же как не скажет «ваших земляков работа», а скорее «твоих станичников работа».

171. Смысловских в 1909–10 гг. было пять братьев офицеров: четыре – артиллериста и преподаватель Александровского военного училища.

178. Кадровый офицер артиллерист навряд ли знает латынь, даже отдельную поговорку. Это не его стиль. Древних языков в кадетских корпусах не проходили. Он скорее вспомнит французскую поговорку.

187. В мыслях генерала Франсуа едва ли фигурирует слово «битюг». Скорее, он подумает «першерон», «пинигаурен» и т.п. Битюг же – единственная порода русских тяжелозовов, выведенных в Воронежской губернии на реке Битюг.

191. У генерала Артамонова, судя по многим портретам, усы были скорее моржовые (вниз), чем тараканьи.

195. Так как Артамонов в 1905–07 гг. командовал 22-й пехотной дивизией, то, думаю, естественнее ему помянуть перед Выборгским полком, что у того серебряные трубы, полученные за взятие Берлина в 1760 году. А насчет шефства – так подобных полков было множество: в армейской пехоте – шесть, в армейской кавалерии – семь и т.д.

199. Еще раз скажу: револьвер и шашка не пристегивались, а надевались вместе с ремнями походного снаряжения.

200. Как же мог офицер генерального штаба «по собственному желанию» проходить целое лето курс офицерской (а не высшей) артиллерийской школы? Кто бы ему позволил получить такой длительный отпуск?

213. То же, что на стр. 121 и очень настоятельно. Такого и в мыслях не бывало. Считали за стыд голыми бегать и по пояс.

225. Опять «скидывает шашку», т.е. одновременно и распоясывается. Поймите, пожалуйста, что к шашке так привыкали, так с ней срастались, что она абсолютно не мешала. Рука от привычки придерживать ее у левого бока не двигалась, даже когда офицер был без нее. Шашка, палаш, сабля, шпага во всех армиях мира была неотъемлемым признаком офицерского звания. Она была неким символом.

228. Бинобль носили не на шнуре, а на тонком ремне.

228. Плащей на красных подкладках не бывало. Летнее генеральское пальто (а не шинель) бывало на красной шерстяной подкладке, но вернее, что Артамонов был уже в шинели военного времени из обычного солдатского сукна, без цветного подбоя.

230. Никак нельзя сказать, что, имея ордена Георгия и Владимира 4-ой степени, полковник имел недостаточно наград. Эти два ордена были высшими наградами для чина полковника. Несомненно, что при них были и другие ордена, считавшиеся менее почетными.

О полковнике Михаиле Григорьевиче Первушине. Он в 1909 году был уже полковником в 96-ом пехотном Омском полку, но им не командовал. Неверно, что он мог восемь лет быть полковником и десять командовать полком. Наоборот могло быть, т.к. полком всегда командовали только полковники, а подполковнику надо было дожидаться производства, да еще вакансии на полк, как раз этому пример и сам Первушин. И второе: на купчихах в конце 19-го века женилось множество армейских офицеров, и это не считалось зазорным. Девушки купеческого звания в большинстве случаев кончали гимназии и умели себя держать. Только в гвардии на это смотрели косо, и порой это приводило к переводу в армию.

254. Откуда сведения, что младшие офицеры получают 20 рублей в месяц жалования? В действительности с 1909 года младший офицер получал 70 рублей в месяц, плюс более ста процентов различных фронтных надбавок с первого дня мобилизации.

265. Конечно, не он снимал сапоги, а один из денщиков. Именно денщик, а не вестовой.

267. Об Андрее Первозванном Самсонов думать не может, скорее о Георгии второй степени.

272. Конечно, у Самсонова и у многих офицеров его штаба есть все время ведомые за ними свои верховые лошади, так что казаков спешивать им незачем.

297. Презрение со стороны общества по отношению к офицерам. Это уж чересчур. Осмеяние передовыми писателями – очевидно, Куприным. А что Чехов-то говорит? Вспомните «Трех сестер» и др. его творения.

326. А выставленные в окна магазинов карты фронтов, а защитная одежда военных, которыми буквально кишели улицы. А проходящие строем команды запасных полков?

328. Никто в те годы из интеллигентных людей так не представлялся. Называли фамилию и только.

330. Положительно неверно, будто может быть впечатление, что никакой войны не существует. У половых в Москве были не куртки, а рубахи. Что за веселая реклама папирос «Дядя Костя». У них была одна всегдашняя реклама: портрет артиста Варламова, – «Дядя Костя».

342. Невероятно, чтобы фельдфебель «взял подполковника у плечика».

367. Запущенная теннисная площадка в старом имении маловероятна. Скорее крокетная.

367. При Елизавете напишут не Георгий, а Егор или Юрий... И, вернее, не кавалергард (которые в то время набирались только на время коронации), а иной гвардеец. Именной указ о пожаловании бывал не каллиграфический, а печатный, с вписанным от руки именем и подписями.

339. Естественнее чтобы карта лежала в полевой сумке под прозрачным целлулоидным покрытием.

373. Не бросит Харитонов свою шашку, особенно, если Воротынец не бросил свою. А если бросит, то сломает ее. Для него она символ его офицерской чести.

374. Невозможно, чтобы Воротынец и на миг принял за «странный орден» университетский знак. Все орденские кресты носились на левой стороне груди, а университетский знак на правой. Да еще имел он форму ромба.

381. Генеральских звезд на погонах не бывало. Все звездочки от прапорщика до генерала были одинаковые по размеру и форме. В сцене снимания погон пропущено снятие орденов. При любой форме носились все степени орденов Георгия и Владимира. В частности, Самсонов должен быть с Георгием 4-ой степени на левой стороне груди и Владимиром 2-ой степени на шее. Их он с особенной болью должен лишиться.

389. Шаровар в 1914 году никто не носил из офицеров, хотя в официальной терминологии они так и назывались.

402. В наверхии знамени, имевшим вид прорезной плоской пики, помешался литой двухглавый орел, а при Георгиевском он заменялся Георгиевским крестом.

414. Почему «отпущенные стремена»? Они пригоняются по длине ног. А раз конь велик, то и незаметно, что они длинные.

424. «Чубатый сотник» из конвоя генерала Мартоса. Офицеры, хотя бы и казацьи, чубов не носили. Носили только нижние чины казачьих войск.

424–425. По форме не видно – гвардейский генерал или армейский. Если только носит гвардейскую полковую форму, то были цветные выпушки на обшлагах и карманах, но таких тонкостей Таня, полагаю, не поймет.

426. «За две недели, прошедшие с измены жениха»... Не слишком ли скоро Таня сюда попала? Значит, уже была сестрой, и разрыв с женихом произошел после начала войны?

439. Почему эти стихи «кошунственные»? Их так естественно повернуть против царизма, – он разрушает человека, калечит его, сам разрушает свое государство и т.д.

445. В Ростове существовало Училище судовых механиков, а не мореходное.

446. Даже для начальницы гимназии «Темную, тупую офицерскую касту» – это чересчур.

Ярославу трудно было мечтать о Новочеркасском корпусе. Это корпус исключительно для детей донских казаков. Верней мечтать о ближнем Одесском, Воронежском или Киевском кадетском корпусе. В виде примера всем известные в то время бывшие полковником Лавров и подполковником Ашенбреннер.

447. Юрик что-то не растет: все ему те же одиннадцать лет. Если он путеец, то знак его – топор и якорь. И канты на петлицах – зеленые. Если технолог – то ключ и молоток. И при этом у инженеров эти знаки оставались только на околышах фуражки, а не на петлицах.

460. Вернее, что такому инженеру, бывшему эмигранту, предложат не место директора горного департамента, а работу в зоологическом комитете.

469. А куда же девалось жаркое? При таком подробном описании обеда как же Вы его опустили?

480. Адьютант Дерфельден «конногвардейского роста». Для офицеров рост не имел значения при выборе полка. Пример тому сам Николай Николаевич, служивший в лейб-гусарах, где рядовые были небольшого роста.

482. Кадровые офицеры воротников шинели никогда не поднимали.

403. «Шурик». Для того времени звучит маловероятно. Скорее, Саша.

486. Не «премного благодарен», а «покорнейше благодарю, ваше высокоблагородие».

Почему Воротынцева может командовать только пехотным полком? Как офицер генерального штаба, а в прошлом артиллерист, он может быть послан в любой род оружия.

499. На всем протяжении романа полностью отсутствует звон шпор, который должен сопровождать каждый шаг всех штаб-офицеров и генералов, не говоря уже обо всех чинах кавалерии и артиллерии.

В ответном письме В.М.Глинке от 23.01.71 писатель благодарит Владислава Михайловича за отзыв об «Августе», и пишет, что «по ценности замечаний» отзыв этот «превосходит все, что... слышал от кого-либо из... сорока «первочитателей», на которых автор проверял свою предпоследнюю редакцию. В этом же письме А.И.Солженицын высказывает сожаления, что за год до того «не знал пути» к своему адресату, когда у него был «первый пробный отпечаток группы военных глав», и многое можно было бы «исправить более коренным образом». В завершение письма А.И.Солженицын спрашивает разрешения в будущем просить Владислава Михайловича прочесть «узел II-й – Октябрь Шестнадцатого».



В.М.ГЛИНКА – А.И.СОЛЖЕНИЦЫНУ

Январь–февраль 1971 г.

Многоуважаемый Александр Исаевич!

Благодарю Вас за ответ на мои замечания. Конечно, я всегда готов прочесть следующую часть романа. А сейчас хочу написать Вам еще немного об уже читанном. Все эти дни мне не дает покоя, что не до конца возразил Вам по одному пункту. Мне думается, что история со снятием погон чинами штаба Самсонова при попытке выйти из окружения маловероятна. Прошу Вас помнить, что все части обмундирования и даже белье офицеров резко отличались от того же у нижних чинов. Иначе сказать, сняв погоны и ордена, знаки окончания академии, военных училищ, кадетских корпусов и полковые (от которых ото всех оставались явные следы в виде выметанных шелком отверстий для прикрепления) офицеры все равно не становились похожи на солдат. Покрой и детали фуражки, шинели, кителя, рейтуз, сапог, – буквально всего, что носил офицер, выдавало его принадлежность к командному составу. Не перенесли ли Вы эту картину из лета-осени 1941 года? А то, что труп Самсонова оказался в могиле без погон и, очень вероятно, в рейтузах без генеральских лампасов, могло явиться результатом действий его денщика или адъютанта, не хотевших, чтобы немцы имели хоть какое-то основание узнать, что похоронен генерал, командовавший армией. Словом, позвольте просить Вас обратить внимание на мои возражения.

Будьте здоровы. С уважением В.Глинка.

В ответном письме от 18.02.71 А.Солженицын пишет о том, что «вся история со снятием погон штабом Самсонова ни в коем случае не перенесена из 1941 г.», как и вообще оттуда не перенесено ни одного факта. Писатель добавляет, что эта история и самого его поражала, но именно так она представлена в немецком издании 1920-х годов в книге русского генерала Носкова, записавшего по свежим следам рассказ штабных, только что вышедших из окружения. Солженицын высказывает предположение, что скрывали, видимо, только свои звания, а не принадлежность к офицерству. Он пишет, что «психологически» не верит тому, «что Самсонов дал снять с себя погоны, но так рассказывают участники и только этим можно объяснить, что с большим опозданием лишь по медальону опознали его труп». Письмо заканчивается повторным выражением «сердечной благодарности» и надежды на будущую беседу «по году 1916-му».



В.М.ГЛИНКА – В.П.КАТАЕВУ

Май 1974 г.

Глубокоуважаемый Валентин Петрович!

Прочтя Вашу талантливую и своеобразную повесть «Кладбище в Скулянах» в издании «Роман-газеты», считаю своим долгом сообщить Вам несколько фактических замечаний, ведь, несомненно, повесть будет переиздаваться и, может быть, Вы сочтете возможным что-то изменить в связи с моим письмом.

стр. 10. До военной реформы Милютина никаких полковых офицерских собраний (типа клуба) не существовало, состоятельные командиры полков, батальонов, батарей имели иногда открытый стол для офицеров в летние месяцы, когда в лагерях собирались вся часть, зимой рассредоточенная на квартирном постое по местечкам и деревням у обывателей. Массовая постройка казарм относится к 1870–90 гг. Приказ об устройстве офицерских собраний состоялся в 1874 г., но осуществлялся постепенно, по мере постройки казарм. Что имел в виду Ваш дедушка в 1844 г. под офицерским собранием Модлинского полка в Кишиневе, понять трудно. В то время всякие офицерские сборища контролировались как подозрительные, если не представляли собой вечеринок с танцами и угощением, связанных с именинами, рождениями и пр. семейными торжествами, с 1825 г. прошло всего 19 лет.

стр. 10. «Отец в армейском капитанском мундире». Мундир капитана вплоть до 1914 г. ничем не отличался от мундира прапорщика или полковника данной части. Знаками различия чинов являлись эполеты, а позже, когда они появились, и погоны. У офицеров, «отставленных с мундиром», с 1815 г. до 1890 г. мундиры были без эполет и погон. Так что Ваш прадед мог быть в полковой мундире с орденом Владимира IV степени и серебряной медалью за 1812 год на голубой ленточке, но называть этот мундир капитанским нет основания.

стр. 11. «Кишинев с одноэтажными домиками, в одном из которых совсем недавно жил Пушкин». Пушкин жил, главным образом, в доме, занимаемом генералом И.Н.Инзовым, хорошо известном по литографии 1840 г. Этот дом был большим двухэтажным.

стр. 14. «Злых жестоких офицеров-службистов, которых породила кавказская война». Это положение противоположно общепринятому в военно-исторической литературе, исходящему из того, что на Кавказе николаевская палочная дисциплина была значительно ослаблена, как всегда во время военных действий, которые сближают офицеров и солдат.

стр. 18, 47, 62 и др. «Дорожный сюртук», «походный сюртук», «парадный сюртук» – все это одна и та же одежда темно-зеленого цвета, двубортная

6х2 пуговиц, до колена, со стоячим цветным воротником и выпушками (кантами) над обшлагами и по карманам сзади, ниже талии. Изменялось только качество материала от драпа до тонкого сукна и степень заношенности. Сюртук был служебной, походной и визитной формой, в последнем случае с эполетами и длинными брюками на штрипках. Положить в его «задний карман», приходившийся ниже талии, золотые дамские часы было бы безумием, они были бы обязательно раздавлены. В эти карманы помещали только платок и, садясь, старались раздвинуть полы, чтобы не смять их, что при длинной дороге в экипаже, конечно, невозможно.

стр. 17. Сведенья о Боржоми неверны, великий князь Михаил Николаевич стал наместником Кавказа в декабре 1862 г., Боржоми ему «пожалован» в 1871 г., а дворец там построен в середине 1870-х гг.

стр. 19. Пехотные обер-офицеры в 1812 г. не носили шляп (каковую Вы неправильно называете треуголкой – она к этому времени стала двуугольной), а кивера и фуражки.

стр. 23. «Придерживая локтем шашку». Локтем можно придержать только эфес шашки. На ходу все придерживали ладонью ее ножны, как Вы сами должны хорошо помнить.

стр. 33. «Женские взбитые прически» – в конце 1850–начало 1860-х гг. дамы не взбивали, а, наоборот, гладко причесывали верхнюю часть головы. Более замысловатые и высокие «взбитые» прически характерны для 1870–80 гг.

стр. 35. Под «маленькими сапожками» Ваш дед подразумевает сапоги с короткими нечерненными голенищами, которые носили под брюки со штрипками, составлявшие в 1860 г. принадлежность парадной формы пехотных офицеров. В сапоги с более высокими черненными голенищами брюки заправляли только на походе.

стр. 35. Генерал Григорий Иванович Филипсон, автор замечательных записок, был скромнее до чрезвычайности и, конечно, носил не какие-нибудь особенные, а обычные белые замшевые перчатки, такие же, как у Вашего деда.

стр. 40. Трудно поверить, чтобы в роте был только один офицер – ее командир, Ваш дедушка. И в конце того же абзаца, читаем: «в караул пошел другой офицер». Откуда же он взялся? Еще труднее поверить, чтобы в одной роте было двадцать офицеров (с. 57). Обычно в роте состояло не более четырех-пяти офицеров.

стр. 41. Упоминание о «старом стиле» в то время в устах армейского офицера просто непонятно. Он в своей обыденной жизни иного стиля и не знал.

стр. 43. Покупать кремни для пистолетов ему было вовсе незачем. С 1840-х гг. все огнестрельное оружие армии было пистонным (капсульным).

стр. 45. Оранжевые шнуры при пистолетах и револьверах были только в полиции. В строевых пехотных частях у нижних чинов они были в 1860–70 гг. по цвету околышей полков: в первом – красный, во втором – синий, в третьем – белый, в четвертом – черный, в артиллерии были красные шнуры. В частности, у фельдфебелей, музыкантов, унтер-офицеров Литовского пехотного полка шнуры были белые.

стр. 46 и мн.др. Называть прадедушку Бачея участником и, тем более, героем войны 1812 г. я бы счел рискованным – его дивизия прибыла к армии сразу после Березины, разгром при переправе через которую справедливо считают окончательной гибелью «большой армии» Наполеона – «дванадцати языков». Он бесстрашно сражался с турками и французами, но с первыми – до 1812 г., а с другими – позже, о чем Вами же сказано. Жаль, что Вы не упомянули, что Нейшлотский пехотный полк перед походом против французов был в Сербии в составе отряда генерала Лидерса.

Там же. На памятнике в Одессе Воронцов изображен в мундире со всеми орденами, а не в сюртуке.

стр. 49, 62. Никаких штiblетов у офицеров того времени не бывало, а существовало два вида сапог с голенищами, о которых речь шла выше. Штiblетами

В.И.Даль называет застегнутые сбоку на пуговицы или крючки высокие голенища (паголенки).

стр. 50. Башлыки были впервые введены в 1862 г.

стр. 51. Белые жилеты не возбранялось носить, но не разрешалось входить к начальнику в расстегнутом мундире или сюртуке.

стр. 51. В полном списке девиц, окончивших Смольный институт с его основания до 1914 г., Елизавета Бачей не значится. Может быть, она училась в Петербурге, но в другом институте?

Петр Ганько не значится губернским предводителем дворянства Полтавской губернии за все время существования такой должности. С 1859 по 1865 г. предводителем был статский советник Кованько.

стр. 66. «Высокий воротник мундира». В 1860 гг. воротники мундиров были чрезвычайно низкие, в отличие от времен Николая I.

стр. 67. В цитированном письме 1863 г. к Муравьеву полк назван егерским, в то время, как с 17 апреля 1856 г. он именовался Литовским пехотным. Прежнее название в официальном письме, думаю, никак невозможно.

стр. 70. У офицеров в это время существовало два вида верхней одежды: «пальто-плащ», которое носили и в накидку, расстегнув хлястик на талии. Шинелью же называлась длинная верхняя одежда с пелериной. Ею пользовались только весьма состоятельные офицеры, в основном, зимой, с бобровым воротником и лацканами.

стр. 71. У Каролины Собаньской Пушкин не только «кажется, бывал», как Вы пишете, но был в нее влюблен и посвятил ей стихи «Что в имени тебе моем», написанные рукой самого поэта в ее альбом.

стр. 87. Тело Александра II не было «разорвано в клочья». Раздроблены были ноги от середины бедренных костей до шиколоток. Об этом свидетельствует совершенно цельный мундир и оставшиеся части брюк и сапог, хранимые в одном из музеев Ленинграда.

стр. 103. Странно, что отряд, по составу близкий к дивизии, из трех пехотных, двух казачьих и части конноегерского полка с артиллерией, ведет в бой полковник Балла. Куда же делись бригадные командиры – генералы? Егерских батарейных рот не существовало. Не описка ли это, ибо далее упоминается 43 егерский полк?

стр. 104–105. Что касается медали в честь 300-летия дома Романовых, то она была выдана всем находившимся в 1913 году на военной и гражданской службе и занесена в их послужные списки.

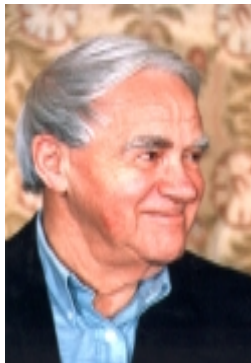
Таким образом, Ваш Ковалев ее, очевидно, потерял и хотел возобновить то, что имели все его старослужащие товарищи. В отношении внешнего вида этой медали Вам изменяет память. На ее лицевой стороне помешалось рельефное изображение Николая II и за ним – Михаила Федоровича (оба – в три четверти).

стр. 106. Почему у офицера Нейшлотского пехотного полка «бесшленный вестовой» из другой части да еще иного рода войск – 5 Донского казачьего полка?

стр. 110. Что-то неточно получается с осадой Гамбурга. Его так и не удалось взять русским войскам под командой Беннигсена. Оборонявший его маршал Даву сдал город только после отречения Наполеона по приказу уже Людовика XVIII. Французы очистили Гамбург двумя эшелонами 13 и 18 мая, после чего в него вступили русские. Как же получилось, если таковы даты осады Гамбурга, что в воспроизведенной Вами цитате из послужного списка вашего прадеда он в течение января участвовал в боях под этой крепостью, когда, очевидно, и был ранен, а затем лечился в Гамбурге, в доме пастора? Или он раненным попал в плен, и тогда все понятно, но в этом случае следовало бы пояснить такое положение или упомянуть, что он ранен в более поздних сражениях.

Хотел бы надеяться, что Вы не сочтете неуместными мои замечания.

С уважением
Ленинград, 192041, ул. Халтурина, д.11 кв.104.
Владислав Михайлович Глинка.



Владислав Михайлович Глинка был одним из последних петербуржцев, которых я знал. Слово «петербуржец» для меня означает очень многое. Это культура России, ее литературные, академические и научные традиции, это отношение к жемчужине нашей страны – городу Петра, это, наконец, безукоризненное знание всего петербургского – старого быта, нравов, истории и участие в ней. Владислав Михайлович был одним из немногих, кто мог ответить мне на самые разнообразные вопросы, если эти вопросы были связаны с прошлым. Написанное Владиславом Михайловичем Глинкой, в том числе и его исторические повести, отличается безукоризненной точностью всех подробностей быта, жизни и описываемых событий. Для него это было не вычитанное и выписанное из старых книг и журналов, а как бы найденное за время его долгой работы в архивах и музеях. Он знал XIX, а отчасти и XVIII век так, как будто жил в те времена. И его рассказы, разъяснения, справки поражали не как набор книжных знаний, а просто как впечатление очевидца. Не случайно со всей страны к нему обращались люди, которым надо было что-то узнать, проверить о старой России...

Д.Гранин

В.М.ГЛИНКА – Д.А.ГРАНИНУ

Сентябрь 1976 г.

Дорогой Даниил Александрович!

Вот только когда удалось получить номер «Нового мира» с Вашим «Билетом» (речь идет о повести Д.Гранина «Обратный билет» – М.Г.) и прочесть его. Полагаю, Вы сами знаете, что по справедливости можете считаться ленинградским писателем № 1. Поэтому подробно останавливаться на том, что эта Ваша работа талантлива, своеобразна, интересна каждому думающему человеку, а достигшего 40–60 лет волнует особенно, я не буду. Скажу только, что меня она захватила так, что прочел не отрываясь и, несмотря на глубокую ночь, некоторые места перечел еще и еще раз. Словом – спасибо Вам за нее.

Есть в повести только один пункт, который меня очень смущает, – Ваши восхваления NN. Я понимаю, что каждый человек может производить на различных собеседников разные впечатления, но, понаблюдав и послушав NN несколько раз, я накрепко составил о нем иное представление. Вы совершенно достоверно подметили его иступленную увлеченность Достоевским, но, боюсь, не почувствовали за краткостью общения, что он истерический болтун с изрядной путаницей в голове и притом склонный присваивать себе результаты чужого труда. Я говорю о долголет-

ней кропотливой работе нашего земляка, чрезвычайно скромного инженера Льва Матвеевича Рейнуса. За этой работой я имел возможность следить, немного помогая ему советами в розысках стариков-старорусцев и рассказав то, что сам слышал от ныне уже умерших, когда 14–15-летним подростком увлекся «Карамазовыми» и расспрашивал тех, кто видел писателя, кто обсуждал в Руссе роман, сразу после выхода в свет, ища в своей среде его прототипов. Так вот, Рейнус ряд лет трудился в архивах и библиотеках, переписывался с уехавшими из Руссы во время войны стариками, собирал по крохам сведения, и результатом этого явились статья «О прототипе Грушеньки».

Из «Братьев Карамазовых» в «Русской литературе» № 4 за 1967 г., а также два издания в высшей степени содержательной книжки «Достоевский в Старой Руссе», выпущенные Лениздатом в 1969 и 1971 гг. Автор этих работ разыскал и рассказал то, чего не знали присяжные литературоведы, занимавшиеся Достоевским, показал, на мой взгляд, классический образец того, что должно называться Краеведением с большой буквы. Уверяю Вас, не так-то легко было ему пробиться сквозь академическую сухую среду и получить признание убедительности тех сведений, которые он добыл долгими часами труда. Рейнус первым создал монографическое исследование, сведя воедино все, что известно о жизни и творчестве Достоевского в Руссе, разыскал вереницу реалий, связанных в тогдешнем городе с Карамазовыми, вплоть до маршрутов героев романа и многих других ценнейших подробностей. А в рассказах NN, так получается, будто он никогда не читал этой работы и сам проделал эти изыскания. Если он слышит имя Рейнуса, то буквально скрежетает зубами и произносит хулу в адрес «так называемых ученых».

Для меня, музейного работника с 35-летним стажем, эта картина, увы, не новая. Став заведующим музея, NN почитает Достоевского в Руссе как бы своей собственностью. Но как же он плохо представляет себе цель своих трудов и как далек от реальной возможности ее выполнить. В устройстве «мемориала» главное все-таки создание музея в самом доме, а не деревянные сваи, укрепляющие берег, или керосиновые фонари перед ним. А что можно сделать в доме? Что известно об его обстановке? Есть ли хоть одно изображение или хотя бы описание мебели,



Река Перерытица. Старая Русса

занавесок, обоев и т.п. элементов, составлявших интерьеры? Несколько предметов, которые на их счастье сохранились в музее Достоевского в Москве, будь они даже возвращены в Руссе, не решат выполнения этой задачи. Кроме единственного угла кабинета Достоевского с его письменным столом, нет ни одного изображения обстановки дома 1870-х годов. А то, что стояло в этой комнате в начале нашего века, сборная обстановка и густо завешенные фотографиями стены – плод труда Анны Григорьевны, сдававшей дом внаймы и ставившей жильцу условием не входить в этот кабинет, но показывать его с порога тем, кто будет об этом просить. Сдавала она дом с большим выбором, людям надежным и честным. В 1910-х годах в нем жила семья уездного лесничего В.Э.Троста, аккуратника и педанта. Его сын – мой приятель – и я смотрели в кабинет через шелковый шнурок, протянутый в дверях, и только раз в отсутствие взрослых, осмелились пролезть под него, чтобы рассмотреть фотографии на стенах.

Какова же была остальная обстановка при жизни Федора Михайловича? Известно, что дом был куплен Достоевскими от наследников отставного подполковника А.К.Гриббе, человека гуманного и умного, автора интереснейших мемуаров, у которого перед тем семья писателя снимала верхний этаж этого же дома. Куплен со всей обстановкой. Какова она могла быть? Вероятно, в стиле провинциальной мебели 1820–30-х гг. Гриббе до Руссы служил под Новгородом в бывших округах военных поселений, обращенных после восстания 1831 г. в полувоенные округа пахотных солдат. Там в казенных столярных мастерских и делала мебель по определенному канону, заведенному еще при Аракчееве. Где достать такую мебель? Притом не красного дерева, а из ясеня или березы под воском с крытыми потертым сафьяном сиденьями? Я думаю, что обстановка при Достоевском состояла из сбора этой старой гриббевской мебели и новой, весьма недорогой, которую «по случаю» покупала в Руссе практичная Анна Григорьевна. Нужны годы, чтобы подобрать что-то подходящее в комиссионных магазинах и у частных людей в Ленинграде, так, как 20 лет назад я подбирал мебель этого же времени для дома в городе Воткинске, где родился П.И.Чайковский. Но там была точная опись предметов с указанием их числа, материала, обивки и т.д. Там были письма отца композитора к матери, описывающие дом и его казенную обстановку. А здесь что известно?.. Не будет ли это произвольная, в лучшем случае, очень приблизительная фальсификация? Не говоря о той, что на такой подбор, повторяю, нужно немало лет. Ведь около двух лет ушло на подбор экспонатов для дома Репиных в «Пенатах», где существовали фотографии всех комнат, подробное их описание, и обстановка относилась к началу XX века.

Что же тогда должно быть, по-моему, в доме Достоевского в Старой Руссе? Историко-литературный музей, т.е. собрание материалов о жизни и творчестве Достоевского до Руссы, в Руссе и параллельно с нею в иных местах. Долголетний тщательный сбор материалов, необходимый для создания такого музея, разве по силам одному человеку, да еще больному, нетерпеливому, истеричному и нетерпимому ко мнению других, как NN? Полагаю, что не под силу.

Вы можете спросить меня, Даниил Александрович, каковы мои выводы? Я полагаю, что из Вашей повести для музея Достоевского может быть положительным результатом получение NN молодого и разумного помощника, который впрягся бы в этот долгий труд собирательства, заказов копий с фотографий и документов, художественных композиций и т.п. Дело долгое и трудное, но может быть увлекательным и плодотворным, если NN не будет ревновать к своему помощнику и портить его работу истеричностью. Нужен молодой и здоровый, спокойный и энергичный человек. От этого зависит, будет ли музей действительно достойным памятником Достоевскому или чепухой. [...]

И еще два маленьких замечания. Книга М.И.Полянского вышла не в 1889, а в 1885 году. О переиздании ее я никогда не слышал. Но самого автора видел

много раз и близко. На технических курсах, устроенных в помещении так называемой Троицкой школы на Успенской, в 1919 году Марк Иванов одетый в остатки генеральского обмундирования преподавал строительное искусство. Он с 1912 г. был отставным генерал-майором инженерных войск, но, помнится, говорил, что не кончал военно-инженерного училища, а сдавал за него экстерном экзамены будучи офицером пехоты.

Видел я близко и Анну Григорьевну Достоевскую, которая была пациенткой моего отца и раза два или три пила у нас чай. Помню разговоры о том, как заботливо пеклась она о школе для девочек крестьянского и мешанского происхождения, устроенной ею в память Федора Михайловича в трех деревянных зданиях около Георгиевской церкви, как приезжая летом, привозила новые географические карты и другие наглядные пособия, с какой скромностью держалась, хотя была окружена ореолом славы своего мужа.

На этом и закончу. Жалею, если огорчу Вас своим мнением о NN, но кривить душой не могу. Для создания серьезного музея надо иметь другие качества или по крайней мере соединить свою напористость и страстность с трудом. Упорным, повседневным трудом какого-то более молодого и более спокойного человека.

Будьте здоровы. С уважением. В.Глинка. 22.IX.76.

P.S. Не сочтите меня педантом, но рассказ о том, как NN без конца курит в кабинете Достоевского, меня прямо-таки расстроил. Курить в деревянном доме-музее да еще в самом мемориальном кабинете – это совсем не ладно с музейной точки зрения. Был бы я пожарным инспектором, оштрафовал бы его за такое поведение немедля и заставил уходить курить в сених к кадке с водой. Впрочем, по-моему, такое поведение только еще раз доказывает справедливость моего мнения о том, что он человек по меньшей мере мало уравновешенный и плохо понимающий, где и что он делает.



М.ЧУДАКОВА – В.М.ГЛИНКЕ

11 апреля 1976 г. Москва

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович,

пишу Вам вновь главным образом затем, чтоб обратиться с дерзкой просьбой: вдруг в Вашем распоряжении еще остался свободный экземпляр какой-либо из Ваших повестей и Вы могли бы презентовать его мне – или хотя бы послать для сравнительно долговременного пользования? «Литгазета», открывшая очередную «дискуссию» – на этот раз о юношеской литературе – усердно приглашает меня включиться в нее. Я не люблю печататься в газетах – по многим причинам, в частности, потому, что нужно, сверх времени, потраченного на работу, день или два потерять полностью, сидя до вечера в газете – чтоб убедиться, что они в последний момент чего-либо не выкинули или, хуже того, не вставили. И сейчас я включился бы разве что для того, чтобы хоть в немногих словах сказать об испорченном в наши дни жанре исторической повести – и привести в качестве положительных, как принято говорить, образцов Ваши повести. Но дома у меня нет ни одной, мы брали их в библиотеке, а там трудно задерживать надолго.

Если же, Владислав Михайлович, моя просьба невыполнима – напишите, не чинясь, и я найду какой-то выход, конечно.

Я совершенно согласна с тем, что Вы пишете об иллюстрациях к моей книге. Я много натерпелась с этим в процессе подготовки рукописи к печати и потеряла голос, убеждая редакторов, что только факсимиле и фото (подлинные) годны в качестве иллюстраций. Так что мое раздражение, поверьте, превосходит раздражение всех моих читателей.

Спасибо за Ваши письма.

Примите мои лучшие поздравления.

Мой муж весьма рад был Вашим словам о Чехове.

Мариетта Чудакова

P.S. Разрезала конверт, чтобы обременить Вас еще одной работой: не смогли бы Вы прислать библиографию Ваших беллетристических произведений – вдруг я что-то пропустила? И главное – библиографию писанного о них – если только она у Вас собрана и не потребует дополнительных разысканий. Простите, пожалуйста, за затруднение!



11 мая 1976 г.

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович,

я очень виновата перед Вами, что не уведомила о получении обеих книг. Я успела за это время дважды переболеть, но это, конечно, лишь объяснение, а не оправдание.

Я дочитала с удовольствием повесть о Непейщине, которую год назад вынуждена была сдать в библиотеку, не дочитавши четверть; дочь моя прочитала повесть о Лаврентии Серякове залпом – она уверена, что Ваши повести – приключенческие. Сегодня из библиотеки «Литгазеты» мне прислали любимую мной «Старосольскую повесть» (1948 г., зачитанное до дыр). Много места для этого в газетной статье, конечно, не будет, но уж сколько удастся.

Еще раз – простите великодушно!

С лучшими пожеланиями
Мариетта Чудакова



26 сентября 1976 г.

Дорогой Владислав Михайлович, простите и простите!

Мне суждено теперь, видимо, вечно быть перед Вами виноватой – и не без вины.

Я получила Вашу «Историю унтера Иванова» за несколько дней до того, как в моей жизни случились тяжелые обстоятельства, надолго выбившие меня из колеи.

Только к концу лета начала я читать Вашу книгу – в отличие от моей дочери, прочитавшей ее сразу же, подряд (а это и есть главная похвала для автора, если читателю 15 лет), весьма лестно отозвавшейся о ней и настойчиво спрашивавшей меня – «а что дальше?» (и это – тоже похвала, не правда ли?).

Так вот, люди, правильно ведущие себя с людьми, пишут в таких случаях незамедлительно – «Я Вашу книгу получила и читаю»; я же – неправильно – все откладывала письмо до того момента, как прочту. А момент этот все не наступает, поскольку я за лето и осень несколько раз болела и все более и более погрязала в работах, настоятельнейше требующих выполнения. А на все – и на работу, и на переписку (немыслимо разросшуюся после выхода моей книги и статьи в «Науке и жизни» – к моему отчаянию) – у меня – только суббота и воскресенье, поскольку в будние дни я возвращаюсь со службы поздно и занята дочерью, хозяйством и т.п. Вот Вам нудные, но совершенно добросовестные объяснения, которые не претендуют и не могут служить оправданием.

Пока я дочитала книгу лишь до середины. Самое лучшее впечатление от добротного, не суетливого повествования. Дай Вам Бог и дальше довести своего унтера до ума.

Я не теряю надежду написать о Ваших книгах (хотя и помню о Вашем к этому отношении); но дискуссия в «ЛГ» о юношеской литературе, куда меня настойчиво побуждали включиться, течет настолько неаппетитно, что руки не поднимаются.

Вашего «Лаврентия Серякова» надеюсь вернуть Вам лично – предполагаю быть в середине ноября на конференции по Достоевскому в Музее-квартире Ф. Достоевского.

Спасибо за книги. Простите за неаккуратность, которую не рассматривайте, прошу Вас, как неглижирование.

Поклон от мужа моего

Мариетта Чудакова



Ю.М.ЛОТМАН – В.М.ГЛИНКЕ

14 декабря 1969 г. г.Тарту

Дорогой Владислав Михайлович!

Простите, что отвечаю с опозданием – был в отъезде, затем прихворнул. Но дело даже не в этом, – хотелось прочесть сначала Вашу книгу. Теперь я ее прочел – и с очень большим удовольствием. Приятно поражает не только безукоризненное знание эпохи, но и живость и увлекательность рассказа. Завидую Вам: в моей памяти скопились многие замечательные человеческие судьбы людей начала XIX в. О некоторых еще покойный Корней Иванович Чуковский* мне советовал писать не скучные академические статьи «für wenige», а живые повести. Но что делать, – как говорил один из героев Островского, – «словесности нет».

Наш семинар по истории быта начала XIX в. продолжает свою работу – в ближайшее время обсудим Вашу классификацию рубрик, за присылку которой сердечно благодарю.

Очень надеюсь на скорую встречу.

Не собираетесь ли в Тарту?

С сердечным приветом Ваш Ю.Лотман

* Как больно соединять его имя с таким эпитетом.



7 ноября 1980 г. г.Тарту

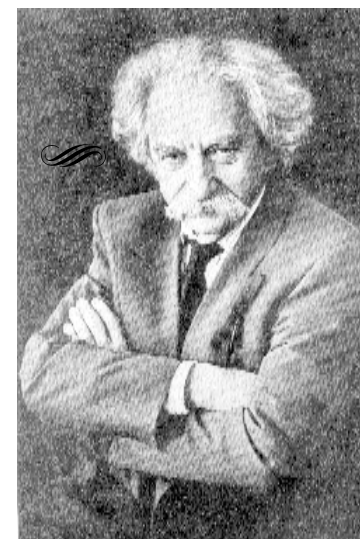
Дорогой Владислав Михайлович!

Как всегда, прибегаю к Вашей помощи: в мемуарах Андрея Белого «На рубеже двух столетий» мне попалось место, в котором говорится об отношении к ношению орденов в профессорской среде: «...отношение к звезде, как явлению нелепому, тягостному и дорогому» (за «звезду» вычитали из жалованья). М.-А., 1931, с. 163. Что сие означает? Почему вычитали из жалованья? Кроме Вас больше обратиться с такими вопросами не к кому.

Обрадовали бы нас весточкой и о себе...

Сердечные приветы Наталье Ивановне. З.Г. шлет вам обилие поклоны.

Искренне и неизменно
Ваш Ю.Лотман



19 февраля 1981 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

Я еще более Вас огорчен тем, что мы с Вами так неудачно разошлись. Виной моя дурацкая привычка ставить часы на 10 мин. вперед, а они у меня еще имеют привычку убежать. Мне показалось, что уже поздно... Конечно, если бы я знал, что мы с Вами по всем законам авантюрной литературы, почти одновременно уходим в разных направлениях, если бы я знал, какие у Вас до этого были переживания и заботы в Пушкинском Доме, если бы... Но, как всегда в жизни, именно это «если бы» нам и не дано. С моей стороны никаких дел не было, но повидать Вас, хоть изредка – для меня потребность. Около Вас легче дышится.

Я не могу судить о том, насколько какая-то газетная заметка перекрывает Вашу публикацию, но как-то чувствую, что Вы – под влиянием такого, всегда огорчительного, события – преувеличиваете его значимость. Не может газетная информация обесценить обстоятельного научного исследования. Если мое, совершенно априорное мнение может иметь здесь вес, то я, безусловно, за то, чтобы Вы своей статьи в «Памятниках» не снимали, а дали бы лишь примечание, что в то время, когда работа была уже закончена, ознакомились с заметкой такой-то, автор которой, независимо от Вас, пришел к таким-то выводам. Этим Вы и автору сослужите службу, обратив внимание на его статейку, которая, очевидно, прошла совсем не замеченной, и удовлетворите интересам науки, обедняя которую из соображений преувеличенной шепетильности было бы неразумно.

Врачи у меня нашли все в относительноном порядке. Однако в Ленинграде у меня вдруг – чего прежде не бывало – начало повышаться давление и, соответственно, ухудшилось самочувствие. Это и было отчасти причиной тому, что я не стал особенно долго ждать – мне очень захотелось добраться до места, где я смогу прилечь. Я и сейчас, приехав в Тарту, чувствую себя, как вареная брюква – вроде бы и здоров, но все интеллектуальные способности пребывают на «варенобрюквенном» уровне. Отвожу душу тем, что лежу и читаю мемуары Бенуа. Очень интересно, хотя рассказчик он вялый. Я все время говорю Заре Григорьевне, что в уме сравниваю его какое-то обесцветенное повествование с Вашими незабываемо-художественными рассказами.

Самые сердечные поклоны Наталье Ивановне. Зара Григорьевна шлет вам обоим сердечные приветы.

Искренне и всегда Ваш
Ю.Лотман



20 марта 1981 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

Простите, что пишу Вам на машинке: упал, сломал левую руку в локте и теперь могу только «тюкать» одним пальцем. Но, собственно говоря, ничего страшного не произошло, даже боли были очень недолгое время. Рука в гипсе, но я и хожу и лекции читаю. Георгий Вадимович (Г.В.Вилинбахов – М.Г.) прочитал нам курс прелестных лекций, очень полезных и очень интересных. Я только все время жалел, что Вас нет. Как чудесно было бы собраться вместе. Надеюсь, что в следующий мой приезд удастся это осуществить.

Сердечные приветы Наталье Ивановне.

Зара Григорьевна шлет вам обоим свои приветы и лучшие пожелания.

Будьте здоровы.

Искренне любящий Вас
Ю.Лотман

5 апреля 1982 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

Простите, что сразу отвечаю Вам на несколько писем. Прежде всего, сердечно благодарю Вас за замечания по биографии Пушкина. Они все справедливы. Я вложил их в свою специальную папочку, куда собираю все, что может пригодиться при каком-либо (если Бог даст) новом издании. Вы совершенно правы, что гр. Чернышев был подонком, и упоминать его в одном ряду с Киселевым и другими не следовало. Также и другие Ваши замечания представляются мне абсолютно справедливыми.

Любочка (Л.Н.Киселева – М.Г.) передала мне «Галерею 12-го года». Книга замечательная; и содержание, и типографское оформление доставили мне огромную радость. Я нахожу, что о Доу написано точно и тактично, без перегибов в ту или другую сторону. Конечно, он был человек жадный, но кисть его я очень люблю, грешный человек.

Что касается книги, мнения о которой Вы спрашивали, то я, к стыду своему, ее не читал. Ваше письмо заставит меня это сделать.

Надеюсь, что Вам удалось немного отдохнуть. Сердечные поклоны Наталье Ивановне.

Сердечно Ваш Ю.Лотман.



18 декабря 1982 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

Относительно немецкого происхождения отца Орловых, видимо, ошибка. Попутал бес в образе немецкой биографии Григория Орлова («Anexhdoden zur debeugeschichte des Fursten G.Orlow» Fraucfurt-Leipzig, 1791). Я бы не поверил, но тут мне все тот же бес подбросил рукописный памфлет в бумагах А.Р.Воронцова, где те же сведения. Тут я и поверил, и попался. Мой грех...

В оправдание могу сказать лишь, что происхождение Орловых «темно и непонятно». Все источники связывают их с новгородским дворянским родом XVII в., но реальная эта связь или выдуманная – неизвестно, т.к. сведений о деде и прадеде мне найти совсем не удалось – в начале XVIII в. какой-то провал, и, возможно, что с новгородскими дворянами их связали, чтобы «создать родословную».

Но родство Орловых (которых немецкий автор именует Адлерами) с Зиновьевыми, с чего он начинает рассказ об их роде, – правда. Вообще немец был очень осведомлен, хотя и прибавлял кое-что из анекдотов.

Еще раз всего Вам наилучшего в Новом году. Наталье Ивановне целую ручки. Всегда Ваш Ю.Лотман



Однажды дядя попросил меня свозить его в Пушкин. Кто-то из старых его знакомых, работавших в Екатерининском дворце, звал на консультацию – в запасниках музея сотрудники выставили к дядиному приезду множество портретов неизвестных, и просили помочь определить, кто изображен.

– А ты пока посмотри что-нибудь здесь, – сказал дядя, оставив меня около стеклянных шкафов с мундирами Николая II и наследника.

Через какое-то время он возвратился в сопровождении нескольких сотрудников. Мне показалось, они просто не знали, что им делать от профессионального почтения. Видно, даже навскидку он им там столько всего наоткрывал, что они теперь говорили только робким полупшепотом.

– Ну, что? – спросил он у меня. – Что-нибудь интересное углядел?



Петергоф. 1929. Второй
слева — В.М.Глинка

Отвечать было особенно нечего – ну, мундиры... ну разные...

– А ничего не бросилось в глаза? – прищурившись, спросил он. – Не обратил внимания, что одни мундиры? А ни брюк, ни шаровар, ни чакчир? И обуви никакой? А знаешь, почему? Потому что в 20-е нам эти штаны и сапоги раздавали вместо зарплаты. Мундир не переделаешь, он все равно мундиром останется, а со штанами легче. Кант чернилами зачернил – и ходи... Купить-то ведь было нечего – промышленность стояла! Нам все и раздали. Вон только что осталось!

И он указал на один из шкафов, за стеклом которого стояли высокие кирасирские ботфорты.

– Будьте любезны, откройте-ка!

Кто-то тут же отомкнул ключиком шкаф.

Дядя взял сапог каким-то привычным жестом – так ветеринар берет в руки животное. Взял и опять так привычно, с уверенностью, что покажет именно то, что желает показать, перевернул ботфорт подошвой вверх. Подошва была цвета сливочного масла. Сапог если и был надет, так раз-другой, не больше. И на подошве знакомая характерным своим шрифтом всякому ленинградцу, да, наверно, и не только ленинградцу, стояла надпись «Скоруходь», но только с твердым знаком на конце.

– Нет, мы все-таки идиоты, – сказал дядя. – Вель такой сапог – это же какая реклама тому же «Скоруходу»! Лучшая обувь! Поставщик двора его величества! Ну, ладно, поехали...

А.В.ПОМАРНАЦКИЙ – В.М.ГЛИНКЕ

1965 года, февраля 6 дня

Милостивый Государь мой, Владислав Михайлович!

Чувствительнейшее приношу Вам благодарение за драгоценный для меня знак внимания, в присылке сведений о двоюродном деде моем А.К.Анастасьеве выразившийся.

Однако, ревнуя к посмертной славе сего мужа не столько слова, сколь дела, за долг самонужнейший себе проставляю известить Вас, Милостивый Государь мой, что в Словаре Гранатовом, у Вас имеющемся, досаднейшая о сем муже вкралась ошибка, а именно:

сказано, что состоял он в Государственном Совете при рассмотрении дел духовных. Сего быть не могло, ибо к духовному покойный муж касательства не имел, а состоял он в Департаменте духовных и гражданских дел, для рассмотрения дел гражданских. Сие усматривается из письма Государственного Секретаря Вячеслава Константиновича Плеве к дочери означенного г-на Анастасьева, г-же Ксении Александровне Казакевич, у меня в копии имеющемся.

А посему просить покорнейше честь имею в означенном Словаре Гранатовом слово ДУХОВНЫХ похерить (X) и вместо оног означить: ГРАЖДАНСКИХ, дабы истина и в малых ее аспектациях помрачена не была.

Засим о малозначашем.

Присланный Вами, М.Г. (милостивый государь – М.Г.) мой, предварительный печатный брүльон я обозрел, и кое какие мысли и примечания карандашом на полях оног означил, кои Вы, М.Г., рассмотрите и зависящие решения предпримите.

Касательно же дат жизни персон, в Catalog включенных, проверить мне не можно, поелику экземплярю авторским не располагаю.

За сим честь просить имею числить и впредь до окончания живота моего amicusa Вашего в числе наиболее охотных и преданных слуг Ваших.

P. S. Не Вам ли обязан я благодарением за два эссея генеалого-геральдических, в Париже в свет пушенных? Ежели да – то гранд-мерси. А.В.



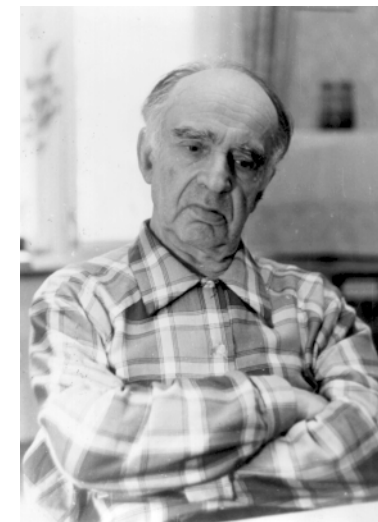
7.IV.66, Страстной четверг.

Дорогой Владислав Михайлович!

Письмо Твое получил вчера, с некоторым промедлением, и на оное тотчас отвечаю.

Дом в Гатчине, в котором жительствоваали М.А. и Н.С., (родственники А.В.Помарнацкого – М.Г.) находился на Николаевской улице (ныне улица Урицкого), под № 24, в конце, если идти от Багвувтовской, то предпоследний, по левой руке.

Жили они там не с 1915-го, а ежели мне память не изменяет, то 1913 года, и не по 1917-й, а по март 1918-го, когда М.А. взяли в узилище, а Н.С. после того вскоре, при содействии А.В.Луначарского, который дышал к ней неровно, уехала с 50 чемоданами в Киев, а оттуда в Англию, вместе с Татой Мамонтовой и Георгием



А.В.Помарнацкий. Конец 1970-х гг.



А.В.Помарнацкий. 1944

Брасовым. Родился он ок. 1913 года (м.б. в 1912 г.?), а почил в Париже не спра-ста, а помогли ему, так, по крайней мере, говорили в народе. Номер автомашины М. А. – 23-й.

Каталог петровский купи, пожалуйста. Поздравляю со Святыми днями, желаю здоровья, телесного и душевного тебе и твоим внукам – жена велит кланяться. Твой А. Помарнацкий



6 мая 1965

Дорогой Владислав!

Поздравляю Тебя с 9 маем, и желаю провести этот день столь же радостно и ничем не омраченно, как мы провели его двадцать лет тому назад.

Засим дела.

Московский кузен мой, немного известный тебе Алексей Сапожников, уйдя на пенсию, роет прошлое. Он помнит, что у тебя есть список г. офицеров Российской армии на 1909 год (видел

этот список у меня, лет 6–7 тому назад, еще на Дворцовой), и просит не отказать в любезности посмотреть, что там сказано про следующих лиц:

- 1) Комонов Николай Алексеевич, участник Японской войны, в 1916 году – полковник,
- 2) Тимашев Валентин Михайлович,
- 3) Тимашев Михаил?

а также написать точное название этого издания и все его выходные данные, тогда можно было его получить в московских библиотеках.

Ежели для тебя не составит труда ответить на эти 4 вопроса на соседнем чистом листе и прислать его мне обратно, то я буду иметь удовольствие, любезно наведенную нами справку передать племяннику моему вышеозначенного кузена сыну – который предполагает быть на днях в Ленинграде.

К сему – имею честь etc...

Твой А.П.



22.IX.65

Дорогой друг Владислав Михайлович!

Вчера ввечеру Карина передала мне твое послание, на которое тотчас же тебе и отвечаю.

Что касается до телефонного твоего звонка Ек. Вас. Ухпит, то таковая, будучи превосходной женщиной и матерью семейства, тем не менее, надо полагать,

что-то перепутала, ибо сообщив, что ты звонил, на мой вопрос ждешь ли ты у телефона, ответствовала, что нет, не ждет, а просил Вас позвонить в Издательство, «взяв с собой N телефона».

После сего, взяв с собой письмо Е.В.Холшевиной на бланке «Сов. художника», на коем имеется ихний редакционный телефон, я позвонил означенной Ел. Владиславовне, и мы договорились, что сегодня утром я буду у нее с текстом листовки о героях Отечественной войны 1812 года. Что и имело место только что – все прошло благополучно, и оба мы друг другом остались довольны.

А получив с Кариной твое письмо – увидел, что речь идет не о «Сов. Художнике», а об «Искусстве», но было уже поздно. Теперь перестаю трепаться и перехожу на Гатчину.

Я очень тебе благодарен за хлопоты и веру в мою способность написать достойно о «милой Гатчине», но, взвесив все обстоятельства, взять на себя эту тяжелую работу не могу. Главные же из этих обстоятельств такие:

1) Силы убывают, «сближается конец», средний срок жизни для мужчин в СССР 64 года, и нет серьезных оснований рассчитывать, будучи сердечником, на большой срок. А потому, чтобы написать книгу о Гатчине (даже в облегченном варианте) надо вложить все, что еще осталось из жизненных сил на это дело.

2) А мне хочется оставить после себя хоть слабый след на бумаге, след такой, каким я был, со всеми + и –, а в книге о Гатчине этого не сделать – сам знаешь, что такие редакторы «Искусства», «Сов. худ.» и пр. подобных издательств – все не совсем стандартное выкинут, и след от автора совсем почти и не останется.

3) Не сам ли ты изволил хвалить то небольшое, что я перечел из своих меморий? Вот это мне и хочется делать в остальные дни, а с работой над книгой этого не совместишь.

Еще раз спасибо за хлопоты. Не брякнуть ли тебе Юрочке Смирнову? Он в этом году достиг пенсионного возраста, человек умный, достойный, владеет пером и в Гатчине проработал не 4 года, а 8 лет.

Целую, твой А.П.



Эрмитажники, отдел истории русской культуры. 1950-е гг.

28.XI.65
Ленинград

Дорогой Владислав!

Спасибо за открытку, отвечаю с некоторой оттяжкой, т. к. ты не поставил на конверте обратного адреса, и на старых твоих ялтинских конвертах, хранящихся в моем эпистолярном архиве, обратного адреса обратно нет, узнал его от Марианны Евгеньевны, только что к нам заглянувшей.

Твои все здоровы, мои тоже.

У нас зима, 15–20, метет.

Был у меня сноб В.Д.Метальников с визитом, выпил ? рюмки водки, съел сардинку, бутерброт с кавьяром, выложил кучу сплетен на высоком уровне – о Париже, Эрмитаже, Константине Леонтьеве, etc, и исчез, оставив в наших с Е.А. головах впечатление легкости необыкновенной.

Кончил я ковыряться в архиве, наковырял кучу разных разностей про своих грекосов и полячишек. Кстати, спроси у Льва Васильевича, коему и его жене прошу передать привет, не помнит ли он Андрея Андреевича Кази – директора вашего Писательского дома в Ленинграде, в 1934–1937 годах? И если помнит – пусть скажет что-нибудь, мне про него любопытно.

Читаю «Ни дня без строчки», что ты мне оставил. Местами, по моему хорошо очень, а местами грустно – впечатление угасания, бессилия, чересполосица. Вчера кончил военный роман Ан. Злобина «Самый далекий берег», потрясший меня совершенно. Такого у нас еще не было. Причем, хотя бы потому, что дело происходит на Ильмене, где-то возле Старой Руссы, мне интересно будет обменяться насчет Литературных качеств книги, хотя и не в них главная суть, а в правде показа войны.

Целую тебя, желаю творческих успехов, на земле мира и в человецех благоволения. Твой А.П.



25 Июля 1967 года

Милостивый Государь мой Владислав Михайлович!

Привержен будучи с младых своих лет к Истине и почитая оную превыше самого Платона, долгом своим почитаю просветить Вас, М.Г. мой, относительно некоторых обстоятельств, кои вызвали меж нас вчерась в Мельничьих Ручьях некоторые контравверзы, и хотя ныне, придя в возраст, чужд стал я суетным утехам мелочного тшеславия и большую приятность доставила бы мне правота Ваша, но поелику, как о том имел уже я случай упомянуть в зачете сего письма. Истина нами превыше Платона почитаться должна, то и нахожусь я в необходимости известить Вас дружески, что известный трибун наш и златоуст А.Ф. Керенский токмо IV-го созыва Государственной Думы членом был, а отнюдь не трех или четырех, как Вы о том свидетельствовали, и лет ему ныне токмо 86 исполнилось, а отнюдь на 10-ый десяток еще не перевалил. Все сие свидетельствуется в том же 14-ом и у Вас имеющемся Нового Бр/Ефрона Словаря, на стр. XXVII.

Также и Мельников Павел Петрович – не от него ли и Мельничьи Ручьи свое название восприяли – был не токмо помощником министра, как Вы о том свидетельствовали, но самим Министром Путей Сообщения, с 1862-го по 1869 годы, как о том оный же Бр/Ефрон глаголет, в томе 26-ом на стр. 241.

Известная же Вам местность гг. Пушкиных Маркучая, на окраине Вильнюса лежащая, куплена была в 1867 году у гг. Эймонтов не Павлом Петровичем Мельниковым, о коем выше сказано, а братом его родным инженер-генералом Алексеем Петровичем, дочь коего Варвара Алексеевна и сочеталась законными узами в 1884 году с г-ном Григ. Алекс. Пушкиным.

Засим пребываю все еще в приятных воспоминаниях о кратковременных часах пребывания в М.Р. славных красотой местоположения и любезностью обитателей оногo.

Охотный Ваш слуга А.П.



27.VIII.67

Дорогой Владислав Михайлович,

Привет Тебе и благопожелания из Таганрога. Здесь хорошо, солнце, тепло, изобилие плодов земных, огромный и грязный рынок невиданной колоритности, с арбузами, бычками, таранькой, перцем, карманниками, только бандуристов не хватает, цены пляшут как на лондонской бирже – утром огурцы 5 коп., вечером – 40, у меня вытянули из нагрудного кармана моего «прогулочного» пиджака подаренную мне Марианной Евгеньевной записную книжку, кожаную, с башней Гедемина, приняв ее за бумажник, и вытянули в такой прелестной, классической манере, что я потом ржал от души; подошел кто-то, очень корректно одетый в сине-серые брюки и белую рубашку, с открытым и твердым лицом, зашел сзади и стал чистить пиджак между лопаток: «У вас спина в чем-то белом, нехорошо...». Я сказал: «Спасибо». Он сказал: «Пожалуйста. Все», и исчез, книжку поминай, как звали.

Посмотрели памятники – Петру, Гарибальди, Чехову, были в саманном домике, где он родился (он-таки подлинный), и, конечно, у дома, где скончался Александр Павлович, снаружи он отреставрирован, но смотрит одноэтажным, т.к. первый этаж наполовину ушел в землю, в доме детский санаторий, на стене доска, что здесь в июне 1820 года по дороге на Кавказ останавливались Пушкин и Раевский, а про царя ни гу-гу, но сестры, дворники и нянечки во дворе нам подробно объяснили, как царя подменили монахом, а он пошел странствовать, и моих резонов слушать не стали, а когда я представился и сказал, что вам тут виднее, у вас помирал, вам знать – закивали головами и сказали, что конечно, ведомое дело, точно вам говорим, по радиу сами слушали.

Были второй раз у старушек Мар. Евгеньевны, зайдем, еще раз, обещали нам самовар поставить. Пробудем наверное, до середины сентября.

Будь здоров и благополучен.

Твой А.П.

Лиза шлет всем приветы, Таганрожцы то же.



4.V.71

Дорогой Владимир!

По желанию Твоему излагаю свои импресии от «Дороги чести», каковую сейчас закончил чтением.

Книга, по мне, удалась, она «существует», в ней, как в плутарховых биографиях, есть и повествование и нравственный урок. Не сомневаюсь, что получишь за нее от знакомых и незнакомых читателей немало благодарностей, к коим причисли и благодарности Ел.Ал. и Саши – обоим она очень показалась.

Ретивый рецензент, склонный к игре ума, мог бы по поводу ее поставить немало вопросов и попытаться их разрешать, например: для кого она написана – для детей или для взрослых, ибо от этого, понятно, зависят и требования, которые могут быть к ней предъявлены, но так как я, слава Богу, не рецензент, то беру книгу такой, какой она существует, и попытаюсь изложить вкратце свои pro и contra, исходя из присуших ей качеств, уровня и целевой установки.

Книга вышла после «С. Непейцына» через 5 лет, под другим названием, а потому в первой главке нужна бы экспозиция, прямая – или попутная, без чего первые страницы читаются трудно. Вообще, мне кажется, что «Тула» удалась тебе меньше других частей – здесь мало движения, сам Непейцын роли в жизни Тулы не играет, а только слушает, что говорят об оружейниках, заводе и пр.; отсюда, на мой взгляд, тут есть вялые куски и длинноты.

Очень интересны «Великие Луки» – здесь есть и быт и «приключения», и все это занятно соотносится с «Ревизором», корректируя водевильно-каффианские образы городничего и его сподвижников, данные Николаем Васильевичем. Все полтораста страниц «Великих Лук» читал я с большим интересом.

Не менее, если не более, была интересна для меня и «Война»; думаю, что это не только от специального моего интереса к 12-му году. Материал не заезженный, ибо кто же описывал Витгенштейниану? У всех Смоленск, Бородино, сожженная Москва и т. д. Хорошо, что жестокие эпизоды боев перемежаются с почти идиллическими картинами отдыха в шатрах среди мирной природы, как оно и бывает на войне, где не все сплошной ужас (кроме, конечно, «направлений главного удара»); хорошо, что показывается, не назой-

А.М.Кучумов, А.В.Помарнацкий
и В.М.Глинка. 1960-е гг.



В.М.Глинка и А.В.Помарнацкий.
Открытие выставки

ливо, но настойчиво, отвратительная «звериная» сторона войны, но не перечеркивается при этом бесспорность патриотического подвига; с интересом читал про набег на Козьяны и про Кульм.

Хорошо, по-моему, все про Семеновский полк.

Теперь некоторые пожелания и замечания на случай, ежели всего «Непейцына» переиздадут, что, по-моему, очень и возможно и нужно.

На стр. 344 ты очень кратко и хорошо изъяснил, по частному поводу, что твой герой был человек, а не ангел – это по поводу матерного и мордобоев; хорошо бы таким же беглым манером сказать где-нибудь, что грешил городничий, хоть и редко, и по женской части, и что дары от купцов на день ангела принимал, но не вымогал. Боже упаси. Это бы придало ему телесности и достоверности, как Лев Николаевич придал Кутузу недомолвкой про попадью, чем порухи никакой Светлейшему не учинил.

Неубедительной мне показалась ругань графа Н.Н.Салтыкова – что он свинья, в том спору нет, но обхамить он мог как-то по другому, может мерзее, но тоньше, а тут он повторяет грубияна Желтухина, да еще грубее.

Не показалась мне встреча с Шалье в Козьянах и гибель Вареньки и Гришутки в степи и перерождение Теодора – то и другое происходит, на мой взгляд, по авторскому произволу, по шучьему велению, без внутренней необходимости, которая в книге в целом бесспорно присутствует.

Но это уже придирки, более для того здесь пушенные, чтобы Ты за низкого льстеца меня не почел. Остаюсь Твой охотный слуга и истинный друг.

А.П.

Блохи

С. 17 Война французам была объявлена в 1805 г.

С. 18 Наполеону в 1806 г. 37 лет

С. 19 «Манифест о войне с франц.»?

С. 23 «Губернский секретарь»? и по должности и по претензии на капитанский чин должен быть титулярным советником.

С. 336, 3-ий абзац снизу.

Хитро сказано.

С. 386 Сакре-Кер сооружена в 1870-х гг., после подавления Коммуны; другой Сакре-Кер, по моему, не было.

16 декабря 1978

Ленинград

Московские высылки

Дорогой Владислав!

Вчера съездил «Петерб. дневник 1920 года», и многое в нем понравилось, а многое отклика не нашло, что и естественно для читателя, коему идет уже под восемьдесят, и потому «за любовь» и «о волнениях страсти нежной» – ему уже ни к чему, а вот «ума холодных наблюдений» – покаместо еще давай и давай.

Конечно, с интересом читал все касательно быта Петрограда 1920 г. – я ведь провел в нем зиму 1919/1920 гг., будучи во 2 сд, а потом в Петроградском военно-инженерной школе в 1922/1924 гг., а с 1924 – в НИИ, и многое в моих воспоминаниях накладывается на твои, и хотелось бы прочесть у тебя еще и еще, и мне кажется, что такие «физиологические очерки», подобные тем, что были в моде в сороковых годах прошлого века, – это и есть твоя область, что видно из вкуса твоего к «описательности» во всех твоих книгах, да и ох как это нужно и нам и тем, кто будет читать после нас. Много ли осталось таких как мы с тобой, кто мог бы мало-мало прилично описать тот фантастический быт, что сложился на «обломках империи» в то время. Как интересно смотреть теперь рисунки В.Лебедева или А.Вахрамеева с «картинками быта» того времени – цены им нет. Спасибо и нам скажут за такие «картинки», когда придет им очередь «увидеть свет», а что придет она, в этом сомневаться не след.

Из «любвей» мне «показалась» амурная история с северной фельдшерницей, доброй, сдобной и пресной, ибо это тоже ложится в «физиологию времени», и со многими такие «измены» с такими партнерами приключались, и вызывали эмоции, подобные тем, что были и у твоего героя.

История с Ксаной и связанный с нею «адский галопад страстей» хотя и любопытны, но в целом, прости, мелодраматичны (не сомневаюсь в том, что, как ты мне сказал по телефону, так все и было, но ведь мы говорим о художественном произведении, а не о жизненном факте), да и причина ее неуравновешенности, незаконнорожденность, не смотрится в контексте того времени, в контексте гибели миллионов людей от пуль, голода и сыпняка, и бегства других миллионов, потерявших, по большей части навсегда, родину. А картины петербургского быта 1920 г., тобой точно и правдиво нарисованные, к этому контексту читателя возвращают.

Хороши и Невский в 1912 и в 1916 году, гарсоньерка, доставшаяся по ордеру постороннему, со всей своей «начинкой» (мой приятель Рурка Ефремов, из донских казаков, родственник, очевидно, того Ефремова, что был у тебя в «Реке жизни», командиром на Кавкурсах, получил уже в 1925 году прекрасную комнату на Мойке в квартире барона Врангеля, эмигрировавшего, со всей мебелью кр. дерева и книжными шкапами, набитыми книгами).

Очень понравился мне и Кусиков, подробно тобою изображенный во всей его гусарской «выделанностью» и в то же время внутренней воспитанностью, а что обычно, коли гусар, то и забудыга, а я тоже знавал одного б. армейского, правда не гусара, а драгуна, но воспитаннейшего и прелестнейшего человека, хотя и сохранившего полностью если не «выделку», то выправку.

А вот «абстрактный» орловский роман – никак меня не тронул, и прости меня еще раз, как Жуковский сказал Гоголю, когда тот читал ему свою историческую, неудавшуюся ему повесть из истории хохлов: «Скучно, что-то, братец». «А коли скучно – отвечивал Ник. Васильевич – то и в огонь», – и метнул свою рукопись в камин.

Боже упаси метать в камин «Петрогр. дневник», а вот сократить всю эту орловскую историю, да и еще кое что, – ей-ей надо, ты и сам три или четыре раза (см. стр. 14, 49/50, 26/27) устами героя пишешь, что «что-то я расписался», и он, ей Богу, прав, тем более, что к петроградскому дневнику это касается только боком. Впрочем, помню, что мне восьмой десяток, и может, кто помоложе, тому это и близко к сердцу.

Теперь частности, может что и пригодится:

1) К заголовку: В.Глинка, Петроградский дневник 1920 года – надо бы добавить подзаголовок в скобках (ПОВЕСТЬ), а то читается, как Петроградский дневник В.М.Глинка.

2) стр. 163. Опечатка: Е.Серебрякова?

3) стр. стр. 104. По имеющейся у меня литературе Мамонтов под Орлом не был. Орел брали корниловские полки, а Мамонтов все время был на пр. фланге Деникина?

4) стр. 55. Стоит ли относить к легковестным писателям, наряду с Бенуа, Пьера Лоти? Все-таки он автор «Книги печали и смерти» и других прекрасных книг, а не только расхожей экзотики. Можно ведь заменить его Марселем Прево, Оливией Уэдсли, Хервидом etc.

5) Рукопись называется «Петрогр. дневник 1920 года», а появляется Петроград 1920 года только на 38 странице, т. е. почти ? пошла на вступление.

6 и позднее). Также, как вступление, я поджал бы и заключение, тогда Петроград в 1920 году выделится рельефней.

Расписался я здесь потому, что уверен, что все, что ты сказал здесь о Петрограде того года, как таковом – очень ценно, и рано или поздно – сие от нас не зависит – должно быть напечатано, а ergo – памятуя, что сам А.Н.Толстой по 7 раз переделывал свои романы – есть смысл еще поработать над своим оeuvre, дабы приблизить его к chef d'oeuvre. Если что здесь я недописал или же переписал – извини.

Жена моя, женщина простая, НИИ не кончавшая, а родившая вместо того троих детей, троих внуков и ныне ожидающая правнука(чку), кончат сейчас «Дневник» и сказала только, что очень интересно, но что начало ей показалось «вялым». Шлет тебе и Марианне Евгеньевне привет. Прости.

Твой А.П.



3 июля 1980

Ленинград

Дорогой Владислав!

Получил Твою тронувшую меня письмо-открытку 27 июня, но не мог сразу же ответить на нее, по причине суеты, царившей в эти дни в доме.

Помимо внука нашего Васеньки, который нынче пасется у нас дольше обычной трехдневной баршины, так как Мишкин уезжает 8 июля в свою ежегодную экспедицию в Казахстан, а до того он задался целью привезть в порядок в своем садово-парковом участке в Васколове *sortire* и еще что-то (я там не бывал), и потому отдал нам Васеньку, а мы тому и рады, помимо Васеньки гостили у нас неделю, со среды до среды, Казимир (Казик) и Станислав (Стасик) Кипертасы, по матери Пацы-Помарнацкие, из города Укмерге (Вилькомир), что в Литве. Это последнее П-П, что как сели под Вилькомиром в 1444 году, так и досидели там до наших дней, ежели не считать двадцати лет, проведенных в «глухом урочище Сибири», где и сложил свои кости дед мальчиков Лех Константин П-П, кончивший в свое время Ларинскую гимназию, потом бывший адъютантом в каком-то полку под Орлом, а потом служивший в чине майора в Литовской кавалерии, на чем и кончилось счастливое прохождение им службы.

Так как судьба семьи была горестной, а мальчики оба очень милы (один к тому же и хорош собою), мы рады были их приютить под нашей кровлей, чем они и воспользовались с толком, побывав на эти дни в Петергофе, Пушкине, Эрмитаже, Русском музее, Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, Морском музее, Летнем дворце и еще где-то.

Сегодня они отбыли на вечерний поезд, Васенька согласился, наконец, спать, Лиз моет посуду (я чистил сегодня картошку), и я сел за это письмо.

Добрые слова твои очень меня тронули, спасибо за них тебе и Наташе.

Сегодня позвонили мне Всеволод Павлович Поздняков (муж Жени Полетика по зо генанше Шанхайки), а вскоре Маришон, и сообщили, что сегодня же были похороны Ольги Николаевны Арбениной, скончавшейся на 83-м году от старости, тихо, во сне. Отпевали ее в Преображенском соборе, похоронили в Царском селе, то бишь Пушкине, недалеко от Иннокентия Анненского и Татьяны Гнедич. Слово над ее могилой сказал Шадрин.

Мы с Лиз держимся, так как без нее все разрушится, а я заодно. Радость наша – Васенька [Четвертый вопрос старого царя: что в свете всего милее? Ответ мудрой девы: Милее всего внучек Иванушка].

Хотя в нашем Иванушке течет десять кровей – мавров, арабов, греков, литовцев, поляков, евреев, голландцев, немцев, русских и хохлов, – из всех этих равно нынче высокопочитаемых кровей играет в нем только наша русская – он белообрис, курнос, говорит то-что говорит на а, характером открыт, смел и прям.

Радостей от него – вагон, хлопот – тоже. От роду ему год и десять месяцев.

Вообще же, когда день солнечный – чувствуешь себя счастливым, любишь голубым небом, облаками, зеленью, которая нынче как-то особенно свежа, и порою повторяешь строки твоего тезки:

Ум отдыхает. Слух не слышит.

Жизнь потаенно хороша.

И небом невозбранно дышит

Почти свободная душа.

Как сказал кто-то, уже не Твой тезка, а другой, – В старости печально то, что она кончается.

Целую, Наташе поклон, Лиза шлет вам привет.

Твой А.П.

Андрей Валентинович Помарнацкий, – ближайший друг, сослуживец и соавтор Владислава Михайловича, – был одним из самых колоритных и знающих людей, когда-либо работавших в Эрмитаже. Настоящая фамилия его была несколько длиннее и звучала как Пац-Помарнацкий, но для 1920–30-х годов, когда бдительные органы государственной заботы широко пользовались дореволюционными справочниками и адрес-календарями, такая фамилия сразу указывала на происхождение Андрея Валентиновича – отцом его был подполковник лейб-гвардии Павловского полка. Поиск привел бы и к известным греческим фамилиям – по материнской линии он был потомком М.И.Кази (Севастопольский городской голова), Н.П.Кумани (адмирал екатерининских времен), рода Мавромихаи.

Во второй половине XIX и, особенно, в начале XX века уже нередко можно было наблюдать, как представители тех фамилий, которые из поколения в поколение занимали привычное и прочное положение в государственных инстанциях или на военной службе, вдруг, словно устав от официальных обязанностей на государственном поприще, или, быть может, поняв для себя, что не в них главная прелесть жизни, уходят в науку, технические профессии, литературу, искусства. Пример тому подавали даже некоторые из великих князей – Николай

Михайлович или КР, были таковые из Шереметевых, Гагариных, Оболенских. Пац-Помарнацкий – фамилия не такая громкая, – врашались, тем не менее, в кругах придворной Гатчины, в тех кругах, где мелькали Епанчины, Мусины-Пушкины, Кутеповы, а то так и светлейший князь Д.Б.Голицын. И, судя по тому, какого рода вкусы и пристрастия проявились у А.В.Помарнацкого в зрелые годы, даже не случись социального переворота, все и вся перевернувшего, его едва ли прельстила бы карьера административная или военная.

Эрмитажному периоду его жизни предшествовали Институт истории искусств 1920-х годов (в Зубовском особняке), который он закончил после Гатчинской гимназии, а затем в 1930-х – музейная работа в Гатчинском дворце. Но советская система требовала от каждого единичного представителя ликвидированных ею классов (если эти единицы хотели уцелеть) как мимикрии, так и участия в ее судьбоносных передрягах. В музейной судьбе философа и пашифиста А.В.Помарнацкого были месяцы и даже годы совершенно, казалось бы, не вписывавшиеся в его образ – работа бухгалтером в Ленэнерго, а во время войны служба в армии (нижние чины, орден «Красной звезды» и медаль «За отвагу»). Противоречиво, и, в то же время, глубоко логично творчество Андрея Валентиновича. Его перо трудится почти исключительно над сюжетами военного уклона – это биографии генералов 1812 года, жизнеописание Суворова и его современников, исследование портретов Суворова. Но автору этих строк, более полутора десятков лет носившего свои первые литературные опыты на суд Андрея Валентиновича, повезло услышать от него среди других лапидарных философских резюме и такое: «Нет ничего более мирного, нежели игра в оловянные солдатки». Это я услышал после того, как описал ему развод гвардейцев у дворца в Копенгагене.

Его устные рассказы о войне обычно состояли из нескольких фраз. Вот один из них. В сорокоградусный мороз (Волховский фронт) и у наших, и у немцев замерзло все – и техника, и личное оружие. Сойдясь из окопов двумя цепочками (немцы по дороге, а наши по тропке сбоку), и те и другие двинулись, кто мог, в сторону городка, к жилю. Но очень скоро мороз стал слабеть. Однако прежде, чем начать стрелять, обе цепочки разошлись на такое расстояние, чтобы друг друга почти не было видно.

– После войны, – сказал он как-то, – мне кажется, я могу понять всех.

На его войне, а он, повторяю, прошел всю ее не в офицерском чине, есть место всему. Отправленный за пополнением в тыл, в опустевшем дачном поселке он видит в беседке старую женщину в пикейной панаме. Безмятежное лицо, французская книга на коленях. Он заговаривает с ней.

– Бежать? – говорит она. – Куда? Зачем? Страшней того, что было, уже не будет.

Ни записка о том, что отлучился в библиотеку, ни письмо, ни отзыв о прочитанной книге не могут быть написаны им без соблюдения какого-то особенного стиля. Ни в произнесенном, ни в написанном не может быть невнятности, необдуманности, спешки. Точное, прямое обращение, никаких уподоблений вниз строк, всякое письмо имеет экспозицию и завершающий комплимент, отсутствие его так же недопустимо, как сидеть, развалясь, в присутствии дамы...

Ни один разговор с ним не обходится без того, чтобы потом не хотелось что-то записать. «Демократия может быть ужасающей, если в основе ее лежит пригородная мораль». «Мы ведь так часто путаем народ с простонародьем». «Все для народа, но ничего через народ», – в этом полная солидарность с Черчиллем. «Все перемены у нас будут проводиться сверху – и это может быть уже очень скоро» – это лет за пять до Горбачева...

Героями коротких новелл, которые Андрей Валентинович писал «в стол», могли быть и одноклассник по Гатчинской гимназии, и последний император Эфиопии Хайле Селассие, который в аэропорту Пулково присел на корточки перед

багажной тележкой, заинтересовавшись коробкой скоростей. Фразы коротки и точны, придаточных предложений почти нет...

Открытый для дискуссии на любую тему, но с обязательным условием соблюдения парламентских норм, Андрей Валентинович находил эстетическое наслаждение в том, чтобы даже услышанную в трамвае перебранку обобщить в философский афоризм.

Владислав Михайлович ярился, читая Виктора Шкловского (однажды он обнаружил пять исторических неточностей в одной его фразе) – Андрей же Валентинович наслаждался прозой формалистов. ОПОЯЗ, Эйхенбаум, Тынянов, Роман Якобсон – это были литературные зарницы его молодости в Zubовском особняке...

Каким образом эти люди – дядя и Андрей Валентинович – могли быть не только ближайшими друзьями, но еще и соавторами, для меня полная и пленительная по своей неразрешимости загадка...

Но как музейщики они были удивительным дополнением друг друга. Наталия Ивановна, впоследствии Глинка, но тогда еще Никулина, рабочий стол которой в Русском отделе в 1950-е годы стоял рядом со столом Помарнашкого до конца жизни вспоминала об Андрее Валентиновиче с благоговением и говорила, что беседы с ним были для нее вторым университетом.

В 1961 году, освобождая здание Эрмитажного театра под расширяющиеся кладовые, "город" расселял жильцов кваренгиевского дома. Помарнашким предложили "распахонку" в хрущевской пятиэтажке в километре от конца Московского проспекта. До Эрмитажа оттуда надо было добираться в течение полутора часов двумя пешими переходами и тремя видами транспорта. Склонному к апоплексии, с астматическим дыханием, начавшему тучнеть Андрею Валентиновичу ежедневные три часа дороги были не по силам.

Но "городу", то есть тому в руководстве города, от кого зависело где, кому и что из жилья давать – видимо, даже не приходило в голову думать о том, кого при таком расселении теряет Эрмитаж. Как при других подобных – Академия наук, Университет, Пушкинский дом. То были звездные годы военно-промышленного комплекса. Первыми людьми в городе были директора "оборонки".

Председателем исполкома (мэром) Ленинграда тогда был человек, который однажды, сопровождая по Эрмитажу высокую иностранную делегацию, вдруг остановив экскурсовода, указал рукой на мраморную статую Вольтера работы Жана Гудона.

– А это наш великий полководец Суворов, – сообщил мэр.

В 1962 году этот мэр, отобрав, точнее отняв от шофера своей "Чайки" ключи от машины, разбился пьяным, вылетев под откос.

Нет, не мэр, конечно, распределял жилье. Другое дело, что при таком мэре много подхода к носителям рафинированной культуры не могло и быть. Дали жилье? Дали. По норме? По норме. Все.

И не дослуживший до пенсии удивительный музейный ученый, который еще долгие годы мог передавать следующим за ним редкие навыки хранителя, утонченный вкус, поразительные знания – был отнят от Эрмитажа... Как расточитель наш город!



КТО ИЗОБРАЖЕН НА ПОРТРЕТЕ?



В.М.Глинка

заслуженный работник культуры РСФСР

К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТЕЙ, ИЗОБРАЖЕННЫХ НА ПОРТРЕТАХ, И ДАТИРОВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА ПО ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ОРДЕНСКИМ ЗНАКАМ

В настоящее время методика работы с произведениями изобразительного искусства, в том числе с портретами, стала весьма разнообразной. Наряду с традиционными приемами стилистического и иконографического анализа, многими исследователями широко используется рентген и другие современные технические средства. Однако, к сожалению, иногда все еще остается без должного внимания такой старый и точный способ не только датировки портретов, но и определения изображенных на них лиц, как изучение униформ и орденов. Как примеры последнего метода я хотел бы указать ряд работ, авторы которых атрибутировали и датировали портреты при помощи определения мундиров и знаков отличия.

Приведу несколько разнообразных примеров определения портретов с применением анализа форменной одежды и наград, демонстрируя различные методы каждого конкретного исследования, в зависимости от известных исходных данных.

В 1977 г. при письме в Эрмитаж из Лондона от частного лица поступила фотография с миниатюры, изображающей военного. Владелец на обороте написал карандашом предположение, что на миниатюре изображен граф А.Х.Бенкендорф, что по несходству черт лица было мной сразу же отвергнуто. Изображенный на портрете носил общегенеральский мундир, но с вензелями Александра I на эполетах и аксельбантом, что указывало на его принадлежность к свите императора. На его груди можно было рассмотреть звезду и ленту ордена Александра Невского и другие знаки русских и иностранных орденов. В монографии в. к. Николая Михайловича «Генерал-адъютанты Александра I» я не нашел искомого портрета. Зато в «Истории свиты Александра I» оказалось воспроизведение именно находящегося в Лондоне экземпляра миниатюры, что видно по идентичности изображения. Перед нами портрет графа П.А.Шувалова (1779–1823), что подтверждается и сходством с портретом в Военной галерее Зимнего дворца, подписанным Д.Дюу.

При письме из Музея Народового в Варшаве было приложено фото с миниатюры, изображающей русского генерала в форме 1808–1812 гг., в окружении двух девушек в белом и пожилой дамы в темном.

Неизвестный художник. Портрет генерал-лейтенанта Донского казачьего войска. 1867



В письме было сообщено, что в Варшаве известно: изображен князь Голицын, миниатюра пришла в музей из Вильнюса. Обращение к родословной Голицыных привело к предположению, что перед нами изображение генерала Б.В.Голицына (1769 – 6 января 1813), умершего от ран в Вильно. Из мемуарной литературы удалось установить, что Б.В.Голицын, носивший в свете прозвище «Борис-Вестрис» за свою легкость в танцах, многие годы был связан с некоей виленской шляхтянкой, от которой имел двух дочерей. После его смерти заботу о девушках взял на себя его брат, известный московский генерал-губернатор Д.В.Голицын. Современники отмечают, что от строгой матери, Н.П.Голицыной (прототипа «Пиковой дамы»), скрывали существование незаконных дочерей ее сына. Сообщение предположения о личности изображенного на портрете генерала вполне удовлетворило сотрудников музея в Варшаве.



Дж.Дюу. Портрет А.П.Ермолова

При письме А.Н.Савинова от 5 августа 1974 г. ко мне было прислано фото с рисунка Гампельна 1823 г., изображающего в рост немолодого военного, сидящего за письменным столом. Характерные особенности мундира указали, что перед нами флигель-адъютант Александра I, состоящий при пехоте или артиллерии. Уже упомянутая «История свиты» не дает исчерпывающей иконографии флигель-адъютантов этого времени, но по форме и возрасту изображенного я мог составить выборку из списков. Причем у меня осталось четыре вероятных «кандидата». Казалось, дальнейшие поиски бесполезны. Но, рассматривая фото в лупу, я на отвернутом уголке письма, лежащего на столе, прочитал надпись: «Негтаап». Вот и ответ на вопрос: Александр Иванович Герман, полковник лейб-гвардии Преображенского полка, сын печально известного генерала И.И.Германа, взятого в плен в Голландии в 1800 г. А.И.Герман участвовал в войнах с французами, пожалован флигель-адъютантом в 1821 г., произведен в генерал-майоры в 1826 г., без оставления в свите Николая I, и назначен начальником штаба гренадерского корпуса в Новгороде. В списках офицеров на 1829 г. он уже не значится – то ли умер, то ли вышел в отставку, этого установить не удалось.

Из Новосибирской картинной галереи в марте 1978 г. ко мне поступила фотография портрета молодого офицера с тремя звездочками на эполете, определенными с 1827 г. чин поручика. Орнаментальное шитье на воротнике мундира указывало, что он служил в лейб-гвардии Семеновском полку. На лашкане расстегнутого мундира видны ордена: Владимира 4-й степени с бантом и Анны 3-й степени. Правая рука, согнутая в локте, покоится на черной повязке. История Семеновского полка, составленная П.Дириним, помогла без особого труда установить личность изображенного. В войне с Турцией 1828–1829 гг. участвовал только один батальон полка, и никто из офицеров не был ранен, но в 1831 г. ранены двое – один в руку, другой «в правое плечо с вылетом пули в спину». Последний имел чин поручика, за Турецкую войну награжден орденом Анны 3-й степени и за 1831 г. – Владимиром 4-й степени с бантом. Это Сергей Николаевич Леонтьев. История полка сообщает также, что в 1833 г. он уволен от службы с чином капитана. Наконец, в «Петербургском некрополе» значится умерший в 1846 г. коллежский советник

С.Н.Леонтьев 38 лет. Очевидно, перейдя в статскую службу, отставной семеновец умер сравнительно молодым, может быть, в результате своего тяжелого ранения. Во время написания портрета в 1832–1833 гг. ему было 24–25 лет, и всему сказанному выше отнюдь не противоречит грустное выражение красивого, очень молодого лица.

Из московского областного краеведческого музея в городе Истре было прислано фото с карандашного портрета работы Ф.Крюгера, изображающего генерала 30–50-х гг. XIX в. в вицмундире (т. е. без шитья на воротнике) с русскими и очень многочисленными иностранными орденами: австрийскими, нидерландскими, вюртембергскими, датскими и шведскими. Эполеты изображенного повернуты так, что нельзя рассмотреть, есть ли на них вензеля или звездочки, невозможно рассмотреть и рельефный рисунок на пуговицах мундира. Некоторое время я предполагал, что Ф.Крюгеру позировал не русский генерал – такого типа эполеты существовали и в других европейских странах. Но против этого говорило наличие пряжки за 25 лет беспорочной службы. Да и лицо его мне упорно казалось где-то виденным. Однажды, всматриваясь в детали картины Е.Тухаринова «Ротонда Зимнего дворца» (1834 г.), я заметил сходство с рисунком Ф.Крюгера черт лица одного из офицеров, стоящих по сторонам В.А.Жуковского – воспитателя будущего Александра II. Обращение к папке – альбому с акварельными портретами лиц, участвовавших в воспитании и образовании в.к. Александра Николаевича, подтвердило мою уверенность, что на рисунке Ф.Крюгера изображен генерал С.Ю.Юревич (1798–1863), сопровождавший наследника в путешествии за границу и во время его получивший ордена от иностранных дворов.

В 1980 г. в Эрмитаж из Вашингтона поступило фото резанного из кости бюста молодого человека в форме флигель-адъютанта Николая I. Работа имеет подпись известного скульптора-костореза Я.П.Серякова и дату – 1852 г. При наличии всего одного, самого младшего, русского ордена Станислава 3-й степени, мундир офицера украшают звезды португальского, неаполитанского, гессенского, баварского и баденского орденов, что сразу облегчило задачу по определению оригинала бюста. Обращение к справочникам чинов свиты за этот год позволило установить, что перед нами портрет князя П.Р.Багратиона (1818–1876), племянника знаменитого полководца, единственного из флигель-адъютантов, имевшего столько иностранных орденов. Будучи адъютантом зятя Николая I, герцога Максимилиана Лейхтенбергского, Багратион сопровождал его в путешествиях по Европе, связанных в значительной степени с интересом их обоих к минералогии, и был награжден всеми иностранными дворами, которым представлялся вместе со своим патроном. Сравнение бюста с литографированным портретом Багратиона 1846 г. и с фотографией 1869 г., хранящимися в музее ИРЛИ, полностью подтвердило такое определение.

Более десяти лет назад мне передали для определения фото с портрета, хранящегося в фондах Третьяковской галереи, подписанного И.Е.Репиным, с датой – 1864 г. Слегка отклонив корпус назад и положив руку на край стола, сидит старый человек с седой шевелюрой и черными усами, одетый в вицмундир, присвоенный генералам армейской пехоты. На плечах его эполеты генерал-лейтенанта, талия перетянута галуным поясом сабли, что дает возможность заметить как-то безжизненно повисшую левую руку. На груди ряд русских орденов, пряжка за 40 лет беспорочной службы и звезда нидерландского военного ордена Вильгельма. Этот редкий для русского офицера орден дал надежду без труда определить портретированное лицо. Однако списки русских генералов действительной службы (отставные в то время не носили эполет) не только за 1864 год, но и за многие годы до и после указанной даты не дали искомого ответа. При этом нашелся только один генерал, числившийся по армейской пехоте, имевший тот же чин и все показанные на портрете русские ордена, а также нидерландский орден Льва высшей степени, дававшийся за гражданские заслуги. Ни одного кавалера ордена Вильгельма в чине

генерал-лейтенанта не имелось за несколько десятилетий. Между тем, генерал-лейтенант, награжденный звездой ордена Льва, Сергей Николаевич Ивашенцев (1805–1871), как я выяснил по послужному списку, хранящемуся в ШГИА, был с 1840 г. командиром Киевского гренадерского полка, имевшего своим шефом нидерландского короля, был тяжело ранен в левую руку «с повреждением сухих жил», причислен к раненым 1-го класса и получил пенсию из инвалидного капитала. Знакомство с послужным списком было предпринято мной в надежде обнаружить ошибку в наименовании ордена. Ведь естественно было наградить боевого офицера военным орденом Вильгельма, который и изображен на портрете. Но, увы, и в послужном списке, и в некрологе, напечатанном в «Русском инвалиде» – везде стоял гражданский орден Льва. В ходе поисков я узнал и место службы Ивашенцева в 1864 г., и адрес его квартиры в Петербурге, и судьбу всех его детей. Однако это не помогло найти ошибку в официальных документах. Оставалась надежда, что нидерландская грамота на один орден была неверно прочтена, и орден в официальных русских документах получил неверное наименование. При помощи Ю.И.Кузнецова я писал в Нидерланды, просил выяснить, каким именно орденом был награжден Ивашенцев, и даже передал одному из голландских ученых фото с портрета. Увы, ответа я так и не получил, хотя на разгадку потратил много десятков часов. Нельзя ли думать, что при грамоте на один орден по ошибке прислали знаки другого?

В 1975 г. А.П.Лошкарев – директор Воткинского музея П.И.Чайковского обнаружил в фондах музея Горного института вид Воткинского завода, начальником которого в 1830–1840 гг. был отец знаменитого композитора. Изображение завода представляет часть большой акварельной композиции из пяти пейзажей, в центре которой помещен погрудный портрет неизвестного, очевидно, горного инженера, в вицмундирном фраке, со звездой и крестом ордена Владимира 2-й степени, знаком за участие в крестьянской реформе 1860 г. и с погонями гражданского типа с обозначением чина тайного советника. Естественно, что А.П.Лошкарев заказал для Воткинского музея фотокопию с акварели и просил сообщить, кто изображен в центральном медальоне. Сотрудники музея Горного института ответить на это не смогли, и А.П.Лошкарев принес фото ко мне. Даты над портретом – «1829–1879» – очевидно, говорили о пятидесятилетнем юбилее службы этого деятеля в Горном ведомстве. Обращение к справочнику «Список гражданских чинов первых 4-х классов за 1879 год» тотчас дало ответ. Единственный горный инженер, имевший в этом году указанный чин и орденские знаки, как и крест за крестьянскую реформу, был А.А.Йосса, занимавший во время написания акварели должность председателя Ученого горного комитета. Все показанные на акварели местности – Богословский, Кушвенский, Златоустовский, Боткинские заводы и г. Екатеринбург были связаны с его жизнью и деятельностью вплоть до перевода в Петербург.

Последний портрет, об атрибуции которого я хочу рассказать, написан Д.Шараповым в 1913 г. Фото с него прислано мне при письме от 21 июня 1977 г. ныне покойным полковником И.П.Шинкаренко. На портрете изображен военный, сидящий за письменным столом, одетый в ментик, присвоенный только чинам постоянного состава Офицерской кавалерийской школы, с плечевыми шнурами, определяющими его чин генерал-майора. Написание портрета кавалерийского генерала в такой форме во время работы за письменным столом наводило на мысль, что передо мной инициатор издания и редактор журнала «Вестник русской конницы», выходившего с 1906 г., Дмитрий Петрович Багратион (1863–1923); последние годы жизни служивший в Высшей кавалерийской школе Красной армии. Сравнение черт лица, изображенного на портрете работы Д.Шарапова, с фотопортретом Д.П.Багратиона, хранящимся в частном собрании, окончательно убедило меня в правильности атрибуции.

О РАБОТАХ ЯНА ГЛАДЫША, ВЫПОЛНЕННЫХ В ПЕТЕРБУРГЕ В 1806-1807 гг.

В экспозиции Отдела русской культуры Эрмитажа, в зале, посвященном науке первой половины XIX в., выставлен портрет юного офицера — будущего крупнейшего картографа и почетного члена Петербургской Академии наук Федора Федоровича Шуберта (1789–1865). Он изображен в рост 3/4 влево, сидящим на камне, опершись спиной о ствол дерева, карандашом и листом бумаги в руках. Одет в мундир фрачного покроя, введенный в 1801 г., с высокой талией, узкими рукавами и подпиряющим уши воротником, украшенным золотым шитьем, присвоенным только Генеральному штабу (называвшемуся тогда Квартирмейстерской частью). На груди алеет эмалью и ленточкой с бантом орден Владимира IV степени. Белые суконные штаны и сапоги с узкими голенищами плотно облегают юношески тонкие ноги. На эфесе шпаги висит форменная трость. Портрет выполнен вполне умелой рукой — рисунок крепок, живопись свежа и правдива: юноша некрасив, но уверенно смотрит на зрителя, он деловит и скромно шеголеват. Фигура и лицо с живыми глазами и начесанными на лоб темнорусыми волосами написаны значительно лучше, чем листва, ствол дерева и камень, на котором сидит Шуберт.

Дата написания портрета легко определяется по прическе изображенного лица и по наличию трости. С июля по декабрь 1806 г. вышли приказы «обрезать косы под гребенку» различным категориям нижних чинов, офицерам же предоставлялось в отношении прически «поступать по своему произволу», а 10 марта 1807 г. отменено ношение тростей обер-офицерами, к числу которых, несомненно, принадлежал в то время Ф.Ф.Шуберт. За отвагу, проявленную 27 января 1807 г. в сражении при Прейсиш-Эйлау, тяжело раненный в грудь и левую руку юный подпоручик был награжден орденом Владимира IV степени с бантом и произведен в следующий чин. В госпитале в Инстербурге, близ Кенигсберга, он пролежал до июля, после чего был перевезен в Петербург, где долечивался еще несколько месяцев. Естественно предположить, что молодой офицер еще в Инстербурге получил орденский крест,



Ян Гладыш. Портрет
Фредерики Федоровны
Шуберт (в замужестве —
Лангсдорф)

который его отец — известный академик-астроном — мог без труда купить в Петербурге и переслать в госпиталь, но маловероятно, чтобы тяжело раненный Шуберт мог позировать художнику до середины марта 1807 г., на что указывает наличие запрещенной тогда трости. Вернее предположить, что портрет писан летом–осенью 1806 г. и орден, которым мог по праву гордиться юноша, приписан позже. Это предположение подтвердила экспертиза в лаборатории физических методов исследований Русского музея, произведенная 10 июля 1978 г. С.В.Римской-Корсаковой. Протокол этой экспертизы заканчивается следующим образом: «Под микроскопом заметно, что красные пигменты муаровой ленты имеют другой помол, нежели прочие красные детали портрета. Таким образом, вполне вероятно предположение, что орден был приписан позднее».



Ян Гладыш.
Портрет
Федора
Федоровича
Шуберта

Из подробного формулярного списка Ф.Ф.Шуберта и других источников известно, что весной 1805 г. он сопровождал своего отца-академика, возглавлявшего группу ученых в составе посольства графа Головкина, направленного в Китай. До Иркутска, откуда отец и сын Шуберты возвратились в Петербург, посольство двигалось все лето. В составе его находились три художника, один из которых — портретист И.П.Александров — известен нам по «портрету Вана, зятя китайского императора», хранящемуся в ГРМ. Было бы чрезвычайно соблазнительно приписать этому художнику портрет юного Шуберта, тем более что в пути он занимался съемками местности и записями астрономических и других наблюдений, за каковыми занятиями, очевидно, изображен на портрете, и, конечно, не носил при этом парадной формы — нарядного серебряного пояса-шарфа с кистями и белых перчаток. Чиновником посольства Головкина состоял известный Ф.Ф.Вигель, оставивший в своих записках характеристику отца и сына Шубертов, младшего из которых он называет «розовый, любезный, белокуренький мальчик <...> по квартирмейстерской части едва произведенный подпоручик». Разве не таким видим мы его на портрете в Эрмитаже?

Однако от гипотезы об авторстве Александрова пришлось отказаться. И не только потому, что сравнение с портретом Вана не дает убедительного сходства живописной манеры (хотя резко и не противоречит предположению), а потому, что едва ли подпоручик Шуберт, строгий службист, позволил бы себе летом 1805 г. позировать без пудры на волосах и укороченной косы, которые тогда предписывались всем офицерам. Что Шуберт был строгим службистом, свидетельствует хотя бы тот факт, что в его формулярном списке, составленном в 1844 г., когда он был уже генерал-лейтенантом, записано: «отпусков никогда не брал». Молодой офицер Шуберт с конца 1806 г. до весны 1814 г., за вычетом времени для лечения тяжелой раны, о которой мы говорили выше, почти непрерывно воевал с французами, шведами, турками и снова с французами, был еще два раза ранен, на свое счастье легко, не раз отличался в боях, но «отпусков никогда не брал» вплоть до 1846 г., хотя таковые полагались каждому офицеру, особенно в мирное время. Конечно, во время движения посольства он не пудрил волосы, но для портрета, на котором изображен со всеми атрибутами строевой формы вплоть до трости, конечно, сделал бы положенную приказами прическу.

Отказавшись от авторства Александрова, я обратился к вопросу, откуда поступил в Эрмитаж заинтересовавший меня портрет. Выяснилось, что в собрание историко-бытового отдела Русского музея, коллекции которого легли в основу Отдела русской культуры Эрмитажа, портрет Шуберта передан в 1929 г. из музея Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). Может быть, там, в старых документах разыщется что-либо, наводящее на имя автора? От заведующей фондами этого музея Е.А.Ковалевской я узнал, что портрет записан в 1919 г. в первом советском инвентаре музея как работа неизвестного мастера, а также что и сейчас собрание ИРЛИ обладает девятью портретами членов семьи Шубертов. Первым мне был показан портрет, как написано на обороте, Фредерики Федоровны Шуберт, т.е. сестры картографа. Сходство лиц оказалось очень велико, так же как общность живописной манеры и вероятная датировка по характеру туалета и прически. Следом за нею я увидел всю коллекцию, пять портретов из которой, рисованные пастелью, гуашью, акварелью и карандашом, явно были работами других мастеров, а три, писанные, так же как портрет Фредерики, маслом на жести и в одинаковом с ним небольшом формате, составляли единую родственную галерею. На двух изображены молодые девушки, имена которых значатся на оборотах портретов: Вильгельмина и Амалия (особенно похожая на брата). А на третьем две девочки: стоящая в рост Теодора и сидящая перед ней Шарлотта, которая держит в обеих руках лист бумаги, слегка приподняв к себе его верхний край. И на обращенной к зрителю части этого листа явственно читается надпись: *Gladysz posnanierii pinx: 1808.*

Кто же этот Гладыш из Познанского края, который писал пятерых дочерей академика Шуберта? (Словарь художников Тиме-Беккер сообщает, что Ян Гладыш, родившийся в 1762 г. около города Вольштына, первоначально деревенский кузнец, затем учившийся в Дрездене и Париже, с 1811 г. работал как портретист в Варшаве, где и умер 21 мая 1830 г. Место его жизни и деятельности с 1805 до 1811 г. неизвестно, как утверждают все просмотренные мной источники, вплоть до вышедшего в 1976 г. в Варшаве «*Malarstwa Polskiego*» Стефана Казакевича. В этой работе опубликован портрет лейб-гусара графа А. Любомирского, написанный в 1813 г., который отнюдь не противоречит по своей живописи публикуемому



Ян Гладыш. Портрет Вильгельмины Федоровны Шуберт



Ян Гладыш. Портрет Амалии Федоровны Шуберт

нами портретам Шубертов. Близок этот портрет к ним по небольшим размерам и подписан он «*Gladysz pinx: 1813*». Таким образом, очевидно, что если не все время с 1805 по 1811 г., то хотя бы часть этого срока Ян Гладыш провел в Петербурге. Весьма ограниченная в средствах семья академика-астронома, имевшего пять дочерей и сына – молодого офицера, которому он помогал деньгами, никуда из Петербурга не выезжала. По послужному списку отца семейства, составленному в 1824 г., у него не было городской недвижимости или поместья. А в одном из писем, посланных сыну в действующую армию в 1812 г., знаменитый ученый радуется выходу старшей дочери Фредерики замуж за состоятельного человека – русского генерального консула в Бразилии Лангсдорфа и пишет, что зять обещал ему в случае смерти позаботиться о бесприданницах-сестрах своей жены. Мы не знаем, заботился ли о них Лангсдорф, но собранные данные говорят, что все четыре дочери, портреты которых перед нами, одетые в почти одинаковые простенькие белые платья и цветные шали, так и остались незамужними. Причем Амалия прожила 81,5 года, а Вильгельмина 84,5 года, пережив брата-генерала.

Следует пожалеть, что мы не можем показать в цвете изображения девушек. Портреты как-то простодушно красивы и отлично передают внешность этих русоволосых и голубоглазых особ. Конечно, каждый заметит, что у трех старших руки от плеч до локтей несоразмерно длинны в угоду моде, что атрибуты каждой – рисунок, книга и поливаемый из кувшинчика цветок – наивны, но в портретах передан «дух времени» и очарование юности.

Тщательные поиски портрета отца семейства академика-астронома Федора Ивановича Шуберта работы Гладыша, предпринятые мною, не привели к находке. Портрет его в конференц-зале здания ленинградского отделения Академии наук жестоко пострадал когда-то и так записан, что руку мастера на нем не узнаешь. Но более ранний из трех известных нам литографированных портретов ученого, выполненный на камне Форлопом, по времени исполнения оригинала (возраст изображенного лица, прическа, фасон фрака) близок к 1808 г. и не противоречит манере Гладыша. А как жаль, что нашу публикацию мы не можем закончить живописным портретом этого, в свое время знаменитого ученого, автора 84 сочинений, многие из которых считались классическими. Ф.И.Шуберт, по справедливой оценке советского исследователя его деятельности Ф.А.Шибанова, «зря русского хлеба не ел». То же можно сказать о сыне-генерале, отдавшем русскому Генеральному штабу и русской картографии всю свою долгую жизнь.

В заключение отметим, что оба они сыграли заметную роль в развитии русского изобразительного искусства. Ф.И.Шуберт в 1816 г. создал первое в России литографское заведение при Военно-картографическом депо, явившееся школой русских литографов, а Ф.Ф.Шуберт в 1820 г. стал одним из самых деятельных создателей Общества поощрения художников в Петербурге, принимал в его работах самое горячее участие и не случайно был избран в 1843 г. почетным членом Академии художеств.



Ян Гладыш. Портрет Теодоры Федоровны Шарлотты Федоровны Шуберт. 1808

КТО ИЗОБРАЖЕН НА ДВУХ ПОРТРЕТАХ РАБОТЫ Б.-Ш. МИТУАРА

В собрании живописи отдела западноевропейского искусства Эрмитажа хранится погрудный портрет молодого офицера работы Б.-Ш. Митуара. До сих пор он значился как портрет неизвестного, принесенный в дар в 1935 г. лицом, чья фамилия в инвентаре не значится.

Приступая к определению оригинала этого портрета, я располагал следующими внешними данными. Возраст изображенного лица около 25–30 лет, одет в мундир с аксельбантами и шитьем на воротнике, присвоенном в августе 1815 г. адъютантам, числящимся в гвардейских частях. По штаб-офицерским «густым» эполетам перед нами полковник (в гвардии чинов майора и подполковника не существовало). На мундире изображены ордена: прусский *Pour le Merite* (на шее) и Владимир IV степени на груди. Если последний мог быть получен в мирное время, то первый раздавался прусским королем преимущественно в 1813–1814 гг. Отсутствие серебряной медали за 1812 г. говорит, что молодой полковник в этой кампании не участвовал, но не снимает возможности его службы в кампании 1813–1814 гг., ибо медаль «За взятие Парижа» была выдана только в 1826 г. Наконец, очевидное отсутствие острого угла наверху мундирного борта, под воротником, появившегося, судя по изображениям, к середине 1820-х годов, говорит об исполнении портрета в период с 1815 г. до этого времени.

Просматривая списки офицерского состава и выбирая из них соответствующих лиц, я остановился на Илье Гавриловиче Бибикове (1794–1867), произведенном в офицеры в 1812 г., но начинавшем боевую службу в 1813 г., получившем в первую кампанию орден Анны на шпагу (который мы не можем видеть) и *Pour le Merite*, а за штурм Парижа орден Владимира IV степени. В 1816 г., будучи капитаном гвардейской артиллерии, Бибиков был назначен адъютантом к вел. кн. Михаилу Павловичу, а в 1820 г. произведен в полковники.

Вооруженный этими сведениями, я начал перебирать разнообразные иллюстративные материалы, чтобы найти изображения Ильи Гавриловича и проверить физическое



Б.-Ш. Митуар. Портрет
И. Г. Бибикова

сходство. Упоминание двух таких в «Словаре русских литографированных портретов» позволило мне увидеть в отделе эстампов ГПБ портрет, относящийся к началу 1850-х годов, который, несмотря на разделяющие изображения четверть века (летом 1825 г. Бибиков был награжден Анной 2-й степени, а в 1826 г. украшен медалью «За Париж»), полностью убедил меня в тождестве лиц.

Биографические данные, собранные из родословных, официальных документов и мемуарной литературы, содержат следующие сведения о жизни этого человека. Если отец Ильи Гавриловича – Гавриил Ильич принадлежал к древней дворянской фамилии, но не занимал видного положения, то дядя Александр Ильич достиг чина генерал-аншефа, получил орден Андрея и умер в разгар войны с Гучачевым, а тетки – Евдокия Ильинична была замужем за президентом Адмиралтейств-коллегии адмиралом Иваном Логиновичем Голишиевым-Кутузовым и Екатерина Ильинична за победителем Наполеона фельдмаршалом Михаилом Илларионовичем Голишиевым-Смоленским. У Ильи Гавриловича было два старших брата: Дмитрий Гаврилович, молодым офицером потерявший руку при Бородине, позже – директор Департамента внешней торговли, генерал-губернатор в Киеве, наконец, министр внутренних дел в 1852–1855 гг., и второй брат – Павел, убитый в 1812 г. под Вильно.

Как и многие другие его современники, Илья Гаврилович в молодости был увлечен масонским движением и вступил в московскую ложу Тройственного благоговения. Когда в 1822 г. Александр I приказал закрыть все ложи, видя в них рассадник вольнодумства, и затем взять с офицеров подписку, что они не будут более посещать масонские собрания, то в составленном военным ведомством списке из 517 офицеров под № 137 значится полковник гвардейской артиллерии И. Г. Бибилов. Одновременно с масонством он был членом первой декабристской организации «Союз благоденствия», о чем дважды упомянул в излишне многословных показаниях следователям С. П. Трубецкой и в своих воспоминаниях «первый декабрист» В. Ф. Раевский. Другие декабристы, зная, что Бибиков уже несколько лет как отошел от движения, ни на следствии, ни после его не упоминали.

Однако конец 1825 и начало 1826 гг. были для Ильи Гавриловича отнюдь не спокойными. В записках его племянницы Е. Раевской мы находим чрезвычайно живую картину виденных ею в детстве тревог, охвативших московский дом ее бабушки Е. А. Бибиковой, где в декабре 1825 г. задержался из-за болезни находившийся в отпуску молодой полковник. Получаемые из Петербурга известия о восстании и последовавших за ним арестах многих друзей и знакомых нагнали страху на все семейство, в числе родственников которого были арестованные и позже осужденные М. М. Нарышкин, С. Г. Волконский, Е. П. Оболенский и В. М. Голицын. Любопытно отметить, что одновременно со сведениями об арестах родичей – членов Тайного общества несомненно достигло Москвы сообщение и о том, что другого родственника, также гвардии полковника, царского флигель-адъютанта Иллариона Михайловича Бибилова, посланного Николаем I остановить шедший на площадь Гвардейский экипаж, восставшие солдаты жестоко избили прикладами. А ведь этот Илларион Бибиков был женат на Екатерине Ивановне Муравьевой-Апостол, любимой сестре трех декабристов – участников восстания Черниговского полка, один из которых застрелился 3 января 1826 г., другой через полгода был казнен,



С. Смуглевич.
И. Г. Бибикова

а третий приговорен к каторге. Короче говоря, Илья Гаврилович Бибииков случайно, из-за нездоровья, задержавшийся в отпуску в Москве, в декабре 1825 г. равно мог представлять себя или арестованным за принадлежность к Тайному обществу, или посланным своим патроном вел. кн. Михаилом с поручением воздействовать на восставших и пострадавших за это, подобно Иллариону Бибиикову. Справедливо утверждает профессор Ю.М.Лотман: «Знаменательно, что родственно-приятельские отношения... связывали декабристов не только с друзьями, но и с противниками».

Опасения Ильи Гавриловича за свою судьбу оказались напрасными. Возвратившись в Петербург, он продолжал служить адъютантом при великом князе, в 1828 г. был произведен в генерал-майоры, участвовал в войнах 1828–1829 и 1831 гг., командовал гвардейской артиллерией, затем руководил перевооружением пехоты новыми ружьями и штуцерами и в 1850–1855 гг. состоял Виленским военным губернатором.

Будучи женат на Варваре Петровне Мятлевой, младшей сестре известного поэта Ивана Петровича Мятлева, приятеля Пушкина, Жуковского, Вяземского и Лермонтова, Бибииков, конечно, был также хорошо знаком с этими избранными представителями русской литературы. Являясь двоюродным братом столь преданной Пушкину Елизаветы Михайловны Хитрово и дядей ее дочери Долли Фикельмон, Илья Гаврилович и в их доме должен был, несомненно, не раз встречаться с Пушкиным.

Второй портрет, с которым мы хотим познакомить читателя, находится в Павловском дворце-музее и был экспонирован как изображение неизвестного на выставке «Костюм и портрет» в 1964–1974 гг.

Перед нами молодой человек в чиновничьем вицмундирном фраке с гербовыми пуговицами и медалью за русско-турецкую войну 1828–1829 гг. в петлице. Узнать имя изображенного лица оказалось очень просто. Как значится в инвентарной записи музея, портрет происходит из собрания П.П.Дурново (1835–1919) в Петрограде. Биографические данные о Петре Павловиче Дурново позволили установить, что перед нами портрет его отца Павла Дмитриевича (1804–1864), участника войны 1828–1829 гг., несколько лет после нее не имевшего никакой награды, кроме упомянутой медали.

На этом определении оригинала еще одной работы Митуара можно было бы и поставить точку, но знакомство с архивом Павла Дмитриевича, а затем с мемуарами и другими источниками раскрыло, как нам показалось, любопытные подробности биографии этого лица.

Фамилия Дурново производила себя от баснословного «мужа честного Индриса», выехавшего из Германии в Россию в середине XIV в., от которого произошли Толстые, Молчановы, Дурново и Васильчиковы. Отец Павла Дмитриевича был обер-гофмаршалом двора в чине тайного советника, мать – урожденная Демидова, правнучка тульского и уральского заводчика Никиты. Чете Дурново принадлежало семь тысяч душ крестьян, земли в нескольких губерниях, заводы на Урале, особняк на Английской набережной в Петербурге и доньяне сохранившаяся каменная дача на Выборгской стороне с большим парком.

К юности Павла Дмитриевича из детей этой четы в живых осталось только два сына – он и старший, Николай Дмитриевич, родившийся в 1792 г. Начало их служебной дороги столь различно, что сразу возбудило мое внимание. Старший брат начал военную службу колоновожатым, т. е. в Генеральном штабе, куда принимали наиболее образованных представителей дворянской молодежи. Участвуя в кампаниях 1812–1814 гг., Николай Дмитриевич заслужил репутацию храброго офицера, получил несколько русских, а также иностранных орденов, чины вплоть до штабс-капитана, в 1815 г. был назначен флигель-адъютантом Александра I, а в 1819 г. произведен в полковники. Словом, старший брат делал блестящую карьеру. Совершенно иначе началась служба младшего. В 1820 г. 16-летним юношей его отправили в глухое местечко Могилевской губернии и зачислили юнкером в армейский пехот-

ный (карабинерный) полк. Надо сказать, что такое начало службы для родовитого дворянина, почти отрока в то время являлось весьма редким. Обычным было поступление в одну из прославленных столетней боевой историей гвардейских частей, квартировавших в столице, и скорое производство здесь в офицеры после «узнания строя». Не следует ли приписать такое суровое обращение с юношей какой-то его провинности или по крайней мере непокорству в чем-то воле родителей? В Могилевском захолустье Павел Дмитриевич прослужил полтора года, был произведен в прапорщики и состоял батальонным адъютантом в местечке Дубровна, что указывает на его лучшее образование по сравнению с другими армейскими офицерами. Скажем попутно, что в последующей аттестации говорится, что он «знает языки французский, немецкий, итальянский и часть математических наук».

В 1822 г. 18-летний прапорщик переводится в Петербург в лейб-гвардии Павловский полк. Часть эта в то время по составу офицеров была отнюдь не аристократической. Причисленный за боевые заслуги в 1813 г. к так называемой «молодой гвардии», имевшей преимущество одного офицерского чина над армейскими, в то время как старая гвардия считалась «старше» их на два чина, Павловский полк еще только обосновывался в Петербурге. К 1822 г. едва закончилась перестройка В.П.Стасовым его казарм на Марсовом поле из старого здания ломбарда, и командиры полка, «улучшая вид фрунта», начали отсылать в армейские полки недостаточно высоких и видных гренадеров, несмотря на их боевые заслуги. Общее увлечение плащ-парадной муштрой было в полку в особом почете. Но и здесь Дурново вскоре назначен адъютантом командира бригады, в которую входил Павловский полк, генерала А.И.Бистрома 2-го, известного крайней взыскательностью по строевой части и тем, что своими резкими выпадами выжил из полка немало боевых офицеров, не имевших к тому же средств служить в столице. В числе перешедших в полк из старой гвардии были два брата Евгений и Константин Оболенские. По службе в полку и по должности бригадного адъютанта Дурново был в постоянном общении с братьями Оболенскими – будущий командующий декабристами на Сенатской площади князь Евгений Петрович Оболенский в это время уже состоял адъютантом начальника той же дивизии генерала К.И.Бистрома 1-го. Не случайно в позднейшем дневнике ставший уже сановником Дурново, не упоминая прямо Евгения, горюет о смерти «старого товарища по полку», брата «изгнанника» Константина Петровича, к слову скажем, также вышедшего с января по июнь 1826 г. в крепости.

Роль Павловского полка в событиях, связанных с восстанием декабристов, едва ли не самая активная из всех правительственных войск. Поставленные Николаем в начале Галерной улицы, павловцы встретили штыками бегущих с площади солдат восставших частей, и 30 чинов Павловского полка было ранено картечью, предназначенной бунтовщикам. Затем павловцы были заняты поимкой беглецов, спрятавшихся в соседних дворах и сараях. Результатом был арест более ста человек. А ночью под руководством присланного из дворца князя Голицына павловцы обыскивали дом графа Лавая, где жил неудачный диктатор восстания С.П.Трубецкой, и взламывали штыками ящики столов, от которых не находилось ключей.



Б.-Ш. Митуар.
Портрет П.П.Д.

Мы не знаем, где 14 декабря находился подпоручик Дурново, но через месяц, 13 января, он «по болезни уволен в отставку без награждения чином». Подача прошения об отставке – шаг для того времени смелый, который, несомненно, обратил на себя внимание начальства и самого Николая I. Если приказ об отставке состоялся 12 января, то прошение о ней было подано, конечно, несколько раньше. Что же было причиной такого решения? Может быть, роль Павловского полка в декабрьские дни и перспектива дальнейшего общения с его офицерами, а в штабе гвардейской пехоты с продолжавшим службу там донесшим на декабристов Я.И.Ростовцевым?

Павловский полк и дальше играл не последнюю скрипку в несении караулов в крепости и, особенно, в роковой день 13 июля. Взвод именно этого полка окружал пятерых смертников, когда их на заре вели к эшафоту, в каре Павловского полка происходила «гражданская казнь», т.е. обряд «лишения дворянства» и сожжение мундиров декабристов, осужденных на каторгу.

Отметим, что старший брат – Н.Д.Дурново 14 декабря находился весь день рядом с Николаем I, сопровождал царя на площади, именно ему было доверено арестовать К.Ф.Рылеева, а через несколько дней он же привез в крепость М.Ф.Орлова. В январе–феврале 1826 г. Н.Д.Дурново с генерал-адъютантом Демидовым был командирован в Киев для расследования о тайных обществах на юге и просмотра оставленных там бумаг арестованного Трубещкого. Судя по всему Н.Д.Дурново в это время активно действует по воле верховного следователя – императора. Но никаких наград за 14 декабря он не получил и в 1828 г. занимал более чем скромное место инспектора дома Главного штаба. Позволительно думать, что участие во всем, связанном со следствием по делу декабристов, было не по душе Н.Д.Дурново – члену преддекабристской тайной организации «Рыцарство» и доброму знакомцу многих старших представителей революционного движения 1820-х годов. Ю.М.Лотман утверждает, что Дурново, «видимо, уклонялся от высочайших милостей». Может быть, правильней было бы выразиться, что вообще чуждый искательства, он знал I; тому же, что самое отдаленное участие даже в умеренно либеральных тайных обществах крепко запомнилось Николаем I. Служебное продвижение Н.Д.Дурново приостановилось. Полковником он пробыв 9 лет, до весны 1828 г., когда был произведен в генерал-майоры, причем не оставлен в свите Николая I, что являлось уже явным знаком немилости, а получил в командование армейскую пехотную бригаду, во главе которой был убит под крепостью Варна 18 сентября того же года.

Но возвратимся к судьбе младшего брата. Прожив без службы полтора года, он вновь зачислен в июле 1827 г. в тот же Павловский полк, но не в строй, а в качестве адъютанта на этот раз к генералу от инфантерии Ф.Ф.Довре. Это был образованный француз, полвека прослуживший в России, отличившийся как военный инженер, топограф и опытный штабной работник. В турецкую войну 1828–1829 гг., на которую за ним отправился П.Д.Дурново, генерал был начальником штаба главнокомандующего П.Х.Витгенштейна, затем командовал корпусом.

С ним Дурново побывал в боях под Браиловым, под Шумлой, во многих рекогносцировках и при отбитии редута под Силистрией.

Дovre принадлежит своеобразный «кондуит о службе и достоинстве» его адъютанта, сохранившийся в архиве П.Д.Дурново. На вопрос: «Каково ведет себя на службе?» – генерал ответил: «Очень хорошо». На вопрос: «Каков в хозяйстве?» – «Хорошо». И на вопрос: «Не предан ли пьянству или игре?» – отвечено: «Ненавидит».

Возвратившись в Петербург, Павел Дмитриевич был награжден за войну одной медалью, выдаваемой всем ее участникам, и вскоре снова подал в отставку. На этот раз она формулирована в приказе: «По болезни для определения к статским делам с повышением в чине». Итак, он гвардии поручик в отставке и за смертью холостого брата единственный наследник большого состояния. Родители еще живы,

отца на трехлетие 1830–1833 гг. избирают Петербургским губернским предводителем дворянства, он награжден звездой Александра Невского.

В январе 1830 г. П.Д.Дурново зачислен чиновником особых поручений при министре А.А.Закревском и 21 апреля того года получает придворное звание камер-юнкера. В этом году, очевидно, и написан портрет работы Митуара. Впервые, только в 1830 г. были выданы медали за войну, оконченную предыдущей осенью, во-вторых, Дурново уже одет в чиновничий вишмундир с пуговицами, украшенными государственным гербом, которые так тщательно выписаны на портрете. Вольнодумные связи юности тускнеют под влиянием новых, уверенно делаемых в «высшем свете». В июле 1831 г. Дурново женится на богатой невесте – дочери министра двора княжне Александре Петровне Волконской (она же с материнской стороны племянница декабриста Г.Г.Волконского). Об этой великосветской свадьбе петербургский вестовщик почт-директор К.Я.Булгаков писал своему корреспонденту, что невеста ехала от венца «залитая бриллиантами».

А дальше?.. Теперь путь П.Д.Дурново укатан и легок. Нетрудная служба вначале при Закревском, потом советником Военного министерства, потом в Государственном контроле, где Дурново в зрелые годы занимает несколько лет пост главного контролера морских отчетов.

Состояние его, увеличенное благодаря приданому невесты, – девять тысяч мужских крепостных душ, единственный сын – камер-паж, потом офицер Кавалергардского полка. Идут чины до тайного советника, идут придворные звания – камергера, шталмейстера, гофмейстера, он получает орденскую звезду за звездой и все чаще ездит за границу для лечения то на месяцы, а то и на год. А между светской суетой заботится о незаконной дочери, прижитой до брака, участвует в заседаниях Общества поощрения художников, состоит старшиной Английского клуба, членом благотворительных обществ, отдает на выставки в Академии художеств картины и «редкие предметы» из своих коллекций.

Вот, что мы знаем об этом знакомце декабристов, который в своем дневнике, хранящемся в ИРЛИ и ныне частично опубликованном Р.Е.Теребениной, не раз касается близко известной ему литературной жизни русской столицы 1830–1840-х годов.

Наконец, несколько слов о художнике, писавшем оба упомянутых нами портрета, о Бенуа-Шарле Митуаре. Литература о нем до крайности скудна. Известны даже основные даты его жизни – где и когда он родился, получил художественное образование, умер. Знаем только, что художник приехал из Парижа и первый известный портрет его работы относится к 1801 г., что в 1806 г. перешел в русское подданство, осенью 1813 г. получил звание академика Петербургской Академии художеств за портрет профессора класса скульптуры Ф.Ф.Шедрина, наконец, что в 1818 г. на аукционе, вместе с работами других художников, продавались его карикатуры.

О Митуаре не написано ни одной отдельной статьи; заметки в Словаре художников, упоминания в обзорах деятельности иностранцев – и только.

Самое пространное из этих упоминаний, с общим развязно-пренебрежительным тоном которого нам трудно согласиться, признает, однако, Митуара «поэтом своего времени», глядя на работы которого «чувствуешь и понимаешь эпоху „Войны и мира“». А через несколько строк, после перечисления многих известных автору портретов работы Митуара, добавлено: «Несомненно.., что все они ясно и выразительно представляют всю душу своего времени и „настроение эпохи“».

Пусть же впервые публикуемые нами портреты дополняют галерею современников 1812 и 1825 гг., несомненных знакомцев декабристов, Пушкина и Лермонтова, что уже придает им особое значение. Одновременно второй из портретов, созданный не ранее 1830 г., дает новую хронологическую веху в творчестве Митуара.

БЫЛИ ОФИЦЕР ПЕТЯ РОСТОВ ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПО ВОЗРАСТУ?

Великий талант Л.Н.Толстого заставляет каждого читателя не только навсегда запомнить главных, второстепенных и составляющих как бы фон действующих лиц его романов, но сопереживать все происходящее с ними. Кто не помнит патристического порыва Пети Ростова в июле 1812 года, решившего наперекор воле родителей уйти воевать с французами? При нашей встрече с Петей в этом третьем томе романа Толстой обрисовывает его наружность такими словами: «...теперь красивый, румяный пятнадцатилетний мальчик». И таким же мальчиком Петя остается в нашем сознании, когда через три месяца, приехав в партизанский отряд Денисова-Долохова, гибнет во втором своем бою от пули французского стрелка.

Мы – участники или современники великой борьбы советского народа с фашизмом – привыкли к мысли, что самые молодые лейтенанты в 1941–1945 годах имели от роду не менее 18–19 лет, и потому пятнадцатилетний прапорщик Петя Ростов впечатляет и трогает нас не только благодаря гениальности, с которой создан его образ, но и своим возрастом, тем, что он наивный и добрый мальчик, каким навсегда останется в нашем сознании.

Однако был ли пятнадцатилетний прапорщик редким явлением в первой четверти XIX века? Вспомним написанное Пушкиным в повести «Метель»: «Между тем война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу... Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами».

Для тех, кто занимается историей России начала XIX века, эти строки гениального Пушкина являются кратким, но точным свидетельством того, что он видел, характеристикой тех, с кем общался, – братьев Н.Н. и А.Н.Раевских, П.Я.Чаадаева, И.П.Липранди, П.И.Пестеля и многих других, ушедших «почти отроками» и возвратившихся овеянными славой побед.



Неизвестный художник. Портрет Пети Ростова

Изучение вопроса о возрасте младшего офицерского состава времен наполеоновских войн 1805–1814 гг. (называвшегося тогда обер-офицерами), даже не прибегая к архивам, дает достаточно точный и богатый материал.

Поручик Сухтелен, который в последней главе первого тома «Войны и мира» отвечает Наполеону словами: «Молодость не мешает быть храбрым», – получил первый офицерский чин четырнадцати лет и одного месяца от роду. В этом же возрасте произведен в прапорщики за отличие в Бородинском бою будущий учредитель премий Академии наук П.Н.Демидов. Автор редкостно правдивых и точных мемуаров о войне 1812–1814 гг. Н.Н.Муравьев-Карский упоминает в них героя битвы под Бауценом четырнадцатилетнего артиллерийского офицера Андреева и корнета Ахтырского гусарского полка Баруэля того же возраста. В одной из своих записных книжек П.А.Вяземский останавливается на оригинальной личности близкого варшавского знакомого П.И.Апраксина, которому при производстве в офицеры было тоже 14 лет.

К ровесникам Пети Ростова – пятнадцатилетним подлинно боевым прапорщиком и корнетам – принадлежали будущий вожь южных декабристов С.И.Муравьев-Апостол, приятель Пушкина А.Н.Раевский, брат декабриста В.И.Пестель, будущий почетный член Академии наук известный картограф Ф.Ф.Шуберт, член Союза благоденствия Л.А.Челишев, удаленный со службы за связь с декабристами П.А.Веселовский и многие другие.

Шестнадцать лет стал офицером будущий декабрист И.Д.Якушкин, до этого окончивший Московский университет и в чине подпрапорщика Семеновского полка награжденный за Бородино солдатским крестом Георгия. Тот же возраст при производстве в офицеры имели гостеприимно принявший Пушкина в Оренбурге В.А.Перовский, упомянутый выше Н.Н.Муравьев-Карский, брат поэта-партизана Евд.В.Давыдов, его родич – будущий декабрист В.А.Давыдов, В.И.Гурко (отец фельдмаршала), кавалергардские корнеты С.В.Шереметев, М.К.Розен, М.П.Глебов. И снова добавим: и кроме них еще многие, многие другие.

Среди семнадцатилетних офицеров упомянем отца Л.Н.Толстого – Николая Ильича, в значительной мере послужившего прототипом Николая Ростова: будущих декабристов В.Ф.Раевского, М.А.Фонвизина, Н.И.Лорера, М.М.Нарышкина, а также А.С.Грибоедова, окончившего до этого два факультета Московского университета, и его друга С.Н.Бегичева. Список офицеров этого возраста поистине мог бы занять многие страницы.

Отметим при этом, что окончившие военное образование в Пажеском или кадетских корпусах, как правило, получали первый офицерский чин позже тех, кто начинал службу в строевых частях на полях сражений. Так, П.И.Пестель, прекрасно окончивший Пажеский корпус (с занесением его имени на разбитую в 1826 году мраморную доску), получил чин прапорщика гвардии в 18 лет, К.Ф.Рылеев выпущен в этом же возрасте из 1-го кадетского корпуса в конную артиллерию.

Для наших изысканий весьма показательны данные, которые сообщают написанные по поручению временщика Аракчеева генералом Б.Я.Княжнинным «Биографии офицеров гренадерского графа Аракчеева полка, положивших живот свой...



Неизвестный художник. Портрет офицера Семеновского полка



в сражениях 1812, 13 и 14 гг.». Носящая такое заглавие книга представляет подлинную библиографическую редкость. Она издана в Петербурге в 1816 году и не поступала в продажу, а раздавалась бесплатно почетным посетителям собора села Грузино. Здесь Аракчеевым был сооружен пышный памятник убитым в боях и умершим от ран чинам его подшефного полка. Памятник этот – золоченый барельеф на фоне плиты коричневой яшмы – погиб, как и вся усадьба-музей, в 1942–1944 годах во время боев на реке Волхов. В упомянутом нами редком издании помещено 13 биографий офицеров. Из них в прапорщики 16 лет от роду произведены двое, 17 лет – один, 18 лет – двое, 19 лет – двое, 20 лет – двое, 21 года – двое и один – 33 лет, после долголетней службы в гвардии солдатом, унтером и фельдфебелем. Отметим, что пять из убитых офицеров, получивших образование в кадетских корпусах, стали прапорщиками не ранее 18 лет, а шестнадцати-семнадцатилетние надели эполеты на службе в полку, куда определились и прослужили разные сроки подпрапорщиками, то есть кандидатами на офицерский чин.

Если эти цифры в какой-то мере характерны для армейского пехотного полка, в котором «тянули ляжку» мелкопоместные дворяне и куда перевели в их среду недавнего гвардейского унтера, то нам кажется интересным сопоставить с ними данные о получении первого чина генерал-адъютантами Александром I, то есть представителями аристократических или богатых дворянских семей. Разумеется, мы при этом не учитывали тех, кто по традиции, восходящей к XVIII веку, получал чины в детском возрасте, а пишем только о начавших юношами настоящую строевую и боевую службу. Старший брат декабриста С.Г.Волконского – Н.Г.Репнин-Волконский стал офицером в 14 лет, будущий герой Бородина, командир гвардейского Измайловского полка М.Е.Храповицкий – в 15 лет, будущий фельдмаршал И.И.Дибич – в 16 лет, будущий председатель Государственного совета И.В.Васильчиков и несколько других – в 17 лет.

Таким образом, для армейских частей и для богатых гвардейцев, к которым относились почти все генерал-адъютанты в начале службы, возможный возраст получения первого офицерского чина в эпоху войн с наполеоновской Францией начинался с 14–16 лет.

Какова же была внешность этих юных офицеров, «почти отроков»? Музейные собрания нашей страны сохранили множество портретов участников сражений

под Аустерлицем и Прейсиш-Эйлау, Бородино, Лейпцигом и Парижем, портретов тех, о ком писали Пушкин и Толстой. В виде иллюстрации в этой статье помещаем доселе не опубликованные пять портретов из собрания Отдела истории русской культуры Эрмитажа. Художественные качества их весьма различны, но, как нам кажется, они выразительны и достойно представляют разнообразные типы юных офицеров.

Первым, не по времени создания, а по тематике нашей статьи, помещаем портрет, уже много лет носящий в кругу работников Эрмитажа имя Пети Ростова. Перед нами подросток, одетый в черную форму казачьего покроя с обер-офицерскими золотыми эполетами. Он в полной боевой готовности – с лядункой через плечо, снабженной шомполом и двумя шпильками – «протравниками» на цепочках (служившими для прочистки пистолетного механизма), левая рука опирается на саблю с офицерским темляком. Полка ополченских казаков Оболенского, в который у Толстого вступает Петя Ростов, в действительности не существовало. Изображенная на портрете форма наиболее близка к обмундированию конного полка Тульского ополчения, сформированного в 1812 году.

Портрет написан наивно, но по-своему выразителен. Автор его передал трогательный образ отрока, почти мальчика. Плечи его еще так узки, что «шейки» эполет пришлось задрать на стоячий воротник чекменя (казачьего мундира). Почти детское лицо юного офицера серьезно, даже грустно. Нежный овал его подчеркивает грубая медная чешуя подбородного ремня высокой меховой шапки. Чуть выпущенные из-за воротника чекменя белые воротнички напоминают нам те, которые так старательно, «по-взрослому», устраивал Петя Ростов утром 13 июля 1812 года, собираясь на площадь в Кремле, где хотел просить какого-нибудь камергера о зачислении в армию.

Следующий из публикуемых нами портретов написан на пять-семь лет раньше. Перед нами изображение юного офицера гвардейского Семеновского полка (только одной этой части было присвоено такое шитье на воротнике) и с пудренным «тупеем». Время написания портрета, казалось бы, легко определить: с осени 1807 года отменено пудрение волос «кроме больших парадов и высочайших выходов», то есть оно в обычном быту и на балах стало уже не модным, и 17 сентября того же года в форму русских офицеров введены эполеты: для гвардейских пехотинцев, в том числе семеновцев, – один на левом плече, а на правом оставался введенный еще в 1802 году аксельбант. Но именно эполет, нарочито вывернутый на зрителя и делающий левое плечо гораздо более высоким, чем отрочески покатоое правое, и навел нас на мысль, что портрет написан ранее 1807 года. Явно «приписана» и тоненькая пряжка с миниатюрным изображением награжденной золотой шпаги, сквозь подложенную под пряжку георгиевскую ленточку отчетливо видны написанные ранее пуговицы меньшего размера, чем та, что на эполете. Просвещение портрета в лаборатории физических исследований Эрмитажа подтвердило наше предположение: левое плечо сначала было написано без эполета, который переписывали потом два раза, – сначала он был еще больше сдвинут вперед.

Когда же этот юноша побывал в бою и заслужил свою золотую шпагу? Обратившись к архиву Капитула орденов, узнаем, что весной 1806 года за храбрость, проявленную в минувшую войну с французами, золотыми шпагами были награждены четыре офицера Семеновского полка. Облик двоих – Кайсарова и Постникова, получивших генеральские чины в 1812–1813 годах, запечатлен в портретах Военного дворца и совершенно не похож на юношу с пудренным тупеем. Третий – капитан Шнейдер – не значится в числе офицеров полка и, вероятно, как семеновец занесен в список, хранящийся в архиве, по ошибке. Остается поручик Павел Гаврилович Бибилов, служивший в Семеновском полку с 1804 года и с 1805 года состоявший адъютантом М.И.Кутузова, женатого на его тетке. Отличившись под Аустерлицем и в русско-турецкую войну 1810–1811 годов,

он умер от раны, полученной в декабре 1812 года под Вильно уже в чине подполковника Ольвиопольского гусарского полка – П.Г.Бибиков родился в 1786 году и в 1804–1805 гг., когда писался портрет, был очень молод.

Третьим по времени исполнения является портрет И.С.Храповицкого, который шестнадцатилетним чиновником Коллегии иностранных дел перешел юнкером в Кавалергардский полк, где через год произведен в корнеты. Миниатюрный крест ордена Анны 3-й степени, помещенный в «пряжке», получен Храповицким за бой под Аустерлицем. В этот день кавалергарды прославились сокрушительной атакой на французскую кавалерию, как описано в «Войне и мире», едва не смявшей скакавшего с донесением наперерез их движению Николая Ростова. Одет Храповицкий в красный «праздничный» мундир своего полка, под левой рукой держит шляпу с белым султаном из петушиных перьев. Лицо грубоватое, мужественное, бездумное, накрепко подпертое под самые уши высоким воротником мундира и черным тугим галстуком, охватывающим горло. Но из-за борта мундира, явно отступая от формы, выпущена плойка шегольской сорочки. Над верхней губой курчавого брюнета обозначаются тщательно выбритые усы. Их надлежало в те годы ежедневно брить офицерам всех родов войск, кроме улан, гусар и казаков. В записках декабриста С.Г.Волконского рассказано, как, несясь в 1811 году курьером с боевыми трофеями из Дунайской армии в Петербург, он отрастил было усы, но, подъезжая к столице, между Павловском и Царским Селом встретил коляску с великими князьями Николаем и Михаилом (15 и 13 лет), заметившими это «нарушение формы». И хотя перед въездом в Петербург Волконский сбрил незаконное украшение своего лица, но при первой же встрече будущий император сделал ему замечание. Отметим, что в 1804–1810 гг., когда Храповицкий служил в Кавалергардском полку, его сотоварищами являлись будущие декабристы М.С.Лунин, М.Ф.Орлов, С.Г.Волконский.

Более высокими качествами живописи отличается портрет юного офицера Александрийского гусарского полка – единственного имевшего черненький доломан (гусарский мундир) с серебряными шнурами и красным воротником. Здесь мы так уверенно говорим о юности потому, что этот гусарский офицер еще не имеет и намека на усы, которые, конечно, холил бы как мог и просил бы художника их запечатлеть. Вспомним, как, подъезжая вместе с Денисовым к родительскому дому в первый свой отпуск, семнадцати-восемнадцатилетний корнет Николай Ростов с гордостью ощупывает «новые усы». Однако, несмотря на юность, оригинал нашего портрета уже побывал «в огне» – на груди его орден Владимира IV степени с бантом, даваемый тогда только за боевые отличия. Датировать портрет следует 1810–1813 гг. В 1810 году Александрийский полк участвовал в боях у Рушук и Батина на Дунае. Возможно, портрет выполнен в отпуске после этой кампании. Затем, хотя в начале 1812 года был издан приказ о застегивании воротников форменной одежды на крючки, но в условиях вскоре начавшейся войны это правило не строго выполнялось и портрет мог быть написан в 1812–1813 гг., но не позже 1814 г., когда была роздана медаль за участие в кампании 1812 года. Открытое юношеское лицо, так же как серебряный убор его доломана и перевязь лядушки, написано свободной, умелой рукой. Выражение лица спокойное, чуть задумчивое – впереди еще бои и бои. Александрийский полк особенно отличился в 1813–1814 годах в битвах под Дрезденом и Бриенном.

Портрет, которым заканчивается эта статья, изображает военного инженера – участника войны 1812–1814 годов. Портрет исполнен после июля 1817 года, когда вместо двубортных мундиров (с двумя рядами по шесть пуговиц) этому роду войск присвоены однобортные мундиры на восемь пуговиц. Чин изображенного лица определить невозможно, так как вплоть до 1827 года, когда были введены звездочки, эполеты были одинаковыми у всех обер-офицеров от прапорщика до капитана. Однако, скорее всего, перед нами старший из них – инженер-капитан, судя по

орденам, говорящим о пройденном боевом пути. На груди его орден Владимира IV степени с бантом, серебряная медаль за 1812 год, пряжка с изображением награжденной анненской шпаги и на шее прусский орден Pour le Merite.

Вот мы и встретились с одним из тех, кто, как сказано в «Метели», уйдя на войну «почти отроком», возвратился, «возмужав на бранном воздухе, обвешанный крестами». При этом надо помнить, что военному инженеру (не следует смешивать с офицерами инженерных войск – саперами и пионерами) боевые награды, как правило, доставались труднее, чем строевым, особенно гвардейцам. Назначение военных инженеров заключалось в проектировании и постройке крепостей, а также в техническом руководстве осадой и штурмом неприятельских долговременных укреплений. Последняя деятельность выпала на долю русских военных инженеров особенно часто в 1813–1814 гг. при обложении ряда крепостей, занятых французскими гарнизонами (Замостье, Модлин, Торн, Глогау, Данциг, Гамбург и др.).

Публикуя этот портрет, нам хотелось бы обратить особое внимание читателей на выражение лица молодого офицера, полное раздумья и отнюдь не веселое, хотя «война со славой окончена» сравнительно недавно и он завидно награжден орденами. Следует помнить, что портрет писан в период жесточайшей политической реакции, отразившейся в военном деле расцветом фрунтонии, жестоким обращением с солдатами – недавними героями Бородина и Лейпцига – и забвением всего, чему, казалось, учили недавние походы и сражения. Касаясь же специально военно-инженерного дела, отметим, что в 1817 году генерал-инспектором этой области военного управления назначен будущий Николай I, сам называвший свое образование «скудным», но великий формалист и до крайности грубый с подчиненными. Действительность толкала многих офицеров на невеселые размышления. Уже зародились первые тайные политические общества – предшественники создания Северного и Южного обществ декабристов. Для мыслящих людей целая пропасть лежала между недавним прошлым, когда они защищали свою родину и освобождали народы Европы от ига Наполеона и мрачной русской крепостнической действительности.

Хотя среди декабристов не было ни одного военного инженера, нам хотелось бы передать читателю свое ощущение, что этот портрет, имя оригинала которого пока не удалось определить, принадлежит к числу изображений, запечатлевших преддекабристское мироощущение недавних участников походов 1812–1814 гг.



Неизвестный художник.
Портрет офицера Александрийского гусарского полка

КТО ИЗОБРАЖЕН НА ЧЕТЫРЕХ РИСУНКАХ КИПРЕНСКОГО

Среди портретных рисунков О.А.Кипренского многие считаются изображениями неизвестных. Однако в некоторых случаях есть возможность установить, чей облик они передают.

Во многих изданиях воспроизведен хранящийся в Русском музее портрет «неизвестного военного врача», датированный 1812 г. Это погрудное изображение немолодого человека в трехчетвертном повороте влево. Воротник его однобортного мундира имеет шитье, присвоенное приказом 4 августа 1805 г. военно-медицинским чиновникам 1-го разряда, т.е. соответствующим по табели о рангах генеральским чинам. На левой стороне груди видна небрежно набросанная Кипренским орденская звезда. Мы знаем, что до 17 ноября 1831 г., когда польский орден Станислава был присоединен к русским орденам, младшей из носимых на левой стороне груди была звезда ордена Владимира 2-й степени (получаемая раньше ее звезда Анны 1-й степени носилась на правой стороне груди). Многие ли русские врачи имели в 1812 г. такую высокую награду, какой являлся орден Владимира 2-й степени? Точный ответ дает выходящий с 1809 г. «Российский медицинский список». В нем сообщалось о должностях, чинах и орденах всех врачей, имевших право медицинской практики в России. На 1812 г. в «Списке», напечатанном, естественно, по данным конца 1811 г., не значится ни один медик – кавалер ордена Владимира 2-й степени. А в «Списке»



О.Кипренский. Доктор Вилие



Е.Эстеррейх. Портрет доктора Вилие

1813 г. упоминается «главный инспектор медицинской части по армии, действительный статский советник Яков Вилие», получивший названный орден 22 сентября 1812 г. Он был первым кавалером Владимира 2-й степени среди медиков. Отметим, что следующий награжденный этим орденом врач появляется в «Списке» только в 1816 г.

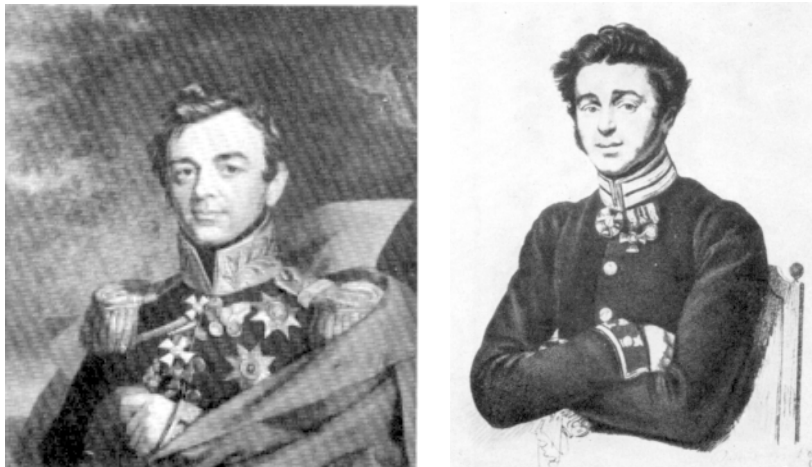
Сравнивая рисунок Кипренского с портретом Я.В.Вилие работы Е.Эстеррейха, литографированным в 1824 г., можно, как нам кажется, по несомненному сходству портретируемых считать, что Кипренский в 1812 г. рисовал именно этого военного медика, и одновременно уточнить датировку изображения октябрем-декабром этого года.

Обратимся затем к воспроизведенным в работе Г.Поспелова трем изображениям «неизвестных военных» с пометкой Rota 1819. Очевидно, в этом году в Риме находилось несколько русских военных чинов, официальное положение которых давало право ношения форменной одежды за границей. Таким лицом прежде всего мог оказаться русский посол: многие русские дипломаты были генералами. Но мы знаем, что в 1819 г. этот пост занимал мещанат и коллекционер А.Я.Италинский, запечатленный Кипренским в том же году в парадном дипломатическом мундире. Кто же эти трое военных? Исследователи творчества Кипренского подсказывают путь розыска, упоминая, что в 1819 г. в Риме выполнен карандашный портрет вел. князя Михаила Павловича. Знакомясь с биографией вел. князя, мы узнаем, кто сопровождал его в заграничном путешествии. «Руководителем вояжа» был 37-летний генерал-лейтенант И.Ф.Паскевич, а «кавалером» привел, князе состоял генерал-майор А.И.Алединский. По хорошо прорисованному двум орденским звездам (Александра Невского и Владимира) на рисунке, принадлежащем Е.А.Гунсту, мы узнаем старшего по чину, т.е. Паскевича. Сравнение рисунка с портретом Паскевича, находящимся в Военной галерее Зимнего дворца, не оставляет сомнения в тождестве оригинала обоих изображений.

Не относился ли к числу сопровождавших вел. князя и тот «неизвестный военный», что изображен на рисунке, принадлежащем Музею искусств Грузинской ССР? Перед нами, судя по шитью на мундире, военный врач, точнее, штабс-лекарь (т.е. имевший чин VIII–VI классов, форма для которых была установлена уже упомянутым приказом 1805 г.), и участник кампании 1812 г. На последнее указывает медаль с изображением треугольника в сиянии – «Всевидающего ока». Вероятно, за участие в войнах получены также отчетливо прорисованные ордена Анны 2-й степени и Владимира 4-й степени с бантом. Однако располагая только этими сведениями, мы ничего не узнаем из «Российского медицинского списка». Лиц с таким званием и такими орденами не один десяток. Трехтомная монография о Паскевиче, под начальством которого должен был состоять врач, командированный в путешествие для наблюдения за состоянием здоровья царского брата, также не дает ответа на вопрос, но изобилует ссылками на личный архив генерала, содержащий документы о подробностях путешествия по Европе в 1818–1819 гг. Пришлось обратиться к этим архивным материалам. И здесь, в деле, озаглавленном «Официальная переписка генерала Паскевича во время путешествия с великим князем», мы встретили отношение начальника главного штаба П.М.Волконского от 13 февраля 1818 г. за № 513, в котором упомянут отправляющийся в вояж



О.Кипренский.
Паскевич



с вел. князем Михаилом Павловичем «гвардейской артиллерийской бригады доктор Михайловский». А в одном из последующих документов того же дела упомянут и чин Михайловского – коллежский советник. С этими данными обратимся к «Списку» и прочтем: «Коллежский советник Михайловский Петр, кавалер орденов Анны 2-й и Владимира 4-й степени». Теперь уже несомненно, что на рисунке Кипренского изображен именно он.

К сожалению, о жизни и деятельности Петра Степановича Михайловского нам удалось собрать только формальные данные: родился в 1782 г., происходил из духовного звания, в 1802 г. окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, с 1806 г. – помощник адъюнкт-профессора анатомии и ординатор Сухопутного госпиталя, с 1808 г. – лекарь лейб-гвардии Семеновского полка, в 1809–1815 гг. работал в военных госпиталях, с 1815 г. – в 1-й гренадерской дивизии, с 1817 г. – в гвардейской артиллерийской бригаде. В 1818 г. признан доктором медицины без защиты диссертации, с 1819 г. – штабс-доктор гвардейской артиллерии. В чине статского советника, находясь в отпуске в Киеве, умер 13 февраля 1826 г. В научном активе Михайловского значится только одна статья.

Перейдем к последнему из рассматриваемых в настоящей статье портрету «известного военного», также имеющему пометку Кипренского Rota 1819. На нем изображен молодой человек в мундире гвардейской пехоты с генеральскими эполетами. На воротнике и обшлагах мундира видно шитье, присвоенное только одному Измайловскому полку (в первой четверти XIX в. четыре старейших полка гвардейской пехоты и гвардейская артиллерия имели особое, каждой части присвоенное орнаментальное шитье). Кроме того, изображенный Кипренским генерал носит аксельбанты. Значит, это генерал-адъютант Александра I, ибо чины квартирмейстерской части Главного штаба, топографы, плац-адъютанты и другие, имевшие право носить аксельбанты, не могли облачиться в мундир Измайловского полка. Однако ношение особого, присвоенного только царской свите, весьма нарядного мундира считалось немалой честью, и замену его полковым мундиром можно обосновать только важными боевыми заслугами в рядах этой части. Память об известных деятелях 1812–1814 гг. подсказывает имя генерала М.Е.Храповицкого, командовавшего Измайловским полком и прославившегося в Бородинском бою стойкой обороной левого фланга русского фронта от бесчисленных атак конницы Мюрата.

Биографы Храповицкого сообщают, что 30 августа 1816 г., будучи генерал-майором и командиром Измайловского полка, он «пожалован» в генерал-адъютанты царя, а 30 августа 1818 г. с сохранением мундира Измайловского полка перемещен командовать 3-й гренадерской дивизией, и на этой должности оставался до 1828 г. Ни одна известная нам биография Храповицкого не содержит сведений о командировке его в Италию или пребывании там в отпуске в 1819 г.

Однако уверенность, что рисунок Кипренского изображает именно Храповицкого, основанная на полном совпадении всех орденов, имевшихся у генерала в 1819 г., с изображением на рисунке и, наконец, на несомненном сходстве его с портретом Храповицкого, находящимся в Военной галерее Зимнего дворца, позволила автору настоящей статьи предполагать, что генерал все же был в указанный период в Риме.

Где же искать данные об этом? Нет ли их в мемуарах художников-пенсионеров, живших тогда в Риме? И вот в «Письмах и записках скульптора Самуила Ивановича Гальберга» читаем: «Сейчас пришел от Храповицкого. Мы все, сколько нас есть в Риме петербургских художников, сегодня обедали у ... Матвея Егоровича Храповицкого. Любезный человек. Много здесь перебивало русских господ, а никто не спросил об нас – он один! Еще в светлое воскресенье мы встретили его у посланника. Мы сидели в гостиной и ждали. Вдруг проходит русский генерал; мы думали, что он не узнает русских, как и другие не узнавали. Однако встали и поклонились молча. Он остановился, обернулся, прервал разговор с графом Головкиным и сказал нам: “Здравствуйте, господа!”. Тогда же мы и познакомились, но здесь был великий князь – до того ли? У Матвея Егоровича жена была больна и он спешил в Неаполь... Теперь, возвратись оттуда, он созвал нас всех...». Сообщаемые С.И.Гальбергом сведения относятся к 10 августа 1819 г.

Очевидно, Кипренский запечатлел Храповицкого в те же дни, когда русские художники встретились с генералом у посланника в Риме. Естественно, что, явившись с официальным праздничным визитом, да еще в присутствии царского брата, Храповицкий сменил штатское платье, в котором показывался за границей, на полковую парадную форму.

Настоящая статья является частью доклада о работе по аннотированию портретов неизвестных лиц, прочитанного 16 сентября 1970 г. в отделе истории русской культуры Эрмитажа.



О.Кипренский. Генерал Храповицкий



Дж.Доу. Генерал Храповицкий

И.ЗИЛЬБЕРШТЕЙН – В.ГЛИНКЕ

9 мая 1961 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

Меня очень тронуло Ваше дружеское письмо, Ваши теплые слова о моем исследовании. И, в первую очередь, потому, что я очень ценю Вас, как человека замечательной эрудиции, к тому же с большой сердечностью делившимся своими огромными знаниями с теми, кто обращается к Вам за помощью. Я сам это испытал не раз, испытал, в частности, и создавая книгу о декабристе-художнике Николае Бестужеве. И сейчас пользуюсь случаем, чтобы снова поблагодарить Вас за ту шедеврную помощь, которую Вы мне тогда оказали.

Над чем Вы сейчас трудитесь, не могу ли я быть чем-либо полезен в этой Вашей новой работе? Прошу Вас по любому нужному Вам поводу обращаться ко мне и можете не сомневаться, что мне доставит большое удовольствие быть Вам полезным.

К сожалению, до сих пор я не завершил своей работы о Мазере. Еще лет пять назад я собрал для нее обильный и весьма интересный материал не только во многих наших архивах и музеях, но и в зарубежных фондах. Но до сих пор никак не доходят руки, чтобы ее завершить. Правда, последние два года я хлебнул много горя и почти полностью был лишен возможности заниматься исследовательской работой из-за травмы, которой подвергали меня два отъявленных подлеца из нашего Отделения литературы и языка за то, что я выпустил том 65-й «Литературного наследства» («Новое о Маяковском»). И хотя эти два подлеца не только внимательно читали том до его выхода в свет, но и подписывали к печати, тем не менее они были готовы послать меня на дыбу за то, что я был инициатором создания этого тома. И если бы не тов.Суслов, они добились бы своего. Те же два подлеца сделали все возможное, чтобы сорвать мою поездку в Париж, куда меня пригласил на месяц директор Национальной библиотеки для того, чтобы я консультировал работников отдела рукописей, описывающих хранящиеся там русские автографы. В конце прошлого года я тяжело заболел, около месяца был в больнице. И лишь после пребывания в санатории вернулся два месяца назад к труду, хотя далеко еще не обрел прежней рабочей формы. К тому же немало времени я трачу сейчас не столько на завершение очередных томов «Литературного наследства», сколько на их продвижение. А ведь в настоящее время у нас в редакции накопилось восемь весьма интересных томов, вызванных мною к жизни и по существу давно готовых к выпуску, но из-за перестраховки нашего «начальства» продолжающих скучать на полках редакционных шкафов. Вс□ это вместе взятое и было причиной того, что на протяжении последних двух лет мне не

удалось закончить ни одной своей собственной значительной работы, а ведь их у меня начато и в значительной степени близко к концу свыше десяти.

И лишь в самые последние недели я двинул вперед одну работу, которую должен был сдать еще год назад: первый серовский том «Художественного наследства», куда войдет вся до сих пор выявленная переписка В.А.Серова, – до настоящего времени мне удалось обнаружить около 750 писем Серова и писем к нему. Много подробных и в значительной степени сделанных на неизданных материалах комментариев к этой переписке уже написано мною, но немало надо еще выполнить. Не известны ли Вам, дорогой Владислав Михайлович, какие либо автографы писем Серова и воспоминания о нем?

Не собираетесь ли в Москву? Буду очень рад, если побываете у меня. Мой домашний телефон – Д11891, телефон редакции «Литературного наследства» – Г52966. В городе я безусловно бываю во вторник, среду, четверг, пятницу, остальные дни стараюсь работать за городом. Прошу Вас наведаться обязательно по приезду в Москву.

Еще раз сердечно благодарю Вас, дорогой Владислав Михайлович, за отзыв о моей книге. Ваше письмо доставило мне большую радость.

Сердечно кланяюсь Вам и крепко жму Вашу руку.

И.Зильберштейн



26 июня 1967 года

Дорогой Владислав Михайлович,

сердечно благодарю Вас за письмо от 8 июня. Присланные Вами сведения об А.Г.Строганове были для меня очень ценными. Только с одним я не могу согласиться: Вы предлагаете датировать акварель 1823–1825 гг. Но ведь на акварели Строганов изображен полковником, а этот чин он получил, как я выяснил, 17 марта 1825 года. А так как генералом он стал 6 октября 1831 года, значит акварель следует датировать 1825–1831.

На акварели Строганов в мундире Преображенского полка? В своем письме Вы пишете так: «в сюртуке свиты его величества (или в «свитском сюртуке») с аксельбантами и полковничьими эполетами с вензелем А. I-го». Но ничего не говорите о принадлежности к полку.

Одновременно, посылаю Вам текст моего последнего очерка для «Огонька», Боюсь, что «царицу» зарежут. Буду Вам очень и очень признателен, дорогой Владислав Михайлович, если Вы найдете время быстренько прочесть и исправить мои неточности. Заранее благодарю Вас за эту услугу.

Шлю Вам самый сердечный привет и желаю прежде всего – здоровья.

Возвращать мне портрет Александра I не надо.

Если Вас интересует фотография акварели, изображающей А.Г.Строганова – с удовольствием дарю ее Вам.

Всего Вам самого доброго, дорогой Владислав Михайлович. Искренне Ваш

И.Зильберштейн



16 июля 1967 года

Дорогой Владислав Михайлович,

сердечно благодарю Вас за присланные замечания к моим очеркам «О чем повествуют акварельные портреты пушкинской поры». Многие из Ваших замечаний были для меня очень ценными и я успел их использовать и внести соответствующие исправления.

В литературе имеются сведения, что Хлюстин в 1828 году поступил корнетом в Санкт-Петербургский драгунский полк, откуда выбыл в 1830 году поручиком. Ссылка дается на издание: А.Каменский. История 2-го Санкт-Петербургского драгунского полка, т. II, приложение, стр. 48. Значит ли это, что в Петербурге было два драгунских полка?

Ведь я говорю, ссылаясь на Плетнева и Мея, что Наталья Кочубей-Строганова была прототипом замужней Татьяны. Конечно, литературный образ почти никогда не является буквальным отражением живого человека. А то, что к моменту выхода 8-ой главы «Онегина» Строганов был всего лишь генерал-майором «отнюдь не имеет значения».

К великому сожалению, никто не указывает имени брата А.Г.Строганова, замешанного в истории с пасквилем. Даже П.Е.Шеголев не смог уточнить этого. Ведь у Г.А.Строганова было пять сыновей, а из них лишь двое: мой Александр Григорьевич и Сергей Григорьевич известны в литературе.

Один из моих дальнейших очерков будет посвящен публикации четырех работ Брюллова, в том числе великолепного портрета маслом, изображающего герцога Максимилиана Лейхтенбергского (мужа Марии Николаевны). Владелец утверждает, что Лейхтенбергский изображен «в форме 9-го полка Киевских гусар, шефом которого он был». Думаю, что полк назывался иначе. Не будете ли Вы добры подсказать мне точное название полка? А главное, существует ли его история?

Г.Г.Гагарин. Бал у княгини М.Ф.Барятинской. 1830-е гг.



Еще раз сердечно благодарю Вас, дорогой Владислав Михайлович, за то, что взяли на себя труд прочитать мою рукопись и за столь существенные замечания. Шлю Вам сердечный привет и желаю Вам всего самого доброго

И.Зильберштейн



24 января 1970 года.

Дорогой Владислав Михайлович, Спасибо сердечно за память. В свою очередь, желаю Вам всего самого доброго в наступившем Новом году.

Надеюсь, что до Вас дошло мое письмецо, в котором сообщал Вам о документах, связанных с отцом Л.Н.Толстого.

Если Вам понадобятся еще подобного рода справки, – прошу обращаться ко мне. Быть Вам полезным доставляет мне удовольствие.

Декабрь я провел в Гаграх, где были сплошь прекрасные дни – 15–20 тепла. Да и написал я там два листа: статью на новых материалах «Встреча с Шевченко». Возможно, что напечатаю ее в «Огоньке». А в 5-м и 6-м номерах появится, по видимому, моя статья о коллекциях Дягилева и Лифаря, а также о картине Лермонтова, которую мне удалось уговорить Лифаря оставить у нас.

Еще раз желаю Вам всего самого доброго в наступившем Новом году.

И.Зильберштейн



29 ноября 1970 г.

Дорогой Владислав Михайлович,

Я был очень рад получить Ваше письмо. Снова восхитился Вашим умением распознать нераспознаваемое. Конечно, Вы правы, считая, что напечатанный на 201-й странице «Портрет неизвестного военного», исполненный Кипренским, – генерал-майор Матвей Храповицкий. Совсем блистательна Ваша находка в записях Гальберга. Можно только позавидовать Вашему умению определять личность изображенных на портретах «неизвестных».

Беда только в том, что в книге Поспелова – добрая сотня неточностей, в том числе неверно то, что этот рисунок Кипренского находится в моей коллекции. Он никогда у меня не был, и воспроизведение этого рисунка встречаю в первый раз.

Хотя эта работа называется «Русский портретный рисунок начала XIX века», но свыше 80% воспроизведений – работы Кипренского, а об остальных мастерах того времени сказано только мимоходом. Объясняется это тем, что за несколько лет до выпуска этой книги Поспелов издал альбом рисунков Кипренского со своим предисловием – это и было его кандидатской диссертацией. А затем он расширил этот альбом, превратив его в книгу. Не помню, воспроизведен ли в альбоме рисунок, изображающий, по Вашему точному определению, Храповицкого.

Очень советую Вам напечатать это свое разыскание. Не следует ли сделать это в журнале «Нева»? Ведь по сравнению с журналом «Искусство» «Нева» выходит огромным тиражом.

Не посылал ли Вам Е.С.Молло из Лондона фотографию портрета казака Комболова (или Комолова) кисти художника первой половины прошлого века Брокдона? Портрет интересный. Не встречалось ли Вам имя этого Комолова? Весьма возможно, что в отдел истории русской культуры Эрмитажа Молло такую фотографию послал.

Музей Изобразительных искусств решил устроить выставку иностранных рисунков из моей коллекции. Всего у меня набралось почти за полвека моего собирательства (с 16-летнего возраста) около четырехсот листов. Сюда входят листы Валериани, Патерсена, Камерона, Гонзаго, Томона, Кваренги, которые у меня

представлены весьма богато. Сейчас сотрудники музея делают каталог, куда попадут лучшие листы. Вероятно – свыше трехсот. Антонова обещает дать в каталоге до ста репродукций, но выполнит ли свое обещание – я не убежден. Кто сейчас в Эрмитаже работает в Отделе рисунков? Не собирается ли кто-нибудь из сотрудников этого Отдела быть в Москве? Хотелось бы обратиться к ним за консультацией, т.к. сотрудники Музея Изобразит. искусств не всегда справляются с вопросами атрибуции.

Если в текущем году нам уже не придется обмениваться письмами, то хочу уже сейчас сердечно поздравить Вас с наступающим Новым годом и пожелать Вам всего самого доброго.

И.Зильберштейн

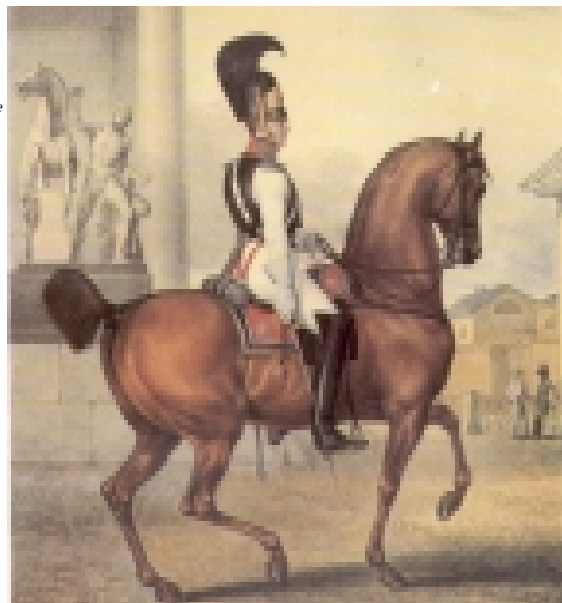


31 июля 1973 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

Сердечно признателен за письмо от 20 мая с замечаниями по каталогу западноевропейской части моей коллекции. Вы абсолютно правы насчет разнобоя в описании акварелей Райта. это работа Н.И.Александровой, жены А.Н.Савинова. Я виноват, что просматривая верстку каталога, проглядел указанные Вами несурзисы. И двойне виноват, что не воспользовался Вашей всегдашней любезностью и не попросил просмотреть верстку каталога.

Одновременно посылаю копию денежного обязательства Якубовича. Не могу прочесть в каком казачьем полку



А.И.Заурвейд. Обер-офицер Кавалергардского полка. 1820-е гг.

служил хорунжий Кузьмин. У меня автограф этого документа, но это слово не поддается прочтению. Не Терский ли? Но первая буква – В. Вы же, несомненно, сразу скажите какой это казачий полк.

Сердечно Вам кланяюсь.

И.Зильберштейн



Ю.В.ДАВИДОВ – В.М.ГЛИНКЕ

6 декабря 1968 г.

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

К великому моему сожалению, Вы и на сей раз мелькнули в Москве столь стремительно, что я опять не сумел представиться Вам, а лишь узнал о Вашем появлении от Галины Александровны... И однако, беру на себя смелость обратиться к Вам с покорнейшей просьбой.

По ходу моей нынешней работы (роман из эпохи 80-х гг. XIX в.) я «встретился» со светлейшей княгиней Екатериной Михайловной Юрьевской, рожденной Долгорукой, мorganатической супругой е.и.в. Александра Николаевича. В 1882 г., в Париже была издана книга V. Laferté. Alexandre II. Détails inédits sur sa vie intime et sa mort. Я познакомился с нею с помощью товарища, ибо сам, увы, неуч, французского, а равно и других, не разумею. Потом где-то попало мне упоминание, что Лаферте – панегирист, нанятый Юрьевской. Я заглянул в энциклопедию Брокгауза. Обнаружил: «Лаферте Виктор – см. Юрьевские». Бросаюсь к другому тому. И нахожу... Лишь краткую справку. О Лаферте там – ни пол-слова, как об водке. Что сие значит? Не сама ли Юрьевская, которую заглазно называли Екатериной Третьей, решила подражать Екатерине Второй, но укравшись мужским псевдонимом? Не можете ли разрешить мое недоумение?

И потом вот еще что: не попался ли Вам где-либо портрет Юрьевской? У Витте есть только одна строчка: «Дама довольно полная, с красивым лицом». А мне этого мало. Мой герой, хоть и мельком, должен увидеть ее в Париже...

Очень давно, у одной старой воспитанницы Смольного я видел толстый фолиант, посвященный Институту, перечисляющий выпускники всех выпусков. Юрьевская-Долгорукая там должна быть. Но – по неизреченной своей глупости – я не записал тогда же название этого справочника. Может быть, Вы знаете?

Вот сколько в один присест я задал Вам вопросов. Впрочем, давно известно, что один дурак может задать их столько, что и десять умных не ответят.

Прошу извинить за беспокойство. Но, право, единственная моя надежда на Вас, Владислав Михайлович. Загодя благодарю и еще раз прошу прощения.

В серии «Жизнь замечательных людей» издана моя документальная биография Василия Михайловича Головкина. Намерен послать ее Вам, как только книжка будет на прилавках: авторские «разлетелись» еще в стенах издательства. А роман, о котором упоминал выше, покамест «жив» в одной книге, когда (ежели Бог даст) издадут обе вместе – тоже пошлю Вам, хотя испытываю некоторое смущение: обремену Ваши книжные полки...

Радуюсь скорой встрече с Непейцыным, за издательской судьбой которого слежу с помощью Галины Александровны.

С искренним уважением Ваш Ю.Давыдов



Портрет генерала Тучкова 4-го

12 декабря 1968 г.

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович, чувствую свою глубокую и непростительную вину перед Вами: вопрос о Юрьевской и Лаферте, заданный в моем письме, по-видимому, разрешается монографией проф. П.А.Зайончковского «Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 гг.». М., 1964, которая оказалась... (Шелкнул почтовый ящик: Ваше ответное письмо! Напиши сие в романе – скажут: натяжка!!!). Не знаю как и благодарить, Владислав Михайлович! Очень, очень признателен Вам. Конечно, мчусь в библиотеку. Воспользуюсь всеми Вашими указаниями. Непременно!

Что же до монографии, оказавшейся у меня дома, то автор ее полагает: Лаферте-Юрьевской. Может так, а может, и не так, ибо сам же Петр Андреевич Зайончковский называет Юрьевскую «неумной» и «мелочной» (судя по ее письмам к Александру Третьему), «ограниченной» и «невежественной». Очевидно, книжка – французская – выражаясь нынешним «птичьим» языком: литзапись...

Ваш вкус расходится со вкусом Сергея Юльевича, и я, шутки ради, столь же двойственно оценю Светлейшую в романе.

О Кривенке, конечно, приходилось много читать. Знай я прежде о Вашем родстве с ним, право, как-нибудь отразил бы и его, человека честнейшего и симпатичнейшего. Увы, что называется, выпал из композиционных соображений...

Г.А. долго и тяжело хворала: сердце. Хорошие и добрые сердца, как известно, изнашиваются быстрее, нежели злые и нехорошие. Она и нынче еще не работает.

Случайно узнал, что Вы посетили художника, которого я очень люблю и ценю высоко.

Еще и еще раз огромная благодарность.

Искренне Ваш
Ю.Давыдов.



18.1.69г.

Дорогой Владислав Михайлович, я сразу же схвачен за обе руки: и Вами, и Евгением Евгеньевичем Шведе! Делать нечего, прошу прощенья: Головнина, совершенно незаконно и постыдно, понизил в чине. То-то бы он задал трепку своему незадачливому биографу. Черт догадал глянуть на эпюлеты рассеянно. Ужасно обидно. Но... но, как хитрому автору хочется, не сослужит ли и это службу: минет время, скажу в издательстве так, мол, и так, не угодно ли отпечатать еще тиражик... Жаль, разумеется, что остался за бортом Эрмитажный портрет. Как бы там ни было, а мне, видно, нужно будет ударить челом, когда приеду на берега Невы. «Молодая гвардия» уговаривает продолжить «Морскую сюиту». Следующим номером нашей программы намечен чрезвычайно симпатичный Павел Степанович Нахимов. Ради него предполагаю два вояжа: во Питер, на Миллионную, в архив, а потом – на Севастопольские редуты. Командирую сам себя в Ленинград, очевидно, в апреле или мае. Может быть, Вы к тому времени сумеете уделить мне часок, другой.

От души желаю Вам с Непейцыным всяческих успехов!

Искренне ваш
Ю. Давыдов.



ВО ЧТО ОБУТЬ ФАМУСОВА И ЧАЦКОГО?





С Владиславом Михайловичем Глинкой меня связала моя работа. Ставя тот или иной классический спектакль, я непременно приглашал в качестве консультанта именно его, так как он был единственным в своем роде специалистом по быту и культуре прошлого во всех деталях. Его удивительная эрудиция поражала. Он мог на память описать пуговицу мундира какого-нибудь особого полка и, никуда не заглядывая, тут же нарисовать ее на бумажке. Помимо такого рода консультаций, он помогал в репетициях, подсказывая детали, которые могли придать театральному действию атмосферу того или иного времени, и детали эти мог знать только он. Владислав Михайлович консультировал в Большом Драматическом театре целый ряд постановок классического репертуара, и эти встречи нас очень сблизили, так что в дальнейшем мне посчастливилось встречаться с ним не только по делу и по работе. Даже просто беседовать с ним всегда доставляло мне особую радость, он был добрый, глубокий, интересный собеседник. Я горжусь своими отношениями с ним, и он всегда останется в моей памяти как высокий образец русского интеллигента, что проявлялось не только в его культуре и образовании, но и во всей его душевной структуре.

Г.Товстоногов

АКТЕРЫ И РОЛИ

...В 1940–1950 годах по обязанностям члена закупочных комиссий Эрмитажа и Пушкинского музея мне не раз доводилось бывать в Доме ветеранов сцены, чтобы осматривать предложенные музеям предметы живописи, осветительные приборы, старинную мебель и даже одну большую коллекцию вееров. Жившие в этом доме, закончившие сценический путь актеры и актрисы, сдавали при переезде в последнее пристанище свою «площадь» городу и очень часто сначала обставляли комнату своей мебелью очень тесно. Потом появлялось желание с чем-то расстаться – понадобятся карманные деньги или захочется, чтобы в комнате стало посвободнее. Могут быть и другие побуждения. Приятно ведь сказать: «Мою люстру купил Эрмитаж» или: «Мои кресла теперь в Пушкинском музее...».

Хорошо, что всегда я бывал там не один, а с кем-нибудь из коллег, все легче не одному, а общим мнением посоветовать прибегнуть к услугам комиссионного магазина. Ведь о нашем приглашении и об отказе обязательно узнают другие жильцы-ветераны. А страсти – бывшее соперничество, зависть и даже романы – кипят и здесь не менее остро, чем в каждой играющей труппе. Несомненно, интересное для наблюдений, но очень грустное место. Там я видел нескольких старух и стариков, которых помнил окруженными поклонением зрителей. И почти в каждой комнате на видном месте фотографии в любимых ролях, помещенные в особенно красивые рамки, – свидетельство счастливого прошлого и горестный укор тусклому настоящему. И если хозяин или хозяйка комнаты перехватили ваш взгляд, то почти всегда следовало примерно такое пояснение:

– Это я в «Трактиришке». Газеты писали, что играла не хуже Гдовской!

Или:

– Узнаете Фердинанда в «Коварстве»? Юрьев говорил, что многое от меня взял. Специально приезжал несколько раз смотреть.



Петергоф. Экскурсия



Экскурсия по парку (группа из Средней Азии). Петергоф, 1929

Эти впечатления от первого близкого соприкосновения с душевной жизнью и творчеством актеров были для меня как бы прологом долголетней связи с многими театрами и киностудиями Ленинграда и, эпизодически, Тбилиси, Таллинна и Москвы. Я был музейным работником, но не специализировался в какой-то одной области истории искусств, а стараясь представить себе жизнь прошлого во всем разнообразии материального быта – мебели, драпировок, костюмов, причесок, посуды, туалетных принадлежностей, экипажей и множества других деталей, окружавших представителей городского населения России в XVIII–XIX веках. А также их манеры и нормы поведения по описанному беллетристами и рассказанному при мне стариками. Поэтому я лет тридцать привлекался театрами и киностудиями в качестве консультанта по историко-бытовым вопросам и храню пачку трудовых договоров на 32 спектакля и на 19 кинокартин. Естественно, что при этой работе я наблюдал все стадии их создания, то есть труда режиссеров, театральных художников и актеров, взаимодействие множества характеров и дарований, в результате которого рождались зрелища, и на генеральных репетициях, на просмотрах и премьерях видел порой очень различные реакции искушенного или «кассового» зрителя. Видел, на мой взгляд, прекрасные спектакли, которые не привлекали, однако, публику и посредственные, на которые народ шел «валом».

Самым интересным, пожалуй, во всей моей работе около театра и в кино, было для меня наблюдение



Николай Акимов. 1940-е гг.

за созданием роли, за «вживанием» в нее актера, перерождающегося в иное существо. То положение, при котором понятие «играть», превращается в «стать», «жить», доступно, конечно, только большим талантам.

Шло лето 1929 года. Я служил экскурсоводом в Петергофе и помимо основных двух маршрутов по памятникам XVIII века – Большому дворцу и парку с павильонами и фонтанами – разработал особую экскурсию по Монплезиру и части Нижнего парка. На первую ее часть меня навели постоянные реплики экскурсантов в центральном зале этого маленького дворца, где очень многие вспоминали картину Н.Н.Ге «Петр и Алексей». Речь шла о семейной трагедии преобразователя. А другая часть новой экскурсии касалась переворота 1762 года, с которым этот дворец, точнее, его ныне исчезнувшая деревянная пристройка, была тесно связана. В маленьких комнатах этой пристройки жила оставленная мужем будущая Екатерина II и отсюда бежала с Алексеем Орловым в Петербург, чтобы возглавить восстание против своего супруга. Во второй части экскурсии я приводил экскурсантов на беломараморную террасу, отсюда был виден Кронштадт, куда пытался бежать Петр III, и, наконец, мостик над Большим каналом, где он подписал отречение от трона. Словом, темой экскурсии была борьба Петра I с родным сыном за сохранение созданного им государства, и второй сюжет – борьба за власть умной и смелой царицы, прикрытая видимостью государственной пользы. Борьба, как мы знаем, кончившаяся для мужа Екатерины смертью в Ропше от руки пьяных собутыльников и конвоиров-гвардейцев.

В некий вечер в квартиру, занимаемую экскурсоводами в Кавалерском доме, зашел директор музеев Петергофа Н.И.Архипов и сказал мне, что завтра приезжает группа артистов Московского Художественного театра, гастролировавшего тогда в Ленинграде, и он просит меня провести для них экскурсию. Лучше по парку, так как в Большом дворце идет «конвейер» групп, и там нельзя задерживаться в любом зале на лишние пять минут.

Я был преданным поклонником тогдашнего МХАТа. Спектакли, которые МХАТ привозил на гастроли в Ленинград, из тех, на которые сумел достать билеты, я пересмотрел все. Сознаюсь, в тот вечер я очень волновался – проверял карточки с цитатами, которые читал на экскурсиях, гладил рубашку и галстук. А около 11 часов следующего утра мы с Н.А.Архиповым встречали на пристани мхатовцев. Впереди группы человек из двадцати я увидел седые волосы, черные брови и благосклонно ободряющую улыбку К.С.Станиславского, а рядом с ним совершенную красавицу Тарасову в белом, чуть кремевом костюме и такой же шляпе, сквозь поля которой солнце мягко озаряло ее прекрасные черты. Если бы было возможно, я не отрывал бы от нее взгляда, такой удивительной актрисой она мне показалась. За год до этого я видел ее «инфернальной» Грушенькой в инсценировке «Карамзовых».

Как оказалось, на обычных экскурсиях все мхатовцы уже бывали, и я дал им «своих» Петра I и Екатерину II. Материал был незатертый, знал я его хорошо, и все сошло так удачно, что меня наградили аплодисментами. Константин Сергеевич пожал мне руку и благодарил от лица группы. А за время экскурсии я уже разглядел среди внимательных слушательниц скромную и прелестную Еланскую, харак-



Петергоф. 1929

А.К.Колесов, Е.А.Швари и
В.М.Глинка. Комарово. 1950-е
гг.



тернейших Тарханова и Москвина, даже старика Лужского, который частенько присаживался на скамейке в парке. Тут, без преувеличения, был цвет этой удивительной труппы. И все кивали мне, прощаясь, все благодарили.

Но на этом общении с МХАТом не кончилось. Когда через два дня я приехал в Ленинград, то нашел у себя дома конверт с шестью билетами на три спектакля: «Хлеб», «Горячее сердце» и «Дни Турбиных» – как-то узнали мой адрес и даже дни, когда я бываю в Ленинграде. И вот мы с моим другом М.А.Шпаковым посмотрели за неделю эти три пьесы. Тогда во МХАТе не бывало слабых спектаклей. После третьего спектак-

ля мы чуть не полдороги шли пешком. В этот вечер шли «Турбины». Не хотелось мешаться в толпу, слышать чужие голоса в перегруженном трамвае. Мы долго молчали, а когда заговорили, то сошлись на том, что самое удивительное из увиденного за три дня было мастерство Николая Павловича Хмелева. Хлышеватый инженер, возвратившийся из поездки в Америку покоренным ее деловитостью, в ныне забытой пьесе Киршона, потом старик Силан – резонер, живущий дворником у богатого родственника-купца и, наконец, полковник Алексей Турбин – воплощение чувства чести и ответственности дореволюционного офицерства, прошедшего огонь 1914–1918 годов. Ведь между этими людьми не было ничего общего. Как же он мог так перевоплотиться, что узнать его можно было только по тексту программки? В этих спектаклях запоминались,



Портрет В.М.Глинки работы
Н.П.Акимова

конечно, многие. Но на второе место мы в «Турбинах» единодушно поставили Елену Тарасову. Какое обаяние женственности, искренности, мягкости и красоты!

А через два, кажется, дня, будучи снова в Ленинграде, я ехал на трамвае от площади Труда к Адмиралтейству. Вагон был старого типа с двумя длинными друг против друга скамейками, и напротив меня сидела Тарасова с мальчиком, судя по росту и коротким штанишкам, лет 7–8, не старше. Мальчик был бледный, худенький, колени, как узлы на канате, голова низко опущена. Мать непрерывно его отчитывала вполголоса, верней сказать, злобно бранила, не раз резко дернула за руку, которую почему-то он пытался поднять к лицу. Красивые черты ее были искажены злобой. Из боязни, что она меня узнает, я вышел, не доехав до площади.

А еще лет через пять нас с Марианной Евгеньевной позвали в гости к профессору Василию Гавриловичу Баранову. Мы, собственно, дружили с его сестрой, Александрой Гавриловной и ее мужем, хирургом Цимбалом. Они нас и позвали, так как жили в одной квартире со знаменитым эндокринологом. И позвали, прямо сказав, что увидим и услышим В.И.Качалова, который бывал в этом доме каждые гастроли МХАТа в Ленинграде. Вечер, вернее, очень долгий и вкусный ужин, удался на славу. Василий Иванович был в ударе, прекрасно рассказывал о Чехове и Горьком, о поездке в Америку и о разных смешных случаях во время спектаклей. А мы все с наслаждением слушали.

А затем мне досталось проводить Василия Ивановича с Моховой до «Европейской гостиницы». Собственно, мы вышли от Барановых вчетвером, но тут было решено, чтобы я проводил гостя, показав ему по дороге красоты города в белую ночь, а Цимбалы проводят до дому Марианну Евгеньевну.

Мы медленно шли по самым красивым местам города. Мимо вросшей в землю Пантелеймоновской церкви, через мост мимо Инженерного замка и Летнего сада... Качалов внимательно слушал то, что я рассказывал, но нельзя же было ограничиться только этим, и я невольно упомянул, какое сильное впечатление навсегда сохранится у меня от его игры и от Еланской-Масловой.

– Да, – сказал он, – очень талантлива, добра и душевна.

Потом осведомился, кого я еще особенно люблю в их труппе. Я назвал Хмелева и три пьесы, в которых видел его подряд в столь различных ролях. И Качалов сказал:

– Да, актер он замечательный. Один из самых талантливых, из тех, кого я видел. А ведь я видел многих истинно заслуживающих долгую память. И ваших здешних – Варламова, Давыдова, Савину, Комиссаржевскую, Далматова и наших московских – моих учителей из Малого театра... Да, Хмелев актер, несомненно, замечательный. И меня он берет за живое своими просто удивительными, тончайшими находками нужной интонации, мимики, жеста. А вот человек, представьте, не очень добрый. И по моим понятиям, плохой товарищ. Впрочем, для актера, который живет для себя и зрителей сценой, должно быть, она важнее всего...

Вероятно, если бы Качалов не выпил чуть лишку, а может, и не «чуть», он не сказал бы мне, мало знакомому молодому человеку, то, что здесь приведено. И у меня осталось впечатление, что такие качества Хмелева его искренне огорчали, даже печалили.



А.К.Колесов, Е.А.Швари и
В.М.Глинка. Комарово. 1950-е
гг.

Расставшись с ним, я снова думал, как и не раз уже, о тайнах сценического превращения. А когда через несколько лет увидел Хмелева-Каренина, то, вспомнил, конечно, отзыв Качалова. Вообще-то спектакль был не очень удачный. Но Хмелев, мне показалось, играл правдиво до убежденности в том, что другого Каренина и быть не должно.

Теперь немного о другом для меня, несомненно, большом актере, не «выдавшем» однако того, что мог бы, как я думаю, по независевшим от него обстоятельствам. Я пишу о Льве Колесове. До войны я видел его один раз в Новом ТЮЗе «Борисом Годуновым» и навсегда сохранил о том вечере благодарное воспоминание. Не забуду взволнованных разговоров подростков, выходивших из театра после спектакля, – всех взволновал, «пронял» именно Борис – о нем одном говорили все. А затем среди многих пьес, которые шли порой десятками раз, я увидел его, так сказать, в полный рост только в трех главных ролях. В «Визите инспектора» Пристли, где он один держал зал три акта в большом напряжении, потом в замечательной по глубине и остроте сюжета совсем не комедии Шапийона «Скончался господин Пик», которая, к слову сказать, за отсутствием сборов, – публика ее не поняла, – прошла всего раз пять. И, наконец, драконом в пьесе Шварца, где был отвратителен и страшен, найдя «краски» в убедительном, негромком гнусно-ласковом голосе, в походке, дававшей понять, что у него в задатках старого ката... в повелительном жесте тирана.

Я проверил опросом впечатления многих знакомых, и все, кто видел Колесова в этих ролях, не могут его забыть и через двадцать лет. Хорош он был и в концертах – «Пером Гюнтом» или когда один читал всего «Годунова», очень искусно и умело меняя интонации и мимику действующих лиц. Однако настоящим его местом все-таки были не концерты, а театр... Но... Лев Константинович



Режиссер Н.П.Акимов в своем кабинете

у нас на глазах стал настоящим, безнадежным алкоголиком. Он дня не мог прожить без выпивки и однажды, когда мы, уже став приятелями, оба жили поблизости зимой в доме творчества в Комарове, и он принес мне пятерку, перехваченную накануне, я единственный раз его упрекнул, что пропивает талант. Вот приблизительно, что он мне ответил:

– А ты пойми – разве мое место в театре Комедии? Ведь это совсем не мой жанр, я к нему совершенно не способен, несколько сам не смешон, и мне в комедийных ролях совсем не весело. Наши первачи – Злобин, Филиппов, Беньяминов и мальчишка Трофимов – все и в жизни болтуны, трепачи, комики – им доставляет удовольствие смешить. А я этого не умею, не могу. Мне не смешно от глупых положений и сто раз повторяемых острот... Если бы в Ленинграде был другой хороший, настоящий театр, я бы туда давно перебрался. Сейчас вот явно выдвигается БДТ, я бы туда пошел. Но теперь по моим годам нужно, чтобы меня туда позвал Товстоногов. А он вот не зовет, значит, самому нужно проситься, но без удобного случая это мне «невместно»...

Пусть это была отчасти отговорка, оправдание алкоголика, но была в этих словах и правда. Лев был уже актер с хорошим именем, давно «заслуженный». И удобного случая, так и не подвернулось.

Наконец, приведу еще один пример, который показался мне в свое время заслуживающим внимания. Он касается Иннокентия Смоктуновского в роли князя Мышкина в БДТ. Я был консультантом этой постановки. В первом же разговоре Г.А.Товстоногов спросил, видел ли я какую-нибудь инсценировку романа. Да, в 1920-х годах еще в Александринском театре (до его нелепого переименования), я смотрел такой спектакль, но тогда игравший Мышкина Н.Н.Ходотов, начав довольно живо и выразительно, с каждой следующей картиной или как тогда еще говорили «явлением» становился все более вялым и едва дотянул роль. Говорили, что он наркоман и, кажется, этот спектакль был его последним – прощанием со сценой. Товстоногов сказал, что очень надеется на Смоктуновского. И, действительно, от репетиции к репетиции, которые я стал посещать чаще обычного, он «лепил» и делал все более достоверным этот такой сложный образ. Спектакль удался и «прогремел». Публика на него буквально ломилась. Имя Смоктуновского было вполне заслуженно у всех на устах.

Прошло, кажется, месяца два. Некая приятельница моей юности, приехавшая на несколько дней из Москвы, просила сводить ее на «Идиота», о котором была уже много слышана. Я не без труда добыл билеты и мы пошли. Моя дама была в восхищении. А я огорчился. В рисунке роли Мышкина произошел ряд изменений: где чуть затянулась пауза, где чуть иначе прозвучала интонация или для «выразительности» повторилось слово, чем нарушился рисунок мизансцены, которую я хорошо запомнил. И всегда это делал именно Смоктуновский по собственной инициативе, что мне было очень неприятно. Очевидно, актер не почувствовал, что лучшее решение целого продиктовано Товстоноговым и этого надо твердо держаться, а не нарушать за счет мелочей, которые будто бы «обогашают» образ Мышкина, но в самом деле нарушают целое, созданное режиссером. Как во всех видах искусства, увлечение частностями вредило целому.

На другой день я позвонил Товстоногову, чтобы поблагодарить за билеты, и он любезно спросил, осталась ли довольна моя гостья. Я правдиво ответил, что очень. А о своем впечатлении умолчал. Но, осведомился, давно ли он сам видел спектакль? Оказалось, уже около месяца.

Без строгого режиссерского глаза Смоктуновский начал «украшать» свою роль. Значит, он не верит Товстоногову, не верит ему, создавшему художественное произведение в целом. И для меня Смоктуновский исчез как самостоятельный художник. В руках режиссера он прекрасный инструмент, но сам не почувствовал, что в спектакле не он один, что нельзя делать и шаг без режиссер-

ского глаза, без проверки со стороны, а товарищи уже подчинились его обаянию. Смоктуновский сделал то, что немисливо было во МХАТе в годы расцвета. Актеры МХАТа твердо знали, что идут по режиссерскому рисунку, и никакая, казалось бы, удачная импровизация не могла заставить свернуть с этого пути. В этом я убедился когда-то, посмотрев в разные годы три раза «Турбиных» и два раза «У врат царства». Хотя, конечно, если кто и у них делал некую «находку», то не стеснялся посоветоваться о ней с режиссером, показать ее. Я не раз видел, как такие разные режиссеры, как Брянцев, Акимов и Товстоногов именно так вели себя с актерами, предлагавшими на репетициях что-то «свое». После «апробации» новый «оттенок» утверждали или отвергали. Глазу со стороны, охватывающему весь спектакль, всегда яснее нарушится ли тем или другим новшеством весь его рисунок.

Может быть, именно поэтому редкий талант Смоктуновского так хорош в кинематографе, – в «Солдатах», «Ночном госте», «Берегись автомобиля», где рука режиссера уверенно провела его, помогая высказать все нужные возможности и предохранив от ошибок. По-моему, так, во всех ролях, которые я видел, кроме Гамлета, который, мне кажется, не удался из-за внутренней холодности очень умного и образованного Г.М.Козинцева.

Лучшее же доказательство того, что актеры суть инструменты в руках умного режиссера, который умело на них играет, – это история работы Н.П.Акимова в тогдашнем Новом театре (ныне по хлопотам того же Н.П., именуемом Театром Ленсовета). После двух лет ostrакизма, которому Николай Павлович был подвергнут за «космополитизм и формализм», и вынес словесные и печатные поношения с неизменным достоинством, не каясь ни перед кем и не спустив своего «знамени», ему предложили стать худруком Нового театра. Предшественницей Акимова была вконец развалившая театр, совершенно выжившая из ума и творчески бесплодная, по крайней мере в это время, Н.Н.Бромлей. Театр «горел», в него никто не ходил, труппа потеряла веру в себя.

В то время я был очень дружен с Акимовым и рад, что могу напомнить об этом периоде его отнюдь не рядовой биографии. Незадолго до предложения руководить Новым театром Николаю Павловичу с явной издевкой прямо навязывали художественное руководство Гос. цирком, отчего он, конечно, отказался. А положение Акимова в это время было весьма безрадостным – заработков никаких, и занимался он в основном рисованием портретов и чтением пьес «впрок». Жить без театра ему было тяжело, и он верил, что опять доведется в нем работать.

– Пойдешь? – спросил я, услышав о Новом театре.

– Еще не знаю. Посмотрю у них спектакль или два, по возможности, инкогнито. Пойму, есть ли кто талантливый в труппе, потому что мне ставят условием никого нового в театр не вводить, управляться нынешним составом.

Посмотрев, он «пошел». Думаю, что никакого «инкогнито» не получилось, слишком Акимов был известной и своеобразной фигурой. Одна вещь, что он в театре, я уверен, заставляла актеров «выдавать», все, что можно.

Через неделю на мой вопрос о труппе, Николай Павлович сказал:

– Чистое золото пока вижу одно – Короткевич, серебро – Лебедев и Будрейко, а меди очень много. Но ведь и она может заблестеть, если ее отчистить.

Первой он поставил, дотоле почти никому неизвестную пьесу Салтыкова-Щедрина «Тени». В этом спектакле я ему старался помочь изобразительными источниками и, бывая на репетициях, видел, как воодушевленно работали актеры, а те кто «не заняты» сидели в зале, радостно зажигаясь надеждой дожидаться своего часа.

Вторая пьеса была «Дело» Сухово-Кобылина, а через три месяца билеты в Новый театр спрашивали у сворачивавших на Владимирский уже на углу Невского...



В.М.ГЛИНКА О ШВАРЦЕ

С начала 1930-х гг. я начал сочинять прозу (до того, как большинство юношей, я «кропал» только подражательные стихи). Затял даже большой исторический роман, в котором герой – сын барина-помещика и крепостной – оказывался в промежуточном положении между средой отца и матери, делался ремесленником-часовщиком и погибал в восстании старорусских военных поселенцев в 1831 году. Написал подробный конспект романа и, кажется, пять глав. Писал целый отпуск на чердаке родительского дома в Старой Руссе и в рабочие месяцы по ночам, пока не понял через год, что такого труда мне не поднять при двух, а порой и трех местах службы, занимавших время с 9-ти до 9-ти. Стал писать рассказы. Испортил много бумаги, прежде чем нашупал сюжет и манеру, и решил прочесть несколько друзьям рассказ, героем которого был мальчик-кантонист, флейтист полкового оркестра, будущий академик гравюры Серафим. Все друзья одобрили рассказ и один из них, товарищ по музейной работе Станислав Валерьянович Трончинский сказал:

– Надо это прочесть кому-то пишущему. У меня есть знакомая, которую печатают, пойдем посоветуемся с ней. Она, правда, пишет стихи, но, может, что-нибудь сообразит.

С этим мы в конце декабря 1937 г. пришли к поэтессе Елене Рывиной. Черноволосая, тоненькая, хорошенькая, несмотря на слишком толстые губы, и весьма кокетливо одетая, в голубой накидке, отделанной белым мехом, она выслушала прочтенный мной рассказ, сказала, что он ей нравится, и обещала попытаться устроить мне встречу с детским писателем Евгением Львовичем Шварцем.

Каюсь, я тогда ничего не знал об Евгении Львовиче, но спутник бурно одобрил этот выбор. Он много лет работал в музее Революции и несколько раз слушал чтение Шварцем его ранних пьес, происходившее у Михаила Борисовича Каплана, беспартийного директора этого музея (в то время бывали и такие штуки!). Брат М.Б. был режиссером того театра в Ростове-на-Дону, где играл молодой Евгений Львович до переезда в Ленинград, и в 1920-х гг. познакомил своего талантливого актера и начинающего писателя со старшим братом.



Е.Л.Шварц. Комарово, 1950-е гг.

Через несколько дней Рывина сообщила мне телефон Евгения Львовича, он назначит мне время прийти со своим рассказом. Я позвонил и получил приглашение и адрес – Канал Грибоедова 9, кв. 79, последний подъезд со двора, четвертый этаж. С большим волнением я позвонил у двери, которую открыл сам Шварц. Он был дома один, принял меня приветливо и ввел в свой кабинетик. При этой первой встрече я так волновался, что плохо рассмотрел наружность Евгения Львовича. Однако заметил, что и тогда он был склонен к полноте, прост и естествен в движениях, и что улыбка очень шла к его правильному, я бы сказал, породистому лицу, освещала и красила его, что бывает далеко не у всех людей.

Я не случайно написал «кабинетик» – это была малюсенькая комнатка, не больше четырех кв. метров, в которой помещались: слева – книжная полка, прямо, у окна – столик конца 18 в. типа «бобик», перед ним – кресло нач. 19 в. с резными лебедями на спинке и тонкими, очень хрупкими локотниками (они не раз отламывались, что огорчало Е.Л.), и справа, вдоль второй длинной стены узкая кушетка на ножках в виде птичьих лапок, державших шары, крытая коричневым бархатом. Я как музейный работник сразу отметил хороший вкус всех предметов.

Евгений Львович взял в руки мою рукопись, взглянул на почерк, похвалил его красоту, но нашел мелким и малоразборчивым.

«Читайте сами, но не спешите», – сказал он. И пока я читал, еще два повторил последние слова. А потом произнес приговор: «Рассказ хороший и я постараюсь его пристроить в “Костер”. Вы можете отдать его на машинку в трех экземплярах? А то я отдам, и Вы мне вернете из гонорара».

Таково было наше первое знакомство.

Когда я спускался с лестницы, навстречу мне поднималась очень красивая дама в манти котикового меха, выгодно оттенявшего ее свежее лицо с большими серыми глазами. Она только что сняла и встряхнула мокрую шапочку и контраст темно-русых волос с нежным румянцем был очень хорош. Как я узнал вскоре, это была жена моего нового знакомого – Екатерина Ивановна.

Через несколько дней я принес переписанный на машинке рассказ и получил в подарок только что вышедшую книжку Шварца «Красная шапочка» с надписью: «Владиславу Михайловичу (Глинке) образец настоящего плохого (почерка) на добрую память (от ходатая по его делам) и автора 17/1 1938 г.» А вскоре Евгений Львович позвонил мне и сказал, что рассказ принят и будет напечатан в № 4 журнала «Костер».

К слову о «Красной шапочке»: после ее прочтения мы с Марианной Евгеньевной решили, что нашей дочке, которой было в то время пять лет, надо обязательно посмотреть этот спектакль в Новом ТЮЗе на Конюшенной. Вернувшись после представления, обе зрительницы рассказали, что рядом с ними на крайнем месте у прохода к сцене сидела моя сослуживица по музею Маргарита Михайловна Заботкина, держа на коленях дочку Олю. И вот, когда в последнем действии, волк уже проглотил бабушку, лег в ее кровать и в дом входит Красная шапочка, Оля неожиданно для матери мгновенно соскользнула с ее колен, бросилась к сцене и закричала на весь театр:

– Шапочка! Не ходи, там волк, а не бабушка!

Когда я рассказал об этом случае Евгению Львовичу, он очень смеялся и был доволен воздействием своей пьесы.

После опубликования моего первого рассказа Шварц как бы взял надо мной шефство по части писательства. Он вполне одобрял, что я пишу на исторические или, точнее, историко-бытовые темы, то есть о том, что лучше всего знаю. При этом Евгению Львовичу казалось, что мне удаются диалоги, и он посоветовал мне написать пьесу. В 1938–39 г. я написал их две. Первая предназначалась для ТЮЗа. Темой ее была трагическая история крепостного художника. Она не тронула Б.В.Зона – главного режиссера театра, но Евгений Львович утешил меня, говоря,

что не сразу приходит успех, и она, мол, дожидается своего времени. После войны я послал эту пьесу в Московский ТЮЗ, но и там ей не повезло: ответ гласил, что она не актуальна.

Судьба второй пьесы на тему 1812 года, главным героем которой был Денис Давыдов, также не задалась. По мнению многих друзей, она динамична, остра и даже является будто бы моей лучшей работой. Писал я ее по заказу театра Комедии. Н.П.Акимову, с которым я в это время познакомился, показалось по «детской» пьесе, что я могу написать для его театра нечто подходящее.

С этой пьесой я совершил две «тактические» ошибки. Не помню почему, но Николай Павлович очень меня торопил и просил, чтобы я прочитал хотя бы часть работы труппе. Я не выдержал натиска и согласился, хотя чувствовал, что крепко сделан только первый акт, второй сыроват, а третьего и четвертого еще не было вовсе, кроме общего плана. Не посоветовавшись с Евгением Львовичем, я читал перед труппой. Первый акт заслужил даже аплодисменты, но второй всех расхолил, и сам я почувствовал, что провалился. Речи о постановке больше не было. Мне выплатили 60% заказной суммы и «погасили» соглашение. Как сетовал Евгений Львович, что я не рассказал ему о настоящих Акимова! Он уговорил бы меня до конца работы никому ее не читать. По его совету я дописалтаки пьесу и когда закончил, огласил перед небольшим кругом друзей. Между ними находился уже упомянутый С.В.Трончинский. Его сестра была замужем за К.М.Злобиным, ведущим актером театра Радлова, тогда соперничавшего с акимовским. Злобин, услышав похвалы Трончинского, просил дать ему экземпляр пьесы, прочел, одобрил и отнес ее в театр. Через сутки Константин Михайлович по телефону сообщил, что Радлову пьеса чрезвычайно понравилась, он говорил о ней на собрании труппы и уже распределил роли. А вслед за тем позвонил сам Радлов и пригласил меня прийти в театр для переговоров. Я явился, был встречен Сергеем Эрнестовичем и его женой, переводчицей Анной Дмитриевной очень любезно и мне сказали, что пьеса принята и будет вскоре поставлена, что уже подготовлен для меня договор. Но тут вышло характерное «кви-про-кво». Радлов спросил, как это я так умело построил сюжет, диалоги и т.д., писал ли я уже для театра? Я ответил, что написал пьесу для ТЮЗа, которая не пошла, а эту комедию писал по договору с Акимовым, но после чтения двух незаконченных актов ее там не приняли, после чего я все-таки ее доработал. Тут произошла удивительная метаморфоза: лица Сергея Эрнестовича и Анны Дмитриевны застыли и превратились в маски разочарования.

– Ну, что же, мы подумаем, – сказал Радлов, вставая и давая понять, что аудиенция окончена.

Я вышел, как оплеванный – стало ясно, что написанной для другого театра и отвергнутой им пьесы Радлов не возьмет. Костя Злобин жестоко бранил меня за то, что «раскрыл свои карты»,

– Смолчал бы о Комедии, подписал договор, начали репетировать, сшили костюмы, вошли во вкус – тогда уж не повернуть назад, – говорил он. – Придумали бы даже козырь – натянуть нос Комедии!

– Но ведь все равно узнали бы, хоть не сразу, что я читал там два акта, – оправдывался я.

– Вот и важно, что не сразу.

Евгений Львович сокрушался вместе со мной об этой неудаче, но одновременно хвалил, что не стал хитрить.

Чтобы не возвращаться больше к судьбе этой незадачливой пьесы, скажу, что она чрезвычайно нравилась также Льву Львовичу Ракову, который не мог забыть моего провала и уже в апреле 1941 г., собираясь ехать в Москву, чтобы проконсультировать какую-то историческую пьесу в Камерном театре, попросил у меня экземпляр «Пари» и передал его А.Я.Таирову. В мае я получил сохраненное мною

письмо Таирова, в котором сообщалось, что пьеса понравилась и о постановке ее в следующем сезоне Камерным театром он поговорит со мной во время гастролей в Ленинграде в июле. Дальнейшее, я думаю, не требует объяснений.

Я бы не стал столь подробно описывать свои неудачи с театром, если бы они не сблизили нас с Шварцем и не послужили поводом к нескольким важным для меня его «наставлениям». Во-первых, Евгений Львович втолковывал мне, что нередко половина работ писателя остается в его столе. Важно не только написать нечто «стоящее», но еще попасть «во время» и найти таких сильных людей в издательстве или в театре, которые помогли бы воплотиться в наборе или в спектакле твоему творению. Во-вторых, что труд, затраченный на создание каждой пьесы или повести, — не зряшная потеря времени: размышления, навыки и т.д., бесспорно, помогут в следующих трудах.

За время злключения с моими пьесами я написал повесть «Бородино», которую уже без помощи Шварца взял «Костер» и поместил в №№ 7–10 за 1940 г. Верно, чтобы загладить горькое ощущение моих неудач с театром, Евгений Львович придумал ход, приведший к изданию «Бородина» отдельной книжкой. Он дал прочесть повесть старой писательнице Т.А. Богданович, жившей в той же «писательской надстройке». Татьяна Александровна очень дружила с Евгением Викторовичем Тарле. Расчет был верный, понравившаяся повесть Т.А. показала академику, чьи книги о Наполеоне и 1812 году тогда были у всех на устах,

Евгений Шварц



повесть ему «показалась», и Шварц с торжеством вручил мне письмо Тарле с весьма благожелательным отзывом о ней. Мало этого — он сам отнес его в Детгиз и предложил включить повесть в план издания 1941 г. Она вышла в августе, и весь тираж остался в заблокированном городе или разошелся по Ленинградскому фронту. Экземпляр повести я видел в экспозиции исчезнувшего музея обороны Ленинграда в Соляном городке.

Таким образом, первыми своими шагами в литературе я обязан сердечному участию Евгения Львовича. Вероятно, доброе отношение и доверие ко мне Шварцев, хотя бы отчасти, определили отзывы уже упомянутого М.Б. Каплана, с которым после его замены в Музее партийным директором, я продолжал общаться, а также талантливой театральной художницы Елизаветы Петровны Якуниной, пользовавшейся моими консультациями для нескольких спектаклей. Радушно приглашенный, я стал заходить на канал Грибоедова два-три раза в месяц, всегда ненадолго и после предварительного звонка. Я боялся помешать работе Евгения Львовича и общению с более близкими друзьями, тем более, что квартира 79, кроме описанного уже кабинета, состояла только из одной комнаты, правда, метров 16–18 и также в одно окно. Против него в глубине стоял буфет, в верхней застекленной части которого красовались любимые Екатериной Ивановной предметы старого фарфора, в длину, посередине комнаты — обеденный стол, обставленный редкой формы стульями с остроугольными спинками, которые я классифицировал как китаизированный чиппендель, слева у окна — туалетный столик Е.И. и дальше до входной двери тахта, покрытая большим ковром в красных тонах, половина которого поднималась на стену.

Несмотря на неизменную краткость моих визитов, мы в довоенные годы смогли выяснить общность взглядов на многое и на некоторых знакомых. Кажется, единственной более продолжительной была хорошо запомнившаяся мне поездка летом 1939 г. во Всеволожскую, где Шварцы жили в принадлежавшей Литфонду даче. Я привез туда какую-то нужную Евг. Льв. книгу, обедал у них и потом Шварц пошел провожать меня через лесок на станцию. Тут мы где-то присели на край сухой канавы, спустили в нее ноги и Е.Л. под шелест листьев говорил о верности и вечности сказочных добрых и злых персонажей, о их известных нам обобщенных прототипах в окружающей жизни, вплоть до Бабы-Яги, от прикосновения которой гибнет все живое, о естественности в произведениях искусства некоторого сгущения красок в изображении характеров. Но, что и в жизни бывают такие люди с одним белым или черным нутром, он может назвать таких, — хотя, разумеется, у большинства эти качества причудливо перемешаны*.

* Тут же Е.Л. предложил мне назвать «целиком чистых» людей, поставив условием их абсолютную правдивость и такой же альтруизм. Я «сходу» назвал своего любимого декабриста Горбачевского, доктора Газа и Н.П. Анциферова. О первом и последнем Шварц ничего не знал и начал о них расспрашивать (таково было его обычное дело — не откладывая расспрашивать о неизвестном, чем-то его заинтересовавшим). На другой день я послал ему письмо содержащее только три слова — имена Радищева, Жуковского и Чехова, на что получил листок с фамилиями: Кони, Короленко, Волошин. О последнем я тогда почти ничего не знал и Е.Л. при встрече рассказал о нем. Эту «игру» мы несколько раз возобновляли. Едва ли не последним, целиком чистым «человеком» жизнь которого обсудили уже в 1950-х гг. был английский филантроп Хилтон Говард, которым я занялся в связи с работой над повестью о Сергее Непейшине.

Постепенно я был введен в творчество Евгения Львовича. На моих глазах пошла в Новом ТЮЗе «Снежная королева» с декорациями и костюмами по эскизам Е.П.Якуниной. Евгений Львович был в основном доволен режиссурой Б.В.Зона, оформлением и актерами. Действительно, Кадочников – сказочник, Деливрон – Герда, Уварова – разбойница и др., вплоть до эпизодических ролей Ворона и Вороны, были очень хороши, отзываясь всеми способностями на талантливый текст пьесы. Одноцветные иллюстрации в изданной тогда же книжечке с текстом «Снежной королевы» не дают и малого представления о красивых по цвету и вполне созвучных сказке декорациях Якуниной. Можно сказать, что при мне писалась и ставилась в театре Комедии «Тень», открывшая собой ряд прекрасных сказок Шварца для взрослых, которые ставил и оформлял Акимов.

Если не ошибаюсь, осенью 1940 года в одной из клиник Военно-медицинской академии скончался отец Евгения Львовича, старый врач – Лев Борисович, и я был на похоронах его на Богословском кладбище. После смерти отца на Евгения Львовича как бы нахлынули воспоминания детства и юности, проведенных в очень любимом им Майкопе. Но при этом Шварц умел не только увлекательно рассказывать, но так же расспрашивать и слушать, вникать в судьбы неизвестных ему дотоле людей, запоминать их надолго, выводить из них вместе со своими наблюдениями некие общерусские заключения о «типическом». Вспоминаю, как он спрашивал меня о детстве, о родителях, братьях, нянюшке, товарищах по классу, о родной Старой Руссе.

Началась война и с нею для меня очень напряженное участие в упаковке и эвакуации Эрмитажных коллекций. Буквально с темна до темна мы паковали первый эшелон, на который была заранее заготовлена тара. Работали так напряженно, что иногда оставались ночевать в кладовых на коврах. В августе, во время упаковки второго эшелона начались налеты фашистской авиации, и я был назначен командиром отделения пожарной команды из сотрудников музея. Другим отделением командовал Пиотровский, мы дежурили по суткам, т. е. по тревоге «бойцы» бежали по постам, а мы их «проверяли» на лестницах и крышах. В перерыве между ночными тревогами спали не раздеваясь на «раскладушках» в помещениях команды, на антресолях у Советского подъезда. Тогда я как-то ночью видел, с крыши Зимнего, как сыпались на Кунсткамеру зажигалки и как сбрасывали их на мостовую подобные нам пожарные из научных сотрудников. Видел и длившийся несколько дней и ночей начавшийся 8 сентября пожар Бадаевских складов – черный дым от горящего масла и сахара вздымался в чистое осеннее небо. Мы тогда не сознавали, что это горит жизнь тысяч и тысяч ленинградцев, что этот страшный пожар приближает голод, хотя и понимали, что не рассредоточить продовольственные ресурсы в условиях войны могли только преступно легкомысленные люди.

В те месяцы я реже, но все-таки заходил или, вернее, забегал к Шварцам по дороге домой на Басков переулок. Он также дежурил на чердаке и крыше «надстройки», Екатерина Ивановна – в санзвене на медпункте, и оба менялись на глазах, как все ленинградские интеллигенты, у которых отродясь не было запасов продовольствия. Эту осень я помню сбивчиво и смутно – все силы уходило на труды и беготню по лестницам и крышам в Эрмитаже и на борьбу с голодом, с унижительным чувством «пищевой доминанты», как научнообразно называли ее позже врачи. Вечерами мы, дежурные по команде, между тревогами сидели над книгами и рукописями, пытались отвлечься от нее и работать. Наши переведенные в подвальные убежища семьи трудно и голодно жили тут же. Мы видели, как жены и дети худели и бледнели. Я навещивался на Басков и дважды заделывал фанерой выбитые взрывной волной окна.

В конце ноября Шварцы сказали мне, что решили эвакуироваться, что их обещали вывезти на «Большую землю» самолетом. Будут добираться до Кирова, где с Большим драматическим театром находилась первая жена Евгения Львовича

Гаянэ Николаевна Холодотова с их дочкой Наташей.

Несколько раз отлет откладывался. Наконец, 9-го или 10-го декабря Евгений Львович, позвонив мне в Эрмитаж, сообщил, что в эту ночь их обещают увезти на аэродром. Под вечер я пришел проститься. У двери мы встретились с шедшим туда же облаченным в форму капитана интендантской службы писателем Е.С.Рыссом. Мы с ним таскали чемоданы обессиленных Шварцев на большие весы, почему-то стоявшие в западине коридора «надстройки», – проверяли не превышают ли они веса, допускаемого в самолете. Потом одевали Евгения Львовича, который так похудел, что втиснули его в два костюма, в драповое и зимнее пальто. Правда, в таком снаряжении он двигался с трудом, по его словам, «как водолаз на свинцовых подошвах». В этот вечер Екатерина Ивановна передала мне на хранение два любимых предмета – золоченую полоскательницу с отличной росписью – букетом цветов завода Зиновьева и гарднеровский кувшин – оба предмета 40-х гг. XIX века. А Евгений Львович, как всегда с шутками, что приглашает меня на первый послевоенный обед, просил сохранить три ложки, три вилки и три ножа нержавеющей стали. Мы с Рыссом ждали машину, которая должна была прийти в 10 часов, чтобы помочь Шварцам погрузиться. Но без четверти одиннадцать, не дождавись ее, я убежал в Эрмитаж, у меня не было ночного пропуска, а Рысс остался с тем, чтобы переночевать в квартире Шварцев после их отъезда.

Через неделю, 18 ноября 1941 г., я, будучи уже «на пределе», попал в Мечниковскую больницу, где вскоре прекратилась подача тепла и освещения. Потом, благодаря настойчивым стараниям А.И.Ракова, был переведен в военный госпиталь на военный паек (тогда еще он был одинаковым для красноармейцев и командиров), за что меня обязали ежедневно читать лекции раненым у сложенной ими печурки. Пробыл я в госпитале до 15-го февраля. Об этих двух месяцах и людях, которых тогда видел, следовало бы написать особую книгу, но она не идет к этой главе, посвященной Шварцам, хотя, конечно, и о них вспоминал, стоя, казалось, у последнего рубежа, как о всех близких людях, и радовался, что уехали. Вызван я был из госпиталя запиской Марианны Евгеньевны, сообщавшей, что отопление в эрмитажных убежищах-подвалах прекратилось, все оставшиеся в живых перебираются по домам. Надо и нам делать то же: поселиться в меньшей из двух наших комнат, поставить там буржуйку, менять, что возьмут на рынке, на продовольствие и решать вопрос об эвакуации. Да, вся эта зима и все пережитое и виденное в самую страшную пору блокады, – уже другая тема. Скажу



Старая Русса. 1944

только, что после возвращения из госпиталя я нашел дома открытку от Евгения Львовича, сообщавшую, что они после остановки в Костроме добрались-таки до Кирова, где приходят в себя и собираются соединиться на юге с труппой театра Комедии, вылетевшей из Ленинграда почти одновременно с ними. В Эрмитаже мне нечего было делать после эвакуации коллекций и нужно было добыть рабочую карточку, по которой выдавали на 125 гр. хлеба больше в сутки, чем по карточке служащего. Взяв расчет в Эрмитаже, я поступил санитаром приемного покоя в 78-й эвакогоспиталь (на Кировской) и проработал там четыре месяца, после чего, оставшись уже один – семья моя выехала в эвакуацию 23 марта, перешел на работу в Институт Русской литературы (Пушкинский дом) на должность заведующего музеем. Такого, собственно, не существовало, он был свернут и его экспонаты спущены в первый этаж под своды здания бывшей таможни, построенной в начале XIX века. Но дела нам, не уехавшим в эвакуацию, трем научным сотрудникам вполне хватало по охране здания, отоплению водопровода, заделке пробоин на крыше, добыче и пилке дров и т.д.

Помянутая выше моя номинальная должность важна для настоящих воспоминаний потому, что весной 1944 года я получил от Евгения Львовича письмо из Сталинобада, сообщавшее, что они вместе с театром Комедии перебираются в Москву. Это письмо заканчивалось сердечной припиской М.Б.Каплана, волей судьбы оказавшегося еще до войны в Сталинобаде и занимавшего там некую должность по части управления искусствами*. Вскоре же я получил открытку от Н.П.Акимова, писавшего, что театр уже в Москве, а в конце июля мне было приказано вылететь туда же для поездки с правительственной комиссией в Пушкинские Горы, чтобы зафиксировать состояние заповедника после изгнания фашистов. Прошло двое суток, прежде чем мне доставили билет на самолет (хотя поездка по московской дороге ходила уже вполне исправно), и 26 июля я вылетел на «Дугласе» с аэродрома где-то за Охтой вместе с десятком командировочных, которые роптали, что не едут поездом, потому что нескольких тошнило от «болтанки», и мы все очень мерзли, – самолет был без отопления. Добравшись в Москву до Нескучного двorca, я узнал, что комиссия в это же утро специальным самолетом уже вылетела в Пушкинские Горы, но мне надлежит ждать ее возвращения, – может, чем-нибудь пригожусь по своей должности, т.к. заповедник был тогда филиалом музея ИРЛИ. Мне выдали талоны на питание в Доме ученых и направление в общежитие Академии наук, наказали звонить каждое утро по некоему телефону и осведомляться, не нужен ли я. В тот же день я встретил на улице актера театра Комедии В.Г.Киселева и узнал, что Шварцы живут в гостинице «Москва». Назавтра утром я пришел туда, но застал дома одну Екатерину Ивановну. Наскоро напоив меня кофе, она растолковала, как добраться до здания Театра музыкальной комедии, где происходил «чистый» прогон новой пьесы Шварца «Дракон», а вечером будет генеральная репетиция, на которой, она полагала, его и запретят.

Когда я приехал в театр, действие уже началось. Встреченный в вестибюле зав. труппой Зинковский провел меня в темный зал и указал место сзади Евгения Львовича и Николая Павловича, сидящих рядом. До антракта я их не беспокоил. Не буду описывать, как мы обнимались, когда осветили зал и они меня увидели. Несмотря на волнение за судьбу спектакля встреча была самая сердечная. Мы не виделись более двух с половиной лет. И каких!

О спектакле скажу, что Эльза и Ланцелот мне решительно не понравились. И еще, что третий акт показался «недотянутым», – он шел как-то неуверенно и вызвал ряд энергичных замечаний вошедшего по окончании его на сцену Николая Павловича.

* Два письма и открытку, присланные мне Е.А., я, к сожалению, уничтожил, как и всю корреспонденцию, которую получал до 1950 года.

В этот вечер я не пошел к Шварцам, зная, как они оба волнуются. На другой день мне сказали, что комиссия из Пушкинских Гор еще не вернулась, я отправился в «Москву» и узнал, что спектакль безоговорочно «зарубили». Мне кажется, что тогда и Евгений Львович не очень надеялся на его разрешение. Разговор наш шел больше о том и тех, кто оставался в Ленинграде. Я медлил сказать, что в квартиру Шварцев попал артснаряд, – ведь Екатерина Ивановна была такая домоседка и хозяйка. Но оказалось, что им об этом уже написали и что мебель не очень пострадала.

Вечер и ночь я провел у Акимова, который жил в квартире А.И.Ремизовой, своей бывшей жены и неизменно доброго друга. Мы долго лежали рядом на стасенном на пол матрасе, и я рассказывал о Ленинграде, а он о том, что видел в Сочи и Средней Азии, что пережил. Елена Владимировна с Анюткой в это время еще находились в США. Мне было приятно сообщить Николаю Павловичу, что оставленные мне на хранение папку с любимыми рисунками и шкатулку с фарфоровыми фигурками работы Н.Я.Данько – персонажами «Двенадцатой ночи» и «Тени» – я сумел сохранить.

Через два дня, так и не встретив членов возвратившейся из Пушкинских Гор комиссии, я был отпущен с миром.

От этого краткого упоминания о встречах в Москве я хочу шагнуть в сторону – к любви Евгения Львовича к животным, на возню с которыми он никогда не жалел времени. У них в гостинице «Москва» я впервые увидел очень красивого серого с белым котенка, который потом превратился в столь же красивого Котана, много раз сфотографированного с Евгением Львовичем, Екатериной Ивановной и отдельно на буфете, на диване, на книжной полке.

Мои воспоминания о Котане начинаются с эпизода, полагаю, оставшегося навсегда неизвестным его хозяевам. В гостинице «Москва» Шварцы делили трехкомнатный номер с К.Я.Гурешкой и И.А.Ханзелем. Телефон стоял в средней комнате, представляющей нечто вроде общей гостиной. Я только что позвонил от них в Академию наук, чтобы узнать, приехала ли комиссия, когда некто попросил к телефону Ханзеля, и я позвал его через дверь. И.А. вошел стремительно и, не заметив котенка, крепко поддал его ногой, очевидно, по голове. Раздался глухой звук, похожий на удар деревянным молотком по крокетному шару. Я замер. Котенок отлетел шага на четыре и упал у стены. Ханзель, еще не взявши трубку, испуганно прижал руку к сердцу. Я поднял котенка думая, что он уже мертв. Мое удивление было очень велико, когда мягкий комочек зашевелился на моих ладонях и замурлыкал. Ханзель облегченно провел рукой по лицу, по груди и взялся за трубку, а я ушел с котенком в комнату к Шварцам и скорей передал «младенца» Екатерине Ивановне, ожидая, что с ним еще случится что-нибудь вроде «родимчика».

Подтверждая пословицу о живучести своего племени, Котан не получил сотрясения мозга, не оглох, не ослеп, не онемел и много лет радовал хозяев умом, добронравием и живостью. Он часами лежал на кушетке в кабинете Евгения Львовича, подобрав «муфтой» передние лапы и внимательно наблюдая за работой писателя, не смущаясь стуком машинки. Но также был готов в любой момент к игре с бумажкой на бичевке, висевшей на спинке кресла с лебедями, которой они с Евгением Львовичем увлекались, по-моему, в равной мере. Часто, когда я приходил, Шварц, взяв мою трость, начинал водить ею по ковру над тахтой и Котан без устали прыгал, стараясь схватить ее рукоятку слоновой кости, пока, наконец, не повисал на ней, победив уловки хозяина. Умел он также приносить в зубах брошенную конфетную бумажку, свернутую шариком. Впрочем, этому научивались и некоторые наши кошки, не притязавшие на гениальность. Но верхом проявления ума Котана было пользование человеческой уборной и своевременное мяуканье, приглашавшее дернуть за цепочку. Этим, конечно, он восхищал хозяев и всех их друзей. Евгений Львович уверял, что кот так умен оттого, что первым слушает его наставительные комедии, когда автор читает себе вслух написанное.

Но после водворения Шварцев в голубом домике в Комарово, Котан проявлял слабость, свойственную его заурядным родичам: влезши играя на дерево, не умел сам спускаться вниз. Тогда Шварцы звонили по телефону в пожарную часть, которая находилась от них в одном квартале, и мигом появлялись двое пожарных, неся длинную лестницу. Сняв кота с дерева, они получали по трешке и удалялись, как уверял Евгений Львович, нащепав коту совет, как можно скорее повторить то же упражнение.

Кроме Котана, в их комаровском доме появилась собака вроде лайки, кажется, жившая еще у арендовавших ранее голубой домик Германов. Она быстро привязалась к новым, очень ласковым хозяевам и также быстро растолстела, хотя постоянно сопровождала Евгения Львовича на дальних пешеходных прогулках. Для пса был заказан ошейник, на металлической пластинке которого выгравировано: «Томочка пос.Комарово Морская улица 4». Евгений Львович говорил, что боится только, как бы Томка, у которой толщина шеи стала равна объему головы, почесываясь, не сняла ошейник и не потерялась, забыв свой адрес, потому что ее свел с ума кудлатый красавец Джонни, пес, якобы принадлежавший академику Полканову, убежавший от скупого хозяина и превратившийся в романтического бродягу. «Безнравственный босьяк!» – говорил Евгений Львович, возвращаясь с прогулки, пропустив Томку в калитку и закрыв ее перед носом Джонни. После чего прибавлял: – «Погоди! Я сейчас тебе что-нибудь вынесу!». Джонни садился у калитки и ждал, зная по опыту, что этот толстяк его не обманет.

Евгений Львович очень любил и хорошо знал птиц. После его кончины Екатерина Ивановна подарила мне целый набор книг по орнитологии. Я, развесив уши, слушал не раз его рассказы о птицах, когда мы вдвоем гуляли в Комарово, и они становились еще красноречивее, если с нами гуляла подростком его дочь Наташа. Рассказы о птицах были на дневных прогулках, а вечерами он рассказывал ей об астрономии. Тут я поражаюсь не только объему сведений, которыми располагал Евгений Львович, но и его педагогическому дару, – как он умел интересно и живо рассказывать девочке о звездных мирах, о возможной жизни на других планетах.

Прогулки с Наташей, на которых я бывал их спутником, относятся к тому времени, когда Шварцы еще жили в старом деревянном Доме творчества, и мы с Евгением Львовичем ходили на прогулки после обеда и перед сном. На прогулках с дочерью Евгений Львович умел смешить нас разнообразными выдумками и рассказами. Он удивительно подражал крикам ворон и лаю собак, так что вороны слетались к нам, а собаки за заборами отвечали лаем и виляли хвостами, всматриваясь в двуногого собрата. Я уверен, что присутствовал при том, как Евгений Львович впервые выпустил в свет широко разошедшуюся позже остроту о высокой трансформаторной будке на Большом проспекте. Мы шли втроем по этой улице в сверкающий февральский день, когда навстречу промелькнули, пробежав на лыжах очень высокий и тонкий Черкасов с сыном подростком. Евгений Львович проводил глазами лыжников и перевел их на недавно построенную ярко-желтую будку, похожую на башню.

– А ведь, наверное, это просто одиночная туалетная комната для Коли Черкасова! – сказал он с задумчивым выражением. – Все-таки народный СССР, надо заботиться об его удобствах во время занятий спортом...

Евгений Львович был замечательным рассказчиком, чуть-чуть игравшим за каждое действующее лицо. Помню рассказ о том, как приехал в Тбилиси на празднование юбилея Шота Руставели и поселясь в гостинице в одной комнате с Ю.П.Германом, они обнаружили, что в поезде сильно испачкали паровозной копотью свои рубашки и, главное, различные по цветам очень пестрые пиджамы. Рекомендованная в гостинице прачка-грузинка принесла выстиранное белье и записку со счетом, в которой на первом месте стояло: «Клована – 2». Евгений Львович тотчас же подтвердил старухе, что они с Германом ленинградские клоуны,

будут выступать в тбилисском цирке и тут же перекувырнулся на ковре, вспомнив школьные годы. Другой раз, замечательно имитируя мешанский брызгливый говор, он рассказал, как, едучи почтовым поездом в Москву, попал в компанию с глуховатым стариком, который непрерывно ворчал на все новое в жизни – на видимые на пашнях трактора, от которых нет навоза для удобрения, на «глупую» игру в футбол, на бесформенные «без изюма» булки на станциях и, совершенно изведя Евгения Львовича, наконец, заснул. Уже подъезжая к Москве, он, казалось, дремавший, услышал, как третий сосед по купе сказал Шварцу, что хорошо бы выпить чайку.

– Это за что же меня в Чеку?.. – взвился попутчик, пользуясь устарелой терминологией 1920-х годов, когда он, очевидно, начал свое ворчанье.

Прекрасно разыгрывал Евгений Львович сцену, как в банях, – а он любил париться, – его по трясущимся рукам принимали за контуженного, и все инвалиды наперебой предлагали помыть и потереть ему спину, расспрашивая, в какой части и в каких боях участвовал? А он, не желая врать, ворчал нечленораздельно, делая вид, что и речь у него тоже не в порядке.

Примером шутки Евгения Львовича может служить надпись на одной из подаренных мне книг. Это – «Первоклассница», изданная в Братиславе. Даря ее мне, Шварц сказал, что напишет по-югославски, потому, мол, что легко понимает весь текст книги. Написал он следующее: Dragomu Glinke na dobroj pamjats ot starogo druga. Jivi bodro! E.Svarc.

В конце 40-х годов Евгений Львович стал со мной сух и недоверчив. Екатерина Ивановна старалась сгладить это отчуждение, но я сократил свои посещения и, кажется, с полгода вовсе не бывал у Шварцев, куда сам Евгений Львович не позвонил мне и настоятельно не просил прийти. Через несколько лет я спросил его, что было причиной его охлаждения? И услышал в ответ: – «Не все ли равно теперь, стоит ли про то вспоминать? Наврали мне на тебя, бог знает что. Забудь, пожалуйста, очень тебя прошу». – А кто и что наврал, я так и не знаю. Может быть, когда будут опубликованы его дневники, хранящиеся в Московском литературном архиве, это станет ясным, но, увы, это будет не скоро, и я не узнаю имени своего «доброжелателя».

В начале 50-х годов Евгений Львович начал работать над пьесой-сказкой, которая долго шла в наших разговорах под именем «Медведь». Я даже подарил ему «для вдохновения» купленную в комиссионном магазине маленькую посеребренную фигурку сидящего медведя. А однажды, читая мне и коту уже последнее действие, он сказал, что, наконец, нашел для пьесы название – «Обыкновенное чудо».

Пожалуй, за время нашей дружбы, самым памятным мне было раннее утро 17 апреля 1951 г. Вечером 16-го Н.П.Акимов праздновал свое пятидесятилетие. Это был тот период, когда он, будучи изгнан из театра Комедии и оплеван на собраниях и в печати как формалист и космополит, держал себя с редкой твердостью и достоинством. Праздничный ужин был особенно знаменателен: собрались только те, кто остались ему верны в дни «опалы». Под конец ужина Акимов и Шварц выпили со мной на «ты», что и сейчас вспоминаю, как большую честь. Но главное воспоминание связано с ранним утром, когда мы вышли из гостеприимного дома на Кирпичном переулке и, простившись с другими гостями на углу Невского, вдвоем со Шварцем пошли направо по Невскому. Было сырое и серое утро, безлюдное и тихое. Одни постовые милиционеры вышагивали на перекрестках – тогда еще существовали такие круглосуточные посты. Мы медленно шли, с удовольствием дыша чистым от автомобильной гари воздухом и вспоминали вечер, когда много было говорено остро и смешного. Как-то разговор перешел на поэзию и на Пушкина. Раньше Евгений Львович на прогулках в Комарово не раз просил меня читать «Медного всадника» и «Онегина», многие главы которого я знал

наизусть. Но в это утро он стал читать сам. Мы, верно, больше получаса ходили по Екатерининскому каналу вдоль их дома, и он очень хорошо читал свои любимые стихи. Неторопливо, монотонно, с тонким чувством настроения, владевшим автором. В то время в большой славе был Антон Исаакович Шварц – двоюродный брат моего друга. И слава его была не зряшная, тещ он был превосходный. Но Евгению Львович говорил совсем в другой манере, не на публику, а только для нас двоих, негромко, очень проникновенно и печально, словом, так, что для меня навсегда памяты прочитанные стихи. Это были: «Когда за городом задумчив я брожу», «Безумных лет угасшее веселье», «Стихи, сочиненные во время бессонницы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных» и, наконец, «Октябрь уж наступил».

Мы медленно ходили по тротуару и Шварц читал, порой приостанавливаясь, смотря вверх домов в серое небо и в промежутках, как бы прислушиваясь к чириканью воробьев и шуму просыпающегося города. Должен сказать, что ни одна фотография не передает прелести его лица – духовной, внутренней прелести, умного и гуманного человека, лица, на которое мне всегда было радостно смотреть.

В последние два-три года жизни, когда Евгений Львович часто прихварывал, я, можно сказать, систематически носил ему книги по русской истории, преимущественно мемуары из библиотеки Эрмитажа. Я подбирал их по своему вкусу, и, естественно, мы обменивались невеселыми мыслями о прошлом России. Если мне случалось долго не бывать, Евгений Львович звонил мне, просил принести новых книг. А когда я приходил (уже на улице Васильевых), то неизменно слышал вопрос с дивана, стоявшего в правой комнате их квартиры так, что он видел входивших в прихожую:

– Куда ты пропал?..

Долго еще после кончины Евгения Львовича я вспоминал эту фразу, ее добрую интонацию.

К слову и почти в заключение – о лексиконе Шварца. А.И.Пантелеев в своих воспоминаниях несколько раз повторяет, что Е.Л., добродушно смакуя, говаривал о ком-то: – Сволочь такая... – Я же никак не могу вспомнить это выражение в устах Шварца. Его речь неизменно казалась мне в основном очень близкой к воспоминаниям моего детства – речью русских интеллигентов начала XX века, почти что речью Чехова и его героев, в которой любые чувства, самые гневные и резкие, могли быть выражены без бранных слов.

Идут годы, время затушевывает, гасит облики ушедших друзей, их голоса. Но от Евгения Львовича остались его пьесы. Как несправедливо, что наиболее полное издание их напечатано только после смерти автора. Однако, все-таки они напечатаны и несут людям свет души Шварца, его доброту, ум и тонкий юмор, радуют и облагораживают читателей и зрителей.

В юности одна старая любительница-хиромантка, рассматривая ладонь моей руки, сказала, что мне повезет в будущем, – я буду знать несколько людей большого таланта и высокой души. Она оказалась совершенно права, и думаю, что Евгения Львовича следует поставить едва ли не первым по обоим этим качествам в списке тех, кого я любил.



В.М. ГЛИНКА О БИЛИБИНЕ

Очень трудно писать через столько лет о человеке, с которым разговаривал всего несколько раз. Но впечатление от встреч с И.Я.Билибиным было настолько сильным, что память сохранила некоторые из них.

Весной 1939 г. театр им. А.С.Пушкина пригласил меня для историко-бытовой консультации по пьесе «Суворов». При первом разговоре режиссер А.А.Музиль сказал, что оформлять спектакль будет незадолго до того возвратившийся на родину Билибин, и я с интересом стал ждать встречи. С детства помнились яркие и своеобразные иллюстрации к сказкам Пушкина, с юности – декорации и костюмы опер Римского-Корсакова. Перед глазами стоял облик шеголя-художника с портрета работы Кустодиева. Сидит как-то боком, положив ногу на ногу. В петлице сюртука красная гвоздика, галстук – пышным белым бантом. Волосы до плеч, борода. Все несколько нарочито – костюм, прическа, поза.

И вот в фойе театра нас познакомили. Неторопливый, крепкий человек в темно-сером костюме. Бритое лицо, седеющая коротко остриженная голова. Впечатление от наружности и манер сдержанное, спокойное, уверенное. Взгляд по-художнически внимательный, – все видит и что-то отобранное сберегает. Коротко и точно изложил мне, какие материалы ему нужны. Во-первых, – все касающееся военных форм, особенно детально генеральских шитых золотом мундиров екатерининского времени. Во-вторых, – интерьеры архитектора Бренны для дворца Павла и архитекторов Ринальди и Камерона для яской резиденции Потемкина.

– Покои Павла сделаю строгие и по-царски помпезные, белые с золотом, в лепных античных атрибутах войны, – сказал Иван Яковлевич. – А у Потемкина поцветистей – фальшивый мрамор, гирлянды зелени, ковры какие-нибудь восточные на лестнице.

Я напомнил, что любимым архитектором Потемкина был Старов – автор дворцов в Екатеринославле и Петербурге, мастер строгих форм, сдержанного цвета.

– Оно так, – ответил Билибин, – но в Яссах Потемкин чьим-то чужим домом пользовался, наверняка более ранней постройки. Вот и надо показать это весьма провинциальное жилище, которое походный княжеский архитектор или, вернее, декоратор на время приспособил для первого вельможи империи и его прихлебателей. Камерон и Ринальди мне нужны только для мотивов. Все сделаю чуть-чуть на них похожим, но гораздо проще и грубее... А вы не помните, в каком номере «Старых годов» напечатана статья о Гатчине?

Много раз читанная в годы работы в Гатчинском дворце-музее статья крепко сидела в памяти, я тотчас назвал нужные данные и решил посоветовать Ивану Яковлевичу съездить в Павловский и Гатчинский дворцы посмотреть залы, созданные всеми тремя названными им архитекторами.

– В Павловске был третий день, – ответил Билибин. – И в Гатчину съезжу на днях. С какого вокзала туда ездят?

Мы обменялись номерами телефонов и разошлись. Через два-три дня Иван Яковлевич позвонил мне, сказал, что получил в библиотеке Академии художеств все, что нужно по Павловску, но необходимый номер «Старых годов» у кого-то на руках и просил достать его «для подкрепления увиденному».

– Уже съездили в Гатчину? – спросил я.

– Завтра с утра еду.

А еще через несколько дней, вечером, я привез на Гулярную портфель, туго набитый книгами. Среди них был альбом «Жизнь Суворова в художественных изображениях». Просматривая портреты полководца, Иван Яковлевич сказал ворчливо:

– Все с лица да с лица, а где спину возьмешь? Мне надо для портных нарисовать выкройку и как там расшито.

Я открыл другую книгу, где были помещены необходимые ему костюмы в различных поворотах, и он сразу начал деловито записывать цвета (иллюстрации были черно-белые), закладывая нужные страницы бумажками со своими заметками. Потом, перелистывая «Старые годы», рассказал о поездке в Гатчину, хвалил красоту дворцовых зал. Покончив с принесенными мною книгами, Иван Яковлевич показал два готовых эскиза декораций – русский лагерь в Италии и альпийский перевал с хижиной пастухов, в которой собрался штаб Суворова перед штурмом Чертова моста. Эскизы показались мне превосходными, мастерски передававшими летний день на прожженной солнцем равнине и мрачное, пронизанное ледяным ветром, горное ущелье. Я высказал свое впечатление.

– Это было нетрудно по памяти рисовать, – сказал Билибин. – Меня больше дворцы беспокоили...

В этот вечер я был представлен А.В.Шекотиной, и после чая Иван Яковлевич провел целую экскурсию по развешанным по стенам пейзажам своей работы. От Египта, через Францию до Чехословакии – таков был наш путь в этот вечер. О чехах, об их умении беречь свою старину он говорил особенно тепло и любовно.

– Квартиры перепланируют, со всеми современными удобствами будут жить, а фасады старые не тронут, – рассказывал он.

Недели, кажется, через две была еще одна запомнившаяся встреча. Меня пригласили присутствовать при сдаче костюмных эскизов. Они оказались очень небольшими, рост фигурок 10–12 см, но очень точно прорисованы, мастерски пройдены акварелью, со множеством отдельно вынесенных на поля деталей и пояснений. В одном случае указывалось, где следует больше засалить сарафан у бабы-стряпухи, в другом давался схематический чертеж каркаса под фижмы дамского роброна, в третьем обращалось внимание, что домашнюю куртку опального Суворова надо сделать из толстой байки, а не из сукна и подчеркнута «мягкая, старческая затрапеза».

Костюмы массовки – русских крестьян встречающих Суворова – романовские полушубки, валенки, шапки, кашавейки, повойники, несмотря на их цветовую скромность, были нарисованы как-то особенно сочно и сразу чувствовалось, что художник тонко знает и любит все это.

Но больше всего меня заняли лица маленьких фигурок. Во многих случаях был дан портрет чрезвычайно выразительный и несколько утрированный. Лицо Потемкина – усталое, обрюзглое, все презирающее. Денщика Прошки – плутоватое, умное. Молодого генерала Милорадовича – открытое, лихое, веселое. Солдатам, офицерам, придворным дамам – этим маленьким портретам художник сообщил биографии и характеры. До сих пор помню австрийского генерала с лицом, полным спеси и одновременно унылым. Утиный нос, впалые щеки, тусклый взор. И такая голова сидит на длинной тонкой шее над покатыми женоподобными плечами, облаченными в белый мундир. Заметив, что внимательно всматриваюсь в рисунок, Иван Яковлевич вдруг подмигнул мне и спросил весело: «Хорош гусь?»

Не помню деталей других наших встреч, но сохранил сложившееся за время подготовки спектакля общее впечатление: у Ивана Яковлевича был спокойный и твердый рабочий стиль. Сдержанный, несколько суховатый в обращении, он все делал в точные сроки и делал хорошо. Но и от других требовал того же. Умел быть настойчивым, наблюдая за выполнением эскизов, за освещением декораций. Слушая его замечания на монтажной репетиции, мне казалось, что между строк звучало: я делаю свою работу как надо, делайте вы свою так же.

В.М.ГЛИНКА О ПАХОМОВЕ

Знакомство мое с А.Ф.Паховым началось ранней весной 1936 года. Он пришел в музей Революции, где я тогда работал, и просил дать консультацию по нескольким рисункам к повести «Дубровский». Художник рассказал, что к июню следующего, юбилейного года, Ленгослитиздат готовил большую серию, в которую входили многие произведения Пушкина, заново иллюстрируемые ленинградскими графиками. Тут же Алексей Федорович прочел мне список вопросов, на которые хотел бы получить ответы. Список был обстоятельным, тщательно обдуман и сразу чувствовалась чрезвычайная добросовестность художника.

Еще ярче это качество выказалось во время работы с материалом. Когда я показывал литографированное изображение кареты, в какой мог везти после свадьбы князь Верейский свою юную жену, Алексей Федорович задавал вопросы об устройстве рессор, к которым на ремнях подвешивался кузов экипажа, и об особенностях дышлавой запряжки. Потом спросил, как отделялась внутренность дорогой барской кареты, которая может быть видна, когда Дубровский, распахнув дверцу, сообщает Маше, что она свободна. Собираясь изобразить разбойника, поющего в лесном лагере, сидя на пушке, Алексей Федорович просил объяснения, откуда могло взяться у разбойников артиллерийское орудие? Неужели они отважились нападать на воинские части? Услышав, что вернее всего это была пушка малого калибра, какими пользовались многие помещики для салютов в дни семейных торжеств и церковных праздников, Паховов спросил, все еще сомневаясь, можно ли было из такой пушки убить одного солдата и ранить двоих, как сказано у Пушкина? И только получив ответ, что это вполне могло произойти при выстреле картечью на близком расстоянии, до конца мне поверил и начал зарисовывать такую пушку.

Так же серьезно отнесся он ко всем деталям внешнего вида капитан-исправника, судейских чиновников и псарей, которых собирался изобразить. Некоторые детали одежды, оружие, курительные трубки и т.п. я не мог тогда показать, и художник просил их набросать карандашом в различных ракурсах. Снабдив мои рисунки обстоятельными подписями, он унес их с собой.

Прошло немногим более года, и Паховов сказал мне по телефону, что хочет подарить недавно вышедшего «Дубровского». Придя ко мне домой, он принес, кроме этого довольно изящного томика, еще подарок – ранее вышедший с его иллюстрациями роман Островского «Как закалялась сталь». Рассматривая «Дубровского», я упрекнул художника, что не изобразил рессоры и детали упряжки, которые так подробно зарисовывал, на что получил уверенный ответ:

– Узнать я должен все, а композицию решаешь в работе.

Стремление к тщательному всестороннему знакомству с материалом, который предстояло изобразить, думается, было характерным для работы Паховова в течение всей его жизни.

После просмотра иллюстраций к «Дубровскому», качеством печати которых Алексей Федорович был не очень доволен, он просил меня не откладывая высказать свое впечатление от рисунков к роману Н.А.Островского «Как закалялась сталь». При таком беглом просмотре я мог сказать только, что заставки к главам мне нравятся больше, чем рисунки в лист. Да к тому же на одном из них я увидел ошибку: у двоих кавалеристов винтовки были надеты на походе через правое плечо, в то время как в регулярной кавалерии через него проходила портупея шашки, а ремень винтовки шел с нею накрест, т.е. через левое плечо. Алексей Федорович, защищаясь, сказал, что Корчагин недавно в коннице и у него может быть и так. Но я ответил, что у едущего по другую сторону командира кавалериста,

явно пожилого и старослужащего, на что указывает находящаяся в его руке пика, владеть которой не так просто выучиться, с винтовкой тоже ошибка. В подтверждение я снял с книжной полки кавалерийский устав и показал помещенный в нем рисунок. Пахомов «сдался», но тут же открыл другую картинку, где подросток Сережа Брузжак шагает в пешем строю, и спросил, правильно ли здесь несут ружья «на ремень». На этом рисунке все было верно, их несли за левым плечом.

Между прочим, в появившихся в 1947 году новых иллюстрациях к роману Островского Пахомов, изображая рубящего с коня Корчагина, показал уже правильное положение винтовки, что не преминул мне сказать при встрече на какой-то выставке. Должно быть, где-то записал давнее мое замечание.

В начале 1938 года журнал «Костер» принял мой рассказ «Случай на маневрах», героем которого является будущий академик-ксилограф Л.А.Серяков. Я просил Пахомова его проиллюстрировать, что было сделано с большой охотой и очень быстро. Алексей Федорович шутя сказал при этом, что делает это в равной мере из доброго отношения ко мне и из уважения к памяти вышедшего из солдатских детей Серякова.

Летом того же года мы снова встретились для консультации, на этот раз по иллюстрациям к поэме Некрасова «Мороз-Красный нос». Художнику захотелось изобразить сцену осмотра рекрута при наборе в солдаты в 1860-х годах. При обстоятельности Пахомова мне понадобилось дать ему изображения форменной одежды военного врача и приемщика-офицера, их причесок, обуви, даже деревянной мерки роста, под которую проводили новобранца. Отвечая при этом на вопросы, как производился медицинский осмотр, я между прочим упомянул, что большое внимание обращалось на состояние зубов рекрута и привел запрещенную правительством песню того времени, в которой говорилось, как желая избежать «царской службы», парни рвали себе здоровые зубы. На иллюстрации, которую создал Алексей Федорович, он изобразил как раз тот момент, когда старый военный лекар пальцем освидетельствует зубы обнаженного по пояс широкоплечего парня, с загорелыми на полевой работе шеей и кистями рук. Красиво изданную книгу с этой иллюстрацией я получил от Пахомова уже летом 1939 года и порадовался, как проникновенно он сумел дополнить своими многочисленными рисунками прекрасные стихи Некрасова.

Потом пришла война и блокада, которую мы оба провели в Ленинграде. После страшной зимы 1941–1942 года встретились уже осенью в магазине на Малой Садовой, к которому были «прикреплены» художники и писатели. Очень обрадовались друг другу и крепко обнялись, хотя, мне кажется, Алексей Федорович не относился к тем, кто был склонен к внешним проявлениям чувствительности. «Отоварившись», вышли вместе и, дойдя до Михайловского сада, присели отдохнуть и поговорить, глядя за Мойку на Марсово поле с зенитной батареей, прикрытой маскировочной сеткой. Вспоминали о том, что видели, и о тех, кого больше никогда не встретим. Алексей Федорович сказал, что многое зарисовывал и сейчас готовит ряд литографий о том, что довелось увидеть в первый год войны. Он предложил тогда же дойти до его квартиры на Кировском, посмотреть эти работы. Меня особенно поразили своей трагичной правдивостью три листа: «В стационар», «За водой» и «После налета», где так сиротливо полощется по ветру занавеска в окне запорошенной снегом, разрушенной авиабомбой квартиры. Я сейчас не уверен, были ли это уже отпечатки, но помню много рисунков с вариантами тех же тем. Мы пили чай при керосиновой лампочке и опять говорили о пережитом, да так заговорились, что я едва успел дойти до Института русской литературы, где тогда работал, до комендантского часа.

Не могу умолчать о том, что позже, когда на одной из выставок я увидел завершающий лист той сюиты «Салют в честь снятия блокады» (1944 г.) то навсегда запомнил разнообразную гамму человеческих чувств, которую Алексею Федорови-

чу удалось запечатлеть в лицах и позах тесно стоящей группы людей первого плана. Этот удивительный лист, как я знаю, не на меня одного произвел глубоко волнующее впечатление последнего, по-своему умиротворяющего аккорда трагической симфонии блокадного Ленинграда, созданной Пахомовым.

Новая «совместная» работа пришла только в 1957 году, когда Алексей Федорович пришел ко мне посоветоваться о том, как одеть Тургенева в рассказе «Бежин луг». Я тут же дал ему репродукцию с портрета в рост работы Дмитриева-Оренбургского и рекомендовал «помолодить» лицо, хотя бы по известной фотографии писателей-сотрудников «Современника» 1856 г., а также несколько изменить фасон шляпы.

Случалось, что мы переговаривались по телефону: помню, как Алексей Федорович спрашивал, в какой шапке и курточке может летом прийти на конный двор Никита в повести А.Н.Толстого.

В 1963 году мы два раза встречались по поводу рисунков к «Липунюшке». Тут были костюмы и прически барина, барыни, их шеголя-кучера и все, касавшееся троечной «русской» запряжки с коляской. Обсуждали и «наборную» сбрую, и то, что в то время, когда коренник идет рысью, высоко держа голову, пристяжные должны скакать галопом, круто отвернув от него и опустив шею.

Эти рисунки, когда я увидел их уже напечатанными в книге, будучи в гостях у Алексея Федоровича в Шувалове, принесли нам обоим некоторое огорчение. В цвете художник сделал всех трех коней разной масти, в то время как полагалось подбирать в тройку одну масть, да еще пристяжным изобразил хомуты одинаковые с коренником, чего не бывало, — они имели облегченные хомуты, несущие только постромки. От моих замечаний Алексей Федорович несколько расстроился, но делать было нечего — напечатанного не переделаешь. Он бранил себя, что не показал мне окончательный вариант рисунка в цвете, а я — себя, что не попросил его об этом.

Если не ошибаюсь, последняя наша деловая встреча была связана с рассказом Л.Н.Толстого «Акула». В одном из хранилищ Эрмитажа я показывал Алексею Федоровичу фотографии морских офицеров 1860-х гг., чтобы он мог изобразить старого артиллериста у пушки. Хотя на всех фото даже во время дальнего плавания моряки были одеты в темные суконные сюртуки или мундиры, но мы решили, что в удушливую жару, у берегов Африки, можно представить себе, что пожилой офицер, отступив от этого правила, вышел на палубу в жилете, хотя при галстукке и в фуражке. Так и изобразил его Пахомов. А орудие в нужном ему повороте пошел из Эрмитажа рисовать в Морской музей.

В заключение своих воспоминаний о встречах с Алексеем Федоровичем я хотел бы еще раз отметить, что он был одним из добросовестнейших художников, среди тех, кого мне довелось консультировать. Историческая правда, тщательно рассмотренная по достоверным источникам, становилась для него необходимой правдой искусства. «Узнать я должен все», — это было его обязательным правилом, которому, к сожалению, не всегда следуют иллюстраторы, и от которого еще чаще отступают художники театра и кино.



А.ПАХОМОВ – В.М.ГЛИНКЕ

8 ноября 1963 г.

Дорогой Владислав Михайлович

...Очень тронут тем, что ты так близко к сердцу принимаешь мои дела. Но именно Тройку я начал переделывать сразу же после твоего ухода, наложил кальку и по кальке наметил новые позы лошадей. Окончательно завершать этот

КОНСУЛЬТАЦИИ КИНОФИЛЬМОВ

рисунок я пока не стал, т.к. вдруг для меня открылось, что типы или, как говорят, образы старика и Липунюшки у меня, оказывается, очень бледные, будничные и скучные и я, в первую очередь, стал их решительно перекраивать. Барыня получилась, кажется, очень колоритная. Кучер тоже. Эти рисунки я уже успел сделать. И Тройка в новом варианте будет не плоха. Вот только я еще не знаю, когда лошадь скачет галопом, то выносит обе передние ноги совсем вместе (а потом и задние) или же все-таки несколько врозь?

Да, так вот что удивительно: то, что мне менее знакомо, на этот раз, кажется, получилось пока колоритнее того, на чем, я, как будто, собаку съел, то есть мужика и мальчишки и деревенской лошади. Лошадь, на которой Липунюшка пашет, плоха, ее надо решительно переделать. Вот только пока не знаю как...

Хочу, чтобы ты еще раз посмотрел «Липунюшку». Я буду сдавать эту книжечку 10 декабря, надеюсь, до 10-го ты еще раз соберешься к нам и не наскоком, а по-человечески... чайку попить, поговорить о том о сем. Элен Феликсовна очень сожалела, что я не сумел тебя удержать и ты ускакал, как самая резвая пристяжная. Спасибо тебе – твой А.Пахомов



КУКРЫНИКСЫ – В.М.ГЛИНКЕ

22 апреля 1957 г.

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

Большое спасибо Вам за письмо.

Судя по всему нам действительно не стоило ехать в Гатчину.

К тому же мы прочитали в Больш. Сов. Энциклопедии о Керенском, и там сказано, что в костюме сестры милосердия он бежал из Петрограда, а из Гатчины про костюм не говорится. В связи с этим у нас к Вам просьба, если возможно, узнать из какого именно поместья он удирал в Петрограде, и есть ли какие-либо подробности этого бегства именно из Петрограда в Гатчину. Мы работаем над этой картиной и так или иначе пишем, но если будут какие-нибудь данные, подробности, это не повредит (помещение, днем или ночью, кто был с ним и др.).

Если удастся Вам что-либо узнать, будем Вам очень благодарны за сообщение. Простите нас за назойливость.

С искренним приветом

Кукрыниксы.

Получили мы Ваше письмо, когда все трое болели и не смогли сразу ответить.
Н.Соколов

Как-то, будучи в гостях у друзей, Владислав Михайлович оказался в одной компании с Ю.Н.Тыняновым, с которым до тех пор знаком не был. Улучив момент, он сказал Тынянову, что «восковая персона», которая у того в рассказе двигается, на самом деле двигаться не могла.

– Зачем говорить о том, чего не знаете? – сухо сказал Тынянов.

Владислав Михайлович ответил, что работает в Эрмитаже, является хранителем «персоны», и ему приходилось не только переодевать манекен, но для этого даже отсоединять от деревянных рук восковые кисти, и потому он с полной определенностью утверждает, что никакого механизма в манекене нет.

Тынянов резко повернулся, отошел и далее избегал Владислава Михайловича.



«Восковая персона»

Мое знакомство с Владиславом Михайловичем состоялось в конце 1958 года, когда я готовился к постановке «Дамы с собачкой». На редкость простой и скромный в общении, он сразу же меня очаровал. Вот, подумал я, образец Интеллигентного человека – во всем: в облике, в общении, в чувстве такта, в полноте знаний предмета, которым он занимался многие годы. И, конечно же, в увлеченности.

По собственной практике знаю, что режиссеры обычно побаиваются консультантов. Вот, мол, сейчас начнет придираться к мелочам, к несущественным пустякам. Подумаешь – не там пуговица пришита. Кому до этого дело? Среди зрителей двадцатого века, да еще второй его половины, едва ли найдутся люди, которые заметят эту самую пуговицу на мундире сановника века девятнадцатого и обратят на нее внимание.

Первая наша беседа полностью рассеяла мои опасения и сразу же сделала меня внимательным слушателем и единомышленником Владислава Михайловича. Слушая советы и замечания его, я вдруг ловил себя на мысли совершенно фантастической. Передо мной сидел, разговаривал, шутил человек, не изучавший по книгам и архивам XIX век, а живший в нем. Мне казалось, что он в свои пятьдесят лет мог встречать Гурова в Ялте, бывать в гостях у Гуровых в Москве, интересоваться «новым лицом», появившимся на набережной Ялты, дамой с собачкой. И, находясь рядом с ними, в то же время с удивительной зоркостью наблюдать за их поведением, костюмом, привычками, манерами, мельчайшими деталями окружающей их обстановки. Это было удивительный дар – умение вживаться в эпоху, как бы поселяясь в ней, чувствовать ее всеми пятью чувствами. И тогда пресловутая пуговица оказывалась не такой уж мелочью, а обязательной для художника точностью не только в главном, но и в деталях.

Когда я вижу в наших фильмах нестриженных военных или высасывающих лимонный ломтик после выпитого чая «джентльменов», я вспоминаю Владислава Михайловича и представляю, как мучительно напряглось бы его лицо и последовала бы негромко сказанная фраза – «какое невежество».

Беседы наши обогатили меня гораздо больше, чем это диктовалось темой консультаций. Каждое «вторжение» в эпоху становилось удивительно осязаемым, вешным, так сказать, материализованным. Он даже Чехова «поправлял», не стесняясь. «У Чехова написано: “за нею бежал белый шпиц”, говорил он. И у вас в сценарии так же. Полагаю, что у Чехова это не точно. Хорошо выученная собака, а шпиц особенно, всегда бежит впереди или рядом с хозяином».

Я посмеялся, но позже решил проверить у известной в Ленинграде дрессировщицы: она сказала то же самое. А на съемках шпиц Джим окончательно подтвердил это своим собачьим поведением.

Вспоминаю, как мы беседовали с Владиславом Михайловичем по поводу тайной переписки Гурова и Анны Сергеевны.

«Приехав в Москву, она останавливалась в “Славянском базаре” и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке». Про этого человека Владислав Михайлович рассказал мне так обстоятельно и подробно, будто сам носил красную шапку посыльного. И про возраст, и про костюм, и про профессиональное умение и особую дипломатию при выполнении поручений «секретного» свойства, даже про походку – полубег.

Я, помню, озадачил его вопросом: как же переписывались Анна Сергеевна и Гуров в периоды их разлуки? Очевидно, она писала ему «до востребования».



Меня интересовало это и потому, что хотелось показать Гурова часто навещающим нас на почту, в надежде получить письмо. Наконец, я убедил своего консультанта в правомерности такой версии. Согласившись, он с хитрым прищуром спросил меня: «А вы-то знаете, как получали письма до востребования в то время?» – «Предъявляли паспорт», – не задумываясь ответил я. «А вот и нет! – возразил мне Владислав Михайлович. – Паспорт мог раскрыть тайну переписки. Предъявляли почтовому чиновнику ассигнацию, а на ней был номер. Единственный и не повторяющийся. Получатель предъявлял ассигнацию, к тому времени уже аннулированную законом и, следовательно, ставшую редкостью». И сразу обычное действие как бы окуналось в эпоху, становилось ее характерным штрихом, частицей ее неповторимой атмосферы.

Я бережно храню записи наших бесед, как память о человеке, который в своей области был примером честности и высокой профессиональной ответственности, о человеке интеллигентном в самом высоком смысле этого понятия.

И. Хейфиц

Консультационная работа, связанная со съемками киноэпопеи «Война и мир», была для В.М.Глинки как по масштабу, так и по продолжительности (семь лет), вероятно, самой значительной из всех подобных его работ. Трудно представить себе, сколько художников, декораторов, модельеров, портных, мастеров сапожного дела, плотников, столяров, изготовителей муляжей придворной и военной атрибутики от перстней, брошек, серег, орденов, аксельбантов, гаунов и лент до знамен, барабанов, оружия, шатров, дворцовых карет, телег и фур обоза ждали совершенно точных указаний, а чаще всего и точных чертежей или рисунков того, что надобно изготовить. Диапазон этих консультаций был, прямо скажем, неохватный – от цвета ленточки на чепчике младенца до общей картины убранства парадного зала или расположения батарей на Бородинском поле. Совершенно понятно при этом, что выполнить все, рекомендованное консультантом, было невозможно просто физически.

Впоследствии дядя рассказывал, что трудности возникали самые неожиданные. Навыки изготовления некоторых предметов из-за социальных особенностей нашей страны были почти начисто забыты. Ботфорты, лосины, замшевые перчатки, кринолины, седла, чепраки, вальтрапы – все это имелось в музейных образцах, но повторить, дублировать – вот проблема: квалификация изготовления утрачена...¹ Ну, и деньги, конечно, – хоть и было их отпущено на картину по тем временам много, – все равно были не безграничные.

Съемки шли семь лет – с 1961 по 1967 год. Здесь мы приводим некоторое количество писем Веры Серафимовны Никольской, задачей которой в съемочной группе было осуществлять непосредственную связь с консультантом, выясняя возникающие по ходу работы детали и неясности. В какой степени при съемках удавалось (или желалось) добиваться полного соответствия снимаемого материала тому, что рекомендовал В.М.Глинка, сейчас сказать уже трудно, выяснение этого потребовало бы немало и едва ли оправданного труда, хотя бы по той причине, что киноэпопея «Война и мир», как и другие киноэпопеи, снятые в хрущевские и брежневские годы, трудно считать золотым фондом отечественной кинематографии.

Помню только, что наряду с явным увлечением работой, дядя нередко горячо негодовал, не говоря уж о том, что долго досадовал, вероятно, преувеличивая значимость той или иной погрешности, которая ему, как отвечающему за доброкачественность исторического антуража, казалась непростительной.

Как бы то ни было, но даже тот небольшой фрагмент работы, который выделен сквозь приводимые письма, дает, нам кажется, представление о ее огромном общем фронте...

¹В качестве примера дядя как-то рассказал мне (правда, это совершенно не касалось того глобального кинопроекта, который возглавлял С.Ф.Бондарчук) про мытарства своего приятеля академика-африканиста Д.А.Ольдерогге. Ольдерогге была присуждена за его работы по этнографии и истории народов Африки премия, которую ему предстояло получить в столице Эфиопии Аддис-Абебе из рук самого эфиопского императора Хайле Селассие. Награжденные, было сообщено в приглашении, присланном месяца за два, прибывают на церемонию вручения во фраках. Ольдерогге, в жизни фрака не надевавший, принялся за поиски нужного портного. Но довольно вскоре выяснилось, что в Питере (1960-е) таковых уже давно нет ни одного. Академик бросился в филармонию. Именно там,



В.М.Глинка и генерал армии М.М.Попов. На съемках «Войны и мира»



С.Ф.Бондарчук в роли Пьера Безухова

как он помнил, можно было вживую увидеть большое число людей в нужной ему одежде. Но "скрипки и гобои", когда он до них добрался, услышав вопросы академика, лишь посмеялись. Все покупается за границей, сказали ему. На те самые тугрики, которые он получит в Эфиопии. Не тугрики, а быры, поправил африканист. Тем более, сказали "гобои", а что касается фраков, то тут в оркестре он ни у кого ничего не купит — они сами друг за другом очень бдительно следят, и если кто начинает из фрака выталшиваться, то за ним сразу же несколько человек занимают очередь. Портного академик по некоторой наводке все-таки разыскал, но для этого ему пришлось ехать в Таллинн. Там этот реликт, говорил дядя, имея в виду портного, сохранился потому, что в Эстонию советская власть пришла на 23 года позже. В довершение этой довольно пустой истории можно добавить, что в девяти градусах от экватора, что значительно южнее Сахары, в эфиопской Аддис-Абебе, напротив отеля, в котором поселили академика, стоял магазин, где не только продавали, но и давали напрокат любые фраки и смокинги. Там же продавались любые манишки, пластроны, бабочки и проч.

В.С.НИКОЛЬСКАЯ – В.М.ГЛИНКА

18 сентября 1964 г.

Здравствуйте, глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

Это лето, кроме ленинградской экспедиции, было неудачным для всей группы. Вы, наверное, знаете о тяжелой болезни Сергея Федоровича. Он после выздоровления отдыхает, возвращается в конце сентября. Съемки продолжатся с октября. Из больших объектов готовят «Именины Элен» (обручение Пьера и Элен) и «Английский клуб».

Михаил Григорьевич Чиковани просит Вашего совета по двум вопросам:

1. Как выглядит шифр на платье Элен?

2. В каком costume будет князь Василий в сцене именин и обручения Пьера?

1. Можно ли предположить, что Элен получила шифр за отличие при окончании Смольного института? Имеет ли какую-либо связь с этим шифр, рисунок которого приложен на колечке? Этот шифр срисован из книги «Императрица Мария Федоровна в ее заботах о Смольном монастыре». Вырезка из журнала «Русская старина», 1890, т. 65. В книге 3-й указанного 65-го тома помещен портрет с подписью: «Елисавета Александровна Пальменбах, рожденная баронесса Черкасова, Начальница Смольного монастыря (1797–1802). р. 1761, ск. 1832».

На платье Пальменбах изображен шифр в виде банта из белой муаровой ленты с тремя черными полосками. В середине банта – вензель Е, прикрепленный на колечке к короне.

В сцене обручения Элен на ее платье будет шифр, как и в сцене у Шерер?

2. Как я поняла Михаила Григорьевича, ему больше всего хотелось бы облачить кн. Василия для именин в кафтан (фрак из парчи) Людовика XVI, показанный Вами в Эрмитаже, с приложением звезд орденов Василия.

Однако Михаил Григорьевич не исключает возможность участия в этой сцене как роскошного, расшитого мундира Василия, в котором он будет в первой сцене у Шерер, так и более скромного, снятого в сцене соборования Безухова.

Прошу Вас, дорогой Владислав Михайлович, ответить на эти вопросы Михаилу Григорьевичу Чиковани по адресу группы.

С глубоким уважением и пожеланием здоровья

В.С.Никольская.



21 сентября 1964 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

Сожалею, что в своем письме не спросила о шифре для Анны Павловны Шерер.

Ей шифр понадобится?

А как выглядит фрейлинский шифр?

С глубоким уважением

В.С.Никольская



На съемках «Войны и мира». 1960-е гг.

4 октября 1964 г.

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

Ваши советы немедленно передала Михаилу Григорьевичу Чиковани, и все будет исполнено.

Указания о пожаловании Элен в фрейлины в романе нет. Об Элен в сцене у Шерер сказано лишь, что она была в бальном платье и шифре, т.к. ехала к посланнику. Отсутствует такое указание и в последующих сценах. О шифре упоминается только в первой сцене.

Если Вы поддерживаете предположение о том, что Элен могла получить шифр после окончания Смольного института, то шифр можно будет сделать таким, как на портрете Пальменбах. В описании этих шифров для лучших выпускниц Смольного сказано, что они были из белой муаровой ленты с тремя золотистыми полосками и буквой Е.

Или вернее сделать для Элен фрейлинский шифр: золотую букву Е на фоне голубого банта, как Вы описали и нарисовали? Т.к. можно предположить, что она пожалована в фрейлины, благодаря стараниям князя Василия.

Какое из этих предположений вероятнее?

На днях уточнялся план работы группы. До съемок в павильоне – обеда в Английском клубе и помолвки Пьера с Элен – будут снимать натуру, насколько позволит осенняя погода.

В числе этих сцен готовят, в самые ближайшие дни, съемку свидания Наполеона и Александра I в Тильзите.

Сергей Федорович (Бондарчук – М.Г.) спрашивает Вашего совета в отношении орденов лент для Александра I и Наполеона, а также для свиты с той и другой стороны. В списке орденов для персонажей в свое время Вы указали, что ни у Александра I, ни у Наполеона их нет. Уточните, пожалуйста, еще раз этот вопрос, включая свиту. Наверное, в данном случае нельзя осно-



В.М.Глинка на съемках "Войны и мира". 1960-е гг.

вываться на заметках мемуаристов, даже если автор воспоминаний лицо известное и уважаемое. Например, в книге Денис Давыдов, «Сочинения». М., 1962 в статье «Тильзит в 1807 году» на стр. 244 сказано о свидании императоров: «...Все были в парадной форме по возможности. Государь имел на себе преобразенский мундир покроя того времени. На каждой стороне воротника оно вышито было по две маленьких золотых петлицы такого же почти рисунка, какой теперь на воротниках преобразенского мундира, но несравненно меньше. Эксельбант висел на правом плече: эполетов тогда не носили. Панталоны были лосиные белые, ботфорты – короткие. Прическа тем только отличалась от прически нынешнего времени, что покрыта была пудрою. Шляпа была высокая; по краям оной выказывался белый плюмаж, и черный султан везл на гребне ее. Перчатки были белые лосиные, шпага на бедре; шарф вокруг талии и Андреевская лента через плечо».

Здесь, помимо вопроса о ленте, возникает вопрос о пудре на прическе.

На стр. 246 о Наполеоне же сказано:

«...Я видел его, стоявшего впереди государственных сановников, составлявших его свиту, – особо и безмолвно. Время изгладило из памяти моей род мундира, в котором он был одет, и в записках моих, писанных тогда наскоро, этого не находится, – но, сколько могу припомнить, кажется, что мундир был на нем не конно-егерский, обыкновенно им носимый, а старой гвардии. Помню, что на нем была лента Почетного Легиона, чрез плечо по мундиру, а на голове та маленькая шляпа, которой форма так известна всему свету... Он стоял со сложенными руками на груди, как представляют его на картинах».

(Это описание Наполеона, когда он стоял на барке, подплывающей к павильону).

Ждем Ваших советов.

Большой привет от Сергея Федоровича.

С глубоким уважением и пожеланием здоровья.

В.С.Никольская



5 октября 1964 г.

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

В дополнение к вопросам по Тильзиту просим Вашего совета:

1. В отношении орденов лент для свиты Александра I (если вообще можно будет надевать ленты).

В состав этой свиты, как сказано у Шильдера и в Истории государевой свиты, входили: Великий князь Константин Павлович, Бенигсен, генерал от инфантерии барон Будберг, флигель-адъютант князь Лобанов-Ростовский, генерал-адъютанты Ливен и Уваров.

Исходя из Вашего списка орденов, Уваров, участвовавший в Тильзитском свидании – это Федор Петрович Уваров, впоследствии генерал, состоявший по кавале-



В.И.Стрельчик роли Наполеона



рии, а в 1807 году бывший генерал-адъютантом? Мундир у него будет зеленый? Для Тильзита Вы указали для него звезду Владимира, крест Георгия 3-ей степени и крест Владимира 3-ей степени. Следовательно, ему можно будет дать ленту звезды Владимира?

У Бенигсена для Тильзита Вами указаны: звезда Владимира, крест ордена Марии Терезии. Бенигсену также можно дать ленту звезды Владимира?

Посоветуйте, как поступить с орденами и лентами для остального состава русской свиты.

2. Во время церемонии войска русские и французские держат ружья «на караул»?

3. У входа в палатку, по обеим сторонам двери стоят часовые старой гвардии также с ружьями «на караул»?

4. Музыканты оркестров в перчатках? Ждем Ваших советов.

С глубоким уважением

В.С.Никольская



23 октября 1964 г.

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

Разрешите еще раз, от себя лично поздравить Вас с присвоением Вам почетного звания, пожелать Вам здоровья и успехов в Вашем благородном труде.

Письмо Ваше от 17 октября получила, большое спасибо. Все Ваши советы передала Надежде Васильевне.

И вновь возникли у нас вопросы:

1. Как полагалось бросать рюмки после тоста (для обеда в Английском клубе) – через правое плечо?

2. Если хозяйина бала 1810 года – екатерининского вельможу – одевать так же, как Василия в сцене у Шерер – в мундир с золотым шитьем, то какого цвета может быть сукно мундира? Мих. Григорьевичу хочется сшить ему белый мундир с золотым шитьем. А ленту орденскую он мог иметь, и ордена? Какие?

4. В вариантах к роману «Война и мир», которыми мы иногда пользуемся в работе, про костюм Мортемара в сцене с Шерер сказано, что он был в дореволюционном кафтане.

Мортемар в вариантах романа участвует в двух салонах Шерер, далеко отстоящих друг от друга по времени. Про его костюм упоминается, когда речь идет о вторичном описании салона: «...Общество Анны Павловны мало изменилось с тех пор, когда в первый раз был у нее Пьер; не было в нем только князя Андрея с женою и князя

Василия с дочерью, но тот же старый генерал, та же тетушка, тот же Ипполит и французский эмигрант. Мортемар был теперь в русском гвардейском мундире вместо своего дореволюционного кафтана». (Толстой Л.Н., т. 13. М., 1949, стр. 615).

Что Вы посоветуете?

5. Извините за назойливость, но Мих. Григорьевич просит еще раз уточнить ленту для Василия в сцене у Шерер. Она должна быть ордена Александра Невского, красная, надеваемая через левое плечо?

Сегодня Татьяна Сергеевна сказала мне утром, что от Вас получено письмо, но она еще не успела мне его передать. Надеемся, что в нем есть ответ по поводу рогового оркестра; Ваше мнение я передала товарищам, теперь важно утвердить отмену этой затеи через Сергея Федоровича.

Всего Вам доброго, дорогой Владислав Михайлович.

Никольская

P.S. Сейчас получила Ваше письмо от 21 октября и все передам Александру Соломоновичу.

Об оркестре (роговом) договоримся с Сергеем Федоровичем сегодня же, и я Вам сообщу результаты, полагаю, что возможно только Ваше решение и того же мнения большинство наших товарищей.

С глубоким уважением

В.С.Никольская



Декабрь 1964 г.

Здравствуйте глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

Ваше последнее письмо меня необычайно обрадовало еще и потому, что наш последний разговор по телефону так внезапно прервали. Примерно через 25 минут я добилась соединения, но Ваш телефон не отвечал...

Ваше письмо тщательно нами проштудировано. Все неясности с шарфами отпали. При темно-зеленой (обычной) форме шарф был обязателен в строю и не носился вне строя, при парадной форме – шарф носили в строю и вне строя.

Наш князь Андрей в сцене предложения облачен в белый парадный мундир, но появится без шарфа, оружия, перчаток и шляпы. Дело в том, что в данном случае обязательны ботфорты, которые Тихонову крайне не идут. Он в них, по выражению Надежды Васильевны, как кот в сапогах. Шарф в этом случае усугублял некрасивость силуэта, особенно в тех моментах, где Андрей появится на общих планах, в рост. Очень Вы будете гневаться за такое отступление? Но еще больший гнев Ваш предвидим мы с Надеждой Васильевной за сцену, когда Андрей приходит к Пьеру (ночная сцена: развоенный экран – Пьер – Андрей в кабинете, Наташа с матерью в спальне графини). В этой сцене при темно-зеленом мундире Андрей в шарфе!! Сколько мы ни настаивали (с Надеждой Васильевной), ни говорили режиссерам и актерам, – отменить шарф, основываясь на Вашем письме – ничего не получилось. Здесь шарф помог Андрею стремительно и страстно провести сцену – он, Тихонов, правда был хорош, подтянут, строен (в коротких-то сапогах!). Режиссеры перед Вами и отчитаются за этот шарф, но сцена действительно получилась хорошая, несмотря на отступническое упрямство в деталях костюма. «Важно нам знать, как должен выглядеть костюм, знать правила», – отвечали нам на наши заверения...

Не сердитесь на нас, отступления от Ваших советов бывают очень, очень редкими.

Что нас продолжает особенно волновать – это балы. За балом 1810 года, вероятно, непосредственно следует бал 1812 года в Вильно, в связи с чем у Надежды Васильевны возникает дополнительные вопросы к Вам.

Л.А.Белоусов. Штаб-офицер гвардейских инженеров, обер-офицер гвардейского генерального штаба и гвардейские адъютанты. Вторая половина 1830-х гг.



1) На бале в Вильно Александр I будет в преображенском мундире, с орденской лентой? Может он быть здесь в сапогах? На воротнике мундира останется прежняя вышивка или нужна вышивка дубовыми листьями, как на портретах после 1812 года?

2) Балашов, с донесением о неприятеле, появится в сапогах? Ему при звездах Александра Невского и Владимира орденскую ленту надевать и какую – Александра Невского?

3) На этом бале в Вильно могут быть генералы и офицеры (нетанцующие) в сапогах?

4) На бал у екатерининского вельможи С.Ф. решил ввести в максимальном количестве наших персонажей, как лиц, хотя и не упомянутых в этом месте романа, но знакомых зрителю и кроме того обладающих готовыми костюмами.

Здесь появятся Николай Ростов, Денисов, Несвицкий, Жерков, Козловский... Вы советовали на петербургский бал не вводить гусар, а если допустить их присутствие, то одевать их в алые доломаны с золотом и синие с золотом чакчиры (правильно я поняла это место Вашего письма?). Как нам быть с костюмами Николая, Денисова, Жеркова (Жерков в 1805 году был гусаром сумского полка). А можно Николаю и Денисову сшить зеленые нестроевые мундиры или алые доломаны для парада-бала обязательны, или все же можно допустить знакомую зрителю павлоградскую форму?

5) Наши артисты в ролях Козловского и Несвицкого ужасно тучные люди, им совершенно не пойдут башмаки. Можно их на бал 1810 года допустить в сапогах (они будут танцевать)?

А как быть с их костюмами? Они – участники событий 1805 года. Несвицкий – штабс-офицер, состоящий по пехоте. Козловский – адъютант Кутузова, уже штабс-офицер.

Для 1810 года им, конечно, нужны эполеты, а на воротниках вышивка? И вообще, что сделать с их чинами в 1810 году? Аксельбант Козловскому оставить?

6) Долохов в театре в персидском костюме. Это военный костюм, с эполетами? Чекмень? По краям воротника и обшлага идет вышивка или галун?

7) В сцене Анатоля с Долоховым перед похищением Наташи – Анатоль в мундире с эполетами и аксельбантом?

8) Для Элен изготовили шифр, Мих. Григ. прикрепил его к голубой ленте. Мне кажется, что лента узка и сам бант мал (по сравнению с местом банта и вензеля на портретах). Может быть, я ошибаюсь и прошу Вас посмотреть вырезку: я обвела наш шифр с бантом и посылаю Вам его в «натуральную величину».

Не нравится мне и то, что бант приплюснут, «бабочкой», без свободных округлых линий.

Уточните, пожалуйста, еще раз, где следует прикрепить бант к платью.

9) Оркестр у екатерининского вельможи – обычный или военный?

10) Про костюм хозяйина бала в 1810 году. Вы нам все растолковали подробно и ясно. Извините за назойливость, но нельзя ли все же его одеть в екатерининский мундир, это прозвучит нелепым анахронизмом.

Ждем Ваших советов.

Сердечный привет и наилучшие пожелания от всей нашей группы.

С глубоким уважением

В.С.Никольская.



Январь 1965 г.

Здравствуйте Владислав Михайлович!

Большое спасибо за письмо и советы. «Салон Шерер» из-за болезни Смирнова – Василия перенесен на март месяц. Вернее, наш князь Василий выздоровел, сегодня его выписали из больницы, но послезавтра, 30 января он с МХАТом уезжает в гастрольную поездку в США.

По-прежнему идут активные приготовления к балу.

1) «Венский конгресс» взят на вооружение. Как жаль, что нет этого изображения в цвете, но и в данном вопросе будем следовать Вашему совету: исключим для иностранцев цвета русских костюмов. С.Ф. настаивает лишь еще раз на уточнении цвета костюма английского посланника.

2) Что касается истории со светильниками, то этот вопрос после Вашего письма снят с программы: не будут слуги во время бала менять свечи и т.д. Не будут разносить и прохладительных напитков.

3) «Ужин», вернее, приготовление праздничного стола будет просматриваться на общем плане в некоторых кадрах, через зал с гостями. Вокруг стола будут снова официанты, расставляя посуду. Официанты будут в другой униформе, чем слуги на лестнице при входе гостей? В дверях залы также, вероятно, будут они стоять (в красных ливреях)?

4) Вы советуете оркестрантов одеть в кафтаны типа ливрей тоже красного цвета?

5) На балу во время танца, следуя Толстому, вначале (в парах для польского) построится: I. государь с хозяйкой дома, II. хозяин дома – екатерининский вельможа с М.А.Нарышкиной, затем III. министры, IV. посланники, V. генералы.

У нашего Мих.Григ.Чиковани сшиты костюмы сановников – они будут читаться, как министерские? Вернее, облаченные в эти костюмы люди будут представлять министров?

6) На днях у нас предстоят небольшие съемки: «Разъезд после театра», «Роды и смерть Лизы».

Для разъезда театралов следует ввести такую подробность, как выкрикивание карет? Выкрикивали лакеи? И как они кричали: «Карету графа Ростова...», «Карету князя тако-го-то»? Посоветуйте.

7) Постельное белье у Лизы – простыни, наволочки могли быть кружевными?

8) У акушера в руках докторский саквояж? Фартук надет, когда он выходит после рождения ребенка и в дверях сталкивается с князем Андреем?

9) У акушерки Марии Богдановны есть что-то в деталях костюма, связанное с ее «профессией», если можно применить к ней это слово. Особая повязка – косынка на голове, фартук?

Из всех этих вопросов первоочередным является вопрос о выкрикивании карет – съемка будет во вторник, 2/II-65. Можно будет узнать Ваш совет об этом по телефону?

Сердечный привет и наилучшие пожелания от всех наших товарищей.

С глубоким уважением

В.С.Никольская



Февраль 1965 г.

Здравствуйтесь Владислав Михайлович!

Письмо Ваше от 16 февраля получила. Большое спасибо. Снимаем Лысье горы. Заканчиваем комнату Лизы – роды, смерть, муки князя Андрея.

Предстоит небольшая пересъемка натурных кадров, в том числе план князя Андрея, уезжающего за границу. Этот кадр снимали давно и не совсем точно одевали Андрея, что стало ясно после Ваших недавних разъяснений в отношении костюма князя Андрея в сцене прихода его к Пьеру, когда он говорит о своей любви к Наташе.

Помните, я звонила тогда Вам о том, что для этой сцены прихода к Пьеру Андрея хотели облачить в гражданский костюм-фрак, но костюм этот плохо был выполнен и непосредственно перед съемкой его переделали в военный ко-стюм. Мы тогда не знали, как поступить с шарфом и при выяснении этого вопроса Вы разъяснили, что вообще было неверным одевать военного человека, состоящего в службе, в костюм гражданский. Хорошо,

Лейб-гвардии Кирасирский полк. 1813–1827 г. Хромофотография Конрада по рис. П.И.Балашова. Середина XIX в.



что тогда не подошел этот злополучный фрак, а то, чего доброго, допустили бы ошибку.

Вот и теперь возникает подобный вопрос. Князь Андрей, уезжающий за границу после помолвки с Наташей – военный? Следовательно, его нужно одеть в зеленый сюртук, серую шинель с меховым воротником и шляпу с султаном? Никакие элементы гражданского костюма здесь недопустимы?

Этот кадр будет снимать в понедельник, 1 марта, и поскольку Ваше ответное письмо не успеет к нашей пересемке, позвольте позвонить Вам для уточнения и подтверждения костюма.

И еще вопросы к Вам. Касаются они Лысых гор, того момента, когда все в доме Болконских затихло в ожидании появления наследника – Николушки:

– В большой девичьей не слышно было смеха.

– В официантской все люди сидели и молчали, наготове чего-то.

– На дворне жгли лучины и свечи, и не спали.

Эти строчки сценария до сего времени пробегали глазами, не сосредотачивая внимания, а теперь, перед постройкой интерьеров призадумались. Вернее, строить новые интерьеры не будут, переделают из заготовок и использованных декораций. Однако требуется Ваш совет. Как представлять себе эти три интерьера: девичью, официантскую, дворню. Это жилые комнаты? Или, может быть, девичья и официантская – помещения подсобные, для работ – в девичьей: приспособления для рукоделия, официантская – буфетная? А дворня – внутренний вид избы, в которой живет семья дворовых, и здесь – все, что требуется для жилого помещения? Но как все это выглядит? Вообще-то для дворни привлекли уже довольно много эпизодических персонажей – как бы людей разных профессий, где их размещать, чем занимать? Девушки могли у себя в светелке что-то работать? Чем заняты официанты? Как ведет себя дворня в момент торжественный и таинственный, когда всеми в доме владело «сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в ту минуту».

Пожалуйста, помогите нам!

Неизменный горячий, сердечный привет от всех наших товарищей.

Желаем Вам здоровья и всего, всего наилучшего в Ваших творческих делах.

С глубоким уважением

В.С.Никольская



Здравствуйтесь, глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

Всех нас, по-прежнему, очень волнуют предстоящие съемки бала. Пока что есть время готовиться к этим съемкам – они запланированы на март м[есяц].

Во всех возникающих сомнениях обращаемся к Вашим советам. Следуя Вашему совету, С.Ф. исключил из присутствующих на бале гусар, в том числе Николая Ростова, Денисова, Жеркова.

Гвардейские гусары (в красных доломанах), наверное, будут представлены весьма незначительным числом.

Из новых вопросов по этой теме хотелось бы уточнить следующее:

1) Поведение на балу адыютанта-распорядителя – его функции, его задачи.

2) У С.Ф. давно появилась мысль о необходимости показать вторым, третьим, десятым планом действия слуг меньших рангом, следящих за светильниками. У него возник образ, как он неоднократно выражался, армии такого рода слуг. Могут ими быть мальчишки-казачки? Или слуги в другой форме, чем сановитые лакеи в красных придворных ливреях? И какими орудиями они вооружены? Ножницами для снятия нагара, палками с колпачками? Чем еще? Все эти орудия в таком доме и на таком бале, вероятно, изящнее, чем, например, у Ростовых или в другом московском доме?

С.Ф. для осуществления этого образа снующей среди гостей озабоченной армии служителей выделил у нас в группе специально товарища – студента-практиканта.



П.Верне. Конные гренадеры. 1840-е гг.

Посоветуйте, как нам материализовать эту тему. Как готовиться по линии отбора лиц, костюмов, сооружений? Если бал был продолжителем по времени, свечи меняли? Может быть, свечи разносили в специальных корзинах? Замененную свечу зажигали от горячей? М.б., к высоким настенным светильникам подставляли лестнички?

Эта тема появилась у С.Ф., вероятно, в связи с его неизменным и последовательным стремлением уходить от откровенной парадности даже в таких строгих, дворцовых сценах, как бал у екатерининского вельможи, по возможности, наполнять жизненными бытовыми подробностями то, что обросло в киноискусстве трафаретным слоем невыносимого шаблона.

Подскажите, пожалуйста, что еще можно ввести по линии «забытления» бала, сохраняя рамки придворного этикета.

Прохладительные напитки лакеи будут разносить?

В прошедшие две недели занимались Лысыми горами.

Отсняли прощание Андрея с отцом, урок по геометрии, сообщение Болконским Марье известия о гибели Андрея, сцену Болконского с Тихоном (к сцене родов Лизы), сцену с образком (Марья – Андрей).

Одновременно готовились к «святам». Сегодня первый съемочный день этой сцены – приход ряженных к Ростовым. Затем будут сняты тройки, мчащиеся к Милоковым, на которые будут «наплывать» гадания. В заключение – гадание Наташи и Сони на зеркалах.

Пока что все идет более менее благополучно, конечно, с ежедневными обязательными волнениями, тревогами, спешкой, спорами...

Вот так выглядят наши будни. Радует то, что после съемок «Лысых гор» 1-я серия по материалу будет отснята, и 2-я серия (за исключением бала) готовится к завершению – идет монтаж. Параллельно ведется озвучивание.

И все же еще много, много впереди – французы в Москве, плен, дороги отступления, досъемки Бородина (Батареи Раевского, Горок)... И павильоны 3, 4-й серий.

С нетерпением будем ждать Ваших советов.

Примите сердечный привет и пожелание здоровья от наших товарищей.

С уважением

В.С.Никольская

P.S. Еще, Владислав Михайлович, вопрос по объекту «Салон Шерер» – его не отсняли из-за болезни Смирнова – князя Василия.

Гостей будут угощать чаем. На столиках, под чашкой с блюдцем должны быть небольшие салфеточки?

И на подносах у слуг, под посудой – чашечками, фарфоровыми чайниками стелить салфеточки?

Когда дамы будут пить чай, перчатки они снимут?

На репетиции произошла перемена ленты у Василия. С.Ф. попросил вместо красной, Александра Невского, голубую (Андреевскую). Красная разрушала общий сдержанный холодный колорит. Допустима такая перемена? (К Андреевской ленте мы присоединили Андреевскую звезду).

В.С.

5 марта 1965 г.

Глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

Спешу уведомить Вас, что съемка таких сцен, как «Дворня» (точнее, на «дворне Болконских» и «официантская»), завершаются, останется «девичья» и «отъезд Андрея за границу» – из тех объектов, по которым я задавала Вам вопросы.

Андрея мы оденем в серую крылатку и шляпу с султаном? Уезжая за границу на длительный срок, Андрей числится в армии?

Еще у Надежды Васильевны вопрос к Вам в отношении костюма Андрея в сцене, когда он, после разрыва с Наташей, просит Пьера передать ей письма. Дело происходит в московском доме Болконских, Андрей у себя в кабинете, во что его одеть? У Толстого написано, что он в штатском платье, значит, в то время он не состоит в военной службе?

Сейчас заканчиваются съемки по Лысым горам.

Вернулись из поездки мхатовцы. После 10 марта предстоит салон Шерер, а затем – бал.

Декорация для бала почти готова, масштабна. Впечатляет очень и очень.

Трудности большие в подборе массовки, эпизодических персонажей и по линии костюмов.

Напишите обязательно, удалось ли Вам хотя бы немного отдохнуть. Наверное, Ваша поездка была очень приятна?

Желаем Вам всего доброго, успехов в делах творческих и, главное, здоровья.

С глубоким уважением

В.С.Никольская

Здравствуйтесь глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

Благодарим Вас за советы и замечательный рисунок английского посланника. Теперь главные вопросы, связанные с балом, прояснились. Тем не менее, кое-что до сих пор не уяснили, и вновь обращаемся к Вам, простите за неряшливость.

1. О функциях адъютанта-распорядителя.

2. Об одежде оркестрантов – они также в красных ливреях или в своих разного цвета «гражданских» костюмах.

3. Чем наградить голландского посланника – он будет в сером мундире, расшитом золотом. Дать ему Золотое руно? А ленту какую?

4. Русские министры-сановники, выстроившись для польского, составят зеленый колорит? Иной цвет мундиров вводить нельзя?

5. Сейчас у нас проводятся занятия по танцам – для бала. Преподаватель танца Крамаревский Лев Михайлович (из Большого театра) просил выяснить у Вас, мог ли быть у французского посланника во время танца лорнет. Он хочет каким-то образом обыграть эту деталь.

6. Нас беспокоит длина платьев у дам. Михаил Григорьевич любит длинные шлейфы, а ведь это будет мешать танцующим дамам. Во всяком случае, девичьи платья, у Наташи и Сони, могут открывать туфельки? Какая мера допустима в разных случаях: у танцующих, у дам, пришедших с намерением танцевать, и у молодых девушек?

И еще три вопроса, не относящиеся к балу и возникавшие ранее.

1. Существовало ли правило расположения дамы по отношению к мужчине (с правой или с левой стороны) в зависимости от его чина – военного, гражданского и в зависимости от обстоятельств – прогулка по улице, на балу?

2. Акушер, входящий в дом Болконских, будет с саквояжем – обычного типа докторским кожаным чемоданчиком продолговатой формы?

3. Где следует делать ударение в слове Аустерлиш: (так привык произносить наш Андрей) или Аустерлийш?

Большой сердечный привет и пожелания здоровья от всех наших товарищей.
С глубоким уважением

В.С.Никольская

Дорогой и глубокоуважаемый Владислав Михайлович!

Вы необычайно порадовали меня своим сердечным, теплым письмом, хотя я отлично понимаю сколь преувеличили Вы мои скромные заслуги в нашем общем деле. Большое спасибо за внимание.

Сейчас, после завершения половины фильма, мы поздравляем друг друга с успехом, наградой. И все мы отлично знаем и помним о том, какой опорой служили в нашей работе Ваши советы.

Всегда обстоятельные, высказанные в живой, емкой, образной форме, они помогали нам не только воссоздавать костюм, интерьер или поведение персонажа, но вскрывали суть эпохи, характера героя, его среды.

Вот почему в случае колебаний или неуверенности Сергей Федорович всегда спрашивал, в первую очередь, о Вашем суждении. И нас глубоко огорчало, когда по тем или иным причинам не удавалось претворить в жизнь Ваш совет.

Вот и сейчас, этим письмом я, к сожалению, вынуждена огорчить Вас.

Ваши письма, о которых Вы упоминаете, я получила и ответила Вам в Дом творчества. Вы, по-видимому, не получили мое письмо, в котором я писала о нашем трудном завершающем этапе работы и о том, что Сергей Федорович просит прощения за то, что ему не удалось сдержать данное Вам честное слово.

Дело в том, что пересъемка Ростова и Денисова (для «Дуэли») в летних условиях оказалась невозможной. С.Ф. просил тогда написать Вам, что в прежнем виде «Дуэль» будет показана только на фестивале, после которого у него было оговорено право внести в фильм изменения. Он планировал выпуск на экран 1-й и 2-й серий после зимы, а зимой хотел обязательно переснять испорченные из-за георгиевских крестов планы.

Как теперь пойдут дела с выпуском фильма – неизвестно, т. к. все мы в руках могучего начальства, с которым совладать трудно.

Весь период, предшествовавший фестивалю, и фестивальная кампания были для С.Ф. полны страшных мучений и тревог. Он не выдержал нервного напряжения и опять заболел, хотя и не в такой тяжелой форме, как в прошлом году. Сейчас он отдыхает в Крыму, но отдых у него весьма непродолжителен – всего две недели, т.к. сформированные для фильма войска ждут начала съемок в Можайске и Калининне. Условная дата начала съемок – 5 августа.

1 августа 1965 г.

Дорогой Владислав Михайлович!

Извините, что немного задержала ответ, прихворнула, да и сейчас не знаю, что со мной происходит, боюсь за шитовидаку.

Очень бы хотелось узнать, как Вы отдохнули. Напишите, пожалуйста.

Примите от всех нас, от всего нашего коллектива с Виктором Серапионовичем во главе сердечную благодарность за внимание, пожелание Вам здоровья и поздравление с нашим общим успехом.

С глубоким уважением.

В.С.Никольская



ЭСТАФЕТА



А.Гебенс. Смена караула лейб-гвардии Измайловского полка у Зимнего дворца. 1850

ЭСТАФЕТА

Владиславу Глинке, если говорить о нем как о хранителе свидетельств прошлого, выпало жить в совершенно особенные времена. Потому что государство, как машина, это прошлое норвилью вытравить.

Страшная мельница судьбы того русского поколения, которое родилось в первое десятилетие XX века, махала над ним, как и над всеми его сверстниками, своими роковыми крыльями с самой его юности. Как уже говорилось, в 1920-м его старший брат, молодой медик, служивший в санитарном поезде у Врангеля, был заколот штыком под Перекопом; в 1926-м умирает от тифа, гулявшего по разоренной стране, юная первая жена; все 1920-е то арестовывают, то выпускают старика-отца; в 1935 арестовывают самого Владислава, но неожиданно через несколько дней отпускают (через тридцать лет выяснится, что в составе судебной «тройки» оказалась пациентка отца-врача); в 1937-м арестовывают второго брата (Сергея) и мучают три года в следственной тюрьме. Потом блокада Ленинграда, умирающие от голода друзья, в 1942-м гибнет на войне Сергей, в 1943-м сожжен отцовский дом в Старой Руссе, родовое гнездо уничтожено, семья полностью разорена... В конце 1940-х новый этап

репрессий, исчезают один за другим друзья, в 1950-м арестовывают и осуждают на 25 лет ближайшего друга – директора Публичной библиотеки Л.А.Ракова: тот якобы создал около себя «антипартийное гнездо»...

Как среди всей этой бесовщины быть упоенно, подвижнически погруженным в русскую военную историю? Ответ простой – как у Владислава Михайловича, так и у его друзей, в историческое прошлое, которым только и были заняты их умы и души, как правило, вплеталось прошлое семейное. К тому же держались плечом к плечу. Так, сослуживцем по Эрмитажу и соавтором В.Глинки по книгам о Военной галерее был сын подполковника лейб-гвардии Павловского полка А.В.Пац-Помарнацкий; ближайшим блокадным другом – профессор, внук погибшего под Горным Дубняком командира лейб-гвардии Финляндского полка А.Н.Болдырев; а про искусствоведа и генеалога В.Н.Петрова (внука того инженер-генерала Н.П.Петрова, который был председателем суда над военным министром Сухомлиновым) дядя говорил, что это уже четвертое поколение семьи Петровых, с которыми наша семья дружит с 1818 года...

Большая же часть его друзей были музейщиками. Эти люди твердо знали, что желать сохранить – это поддела. Надо еще и уметь... А сохранять было что. Уже вскоре после революции чисто предметный мир, если он являлся атрибутом дореволюционной истории, расхищался и уничтожался практически безнаказанно. Так, в середине 20-х годов был перемолот на папье-маше почти весь тираж изданной незадолго до революции великолепной «Истории кавалергардов» С.Панчулидзева. В тех же 1920-х в пригородных дворцах-музеях в счет жалованья персоналу раздавались для повседневной носки обувь, шаровары, чикчиры, брюки из гардеробов Александра III, Николая II и наследника Алексея. Из Зимнего и других дворцов разбазаривались тысячи предметов из дворцовых сервизов, а из рукописного отдела Публичной библиотеки был еще приказом Ленина отдан в Среднюю Азию бесценный коран Аббаса. Предмет этот представлялся мусульманам святыней такого рода, что, получив его, несколько среднеазиатских мулл несли этот предмет на руках от угла Садовой улицы по всему Невскому до Московского вокзала, передвигаясь при этом лишь на коленях. Теперь он в Лондоне. Примеры эти выхвачены наугад, и я, не музейщик и не историк, знаю о них лишь, как нечаянный свидетель услышанного.

А вот несколько строк из рукописи самого В.М.Глинки: «Впрочем, о перспективах в то время думать и говорить приходилось наспех, – тов. Гуревич... кричал, что выбросит из стен художественного музея старый хлам, принадлежавший классовым врагам, и освободившуюся площадь для экспозиции предоставит Союзу художников. А у нас в отделе в это время не было даже ни одного партийца... И в десять дней при помощи роты красноармейцев все имущество ИБО (историко-бытового отдела – М.Г.) водворилось в Зимний дворец... До сих пор вижу, как в кошмаре, в двух залах, выходящих на Неву – в бывшей половине последней царицы – нагроможденную почти до потолка нашу коллекционную мебель. Сколько при этой перевозке и забрасывании “все выше и выше” было переломано ценнейших предметов из Строгановской усадьбы Марьино, из Шереметевского Фонтанного дома, особняка Бобринских на Галерной, из дома купцов Терликовых, из митрополичьих покоев в Александро-Невской лавре, из особняка Штиглицев-Половцевых и множества других! Карельская береза, красное дерево, персидский орех, палисандр, бронзовые каннелюры, золоченые сфинксы, прорванные шелковые сиденья и ручные вышивки – все это грохотилось перед нами. Отдельной горой были сложенные обломки – локотники кресел, ножка клавесина, подножие арфы с педалями...»

Но сейчас даже невозможно себе представить, какого труда, а порой и риска стоило музейным работникам лавировать на фоне постоянных идеологических кампаний и всевластия карательных органов. В 1920-х–начале 30-х велась чудовищная по масштабам распродажа шедевров за границу, в 1950–70-е началось

Искусствовед А.Н.Изергина с сыном Митей Орбели и В.М.Глинка. Эрмитаж, начало 1950-х гг.



неуемное раздраиванье. Какую уловку надо было придумать, чтобы сохранить, к примеру, портреты сановников, государственных деятелей, генералов? Военную атрибутику? Гобелены российских мануфактур? Дивный русский фарфор? Шесть с половиной тысяч российских военных знамен? Изобретательность требовалась постоянно.

Соавторами, ближайшими помощниками дяди по работе, а также друзьями дома могли стать лишь те, кого он знал уже десятилетиями. Со многими знакомство шло чуть не с детства, с некоторыми, как уже сказано, семейная дружба тянулась еще в предыдущие поколения. В важнейшем из вопросов, которые стоят перед старым человеком – кому передавать дело жизни – дядя также не мог иметь другого подхода.

К тому времени – конец шестидесятых-семидесятых – он уже не работал в Эрмитаже, однако ему выдали пожизненный пропуск¹, он оставался членом разных комиссий, навешал свой отдел по нескольку раз в неделю, а по своему темпераменту, щедрости отдачи знаний, да и просто потому, что не было человека, который бы в его деле был более сведущ, его авторитет, уже как фантом, продолжал витать в музее.

Но дяде было уже за семьдесят. Кому передавать вожжи? Формально, официально он к этому не мог уже иметь никакого отношения. Огромный музей был государственным учреждением, имелся отдел кадров, дирекция, существовали всяческие контролирующие инстанции... При чем здесь, кажется, был беспартийный, не имевший никаких заслуг перед властями старый человек, к тому же уже не работающий в музее? Но... Недаром десятками лет советская власть вымораживала эрмитажников нищенством – заработки сотрудников были ничтожными, однако, благодаря этому, к музею приживались именно те, для кого Эрмитаж был не службой, а призванием и судьбой. Дирек-

тором же с середины 60-х был давний еще с блокадных времен друг дяди – Борис Борисович Пиотровский, в наши дни можно было бы добавить: «старший».

Правда, между ними было пять лет разницы, и Русский отдел музея был лишь частью того, за что отвечал директор, но, несомненно, они, эти два человека, понимали друг друга с полуслова. И вопрос о преемнике, который для одного из них уже стал задачей дня, для другого, надо думать, был тем, что решать предстояло отнюдь не за горами. Научное наследие обоих тесно переплеталось с миром вещественным, предметным. Вопрос, тем самым, перемешался еще и в сферу чисто практическую. Оба были свидетелями тех лет, когда Эрмитаж расхищался. Кто будет, когда меня не станет? Кто продолжит мое дело, но не только научный труд, а уберезет коллекции? Кто сумеет сохранить то, что с таким трудом удалось не дать разграбить?

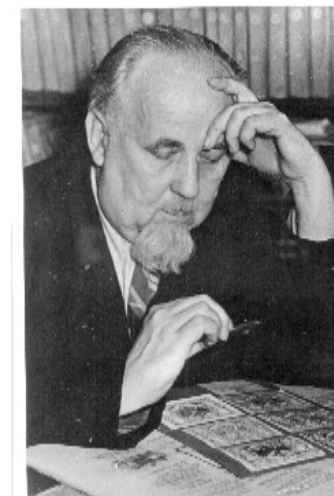
С семьей, из которой дядя определил себе преемника, наша семья дружила к тому времени семьдесят лет. И, тем не менее, выбор мог показаться странным. Правда, все мужчины в той семье занимались русской историей и особенно историей военной, правда, это была помнящая историю многих своих поколений семья... Но своим преемником дядя выбрал человека моложе себя... чуть не на полвека! Хотя кто тут кого выбрал надо еще разобраться.

Дальнейший текст – это реконструирование того, что при помощи множества задаваемых мной вопросов я узнал от Георгия Вадимовича Вилинбахова, который и стал тем самым преемником.

Вилинбаховы – фамилия обрусевшего немецкого рода, владельцы ее – выходцы из Тюрингии, по семейному преданию, первый представитель фамилии оказался в России в XVI веке. Дед Георгия Вадимовича был уже десятым русским поколением, он сам – двенадцатым, его сын Вадим – тринадцатым.

Почему тот первый Филипп фон Вилинбах оказался в России, сейчас доискаться трудно. Быть может, он попал в плен во время Ливонской войны, а, возможно, как младший сын, не имевший права на наследство, из своей Тюрингии просто отправился искать удачу и осел в России. Предыстория, в общем, довольно обычная для многих дворянских родов России. С тех пор род числится в российском древнем дворянстве и записан по ярославской губернии. А с XVIII века потомки этого рода уже в Петербурге, и фамилия тогда же трансформировалась из фон Вилинбахов в Вилинбаховых. С военной службой российская ветвь рода была связана всегда, на Бородинском поле, к примеру, было несколько Вилинбаховых, участвовали они и в дальнейшей кампании 1812–1814 годов.

С Глинками Вилинбаховы сблизились в 1900-х годах в Старой Руссе, хотя так же, как и Глинки, семья Вилинбаховых в предыдущих поколениях – семья петербургская. Но так вышло, что прадед Георгия Вадимовича, Афанасий Петрович, после окончания училища правоведения, имея хорошие столичные перспективы, женился против воли своей матери на актрисе. Прапрабабка, характер которой был очень жестким, не приняла невестку, и молодые были вынуждены уехать в Баку. А их сын Борис, за исключе-



Б.А.Вилинбахов



Г.С.Габаев

нием каникул, которые проводил у родителей, жил в Старой Руссе у своей крестной.

В Старой Руссе Борис бывал в семье Пантелли, выходцев из Крыма. Впоследствии Борис Афанасьевич говорил, что фамилия эта, звучащая по-итальянски, на самом деле происхождение ведет от гетуэзских греков. Антиох Пантелли, по-русски Антон, служил в стоявшем в Старой Руссе Вильмандаstrandском полку, а полковым врачом был М.П.Глинка. Пантелли и Глинки дружили семьями. В реальном училище братья Глинки – Михаил, Сергей и Владислав познакомились с Борисом Вилинбаховым. Катя Пантелли (впоследствии Екатерина Антоновна, бабушка Георгия Вадимовича) – тут играло роль соответствие возрастов – больше дружила с Сергеем Глинкой, Борис Афанасьевич – с Михаилом, а Владислав был и здесь и там – дружил со всеми.

Из семейной традиции Вилинбаховых следовало, что Борис, хоть он и учится в реальном училище, а не в кадетском корпусе, но со временем «перескочит» на военную службу. Так и вышло – в 1917 году он поступил в Павловское военное училище. Есть даже снимок – Борис Афанасьевич в офицерской форме, хотя это, видимо, была лишь примерка. А дальше – революция, и выпуск не состоялся.

Революция и гражданская война всех разбросала, и после Старой Руссы Борис и Владислав встретились уже в Петрограде в 1920–1921 годах. Владислав учился тогда на кавалерийских курсах, и, однажды навещая его там, Борис с Катей Пантелли сообщили ему, что помолвлены.

Сейчас Георгий Вадимович жалеет, что обо многом не расспросил деда и отца, но явно, что в довоенное время – об этом свидетельствуют хотя бы книги нынешней домашней библиотеки Вилинбаховых – у Глинок с Вилинбаховыми были дружеские, близкие отношения. Тут довольно много книг, на которых написано «Дорогому Боре от Влади». Книги эти достаточно характерные, например, комплект «Гербовед», который издавал Сергей Николаевич Тройницкий в 1912–1914 годах, справочники Шенка, справочники Императорской главной квартиры, причем потом, когда Георгий Вадимович уже познакомился с библиотекой Владислава Михайловича, то понимал, что первое издание справочника Шенка подарено его деду по той причине, что «дядя Владя» достал следующее издание, скажем, «второе, исправленное». И когда после смерти Владислава Михайловича к Георгию Вадимовичу перешло многое из его книг, то получилось совмещение, соединение в полный комплект некоторых изданий. Семьи, можно сказать, дружили даже своими библиотеками, имевшими явную военно-историческую направленность...

В.М.Глинка
Г.В.Вилинбахов

Этот витавший в семье интерес к военной истории и породил некий сюжет, который сыграл в жизни Георгия Вадимовича, тогда по-домашнему его звали Юрой, роль, если и не определяющую, то значимую несомненно.

Когда Юре было лет двенадцать, отец вручил ему две тетради с переписанным им самим от руки трудом Г.С.Габаева «Роспись русским полкам 1812 года». Рисунки, аккуратно переведенные отцом на калечку, были раскрашены. О Габаеве всякий, кто занимается историей русской военной формы, слышал, вероятно, немало. Это тот офицер-ученый или офицер-историк, который является основоположником нашего отечественного «мундироведения». При этом полковник Габаев был далеко не кабинетным ученым, в 1917 году, будучи командиром лейб-гвардии саперного полка, развернутого из батальона, он мог бы быть произведен в генерал-майоры.

Итак, две тетради, в которые отцом была переписана книга Габаева, были первым учебником Юры по формам и знаменам. А вскоре после этого у него в руках оказалась небольшая книжка «Бородино», написанная другом его родителей – историком-эрмитажником «дядей Владей». Юра внимательно читал Габаева, а память у него, как у подростка, была цепкой, и ему удалось найти неточность в книге «дяди Влади» – у Габаева говорилось, что русская легкая пехота в 1812 не имела знамен, а в книге дяди Влади он прочел: «Мерно и глухо отбивали по лугу шаг егера, бодро гремели барабаны перед образовавшими одну линию батальонами, и в такт движению плавно колыхались полотнища и кисти распушенных знамен... То есть егера шли с развернутыми знаменами, которых у них тогда быть не могло! Сказать, что Юра, обнаружив такую ошибку, был горд, значит, не сказать ничего. Это потом он уже узнал и понял, что без каких-то неточностей не может обойтись ни одна написанная на историческом материале книга – тот же самый дядя Владя нашел немало мест в рукописи «Августа 1914-го» Солженицына, которые нуждались в уточнении; А.В.Помарнацкий (см. письма Помарнацкого в этой книге) нашел ошибки в книгах В.М.Глинки, а Г.С.Габаев (см. и его письма В.М.Глинке) обнаружил более трехсот ошибок, связанных с мундирами, орденами и знаменами не где-нибудь, а в «Воине и мире» Толстого!

Но Юре было 12 лет, и при помощи переписанной отцом книжки Габаева он нашел ошибку у знаменитого дяди Влади! Он не знал ни того, ни другого, точнее, одного знал лишь по рукописной книжке, а другого знал не он, а лишь старшие в его семье, но для него знаменитый знаток мундиров и мифический «дядя Владя» уже соединились в этом поиске. Он, конечно, сразу же сообщил о своем открытии отцу и деду, и был счастлив. Счастлив тем, что этой своей находкой уже участвовал в исследовании русской военной истории. Нет, какие это все-таки замечательные строки у Габаева о том, что русская легкая пехота в 1812 году не имела знамен! И какой замечательный дядя Владя, что... допустил такую оплошность! Эти два имени соединились с тех пор для него навсегда. В то время он еще не знал, что они – Глинка и Габаев – десять последних лет жизни Габаева переписывались (Габаев был в ссылке), и, можно сказать, в этой переписке сдружились.

Моментом, с которого Георгий Вадимович помнит, что началось его увлечение, был 1962 год – тогда праздновалось 150-летие войны 1812 года, и дед повел его в Дом ученых.

Дед был военным, он служил в Красной армии (кстати, в 1921–1922 гг. они воевали вместе с Сергеем Глинкой в Средней Азии), затем он был военным химиком, но второй его страстью, кроме армии, было коллекционирование. И то, что дед больше всего любил, и чем с наслаждением занимался – было собирание экслибрисов военных библиотек.

– Вон они стоят, – сказал Георгий Вадимович, указывая на верх шкафа. – Вон те шесть коробок! А вот плоды труда деда...

Г.В.Вилинбахов. 1971



И я увидел вторую за этот вечер написанную от руки книгу – каталог экслибрисов военных библиотек. Это был основополагающий труд еще одной прикладной военно-исторической дисциплины, индивидуальной веточки книжно-архивного поиска, выращенной полвека назад Борисом Афанасьевичем Вилинбаховым.

Так вот, 1962 год. Дед повел Юру в Дом ученых. На военно-исторической секции в тот день там был доклад А.И.Любимова и М.В.Люшковского о Бородинском сражении, который сопровождался демонстрацией макета с оловянными солдатиками.

– Ну, тут, – сказал Георгий Вадимович, – я и умер.

И чем он будет в жизни заниматься, с тех пор уже было для него совершенно ясным.

Свидетельств тесной дружбы отца с дядей Владей он привести не может, но есть открытка дяди Володи военного времени, адресованная деду, кажется, года 43-го, и там среди прочих нескольких фраз одна такая: «от Вадима, который мне писал довольно регулярно, в посл. время нет ничего. В Астрахани ли он?» (Отец был на Южном фронте).

У отца Юры, и тоже с детства, было увлечение военной историей, и неслучайно на его 16-летие дед подарил ему книгу «Действия гвардейской артиллерии в турецкой войне 1877–1878 года» с надписью «Будущему Наполеону в день 16-летия». У отца этот интерес к военно-прикладным делам был постоянен, ну, и вообще в их семье перепутать в разговоре кирасир с драгунами было просто невозможно. Военные названия, термины, словечки даже независимо от профессиональных знаний были всегда на слуху, как и военные стихи, или строчки из «Журавля»: «Кавалергарды дураки – подпирают потолки» или «аксельбанты носят только

адъютанты». Это у них в семье было такой же нормой, как знать какой маршрут трамвая по какой улице идет. И, конечно, отец сыграл большую роль в выборе Юрой направления тем, что одно время очень увлекся реконструкцией сражений и изготовлял солдатиков сам. А потом, когда интерес к этому у него сошел, все эти солдатик – коробочка за коробочкой – перешли к Юре. И тут уже он сам стал заниматься изготовлением солдатиков, раскрашивать их, а с этим связана необходимость знания мундиров, ну и так далее. И тоже выстраивал поля боев, сражения. И хотя многое было переломано, и, время от времени, приходило в страшное состояние, но рядом был дед-коллекционер, который приучал его к навыкам хранения коллекций...

И когда деду показалось, что пора знакомить Юру с дядей Владей, он его к нему и повел.

Опыт человечества свидетельствует, что никакие сверхспециальные колледжи и университеты с лучшими профессорами не могут заменить учения в мастерской, когда у ученика есть лишь один учитель. То, что Владислав Михайлович знал, то, что он умел, передавал он всегда щедро, упоенно. Теперь же... Тут что ни напиши, все равно будет мало – о том, как для них обоих ушло само понятие рабочего дня, о том, что юноша звал своего учителя просто «дядя Владя», о том, как в вопросы военной истории вплетались бытовые проблемы обоих. Дядя не просто наставлял ученика, особенность состояла в том, что ученик был ненасытен. Говорят, что когда по-настоящему учишься, то примеры нужнее правил. В изучении истории, а тем более, в музейном деле это суждение неопровержимо, чем где-либо.

Прошло время, дяди нет, но зато тот, кому он отдал свой опыт умения определять историю на ощупь, а также опыт хранения тысяч одухотворенных реликвий нашей обоюдной истории, теперь стал заместителем директора Эрмитажа, добавим при этом, по науке. И еще – он глава Геральдической службы при президенте России. Однако, в этой книге я позволил себе, не касаться нынешнего высокого статуса Г.В.Вилинбахова, а ограничить относящийся к нему материал несколькими письмами, которые он, еще двадцатилетний, только что принятый в Эрмитаж историк, отбывающий годичную военную службу на Севере, пишет своему учителю и старшему другу в Ленинград. И присовокупить к этим письмам расшифровку нескольких устных рассказов Владислава Михайловича, которые пропали бы навсегда, если бы Г.В.Вилинбахов в самые последние месяцы жизни Владислава Михайловича их не записал. Да еще несколько страничек того, что сам Георгий Вадимович, или Юра, сказал о том, кого мы оба с ним звали «дядя Владя».



Г.В.ВИЛИНБАХОВ – В.М.ГЛИНКЕ

22.XII.71. Заполярье

Дорогой дядя Владя!

Наконец, могу Вам написать, т.к. мое место службы определилось, и я получил постоянный адрес, слава Богу, только на 10 месяцев.

Попал я в самое неприятное место Ленинградского военного округа. Западное побережье Белого моря не отличается мягким климатом. Кругом сопки, покрытые снегом леса, замерзшие озера. Иногда из этих компонентов плюс восход солнца, получается красивая картина, чем-то напоминающая полотна Рериха.

На петлицах у меня пушки, «бескозырки черные, сапоги фасонные – это артиллерия идет». К своим служебным обязанностям я отношусь спокойно, да меня не очень гоняют. Офицеры чувствуют, что у нас равное образование, сержанты – младше меня по возрасту. Эти преимущества, а также дисциплинированность и точное выполнение устава помогают мне не быть ни у кого под каблучком.

Все свободное время я занимаюсь. Штудирую «Историю России» Соловьева, занимаюсь английским и французским, читаю книги по военной истории и художественную литературу. Хотя в части библиотека небогатая, но что почитать есть, а кроме того мне присылают книги из дома.

Все это помогает преодолевать тоску по дому, родным, друзьям и любимой работе. Сейчас собираюсь предложить начальству цикл лекций по Ленинграду и Эрмитажу, а затем, если с этим все получится, и по военной истории.

Так пока и проходит моя служба. Вот уже почти два месяца осталось позади. Еще десять – и я дома, и опять можно будет с головой окунуться в работу.

Есть у меня два вопроса, ответить на которые очень прошу Вас.

1. Вопрос относится к знакам «За отличие».

Если какие-то подразделения части имели этот знак, то имели ли его и другие подразделения и штаб? Например, в Гвардейской конной артиллерии 2-я батарея имела знак «За Горное Бугарово», 3-я батарея – «За Филиппополь», 5-я батарея – «За Телиш». А что носили на головных уборах чины штаба, 1-й батареи, 4-й батареи?

2. Калмычские полки 1812 года одеты, по тексту Висковатова, в форму Донского войска, но шапки вроде конфедератки с желтым верхом, значит ли это, что во всех других случаях (выпушки мундира, обшивка чепрака, лампасы) прикладной цвет остается красным. Это можно выяснить только по цветному Висковатову. И я хочу попросить Вас, когда будете у Ольги Николаевны, посмотрите, пожалуйста. Ольге Николаевне от меня большой привет.

Купил ли Эрмитаж ту папку с рисунками шведских знамен и штандартов, что мы выставляли на комиссию, а если купили, то кто взял ее на хранение до моего возвращения?

Перед тем, как меня призвали в Армию, я начал смотреть, откуда иностранцы взяли, что русские гусары 1812–1815 гг. были с пиками. Но пока ничего не выяснил. Что Вы думаете по этому поводу? Были действительно пики у гусар или нет?

Конечно, десять месяцев – срок большой, но надеюсь пролетят они быстро, так же как два прошедших.

Передайте, пожалуйста, мой большой привет Марианне Евгеньевне. Искренне Ваш Юра.



28.I.72. Заполярье
Дорогой дядя Владя!

Сегодня получил Ваше письмо с ответом на мой запрос о книге Сахарова. Большое спасибо. Также благодарен Вам и за прекрасную открытку Зарешского с артиллеристами. Была выпущена целая серия с изображением форм обмундирования русской армии 1812 года этого автора. Этот выпуск был приурочен к столетнему юбилею Отечественной войны. В моей коллекции открыток этой открытки не было, т.ч. благодаря Вам она пополнилась хорошей вещью.

Служба моя идет по-прежнему, без особых приключений. Главное, на что я стараюсь тратить каждую минуту, это чтение. Правда, библиотека здесь оставляет желать лучшего, но кое-что можно выудить. Делаю все, что от меня зависит, чтобы год службы в армии не пропал даром. Надеюсь, мне это удастся.

У нас здесь появились прапорщики, правда, они понятия не имеют, откуда произошло это звание. Вызывает вопрос и наличие двух звезд на погонах. Может быть, собираются ввести и подпрапорщиков, у которых будет одна звезда? Обращение «товарищ прапорщик» прививается с трудом. У меня язык все поворачивается сказать «господин прапорщик», что не рекомендуется. Но ничего, привыкли к товарищам генералам и товарищам полковникам, так и к товарищам прапорщикам привыкнут. Надо отдать должное, что погоны прапорщиков выглядят гораздо

лучше, чем погоны старшин. Так что с внешней стороны явное преимущество.

Еще раз большое спасибо за Ваше письмо с открыткой. Передайте, пожалуйста, мой поклон и наилучшие пожелания Марианне Евгеньевне и эрмитажникам.

С уважением, искренне Ваш Юра.



29.05.72. Заполярье
Дорогой дядя Владя!

Большое спасибо за Ваше письмо и чудесную открытку Зарешского. Очень рад, что Эрмитаж приобрел коллекцию солдатиков Л.А.Ракова, с удовольствием буду работать с ними и при первой же возможности подготовлю макет. В 1973–74 гг. это можно будет связать с 160-летним юбилеем войны 1813–1814 гг. Жаль, что в этом году, из-за службы в армии, нет возможности отметить 160-летие Отечественной войны 1812 года. А кто временно, до моего возвращения, хранит солдатиков?

Сообщаю Вам имя и отчество Звегинцева и его адрес – Владимир Владимирович

France

W. Zveguintzov

15. Rue Arthur-Petit 78-VIROFLAY (Yvelines)

Желаю Вам установить с ним интересную переписку.

Передайте, пожалуйста, мои самые добрые пожелания Марианне Евгеньевне и эрмитажникам.

С уважением, искренне Ваш Юра.



29.VIII.80. Ленинград
Дорогой дядя Владя!

Большое спасибо за Ваше теплое письмо и открытку с видом памятника Барклаю, которая пополнит мою коллекцию. Когда я был весной в Тарту, то искал в киосках фото этого памятника, но не мог найти.

Наша эрмитажная жизнь идет своим чередом без особых встрясок и изменений, что само по себе уже хорошо. Не помню, писал ли раньше, что в 12-колонном зале открыта временная выставка западноевропейских миниатюр. Для нас с Вами там много интересных портретов. В начале сентября должна открыться выставка испанской живописи из собрания Прадо: Эль Греко, Веласкес, Гойя и др. Выставка должна быть очень интересной.

Что касается Ваших тезисов для сборника материалов по работе нашего семи-



М.Б.Пиотровский,
Т.Б.Вилинбахов,
Г.В.Вилинбахов

нара, то для меня важно не столько конкретное упоминание тех или иных портретов, определению которых помогло знание униформы и наград, сколько общий методический очерк о значении точного исторического источника, каковым являются формы одежды, ордена, медали, знаки и пр., для работы историка и искусствоведа, особенно при работе с портретами. Конечно, такой очерк может быть проиллюстрирован конкретными примерами. Кроме того, желательно было бы приложить к нему библиографический список основных справочников по униформам, наградам, спискам награжденных и чинов и пр. Таким образом, Вы рассказали бы о самой «кухне» Ваших исследований, что не только представит большой интерес, но и будет чрезвычайно полезно. Со своей стороны я готов помочь в каких-либо технических работах для составления Вашей статьи, ну, скажем, составить список справочников, по Вашему указанию, и пр.

Регулярно вижу с Рюриком Борисовичем, у которого возник ряд вопросов в связи с рисунками, которые он делает для Вашей статьи. Чем могу стараюсь ему помочь. К сожалению, листов Шенка пока обнаружить не удалось. Я просмотрел все тома Висковатова в обоих экземплярах, т. е. красные и черные, но в них листов не оказалось. Может быть, они попали в какой-нибудь из больших красных томов с формами Александра III? Надо будет это проверить.

Дома у нас идет предзащитная работа. Таня (Татьяна Борисовна Вилинбахова – искусствовед, сотрудник Русского музея, жена Г.В.Вилинбахова. – М.Г.) допечатывает сноски, перепечатывает какие-то листы и т.д. Сейчас будет пристраивать для печати реферат, а защита назначена на октябрь, видимо, после 15 числа.

Вот и все наши новости. А когда Вы собираетесь домой? Хочется скорей Вас увидеть, поговорить. Накопилось много вопросов, обсудить которые можно только при встрече.

Надеюсь, что Вы чувствуете себя хорошо. Все шлют Вам привет и самые добрые пожелания. Передайте пожалуйста наш поклон Наталье Ивановне.

Искренне любящий Вас Юра Вилинбахов.



15.11.82

Дорогой дядя Владя!

В догонку первому письму посылаю ответ на один из Ваших вопросов. С инвентарным номером портрета А.Д.Меншикова дело оказалось сложнее, чем я думал. Этот портрет не наш эрмитажный, а взят на временное хранение из Павловска. На его обороте несколько номеров, и я затрудняюсь сказать, какой из них последний: номер описи Гатчинского дворца на лицевой стороне красным: 1624; на обороте, на холсте, голубым: G58; черным и зеленым: 1624 (дважды); черным: Г-29879; на подрамнике — N 2451;

бумажная наклейка с надписью: Гатчинский дворец N 58 и на холсте бумажная наклейка с надписью почерком середины XVIII в.: «Казенного ведомства Камерцалмейстерской конторы N 172 отдана в смотрение придворному живописцу Гроту в 1745 году».

Какой из всех названных номеров Павловского музея? Скорей всего Г-29879 либо N 2451. Если Вы посмотрите на номера других картин из Павловска, которые включены в Вашу работу, то наверное можно по аналогии установить и номер портрета.

Я буду на работе в среду и тогда выпишу номера артиллеристов Петра II, которые и привезу Вам в пятницу.

Передайте, пожалуйста, привет Наталье Ивановне.

Всегда Ваш Юра Вилинбахов.



Устные рассказы В.М.Глинки
(записаны на магнитофон Г.В.Вилинбаховым осенью 1982 года).

ПАЖИ

Мы как-то говорили с тобой, Юра, о тех воспитанниках Пажеского корпуса, которых довелось мне знать.

Вероятно, мне о них надо было бы написать – когда пишешь, то обдумываешь план, размещаешь логически все, что следует изложить. Когда же говоришь, особенно без привычки к ораторскому искусству, то трудно избежать некоторого беспорядка, и что-нибудь может забыться. Но я не особенно надеюсь на свое здоровье и на то, что мне удастся про это написать, а тени этих людей мне дороги. Не хотелось бы, чтобы от них не осталось и следа, а ты неоднократно меня об этих людях расспрашивал, и будет справедливо, если память о них сохранится именно благодаря тебе. Записываешь?

Первым из них я назову Андрея Петровича Иванова или Ив́анова: фамилию свою как воспитанник Пажеского корпуса он произносил на особый манер, с ударением на первый слог. Знакомство наше произошло довольно необычно. В Старой Руссе около дома моих родителей, на набережной Перерытицы, по правую сторону от входной калитки стояла скамеечка, на которой в дореволюционные времена вечерами обычно посиживал кучер со своей женой, любясь через Перерытицу на закат. А в те годы, о которых я говорю, в середине 1930-х, на берегу Перерытицы складывали дрова, которые осенью постепенно увозили на электростанцию, на водокачку, подававшую воду в курорт, и еще куда-то – так или иначе, на берегу выкладывали большие костры дров, которые надо было сторожить. И обычно сторожа, приставленные к этим дровам, ночью сидели на нашей скамеечке.

Однажды, когда я, будучи осенью в отпуску, возвращался домой (я обычно брал отпуск осенью, после конца экскурсионно-музейного сезона), сидящий на скамейке пожилой человек в темном пальто и фуражке спросил, нет ли у меня спичек. Спички у меня нашлись, и когда он закурил, я увидел очень правильное, и, несомненно, в прошлом очень красивое лицо, но уже иссеченное морщинами и отнюдь не молодое. По тому, как он спросил у меня спички и как он поблагодарил, я понял, что он – человек, для которого положение сторожа при дровах, было, конечно, необычным. Придя домой, я сказал отцу, что у наших ворот сидит человек, явно принадлежащий в прошлом к интеллигентной прослойке, а сейчас сторожит дрова. Отец, человек добрый, сказал, чтобы я сходил к нему и спросил, не хочет ли он согреться, может быть, предложить ему чаю.

– Раз уж он произвел на тебя такое впечатление, – добавил отец.

Но на мое приглашение сторож сказал, что он, к сожалению, не может оставить пост, есть, мол, определенные военные привычки, и отлучиться он не может даже на короткое время. При этом очень достойно благодарил, и в конструкциях фраз я опять почувствовал в нем человека из хорошего общества. Через несколько дней мой отец поздно возвращался от пациента, и, памятуя мои слова, заговорил с этим ночным сторожем и пригласил его на другой день прийти к нам обедать. Появился человек среднего роста, очень прямо державшийся, в очень скромном черном костюме, в черном галстуке, в безупречной рубашке, который представился как Андрей Петрович Иванов. Из разговора выяснилось, что в прошлом он – кадровый офицер, воспитанник Пажеского корпуса, офицер лейб-гвардии Преображенского полка. Из подробностей его биографии, которые стали проявляться из его расска-

зов, выяснилось, что он вышел в отставку в чине капитана в 1906 году, причем, видимо, в чине гвардии капитана был до этого несколько лет, поскольку при отставке получил чин полковника. О том обстоятельстве, что он покинул полк именно в девятьсот шестом году, он упомянул с явным сожалением. Вот, мол, как неудачно!

– Отчего Вы так говорите?

– Да Вы знаете, в 1907 году ввели новую форму, более нарядную, и если бы я подождал год или немного больше, то имел бы право ее носить. А ведь новая форма Преображенского полка замечательная – с красным лашканом, окантованным белым кантом... Я бы имел право носить кивер, введенный в 1907 году, а для меня это было особенно важно, потому что я был ктитором полковой церкви и должен был все время появляться среди товарищей... А я – в этом старом мундире на крючках... И в барашковой шапке вместо кивера... Такой анахронизм! Как это неловко, когда ошущаешь себя белой вороной...

Но другие рассказы Андрея Петровича были не так наивны и не так комичны. В частности, мне запомнился эпизод его биографии, который, мне кажется, является не только фактом его личной жизни, но, если хотите, даже неким историческим штрихом, правда, невеликого значения, но очень характерным. Когда, разговорившись, мы спросили его, как проходила его служба, он ответил, что служба у него проходила очень гладко – он прекрасно кончил Пажеский корпус, прекрасно служил, был всегда очень аккуратен, был человеком достаточно состоя-

тельным, имея отца генерала и дом в Петербурге, мог содержать себя в полку наравне с другими офицерами, но, конечно, никогда не старался выделяться из общего уровня.

Упомянутый эпизод имел место летом 1904 года, когда, Андрей Петрович, тогда еще служивший, был в какой-то день помощником дежурного по летнему лагерю гвардии в Красном селе. Вестовой подал ему, помощнику дежурного, телеграмму, из бандероли которой явствовало, что она прошла через дворцовый телеграф. Дежурный в это время отлучился в обход лагеря, и Андрей Петрович, поколебавшись, решил, что, раз так, то он должен сам отнести эту телеграмму адресату. А адресатом был великий князь Михаил Александрович, в то время наследник престола.

Было около 12 часов ночи, только что потушили огни в последних палатках, потому что следующим был будний день, значит, обычные лагерные учения, и надо было рано вставать... Подоидя



Барон Карл Густав Маннергейм. 1905

к палаткам, в которых располагался лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк, где ночевал Михаил Александрович вместе со своим другом и адъютантом ротмистром Мордвиновым, Андрей Петрович увидел, что около палатки сидит денщик и курит. При появлении капитана Преображенского полка денщик вскочил, и Иванов спросил:

– Их высочество давно почивают?

– Да нет, только что потушили свет, постучите об палку.

Передняя палка эта подпирала входной полог палатки.

– А всегда, когда к нам приходят, – сказал денщик, – вот так постучат.

Андрей Петрович постучал, и из палатки раздался голос Михаила Александровича:

– Кто там?

– Капитан лейб-гвардии Преображенского полка Иванов с депешей к Вашему Императорскому высочеству.

– Войдите, капитан.

Зажег настольный электрический фонарик, при свете которого Иванов увидел лежащих на двух походных кроватях Михаила Александровича и Мордвинова. Михаил Александрович протянул руку, взял телеграмму, раскрыл ее, приблизил к фонарику, и вдруг Андрей Петрович увидел странную картину – вверх задрались две голые мужские ноги, и Михаил Александрович заорал благим матом:

– Мордвинов! Вставай! Шампанского! Я больше не наследник!

Это было извещение о том, что у Николая II и Александры Федоровны родился, наконец, сын. Вскочивший денщик зажег свечи, и Михаил Александрович сказал:

– Капитан, садитесь, пожалуйста! Вот стул! Сейчас откупорят шампанское, выпейте с нами, пожалуйста!

– Ваше высочество, я при исполнении служебных обязанностей...

– Ну, что? Бокал шампанского! Такой случай! Радость какая! Я больше не наследник престола! Это же такая радость!

Он просто не мог никак скрыть своих чувств. Андрей Петрович выпил, конечно, этот бокал...

Что тебе рассказать о его жизни? Андрей Петрович прожил до 1914 года вне службы, а в 1914 году как еще числившийся в запасе был призван. Вернуться ли в свой полк или стать подполковником армии? Андрей Петрович решил положить на тот вариант, который ему предложат при призыве. Ему предложили командование батальоном в одном из полков уже вступивших в войну. Полк был изрядно потрепан в боях, убыль офицеров была значительной, так что, никому не мешая и не нарушая никому вакансий, Иванов принял батальон. Провоевал он около полугода, после чего был ранен, не очень тяжело, но рана уложила его на несколько месяцев в госпиталь. Ранение было в руку, несколько пальцев на левой руке у него после этого были сведены, и через некоторое время уже в чине полковника он перешел в один из запасных полков. Ну, и возраст, очевидно, был уже такой, когда переносить тяготы полевой службы было тяжело. Если учесть, что в 1906 году



Вел. кн. Михаил Александрович

он вышел капитаном, прослужив уже несколько лет в этом чине в полку, то ему было в момент отставки не менее тридцати шести лет, откуда можно вывести простейшим образом, что родился он примерно в 1870 году, значит, во время войны ему было уже около сорока пяти, а служба в полку была не такой уж легкой.

А дальше все было довольно грустно. Андрей Петрович женился, женился в первый раз, произошло это в 1915 году, у него родился сын, которого он очень любил. Но когда пришла революция, и Андрей Петрович потерял все, то жена очень скоро ушла от него к другому, более молодому человеку. Андрей Петрович перенес то, что естественно было для большинства людей с его прошлым – он был сослан на Соловки, а в Старую Руссу попал уже после соловецкого заточения. Он очень любил своего сына, постоянно переписывался с ним, иногда ездил на день-два в Ленинград, чтобы увидеть этого подростка, радовался его успехам в школе, ну, а потом Андрей Петрович году примерно в 37-м пропал. Дальнейшей его судьбы я не знаю, но могу предполагать, что она была обычной для того времени и человека его происхождения, воспитания, положения.

Надо добавить не в осуждение ему, но в качестве штриха, характеризующего людей его времени, что, выйдя в отставку, то есть между 1906 и 1914 годами он побывал и в Париже, и в Лондоне, и в Ницце, и в Монте-Карло. И объехал Италию, но когда мы с Марианной Евгеньевной (женой В.М.Глинки – М.Г.) пытались расспросить его о том, что он видел в этих странах, то Андрей Петрович со свойственным истинному гвардейцу легкомыслием говорил: «Да, да, я был и в Уфищи, и в Лувре, и в Британском музее – я же с “бедкером” в руках путешествовал»... Но больше всего он любил рассказывать о ресторанах – о том, какой ресторан был на Эйфелевой башне, как прекрасно готовили в ресторанах Парижа и Лондона и какое различие между поварами. Рассказывал и о том, каково играть в Монте-Карло, он там все-таки задержался, пока больше тысячи рублей не пропустил через рулетку. Одним словом, это был типичный человек своего времени, своего воспитания, своего класса. Я убежден, что при этом он был доблестным офицером и абсолютно честным человеком.

Вторым пажом, которого мне довелось близко наблюдать и с некоторое время общаться и о котором я тоже вспоминаю как о человеке абсолютно типичном для своего времени, был Борис Александрович Богушевский – наследственный офицер, отец, дед, прадед которого были русскими офицерами и генералами. Он кончил Пажеский корпус в 1896 году и был на коронации Николая II пажом одной из великих княгинь. Выйдя в Первую гвардейскую артиллерийскую бригаду и прослужив в ней относительно недолго, он около 1900 года вышел в отставку. Когда однажды зашел разговор, и я спросил его, почему он оставил службу, он ответил мне:

– Ну, скучно, скучно – все одно и то же. Ну, что там было делать? Преподавать солдатам артиллерийскую науку? Так вот в течение зимы так оно и шло... Газеты, служба, а летом лагеря – одним словом, соскучился... Через четыре-пять лет мне стало просто неинтересно... А в это время, может, это смешно сейчас говорить, началось увлечение автомобилизмом, и я как-то переменял лошадь на автомобиль. И понял, что это для меня более интересная, более современная страсть. Может быть, у меня была какая-то внутренняя склонность к технике, нет, не от отцовских предков – там ничего такого не найти. Может быть, по материнской линии? Не знаю... Но, в общем, меня интересовали машины, в частности, моторы. Я, выйдя в отставку и имея некоторые средства, уехал в Бельгию, поступил в Политехникум и получил диплом инженера...

Для того, чтобы именоваться в России инженером, имея заграничный диплом о техническом высшем образовании (как, впрочем, и о всяком другом), надо было

заново пересдавать все экзамены при одном из русских вузов. Но Борис Александрович этого не сделал, а, приехав в Россию, стал заниматься как любитель автомобильным спортом и при этом служил в одном из технических частных предприятий. Зарабатывал при этом достаточно и как инженер оказался вполне квалифицированным.

Ну, а дальнейшая жизнь Бориса Александровича, насколько я понимаю, прошла так – он во время войны 1914-го года был призван, воевал офицером гвардейской артиллерии, потом демобилизовался. Во время революции его жена с дочкой уехали за рубеж, а Борис Александрович остался в России. Я думаю, что решение это зависело не от каких-то сложных политических настроений, а просто из-за ощущения того, что надо быть со своим народом во всех случаях. Не знаю уже из-за каких обстоятельств, может быть, из-за голода, наступившего в Петрограде в 1918–1919 годах, а, может быть, от того, что уехали жена с дочкой, но на несколько лет Борис Александрович покинул Петроград. Что касается его жены – мало что знаю, но всегда на его столе стояла в большой красивой рамке ее фото-графья – очень эффектно снятая у модного фотографа предреволюционных лет Петербурга (фамилия неразборчива – М.Г.) красивая дама в кружевах и около нее девочка с прекрасными кудрями и милым личиком. Они так и остались в Париже. Не знаю, вышла ли впоследствии замуж его жена, но Борис Александрович сошелся с некоей своей знакомой, Марией Степановной, которую знал с юных лет. Опять-таки не знаю, была ли она с ним зарегистрирована, но она была хозяйкой в его доме, и мы принимали ее в качестве его супруги. Она разделила в будущем его судьбу.

Я уже упомянул, что Борис Александрович году в 18-м или в 1920-м покинул Петроград и уехал в Среднюю Азию. Там он провел примерно десять лет и, на свое несчастье, общался близко с Файзуллой Ходжаевым, председателем Совнаркома одной из среднеазиатских республик. Несчастье заключалось в том, что Ходжаев, также увлекавшийся автомобильным спортом, предложил Борису Александровичу организовать на автомобилях первый пробег через Кара-Кумы. Богушевский был назначен капитаном этого пробега, а потом по материалам этого пробега была выпущена книжка, предисловие к которой написал Файзулла Ходжаев. А в 1938 году Ходжаев был арестован и расстрелян.

Когда я при посредстве Ольги Филипповны, моей тещи, и Марианны Евгеньевны познакомился с Борисом Александровичем и Марией Степановной, Борис Александрович был человеком мощного телосложения, широкоплечий, очень крепкий, с энергичным, я бы сказал, красивым лицом, с седеющей шевелюрой чуть-чуть выющихся волос. Время, вероятно, наложило отпечаток на его фигуру, он слегка горбился, вернее, держал голову в плечах, а в остальном он был крепкий, молодец, каждый сезон уезжал на охоту. У него был чудный пес Орлик, который, когда они возвращались через два дня с охоты, целые сутки отлеживался в кухне распластаный, абсолютно без сил, а Борис Александрович, как молодой человек, на другой день отправлялся на службу. Он был инженером одного из автопредприятий, постоянно получал премии, считался одним из лучших специалистов в своей области. У Бориса Александровича довольно часто бывали два его близких приятеля – и иногда в этом случае приглашали и меня. Это был довольно своеобразный кружок. Итак, Бориса Александровича – его происхождение, его прошлое, его жизнь я уже в общих чертах обрисовал, вторым в этом кружке был Павел Александрович Валуев, представитель достаточно известной в истории России старой дворянской фамилии, но человек новой формации – инженер-путеец, ставший инженером-гидротехником – он был правой рукой Графтио при постройке Волховстроя. Это был благообразный, я бы даже сказал, красивый блондин, крупный, полный, вальяжный, добродушный, смешливый человек и при этом, видимо, очень деятельный и прекрасный инженер, иному бы просто не доверили нести, при том постоянно, такую большую и ответственную техническую нагрузку.

Третий в их компании был Иосиф Иосифович Дараган-Сушев. Отец его, как я установил по справочным книжкам, был тоже инженером-путейцем, занимавшим крупные посты в Министерстве путей сообщения, хотя по материнской линии он отнесился к категории наследственных военных. Однако Иосиф Иосифович пошел по линии отцовской, то есть путевой. Он кончил Путейский институт в 1905 году, и так как не отбывал военной повинности после окончания учебного заведения, то, естественно, был сразу призван на действительную военную службу. Шла русско-японская война, и он захотел узнать, что же такое – эта война, и попал в Черниговский драгунский полк. Прибыв в полк, вольноопределяющийся солдат Дараган-Сушев, имевший на правой стороне груди знак Института инженеров путей сообщения, был, вероятно, именно за этот знак приглашен командиром эскадрона, в который он был определен, разделить с ним то помещение, в котором самому командиру приходилось жить. А командиром эскадрона был барон Маннергейм, недавний кавалергард. С этого началась их дружба. В конце войны Иосифа Иосифовича произвели в прапорщики запаса. Будучи в отряде генерала Мищенко, он получил знак отличия военного ордена святого Георгия, которым очень гордился.

Борис Александрович и Мария Степановна, которые знали Иосифа Иосифовича в молодости говорили, что он тогда был необычайно красив. Правда, об этом можно было судить и тогда, когда мы познакомились. Сочетание ярко голубых глаз с чуть рыжеватыми каштановыми волосами при тонких чертах лица придавало необыкновенное очарование ему и в юных годах, а в молодости он был, вероятно, одним из первых красавцев Петербурга. Если не ошибаюсь, то уже вскоре после японской войны Иосиф Иосифович женился, уже работая как инженер-путеец на изысканиях. Женился он на мадемуазель Фредерикс, племяннице министра двора. Звали ее весьма прозаически – Дарья, отчество сейчас не помню, но брак этот был необычайно счастливым. Иосиф Иосифович был не инженер-эксплуатационник и не инженер-строитель железных дорог, а инженер-изыскатель, и его страстью были путешествия по тем местам, где надо было вести первичную разведку маршрута будущей железной дороги. И мадемуазель Фредерикс, которой предсказывали, что она с мужем будет вечно кочующей из палатки в палатку, что она будет скучать и задыхаться в условиях пустыни, степей и тому подобное, оказалась прекрасной спутницей, верной женой и родила ему двоих детей. Надо сказать, что очарование Иосифа Иосифовича, которого я знал в течение многих лет, было необычайно. Он был прелестный рассказчик, очень скромный человек, мягкий, обходительный и принадлежал к категории людей, которые всюду и везде чувствуют себя спокойно, хорошо и у них нет проблем в общении с любым человеком. Я это заключаю по тому, как, однажды, не застав Бориса Александровича и Марию Степановну, он стал их дожидаться в их комнатах. Меня не было дома (Богушевские и Глинки жили в одной квартире – М.Г.), не было и Марианны Евгеньевны, а потом, когда я пришел, и, узнав, что Иосиф Иосифович тут, пошел приглашать его зайти к нам, то застал его весьма оживленно разговаривающим с Иришей, домработницей Богушевских. Он расспрашивал ее о деревне, и чувствовалось, что эта замкнутая и суровая женщина полностью расположилась к собеседнику и поверила интересу Иосифа Иосифовича к ее воспоминаниям о детстве, проведенном в какой-то Вологодской деревне.

Дальнейшая судьба Иосифа Иосифовича была такова. В 1914 году как инженера запаса его естественно призвали. Он отправился в свой полк, ставший к тому времени уже не драгунским, а 18-м гусарским Нежинским, в котором и воевал до первого ранения. Ранение было не очень тяжелое, но, однако же, он был переведен в госпиталь в Петроград, где жила его супруга и все близкие. И здесь, как он рассказывал, в один прекрасный день в его палату вошел в белом халате генерал-лейтенант Маннергейм, который, узнав о его ранении, решил его навестить как

старого приятеля. В перерыве между войнами они время от времени общались. А тут, в госпитале, Маннергейм у него спросил: «А что ты собираешься дальше делать? Ну, возвратишься в свой полк? Что там интересного? Твой полк сидит в окопах, война приобрела позиционный характер, кавалерия теперь уже совсем не та, что она значила раньше – представления о ней совершенно иные... Иди ко мне в адъютанты!». А я ему отвечаю: «Но ты-то командуешь именно кавалерийской дивизией – а, значит, она тоже сидит в окопах!». А он мне говорит: «Я тебя не отдыхать зову, а трудиться. Да, быть адъютантом не просто, я, как ты знаешь, люблю вставать в шесть часов утра и целый день крутиться, значит, и тебе придется...»

Одним словом, Маннергейм нарисовал такую картину, которая Иосифа Иосифовича не оттолкнула, а, напротив, привлекла. И всю войну, до семнадцатого года, в конце ее в высоком чине поручика Иосиф Иосифович провел адъютантом Маннергейма, которого аттестовал как человека необычайной энергии, абсолютной честности и командиром, который поднимался не только в шесть, но иногда и в пять часов, обливался во всякое время года холодной водой и затем обязательно объезжал один из полков своей дивизии, входя во все детали строевой, хозяйственной и другой жизни полка.

Разговор о Маннергейме у нас возродился уже тогда, когда Борис Александровича не было в нашей квартире. В тридцать седьмом году его арестовали, и он исчез. Но мне навсегда памятна та трапеза, когда Богушевский приглашал меня в эту мужскую компанию. Эти люди всегда очень вкусно ели, но еще более интересно говорили. Это были не только воспоминания о прошлом, как можно было бы предположить среди людей этого типа, которые в прошлом были и состоятельны, и блестящи. То были речи людей, которые, многое повидав и пережив, продолжали и работать, и интересоваться очень многим. Иосиф Иосифович, к примеру, побывал на Соловках, но после этого, однако, был прописан в Ленинграде и работал в одной из проектных организаций на улице Росси. Когда Борис Александрович исчез, исчезла следом и его жена, мы с Марианной Евгеньевной сохранили с Иосифом Иосифовичем Дараганом добрые отношения.

Когда вышли записки Игнатьева «50 лет в строю», мы получили от Иосифа Иосифовича исчерпывающую информацию об авторе этих записок. Аттестация была самая уничтожающая – Иосиф Иоси-

Маннергейм. 1943



фович сказал, что он хорошо знал и Алексея Алексеевича и его брата – лейб-гусара, и что брат был отличным офицером и порядочным человеком, а Алешку, как он называл Игнатьева, вообще, никто всерьез в старом Петербурге не принимал – знали, что он хвастун, фанфарон, человек необычайно самовлюбленный, и к его запискам Иосиф Иосифович относился чрезвычайно критически.

Встречи наши продолжались и тогда, когда началась финская война. Естественно, мы расспрашивали о Маннергейме, оборонительная линия которого на Карельском перешейке явилась камнем преткновения для наших армий в течение этой страшной зимы, когда столько людей было обморожено. Я знал об этом не понаслышке – Марианна Евгеньевна и ее мать работали в госпиталях, ухаживая за этими обмороженными людьми. Недаром Дараган аттестовал Маннергейма, как человека блестящих организаторских способностей. Он говорил, что, возможно, Маннергейм и небольшой полководец, но человек дела и умеющий подобрать сотрудников. Я, говорил он, не имею в виду себя, ну, что же я такое – просто адъютант, но офицерский состав дивизии Маннергейма был подобран во время германской войны такой, что все шло без сучка, без задоринки. Я, говорил он, просто любовался, как работал весь штаб, и как все относились к Маннергейму – с твердой верой, что он без нужды не будет людей беспокоить, но будь любезен исполнить все, что от тебя требуется.

Остается сказать только два слова о том, как скончался Иосиф Иосифович. Это произошло уже значительно позже – во время войны. Я узнал это от одного инженера, работавшего на улице Зодчего Росси. Иосиф Иосифович работал над чертежом, когда в соседнее помещение ударил немецкий снаряд. Он лицом упал на чертеж и не поднялся. Это был разрыв сердца. Вдова его и оба сына, насколько мне известно, умерли в блокаду от голода.



КОРНЕТ АНДЕРСОН

Детские впечатления, детские встречи... В моей жизни их было довольно много, что в значительной степени объяснялось двумя обстоятельствами. Во-первых, профессия отца. Будучи врачом, он привлекал к нашему дому нескончаемую вереницу лиц, многие из которых оставляли о себе память на долгие годы. Во-вторых, мое детство совпало с лихими и страшными годами войны и революции, когда огромные массы людей были сдвинуты с насиженных мест, перемешались все прежде существовавшие представления о добре и зле.

В нашем небольшом городке Старой Руссе, где до войны стоял 86-й пехотный Вильманstrandский полк, была расположена команда выздоравливающих, которой командовал полковник Андерсон. Он ходил в солдатской шинели, на борт которой была нашита георгиевская лента. Мое детское воображение поражали крашенные рыжие усы и бакенбарды этого пожилого, но еще бодрого офицера. Они были выбриты по моде времен Александра II.

Как-то раз, при очередном визите к отцу, полковника Андерсона пригласили отобедать с нами. Папа познакомил его с мамой, я, как положено, шаркнул ножкой. Перед обедом папа шепнул мне, чтобы я вышел в переднюю и обратил внимание на шашку полковника, которую он, как это полагалось, там оставил. Рассматривая шашку, я сразу понял, что было в ней необычного. На рукояти, где помещался вензель императора, при котором офицер начинал службу, стояло АИ.

За обедом папа спросил Василия Карловича – так звали Андерсона – когда тот начал служить, не во время ли Русско-турецкой войны 1877–1878 годов? Действительно, Андерсон начал свою службу в Турецкую войну в составе Лубенского гусарского полка вольноопределяющимся. За храбрость получил отличия Военного ордена 4-й степени и прошел с полком всю кампанию, выслужив офицерский чин. Но после окончания войны оставаться в блестящем гусарском полку ему было не по средствам, и он был вынужден перевестись в армейскую пехоту. «А кем Вы служили перед началом этой войны?» – спросил папа. Андерсон махнул рукой: «Да смех сказать, Михаил Павлович, был я заведующим мукомольни Киевского военного округа».

Несмотря на свой возраст, который мне тогда казался очень солидным, полковник Андерсон был довольно крепок и бодр. Как бы подтверждение этих качеств он начал ухаживать за вдовой погибшего на фронте офицера-артиллериста. Возможно, не последнюю роль в выборе полковника сыграло то, что вдова артиллериста отдала дань памяти своему мужу, соорудив на его могиле довольно массивный памятник, украшенный металлическими венками с георгиевскими лентами. По прошествии короткого времени Андерсон со вдовой покинули Старую Руссу, и мы больше никогда о них не слышали и не знаем, как сложилась их дальнейшая судьба. На этом можно было бы и закончить повествование, но история имела продолжение, ради которого я и вспомнил рыжеусого полковника Андерсона.

Как-то уже поздней осенью к нам пришел молоденький офицерик. Его много повидавшая длинная кавалерийская шинель висела на нем, как на вешалке. Из воротника торчала тоненькая шейка, а на лице явственны были следы голода, бессонных ночей и перенесенных страданий. Он представился корнетом 15-го гусарского Украинского полка Михаилом Васильевичем Андерсоном, сыном полковника Андерсона. К нам в дом его привели упоминания в письмах отца о знакомстве с нашей семьей. А так как с некоторых пор он перестал получать от отца письма,

то и зашел узнать, не знаем ли мы о том, где тот находится в настоящее время. К сожалению, мы ничем не могли помочь, так как после отъезда из Старой Руссы полковник не давал о себе знать.

Папа предложил Михаилу Васильевичу остаться у нас, и тот согласился, тем более что и ехать ему было некуда. Мы полюбили этого скромного и славного молодого человека, и скоро старшие стали называть его просто Миша. За столом мама старалась подкормить его, отчего он очень смущался, но затем съедал все, что ему подкладывали на тарелку. Из рассказов Миши мы узнали, как развалился фронт после октябрьского переворота, сколько мерзости и унижения ему пришлось испытать, пока он добирался до нашего городка. Тогда-то он и спорол офицерские погоны с шинели. «Миша, а где вы расстались с шашкой?» – как-то спросил его папа. На лицо Миши набежала тень. Но, немного помолчав, он ответил: «С погонями да шашкой я едва ли доехал бы живой. Вы ведь знаете, что творится в поездах, на станциях... Сколько офицеров... Хуже, чем на фронте. Погоны я срезал, а шашку в окно... Может, этим и спасся. А револьвер держал в кармане. Но это я сохранил». И с этими словами он достал из кармана георгиевский темляк и с гордостью показал его нам. Оказалось, что скромный и такой домашний Миша имел георгиевское оружие «За храбрость».

За то время, что Миша у нас пробыл, он немного подкрепился, отчистился, не без помощи нашей няни, от фронтовой и дорожной грязи. И тогда стало видно, что он довольно ладный офицер в шегольски сшитом обмундировании, из тех, кого называли «пистолетами».

Постепенно Миша Андерсон стал знакомиться и с теми людьми, что бывали у нас. К нам довольно часто навещались братья Плешивцевы, державшие небольшой конный завод недалеко от Старой Руссы. Миша сошелся с ними, и как-то в начале зимы они уговорили его переселиться к ним.

Миша попрощался с нами, как с родными, собрался и уехал. Когда кто-нибудь из Плешивцевых приезжал в город, то обязательно заходили к нам, передавали привет от Миши. Со временем их приезды становились все реже и реже – тяжелое и страшное было время. И вот однажды папа встретил в городе одного из братьев и, естественно, поинтересовался судьбой нашего друга.

Плешивцев рассказал, что пожив у них на свежем воздухе, Миша окреп и находил удовольствие в этом новом образе жизни. Вскоре он познакомился с очень красивой девушкой, жившей на соседнем хуторе. Она была дочерью Демянского уездного воинского начальника, носившего экзотическую фамилию Делхтфус-Вахштейнский. Столь громкая и запоминающаяся фамилия принадлежала скромному подполковнику с совершенно русскими именем и отчеством Николай Викторович. Так вот, наш Миша Андерсон и женился на этой бывшей институтке, уехавшей из Петрограда от голода и неустойчивости жизни. И я был бы рад закончить свой рассказ словами о том, что они любили друг друга и были счастливы настолько, насколько можно было быть счастливым в те трудные времена.

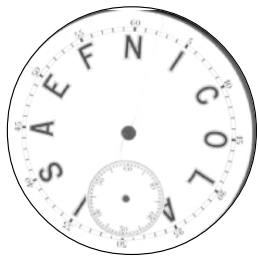
Но история, рассказанная Плешивцевым, кончилась грустно – Миша умер от тифа. Конец, особенно для молодого человека, печальный... Но сейчас, оглядываясь назад, невольно думаешь, что, может, и хорошо, что смерть похитила его жизнь тогда, когда он был в состоянии сравнительного благополучия? Ведь иначе ему пришлось бы пережить все физические, а главное, нравственные муки гражданской войны и советизации, а то, что Андерсон был корнетом, да еще с «георгиевским оружием» – это, рано или поздно, несомненно, аукнулось бы, и его наверняка не миновала бы страшная мясорубка сталинского времени...



ПЕТЯ ЕЛИСЕЕВ

Главная часть этой истории была услышана мной в феврале или марте 1928 года. В это время я был молодым вдовцом, свободным, одиноким, но уже не чуждавшимся общества. И один из домов, где я бывал не раз и не два, а десятки, был дом Исаевых. Моя кузина Надежда Петровна Глинка вышла замуж за Сергея Николаевича Исаева, в то время курсового командира или помощника командира батареи в артиллерийской школе на Забалканском, а брат его Борис Николаевич¹ был курсовым же командиром в автоброневой школе на Подъездном переулке. Жили они еще в то время в хорошей квартире на Суворовском, на углу, если не ошибаюсь, 8-й Советской в третьем этаже, там жили и их родители – Николай Иванович² и Марина Николаевна, которые, однако, почти никогда не показывались нашему молодому обществу. У Исаевых была большая гостиная с роялем, где мы танцевали и дурачились, была столовая с хорошей сервировкой, где ужинали с небольшим количеством вина. Собирались товарищи братьев Исаевых по службе – командиры со своими женами, свояченицами и сестрами, собирались наши приятели – молодежь невоенная, родственники, кузены – ужинали и около двух часов ночи расходились. А к ужину обычно приезжали два актера, я бы сказал, актеры легкого жанра – герой моего рассказа был профессиональным конференсье. Это был сын петербургского городского головы Петр Григорьевич Елисеев, в прошлом офицер конницы, но, как я мог понять, никогда, собственно, в строю не служивший. Окончив одну из петербургских гимназий, а потом Тверское кавалерийское военное училище (тут характерная деталь – в Николаевское училище его не приняли из-за происхождения, хотя папаша и был действительным статским советником, но все же купеческого звания, а, раз так, то Николаевское закрыло перед ним двери). Петр Григорьевич закончил Тверское училище, кажется мне, был досрочный выпуск 1914 года, за две недели до обычного выпуска. Не знаю, служил ли он в строю, но, во всяком случае, папенька очень скоро пристроил его адъютантом к одному из генералов в штабе западного фронта, который в 16–17-м году был во Пскове.

С Петром Григорьевичем мы подружились на той почве, что наша дорога после окончания вечеринок у Исаевых проходила по одному маршруту. Я жил на Кировной, 17³, а Петр Григорьевич направлялся к углу Саперного и Знаменской, и мы обычно тихой зимней ночью шли по Бассейной улице и по Знаменской. Понемногу знакомились, дружелюбно разговаривали о том, о сем. Он был неистощимым кладзем анекдотов, которыми смешил нас за играми, а его партнер подыгрывал ему во время этих монологов... Но когда мы с ним шли после вечеров, наши разговоры были более серьезными, они касались воспоминаний, текущей жизни и характеристик тех людей, с которыми мы только что провели вечер. Если не ошибаюсь, то Петр Григорьевич дружил с командиром одного из эскадронов кавалерийских курсов, на которых я когда-то учился – то ли это был Григорий Павлович Топорков, то ли Алексей Федорович Невзоров, помню только, что речь шла о моем комэске. Так или иначе, но кто-то из них, вероятно, дал Петру Григорьевичу обо мне благоприятную оценку, и это повлияло на то, что наши разговоры были довольно дружелюбными. Ну, так вот мы и разговаривали – февраль, март – зимние улицы, тишина, чистый воздух после накуренного жаркого воздуха у Исаевых... Там много курили, в то время курили и многие дамы, одним



Б.Н.Исаев. 1915



словом, выйти на чистый воздух было наслаждением... Вот мы шли медленно и разговаривали. Должно быть, с моей стороны было бестактно, но однажды, когда Петр Григорьевич выразил мне соболезнование по поводу постигшей меня за полтора года до того потери жены, я, зная, что прописан он официально в совершенно другом месте, нежели то, куда направляется, и догадываясь с его слов, что он направляется к какой-то даме, спросил его: «Петр Григорьевич, а Вы женаты?» И услышал довольно странный ответ: «Не знаю, что Вам ответить. Формально, мол, женат, но до него дошли слухи, что его жена за рубежом с ним уже развелась, так что он не знает – женат он или нет.

В следующий раз мы как-то опять вернулись к этой теме. И я услышал следующий рассказ. Служа в штабе западного фронта во Пскове, он крупно играл в карты. Еще будучи гимназистом, потом юнкером, немного поигрывал, а тут, можно сказать, пустился...

– Мы же бездельники все там были, – сказал он. – Делать-то, вообще говоря, нечего было... Ну, конечно, какие-то обязанности были, служба все-таки, но большей частью балбесничали... И вот крупно играли, и один раз я проиграл 64 тысячи... Ну, имя – Елисеев, это фирма, богатство, но 64 тысячи... А у меня с собой 5–6 тысяч... Отдал то, что было, а за остальными поехал в Петроград. Приехал в Петроград – папа, я проиграл 64 тысячи! Отец пришел в неистовство – ты, понимаешь, что ты делаешь? Ну, пять, ну, десять тысяч, но 64! Ты с ума сошел! Дай мне честное слово, что больше не сядешь за карты! Я же не могу такие деньги платить – это будет в ущерб твоему брату, твоей сестре!

Прелестная его сестра, Ася, тоже бывала в нашем обществе, и его брат, совершенно другого стиля человек, Григорий Григорьевич, который был врачом-ларингологом и совершенно не походил на вальяжного и несколько развязного Петю, который весело рассказывал анекдоты – тот тоже бывал.

Итак, значит, отец обещал оплатить этот долг, и, взяв с него обещание больше не играть, оплатил. Петр Григорьевич уехал во Псков и некоторое время честно держался. Поигрывал, но по маленькой – 100, 200 рублей, однако в ноябре 1916 года черт попутал, он все же сел за крупную игру и проиграл 96 тысяч. Ему

опять поверили – все же Елисеев. И он опять явился к генералу:

– Разрешите съездить в Петроград, надо по делам, отдать долги...

– Ну, поезжайте, поезжайте, поручик.

Поехал, явился к папе.

– Папа, прости, но я опять проиграл.

– Сколько?

– 96 тысяч...

– Что?? Сколько? Да ты с ума сошел! Полтораста тысяч просадить в карты! Ты хоть понимаешь, что уже залез в карман к сестре, к брату? Я не буду платить этих денег!

– Но, папа, это долг чести...

Я не могу туда приехать, и не платить. Я застрелюсь!

– Стреляйся!

Вышел, рассказывал Петр Григорьевич, из отцовского кабинета, пошел в свою комнату. Как быть? Вернуться без денег нельзя. Но платить нечем. Неужели стреляться? Но что делать? Долг есть долг – его нельзя не отдать... Значит, все-таки стреляться? Или есть еще какой-то выход? Но выхода он не видел... И уже собирался опять идти к отцу, хотя и не знал, что ему говорить... А что тут говорить – оставалось одно – просить, клясться, что больше уже никогда... Петр Григорьевич, конечно, понимал, что такая сумма это уже большой ущерб делам отца, и что это действительно, удар по наследству... В это время вошел лакей и сказал:

– Петр Григорьевич, вас просят к телефону.

– Слушаю.

– Поручик Елисеев?

– Так точно.

– С вами говорит полковник такой-то.

– Слушаю, господин полковник.

– Я имею поручение от одного высокого доверителя переговорить с вами. Но перед тем, как ехать к вам для разговора, позвольте задать вам один вопрос.

– Пожалуйста.

– Верно ли то, что третьего дня вы проиграли ротмистру такому-то 96 тысяч.

Он хотел ответить, что это никого не касается, но, тем не менее, все-таки подтвердил.

– Ну, тогда я сейчас приеду. Я знаю ваш адрес.

Действительно, через пятнадцать минут лакей доложил, что в гостиной ждет некий полковник. Петр Григо-



С.Н.Исаев. 1915



Автомобильный отряд. 1919.
В.М.Глинка – седьмой справа

рьевич вышел к нему. Это был офицер с аксельбантами, чей-то адъютант, который сказал, что имеет от своего непосредственного начальника (он же доверитель) предложение – если послезавтра в церкви Пантелеймона в 12 часов дня Петр Григорьевич, будучи одет в походно-парадный вариант формы, будет обвенчан с некоей дамой, имя которой его не будет касаться и никогда не будет иметь никаких претензий к этой даме, то ему будет вручен чек на 96, нет на 100 тысяч для ровного счета. Ну, Петр Григорьевич, конечно, был удивлен... но перед ним был вполне серьезный человек, немолодой уже полковник и предлагал такую сделку... А что, собственно, делать? Что делать? Он не был женат, у него в это время не было никакой возлюбленной... 100 тысяч? Все разговоры с отцом будут тем самым погашены... Петр Григорьевич сказал, что ему нужен час-полтора на размышления...

– Пожалуйста, я вам позвоню, через полтора часа.

Полковник ушел, а Петр Григорьевич пошел в свою комнату. Так стреляться или венчаться? Отец денег не даст, это ясно... Ну, и он решил, что повенчается... Повенчается! А что там будет дальше – кто знает?

И через двое суток он прохаживался около церкви Пантелеймона-целителя в чакчирах, в сапогах с розетками, с шашкой и с тем единственным орденом Станислава, который, добавил Петр Григорьевич, «я заработал неизвестно чем, служба в штабе»³. Через несколько минут подъехал автомобиль, из которого вышла молодая дама с двумя офицерами. Один из них был знакомый ему полковник, который, отведав его

в сторону, вынул бумажник и сказал, что как честному человеку передает чек. Петр Григорьевич был достаточно искушен, чтобы понять – чек на 100 тысяч рублей вполне настоящий, на его имя и в один из банков Петрограда. После чего все проследовали в церковь, причт уже был готов, дама сняла при помощи Петра Григорьевича мантию, и он без всякого труда мог понять, что она на седьмом-восьмом месяце беременности. После чего они были обвенчаны, шаферы и Петр Григорьевич расписались в соответствующей книге, он поцеловал у своей супруги руку, посадил ее в автомобиль, откозырял, они уехали, а он пошел в банк.

– Петр Григорьевич, а кто же была эта дама?

– А это, знаете, уже не входит в сферу моего рассказа. Я, конечно, знаю ее имя, прочел его в брачном свидетельстве, но, извините, Владислав Михайлович, я вам этого не скажу...

На этом кончился этот анекдот в старом понятии этого слова, и я остался в неведении относительно имени героини в течение лет, этак, больше двадцати.

После войны Лев Львович Раков познакомил меня с Яковом Ивановичем Давидовичем – доктором юридических наук, большим знатоком военных форм и военных традиций. И как-то у нас зашел разговор о его товарищах по гимназии, его знакомых в старом Петербурге и Петрограде, и я услышал от него имя Петра Григорьевича Елисеева.

– Яков Иванович, – сказал я, – а вы знаете, я однажды зимней ночью, идя с ним из гостей, услышал от него вот такой рассказ...

И пересказал ему эту историю.

– Ха, – сказал Яков Иванович, – так я могу вам назвать эту даму!

– Кто же она?

– Зинаида Сергеевна Рашевская – дочь полковника Рашевского, убитого одним снарядом с генералом Кондратенко в Порт-Артуре и родная сестра известной вам Наталии Сергеевны Рашевской, актрисы и режиссера петербургских театров.

– А кто же, собственно, был тем человеком, из-за которого возникла вся эта история?

– Великий князь Борис Владимирович, – сказал Яков Иванович.

– А что же было дальше?

– Дальше? Заграница. Их развели. Да, давайте посмотрим Готский альманах предвоенных лет – вот у меня стоит такой альманах 1940 года, давайте посмотрим.

Яков Иванович открыл соответствующую страницу, и мы прочли – великий князь Борис Владимирович, светлейшая княгиня Романовская, по первому браку мадам Елисеев. Никаких сомнений не оставалось.

Ну, что еще сказать... Через несколько месяцев после этого я был консультантом картины «Отцы и дети», которую ставила, как режиссер Наталья Сергеевна Рашевская. Вышло так, что где-то около Токсова построена была декорация в виде дома, которую надо было снимать, как дом Кирсанова. Мы приехали на машине с Натальей Сергеевной с Ленфильма и еще с кем-то из актеров. Декорация еще не была готова, художники и костюмеры суетились прежде, чем начать съемку, и мы с Натальей Сергеевной сели в тени какого-то дерева, курили и разговаривали. Мы были давно знакомы, не первую картину и не первый спектакль делали вместе, и я спросил:

– Наталья Сергеевна, скажите, пожалуйста, у вас есть сестра?

– А как же! В Париже. Я от нее получаю посылки. Вот собираюсь к ней поехать в гости.

– Наталья Сергеевна, а вы знали Петра Григорьевича Елисеева?

– Господи! Петьку? Да это же приятель, боже мой! Балда такая, все считал себя женатым, а на самом деле они были разведены в двадцать шестом году!

В.М.Глинка с друзьями. Начало 1930-х гг.



Этим можно было бы и кончить, если бы не стоило добавить фразу о судьбе Петра Григорьевича. И он, и его брат, Григорий Григорьевич, в тридцать пятом году были высланы в Уфу, там арестованы и навсегда исчезли с моего, да, кажется, и со всякого горизонта.

¹Братья Исаевы – Сергей Николаевич (1890–1961) и Борис Николаевич (1893?–1980-е). В 1914 году студентами технического института отправились вольноопределяющимися на войну на своих мотоциклах и были определены в первую русскую мотороту поручика Халютина. В конце 1920-х годов оба были арестованы, как бывшие дворяне, и провели несколько лет в заключении (стоительство Беломорканала). Жена Сергея Николаевича – Надежда Петровна (урожд. Глинка) добровольно последовала вслед за мужем к месту его заключения, жила вблизи лагеря, и ей удавалось каким-то образом добиваться свиданий с мужем. После освобождения в 1934–1935(?) оба брата получили т.н. «минус семь», т.е. были лишены права проживать в семи крупнейших городах (Москва, Ленинград, Киев и т.д.). Оба поселились сначала в Новгороде, а затем переехали в стоящий на дороге Москва–Петербург пос. Крестцы (упоминается Радищевым в его «Путешествии»). Сергей Николаевич в с 1940-х до своей смерти был директором Крестецкой средней школы, а его жена преподавала там несколько десятков лет иностранные языки. В 1960–1970-е буквально все жители Крестец, за исключением совсем старых, были учениками Исаевых. При этом, поскольку Надежда Петровна была доброты, отзывчивости и наивности беспредельной, то она оставалась вечным другом семей не только своих учеников, но их детей, а то, так и внуков. Характерен, например, такой эпизод. Крестцы, продуктовый магазин. 70-е годы – то есть масла в магазине не бывает

никогда, мясо – раз в несколько дней. Очередь. В магазин входит Надежда Петровна. Голос продавщицы – «За мясом не стойте. Осталось только Надежде Петровне!». Надежда Петровна, в непритворном изумлении – «Ну, почему именно мне? Я же только вошла?». Вся очередь: «Правильно! Вовремя и вошла. Только вам, Надежда Петровна!»

²Николай Иванович Исаев был, вероятно, большой шеголь. В молодости он объехал Европу, и в память о посещении Швейцарии заказал себе большие золотые часы, на циферблате которых вместо цифр были буквы его имени и фамилии – ISAEFNICOLA. Место двенадцатой цифры занимал циферблатик секундной стрелки. В 1970-х Надежда Петровна в минуту жизни трудную продала золото с этих часов, но механизм скупщикам не понадобился, и автор этих примечаний (М.Г.) заказал для него стальной корпус с ушками для браслета. Получился диковинный прибор, более похожий на партизанский компас, нежели на часы. Вид этих часов неизменно веселит знакомых, помнится, как кто-то из собравшихся встречать Новый год, крикнул: «Уже без F минут N, а у нас еще шампанское не налито!».

³Примечательно здесь то, что по времени года – ноябрь – Петр Григорьевич не мог быть ни в какой иной верхней одежде, нежели шинель, а на шинели носились, и то только нижними чинами, лишь георгиевские кресты (знаки военного ордена). Офицер же, если у него был орден св. Георгия, мог носить на шинели лишь ленточку этого ордена. Но нацеплять на шинель орден Станислава – самый низший... это, видимо, может говорить лишь о том, что Петр Григорьевич совсем потерялся.

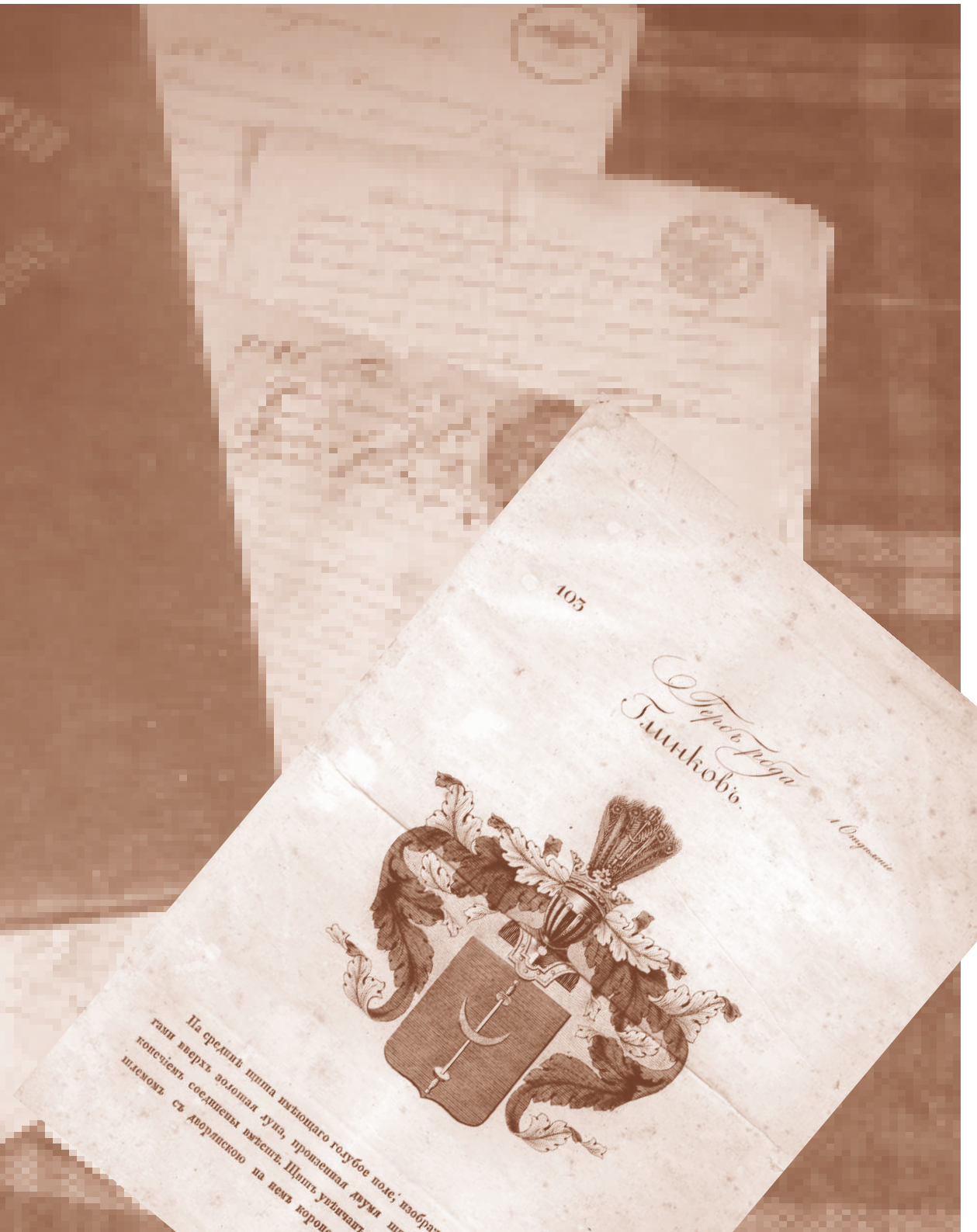


Самостоятельная Печать
Издательство
Иркутск

Нарцовой
1886 — 1917

МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ ПРЕДО МНОЮ

Автобиографическая проза



На среднй пина ивляющаго голубое поле, изобра-
гами вверх золотая луна, промещая луны ш
копейки соединены выгнети. Шить увиачает ш
шлемомъ съ дворянскою на немъ коро-

В.М.Глинка
**МОИ ПРЕДКИ,
РОДИЧИ И ВРЕМЯ ИХ**

*Летние дни 1980–1981гг.
Эльва–Каменка.*

Шесть лет назад по просьбе троюродного брата Алексея Алексеевича Булатова я написал и переслал ему все, что знаю о его и своих предках Булатовых. Сам Алеша, расставшийся в 1940 году не по своей вине с отцом в Таллинне вскоре после прихода туда советской власти, не удосужился раньше по юношескому эгоцентризму расспросить о предыдущих поколениях Булатовых, но, придя к старости, заинтересовался ими и хотел передать полученные от меня сведения сыну, тогда учившемуся в студии МХАТа.

Тогда же Алеша просил меня записать все, что я знаю о Глинках. Я обещал приготовить ему такой рассказ, но все откладывал за другими делами, а в августе 1976 г. Алеша умер, и писать стало будто бы не для кого. Однако у меня есть племянники и внуки, которых такие сведения могут заинтересовать. Есть и молодые друзья, которые, прочтя эту записку, яснее поймут мои недостатки, вкусы и писания. Наконец, этот рассказ дает возможность записать, что знаю о жизни моего отца, которого до сих пор, став более чем на десять лет старше возраста, в котором он скончался, я продолжаю считать лучшим человеком из всех, кого знал, и к тому же типичным русским интеллигентом своего времени. Ведь в то время интеллигент был не обязательно разночинцем по происхождению. Дорогой мне образ отца хотелось бы запечатлеть здесь хотя бы самым несовершенным доступным мне образом.

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ГЛИНКИ

Благодаря родословной росписи, приведенной кн. Лобановым-Ростовским в 1-м томе его «Русской родословной книги», мне известно, что русское ответвление польского шляхетского рода Глинок идет от некоего Викторина Владислава, оказавшегося богатым землевладельцем – «вотчинни-



Неизвестный художник. Портрет Д.Б.Глинки

МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ ПРЕДО МНОЮ

МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ ПРЕДО МНОЮ

ком» на Смоленщине во времена, когда эти места принадлежали «короне Польской», при переходе их в середине XVII века под русскую державу весьма разумно принявшего православие и уже с именем Якова Яковлевича пожалованного царем Алексеем Михайловичем в стольники.

Пошедшее от него потомство расплодилось, мой прадед оказался пятиюродным братом великому композитору, то есть их общим предком в четвертом колене являлся тот же Яков Яковлевич. По той линии, в которой девятым коленом являюсь я, сыном Якова Яковлевича был Андрей, который тоже был стольником, что соответствовало примерно камергеру последующих двух столетий. Но сын его (Григорий – М.Г.) значится в родословной только прапорщиком смоленской шляхты, зато следующий мой предок, некий Богдан (1734–1810) служил уже немало лет, ибо достиг чина полковника Смоленского драгунского полка. Этот мой прапрадед (четвертое поколение русских подданных) несколько более мне известен по читанной в юности объемистой (страниц около 100 убористого писарского почерка) копии апелляционного прошения в Сенат его невестки Анны, рожденной Ройчевич, по поводу раздела имущества полковника Богдана, состоявшего из более чем 800 душ мужеска пола крестьян с соответственной мерой земли. Прощение это было составлено в 1817 году поверенным моей прабабки, очевидно, судейским чиновником губернским секретарем Чернобуровым, весьма подробно описавшим «несправедливые поступки вотчинника полковника Глинки», который, имея трех сыновей, отказал все свое недвижимое и движимое имение младшему из них – прапорщику милиции, т.е. ополчения 1807 г. Ивану, обделив двух старших, помногу служивших офицеров – «участников многих кампаний». Служили они где-то вне Смоленской губернии, а «прапорщик милиции» проживал неотступно при отце и был женат на «вольноотпущенной», т.е. в прошлом крепостной женщине. Эта особа в жалобе, писанной Чернобуровым, изображена не только ловкой особой, «кругом обошедшей свекра», не только все почти имущество и немалый капитал отказавшего ее супругу и детям их, но чуть не царедейкой, приворожившей к себе старого полковника. А, может, и того похуже по части способов привлечения к себе его привязанности. Писано было, что она обольстила сына, а дальше и отца своей «телесной красотой». Каково оно было в действительности заключить, разумеется, трудно, но прапрадеду моему отставному драгунскому капитану Дмитрию Богдановичу, умершему в 1816 году в возрасте 53 лет досталось одно сельцо Коптево с деревенькой в 40 душ обоего пола и незначительной мерой земли. Находилось это верстах в 30 от Смоленска, поблизости от возникшей впоследствии железнодорожной станции Пересветово. Сам капитан почему-то против такой несправедливости не протестовал. Впрочем, в прошении сохранились намеки, что он боялся отцовского гнева и надеялся на то, что брат Иван после смерти родителя добровольно с ним поделится, чего не воспоследовало – полковник умер в прежнем... (неразборчиво – М.Г.) только в 1810 году. Но вдова Дмитрия Богдановича тотчас после кончины мужа начала «тягаться» за наследство при помощи бойкого пера своего поверенного Чернобурова, упоми-



Неизвестный художник. Портрет Александра

няя при этом множество статей закона. Получив отказ в губернской инстанции, она адресовалась в Сенат. Заверенную копию с этого прошения я и читал в старорусском отцовском доме, где все сгорело с другими фамильными бумагами трех поколений, что мне особенно жалко.

Замечу здесь, что хотя сообразительный Викторин Владислав не затруднился обернуться Яковом Яковлевичем, но, судя по родословной, шесть поколений моих предков женились только на польках-католичках и даже, очевидно, оба сына капитана Дмитрия Богдановича в детстве были католиками, потому что в родословной значатся Адамом и Константином-Иосифом-Бернардом, но, став офицерами, именовались только Матвеем и Константином Дмитриевичами. Пришлось ли им, меняя религию, пройти через церемонию, или дело обошлось проще, этого не знал и мой отец.

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ ГЛИНКА (1805–1859)

История определения обоих мальчиков в 1-й Кадетский корпус рассказана моим племянником Михаилом Сергеевичем в его повести «Водяной знак», что, не скрою, кажется мне безвкусным превращением семейного преда-



К.Д.Глинка с сыновьями и племянником. 1857

ния в историко-бытовой анекдот, развлекающий читателя. К тому же это затрудняет мой рассказ, предпринятый для немногих с целями, мне кажется, более серьезными. Однако расскажу эту историю, как слышал от отца, пересказанную ему дедушкой со слов самого прадеда.

До 11 и 12 лет сыновья капитана, несколько лет лежавшего в тяжелой болезни, «коей захворал на Дунае» (так упоминалось в апелляции, т.е., очевидно, во время турецкой войны 1806–1811 гг.), учились чему-то дома, иначе сказать, росли чистыми недорослями. Летом 1816 года, в начале которого скончался Дмитрий Богданович, поблизости от Коптева пролег путь одного из вояжей императора Александра. День его проезда совпал с престольным праздником в церкви, стоявшей близ почтовой станции, где перепрягали лошадей в коляске государя и его свиты. Смотритель станции был еще накануне предупрежден фельдбергерами о проезде высоких особ, чтобы приготовить нужное число отборных лошадей. От зрителя весть разнеслась по окрестным помещикам, которые съехались, чтобы хоть издали взглянуть на своего государя. Услышав благовест, призывавший к обедне, Александр Павлович пожелал посетить храм. На паперти его встречал священник с крестом, притих хор, а господа дворяне поспешили занять места по сторонам дорожки, по которой шел император, и отвешивали ему поклоны или делали реверансы, а он милостиво кивал в обе стороны.

В числе благоговейно взиравших на Александра была и вдова Глинка с двумя сыновьями. Когда свита прошла мимо, мой прадед шепнул матери, что видел, как с груди царя что-то, блеснув, упало в траву. А когда высокие проезжие особы вошли в церковь, он побежал к тому месту и вернулся с серебряным, с одной стороны плоским мечом, длиной в палец. (Это была часть шведского высшего военного ордена меча, который Александр всегда после 1814 года носил под звездой Андрея Первозванного. Звезда Первозванного была как бы перевята синей эмалевой лентой – то была часть высшего английского ордена подвязки с девизом. Соединение этих трех наград и белый эмалевый крестик Георгия IV степени император неизменно носил на любимом им скромном вицмундире Кавалергардского полка. Именно в таком виде император пожелал быть изображенным Доу).

Когда царь вышел из церкви и направился к уже стоявшим на дворе готовым к пути коляскам, моя прабабка, набравшись храбрости, пересекла ему дорогу, ведя за руку Константина-Бернарда, и, сделав самый глубокий реверанс, какому была обучена, протянула оброненную регалию, сказав, что ее поднял в траве ее сын.

Взяв в руку серебряный меч, государь милостиво осведомился, кто она.

– Вдова капитана Глинки, здешняя помещица, ваше императорское величество.

– А почему же ты, мой друг, еще не учишься? – обратился император к мальчику.

– У нас протекции нет, ваше величество.

Должно быть, он не раз слышал такое объяснение своего пребывания в деревне.

– Я буду твоей протекцией, – улыбнулся император и, обернувшись, приказал: – Волконский, запиши мальчика в один из кадетских корпусов.

– А у меня еще есть братеш. Вот он там стоит, – указал смелый Константин.

– Говори же, как его зовут, – еще раз великодушно улыбнулся император. – Запиши брата, Петр Михайлович, – приказал он и отнесся к вдове, передавая ей обратно серебряный меч. – А вы, сударыня, возьмите этот знак и вручите его сыну на память о сегодняшнем дне. Но только тогда вручите, когда он станет офицером.

И улыбнувшись обомлевшей от восторга вдове, государь пошел дальше, а князь Волконский задержался, чтобы записать, опять же со слов моего прадеда, имя и отчество капитанши и название сельца.

Как говорит семейное предание, госпожа Глинка всю последующую жизнь сожалела, что не имела при себе прошения на высочайшее имя о тяде бо со

свекром, чтобы тут же, пав на колени, вручить его государю, которому, как она уверяла, понравилась лицом и обхождением, хотя сказала ему всего одну фразу. Но, как уверяла, нисколько при том не сробела, как и ее сынок.

Через несколько месяцев пришел приказ доставить мальчиков в Петербург в 1-й кадетский корпус, где они и оказались кадетами одного класса.

Встреченная мной в делах департамента уделов заверенная копия послужного списка Константина Дмитриевича, которую, естественно, я переписал для себя, говорит, что родившийся в 1806 году и поступивший в корпус в 1817, он окончил таковой весной 1825 года с производством в прапорщики гренадерского саперного батальона, что говорит о его отличных успехах и скромном достатке – ни в гвардию, ни в кавалерию он не вышел. С этой же отборной частью Константин Дмитриевич участвовал в турецкой войне 1828–1829 гг., отличился при ведении апрошей и минных галерей под стенами осажденных Варны и Силистрии, и за оказанную неустрашимость получил чин подпоручика и ордена Анны 3-ей степени и Владимира 4-ой степени с бантом. Казалось, судьба явно улыбалась молодому офицеру – в 1830 г. он был произведен в поручики – за пять лет два чина и два ордена, из которых Владимир считался особенно почетным. Молодому офицеру его давали только за выдающуюся храбрость, а тем, кто не имел потомственного дворянства, он давал таковое. Но в 1831 году батальон направили в Вильно, чтобы укрепить город на случай штурма его повстанцами. Они на город не напали, но поручик Глинка познакомился с красивой юной шляхтенкой Евелиной Осиповной Завадской, влюбился в нее, сделал «пропозицию», получил согласие, но при этом родители невесты, польские патриоты, поставили условие, чтобы он вышел навсегда из военной службы ненавидимого ими Николая I. Очевидно, любовь была сильна, может, и материнская кровь заиграла, потому что Константин Дмитриевич согласился, поставив, однако, условием, что их дети будут православными. Должно быть, он не хотел ставить их в то двойственное положение, в котором оказался сам – в послужном списке он значился то православным, то католиком. В 1832 году отставка была принята, и повенчавшиеся молодые уехали в Коптево, которое им уступил навсегда брат Матвей на неизвестных мне условиях. Тот продолжал военную службу и женившись с хорошим приданым и родством на княжне Прасковье Друшковой-Соколинской, начал другую линию Глинок, о которой кратко упомяну много позже.

Уход навсегда с военной службы Константин Дмитриевич отметил довольно своеобразно. Когда, окончив корпус, он получил отпуск и приехал в Коптево повидаться с матерью и показаться ей и соседям в эполетах, она отдала ему серебряный меч – подарок императора Александра. Для пришивания его к мундиру меч был снабжен двумя колючками – на головке рукоятки и на конце лезвия. Отломив первое из них, Константин Дмитриевич превратил знак шведского ордена в своеобразный нательный крест. Но как нательный крест он был великоват и, главное, края его были остры. Прадед носил его несколько лет на рубашке под мундиром. В пожилые годы он рассказывал, что немало красовался таким особым крестом перед товарищами-офицерами. Но, выйдя в отставку, это царское благословение на ратную службу приходилось снять, однако расстаться с ним вовсе не хотелось. В это время тесть (Иосиф Завадский – М.Г.) подарил жениху, а может быть, уже и мужу своей дочери небольшое настольное зеркальце для бритвы в серебряной оправе. Оно было овальное с откидной подставкой сзади. На довольно узкую рамку спереди наверху была помещена красивая тонкая золотая монограмма «К.Г.» под дворянской короной. И вот на заднюю сторону рамки этого зеркальца Константин Дмитриевич заказал припаять меч, подсветив его контур золотым кантиком и положив наподобие шитка с золотыми же гвоздиками по контуру. Зеркало разбилось в 1856 году, незадолго до смерти Константина Дмитриевича, и Евелина Осиповна подарила его опустевшую рамку моему деу

Павлу Константиновичу, когда он приехал к ней показаться уже офицером. А дабы сохранить эту реликвию, перенес и меч и монограмму на серебряный портсигар, который дошел и до меня. Рамку же со следами монограммы и шитка с мечом, я много раз видел в детстве среди домашнего серебра. А потом, как и многое другое, это было сдано в Торгсин на лом. Да простит мне читатель отступление, но этот портсигар – единственный предмет прадеда, дошедший до меня, да еще с мечом, бывшим когда-то на груди Благословенного – правителя с судьбой, не менее трагической, чем у его отца и преемников.

ДЕТИ КОНСТАНТИНА ДМИТРИЕВИЧА

В росписи Лобанова-Ростовского указано пять сыновей и две дочери Константина Дмитриевича и Евелины Иосифовны. Я смог добавить в нее еще двух дочерей. Все эти девять детей прожили до вполне зрелого возраста, но могли быть умершими в детстве, как часто тогда бывало. Естественно, что с такой оравой детей отставному поручику и мелкопоместному дворянину трудно было сводить концы с концами, и в середине 1830-х годов Константин Дмитриевич вновь поступил на службу помощником управляющего Смоленской удельной конторы, в какой должности пребывал лет десять, пока эта контора не закрылась за малым количеством удельных земель в губернии и соответственно малым от них доходом.

Не знаю, получили ли образование барышни – вероятно, учились в каком-нибудь смоленском частном пансионе, а вот пять сыновей: Дмитрий, Павел, Федор, Иосиф и Михаил были помещены в Морской кадетский корпус, который и окончили. Почему именно в Морской, а не один из сухопутных? Мой отец смутно помнил со слов деда, что какое-то знакомство существовало у Константина Дмитриевича с И.С.Нахимовым – братом Севастопольского героя, долголетним инспектором Морского корпуса, тоже мелкопоместным смоленским дворянином. Так не он ли помогал этому «устройству»? Краткое прохождение братьями службы сообщено «Общим морским списком». Старший Дмитрий, был произведен в мичманы в 1856 г., 16-ти лет от роду и по этому поводу, да, кажется, еще по делам заклада именина Константин Дмитриевич приезжал в Петербург, где снялся на фотографию с четырьмя сыновьями (пятый болел скарлатиной в корпусном лазарете) и с племянником Матвеевым. О последнем я буквально не знаю ничего, кроме фамилии, и того, что это был студент университета – одет соответственно в мундир и волосы у него длиннее положенных военным. Это единственное, дошедшее до меня изображение прадеда в виде седоголового господина с очень добродушным выражением круглого лица в седых же бакенбардах. Одет он во фрак с миниатюрным Владимирским крестом и медалью за турецкую войну в петлице. Дмитрий Константинович сидит рядом с отцом во всем блеске новенькой мичманской формы – в мундире с шитым золотом воротником и огромными эполетами, с саблей и шляпой под рукой. На груди его медаль, полученная во время учебного плаванья гардемаринком за участие в тушении пожара в Лиссабоне, в чем принимали участие команды военных кораблей, стоявших на рейде. Остальные братья в кадетской форме.

Через год после этой поездки в Петербург прадед мой скорострительно умер всего 51 года от роду, и Дмитрию Константиновичу, отлично учившемуся в офицерском классе Морского корпуса – предшествовавшему Морской академии – пришлось выйти в отставку и уехать хозяйствовать в Коптево. О его жизни я мало что знаю, разве только то, что старшим сыном его был известный в свое время ученый – академик-почвовед Константин Дмитриевич (1867–1927). Федор и Иосиф Константиновичи послужили недолго и ушли по своему желанию в отставку лейтенантами. О судьбе Иосифа я ничего не знаю, Федор же занимался сельским хозяйством, но не в Коптеве, а где-то поблизости. Я с детства помню какие-то брошюры, которые он писал, со странной формой наименования автора «хотря-

нин Федор Глинка». Помню и его фотографию с двумя братьями моряками, уже штабс-офицерами, снятую в Кронштадте, куда он приезжал к ним в гости. Здоровяк с седеющей окладистой бородой, одетый по-барски в сюртук с атласными отворотами, крахмальное белье, полосатые брюки. Михаил Константинович служил всю жизнь на флоте, много плавал и умер в Кронштадте холостяком 45 лет в чине капитана 1-го ранга. Судя по фотографии, он был красивей всех братьев, кроме того, добр и щедр на подарки племянникам – моему отцу и дяде, которые его очень любили.

ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ ГЛИНКА (1844–1902)

Я намеренно пропускал своего деда Павла Константиновича, о котором, естественно, знаю куда больше, чем о его братьях. Он родился в 1844 году, окончил корпус в 1862, но производство в мичманы было задержано созданием промежуточного чина – корабельного гардемарина, в каком он проплавал полтора года и только 20-ти лет стал полноправным офицером, во время кругосветного плавания. Я помню фотографии, снятые в каких-то экзотических странах в... (неразборчиво – М.Г.) и несколько чудной форме – все, как у мичмана, но на правом плече вместо эполета виток из золотого шнура с аксельбантом азиатского (? – М.Г.) образца. Плавал он на клипере «Джигит». В так называемой Запасной комнате отцовского дома в Старой Руссе над диваном висела довольно большая фотография в светло-коричневых тонах – красивый трехмачтовый кораблик на фоне берега с низкими постройками. Внизу на паспарту надпись выцветшими чернилами: «Клипер Джигит на рейде в Нагасаки». Потом дед плавал по Амуру на пароходе «Америка», ведшем обследование берегов и фарватера этой реки под командованием контр-адмирала П.В.Козакевича.

К этому времени относится эпизод, о котором мой отец услышал только в 1913 году летом от одного из товарищей деда по корпусу, адмирала А.А.Ирещкого. Этот эпизод, вероятно, во многом определил дальнейшую жизненную дорогу Павла Константиновича. Я случайно присутствовал при этом рассказе, привлеченный в кабинет отца необычной для Руссы фигурой краснолицего седого моряка в белоснежном кителе с золотыми погонями, на которых были вытканы три черных орла. А эпизод был вот какой. По поводу какой-то аварии «Америка» застряла на всю зиму довольно далеко от Николаевска, и все офицеры съехали на берег в этот городок, где существовало и морское собрание, и библиотека, и семейные дома офицеров

и чиновников, и лавки с товарами на все вкусы. На корабле оставался вахтенный начальник, механик и караул матросов с унтер-офицером, которые сменялись каждый месяц, кроме бедного механика. В то же время на «Америку» была прислана команда каторжан – плотников, слесарей, кузнецов, выполнявших какие-то ремонтные работы. Когда Павел Константинович сменил на корабле одного из товарищей-офицеров, к нему явился староста каторжан и просил их расковать, так как в кандалах трудно работать, особенно лютой зимой – что под железо ни подкладывай, все равно холод пробирает до костей. При этом староста давал честное слово, что если их раскуют, то ни один каторжник не убежит, а работа пойдет куда скорей. Дед расспросил его – каторжник, бывший солдат, убил, встретив в кабаке, зверя-фельдфебеля, истязавшего всю роту. Павел Константинович поверил и велел на свой риск расковать всех, да еще прикинул из своего небольшого жалованья десять или пятнадцать рублей на мясо для артели. За месяц ни один не сбежал, а работы, естественно, много подвинулись к завершению. Перед тем, как на смену должен был прийти другой офицер, староста вновь пришел к деду, благодарил его и просил замолвить слово, чтобы вновь не заковывали. Но приехавший пришел в ужас от того, что каторжане ходят без цепей, и, не смотря на советы Павла Константиновича, приказал всех тотчас заковать. Дедушка уехал в Николаевск и через неделю пришел рапорт адмиралу от сменившего его офицера, что сбежали двое каторжных, потом еще двое. А деду на квартиру подбросили пакетик, в котором лежало... (неразборчиво – М.Г.) искусно выточенное из железа кольцо-печатка с его вырезанными инициалами. Дед хранил его до конца жизни, но не говорил, откуда оно, и отец с братом предполагали, что это матросская поделка-подарок.

Зимовку в Петропавловске-на-Амуре (вероятно, в Николаевске – М.Г.) дед всегда вспоминал с благодарным чувством. Адмирал Козакевич предоставил офицерам «Америки» полный отдых, и всякий из них проводил время по своему вкусу. Павел Константинович запоем читал книги из библиотеки Морского собрания. Впервые в жизни не учебники, не классиков, не журналы, а серьезные сочинения по истории, крестьянскому вопросу и публицистику. Память адмирала Козакевича дед высоко чтит, считая его образованным, разумным и справедливым начальником. Может быть, отчасти такое мнение сложилось и оттого, что, как рассказывал далее А.А.Ирещкий со слов адмиральского флаг-офицера, когда сменивший деда на «Америке» вахтенный начальник стал жаловаться при докладе, что каторжники сбежали потому, что подготовили побег, когда их расковали на месяц по приказу мичмана Глинки, адмирал ответил:

– Однако при Глинке они не бежали, а при вас ушло четверо и в оковах. Взыскивать с вас не стану, хотя имею на то полное право, как с начальника караульной службы на корабле. Но на другого офицера свою вину сваливать нечего. Каторжники тоже люди.

Добавлю еще, что альбомчик с видами берегов Амура, снятый в плавании, дед бережно хранил, и это второй из принадлежавших ему предметов, кроме... (неразборчиво – М.Г.) фотокарточек, которыми я владел до прошлого года, когда передал в Военно-Морской архив.



П.К.Глинка. 1901

П.К.Глинка. 1872





П.К. и Е.А. Глинки. Начало 1890-х гг.

В начале 1870 года уже в чине лейтенанта Павел Константинович был отправлен в Петербург, «курьером», везя отчет своего начальника о плавании по Амуру. Прикомандированный здесь по письму Казакевича к флотскому экипажу, он закончил подготовку к экзаменам в Военно-юридическую академию, которые вскоре и сдал вполне успешно. Ирецкий в своем рассказе связывал этот шаг с впечатлением от каторжников на «Америке» и с ... (неразборчиво – М.Г.) сибирских наблюдений. В этом же году дед вступил в брак с Анной Алексеевной Булатовой, дочерью к этому времени давно умершего полковника артиллерии Алексея Мироновича Булатова,

окончившего тоже 1-й кадетский корпус, что и его отец, но на два года раньше.

Одновременно с моими дедом и бабушкой, но в другой церкви, кажется в Колпине, Алексей Алексеевич Булатов, единственный ее брат, сочетался браком с девицей Еленой Константиновной Глинка – одной из четырех сестер деда, приехавшей из Коптева на свадьбу брата и здесь в две недели решившая свою судьбу. По законам православной церкви такие браки запрещались, но в обход этого закона оба брака совершились одновременно в различных населенных пунктах, как бы без ведома друг друга. Но даже скромный брачный пир у них был обшим.

Насколько мне известно, брак деда и бабушки был счастливым и спокойным. Анна Алексеевна была на восемь лет моложе мужа. Она окончила Патриотический институт на 10-й линии Васильевского острова, и я помню фотографию, запечатлевшую 12 или 14 юных девиц, одетых в закрытые платья с донельзя перетянутыми талиями и широкими кринолинами юбок, окружающих почтенную седовласую даму – начальницу института.

Среди родичей Анны Алексеевны существовали два или три брата Бубновых, доводившихся ей, кажется, троюродными братьями, почти ровесниками и всегдашними приятелями. Все они были юные пехотные офицеры, окончившие Константиновское училище. Когда дед еще не сделал предложение, но дело явно шло к этому, кузены Анны Алексеевны решили втайне от нее «испытать» лейтенанта. Вероятно, этим занятием хоть отчасти руководило и скрытое соперничество в мужестве между сухопутными силами и моряками. «Испытание» произошло на даче, кажется, в Парголово. Каждый из четверых молодых офицеров должен был пройти по всей длинной средней аллее местного кладбища – шагов триста-четырееста в полночь в глубокой августовской тьме и вернуться к воротам, сосчитав шаги в поголовоса. В двух местах на пути были

положены железные обода от колес телеги, слегка обмотанные тряпками. Расчет был построен на том, что наступив на обруч, идущий получал неожиданный удар по ноге около колена и либо вскрикивал от неожиданности, либо сбивался со счета. Сначала по условленному пути прошли два подпоручика брата Бубновы, знавшие против каких, хотя и слабо, но все же видимых памятников лежат обручи. Затем пошел Павел Константинович. Пехотинцы превратились в слух. Негромко и непрерывно считая, лейтенант прошел путь туда и назад и подошел к ожидавшим его держа в обеих руках по обручу.

– Спасибо, господа, что вы их обернули тряпьем, – ровным голосом сказал моряк.

И вечный мир был заключен.

Судя по фотографиям и рассказам отца, Анна Алексеевна была всегда очень худенькая, скромная и сдержанная в словах и поступках. Папа не помнил, чтобы его родители повышали когда-нибудь голос. Сдержанность считалась признаком хорошего воспитания. Жили всегда очень скромно, потому что Павел Константинович с юности и до кончины держался незыблемого правила укладывать расходы в жалованье, а приданого за бабушкой не было почти никакого – ее матушка, вдова полковника Елизавета Александровна владела деревенькой Романово в Крестецком уезде Новгородской губернии, куда меньшей, чем Коптево. Несколько дошедших до меня фотографий деда и бабушки в их квартирах показывают крайнюю скромность обстановки. Никаких ковров и картин, немного мебели на свержающем паркете, белые полотняные шторы, книги в шкафах и на столах, цветы в горшках и кадках, несколько фотографий на стенах – выпускные группы, корабли, на которых плавал дед, памятник Глинке в Смоленске.

По службе дедушка шел ровно. В 187? году окончил Военно-юридическую академию по 1-му разряду и переведенный в морское военно-судебное ведомство служил следователем, а потом судьей в Петербурге и в Кронштадте. В 188? году переименован из капитанов 2 ранга в подполковники по адмиралтейству. В конце 1880-х годов у бабушки открылся легочный туберкулез. В это время дед был уже полковником, жалованье его повышалось, два раза Анна Алексеевна ездила в Ниццу на два-три месяца. Но поездки давали только краткие отсрочки, и в 1892 году она скончалась, когда уже оба сына ее были студентами.

Дедушка был убежденным поклонником реформ 1860-х годов, и с горечью переживал «поправки» к ним правительства Александра II и, особенно, Александра III. Но при этом начисто отрицал положительную роль террористических актов, предрекая, что их успех поведет только к усилению реакционных мер правительства. Убийство Александра II пережил как горестное для себя событие и как политическую ошибку революционеров. Он отрицательно относился ко всякому проявлению революционного начала, не веря в его положительный результат для страны и считая, что постепенная эволюция экономики приведет народ к более справедливому распределению богатств и сотрет классовые различия. Очень привязанный к нему мой отец говорил, что если бы дед прожил дольше, и не умер в 58 лет, то для него было бы трагедией дожить до 1905–1906 гг. и оказаться обязанным судить революционно настроенных матросов Черноморского флота. Он любил матросов, как любили крестьян и ... (неразборчиво – М.Г.) обездоленных социальным строем лучшие интеллигенты 1860-х годов, и в то же время долг заставил бы его судить их по жестоким законам военно-морской службы, не отступая от присяги.

– Я не знаю, что бы он сделал, – говорил мне отец, – Как человек верующий в Бога, он, вероятно, не решился бы застрелиться, но, верно, умер бы от тоски и горя, переживая тягчайшие нравственные страдания. Он говорил и сам свято верил, что милосердие – первое важнейшее качество судьи.



Скромность деда была такова, что не имея права, как все офицеры того времени, носить вне службы статское платье, он, служа в Севастополе, предпочитал всякой верхней одежде черную флотскую накидку без погон, чтобы не заставлять встречных матросов и солдат становиться во фронт, как полагалось при встрече генерала. Нет ни одной фотографии его в орденах и есть один лишь снятый снимок в обер-офицерских эполетах в чине лейтенанта при окончании Академии, для помещения в медальон на единой выпускной карточке.

Дед высоко чтит честь морского мундира, но когда мой отец переходя в 5 класс гимназии просил его согласие на переход в морской корпус, то получил отказ.

– Принеси мне аттестат зрелости и тогда держи экзамен в гардемаринские классы. А до того нечего занимать место, которое нужно детям младших офицеров, у которых большие семьи.

Отмечу, что, очевидно, дед не был одинок, полагая, что в годы его зрелости уже не одна военная дорога должна привлекать образованного молодого дворянина. Покойный знаменитый хирург-онколог Николай Николаевич Петров рассказывал мне, что его матушка, будучи супругой генерал-лейтенанта и товарища министра путей сообщения (позднее полного генерала, члена Государственного совета и Андреевского кавалера) Николая Павловича Петрова, очень хотела, чтобы хоть один из ее сыновей учился в Пажеском корпусе и вышел в гвардию. Но генерал ответил твердо, что пусть окончит полный курс гимназии, а потом поступает куда хочет. И один из сыновей стал инженером путей сообщения, а другой врачом-хирургом.

Так же было с моими дядей и отцом – они выбрали профессии юриста и врача.

Вероятно, здесь же уместно сказать, что, по убеждениям деда, и самое древнее дворянское достоинство в России конца XIX века уже несправедливо давало какие-то преимущества. Таковое, по его мнению, налагало только обязательство поддерживать честное имя и примерно учиться для этого и последующего служения государству, понимаемому, как служение народу, раз он выкормил тебя и твоих предков. И такую же веру он сумел привить моему отцу.

Когда лет десяти от роду я спросил папу о чем-то относящемся к нашему дворянству и присвоенных ему правах, то услышал:

– Помни, что во всем ты равен любому мальчику, а потом юноше и взрослому мужчине, с которым будешь общаться, из какого бы сословия они ни происходили. Но на тебе лежит обязанность следить, чтобы не сделать грубого или, тем более, бесчестного поступка, не достойного твоих предков. Носитель хорошей фамилии обязан всегда о ней помнить, но никогда вслух о том не вспоминать и не выказывать своего дворянства иначе, как достойным поведением.

И он, мой отец, насколько я могу судить, прошел нелегкую жизнь, неукоснительно исполняя это правило. А я, к сожалению, не сумел всегда ему следовать, хотя моя жизнь была много легче.

Но возвращаюсь к тому, что знаю еще о дедушке Павле Константиновиче. Будучи до крайности скромным, он умел, однако, если считал нужным, защитить свое достоинство человека и заслуженного офицера. Для этого надо было вывести его из себя, что было, впрочем, не так просто. К людским недостаткам дед относился очень терпимо. В связи с этим я запомнил следующий рассказ моего отца. Летом 1899 года, окончив Военно-медицинскую академию и получив отпуск, отец с семьей приехал к деду в Севастополь, где тот занимал большую казенную квартиру на Екатерининской улице. Павел Константинович уже прихварывал, но исправно нес свои обязанности, а в это воскресенье в конце августа решил поехать в Симферополь, куда его вызвал письмом какой-то отставной моряк из старых товарищей, еще тяжелее занемогший, чем он. Отец мой поехал с ним. Садясь в вагон 1-го класса, дед спросил стоявшего при входе обер-кондуктора, какое купе можно занять, и получил небрежно брошенный ответ:

– Да любое, которое понравится!

Войдя в первое же купе, они положили в сетки свои саквояжи и сели *vis a vis* у окна. Вскоре, однако, тот же обер-кондуктор попросил их пересест в другое купе. Отец заглянул в соседнее и увидел, что там все места у окон уже заняты. Услышав об этом, дед ответил кондуктору, что не считает необходимым переходить на худшие места, раз ему был предоставлен выбор. На это кондуктор, очевидно, предполагая, что имеет дело с отставным обер-офицером – дед был поверх белого кителя в накидке и без Владимира на шее – уже довольно грубо предупредил, что в этом купе всегда едет начальник штаба пехотной дивизии полковник такой-то, который вот уже идет по коридору. Дед ответил, что полковник, если захочет, сядет с ним в одно купе, но занятые места уступлены ему не будут. Молодой и горячий отец хотел вскочить, но дедушка строго приказал ему не вступать в спор. Последнее приказание услышал и полковник, в это время показавшийся в дверях купе в сопровождении адъютанта. Очевидно, приняв слова деда, обращенные к сыну, за признак трусости, он подтвердил требование обер-кондуктора, мотивируя его тем, что привык каждую субботу ездить именно в этом купе «на дачу после хлопот в штабе». Дед спокойно пояснил в ответ ... (неразборчиво – *М.Г.*). Но полковник, отмахнувшись от его слов, как от досадливой мухи, крикнул в окно, чтобы вызвали дежурного жандарма. Тут деду пришлось уже удерживать отца за рукав кителя. Вскоре в вагоне появился жандарм, но не вахмистр или унтер, а ротмистр. Ему полковник изложил свою претензию, прося «удалить из купе этих господ, хотя бы из уважения к его чину и должности». Однако, жандармский офицер оказался разумнее жалобщика. Взяв под козырек, он обратился к деду с вопросом: «К кому

имею честь обратиться?»: «Председатель Севастопольского военно-морского суда генерал-майор Глинка», – отвечал дед и просил составить протокол о необоснованной претензии полковника, которого видел впервые. Полушился, как говорят, острый сценический эффект. Жандарм, вновь козырнув, вынул записную книжку и приготовился записать, что продиктует «его превосходительство», а полковник, покраснев, как ветчина, рассыпался в извинениях. В это время стационный колокол ударил второй звонок, и дед просил ротмистра зайти позднее к нему в служебные часы в суд. Жандарм вышел из вагона при третьем звонке, адъютант и обер-кондуктор растаяли в воздухе, а полковник продолжал извиняться перед дедом, отвернувшись к окошку. Выдержав долгую паузу, он ровным голосом сказал виноватому, что такое поведение по отношению даже к младшему по чину недопустимо, а не только к старшему по возрасту офицеру, да и к любому старому попутчику, и что о поведении полковника он сочтет своей обязанностью довести до сведения командира дивизии. Полковник пытался свалить всю вину на «дерзкого» обер-кондуктора, но тут уж дед, потеряв терпение, просил его покинуть купе.

В 1901 году дедушка вышел в отставку с чином генерал-лейтенанта и переехал в Калиш, где служил в это время судебным следователем его сын Алексей Павлович. Папа в это время работал земским врачом в глухой деревне Старорусского уезда. Дедушка прожил в Калише около года, скончался 27 августа 1902 года и похоронен там же. Наверяд ли после двух войн его могила сохранилась. Судя по фотографии, на белом мраморном кресте были написаны по-русски только его имя, отчество, фамилия и даты рождения и смерти. Отец мой, вызванный дядей Лешей, ездил в Калиш и провел около деда последние две недели. Болел дед мучительно, хотя до 55 лет был вполне здоров, трудоспособен, подвижен и свеж. В пище он был умерен, любил греблю, охотно боролся со взрослыми сыновьями. Оба его сына также были всю отпущенную им жизнь здоровыми, и каждый оставил сыновей, последним из которых в живых остался я.

МОЙ ОТЕЦ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ГЛИНКА (1872–1939)

Постараюсь описать жизнь своего отца, причем понятно, в начале опять же немного говорено будет о его родителях, их быте и характерах. Жизнь их неизменно соотнобразовывалась с весьма скромными средствами – дедовским жалованьем. Жили в недорогих квартирах в 4–5 комнат, очень просто обставленных, держали только горничную и кухарку. Денщика дед из экипажа не брал, получая вместо услуг какие-то небольшие деньги. Денщик-матрос, притом только один (а генералу полагалось их три), появился у него только в Севастополе. И тот вскоре, выслужив срок, превратился в вольнонаемного, но проживавшего при дедушке до его могилы. К слову, только в это время, став пожилым вдовцом, дед стал носить дома халат, в детстве и отрочестве мой отец не помнил его иначе, как в форме, хотя, приходя, домой, дед из бережливости переодевался в более ношенный виц-мундир и накрахмаленную рубашку менял на мягкую. Даже в Севастополе, будучи уже нездоровым, он не показывался моей маме иначе, как в форме.



М.П.Глинка. Старая Русса. 1912

Как я говорил уже, приданого за бабушкой Анной Алексеевной почти что не было. Усадьба Булатовых Романово осталась за ее единственным братом Алексеем Алексеевичем, а за бабушкой дали пустошь Рыдино в том же уезде – 600 десятин хвойного леса без жилья, которые в шутку называли «кдюквенными угодыями». Но из этого леса дед не тронул ни одного дерева, кроме производимой лесниками выборочной рубки, необходимой для правильного роста леса. Но и те деревья было строго наказано бесплатно отдавать соседним крестьянам, о чем им было сообщено через волостное правление. Так что дед передал сыновьям то же количество или, вернее сказать, ту же меру леса, что получил.

Жили в Петербурге в районе Коломны – на Торговой, Прядельной, на набережной Екатерингофского канала близ казарм флотского экипажа, в районе, где традиционно селились морские офицеры. Поэтому дядя и отец учились в 5-й гимназии, помещавшейся на Екатерингофском, 73, хотя каждый из них три класса из восьми проучился в Кронштадте, когда деда туда перевели, но затем возвращались к старым своим одноклассникам в свою любимую 5-ю. Летом выезжали в дешевые дачные районы: из Петербурга в Тарховку, а из Кронштадта в Мартышкино, куда дедушка мог приезжать на воскресенье.

Несмотря на скромность достатка, дом Павла Константиновича был гостеприимным. Вина в доме не водилось, но простого кушанья бывало вдоволь. Часто зимой на воскресенье из Кронштадта приезжал любимый брат деда Михаил Константинович – красивый, веселый, остряк и хохотун. Постоянно жила с детства не ясно, откуда прибывшая девочка-сирота Любочка, вышедшая потом замуж за офицера стоявшего в Ораниенбауме Каспийского пехотного полка Суранкина, с которым познакомилась на даче в Мартышкине. Проводил отпуска и каникулы тоже сирота – мой будущий крестный отец Владислав Владиславович Карцов, в то время воспитанник старших классов Коммерческого училища, где жил в пансионе. Впрочем, о нем отдельный рассказ впереди. Воскресными вечерами приходили холостые моряки – Ирецкий, ... (неразборчиво – М.Г.), юрист Матвеевко и еще кто-то. Но обычно гости собирались к обеду или вечером в воскресенье. У меня сохранилась желтенькая фотография на тонкой бумаге, про которую отец как-то сказал: «Вот обычная воскресная картина в нашей гостиной». Я, наверно, убежал к Булатовым или на свою любимую итальянскую оперу, а папа их снимает. Виден угол высокой комнаты с «зеркалом» белой кафельной печки. На его фоне стоит обитый бархатом диванчик с гнутыми формами, и на нем, боком опершись на подлокотник, сидит худенькая и, как всегда, гладко причесанная Анна Алексеевна в темном платье с белым воротничком, наклонившаяся над толстой книгой в мягком переплете – очевидно «серьезного» журнала. Рядом с ней другая развернутая книга, которую, очевидно, читал Павел Константинович. Ближе к зрителю на кресле того же гарнитура дядя Леша, в то время студент Университета, но не в сюртуке, а в домашней блузе, тоже с книгой в руках, но повернувший к аппарату молодое чуть улыбаю-



Н.С.Глинка. 1907

М.П.Глинка с сыновьями. 1917



шеее лицо. Как мне кажется, эта фотография схватила кусочек духовной и материальной жизни этой скромной и чистоплотной семьи.

Отец, оставшийся из-за скарлатины на второй год, в 3-ем классе приносил из гимназии весьма средние баллы – от 7 до 10, однако вынес о ней самые лучшие воспоминания, сохранив на десятки лет дружбу с двумя одноклассниками – Иосифом Иосифовичем Бентковским и ставшим впоследствии преподавателем Политехнического института и ... (пропуск автора – М.Г.) Богуславским, позже видным инженером путей сообщения на Северо-Кавказских железных дорогах. Но ближе всех сверстников ему уже тогда стал двоюродный брат Алексей Алексеевич Булатов – второй по счету в этой семье носивший такое имя и такое отчество. Под грубоватыми внешними проявлениями характеров и ощущений, свойственных подросткам и юношам, крепла верная дружба, покоившаяся на общности мироощущения свойственной их семьям и выразившейся не меньшей дружбой отцов – старший Булатов был также юристом, притом юристом по призванию. Окончив 1-й кадетский корпус на круглое

12, он вопреки семейной традиции вместо военной службы поступил в университет, и всю жизнь прослужил по министерству юстиции, так же, как и мой дед, свято веря в благотворительное действие для России судебной реформы Александра II, гласного суда, равенства всех сословий перед законом, и т.д.

Дядя Леша Булатов учился также в 5-й гимназии на класс или два младше папы, родители его разъехались, когда был еще ребенком и, может быть, поэтому мальчик сделался особенно самостоятелен и порой дерзок в суждениях, но в то же время очень привязан к своему отцу, «дяде Павлу» и моей бабушке. Если зимой в Петербурге подростки были подчинены гимназической дисциплине хождению в классы, приготовлению уроков, ношению формы, а в праздничные дни хождению по музеям и хоть и не часто – в театры, то в летние месяцы в Романове жизнь была совсем иная. У бабушки их, Елизаветы Александровны, домик, построенный в середине века, состоял всего из четырех маленьких низеньких комнат, поэтому папа и дядя Леша Булатов (а не Глинка, который предпочитал городскую жизнь), поселялись на сеновале и только в часы трапез приходили в «господский» дом. Целый день друзья проводили на воздухе, переодетые в ситцевые рубахи, домотканые штаны и высокие сапоги, участвовали в хозяйстве – косили, метали стога, возили навоз – словом, не гнушались никакой работы, но, конечно, и читали захваченные из Петербурга книги. Уже в эти годы – в 6–8 классах – твердо определился выбор дороги отцом к врачеванию, а дяди Леша – к математическим наукам.

Кажется, гимназистом последнего класса мой отец на вечере в соседней со своей 5-й гимназией женской Коломенской гимназии увидел девочку-подростка – мою будущую маму Надежду Сергеевну Кривенко, пленился ею и был ей представлен, если так можно говорить о девочке в 14 лет. Первое впечатление оказалось настолько сильным и укрепилось при последующих встречах, что, став слушателем Военно-медицинской академии, отец стал бывать в доме ее матери и на 3-м курсе, в 1897 году, женился, имея 25 лет от роду. Моей маме было в это время 20 лет, и она успела окончить акушерские курсы, не сумев, впрочем, в будущем применить на практике эти свои знания. В Надежде Кривенко соединились две семьи, совершенно различные по социальным и национальным началам. Отец ее – Сергей



Н.С.Глинка (урожденная Кривенко). 1903



С.Н.Кривенко. 1890

Николаевич Кривенко (1847–1906) происходил из весьма состоятельной помещицкой семьи Тамбовской губернии. Точнее говоря, дед моей матери, Николай Алексеевич Кривенко, из небогатой мелкопоместной украинской дворянской семьи, как говорили тогда «обладая счастливой наружностью» и, будучи в чине сухопутного капитана адъютантом при каком-то генерале, пленил сердце некой mademoiselle Страховой, вышел в отставку майором и был «принят в дом», где она была единственной наследницей. Имени и отчества его супруги, моей прабабки, я не записал, когда мог.

В имении Страховых селе Никольском существовал большой барский дом с флигелем для гостей и садом с беседками, каменная церковь и, конечно, конный завод, которым правила сама барыня – страстная «лошадница», как, впрочем, и ее супруг. На почве обсуждений конских браков, воспитания жеребят и кормов случались шумные семейные сцены, немало потешавшие детей, ибо в остальном супруги жили дружно, и, в конце концов, торжествовал авторитет папы. А детей, доживших до зрелого возраста, было четыре сына и дочь. Все мальчики окончили Воронежский кадетский корпус. Но двое Александр и Иван Николаевичи не пошли по военной дороге. Первый из них долго был городским головой в Туапсе, и о нем я скажу дальше. А Иван Николаевич в последнем классе корпуса прострелил себе нечаянно на охоте плечо, перебив сухожилие, и стал негоден к военной службе. После родителей он остался хозяйничать в Никольском, которое и пропустил, как говорили, «сквозь пальцы». Бесхозяйственный, но добрый человек, он был талантливым акварелистом. Два альбома с его работами, подаренные моей маме, погибли в Руссе, но рисунки его казались мне, даже после 10 лет работы в музеях, стоящими – особенно портреты слуг в Никольском и тамошних крестьян. Николай Николаевич один унаследовал страсть родителей – он служил в каком-то драгунском полку, а затем в государственном коннозаводстве. Наконец, мой дед Сергей Николаевич, окончил Павловское военное училище, два года прослужил в армейской пехоте и, выйдя в отставку, поступил в Технологический институт. Учился он в нем, однако, недолго. И будучи, кажется, на 2-м курсе, начал писать и печататься, «по общественным вопросам», как тогда называли такой раздел журналов. Став

довольно известным публицистом, он редактировал «Русское Богатство» и увлекался идеей «культурных скитов», то есть трудовых коммун интеллигентов, даже завел было такой со своим деятельным участием на берегу Черного моря близ Туапсе. Но, кажется, кроме разочарования в возможности их существования ничего не получил. О его деятельности можно прочитать во 2-м издании Брокгауза-Эфрона и более пространно во вступительной статье к 2-х томному собранию его сочинений.

В 1874 году Сергей Николаевич женился на девице Людмиле Николаевне Меншуткиной (1852–1928), закончившей Екатерининский институт, – дочери петербургского купца 2-й гильдии Николая Ивановича Меншуткина. Меншуткиным принадлежали зеленные и еще какие-то владки и доходный дом на Пантелеймоновской улице. Женат этот зеленщик был на итальянке Анжелле Кассини, дочери кондитера из Новгорода. Об ее редкой красоте, при-



Л.Н.Кривенко (1854-1928)

влекавшей в кондитерскую гвардейских офицеров из окрестных казарм, пишет в своих записках конно-артиллерист Шербачев. В записках (пропуск – М.Г.). Приехав в Новгород по торговым делам, Меншуткин влюбился в красавицу итальянку, обвенчался и увез в Петербург. Жили они довольно дурно: она горяча характером, быстра на брань, иногда швыряла в супруга тарелками, соусниками, а то и скинутой с ножки туфлей. Детям сыпались подзатыльники и шлепки, но сечь их или ставить на колени не разрешала, утверждая, что этим унижается их достоинство. А папенька моей бабушки сильно выпивал и придумывал разные самодурства в духе героев Островского, Горбунова и Лейкина. Заказал огромную супружескую кровать с колоннами по углам, на которых покоился зеркальный потолок, а в ногах были полки для напитков и закусок. Или однажды в зале их квартиры появилось пианино с клавиатурой в виде полукруга, охватывающего его большую живот. На клавиатуре обычной формы брюхо не давало ему доставать крайних клавиш. На этом инструменте он брэнчал, по слуху подбирая кадрили и церковные песнопения в посты. А рядом стоял рояль обычной формы для «девиц». В день роспуска дочек из институтов на рождественские каникулы он нанял как-то семь извозчиков и, едуци впереди отправился на 13-ю линию Васильевского острова в Еленинский институт, а оттуда через весь город на Знаменку в Павловский, сопровождаемый санями, на которых под конец пути, сгорая от стыда, ехали по две девочки или уже девушки. И после такого церемониала они застали дома елку, увешанную картонками, стеклянными бусами и маленькими бутылочками с винами и водками. Он был известный жертвователь в пользу ведомства императрицы Марии, и за это его дочки обучались в институтах 2-го разряда.

А детей у этой своеобразной пары было 21 душа – 19 девочек и 2 мальчика. Наследники пошли оба «по торговой части», и оба умерли в молодые годы от чахотки – следствие кутежей, начатых чуть ли не с отрочества. А дочки все повыходили замуж и разъехались в разные стороны, поскольку я мог понять со слов бабушки – без особенной нежности к родительскому крову. А, между тем, родной брат этого купца-самодура был юристом с высшим образованием, а его сын – известный профессором химии Николаем Александровичем Меншуткиным. Это, впрочем, тоже со слов бабушки Людмилы Николаевны.

Но вернусь к жизни ее с Сергеем Николаевичем. В первые годы брака жили они дружно и очень интересно. Постоянными гостями дома были Михайловский, Плещеев, Елисеев, Цебрикова, Гаршин, Успенский и другие писатели и критики 1870–80-х гг. Дед был издателем до кончины у Некрасова, раз или два у них дома побывал Тургенев, о чем бабушка вспоминала до глубокой старости, как о большой чести и радости, таким простым в манере себя держать и занимательным собеседником и блестящим рассказчиком он ей показался.

В эти годы Сергей Николаевич и близкий его друг Глаб Иванович Успенский купили в деревне Сябраницы, близ станции Чудово, по участку земли и построили по дому, чтобы иметь возможность уединяться из Петербурга для литературной работы и одновременно иметь их на лето в виде дач.

В 1884 году деда арестовали по делу.... (пропуск – М.Г.) и после полутора лет одиночного заключения на Шпалерной сослали на 5 лет в город Глазов Вятской губернии. Оказавшись без средств, кроме, кажется, нескольких сот рублей, оставшихся ей от приданого, бабушка с малолетней мамой перебрались на житье в Чудово, где жизнь была дешевле петербургской и существовал свой дом с садом и огородом. Правда, дом оказался весьма холодным зимой. Здесь они прожили несколько лет, вплоть до поступления моей мамы в среднюю школу. Но и тогда, если не ошибаюсь, два года прожили зимой врозь, так как стесненная в средствах бабушка отдала маму в какое-то закрытое Еленинское училище на Церковной улице Петербургской стороны. Затем бабушка переехала в Петербург, поселилась где-то около Покровской площади, и мама перешла приходящей в Коломенскую гимна-

зию. У бабушки в Чудове были два ученика – Вася Константинов и Алеша Быстров, прочно вошедшие в жизнь их семьи. [...]

Сергей Николаевич в Глазове сблизился с дочкой высланного туда по какому-то политическому процессу фельдшершей Софьей Ермолаевной, фамилию которой я не знаю, и больше к Людмиле Николаевне не вернулся. Пожалуй, тут уместно заметить, что вся переписка Сергея Николаевича до ареста осталась у бабушки, и я в детстве видел старый дорожный погребец с внутренними перегородками и гнездами для предметов, превращенный в хранилище этого архива. Там были две записочки Некрасова, письмо Тургенева, десяток писем Гаршина, а от Михайловского, Успенского, Засодимского, Шелгунова, Венгерова и десятков других литераторов еще кипы корреспонденции. Вероятно, архив бабушка сожгла в печке своей комнаты в начале 1920 года, когда очень часто случались обыски, и однажды некий особенно рьяный чекист вытряхнул все эти письма на пол и ступал на них, надеясь найти в шкатулке второе дно – тайник для хранения драгоценностей. Бабушка сказала, что он – вандал и скот, он пригрозил ей арестом и обругал как-то весьма гадко. После ухода бабушка в гневе, как сама мне потом рассказала – заговорили итальянские предки – побросала в печь все письма, за письмами туда же отправила и разломанную шкатулку. А остановить ее было некому – отца тогда арестовали и увели в тюрьму заложником, как делали уже раза четыре или пять до того.

Из Глазова, а затем возвратясь в ... (пропуск – М.Г.) в Петербург, дед высылал бабушке деньги, но присылки эти были нерегулярны и разными по суммам, завися от его гонимых, так что, бывало, то густо, то пусто. Развод между ними не оформлялся и после смерти Сергея Николаевича Софья Ермолаевна унаследовала дом с участком земли в Туапсе, а бабушка дачу в Чудове, и литературный фонд выплачивал ей пенсию в размере, кажется, 18 рублей в месяц. Гонорар за издание двухтомного собрания сочинений Сергея Николаевича бабушка, по совету моего отца, просила перевести Софье Ермолаевне, у которой от деда был сын Сережа.

Взрослым человеком я встретил только одно лицо, знавшего моего деда Сергея Николаевича. Случилось это, кажется, в 1948 году. Это был профессор Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов. Услышав мою фамилию, он спросил, не сын ли я Надежды Сергеевны Кривенко? Он слышал, что единственная дочь Сергея Николаевича вышла за врача Глинку. И после подтверждения я услышал взволнованный, несмотря на прошедшие 45 лет, рассказ о кончине деда, при которой он присутствовал студентом вместе с ... (неразборчиво – М.Г.) ... изучать из истории и литературы. В этом ... (неразборчиво – М.Г.) ... что в КЛЭ (видимо, Краткой Литературной энциклопедии – М.Г.) о Сергее Николаевиче Кривенко нет, а есть упоминание о нем только в публикации работ редакторов и сотрудников... (неразборчиво – М.Г.).

И добрый В.Е.Максимов указал мне еще на прочувствованные в волнении (?) писания народника П.В.Засодимского, посвященные Сергею Николаевичу.

Потом пришел 1914 год, пограничные войска переформировали в строевые полки, но Николай Николаевич Лихарев был уже слишком стар, его тем же чином назначили на какую-то тыловую должность. А потом революция смела одиноких супругов, как многих старорежимных стариков, и они где-то угасли, хочу надеяться, без особых унижений и страданий.

[...] Но возвращаюсь к судьбе моих родителей. Оканчивая гимназию, отец уже твердо решил в будущем стать земским врачом. Но медицинского факультета в Петербургском университете не существовало, и он поступил в Дерптский. Вероятно, он выбрал его, а не Московский и потому, что был ближе к Петербургу, и из интереса к полу-немецкому укладу этого старого университета, не обрусевшего, несмотря на переименование Александром III города в Юрьев. Почти весь учебный год отец провел, занимаясь в этой своеобразной школе, но весной стало особенно плохо бабушке Анне Алексеевне, и после пасхальных каникул папа не вернулся

к занятиям. Все они – бабушка и два его сына были около нее последние недели, а после похорон Павел Константинович просил отца перевестись в Военно-медицинскую академию, чтобы не оставаться одному в Петербурге. Дядя Леша в том году кончал университет, был женихом, и ему было уже обещано место в одном из губернских городов. Учебный год в Дерпте был все равно потерян. Бабушка из своего жалования мог платить, конечно, 75 рублей в год в академию, причем отец не считался обязанным отслуживать четыре года в военной службе, как кадровые ... (неразборчиво – М.Г.) слушатели, а только отбыть один год младшим врачом – как бы отбыть военную повинность, как полагалось тогда молодым людям с высшим образованием. К тому же тяготение его к Надежде Кривенко продолжалось. Зимой он бывал у нее в Петербурге, а следующим летом приезжал из Романова в Чудово на велосипеде – а это верст, верно, побольше полутораста. Не удивительно, что, будучи на 3-м курсе, в 1897 году отец женился и поселился поблизости от квартиры деда. В 1898 г. родился мой старший брат Миша, в 1899 г. – Сергей.

В 189? Павла Константиновича произвели в генералы и перевели в Севастополь. Летом 1899 г. отец, окончив академию, с женой, тещей и двумя сыновьями и двумя нянями – они же кухарка и горничная – отправились гостить в Севастополь, как, впрочем, я уже упоминал. Я понимаю, что рассказ мой во многом носит разбросанный характер, но прежде, чем расстаться с бабушкой Павлом Константиновичем, мне хочется упомянуть то, что слышал от мамы о, так сказать, «домашних» особенностях его характера.

Он был предельно точен в распорядке дня, что, должно быть, усвоил еще со времен Морского корпуса и службы на кораблях. Вставал он всегда в 7 часов, очень тщательно умывался и, выпив кофе у себя в кабинете, просматривал дела этого дня, подготавливая, как он говорил, «набело» к тому, что ждало на службе. Затем переодевался из халата в форму и шел в суд. Именно шел пешком, что считал обязательным для здоровья, хотя в это лето уже весьма чувствительно прихварывал. Его лакей – бывший матрос Жижиленко нес, идя рядом с ним, «дела» этого дня. Из суда деда привозил ровно в 4 часа казенный экипаж, и тот же Жижиленко, ожидавший у подъезда, вносил «дела», которые вечером дедушке предстояло к завтрашнему дню просмотреть «начерно». Умаявшийся дедушка полчаса отдыхал в кресле просматривая газеты, после чего ровно в 5 часов надлежало подавать обед. Если его не звали к столу 5–10 минут 6-го, то, войдя в столовую, он спрашивал маму: – Наденька, будем ли мы сегодня обедать?

После обеда, поцеловав руку бабушке и маме, дедушка уходил в кабинет, переодевался в халат и работал над делами из суда, читал газеты или раскладывал пасьянсы. Туда в 7 часов Жижиленко подавал ему стакан крепкого чая. В 10 часов он снова при галстукке и в вицмундирном сюртуке выходил к ужину, за которым бывал очень воздержан в пище, хотя ужиная любил посидеть в столовой, беседуя с сыном, Людмилой Николаевной и мамой, обязательно заходил посмотреть на спящих внуков и в 12 часов ложился в постель. Курил 10–12 папирос в день, пил только в праздничные дни, когда считалось оправданным и в «трезвой семье» подавать к столу вино – в Новый год, в пасхальную ночь, в дни именин, рождений. В воскресные и праздничные дни Павел Константинович редко выходил из дому, где становилось сравнительно прохладно, читал полученное на любимой своей кушетке, запечатленной на одной из последних его фотографий, разговаривал с папой и обязательно час, а то и два проводил в детской, наблюдая возню мамы и няни с внуками, слушая их лепет и смех, что никогда ему не надоело. Мама говорила, что никогда не видела его таким счастливым, как в эти моменты.

Сыновья дяди Леши, рожденные в Калише в 1897 и 1898 годах, были названы Павлом и Константином, а мои братья по совету именно деда Михаилом и Сергеем. Я один, рожденный после его кончины, назван именем его младшего приятеля Карпова.

Не знаю, каково было детство Павла Константиновича и его братьев в Коптеве, но даже в Александровском корпусе для малолетних, куда он попал 8 лет, а затем в Морском корпусе до середины века широко практиковались физические наказания кадетов. Не обходилось без этого даже в 1860-х годах за серьезные провинности, как рассказывала бабушка, даже в Еленинском институте. Но, как в семье деда, так и при воспитании моей мамы, никогда не применялось ничего, кроме внушений, вернее, укоров на повышенных тонах. Так же было потом и в семье моих родителей. И говоря совершенно серьезно, я думаю, что по отношению ко мне – не к братьям, а именно ко мне, – отцу следовало бы принимать и куда более строгие меры, уж очень я был ленив в ученье – сколько времени на меня тратили репетиторы!

Итак, отец мой, окончив Военно-медицинскую академию, должен был отслужить в армии год, после чего подлежал перечислению в запас медицинских чинов. Служить его назначили младшим врачом Свеаборгского крепостного пехотного полка. Жили в Свеаборге, на острове рядом с Гельсингфорсом, в казенной квартире в офицерском флигеле. Отец и мать были молоды и очень дружны, дешевую в Финляндии пищу покупала и готовила кухарка под руководством и с деятельным участием бабушки Людмилы Николаевны, мама с няней Дуней занимались братьями, которые росли здоровыми и смешливыми. Материально жилось более, чем достаточно – на прибавку к отцовскому жалованью дедушка посылал ежемесячно 100 рублей. Вечерами, если не было гостей, отец читал вслух, мама и бабушка рукодельничали, а то мама читала, а бабушка и отец *vis a vis* раскладывали пасьянсы. Год, проведенный в Свеаборге, родители вспоминали с большой теплотой, и как всегда в их жизни, на всех ее этапах, от этого периода остались дружеские связи, длившиеся многие годы. [...]

[...] После года в Свеаборге и еще одного отпуска в Севастополе, где дедушка заканчивал свою службу, у моих родителей наступила двухлетняя пора службы отца земским врачом в деревне Будомицы Новгородской губернии. Значительную роль в жизни моих родителей в 1900–1908 гг. сыграл председатель Старорусской земской управы В.В.Карцов, личность своеобразная и по-моему любопытная. Ему я посвятил уже отдельную главу воспоминаний и потому здесь скажу только, что к нему отец обратился из Севастополя с просьбой предоставить ему место земского врача. Дело в том, что еще слушателем Военно-медицинской академии мой отец со своим другом и двоюродным братом Алешей Булатовым дали нечто вроде античной клятвы посвятить свою жизнь земской деятельности в пределах Новгородской губернии, дворянами которой они значились – как бы отдать долг родной земле. Единственным знакомым председателем земской управы в этой губернии был у моего отца Владислав Владиславович Карцов, к которому он и обратился с просьбой. При несомненной привязанности Карцова к деду и бабушке этот кандидат (мой отец) поначалу не внушал ему особого доверия. Генеральский сынок, не очень прилежный гимназист, рано женившийся и живущий с семьей явно при материальной поддержке отца – неизвестно каким окажется он врачом. Так, вероятно, думал председатель управы, предлагая моему отцу, правда, тогда единственное свободное место в глухой деревне Будомицы в 70 верстах от Руссы. Два с лишним года, с осени 1900 до декабря 1902, прожитые в очень холодном доме при работе в маленькой больничке с амбулаторией, в бесконечных разъездах по окрестным деревням, навсегда сблизили моих родителей с Владиславом Владиславовичем настолько, что его просили быть моим крестным отцом, когда я появился на свет уже в Руссе 6 февраля 1903 года...

Объем настоящей книги не позволяет поместить настоящие воспоминания В.М.Глинки целиком.

МОЙ КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ

Воспоминания о нем начинаются с брелоков. В то время было модно прицеплять к часовой цепочке маленькие ювелирные памятки – безделушки, и, сидя у него на коленях, я много раз перебирал и рассматривал целую их гроздь. До сих пор прекрасно помню четыре: серебряную с чернью тувельку кавказской работы с загнутым вверх носком, плоский прямоугольник янтаря, верно, два на два сантиметра, в котором замурован был обыкновенный комар; кисть винограда – зеленые блестящие ягоды полупрозрачного камня, болтавшиеся на золотой веточке, и, наконец, простую серебряную монетку, какие я видел постоянно, но обрамленную, как и янтарь, золотой оправой с ушком. Помню еще приятный слабый запах, как позже узнал, французского одеколona, шедший от жилета и бороды, соседствовавших с цепочкой. Все это принадлежало первому человеку, которого я назвал папой, и когда мой настоящий отец возвратился с русско-японской войны, то не сразу согласился признать его за папу, – мне было в то время около трех лет.

Попутно скажу, что встреча отца, возвращающегося с Дальнего Востока ранней весной 1906 года, – мое первое связанное воспоминание. Помню суету сборов, как на меня, сидящего на столе в прихожей, надевают белый капор, такие же рукавички на шнурке через шею и белую шубку. Помню широкие троечные сани, с обитыми ковром отводами-крыльями над передней частью полозьев, о которые колотятся комья снега, отлетающие из-под копыт пристяжных. Солнце било мне в глаза, я старался смотреть вниз на один из этих пестрых, ярких ковров. Потом другой отрывок: на медленно приближающихся к нам ступеньках, как я позже понял, на лесенке вагона, стоит румяный человек в светло-сером пальто с блестящими пуговицами и взмахивает черной косматой шапкой с желтым верхом. А вот все уже его обнимают, целуют, и меня суют носом в его свежую щеку с мягкими волосами бородки. Тут же мой первый папа с большой седеющей бородой, который тоже обнимает этого дядю с блестящими пуговицами.

Смутно помню, как много раз бабушка и няня Лиза втолковывают мне, что приехал мой родной, настоящий папа, а тот, у которого комар в янтаре – крестный, и называть его надо именно так. Должно быть, как раз в это время бабушка впервые назвала моего крестного «дедом», подтверждая такое имя тем, что он ей ровесник, а вот она уже бабушка трех внуков. И это заочное обозначение навсегда утвердилось за моим крестным в нашей семье.

Он был частым посетителем нашей квартиры, но почти всегда вечерами. Поэтому пока меня рано укладывали спать, я видел только, как он приходил и, поздоровавшись с теми, кто его встретит, в том числе и со мной, обязательно за руку – он никогда не целовал меня – уходил к отцу в кабинет разговаривать. Я уже знал о чем – «про земство», которое я в те годы смутно представлял себе в виде толпы бородатых крестьян, похожих на любимого брата моей няни – кроткого и рассудительного Ивана Матвеевича.

Прошло два или три года, и как-то отец зашел со мной в служебный кабинет Владислава Владиславовича – так звали моего крестного – в здании, начинавшем собой набережную Полисти, носившую название Красного берега. Пока они разговаривали, я рассматривал большую карту, висевшую над рядом венских стульев, стоявших вдоль длинной стены. На ней наклеены были тут и там красные крестики, синие треугольники, проведены, должно быть, густой краской ярко-желтые змейки. Мне тут же пояснили, что это карта Старорусского уезда, которым ведал земская управа Владислава Владиславовича, что кресты – это больницы или фельдшерские пункты, треугольники – школы, а змейки – шооссированные дороги.



В.В.Кариев. 1886

В нашей семье был такой поря-док, что до поступления в реальное училище я в девять часов должен был неукоснительно лежать в постели, а, надев форму, получил некоторые льго-ты – в будни стал ложиться в десять, а по субботам еще и ужинать со взрос-лыми, так что оказывался в постели не раньше одиннадцати. Вот когда я смог ближе увидеть и услышать сво-его крестного. Он проводил у нас субботние вечера. Около половины девятого раздавался один длинный звонок.

– Вот и «дед» пришел, – говори-ла бабушка, и папа с мамой вслед за горничной шли в прихожую. Туда же выскакивал и я. Снимал и вешал паль-то Владислав Владиславович обяза-тельно сам, затем произносилась одна и та же фраза:

– У меня нынче обезьянья сходка.

После этого они с моим отцом уходили в кабинет, где и сидели до ужина.

Что за «обезьянья сходка»? Я несколько раз приста-вал к бабушке. И она как-то объяснила мне, что по суббо-там у Софьи Петровны (так звали жену моего крестного) собираются дамы играть в карты, а «дед» карт не любит.

Софья Петровна, которую я не раз видел, была пол-ная, медлительная домоседка с бледным круглым лицом и неряшливой прической. Однако я уже читал Брема, смотрел картинку в его сочинениях и знал, что обезьяны бывают не только мелкие и юркие, но и крупные, а, раз так, то, наверное, и ленивые, как Софья Петровна.

Место Владислава Владиславовича в нашем доме было особым. За столом у его прибора всегда лежала свежая салфетка в как бы только ему принадлежавшем серебря-ном филигранном кольце. Ему всегда подавали особую большую чайную чашку с одной и той же массивной ложечкой для любимого им вишневого варенья. Известно было, что он любит капусту, нашинкованную крупными пластами, вместе с яблоками, а также брусничное варе-нье к мясу, и, если приходит в воскресенье к завтраку, то бывает рад пирогу с капустой. Ел он немного, но с явным удовольствием. При этом между ним и отцом шел все тот же нескончаемый разговор о школах, больницах, доро-гах, мостах, учителях, врачах, фельдшерах, о почтовой гоньбе, исправном развозе по уезду медикаментов и учеб-ников. Мелькали названия тракторов и волостных сел – Допжина, Астрилова, Перегина, Залучья, Коростыни... Обсуждались действия агрономов, сношения с лесничес-твами по закупке бревен для погоревших деревень, сбыв изделия черепичного и кирпичного заводов, склада зем-

ледельских орудий, мастерской, где крестьянские девицы обучались работе на закупленных земством усовершенствованных ткацких станках.

Разговор, начатый в кабинете между двумя моими папами, продолжался в столовой, где нередко в него включалась и мама. Мой отец прослужил восемь лет в Старорусском земстве, его занимали те же вопросы, и большинство упоми-наемых лиц было ему знакомо. [...]

Дом Владислава Владиславовича стоял на набережной Перерытицы, только на четыре квартала дальше нашего дома, самым последним на ней владением. За этим домом кончалась мостовая. Дальше шел песчаный спуск и дорога по берегу к деревянным казармам, называвшимся Коломец. Перед домом стояли очень толстые вековые серебристые ивы. Они кончали собой бульвар по берегу Перерытицы.

От этого дома мой крестный ежедневно, во всякую погоду, ходил пешком в земскую управу на Красный берег, то есть проходил километра полтора-два в каждый конец. При этом предметом постоянного обсуждения обывателей явля-лись летом его непокрытая голова – это было тогда не принято. Лишь в апреле и октябре он носил легкую кепочку, а в морозы с зимним пальто – фетровую круглую шапочку, род шляпы с равномерно загнутыми вверх и прижатыми к колпаку полями. Словом, исповедывал правило «держи голову в холоде», хотя я не помню его без все увеличивавшейся лысины. Он проходил мимо нашего дома по утрам ровно в половине девятого, и всегда на его локте висел зацепленный ручкой с крючком большой зонтик, а в руке была массивная трость с ручкой такого же фасона из черногого кавказского серебра. В зависимости от погоды они менялись местами.

Дом и комната, в которых жил Владислав Владиславович, явственно отражали его личность и образ жизни. Массивный кирпичный штукатуренный нижний этаж и деревянный верхний не имели, можно сказать, никакой архитектуры, в то время как десятки домов, построенных в Руссе в 1820-х–1830-х годах для офицеров и чиновников Корпуса военных поселений, украшали фронтоны и пилястры, суха-рики под карнизами и разнообразные наличники, а также чугунные решетки балконов в духе казенного русского ампира. В фасаде дома Владислава Владисла-



Старая Русса. Земская управа. 1900-е гг.

вовича все было безлико и просто: гладкие беленые стены нижнего этажа, окрашенные в серо-желтый цвет, доски обшивки верхнего. По фасаду верхнего этажа было пять окон: в нижнем этаже левое крайнее заменяла входная дверь, на которой блестяла медная дощечка с гравированной надписью в две строки:

«Владислав Владиславович Карцов.

Визитов не принимаю и не отдаю».

Как и отмена головного убора в теплую погоду, последняя фраза вызвала среди староруссцев удивление и заслужила Владиславу Владиславовичу репутацию оригинала.

Передние комнаты нижнего этажа, вероятно, вследствие довольно частых наводнений, были нежилыми. Окна их всегда были закрыты ставнями, и в скудном свете виднелись полки с целыми колонками из глиняных горшков разного размера. На гвоздях висели лейки, косы, грабли, у стен стояли лопаты – «дед» был любителем садоводства и, особенно, цветоводства. Задние комнаты этого этажа имели отдельный выход на двор, были обитаемы прислугой, и там помещалась кухня.

Через входную дверь с улицы вы попадали в короткий коридор, в конце которого было три двери – направо, в описанную выше большую комнату садового инвентаря, налево – в сад и прямо – на лестницу в два марша под прямым углом, ведущую в маленькую переднюю с вешалкой. Из нее вы попадали в род гостиной с мебелью, обитой темно-зеленым бархатом: диваном с круглым столом перед ним, обставленными креслами, и двумя зеркалами в простенках со сложенными ломберными столами под ними.

Когда по воскресеньям мы приходили к «деду» с отцом, а потом я один, обычно с каким-нибудь поручением, в этой комнате иногда сидела на диване Софья Петровна, которая на бархатной зеленой скатерти раскладывала пасьянс, а может быть, и гадала. Отец здоровался с нею и освещался о здоровье, а я, издали шаркая ногой, кланялся, и мы проходили направо в комнату хозяина. Он обычно сам открывал на наш звонок и стоял в дверях своей комнаты, ожидая конца разговора папы со своей женой.

Комната Владислава Владиславовича была большая и светлая – она занимала всю переднюю часть дома с пятью окнами на набережную и двумя в сторону Коломца. По моим детским понятиям она была странна тем, что служила одновременно кабинетом, библиотекой и спальней. Потом я понял, что все остальное пространство дома «дед» предоставил Софье Петровне, а сюда она, верно, редко и заглядывала. Прямо перед дверью помещался боком большой письменный стол, за которым Владислав Владиславович сидел спиной к простенку между окнами, выходившими на Коломеч. На столе всегда лежало много бумаг в аккуратных стопках, в папках или отдельными листами, стоял хрустальный стакан с карандашами, такая же чернильница с откидной серебряной крышкой и высокая газокалильная лампа под белым стеклянным абажуром. Тут же помещалась фотография моих дедушки в погонах полковника и бабушки, точь в точь такая как висела в кабинете отца. Но мое особое внимание привлекали всегда старинные часы под стеклянным колпаком. На четырех белоэмальных колонках был укреплен барабан золоченой меди с часовым механизмом. Под ним качался маятник, а перед маятником стояла фигурка амура с молотком в руке. Рука эта у плеча прикреплялась к телу шарниром и каждые полчаса била молотком по стоявшей перед амуром наковальне, другая, неподвижная рука амура, держала стрелу, наконечник которой он как бы вечно отковывал-заострял. От молота в механизме тянулась тоненькая проволочка, которая, как объяснял дед, там соединялась с рычажком, оттягивавшим в нужную минуту его вверх. Владислав Владиславович говорил, что не раз разбирал и чинил эти часы, но им больше ста лет, и ходят они очень неверно, потому что состарились... По внутренней стене комнаты шел сплошной застекленный книжный шкаф, все простенки уличной стены занимали также шкафы. Расширенные подставками на подпорках подоконники были уставлены горш-

ками с комнатными растениями, хоть одно из которых, так мне казалось, всегда цвело и благоухало. Середина комнаты с крашеным желтым глянцевым полом оставалась пустой, а в ее глубине за ширмой красного дерева, затянутой чем-то зеленым, стояла узкая кровать и ночной столик с подсвечником и спичечницей. В ногах и головах помещались шкафы красного дерева – бельевого и платяной.

Сюда, в эту часть комнаты, я попал, кажется, уже лет десяти, придя как-то один с очередным поручением от родителей. Над кроватью висели несколько портретов. В золоченой рамке – портрет масляными красками молодого офицера, изображенного мертвым, очевидно, в гробу. Лицо с закрытыми глазами было бледно-восковое, волосы на висках, примоченные или припомаженные, зачесаны вперед. Видны были еще кусочек подушки с рюшкой, серебряный эполет, высокий воротник с шитыми петлицами и часть красного лашкана. А кругом всего этого какие-то курчавые серо-белые облака. Не то ладан из кадила священника во время похорон, не то вещественный намек на то, что душа умершего будет скоро принята в небесах. Я, признаться, впервые увидев этот портрет, глядел на него без удовольствия, но Владислав Владиславович, стоя за моей спиной, сказал, что это единственное дошедшее до него изображение его отца, который умер за два месяца до его, то есть Владислава, рождения на маневрах в летнюю жару, вероятно, от солнечного удара... И добавил, что отец, кажется, был недурным человеком – никогда не бил солдат, а для того времени это уже много.

– А это кто? – спросил я, указав на висевшую рядом в ореховой рамке большую коричневую пожелтевшую фотографию молодой дамы в пышном платье с массой бантов, кружев и с одинаковыми браслетами на обеих обнаженных до локтя руках. Лицо миловидное, чуть надменное, чуть капризное. Это я, впрочем, подумал позже, рассматривая фотографию, став уже взрослым.

– Это моя мать, – сказал мой крестный, – она осталась вдовой семнадцати лет.

– Ее-то вы хорошо помните?

– Конечно. Хотя меня в девять лет отдали в коммерческом училище, а умерла она, когда я был уже в последнем классе.

И добавил, что выпускался он двадцати лет со званием кандидата коммерции.

Я думал, что в коммерческие училища отдают чаще всего сыновей купцов и фабрикантов, а моему крестному – сыну офицера, служившему в полку с такой красивой формой, верно, следовало бы поступить в кадетский корпус.

– Такое образование мне дали по желанию моей матери ее опекуны, – как бы отвечая на мои мысли, сказал дед. – И, знаешь, я на них не в обиде. Преподавали хорошо, и программа была большая. Бухгалтерия, статистика, коммерческая география. Все это мне очень пригодилось в земстве.

– Но ведь ваша мама была жива, зачем же появились опекуны? – спросил я, вспоминая из романов Диккенса, что такое опека.

– Затем, что, оставшись юной вдовой, в делах она ничего не понимала и стала очень щедро тратить деньги, которых было не так уж много.

– Ее родители не вступились? Или его?

– Его отец уже умер, а ее родители жили далеко, в Новороссии, где дедушка командовал артиллерийской частью.

– И эта опека сберегла ее средства? – не отставал я.

– Да, сберегла и даже увеличила. Но потом...

История, как я понял уже впоследствии, была обыкновенной. Советы корыстного кавалера, отмена опеки, беспорядочность матери. То прибьет горничную, то платье ей подарит, сына – то в кондитерскую поведет, то в угол без вины поставит. Транжирство, взбалмошность – все, что делала – под настроение. И – ранняя смерть.

– А этот старичок с орденом на шее? – продолжал я спрашивать, указывая на небольшой портрет масляными красками, висевший по другую сторону изображения мертвого офицера.

– Это мой дедушка со стороны отца, профессор физики и математики в Царскосельском лицее Яков Иванович Карцов. Те часы, что у меня на столе, стояли у него в физическом классе во время опытов. Так что Пушкин их не раз видел. И, раз учился по этим предметам плохо, то, верно, нетерпеливо ждал их боя, чтобы выбежать из класса. Яков Иванович был из поповских детей, но, видно, способный человек, учился за границей, куда посылали только отличнейших.

– Значит, эти часы видели и Пушкин, и Корф, и Матюшкин, и Горчаков? – спросил я.

– Ага! Значит, прочел-таки «Отрочество Пушкина», – сказал дед.

Дело в том, что, начиная с семи моих лет, он два раза в год – в день рождения и наши общие именины, – дарил мне книги, только книги. Издания были лучшие – Вольфа или Девриена. Так пришли ко мне «Айвенго» и «Дети капитана Гранта», трехтомный сокращенный Брем, книга о викингах, открывших Америку задолго до Колумба, повести Авенариуса о юности великих писателей. Книги были всегда красивые, нарядно переплетенные и самые разнообразные, но ни одной из них никогда не было про войну.

– А это кто? – продолжал я, указывая на последний из висящих здесь портретов, – мастерский карандашный рисунок, изображавший тоже старика, но с двумя звездами на фраке.

– Это, пожалуй, самый значительный из моих предков – прадед по материнской линии, Василий Николаевич Зиновьев.

– Он был важный сановник?

– Да, тайный советник. Но сила не в чине и не в родстве

с временщиками Орловыми, а в том, что был видным масоном, деятельным благотворителем и в юности дружил с Александром Николаевичем Радищевым, написавшим первую правдивую книгу о бесправии русского крестьянства и жестоко пострадавшим за это... Ну, ты о Радищеве еще узнаешь, без него немыслима история нашего просвещения.

В кабинете «деда», на самом видном месте, хотя как бы нарочно не на глазах хозяина, висел еще один портрет. Он был помещен в простенке между окнами, за спинкой его кресла у письменного стола, выше барометра и термометра. Поэтому я рассмотрел его и услышал историю изображенного на нем лица уже в другой свой визит. На этом портрете масляными красками был написан



М.П.Глинка. 1902

по пояс офицер в скромном черном мундире с серебряными эполетами и пуговицами. На груди его – белый офицерский Георгий, анненский крест и две медали. Смуглое лицо с правильными чертами, повернутое к зрителю в три четверти, имело такое суровое, мрачное, недоброе выражение, что долго смотреть на него было неприятно. Я не спросил, кто он такой, но Владислав Владиславович перехватил мой взгляд и сам пояснил.

– Это дед Софьи Петровны, инженер-майор Нелединский. Наверное, сам видишь, человек несчастливый и жестокий.

– А в чем состояло его несчастье?

– Началось оно с юности. Учился в корпусе хорошо, должен был днями получить производство. Тогда из корпуса выпускали прямо в офицеры. Чертил и рисовал прекрасно и уже получил назначение в какую-то строительную часть. И тут два приятеля, тоже выпускные кадеты, поспорили с ним, что он не сможет нарисовать так хорошо рублевую ассигнацию, чтобы ее взяли в лавке за настоящую. Ассигнации были тогда на вид совсем простые, с печатной надписью в несколько строк, только на особой бумаге с водяными знаками. Ну, он засел и рисовал, начертил. Да так похуже, что тут же послали в лавку дяльку-слугу, и тот принес им то, что просили купить – и сдачу. А торговец вечером, считая выручку, обнаружил подделку. Он вспомнил, кто ему эту ассигнацию принес, и через два дня сцапал за шиворот на улице этого самого слугу. Откуда поддельная ассигнация? Все раскрылось, и юношу вместо выпуска в офицеры – под суд за фальшивомонетчество. Приятелям только выговор, а его разжаловали в солдаты до выслуги. Кажется, это было в 1802 году – у меня среди старых бумаг где-то есть его послужной список. Десять лет служил солдатом, пока, наконец, за храбрость получил чин прапорщика. Но в документах всегда значилось: «За нарисование фальшивой ассигнации по суду разжалован в рядовые». Был храбр, лез в огонь, заслужил Георгия, добрался, наконец, до штабс-офицера, но жизнь была испорчена, этот «пункт» следовал за ним и знакомствам, репутации, службе неизменно вредил...

– А потом? – спросил я.

– Через тридцать лет, служа в Петербурге уже майором, когда и написан этот портрет, был судим за жестокое обращение с крепостными людьми – избил до смерти дворового слугу и навсегда отставлен от службы без повышения в чине. Если в то время не удалось потушить такое дело – видно, истинный зверь был. У меня сохранилась и копия его жалобы полицмейстеру на несправедливое, будто, производство следствия по этому делу. И сам в этой жалобе поминает, что раньше обвинялся в жестоком обращении с нижними чинами какой-то саперной роты. Видимо, на следствии еще что-то всплыло.

– За чем же он у вас в кабинете? Ведь он родственник Софьи Петровны?

– Она этот портрет с детства терпеть не может, боится, и считает своего деда кем-то вроде злого гения их семьи, потому что отца ее ребенком ужасно тиранил и двух жен нестарыми в гроб загнал. А мне он служит напоминанием о том, как столетиями жилось под господами русскому мужику, в частности в Старорусском уезде, где этот изверг после отставки поселился и до смерти куролесил. Как жилось тому мужику, которому я теперь служу...

– Но разве вы мужикам служите? – довольно глупо удивился я.

– А то кому же? Земство ведает первостепенными нуждами населения уезда, а кто в нем, по-твоему, обитает? И выбрал я себе эту службу вполне обдуманно, хотя дошел до того не сразу и не самым прямым путем. А старорусские крестьяне не только крепостное право, но еще и военные поселения, как тяжкую болезнь пережили. Оно, пожалуй, страшнее господ Нелединских было.

– Это когда граф Аракчеев всем командовал?

– Родившись и вырастая в наших местах, тебе обязательно надо узнать об этой главе русской истории больше, чем тому, кто живет в Петрозаводске, Риге или

Тифлисе. Родные края могут стать навсегда местом деятельности, а без своего прошлого они немые. Я дам тебе потом прочесть несколько книг о военных поселениях, чтобы ты понял, до какой жестокой и противоестественной бессмыслицы доходили в России под видом будто бы весьма полезных и выгодных государству учреждений, и к чему это привело. Разве не интересно тебе, хотя, может, и жутко, представить, что та самая площадь перед Живым мостом, на которую выходит фасад казначейства и того здания, в котором занимаются старшие классы вашего училища, была местом убийства солдатами десятков офицеров во главе с генералом Леонтьевым – могилы их можешь и сейчас видеть на Монастырском и Симоновском кладбищах. Тогда мост был действительно «живой», то есть наплавной на плашкоутах, возвышенного вьезда на него, как сейчас, не было, и перед мостом по приказу генерала поставили, было, пушки, но артиллеристы отказались стрелять в восставших, шедших по Петербургскому шоссе, и те ворвались на площадь... Или разве не интересно знать, что в том доме, где сейчас кондитерская Финкельштейна, была тогда казенная аптека и вошедшие туда поселяне убили немца-аптекаря, а его молодой помощник отбился от них, убежал в верхний этаж, вылез на крышу и спрятался в домовых трубах. С ним было ружье, он в темноте задел его и выстрелил. Его вытащили из трубы и тут же буквально растерзали. Те самые дома, мимо которых мы ходим – свидетели этих страшных, но закономерных событий. Ведь военные поселяне мстили начальникам за свои обиды и страдания.

– Сколько же всего они убили начальников? – спросил я.

– Точно, по-моему, никто не подсчитал, но под Новгородом, по берегу Волхова, где также были устроены эти злополучные поселения и здесь в Руссе, и в уезде убили или замучили до двухсот офицеров, врачей и чиновников. А потом, когда судили бунтовщиков, то уже тысячи их забили до смерти кнутами или палками в нашей Руссе и в тех местах, где бунтовали. И еще тысячи послали на каторгу... Я когда езжу по деревням и селам, то часто об них думаю. Откуда взять нашему крестьянину доверие к господам? Ведь всего только деды нынешних моих подопечных были крепостными или военными поселянами...

Этот разговор мне очень памятен, потому что был первым серьезным обращением ко мне крестного отца, он положил начало моего интереса к истории родного города и по-новому осветил жизнь и работу самого Владислава Владиславовича. Я не мог тогда ясно сформулировать, но понял, что для него земская деятельность не только служба, которая дает жалование и чины, но гораздо более: служение важному делу, источник удовлетворения душевных потребностей.

В этом разговоре он упомянул, о чем думает между делами во время своих разъездов по деревням и селам. А ездил он не реже, чем раз в месяц, во всякую погоду и во все времена года. Иногда ехал один, иногда с кем-то из членов Управы, – агрономом или ветеринарным врачом. Проводил в отъезде день-два, а то и неделю. И никогда не предупреждал тех, к кому ехал, – врачей, учителей, техников, что-то строивших или ремонтировавших. Являлся везде неожиданно-негаданно. И особенно любил присутствовать при переходных экзаменах в сельских школах и вручать кончившим свидетельства и похвальные листы.

Езда часто за семьдесят-восемьдесят верст на почтовых была, конечно, очень утомительна, так что, как говорили взрослые, господа члены Управы не очень-то охотно сопровождали своего председателя. А ведь ему в это время подходило к шестидесяти годам, и он был старше всех своих сослуживцев.

– Вот дед опять в уезд с кем-то проехал, – говорила сочувственно бабушка или мама, видя промелькнувшую мимо наших окон тройку с бубенчиками на хомутах, запряженную в тарантас или в сани, и фигуру Владислава Владиславовича, закутанную в брезентовый пыльник или в шубу на волчьем меху, надетую поверх городского зимнего пальто.

Позже отец говорил мне, что, благодаря неустанной энергии моего крестного, Старорусский уезд к 1910 году по количеству школ, больниц и верст шоссе-ных дорог на душу населения стоял на первом месте в губернии, и что Владислава Владиславовича высоко ценили председатели губернской земской управы, несмотря на независимость характера и мнений во всех вопросах как служебной, так и личной жизни. В последней он был действительно во многом «оригинал» – то есть непохож на окружавшее его уездное общество – никогда не пил водки, а лишь изредка в торжественных случаях одну-две рюмки «легкого» вина, никогда не брал в руки карт, не курил, не посещал клуба, ни у кого не бывал в гостях, кроме нашей семьи, и никого не принимал у себя. В кинематографы, которых в Руссе было уже два, не ходил никогда, летом изредка смотрел в курортном театре спектакли московской труппы Незлобина, но регулярно посещал вечерние концерты симфонической музыки. Как я уже написал, у Владислава Владиславовича была большая библиотека и он говорил, что поставил себе целью знакомиться с каждым купленным сочинением, хотя бы отчасти.

– Конечно, всего Брокгауза и даже истории Соловьева мне никогда не прочесть, но хоть час в день перед сном я читаю что-то не земское. [...]

Эльва, 1980

ОДНА ИЗ ДОРОГИХ ТЕНЕЙ

Мне всю жизнь везло на встречи с хорошими людьми и о многих из них я хотел бы написать. [...] Одним из таких подлинно хороших людей был Алексей Степанович Стасенков, инспектор старорусского реального училища. Его перевели на эту должность, кажется, в 1912 году, в том самом, когда я поступил в подготовительный класс.

[...] Какой же удачей явилось для нашего училища его назначение! Тот же Кассо (министр народного просвещения – М.Г.) только что убрал из Руссы нашего директора, приветливого и гуманного Алексея Сергеевича Еленева, не понравившегося министру, объезжавшему учебные заведения Петербургского учебного округа, независимостью суждений и переведенного в какой-то городок более захолустный, чем курортная Русса. На место его был назначен бесцветный, суховатый, необши- тельный Виктор Николаевич Абисов, впрочем, вполне толково преподававший математику в старших классах. Его мальчишки сразу невзлюбили, главным образом из симпатии к уехавшему Еленеву. К тому же Абисов был ярко рыжий волосом, говорил высоким пронзительным голосом, никогда не улыбался, смотрел поверх головы ученика, ответ которого слушал, не запоминал фамилий реалистов и вскоре получил прозвище “Гяпотянуса Абе”, копировавшее его своеобразное произноше- ние и созвучное его фамилии, но зато одновременно с его назначением был куда- то переведен прежний инспектор Иван Анисимович Кудрявцев, иуда и иезуит, подолгу садистски отчитывавший малышей и подростков за ничтожную провин- ность, требуя чтобы все время перед ним стояли навтыжку, постоянно оставля- вший на час и два в классе после занятий и ревностно следивший за поведением учеников во время долгих воскресных обеден в плохо отопленном соборе, где стояли строем на ледяном полу из чугунных плит. Он-то как раз очень понравился министру и был назначен куда-то директором с повышением в чине. А на его место прислан Алексей Степанович, очень скоро ставший без преувеличения душой училища.

Реалисты. Старая Русса, 1917.
В белой рубашке – В.М.Глинка



Очарование нового инспектора заключалось в том, что он был педагогом по призванию – прост, добродушен и внимателен в обращении с учениками и очень любил свой предмет. Полуседой, поджарый, лет пятидесяти с лишком, с прямым и чуть насмешливым взглядом за стеклами очков в тонкой золотой оправе, с лицом в морщинах и веснушках, всегда в свежем крахмальном белье и синем вишмундирном сюртуке, с петлицами, украшенными шитыми звездочками статского советника и университетским знаком, Алексей Степанович ходил по училищу быстро, внимательно поглядывая по сторонам. Он никогда не повышал голоса, всегда терпеливо выслушивал оправдания тех, чьи шалости и столкновения ему приходилось разбирать, очевидно стараясь вникнуть в их переживания, так же как и в объяснения лентяев, не готовивших уроков. Он преподавал в старших классах, начиная с 4-го, русский язык, то есть приучал любить русскую литературу, с которой знакомил, и все его ученики чувствовали, что сам инспектор искренне любит

и хорошо знает ее лучшие произведения от былин и «Слова о полку Игореве», которыми начинал курс, до Островского, Гончарова, Тургенева, и раннего Толстого, которым курс кончался. Особенности его преподавания заключались в том, что примерно половину времени посвящал лишенному театральности, но явственному по дикции и расстановке знаков препинания, чтению чаще всего начальных глав тех произведений, к которым хотел привлечь внимание слушателей, а вторую часть урока уделял биографиям писателей, связывая их творчество с тем временем, когда они жили. Это была не только русская литература, но и ее история.

Алексей Степанович очень редко ставил плохие отметки, а в большинстве случаев говорил дружелюбно и серьезно: «Я тебя очень прошу – приготовь все-таки этот урок. Его надо знать и помнить грамотному человеку, иначе, поверь мне, я так не старался бы вложить его в ваши несмышленные головы». – Всем ученикам он говорил «ты», и никто не чувствовал обиды, так же как и от того, что иногда за глупый вопрос или мальчишескую выходку в зале или в коридоре во время перемены инспектор слегка шлепал провинившегося классным журналом, а то и просто ладонью по затылку или по заду. Но если старшеклассники спрашивали его о творениях Чехова, Андреева, Чирикова, Сологуба, Бунина, Горького и всех тех, кто не входил тогда в курс средней школы, Алексей Степанович с минуту всматривался в лицо вопрошавшего и, безошибочно угадав стремление «поймать» учителя на недозволенной теме, давал вопрошавшему «туза» журналом, на чем объяснение и кончалось. Если же замечал серьезный интерес, то говорил:

– Здесь я не имею права об этом толковать, раз должен придерживаться программы. Но если хочешь побеседовать частным образом, то приходи пить чай днем в воскресенье. Кстати, еще и посмотришь некоторые хорошие издания, которых нет в училищной библиотеке.

Алексей Степанович был холостяк и bibliophil. Он снимал большую квартиру – верхний этаж одного из домов на Красном берегу, построенных во времена военных поселений для какого-нибудь важного чиновника. Комнату, составлявшую всю переднюю часть квартиры и бывшую когда-то, очевидно, залой с пятью окнами по фасаду, с росписью в виде цветочных гирлянд на потолке и с паркетным полом, занимал кабинет инспектора. У одного из окон стоял письменный стол, сбоку от него – этажерка с учебными тетрадями, у одной из стен диван-оттоманка, остальные стены и простенки между окнами занимали застекленные шкафы с книгами, а посередине комнаты – обставленный стульями – большой круглый стол красного дерева, на котором стопками лежали художественные издания Голике и Вильборга с иллюстрациями Бенуа, Кардовского, Лансере, монографии, посвященные Левитану, Врубелью, Серову, Нестерову, альбомы и папки с репродукциями картин Третьяковской галереи, Русского музея, Лувра, Мюнхенской пинаотеки. А из шкафов доставались многотомные иллюстрированные издания Брокгауза и Эфрона, сочинения Шекспира, Шиллера, Пушкина и другие ценные книги, которых большинство маль-



1919 год

чиков и юношей до этого не видывали. Все это предоставлялось вниманию воскресных гостей, сопровождаемое объяснениями хозяина, если таковые спрашивали. Алексей Степанович то работал за своим столом, прочитывая ученические сочинения или свежие «толстые» журналы, то подходил к гостям и, подсаживаясь к ним, рассказывал о русских и зарубежных музеях, которые посетил, об огромных библиотеках, об инкунабулах и эльзевирах, об Остромировом евангелии и рукописных летописях, о хранении рукописей писателей, ученых и государственных деятелей в архивах.

Гостей приглашали к 12 часам, прямо после обеда, а около часу дня единственная прислуга Алексея Степановича, имя и отчество которой я, к сожалению, не помню, степенная и крепкая седая женщина постарше его возрастом, докладывала, что чай подан. Все шло в соседнюю с кабинетом столовую и пили дорогой душистый чай с сухарями и вишневым вареньем. В провинциальном городе с 18 тысячами жителей все становится быстро общеизвестным и в Руссе знали, что в субботу вечером кухарка Алексея Степановича покупает в булочной Финкельштейна 3 фунта ванильных и 3 фунта сдобных, облитых цветным сахаром сухарей – в переводе на нынешний счет 2 кг 400 г – целую гору этого легкого товара, которую обыкновенно и уничтожали без остатка воскресные гости. Для многих из них как угощение инспектора художественными изданиями, так и чаем с вкуснейшими сухарями за столом с белоснежной крахмальной скатертью, было одинаковым праздником.

Реалисты. Старая Русса, 1917



Как рассказывали, в первое такое воскресное сборище кое-кто пришел с не вполне чистыми руками, и Алексей Степанович, тотчас заметив это, сказал дружелюбно, но твердо:

– Знаете ли, Петя или Вася (или Коля, Митя, Саша) книги любят бережливое отношение и уважение к себе, раз из них узнают чувства и мысли лучших людей, которые жили до нас. Идите-ка, братцы мои, в мою спальню, да пожалуйста, вымойте передние лапы со щеткой.

После двух случаев таких внушений, всяк идя в гости к инспектору, особенно чисто мыл руки, а зараз еще шею и уши, потому что Алексей Степанович имел обыкновение, подойдя сзади и заглянув, что рассматривают его гости, опереться на их плечи и услышав какую-нибудь несообразицу, слегка потреть за ухо или угостить легоньким подзатыльником, перед тем как дать пояснение. [...]

Как-то, сходя за своим письменным столом и отвлекшись от тетрадок, он усмотрел, что некий лоботряс лет четырнадцати, сложив уголок носового платка в виде «свиного уха», показывает его исподтишка соседу, по национальности татарину, то есть глупейшим образом дразнит его, напоминая о запрещении магометанам употреблять в пищу свинину.

Подойдя к провинившемуся, инспектор взял его за ухо, заставил подняться в рост и сказал:

– Советую тебе, Вася, запомнить, что здесь, да, надеюсь, и везде среди разумных людей, в число которых ты как будто вступаешь, этак шутить не стоит. Еще апостол Павел в послании к галатам заповедал: «нет ни элина, ни иудея», то есть, всякий человек достоин уважения по своим нравственным качествам вне зависимости от того, какую религию он получил от предков. А я еще добавлю, что в двадцатом веке среди образованных людей равны и все сословия, которые у нас официально сохранились. Вон Петя, сын заводчика, а дружит водой не разольешь с Ильей – сыном столяра. Здесь у меня нет детей ремесленников, дворян, крестьян или попovichей, а все мои ученики и равные друзья... Садись, садись, я на сей раз окончил свою проповедь, а ты в будущем пользуйся платком по прямому назначению...

О характере преподавания и о воскресных гостях Алексея Степановича я, будучи в младших классах, слышал немало рассказов старших братьев родителям. Художественных изданий у нас дома приобреталось много, но брат Миша любил по воскресеньям, после обеда, ходить к инспектору, ценя его комментарии к картинам и к иллюстрациям литературных произведений.

Однако мы, младшеклассники, знали все это главным образом понаслышке. Особенно же далек от нас во всех смыслах Алексей Степанович был вот еще почему. Трехэтажное краснокирпичное здание на Успенской улице, с высокими классами, физическим и химическим кабинетами, рисовальным, гимнастическим, актовым залами и водяным отоплением не было еще достроено, и реальное училище, основанное только в 1906 году, временно размещалось в трех арендованных очень старых домах. Младшие классы – приготовительный, 1-й и 2-й – дальше всех от центра города, в конце Красного берега, не доходя Дерглевских казарм в двухэтажном доме купцов Самсоновых. Третий, четвертый классы, актовый зал, кабинет директора и канцелярия – в доме купца Степанова, тоже на Красном берегу, но много ближе к Александровскому мосту. За обоими этими зданиями раскидывались большие запущенные сады, в которые нас выпускали в сносную погоду на больших переменах. Наконец, три старших класса, физический, химический кабинеты и рисовальный класс – ведь реалистов готовили к поступлению в технические ВУЗы, – помещались по другую сторону моста через Полисть – чудом и доньяне уцелевшем доме, в котором городской голова Попов принимал в 1780 году Екатерину II, здесь же ночевавшую, а позже находился штаб военно-поселенческой гренадерской дивизии, разгромленный и залитый кровью убитых

офицеров во время восстания 1831 года. Алексей Степанович имел основную резиденцию в последнем здании, директор Абисов – в среднем, а в нашем, самом дальнем от центра города – правили классные наставники, неукоснительно расхаживавшие среди нас все перемены. Однако, хоть раз в неделю инспектор приходил к нам в большую перемену, обходил здание, смотрел на термометры в классах, чисто ли вымыты полы, проверял не дует ли от окон, выстираны ли тряпки у досок, а в теплое время выходил еще в сад, в котором мы носились, как угорелые, и подобно обезьянам вешались на лестницы и трапедии примитивного гимнастического городка или на сучьях немногих деревьев, уцелевших от наших упражнений.

Вот здесь-то однажды, уже перейдя во второй класс, я впервые близко наблюдал характер нашего инспектора. Стоял сухой и теплый сентябрьский день. Я на этот раз не орал, не бегал, а глубокомысленно беседовал о романах Луи Жаколио со своим приятелем Костей Ивановым, не обращая и малейшего внимания на то, что поблизости на земле отчаянно боролись наши одноклассники Колька Славинский и Зосима Герасимов, – ведь все мы боролись и дрались на переменах постоянно. На этот раз жилистый и верткий Славинский осилил более высокого, но чересчур раскормленного «сырого» противника и сидя верхом на его животе и прижав оба плеча к земле, требовал отречься от каких-то слов, угрожая в противном случае «раздавить, как муху». В это время над ними остановился, ранее не замеченный нами Алексей Степанович, который немедля ухватил Славинского за форменный ременной кушак и потянул было бок с поверженного противника. Не таков был Колька Славинский, чтобы отпустить обидчика, хотя бы у него нашлись защитники. Яростно лягнув в воздух ногой и на счастье угодив только в полу вишмундирного сюртука инспектора, он бросил, не оборачиваясь:

– Уйди! А то и тебе надаю по первое число!

Алексей Степанович выпрямился и сказал, отряхивая грязь со своего сюртука:

– По-моему, этот господин никто иной, как Славинский Николай. Видимо, Иван Иванович справедливо считает его первым драчуном во 2-м классе. – Иван Иванович Русин был наш классный наставник.

При звуке этого спокойного голоса Колька выпустил плечи Зосимы и вскочил на ноги. Он покраснел до бурого свекольного цвета, смотрел в землю и смущенно стряхивал с брюк землю и палые листья.

– Нельзя, братец, приходиться в такое исступление, – сказал инспектор. – Какое же оскорбление нанесено твоей чести, что готов был изувечить товарища.

Колька все молчал, глядя себе под ноги. Около инспектора растерянно топтался дежурный классный наставник, до этого бывший в другом конце сада.

– Ничего, Никандр Иванович, я уже развел дуэлянтов, – кивнул ему Алексей Степанович. – Ну, давай-ка, пройдемся, поговорим, – предложил он Славинскому. И, положив руку на его плечо, пошел вглубь сада, по дорожке поспешно освобождающей для них реалистами. У дальней границы сада они сели на скамейку, врытую у забора и проговорили добрых 15 минут, до конца перемены. Именно проговорили – наблюдая за ними издали мы видели, что Колька с жаром рассказывал что-то Алексею Степановичу, а тот внимательно его слушал, повернувшись вполборота, как к взрослому собеседнику, задавал вопросы, кивал так и этак седой головой.

Когда шли в этот день домой по вековому липовому бульвару Красного берега, нагруженные тяжеленными ранцами с учебниками, тетрадами и пеналами, Славинский исподволь дернул меня за рукав, чтобы отстал от товарищей. И вправду, первый в классе задира и сквернослов, Колька обладал одновременно и какой-то притягательной силой искренности, прямоты, смелости, а порой и заботливой нежности к слабым существам, – к растерянным бледным приготовишкам, одиноким котяткам, голубям и сорокам с подбитыми крыльями. Случалось ему драться и со мной, но бывало, что и говорили по душам. На этот раз Кольке, очевидно, хотелось рассказать о беседе с Алексеем Степановичем.

Реальное училище. Матросский танец. Старая Русса, 1917. Первый слева — В.М.Глинка



– Вот уж истинно порядочный человек, – начал он. – Все выслушивает и понимает, как следует. Настоящий джельтмен. – От торопливого жадного чтения Колька некоторые иностранные слова выговаривал не совсем правильно.

– Не бранил тебя? – спросил я.

– Брани не было и слова. Верх корректности. Сначала спросил за что дрались?

– А за что?

– Когда из класса выходили, Зоска мой задачник своим толстым задом задел и на пол сронил. Я велел ему поднять, он соврал, что не задевал. Ну, слово за слово. Я сказал, чтобы не задавался от того, что отец его в нашем училище преподает, а тут... – Славинский замаялся, опять покраснел почти как давеча после драки, но преодолел заминку, глянул мне в глаза, – и в жару рассказа остановился, и мы стояли теперь одни посреди дорожки бульвара и он продолжал: – Тут он и сказал, что моего отца с флота за пьянство выгнали. А он в действительности сам в запас ушел после Цусимского боя, в котором ранен, навеки разочаровавшись во флотской службе. Тут я и пообещал, что его изувечу, если не извинится за свое вранье. Ну и стали драться, как на двор вышли... Может, и задушил бы как змею, да на его счастье инспектор меня отташил. – Последняя фраза была сказана явно для форса.

– Ну, а инспектор, что тебе сказал на такое пояснение.

– Сказал: гнев твой праведный, честь отца надо защищать с полным жаром, больше своей, но ведь ты первый его отцом попрекнул. – Я говорю: Алексей Степанович, но я же отца его не порочил. – Верно, – он говорит, – но все-таки надо научиться собой властвовать, ты же не чеченец какой необузданный или гидальга испанский, чтобы сразу на обидчика кинуться... Ведь ты бы, Коля, – честное слово, так и назвал, – если бы столько темперамента на занятия употребил, сколько на поединки, то легко в первые ученики своего класса вышел, – вот у тебя речь какая литературная... И к себе в воскресенье в гости позвал со старшеклассниками. Просясь, руку подал, когда звонок ударил и сказал: Постарайся, Коля, пожалуйста, налечь на учение... Слово в слово, ей богу. Истинный гуманист. – Славинский помолчал, подтряхнул за плечами несколько сползший ранец и добавил, глядя с кривой усмешкой, на другой берег реки: – Это не то, что mein lieber vater, за честь которого чуть Зоску не убил...

Я не стал спрашивать о характере его отца. Очевидно дома Кошке жилось не всегда сладко.

Случай для моего личного общения с Алексеем Степановичем пришел только поздней осенью 1916 года, через несколько дней после того, как выпал первый снег. Я весьма посредственно учился в 4-м классе и уже слушал самые для меня увлекательные из всех других уроки нашего инспектора. Поэтому был очень обрадован, когда представилась возможность побывать у него дома, в кабинете, о котором столько слышал от его любимца – старшего брата Миши. В субботу от него, тогда уже студента Московского университета пришла заказная бандероль – красивая книжка в картонном футляре. Это была биография филантропа доктора Гааза, написанная Ф.П.Кони и богато иллюстрированная сладковатыми акварелями Самокиш-Судковской. Брат просил отнести ее Алексею Степановичу в подарок к близкому дню рождения. В годы войны, шедшей уже третью осень, обязательные выстаивания обеден в соборе не так строго соблюдались и после утреннего чая я почистил одежду, натер мелом пряжку ремня, отмыл до красноты руки и даже одел под куртку крахмальный воротничок и манжеты отправился на Красный берег. Все приготовления делались на случай, если инспектор предложит снять пальто и поговорить о чем-нибудь серьезном.

Я, конечно, знал дом, где жил Алексей Степанович и сотни раз, проходя мимо него из училища видел на парадной двери медную дощечку с гравированными его именем, отчеством и фамилией. Звонка рядом не было и толкнув дверь я оказался в холодных сенях с поднимающейся на второй этаж довольно широкой лестнице, в это время хорошо освещенной окном на верхней площадке, за которым на дворе лежал свежий снег.

На ступеньках в средней части этой лестницы сидели две женщины, которых я смог сравнительно хорошо рассмотреть. Обе в цветастых платках, крытых плюшем шубках и валенках. Одна была пожилая, с бледным лицом, наглухо укутавшая опущенную голову и сунувшая кисти рук в рукава, как в муфту. Другая, молодая, краснощекая, с поднятой головой, явно прислушивалась к чему-то, и даже когда я вошел, она сдвинула платок, чтобы освободить одно ухо. Они сидели, заняв половину ширины лестницы, одна над другой, так что спина старшей касалась колен младшей.

Я прошел мимо них и поднял было руку к розетке электрического звонка сбоку от двери, когда услышал совсем близко, очевидно, рядом с нею в прихожей знакомый мне голос Алексей Степановича.

– Так ты пойми, чудак-человек, что дело не столько в том, что мне за такое свидетельство снова выговор пришлют, какой ты только что читал, или и того строже, но тебя-то все равно из школы этой прямо на фронт откомандируют. Тот паренек, про которого я бумагу в сентябре писал, через неделю после прибытия в Петергоф уже на фронт ехал и мне покаянное письмо прислал.

– Да я понимаю, ваше высокоблагородие, – заговорил молодой глуховатый голос. – Так ведь родительница моя с женой покою не дают: – сходи, да сходи на дом, попроси, да попроси... Уж вы простите, ваше высокоблагородие.

– Ну, чего там... – отозвался инспектор. – Рад бы душой, да не могу, толку все равно не выйдет... Будь здоров, Вася, авось и уцелеешь еще.

– Где же! И то удивляться впору, что до сегодня жив остался. Ведь с августа 14 года воюю... Два раза ранен, третьим, как пить дать, положат...

Чья-то рука тронула крюк на той стороне двери и я поторопился позвонить. Дверь открылась и навстречу мне вышел молодой ефрейтор с георгиевским крестом на шинели. Не взглянув на меня, он надел папаху и пошел вниз по лестнице. В спину ему смотрел Алексей Степанович, с явно расстроенным лицом. Глаза его за стеклами очков нервно мигали, шея ворочалась в воротничке, будто стал тесен.

– А, Владя,ходи! С чем пожаловал?

Я вошел и передал книжку, присланную братом.

– Ну спасибо. Да снимай пальто, погрейся и меня малость развлеки, – пригласил Алексей Степанович.

Когда через несколько минут я вошел в кабинет, инспектор, стоя у окна, смотрел на бульвар.

– Вот они сидят, – обе бабы плачут и вояка нос повесил. А что я могу сделать?

Я подошел к нему. На бульварной скамейке спиной к ним сидел ефрейтор и по сторонам его обе женщины, которых давеча видел на ступеньках лестницы. Обе держались за его локти и, очевидно, судя по движениям свободных рук утирали глаза концами головных платков.

– Ты понимаешь в чем дело? – спросил инспектор.

– Нет, Алексей Степанович.

– Виктору Николаевичу угодно было назначить меня председателем комиссии для испытания лиц, желающих получить свидетельство о знаниях в объеме 4-х классов средней школы, что дает в военное время права вольноопределяющегося 2-го разряда, а следовательно возможность быть командированным в школу прапорщиков пехоты, которых, говорят, наоткрывали по России-матушке больше сотни, так много их требуется на замену убитых... Так вот тот, которого ты сейчас встретил держал вчера такой экзамен, провалился бесспорно и нынче пришел меня просить все-таки выдать ему требуемое свидетельство, как уже проведенному в окопах более полутора лет и дважды раненому.

– Так ему хочется стать офицером, – догадался я.

– Ну да, но главное в том, чтобы на полгода оттянуть новую отправку на фронт из команды выздоравливающих, в которой сейчас состоит, 4 месяца в школе прапорщиков, да два еще в запасном полку можно задержаться. А так на той неделе – в маршевую роту и на фронт. Понимаешь?

– Понимаю теперь.

– А дать ему такое свидетельство я не могу, потому что на испытаниях он показал полную безграмотность, именно что «корову через ять» пишет, и как только прибудет в эту самую школу прапоров, там дадут собственноручно заполнить нечто вроде послужного списка. Тоже научились на горьком опыте! Место, где родился, дату рождения, сословие, образование, предыдущая служба и т.д. Конечно, сразу увидят, что малограмотный и сразу же на фронт. А нам, то есть собственно мне, как подписавшему аттестацию, строгий запрос: «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!...». Три месяца назад я уже сжался над таким же героем, я без насмешки говорю – у того два креста было и плечо продырявлено. И получил выговор от попечителя учебного округа: как, мол, опытный педагог и статский советник мог такое подписать? И так далее и тому подобное, как, то есть, мог быть столь невнимателен к обязанностям экзаменатора?... Хорошо, что хоть во взятке меня пока попечитель не заподозрил, раз по Петербургу хорошо знал... Ах, смотри, как попельлись, сердечные, и никак ревут уже все трое. Право, хоть сам с ними заплачь!

– Да вы не смотрите на них, Алексей Степанович, раз ничего сделать нельзя, – посоветовал я.

– И то верно. Идем хоть на оттоманку сядем. Вот как и на мне, старом учителе, война проклятая больно отзывается... Ну, что от Миши принес? Да, хорошая книга и красиво издана. Она у меня без иллюстраций есть, вроде брошюрки. Вот доктор Гааз учил: «Спешите делать добро». А какое добро в это время я сделать могу?... Сколько уже моих учеников убито? Леня Птицын, Вася Вольский, Ваграмов, Буевич... А Сергей Ванюков, Митя Лунев и Володя Мельников в госпиталях раненые маются... Только, кто в артиллерию попал, те целее, но там математику надо крепко знать... А ты, братец, совсем плохо учиться стал. Только по-русски и по рисованию

пятерки, а то все троечки едва-едва... Ну, да бог с тобой. Время такое, что все вверх ногами идет... Ах, этот ефрейтор! Егорьевский кавалер, а на глазах слезы. Очень гадкое ощущение, если такого человека ни с чем отпустить должен. Верно?

– Верно, – подтвердил я, с искренним сочувствием.

Когда я вышел от инспектора, те трое медленно уходили по бульвару к мосту. Женщины шли по бокам ефрейтора, опустив головы. Он тоже брел нога за ногу, вовсе не солдатским шагом, и я был рад, что не пришлось их обгонять: они не пошли на мост, а свернули к вокзалу.

Я думаю, что для большинства учеников средней школы объем знаний хорошего преподавателя любой дисциплины кажется огромным. И убежден, что очень многие педагоги, по крайней мере в мои школьные годы, ограничивали свой кругозор знаниями, вынесенными из университета. Во-первых, этого багажа вполне хватало для исполнения их обязанностей, а, во-вторых, появлялось немало повседневных дел, настоятельно занимавших досуг. У кого что: участие в семейных заботах, в воспитании детей, уроки, даваемые для приработка, а для отдыха – музицирование, шахматы, карты, новинки художественной литературы, прогулки, просто послеобеденный сон. Только оставшиеся холостяками, не подружившиеся с бутылкой и до старости любившие свой предмет (что далеко не всегда бывает) продолжали следить за новым по их области знаний, появлявшимся в печати.

Что Алексей Степанович относился к числу этих немногих, я понял только став вполне взрослым. Вскоре после рассказанного выше, накануне отпуска на рождественские каникулы, когда по неписаной традиции тогдашних школ, позволялись некоторые вольности, один из моих одноклассников, уже подпавших под обаяние манеры преподавания Алексея Степановича, спросил, известный ли писатель был Александр Марлинский? Мой товарищ накануне прочел в каком-то старом издании роман «Мулла Нур» и был им взволнован. Хотя на изучение литературы начала XIX в. по курсу оставалось еще полтора года, но Алексей Степанович охотно, подробно и увлекательно рассказал нам о литературной и житейской дорогах Бестужева-Марлинского: об его участии в движении декабристов, о ссылке в Сибирь, службе на Кавказе, огромном успехе его романов и трагической гибели, не упустив и волнующий эпизод смерти случайно застрелившейся Ольги Нестерцовой. А потом добавил, что конечно значение Марлинского по сравнению с классиками нашей литературы невелико, но были у него и непреходящие заслуги – хотя бы то, что первым правдиво ввел в свои произведения русского солдата, что писал искренно и гуманно, хотя порой и чересчур вычурно. Словом, Алексей Степанович вкратце изложил нам работу академика И.А.Котляревского «Поэты-декабристы». А она вышла в 1908 году, следовательно, мог читать ее только будучи уже в чинах и состоя инспектором столичной гимназии. Повторяю, что я понял это лет через 15, сам прочтя прекрасную книгу Котляревского – плод долголетнего труда талантливого ученого. И тогда вновь благодарно вспомнил Алексея Степановича, который охотно расширял наш отроцкий кругозор, да так живо и отобразил именно такие подробности, что в тот день, идя из училища мы только и говорили о судьбе Марлинского и надолго запомнили объективную оценку его творчества.

Мне остается записать еще две особенно запомнившихся сцены из воспоминаний об Алексее Степановиче. Прошло полтора года после октября. Россия переживала небывалые потрясения, перевернувшие все стороны русской жизни. Ранней весной 1919 года во время наступления войск Юденича на Петроград, в бою под Пулковом были убиты два наших недавних реалиста, ставших курсантами Петроградских инженерных командных курсов. Один из них – Сережа Горский доводился единственным сыном нашему приходскому священнику отцу Дмитрию – пастырю доброму, разумному, трезвому и кроткому. Отец Дмитрий был

Автомобильный отряд. 1919. В.М.Глинка – нижний ряд, справа



достойным преемником друга Достоевского, священника Иоанна Румянцева, после кончины которого принял приход церкви св. Георгия, также как деятельное попечительство о школе памяти Достоевского, построенной поблизости от церкви вдовой великого писателя Анной Григорьевной.

Теперь это покажется странным, но обитый красным кумачом гроб, привезенный четырьмя курсантами в Руссу, был здесь передан отцу Дмитрию и он с причитом отпевал останки сына в той самой церкви, где когда-то крестил его отец Иоанн Румянцев и много раз принимал исповедь уже он сам. Во время панихиды на отца Дмитрия было больно, а порой и страшно смотреть. Он твердо вел службу, но глаза его сейчас сухие, хотя покрасневшие от слез, почти не отрывались от крышки наглухо заколоченного гроба. Только окончив обряд, он вдруг рванулся вперед и припал, рыдая, к явственно уже пахнувшему тленом красному ящику, к которому подступили было мы, товарищи покойного, чтобы пропустить под него полотенец и выносить из церкви. Плачущие сестры погибшего с также плачущим дюжим дьяконом едва отвели отца Дмитрия в сторону и дали нам поднять гроб. В церкви плакали тогда очень многие, плакал и Алексей Степанович, не отгличавшийся особой богобоязностью, но пришедший проводить одного из своих недавних учеников.

Когда расходились с кладбища, я случайно оказался около медленно бредшего, опустив голову, сильно исхудавшего за эти годы и сгорбившегося нашего бывшего инспектора. Я пошел рядом и почувствовал, как его ладонь доверчиво просунулась под мой поспешно согнутый локоть. Пройдя несколько шагов, он заговорил:

– Мне по одинокой старости, а тебе Владислав, по глупой молодости, трудно даже представить себе каково в эти дни несчастному отцу Дмитрию. Лучше бы, право, и не привозили сюда останков Сережи. Что может быть мучительнее провозжать в небьете надежды и гордость семьи, юную красоту и душевное богатство сына? Есть отцы суходушные, занятые мирскими делами, эгоисты. Мы-то, учителя, хорошо знаем таких, которые рады целиком перевалить на школу свои обязанности воспитания, а сами только одевают, кормят, да учат внешним приличиям, как их понимают сами. А отец-то Дмитрий, я знаю, жил радуясь духовному развитию сына, был его другом... И вот нет у него больше этого самого нужного

утешения в нонешней, совсем нелегкой жизни... А я сегодня ведь пришел во второй раз на такой обряд. Утром тут же хоронили, влево от церкви Костю Гаврилова, убитого в один день с Сережей. И тоже способного, красивого юношу и единственного сына. И там отец убивается сильно, хотя вовсе другой статьи человек...

И опять запишу, что сейчас покажется очень странным. В тот день мой родной город проводил на Симоновском кладбище в красных гробах тела двух убитых при защите красного Питера курсантов – сына священника Сергея Горского и сына владельца гостиницы сомнительной репутации «Париж», Константина Гаврилова. Очевидно тогда на командные курсы – оплот Советского государства принимали детей священников и купцов и эти юноши доблестно умирали в боях за новое государство.

Добавлю, что отец Дмитрий Горский скончался осенью того же года от сыпного тифа, заразившись при напущении своих прихожан во множестве умиравших от этой болезни.

Миновали годы Гражданской войны и голода. Наше реальное училище, вместе с женской гимназией, духовным и городским училищами давно преобразовали в Единые трудовые школы первой и второй ступени. А я так и не кончив последней, то есть едва получив тот объем знаний, который был так нужен злополучному ефрейтору, ушел добровольцем в Красную армию, прослужил в пехоте, автомобильных войсках и в коннице два с половиной года, пробыв год студентом Политехнического института и, наконец, с грехом пополам окончил правовое отделение университета, все это время периодически возвращаясь под кров своих добрых родителей и за все эти годы так и не выбрав себе окончательной дороги.

Кажется в конце мая 1927 года я шел с Петроградской улицы от нотариуса, неся свернутые в трубку оригинал и две заверенные копии университетского диплома. Шел и в тысячный раз думал о том, чем же буду заниматься дальше. Производственная практика, пройденная перед последним курсом на участке народного следователя, накрепко отвратила меня от юридической профессии. И на этих размышлениях, против прежнего нашего «старшего» здания, превращенного теперь в спортклуб, окликнул меня шедший навстречу Алексей Степанович. Я знал, что он еще преподает, но перешел на младшие классы, и видел его не раз, но мельком. Наш бывший инспектор, пожалуй, даже не очень изменился. Конечно постарел – ему было уже крепко за 70. Но двигался бодро и здороваясь чувствительно пожал мою руку. Только вместо синего вицмундира или белого кителя носил теперь холщевую блузу-толстовку, однако с черным аккуратным галстуком.

– Ну, как живешь? – спросил Алексей Степанович.

– Спасибо. Вот приехал родителей навестить.

– А делаешь ли что-нибудь? Все на отцовские средства франтишь?

– Да, пожалуй. Но вот недавно университет закончил и надо где-то работать начинать.

– Неужто кончил? А не врешь?

– Честное слово, Алексей Степанович. Вот и диплом с заверенными копиями домой нес.

Старик взял в обе руки документ, разглядел, перевернул страницу, посмотрел на печать, на подписи ректора и декана.

– Ну, надивил! Действительно ведь окончил! – сказал он. – Ну, поцелуй же меня, – и отдав диплом, подставил мне щеку. – Пойдем же, проводи меня немного, посидим хоть на бульваре, перекинемся словом, расскажи про себя. Признаться, когда ты все штаны менял – то зеленые, то синие, то красные пузыри носил, так я уже совсем изверился. Думал – пропал Владька-бездельник, все такой же балбес

как в 5 классе был. Даже, когда увидел в студенческой форме, то подумал, что и это ненадолго.

– А я и сейчас не знаю, Алексей Степанович, что дальше делать, – сказал я.

– Ты эту онегинщину глупую брось! – погрозил он пальцем. – Другие-же работают честно судьями, защитниками, нотариусами, наконец.

Мы перешли мост и сели на одну из скамеек бульвара. Я рассказал о своих впечатлениях от работы практикантом.

– Да, конечно, занятие не очень увлекательное в чужих грехах копать. Других-то судить и под статьи подводить вот как легко... Или – вот как трудно, если ты человек совестливый. Но и выбрать факультет во всякие времена многим бывало не просто. Однако все-таки диплом у тебя теперь есть, так сказать „сим покрыв грехи молодости“... Ну, спасибо, доставил ты мне большое удовольствие. Ведь каждый лентяй-недоучка на нас грехом еще раньше Страшного суда висит, мы за таких как ты ответственны вместе с родителями. Понимаешь, Владислав? Можно и теперь без отчества?

– Да что вы, Алексей Степанович! Как же иначе? Но вы-то как живете? – спросил я больше из вежливости, – ведь знал приблизительно, что он должен ответить.

– Как живу? – он огляделся и наклонился ко мне: – Тебе, пожалуй, скажу откровенно. Не смог я ученикам Серафимовича, Демьяна-прохвоста, Маяковского и Есенина расхваливать, после того как учил любить Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Толстого, а самого меня Чехов до слез трогал и дожидаться не мог, когда в курс его введут, чтоб вас всех к нему прихочивать. Не могу тех хвалить – и все... И уж лучше учить детей грамотно точки с запятыми и двоеточия ставить, прида-точные предложения запятыми выделять, чему, помнится, так ты и не выучился, хотя домашние сочинения славно писал, с некоторым даже полетом.

– Но Есенин еще ничего, – сказал я.

– Вот именно, что «ничего»... Пройдет 50 лет и мало что от него останется. Я не верю в поэтов и писателей без образования, и главное со страстью к водке. И дело не в дипломах учебных заведений, а в подлинной страсти к знанию. Самое у него хватающее за душу это тоска как бы фабричного паренка по деревне, из которой талант его вывел. Все страдания и чувства не выше волостного писаря, который знает одно лекарство от тоски по неясным идеалам – водку. А где же державинская «Река времен», где пушкинская «Когда за городом задумчив я брожу» или лермонтовское «Выхожу один я на дорогу»? А то тургеневские «Стихотворения» или смерть Андрея Болконского, от которых каждого живого человека мороз восторга и грусть по коже подирает?

Алексей Степанович махнул рукой и отвернувшись, смазал со щеки слезу. – Видишь, как стар я стал, слаб и должно быть глуп.

– Полноте, – сказал я. – Вот-вот вырастут в России таланты не Демьяну чета.

– Я умом понимаю, что должны они народиться, – ответил старый учитель грустно. Но видно, уж я-то не услышу их голосов. Впрочем с меня и старых радостей довольно. Перечитываю сейчас дорогого Антона Павловича и в сотый раз дивлюсь уму, таланту, скромности и доброте этого удивительного человека. Не знаю, чего больше в нем из этих четырех лучших людских качеств... А вот куришь ты напрасно, как это тебя Михаил Павлович вовремя за уши не выдрал?... – закончил он вдруг укоризненным тоном прежнего инспектора. И мне показалось, что вот-вот даст мне легкого подзатыльника.

Если я видел после этого Алексея Степановича, то лишь мельком. Этим же летом он умер, когда я колесил по Донбассу с другом-геологом, и мы часто вспоминали чеховскую «Степь», о красоте которой как-то мельком помянул на одном из уроков наш инспектор, говоря об описаниях природы русскими класси-

ками. Вплоть до 1941 года я подходил поклониться могиле Алексея Степановича, близкой от места упокоения моих родных, за ней заботливо ухаживала старушка, бывшая его кухарка, дожившая до войны. А в 1944 году, приехав в Руссу, уже не нашел могилы нашего инспектора на изрытом артиллерийскими снарядами кладбище.

Я может быть не написал бы этих страниц, если бы чтение прозы Белова, Астафьева, Распутина, Айтматова и стихов Твардовского не переполняли меня радостью и напомнили наш последний разговор со старым инспектором.

Эльва 1980 г.

ЕСАУЛ ХЛЕБНИКОВ

Вероятно, я слышал о нем в разговорах родителей и раньше, но впервые отчетливо запомнил его имя, а потом и увидел его самого летом 1909 года в Кисловодске, где отец работал один сезон на курорте и наша семья снимала дачу на очень красивой улице – Тополевой аллее. Здесь однажды за обедом на террасе, прочтя поданную няней Лизой телеграмму, папа сказал, что скоро к нам придет погостить его товариш по японской войне, офицер 2-й Забайкальской батареи Александр Матвеевич Хлебников. Со словом «офицер» у меня связывалось тогда твердое представление о веселых, легко и ловко двигавшихся мужчинах с подвитыми вверх кончиками усов, одетых в свежие кителя или мундиры с ярко блестящими пуговицами и погонами. Таковы были приятели отца, которые частенько приходили к нам в гости в Старой Руссе. Поэтому, когда недели через две перед нашей дачей с извозчичьего фазтона высадился гость, то я испытал немалое разочарование. Хотя у него были синие шаровары с красными лампасами и шапка с золоченой рукоятью в виде орлиной головки и серебряным темляком на красной орденской ленточке, но весь он выглядел каким-то помятым, заспанным и очень неловким. Долго копался в кошельке, рассчитываясь с извозчиком, как-то растерянно оглядывал наш цветник и дачу, чуть не забыл в фазтоне свое форменное пальто.

Да и не только я – все наши домашние и в первую голову мои братья – 9-ти и 10-ти лет оказались также разочарованы или, по-взрослому сказать, шокированы мятым кителем и фуражкой, перевернутой на плече портупеей и запыленными, очевидно, с самого Забайкалья нечищенными сапогами. Но важнее всего, пожалуй, была совсем неожиданная и казалась неподходящая офицеру физиономия Александра Матвеевича, – желто-серая кожа, широкие монгольские скулы, маленькие зеленоватые глазки и бурые усы, нависавшие неопрятной бахромой над толстыми губами. Как я узнал позже, герой моего рассказа родился от брака казачьего офицера с буряткой, воспитывался в Омском кадетском корпусе и окончил Константиновское артиллерийское училище в Петербурге, из которого за дальностью расстояния за три года ни разу не ездил в отпуск на родину. Но зато, как потом уехал в Забайкалье, откуда ходил на китайскую и японскую войны, так уж в европейскую Россию десять лет и не выбирался до этого самого лета 1909 года.

Однако, несмотря на такую малопривлекательную, на первый взгляд, наружность, Александр Матвеевич очень скоро завоевал симпатию буквально всех членов нашей семьи. Прежде всего вкусы у него оказались самые скромные и домашние. Два раза в неделю, часов в шесть утра он отправлялся с ведавшей хозяйством нашей семьи бабушкой Людмилой Николаевной и бывшей моей няней Лизой на кисловодский базар, известный тогда дешевизной и богатством земных произрастаний и живности, причем не стеснялся на обратном пути нести на локтевом

сгибе корзинку с львиной долей купленной снеди. Я это хорошо знаю потому, что однажды, соблазнившись разговором Лизы о мартышках, которые на базаре дают интересное представление, ходил с ними в эту экспедицию и самолично видел курганы из арбузов, множество баранов и кур, танцующих на ковре под бубен обезьянок в разноцветных юбочках и, наконец, Александра Матвеевича, бодро несшего с базара полную корзинку продовольствия. При этом он, разговаривая о чем-то с бабушкой, козырял свободной рукой в ответ встречным терским казакам и городовым. Ежедневно после утреннего кофе он к 11 часам шел в курортный парк на утренний концерт симфонической музыки, до которой оказался великим охотником. Кроме музыки, у Александра Матвеевича была большая любовь ко всяким растениям и настоящая страсть к цветам, более всего к розам, которых двух-трех разных оттенков, он ежедневно приносил из курортного садоводства, чтобы расставить на обеденном столе и в комнате бабушки. После обеда он часа по два читал вслух моим братьям, главным образом, рассказы Чехова. Я тоже иногда к ним подсаживался и впервые услышал тогда повествование про Каштанку и про гимназистов, собравшихся бежать в Америку. Частично слушали это чтение также бабушка с Лизой, занятые каким-нибудь шитьем или чисткой ягод. В Кисловодске у отца, приглашенного на должность «врача для бедных», не было домашнего приема, но с утра он осматривал больных в амбулатории курорта, а вечерами посещал тех, кто не смог прийти сам. Во время этих визитов Александр Матвеевич часто сопровождал отца, ожидая его около квартир пациентов.

Жил наш гость в полутемной комнатке с зарешеченным, как в тюрьме окошком, выходившим на задний двор, шум которого, как уверял, совершенно его не беспокоил. До приезда Александра Матвеевича в этой комнатке жила, вернее, ночевала, Лиза, которая была рада-радешенька перебраться хоть на время в комнату бабушки. Дело в том, что хозяин нашей и нескольких соседних дач, отставной офицер Терского войска Попов держал лошадей для катания верхом, и эта комнатка, единственная из всей квартиры, смотрела окошком на обстроенный конюшнями задний мошный двор с колодцем, водопойными колодами и коновязями, у которых чистили и седлали лошадей. Поэтому за окном Александра Матвеевича с раннего утра начиналась шумная жизнь: шорхала по булыжникам метла дворника, гремел его железный совок, скрипел ворот колодца, лилась вода в колоды, стучали копыта выведенных из конюшен лошадей, перекликались, бранились и гоголяли конюхи и проводники, а потом начинали приходить господа, выбирали лошадей и седла, обсуждали с проводниками маршруты поездов в горы.

И вот как-то утром, часов в девять, на Конный двор пожаловала, чтобы нанять верховых лошадей для катания некая весьма юная пара, гимназистка лет шестнадцати и кадет Петербургского Николаевского корпуса того же примерно возраста. Воспитанники этого заведения, единственного из всех тридцати кадетских корпусов России, носили синие брюки и полосатые черные с красным драгунские пояса,



Владик Глинка. 1909



а в старших двух классах вместо штыков, положенных в других корпусах – шашку. Понятно, что поэтому николаевские кадеты едва ли не с первого класса мнили себя лихими кавалеристами. Возможно, именно для того, чтобы оказаться достойной такого кавалера, гимназистка решила выказать себя отважной наездницей и, воспользовавшись разговором своего спутника с проводниками, никого не спросив, отвязала стоявшего у столба коня, благо он оказался уже оседлан дамским седлом, и мигом на него вскочила. Должно быть, она что-то не то сделала с поводьями, потому что горячий конь сначала шарахнулся туда-сюда по двору, а потом рванулся к проезду между домами и галопом вылетел на широкую, полную движения – экипажей, верховых и пешеходов – Тополевую аллею.

Александр Матвеевич в это время брился около своего окошка, видел всю сцену, слышал крики кадета и проводников. Все дальнейшее я видел сам. Вышедшие к утреннему чаю, мы с бабушкой уже сидели за накрытым столом на террасе, а Лиза только что принесла туда самовар, когда мимо нас буквально мелькнул полуодетый Александр Матвеевич. Он был в шароварах и сапогах, но без кителя и со щеками, покрытыми мыльной пеной. Пересекши террасу, он с легкостью привычного гимнаста, едва коснувшись одной рукой, перелетел через перила и расположенный за ним цветник, мелькнул в калитке и был уже на проезжей мошеной части улицы. Это поистине молниеносное движение и крики нескольких голов заставили нас троих броситься к перилам террасы, откуда за невысокой решетчатой оградой нам открывалась часть Тополевой аллеи. Там мы увидели бешенно

танцующего на месте коня, сидевшую на нем, вцепившись в гриву, согнутую в три погибели фигурку девушки и Александра Матвеевича, как-то странно подкорчив ноги висевшего на уздечке под конской мордой. Через минуту один из подбежавших проводников снял с коня девушку, другой принял коня, и Александр Матвеевич трусцой возвратился домой, на бегу стирая с лица мыло. На скуле у него оказалась кровь, и вышедший на шум отец увел друга к себе.

Через четверть часа Александр Матвеевич пил с нами кофе, уже умытый и в кителе. Под глазом у него красовалась полоска пластыря. Он пресерьезно уверял меня, что разбил зубы коню своей скулой и что после кофе пойдет узнать, может ли теперь конь сам есть овес. Этот рассказ прервало появление на террасе хозяина дома Попова. Сидящий красавец в шегольской белой черкеске и серебряными наконечниками газырей и отделкой кинжала, он широким взмахом снял белую же папаху и, ловко подойдя к бабушкиной ручке, рассыпался в похвалах быстроте и смелости подвига господина есаула. Александр Матвеевич махнул на него рукой.

– Да полноте!.. А где барышня?

– Отвез домой, – сказал Попов. – Убилась бы, честное слово, если бы не вы. Шайтан из всех дам одну княгиню Багратион признает. Так та у Филиса училась.

Позже благодарить Александра Матвеевича приезжала мать неудачной амазонки – очень нарядная и очень сильно надушенная дама в огромной шляпе. А за нею приплелся и кадет-николаевец, которого есаул без слов увел в свою комнатку.

– Вот что значит природный казак, – восхищалась бабушка. – Будто и неповоротлив и мешковат, а тут откуда что взялось! Чистая птица...

В следующей неделе отец с братьями и Александром Матвеевичем два раза ездили верхом в горы. Меня за малолетством не брали, но позже брат Сергей, ставший кадровым кавалеристом, а затем профессиональным коневодом, говорил мне, что именно тогда, увидев Хлебникова верхом, впервые понял, как можно чувствовать себя «на лошади, как на земле» – уверенно, свободно, обыденно.

Помню еще, что мои родители с Александром Матвеевичем смотрели спектакль «У врат царства» и за обедом на другой день продолжали обсуждать впечатления. Мне при этом не раз слышанном названии почему-то отчетливо представлялась картина Верещагина – два восточных воина с копьями по сторонам запертой золоченой резной двери. Они же почему-то много раз упоминали какую-то женщину и налитую керосином настольную лампу!

Наконец, из этого приезда Александра Матвеевича помню, как однажды за обедом подали шампанское. Оказалось, что ровно за пять лет до этого, в августе 1904 года, мой отец и сотник Хлебников своеобразно побратались – японская ружейная пуля на излете, отрикошетив от камня, слегка задела обоих по темени, ободрав обоим только кожу.

Дело происходило на биваке казачьего отряда генерала Мищенко, отец и Хлебников лежали рядом на одной бурке, разговаривали и курили. Перед этим, как оба помнили, они говорили, как хорошо бы оказаться в петербургской бане. Мечтали о горячей воде, чистых простынях и хороших папиросах. Мечты прервала шальная пуля и, перевязывая друг друга, они перешли на ты.



Строительство дома врача М.П.Глинки. Старая Русса, 1912

А потом отпуск Александра Матвеевича окончился, и он уехал, нагруженный корзиной пирогов, пирожков, кур, котлет, колбас, фруктов и банок с маринадами, а также наставлением в каком порядке все это надлежит есть, – в пути ему предстояло пробыть более десяти дней.

Позже я узнал, что приезд его в Кисловодск, помимо желания повидаться с отцом, был вызван еще надобностью посоветоваться о своей дальнейшей жизни. Батарею, в которой служил Александр Матвеевич, незадолго до этого перевели из Читы к самой китайской границе, в Троицкосавск. В словаре Брокгауза и Эфрона, можно прочесть, что первая в то время была немногим больше второго (11 и 9 тысяч жителей), но разница для жизни сколько-нибудь культурного человека оказалась огромная. Чита – главный город Забайкальской области – имела гораздо больше интеллигенции, библиотеки, клуб, свою газету, станцию железной дороги, а Троицкосавск представлял, главным образом, таможенный перевалочный пункт товаров на границе. Тут Александр Матвеевич затосковал, кроме обучения казаков и ежедневного посещения офицерского собрания, здесь положительно некуда было деться. Но что делать человеку, получившему чисто военное образование? Вот о чем не раз говорили они с отцом в Кисловодске и решили, что Александр Матвеевич выйдет в отставку, приедет в Старую Руссу, поживет у нас, осмотрится. А потом вместе с моими родителями, с их друзьями и знакомыми, авось, что-то придумается и найдется.

Теперь, пожалуй, пришло время сказать, что знаю о воинской части, в которой служил Хлебников и в которой они с отцом подружились. Будучи призван из запаса при начале военных действий и приехав на Дальний Восток в место расположения штаба Манчжурской армии, отец мой более десяти дней безуспешно ходил в главное полевое медицинское управление. Никто из чиновников, несмотря на его просьбы, не смог уделить время, чтобы поговорить о его назначении. Подумаешь – младший врач из запаса... Подождет! Потеряв терпение, отец решился пустить в ход имевшееся у него рекомендательное письмо своего тестя, довольно известного в то время публициста, редактора «Русского богатства» Сергея Николаевича Кривенко. Когда-то, в 1866 году, Кривенко окончил Павловское военное училище, где сидел на одной парте и очень дружил с юнкером Алешей Куропаткиным. И вот теперь, через 40 лет, в предвидении именно возможного столкновения со штабной бюрократией и было написано единственное за всю жизнь письмо товарищу юности. Примечательно здесь то, что письмо было от литератора, не раз арестованного, высылавшегося за революционное направление мыслей и пера, сидевшего девятнадцать месяцев в Петропавловской крепости – к недавнему военному министру, а ныне главнокомандующему, полному генералу и генерал-адъютанту.

Отдав одному из проходивших мимо штабных офицеров это письмо, отец прогуливался около поезда главнокомандующего всего с четверть часа, после чего был приглашен и предупредительно сопровожден тем же штабным офицером прямо в вагон-кабинет Куропаткина. После рукопожатия и приглашения присесть, а также предписанного вежливостью вопроса о здоровье Сергея Николаевича, генерал спросил, чем он может служить? На это отец отвечал, что просит только о назначении. Взяв в руки перо и свою визитную карточку Куропаткин высказал предложение, что речь, вероятно, идет об одном из больших тыловых госпиталей.

– Никак нет, ваше высокопревосходительство. Я только земский врач, клинической специальности не имею. Я хотел бы в строевую часть или на передовой перевязочный пункт.

– Но мне докладывали, что именно таких врачей весьма и весьма не хватает, – сказал Куропаткин. – Вы говорили это в управлении?

– Не мог сказать, так как никто не пожелал уделить мне и пяти минут хотя я был там уже несколько раз.

Главнокомандующий покачал головой и написал несколько слов на обороте своей визитной карточки. Карточка оказала молниеносное действие. Через несколько минут после вручения ее главному военно-медицинскому инспектору армии перед отцом оказался список всех воинских частей и лечебных учреждений, где имелись вакантные должности врачей. Просмотр списка сопровождался любезными пояснениями, в какие именно части никто не хочет быть назначен. Но отец выбрал именно такую часть, – 2-ю Забайкальскую казачью батарею, состоявшую в передовом конном отряде генерала Мищенко, местонахождение которой в медицинском управлении и указать не могли. Папа говорил, что хотел рассмотреть поближе казаков – это особое, воспетое литературой вольное племя. К тому же в таких частях полагался один врач, следовательно, начальством будет только командир батареи, который в медицину вмешиваться, авось, не будет.

Когда же после немалых скитаний батарея была, наконец, разыскана, то у нее оказалось и еще одно большое достоинство. В ней не служил ни один человек старше 32 лет. Командир батареи – войсковой старшина, а по табели о рангах – подполковник, только что заболел и уехал в тыл, и замешать его был назначен старший есаул, имевший вышеуказанный возраст, т.е. бывший на год моложе отца. Вероятно такая особенность состава имела немалое значение – батарея оказалась лихая и очень дружная. В офицерский кружок батареи во время войны вошли, кроме отца, «волонтер» граф Альфред Иванович Тышкевич и английский корреспондент сэр Морис (Маврикий Эдуардович) Баринг, автор книги «С русскими в Манчжурии» и многих других о различных сторонах русской жизни, начиная от монографии о Московском художественном театре. Обоих я помню, как гостей, в нашем доме в Руссе, но рассказ о них, хоть и весьма занимательный, увел бы меня в сторону от судьбы А.М.Хлебникова.

Отец полюбил своих сослуживцев и не раз говорил, что если бы квартировали они поближе, то обязательно ездил на войсковой праздник, чтобы повидать казаков, а офицеры по очереди гостили бы у нас летом в Руссе.

Я мало знаю о боевой службе батареи. Официальные справочники говорят, что она участвовала в набегах конного отряда на Инкоу и получила серебряные Георгиевские трубы за стойкую 8-дневную оборону одного из флангов Мукденской позиции. Книги же военных писателей о японской войне в большинстве своем настолько полемичны, что мне не удалось представить себе, чему свидетелем был мой отец и, тем более, существовал ли какой-то военный смысл в этих передвижениях и боях. Памятью об участии в «делах» батареи остались для моего отца четыре ордена с мечами, грамоты на которые я храню и сейчас, да серебряный кубок вместимостью ровно в бутылку шампанского, украшенный безвкусной современной вышивкой и гравированной надписью: «Дорогому боевому товарищу "Глинке из пистолета" от 2-ой Забайкальской казачьей батареи».

Много лет, вплоть до 1914 года между отцом и офицерами батареи Черепаниным, Кобылкиным, Токмаковым, Кислицким шла нечастая, но самая дружеская переписка, обмен поздравлениями и маленькими подарками, а один из забайкальцев – Александр Матвеевич, как видите, на много лет вошел в наш самый близкий домашний круг.

В начале 1910 года Хлебников появился в Старой Руссе уже отставным и поселился в единственной комнате мезонина нашей квартиры в старом доме с колоннами на Перерытище, дома, видевшего военные поселения, потом жившего поблизости Ф.М.Достоевского и буквально чудом уцелевшего в последнюю войну, почти начисто уничтожившую Руссу. Помню, как произошло переоблачение Хлебникова в статское платье. Если в военной форме Александр Матвеевич выглядел неказисто, то уж в пиджаке!.. Папа как-то упустил из своих рук выбор материи

на этот костюм, сказав только своему портному, что придет его друг, которому надо сшить приличную «тройку» и добротное драповое пальто. А сам этот друг выбрал какую-то коричневую материю с зелеными полосками.

Новой экипировкой Александра Матвеевича более всех сокрушалась бабушка, которая, пожалуй, ближе всех принимала к сердцу внешний вид.

А мы, братья, ликовали – нам он раздарил блестящие предметы своей офицерской экипировки, – кому лядунку, кому – эполеты, кому – погоны и серебряный пояс-«шарф». Мы, играя, надевали все это, а недавний владелец уже бегал в статском черном пальто и такой же шляпе через замерзшую реку Перерытицу на свою первую невоенную службу – в контору уездного лесничего Григория Филипповича Ярошевича, приятеля отца, где исполнял пока самое немудрое дело – переписывал таксационные книги.

В это время, должно быть, оттого, что я стал старше и научился замечать особенности окружающих меня людей, или, может, оттого, что Александр Матвеевич сменил широкие шаровары с напуском и высокие сапоги, на узкие по тогдашней моде штатские брюки, но я впервые заметил особенность его походки – необычайно легкой, какой-то скользкой, с легким наклоном корпуса вперед, – и то, что он ступает на носки, и каблуки его никогда не стучат.

– Вот так наверное ходят индейцы в мокапинах, – думал я, вспоминая романы Купера и «Маленьких дикарей» Сеттона-Томпсона.

Раз в неделю, кажется, по пятницам у моих родителей собирались друзья – преподаватели реального училища и женской гимназии, врачи, офицеры – всего с женами человек до 20–25, все музыканты или любители музыки. Правда, почти всегда составлялся и винт, но в отдаленной маленькой комнате над лестницей, а в гостиной играл квартет: две скрипки, виолончель и рояль. Исполнялись, помнится, больше других Моцарт и Бетховен, Шуберт, Чайковский, Рахманинов. И не всегда все музыканты играли вместе, часто слушали один рояль, на котором отлично, мастерски играл преподаватель математики Николай Александрович Иванов. Тишина соблюдалась полная, как на настоящих концертах, никто не переходил с места на место, старались громко не кашлянуть. Александр Матвеевич всегда сидел в кабинете отца в углу кушетки, подложив под бок сафьяновую подушку и поставив у ног пепельницу. Видя мое желание слушать музыку, родители иногда разрешали мне делать это до ужина взрослых, когда я должен был идти спать. Я садился тоже у отца в кабинете на стул у печки и думаю, что Хлебушко был самым внимательным и самым впечатлительным слушателем. Часто, когда в половине одиннадцатого всех приглашали ужинать, он, переждав, когда из гостиной все выйдут, проскальзывал к себе в мезонин. Когда однажды отец, заглянув к себе в кабинет чтобы послать меня скорее ложиться спать, настоятельно позвал его к столу, Александр Матвеевич ответил решительно, хотя и шутливо:

– Нет уж, прости, я Бетховена шпротами не закусуваю.

Впрочем о том, что он не всегда шел в столовую после музыкального вечера могла быть и другая причина. Александр Матвеевич совершенно не выносил общения с опьяневшими людьми. А в эти дни к ужину подавали по бутылке коньяку, английской горькой и две-три бутылки различных «дамских» вин, хотя никто, конечно, не напивался...

Казалось все устроилось, – место Александру Матвеевичу нашлось. Он исправно ходил в свою «должность», исправно писал там какие-то бумаги, снимал на кальку планы лесных дач. Ему нравилась сама основная цель деятельности лесничества – сбережение и охрана лесов. Единственным минусом при исключительной добросовестности и прилежании, являлся редкостно неразборчивый почерк Хлебушки.

В это время бабушка начала мое обучение письму – читать я уже умел года два, – и однажды, рассматривая мои «поварешки, кренделя и рыболовные крючки», как он назвал выписанные в косые строки буквы Б, В и Г, Александр Матвеевич сказал:

– Ох, брат, разборчиво писать, оказывается, вот как трудно. Первичная наука, а такая нужная...

В это время мои братья и я иногда даже в глаза называли его уже Хлебушкой и это имя постепенно все больше укоренялось у нас в семье. А виноват в этом был сам наш отец, который именовал своего друга, то Александром Матвеевичем, то Хлебой. Позже он объяснил мне, что в батарее, где все офицеры-забайкальцы были питомцами Омского корпуса и Константиновского училища, они вне службы называли друг друга на ты, но по фамилиям или прозвищам и Александр Матвеевич именовался «Хлеба».

С наступлением лета Александр Матвеевич начал со своим патроном выезжать в леса, порой с ночевкой и возвращался из этих путешествий неизменно довольный, даже счастливый, загорелый, полный рассказов о деревьях и мхах, о птицах, ежах, зайцах и прочем лесном зверье. Но эти же поездки привели к концу его работы в лесничестве. В середине лета к отцу зашел Ярошевич и сказал, что принужден незамедлительно расстаться с Александром Матвеевичем.

– Почему? – удивился отец. – Ведь он собирается осенью поступить на курсы таксаторов и жалованья большого не хочет, так лес любит, человек несомненно честный...

– Все это так, и человек он отличный, и памятливы на лесное дело удивительно, – отвечал лесничий. – Но вот что мне пишут частным образом из Новгорода. – И подал отцу письмо от своего знакомого, который сообщал, что в губернское жандармское управление поступил донос одного из лесников, о том, что письмо-водитель местного лесничего Ярошевича, некий господин Хлебников, приехавший откуда-то из Сибири, ведет с мужиками на ночевках предосудительные разговоры, утверждая, что помещики и купцы несправедливо владеют большими лесными дачами, которые правильно было бы передать крестьянским обществам для удовлетворения их потребностей в строительных материалах и дровах.

– А у меня знаете какая репутация в этом самом почтенном управлении? – сказал Ярошевич. – Я еще с Лесного института у них на примете.

Отец это знал. За участие в студенческом движении Ярошевич был исключен из Лесного института, долго «под надзором» работал земским статистиком, наконец, уже имея семью, добился разрешения закончить институт и теперь, естественно, дорожил своим местом и любимым делом.

– Так надо ему посоветовать, чтобы не болтал с мужиками, – сказал отец.

– Говорил, – махнул рукой Ярошевич. – Так ведь он что отвечает? Это же все правда, разве вы так не думаете? Я, он это мне поясняет, крестьянам говорю, что сельские общества должны расходовать лес под строгим контролем лесничих, вот вашим, например... Докажи потом голубым фуражкам, что не я его тому подучил...

Новое место Хлебушке нашлось очень скоро, в конторе другого доброго знакомого отца, жившего в соседнем с нами доме нотариуса Николая Александровича Разумовского, контора которого находилась тут же. Несмотря на его ужасный почерк, нотариус был им доволен, Хлебников был абсолютно грамотен, очень быстро усваивал смысл нужных законов, был добросовестен и памятливы.

А для белой переписи в конторе имелся писарь.

В свободное время, т.е. вечерами, Хлебушка ходил в курортный парк на симфоническую музыку, а когда пришла осень, читал братьям вслух, играл с отцом в шахматы или читал, лежа на диване в своей комнате в мезонине.

Но особенно часто и подолгу он беседовал с бабушкой, Людмилой Николаевной. Или вернее слушал ее рассказы. Бабушка, которой в это время перевалило

за 60 лет, была бодра, памятлива и словоохотлива. Через своего мужа С.Н.Кривенко она в конце 1870 и в начале 1880-х годов близко соприкоснулась с писательской средой и многое помнила о Тургеневе, Салтыкове, Гаршине, Михайловском, Глебе Успенском и других, кого не раз наблюдала и слышала. В нашем доме она, будучи искусной кулинаркой, присматривала за кухней, а остальные часы проводила за книгами и пасьянсом, то в столовой, то в своей комнате. Бабушка получала 18 рублей в месяц пенсии от Литературного фонда и расходовала их на свои нужды – табак, саше для белья, а также помогала нескольким необеспеченным старушкам, приходившим с черного хода и пившим у нее в комнате нескончаемые чай и кофе. Курила бабушка какой-то дешевый табак, называвшийся «Македонским», сама набивая его в гильзы.

Александр Матвеевич был большим охотником до бабушкиных рассказов о литературной среде и, случалось, подолгу засиживался около нее за послеобеденным самоваром. Непрочь он был также позаимствовать несколько папирос македонского табаку, если у него кончались свои, а отца не случалось дома.

Помню яркий воскресный день. В квартире тихо. Отец уехал к тяжелому больному, мама возилась с цветами в гостиной. Братья в нашей детской после прихода от обязательной для реалистов обедни в соборе и завтрака валяются на кроватях, читают «Вокруг света». Я в столовой на закуском столе перед окном расставляю оловянных солдатиков. В комнате особенно яркое освещение от чистого снега, который в эту ночь выпал на улице и на замерзшей реке. Бабушка за остывшим самоваром в полоскательнице моет чашки. Александр Матвеевич не спеша прохаживается по столовой. Он только что расспрашивал бабушку о ее знакомстве с каким-то Германом Лопатыным, – ужасно некрасивая фамилия! – думаю я. И теперь как бы обдумывает слышанное. И вдруг говорит:

– А знаете, Людмила Николаевна, какой я нынче видел сон?

– Вот уж не представляю.

– Будто я попал в рай...

Бабушка качает головой.

– Это очень сомнительно...

– Так ведь во сне же, – оправдывается он и, остановясь перед бабушкой, продолжает с умильным выражением: – И там у ангелов в кадьницах что-то дымилось такое, особенно душистое. Просто не надыхаться. А запах знакомый. Вдруг узнаю – это ваш македонский табак.

Бабушка опять качает головой:

– Как вам не стыдно богохульствовать!

Но встает, уходит в свою комнату и через несколько минут возвращается с коробкой, полной уже набитых ею собственноручно папирос. Хлебушко с видимым наслаждением закуривает.

В это время раздается звонок и вскоре в столовую входит приехавший от пациента отец. Он протягивает Александру Матвеевичу нераспечатанную коробку своих обычных «Зефир¹ 400».

– Спасибо, Миша, – говорит Хлебушка, тушит недокуренную бабушкину папиросу и говорит, как бы завершая прерванный отцовским приходом разговор: – Да, Людмила Николаевна, во сне все как-то идеальнее, лучше, даже запахи... Конечно смешно верить снам! – пожав плечами, он раскрывает коробку «Зефира» и берет в рот папиросу.

– Ну, погодите, Рейнеке-лис, – грозит бабушка. – Другой раз ни за что не получите ни вот столечко, – она показывает ноготь на мизинце, – что ни выдумаете.

Кажется, именно к этому времени относится один также запомнившийся мне уже вполне серьезным разговор взрослых, в котором Хлебушка открыто высказался насчет своей прошлой жизни.

Одной из тем, порождавших в то время бурные споры, особенно в военной среде, был купринский «Поединок».

В ту осень у моих родителей гостила мама родная тетка, Варвара Николаевна Лихарева, жена полковника пограничной стражи, служившего в Ломже. Выйдя юной красавицей (такой я ее видел на множестве фотографий) за блестящего гвардейского улана, она пустила на ветер свои и его средства, что привело через десяток лет к переводу в пограничную стражу. Здесь Лихарев застрял в чине «вечного» полковника начальником отдела, ибо на производство в немногочисленные генеральские чины этого корпуса по способностям и связям шансов у него не было. В описываемое время Варвара Николаевна превратилась в 50-летнюю, говорливую, самоуверенную и, как мне казалось, непрерывно шуршавшую шелком своих одежды, и внятно поскрипывавшую корсетом даму, которая к некоторому братьев и моему удивлению пожелала именоваться и в наших устах тетей Варей, хотя по простейшему расчету приходилась нам чем-то вроде бабушки.

Так вот однажды за послеобеденным чаем эта тетя Варя в присутствии нашей настоящей бабушки, Александра Матвеевича, одной скромной земской фельдшерицы и приятеля моих родителей, поручика Липовича, начала с большим апломбом критиковать «Поединок». Кажется, приняв Хлебушку за штатского провинциала, она решила со слов своего мужа, преподать как судят крамольную книгу старшие офицеры. Во время этой своей обвинительной речи, она тоном матери-командирши постоянно требовала поддержки Липовича, повторяя: – Не правда ли, поручик? или: – Ведь и у вас в полку также думают, поручик?

На что скромный и сдержанный Николай Петрович сначала либо отмалчивался, либо отвечал неопределенно: – Можно и так думать... – Я уже слышал такое мнение... – но потом не выдержал ее самоуверенного тона и, покраснев, сказал:

– Простите, Варвара Николаевна, но мне кажется, вам трудно судить о том, насколько правдив этот роман.

– Э-т-т-то почему же вам так кажется? – высоко подняв брови, опешила от такой дерзости полковница.

– Но разве ваша жизнь в губернском городе, да еще на границе Германии, похожа на тот захолустный мирок, где происходит «Поединок»? – ответил ей вопросом поручик.

Он так ловко повернул свой аргумент, что Варвара Николаевна не сразу нашлась. Не могла же она признать свою резиденцию глубокой и глухой провинцией. Но через минуту она сказала жестко:

– Допустим, что в отношении Ломжи вы правы. Но зато как раз вы вполне можете судить о романе. Ведь ваш здешний армейский пехотный полк ровно ничем не отличается от описанного Куприным, – она презрительно ударила на первый слог.

При словах «ваш здешний армейский пехотный полк», произнесенных с очевидным пренебрежением, Николай Петрович покраснел еще больше и нахмурился, но ответил все-таки спокойно:

– А мне кажется, что отличается и весьма существенно. Полк наш расквартирован в Петербургском военном округе, и Старая Русса – не глушь...

Реплика его была довольно длинной. Он сказал, что служит в городе с 20 тысячами жителей, и город этот – соединенный железной дорогой с обеими столицами, откуда ежедневно приходят свежие газеты и журналы. Что летом здесь открыт известный на всю Россию курорт, играет хороший драматический театр, симфонический оркестр, есть и другие развлечения. Что здесь два средних учебных заведения, общество врачей, отделение трех банков, мировой съезд, две хороших библиотеки, то есть существует значительный круг интеллигентных людей, с которыми при желании могут вести знакомство и ведут офицеры полка. Пример этому, что он имеет честь постоянно бывать в этом доме.

Должно быть, тетя Варя никак не ждала от тихого и скромного поручика такой обстоятельной и решительной речи. А тут еще в разговор вступил Хлебушка.

– И я могу вас уверить, Варвара Николаевна, – сказал он, – что все описанное в «Поединке» очень похоже на любой захолустный гарнизон. И что жить в нем тоскливо до одурения, до запоя, до самоубийства. Я прослужил в Чите и в Троицкосавске с 1900 года, когда вышел из артиллерийского училища, до 1910 и, когда читал роман, то буквально узнавал некоторых офицеров, будто слышал их голоса в собрании, на учении, в гостях, так они правдиво написаны.

– Это было и со мной, – подтвердил поручик.

Тетя Варя метнула на него уничтожающий взгляд и обратилась уже исключительно к Александру Матвеевичу:

– Разве вы не находите вредным, что люди, далекие от военной среды, читают только об одних ее дурных сторонах, об этой самой глуши и на основании этого начинают чуть не презрительно смотреть на наш мундир? – она так и сказала: «на наш».

– Конечно, это неприятно, – мягко согласился Хлебушка, – но по-моему гораздо важнее, раз уж в этом романе много правдивого, чтобы русское образованное общество задумалось о том, что в нем рассказано. Я уже не раз читал статьи, где впечатления от «Поединка», наряду с неудачей японской войны, ставят причиной того, что ускорило перевод юнкерских училищ в военные, т.е. повысило образовательные требования к готовящимся стать офицерами, того, что офицеры с 1908 года стали получать более высокое жалованье и некоторых других явлений. Словом, роман на многих произвел очень сильное воздействие, которое и на армию подействует оздоравливающее.

– На меня, например, – заявил Николай Петрович, – за всю жизнь так благотворно только «Воскресение» подействовало.

– «Воскресение» – неприличная, отвратительная книга, – отрезала тетя Варя, – я бы ее запретила и уничтожила... Публичная девица, арестанты, бог знает что описано!

Поручик открыл было рот, чтобы возражать, но в это время в столовую вошла мама уже в шляпе и перчатках и сказала тете Варе, что их ждет у подъезда извозчик. Когда они вышли, бабушка сказала с упреком.

– Хороши! Вдвоем на даму напали.

– Мы только отражали нападение и немного потеснили врага, – сказал поручик наполовину комически, наполовину всерьез, вытирая платком взмокшую шею.

В начале 1911 года Николай Александрович Разумовский сказал отцу, что при желании Хлебушка может без особого труда выдержать экзамен на нотариуса и заняться этим достойным и спокойным делом. Но когда папа заговорил об этом со своим другом, тот ответил, что нотариальное дело «сидячее», а ему хочется еще поездить, повидать людей и неизвестную природу. Однако в России его связывает стоящее во всех документах звание «есаул запаса», что за время работы в конторе он говорил с некоторыми купцами, лесопромышленниками, землевладельцами, и никто не соглашается взять его служащим на свое дело, потому что он барин, да еще заслуженное ваше высокоблагородие. А потому, раз здесь он обречен исполнять только «чистую работу» и не может, как тогда говорили «приложить свои силы», кроме как конторским служащим или мелким чиновником, т.е. сидеть на месте и скрипеть пером, то и решил «начать новую жизнь» (тоже тогдашнее выражение) и уехать в Америку. Да, да, да! Не в дряхлую Европу, а разом за океан, в «страну свободы и труда», как именовал Штаты в своих хвалебных очерках велеричивый Василий Иванович Немирович-Данченко. Для этого Хлебушка накопил 250 рублей, которых хватит, чтобы доехать и на первое время, а там, кто знает – может быть, он найдет свое место в жизни?

Словом, равней весной 1911 года Хлебушка выехал в Гамбург, заказав заранее по почте место 3 класса на трансатлантическом пароходе, шедшем в Нью-Йорк. Однако в первом же письме, он сообщил, что по ошибке его в немецком языке билет ему оказался приготовлен на корабле, идущем не в Северную, а в Южную Америку и завтра он отбывает в Аргентину. – «А мне все равно куда ехать, – может там судьба моя?», – писал он беззаботно, очевидно упоенный перспективой далекого путешествия.

Письма из Южной Америки приходили редко, и почерк у Александра Матвеевича оказался, действительно, таков, что разбирать их моим родителям приходилось по очереди, иногда со спорами о том как читать то или иное слово, а найдя решение, они надписывали карандашом над строкой «перевод», чтобы прочесть нам без помех и запинок все письмо подряд. Из писем становились известны названия мест, где работал Хлебушко и то, чем он занимался – профессии его менялись не раз. То был чернорабочим на беконном заводе, то коммивояжером-распространителем пишущих машинок, то объезжал под верх и в упряжь диких коней в помпасах, то служил садовником у какого-то богатого владельца ранчо. В одном из писем сообщалось, что с самого отъезда ведет дневник, который пришлет моим родителям на память о «плавающем и путешествующем».

С ранней весны до осени 1912 года на купленном отцом участке по той же набережной Перерытицы сначала разбирали стоявший там старый двухэтажный деревянный дом, а затем построили наш собственный, большой, из толстых отборных бревен на высоком каменном фундаменте. План его родители долго обсуждали, определяя расположение и размеры 12 жилых комнат, кухни, ванной и прочего, вплоть до бетонированного подвала-кладовой. В связи с большим расширением площади этого нового семейного гнезда, мама поехала в Петербург и купила там новую мебель для отцовского кабинета, для приемной, где ожидали приема пациенты, и для гостиной. А прежнюю обстановку гостиной и кабинета поместили в мезонин, расположенный над передней частью дома. В нем было всего две комнаты. В большую, обращенную на юг и запад, поместили прежний гарнитур гостиной, рояль и все мамины цветы. В соседней – меньшей, к обстановке прежнего кабинета добавились кровати. Эта комната предназначалась для чаю приезжавших гостей. Дом был теплый, с высокими потолками и удачно найденными пропорциями комнат. Самая большая из них была столовая с неоклеенными обоями бревенчатými стенами, проконопаченными зеленым мхом. Ее украшал большой камин из желтоватой керамики, против которого встали два старых глубоких кресла, обитых темно-коричневым плюшем.

Одновременно с постройкой дома, на дворе его, плотники собрали из материала старого дома флигель на две маленьких квартиры и в ряд в глубине двора – конюшню с сеновалом, каретный сарай и ледник. С этого года у нас появились свои лошади и кучер, он же дворник, поселившийся с семьей в одной из квартир флигеля.

В августе, во время самого переезда в новый дом отец получил телеграмму из Гамбурга. В ней содержалась просьба спешно перевести 100 рублей на билет до Руссы и дорожные расходы. Отец в тот же день перевел деньги, а еще через неделю, обносившийся до крайности, похуевший, потускневший глазами, глухо кашляющий Александр Матвеевич водворился в комнате для гостей в мезонине, которая с тех пор называлась не иначе, как Хлебушкиной. При первом объятии отец заметил, что у его друга повышена температура и сразу же собственноручно, вымыв в ванной, уложил его в постель. У Александра Матвеевича оказалось двухстороннее воспаление легких.

– В самое время добрался, – сказал отец в тот день за обедом. – Еще бы два-три дня и свалился бы где-то в дороге.

Александр Матвеевич встал скоро, дней через 10, кажется, еще более похуевший и какой-то потухший. Он начал проходить к столу, но был неразговорчив даже

с бабушкой и очень много времени проводил в осеннем саду. Сад остался от прежних владельцев участка, был очень старый и запущенный. По внешней его границе стояли столетние серебристые ивы, много было полуодичавших яблонь и кустов смородины. Их-то Хлебушка и принялся подстригать, окапывать, удобрять, рыхлить под ними землю, обмазывать стволы яблонь. Иногда к нему подходил отец, они присаживались на скамейку, говорили о чем-то. Как-то сидя поблизости, на развилке одной из старых ив с книжкой, я услышал такой разговор.

– Раз ты стал выходить из дому, так дойди, пожалуйста, до Арвана, закажи новый костюм. Я ему говорил, он в три дня, с одной примеркой здесь на дому, тебе сошьет. Ведь если надумаешь поступать на место, то в этом, право, нельзя. И пальто закажи новое, лучше зимнее.

– Спасибо, Миша, – отозвался Хлебушка, – но обновки я подожду шить. Как-то дальнейшее мое все неясно.

– Так нельзя, – сказал отец. – И еще раз говорю, возьми денег, пошли тем беднякам с парохода.

– Нет, сейчас не нужно, доехали они до своих, – замотал головой Хлебушка.

Депрессию сняло высказанное чуть не на другой день после приведенного мной разговора предложение Николая Александровича Разумовского заменить его в конторе на месяц. Необходимость проводить целые дни в конторе, разговаривать с посетителями, писать бумаги, подействовали на Хлебушку самым лучшим образом, – он разом подтянулся и оживился. Думаю, что помогло и то, что получил успокоительные известия о людях, за которых беспокоился. Мы – братья узнали об этом, увидев перед обедом у прибора Александра Матвеевича, бывшего в конторе, конверт с иностранными марками. Старшие братья тотчас определили, что марки немецкие, а штемпель говорит, что отправлено письмо из городка Фрешвейлер из Лотарингии, известного нам по какой-то книге о франко-прусской войне 1871 года.

Александр Матвеевич поспешно пришел, когда уже садились за стол – обед у нас подавали в 5 часов, и как раз до этого часа работала контора нотариуса. Сев на свое место, он тотчас схватился за письмо, разорвал конверт, причем братья закричали, чтобы не повредил марок, и быстро пробежал один листок текста, после чего сказал, обращаясь к взрослым:

– Благополучно доехали мои подопечные.

– Объясни мальчикам, о ком идет речь, – попросила мама отца.

– Александр Матвеевич на пароходе, – сказал отец, – подружился с семьей умершего в Аргентине эльзасца, которая возвращалась на родину. Вот они ему и пишут. Там мальчик четырех лет. Так кажется, Хлеба? И еще девочка, чуть постарше.

– Не чуть, а на три года, – поправил Александр Матвеевич. – Смотри русский пригостишка, как пишет немецкая пригостишка, – он протянул мне письмо, написанное круглым и ровным детским почерком.

– Но здесь написано по-французски, – сказал я, прочтя обращение.

– Молодец! – похвалил Александр Матвеевич. – Ее покойный отец был французским патриотом, вот она и пишет на его любимом языке, а учится все-таки в немецкой школе, там без этого нельзя...

Чтобы не возвращаться больше к этой истории, скажу, что узнал о ней позже. На обратном пути из Аргентины в соседней каюте, или вернее в соседнем отсеке трюма, словом в каком-то самом низшем классе, где ехал Хлебушка, оказалась несчастная, голодная семья умершего эльзасца-столяра, возвращавшаяся на родину и жестоко страдавшая от морской болезни. Александр Матвеевич делился с ними чем мог, а когда заболел желудком 4-летний мальчик, отправился искать судебного врача. Тот не хотел идти к маленькому пациенту, ссылаясь на то, что плохо понимает речь этого скуластого, плохо одетого пассажира, а потом на то, что он не детский врач. Но тут Хлебушко вышел из себя, закричал, что будет в Гамбурге жаловаться на бесчеловечность, что эльзасцы подданные кайзера, что он казачий

капитан и сейчас побьет врача, если не пойдет с ним в трюм и не вылечит ребенка. Когда он ткнул врачу свой паспорт, где было написано, что он действительно esaul de cosaque des Transbaikale, тот пошел-таки, куда его звали и настолько исправно лечил ребенка, что под конец они с Хлебушкой даже подружались и судовой врач называл его cosaque-Toulstowetz, объясняя этим странное поведение офицера, так дурно одетого и едущего в трюме. Половину посланных отцом в Гамбург денег Александр Матвеевич отдал эльзасской семье и вот теперь получал от них письма. Позже пришла и фотография, снятая в этом самом Фрешвейлере – совершенно как наши крестьяне того времени застывшие перед аппаратом. Несколько испуганные лица, деревянные позы, воскресная, колом сияющая одежда.

В том году мне исполнилось девять лет, я учился в подготовительном классе реального училища и впервые познавал тяжесть обязательств – ходить в класс и готовить уроки. Познавал одновременно и отвлекающий от обязательных знаний „приватный» интерес – начиналась моя тяга к истории. В том году исполнилось сто лет с нашествия Наполеона на Россию. Журналы и детские книги были полны портретов, картинок, рассказов и повестей из столь увлекательной и романтической эпохи.

Хорошо помню один воскресный полдень той осени, верно уже в октябре или в начале ноября. В столовой нас только двое – Александр Матвеевич, сидящий у камина, который он очень любил топить, т.е. подбрасывать, а потом подправлять кочергой поленья, после чего откидывался на спинку кресла и смотрел на пламя, и я за обеденным столом, рассматривающий очередной номер «Нивы» с репродукциями перовых рисунков Самокиша, – все кавалерийские схватки, вздыбленные кони, поднятые палаши. Из кухни тянет запахом воскресного пирога с капустой и сдобных ватрушек, которые, очевидно, только что вынуты из духовки и остывают на блюдах под полотенцами. Входит Лиза и начинает накрывать стол к завтраку. Я с журналом перебираюсь визави Александру Матвеевичу, на другое кресло перед камином. Он смотрит на открытую страницу, которую видит вверх ногами, и тычет в Самокиша пальцем с пожелтевшим от никотина ногтем.

– Не увлекайся этим нарядным враньем. Посмотри лучше сюда, – говорит он, и поворачивает страницу. Очевидно он еще до меня заглянул в журнал и знает, где напечатана такая картинка. Теперь передо мной репродукция с полотна Верещагина «Отступление Великой армии». По большой дороге, обсаженной заснеженными березами идет Наполеон со штабом, за ним тащится карета и дальше строй старой гвардии. Александр Матвеевич указывает на торчащие из канав и сугробов трупы – ноги, руки, копыта коней и говорит: – А ведь тех, кто здесь замерз ждали во Франции, в Италии, в Голландии дети, жены и матери. Представь себе, что это торчит из снега мертвая рука твоего папы... Стал бы ты тогда прославлять Наполеона?... Помни, пожалуйста, всегда помни, что он хоть и гениальный, но преступник. Уложить в русских степях полмиллиона сильных молодых людей...

Попробуйте забыть такие слова, от которых ваше детское сердце сжималось страхом.

А вот другая картина – воспоминание этих дней. Вечером в той же столовой, под висячей лампой папа раскладывает пасьянс. Александр Матвеевич сидит напротив и советует какую карту куда нужно переложить, а иногда и тычет к ней руку.

– Хлеба, не суйся! Возьми на камине другую колоду и раскладывай сам, а мне не мешай.

– Да ты ведь не видишь.

– Все вижу. Отстань. Раскладывай сам.

Несколько минут молчания.

– А ты помнишь, кто нас этому пасьянсу выучил? – спрашивает Хлебушка.

– Как же, Леон Кислицкий. Он давно тебе писал? – отзывается отец.

– Только одно письмо после моего приезда было.

– Выпишем его будущим летом сюда в отпуск, – предлагает папа.
 – А может быть я уже там буду в будущем году, – отзывается Хлебушка.
 – Написал-таки брату? Так и не хочешь нотариусом остаться?
 – Не хочу. Я же тебе сто раз говорил, что не по мне эта сидячая должность.
 А Ивану я уже с неделю как написал. И даже пригрозил.

– Чем же? – спрашивает отец.
 – Что если он мне не добудет места в Чите через своего тестя, почтмейстера, так я к тамошнему же купцу в приказчики пойду. Ему это очень зазорным кажется, – он вот-вот войсковой старшина, густые эполеты, а я ему такую свинью.

– Вот этого я никак не пойму, – пожимает плечами отец. – В Руссе он нотариусом быть не желает, а в Чите почтовым чиновником сидеть и письма заказные принимать или посылки взвешивать – пожалуйста.

– Так то Чита – родное место! – говорит Хлебушка мечтательно.
 – Далеко ли твое родное место ушло от Троицкосавска, из которого бежал, – отвечает отец и после паузы, за которую переложил несколько карт, задает еще вопрос: – А помнишь, что твой любимый Чехов об офицерах написал в «Трех сестрах»?

– Нет, не помню.
 – Что они «самые порядочные, самые благородные и вежливые люди»...
 – Так то говорено у него устами дамы или барышни восторженной, – возражает Александр Матвеевич.

– А ведь, пожалуй, и я так думаю, – замечает отец. – А ты разве не так?
 – По-разному я думаю, – уклончиво отвечает Хлебушко. – Ты бы посмотрил, что у нас в батарее последнее время творилось. Водка, водка и водка, карты на целые ночи, да еще китайки...

Отец делает ему знак бровями в мою сторону и Хлебушка замолкает.
 Много позже, когда уже стал взрослым, отец говорил мне, что очевидно в Чите у Александра Матвеевича была какая-то серьезная привязанность, по которой он тосковал так сильно, что в это время, осенью 1912 года, всерьез думал о возвращении в Забайкалье. Но «брат Иван» – офицер стоявшего в Чите забайкальского конного полка ответил, что по словам тестя мест на почте пока нет. Тогда Хлебушка написал какому-то купцу, поставщику Забайкальского казачьего войска, предлагая себя в приказчики для разъездов по станциям и хуторам, где всегда производились розничные закупки. И стал ждать ответа.

Кажется только три раза мне случалось услышать, как Александр Матвеевич упомянул о своем пребывании в Аргентине. Я все ждал рассказов об индейцах-патагонцах, скачущих по помпасам на горячих конях с лассо свернутым в кольцо у седла или хоть об охоте на тапиров, страусов или кондоров. Вместо этого я один раз услышал утверждение, что на счастье он попал не в Штаты, а в Южную Америку, где со своим скудным французским языком все-таки мог кое-как объясняться в лавках, на дорогах и под конец немного стал понимать испанский разговор окружающих. В другой раз он рассказывал бабушке о соленых озерах, которые летом превращаются в громадные солончаки. А о скачке и охоте – ни слова.

Из своего путешествия Хлебушко действительно привез две толстых тетради в черной клеенке – дневники всего путешествия. Я уже взрослым не раз держал их в руках, мечтая прочесть, разобрать каракули интеллигентного, почти без помарок размашистого почерка, подписать над словами их значение, как делали мои родители с его письмами. Надо было только набраться терпения, вчитаться в почерк, как при работе в архивах, скажем, с документами начала XVIII века. Да так и не собрался. Дневники эти сгорели в Руссе в 1942 году как многие другие следы духовной жизни родителей, дедов, прадедов и близких им людей, чьи письма

и документы хранил отец, словом, как весь архив нашей семьи и множество связанных с ней фотографий.

А третье упоминание аргентинских впечатлений связано с музыкой. С осени у нас опять играли еженедельно по пятницам квартетом, но как и в прошлые годы я слышал только очень глухо, издали, из нашей детской – ведь надо было утром идти в училище. Но однажды, не помню по какой причине, музицировали в субботу. Я слушал из хлебушкиной комнаты, сидя рядом с ним на кровати. Комната его, как я уже писал, находилась в мезонине, по соседству с той, где играли, правда за бревенчатой стеной, но двери на общую площадку лестницы были открыты и слышно было прекрасно. Кроме нас в комнате были двое или трое мужчин, которые курили. Форточка была приоткрыта и Хлебушка заботливо закутал мне плечи одеялом.

Играли что-то бурное, напряженное, быстрое. Я видел, что Александр Матвеевич слушает очень внимательно, закрыв глаза, склонив голову на ладонь руки, упертой локтем на колено.

– Что это было? – спросил я шепотом, – когда музыка прервалась и музыканты стали настраивать инструменты.

– Соната Крейцера, – ответил он.

На другой день вечером я сидел за уроками. Накануне не доделал-таки. Но не в нашей большой детской комнате, где к братьям пришли товарищи и было шумно, а в так называемой «запасной», рядом с отцовским кабинетом. Слышно было как отец за письменным столом шелестит бумагой, потом к нему прошел Александр Матвеевич.

– Ну, перечитал? – спросил отец.

– Перечитал и опять не понял, какая связь музыки с этим диким убийством.
 – Я тоже не понимаю, – сказал отец. – Но я не так остро чувствую музыку, как ты, или, очевидно, Толстой.

– Мне даже кажется, что этот рассказ вреден, – продолжал Хлебушка. – Он как-то объясняет читателю поступок этого Постишева или как его. Даже оправдывает что-ли... А что может быть гаже такого убийства женщины? Ты знаешь, там, в Аргентине, один пастух – гаучо зарезал свою жену. Приревновал к другому. Так, подлец, не с мужчиной драться стал, а ее сонную зарезал и собакам труп выбросил. Только они ее не тронули, а выть около стали. А нам сказал будто не знает, кто ее убил.

– А какие там законы, что ему за это было? – поинтересовался отец.

– Черт их знает. Кажется, вешают, что и правильно, по-моему. Эта дурь у нас с присяжными заседателями: – Ах, из ревности?.. Виновен? – Нет не виновен! – Как же может быть не виновен, если убил существо более слабое?.. Так я того гаучо брать помогал. Решили мы – трое его сотоваришей, которые в соседней хибарке жили, что надо убийцу связать и в ближний поселок в тюрьму отвезти, пока не сбежал. Женщину ту все любили за доброту, за приветливость, а он чистый зверюга – злой, жадный, мстительный. Однако сунуться к нему в домишко боимся – стрелок отличный и с ножом не растается. Дождались вечера и увидели, что за водой на речку пошел с двумя ведрами. Верно кровь ее отмывать собрался. Ну, мы втроем на него и пошли с веревками. Он меня за ладонь укусил, вот она метка. Ничего, скрутили...

Услышав этот рассказ, я постарался представить себе сцену этой борьбы, но вместо нее передо мной вставала виденная в Кисловодске: Хлебушка висит под мордой бьющегося, прыгающего на месте коня, пока не подбегут другие люди. Верно и здесь он первым бросился на убийцу.

Решение хлебушкиной судьбы пришло неожиданно и совсем не из Читы. В некое декабрьское утро папа прочел в газете, что в Петербург для всеподдан-

нейшего доклада приехал туркестанский генерал-губернатор Самсонов. Отец помнил, что во время японской войны Александр Матвеевич на некоторое время был прикомандирован как ординарец к штабу этого генерала, командовавшего сибирской казачьей дивизией, в которую входили забайкальцы, а когда вернулся в батарею, то следом за ним Самсонов прислал командиру аттестацию сотника Хлебникова, как отлично исполнительного, храброго и хладнокровного под огнем офицера. Открыв в атласе Маркса карту необъятного Закаспийского края, папа показал ее своему другу.

– А не написать ли тебе Самсонову? – предложил он. – Авось у него сыщется для тебя не «сидячее» место?

– Можно попробовать, – согласился Хлебушка. – Давай сочинять слезницу.

Переписывала начисто это письмо мама, потому что у отца почерк был немногим лучше, чем у его друга. В письме было изложено, что находящийся в запасе забайкальской артиллерии есаул такой-то, которого их высокопревосходительство может быть помнит по русско-японской войне, хотел бы получить в Туркестанском крае место по своим способностям и знаниям, но не в войсках, а в администрации, где надеется принести пользу своим спокойным характером и честностью. Оклад жалованья его не интересует, ибо он одинок и привычки имеет самые скромные.

Письмо было в тот же день отправлено заказным и через трое суток пришел ответ в виде телеграммы – две строки, выведенные красивым почерком телеграфиста: – Прошу немедленно прибыть переговоров Европейскую гостиницу. Генерал-адъютант Самсонов.

Начались сборы. Являться предстояло конечно в военной форме. Уложенное Лизой в сундуки обмундирование, оказалось хоть и пахнущим нафталином, но чистым и цельным, а вот розданные нам блестящие его детали требовали чистки или полного возобновления. Помню, как отец звонил по телефону приятелям – офицерам, нет ли у них новой пары погон без цифр?

Назавтра Александр Матвеевич уехал, а еще через несколько дней пришло письмо, которое долго разбирали родители и бабушка. Из него явствовало, что Самсонов принял своего бывшего ординарца приветливо, расспросил о причине выхода в отставку, что делал эти два с лишним года, очень удивлялся и качал головой, слушая рассказ о поездке в Аргентину, но сразу же предложил место пристава в Мургабском государевом имении. Название должности поначалу отпугнуло Хлебушку – службы в полиции строевые офицеры чуждались. Но генерал пояснил, что основная обязанность, которую он хочет возложить на этого представителя общегосударственной администрации, состоит в охране интересов местного туземного населения, главным образом по части снабжения его водой, от посягательств чинов удельного ведомства, которые управляют этим богатым, обширным имением. Сколько существует эта удельная собственность, столько и возбуждаются споры с соседними туземцами о воде драгоценной, для орошения хлопковых полей. Это пояснение Самсонов закончил тем, что настоятельно просит есаула занять эту должность. Деятельность не сложна, но требует безусловной честности и независимости характера. А в нем, генерал-губернаторе, Хлебушка будет иметь начальника, всегда готового поддержать его отпор незаконным притязаниям любых удельных чинов.

Услышав все это, Александр Матвеевич согласился и через два дня уезжает в числе лиц, сопровождающих Самсонова и даже в его вагоне, так как генерал хочет встречать рождество уже в Ташкенте. Письмо сообщавшее все это, которое тоже до 1941 года хранилось в Руссе, заканчивалось словами благодарности моим родителям, бабушке и просьбой принять небольшие подарки, которые только что отправил, получив «хорошие подъемные». Как же я возликовал, решив, что подарки будут всем членам семейства и верно мне придут по почте нюрнбергские оловя-

ные солдатки. Однако в пришедшей затем посылке оказалось только 3 предмета – строгая рама полированного розового дерева заключала красивую пастельную женскую головку с подписью «Theodor Tchumacov». Помню что меня удивило, что такая русская фамилия написана по-французски. В ответ на мой вопрос отец послал меня за статьей в соответствующем томе словаря Брокгауза и Эфрона и заставил найти и прочесть вслух статью, в которой говорилось, что этот художник почти всю жизнь работал в Париже. Моей бывшей няне Лизе предназначался альбом для фотографий в ярко-голубом бархатном переплете с золочеными украшениями, показавшийся мне удивительно красивым. А для бабушки в посылке лежал совсем маленький пакетик, на который не сразу обратили внимание и в нем в шелковой бумаге завернутая очень красивая черная кружевная шаль.

– Ну, получил подъемные и начал деньгами сорить, – укоризненно качала головой бабушка, любуясь подарком.

В то время родители на бумаге, которой была наглухо заклеена сзади рамка работы Чумакова, заметил подпись карандашом: «куриным почерком» Александра Матвеевича: «Надежде Сергеевне от плавающего и путешествующего. 19 декабря 1912 года».

С этих дней начался счастливый период жизни Хлебушки. Письма со станции Байрам-Али, где отвели ему казенную квартиру, были веселыми и даже гораздо более разборчивыми прежних, так что читал их отец почти без труда. Он описывал новый для него край – местных жителей, их трудолюбие, благодарное отношение за его терпение в разговорах с ними через переводчика, за беспристрастие в разборах их дел, описывал хлопковые поля, оросительные арыки и труды местных ремесленников – тканье ковров и шелковых материй, живописность толпы на базарах, разноцветные халаты, тюбетейки, бесчисленных ослов и верблюдов, горы изюма и урюка, гончарные и ювелирные изделия. В другом письме начертил план своего домика из трех комнат и кухни, фасад которого увит виноградом и мелкими белыми розами.

Хорошо помню, как отец читал нам вслух эти умно и свободно написанные письма. В одном из них Хлебушка рассказывал о живописных развалинах старого Мерва. Если аргентинские дневники хоть в половину были писаны так ярко и интересно, то как жалко, что они погибли.

Однажды, уже осенью 1913 года, пришли вложенные в письмо две коричневые любительские фотографии. На одной – накрытый скатертью стол с самоваром, сахарницей и сухарницей, за столом на фоне белой стены Александр Матвеевич в расстегнутом на горле кителе, откинувшись на спинку стула, с толстой папиросой в углу рта и с веселым, даже каким-то блаженствующим выражением лица. А по сторонам его стоят два слуги в белых куртках – оба бородатые, широко улыбающиеся лоснящимися толстошекими лицами. На обороте надпись: «Вот каков теперь я и каковы мои Лепорелло». Другая фотография запечатлела кавалькаду – Хлебушка в сопровождении трех всадников в полосатых халатах и белых высоких текинских папах. Надпись на обороте: «Едем разбирать жалобы елотанцев на счет воды».

– Наконец-то Хлеба нашел свое место на свете, – сказал отец рассмотрев эти фотографии. – А какие счастливые рожи у этих Лепорелло. Видно, что наш Дон Жуан их не обижает.

Приходили посылки – ковер, которым и сейчас пользуюсь (он чудом уцелел, увезенный из Руссы в деревню моей няней Лизой в 1942 году), какие-то шелковые бледно-желтые платки с вышитыми по краям надписями будто из корана, которые мама использовала как накидки на подушки. Летом и осенью приходили в ящиках чарджуйские дыни – душистые и сладкие. И каждый месяц отец получал перевод на 25 или 50 рублей – Хлебушка настойчиво выплачивал ему свои денежные долги.



Е.М.Ложкина ("няня Лиза").
1910-е гг.

Весной 1914 года пришла еще одна фотография: Александр Матвеевич сидит на крыльце своего домика, видна стена, по которой выются какие-то растения в мелких цветочках. Светит яркое солнце – на глазах Хлебушки сдвинута белая фуражка, в зубах неизменная папироса. Рядом с ним стоит мальчик лет пяти, в полосатом халатике и тубетейке, а из-под правой руки Александра Матвеевича высунута голова большой кудлатой собаки, – хозяин обнял ее за шею. Мотающийся от удовольствия хвост виден сбоку неясной тенью. На обороте надпись: «Это мои здешние друзья-приятели – Мурад и Асман».

– Чистый будет у него китель, – сокрушенно сказала бабушка.

– Ай да Самсонов! Хлеба-то у него уже подполковник, – заметил отец. Действительно, на плечах мятого кителя Александра Матвеевича ясно виднелись погоны с двумя просветами и тремя звездочками.

– Да ты посмотри, какое у него опять счастливое лицо, и уж конечно не от нового чина, – сказала мама, – а от соседства. Который же из них Мурад, а который Осман? – У мальчика мордочка очень милая.

Жаль, что этот безусловно счастливый период жизни Александра Матвеевича был коротким – чуть больше полутора лет. В июле 1914 года, он был призван как офицер запаса и отправился в действующую армию. По дороге на западный фронт в какую-то армейскую полевую бригаду, он заехал в Руссу проститься. Папу он уже не застал дома. В первый день мобилизации были взяты наши две лошади, на второй – кучер, запасный бомбардир, на третий – получил повестку отец и через три дня, ушедшие на шитье форменного обмундирования, он выехал в Петроград. Там формировался передовой перевязочный отряд 50 пехотной дивизии, куда он был назначен.

На этот раз Хлебушка приехал не один. Его сопровождал красивый текинец, один из тех джигитов, которые составляли его постоянный штат для посылки в Байрам-Али. Он так привязался к своему начальнику, что не согласился на разлуку и добровольно ехал на войну. Звали его Баба-Курбан Алиханов, в просторечии просто Баба. Высокий, очень стройный, с красивым, но невыразительным лицом, украшенным шегольскими, хотя жидковатыми усиками, он был одет



Баба-Курбан Алиханов

в желто-красный в вертикальную полосу халат, под которым виднелись воротник и грудь офицерского покроя кителя, с крахмальным воротничком и в синие рейтузы заправленные в сапоги со шпорами. Уличный туалет Бабы дополняли очень высокая белая с длинным кургеем папаха и восточного типа сабля, рукоять и ножны которой богато украшали бирюза и сердолик. При такой наружности и отменно гордой осанке Баба был неграмотный текинец, с трудом говоривший по-русски. Он стеснительно и скромно вел себя за столом прислуги у нас в кухне и немедленно влюбился в мою бывшую няню Лизу, которой зашло уже сильно за 30 лет. Лиза была сероглазая, белокурая, вернее соломенно-желтоволосая, несколько иконописная крестьянка Старорусского уезда, одетая, однако, как тогда одевались горничные из «хороших домов», – в шерсть и шелк, поверх которых дома неизменно носила подкрахмаленный белый передник с прошивками. Как Баба ухаживал за Лизой, не знаю, но они ходили вместе вечерами в курортный парк, в кинотеатр «Модерн», а днем по городу, куда ее посылала бабушка. Конечно везде на такого кавалера пялили глаза и даже звонили по телефону маме:

– С кем это ваша Лиза была нынче в магазинах? Какой красавец!

Помню, что в эти дни зашла речь о быстром приближении немцев к Парижу, о котором писали газеты.

– Как-то мои бедные приятели в Эльзасе? – сказал Хлебушка.

– А вы с ними переписываетесь? – спросила мама.

– Как же! Вот от Гастоши перед самым объявлением войны письмо получил, – вынул Александр Матвеевич из нагрудного кармана кителя несколько смятый конверт. – Только поспел к одной знакомой даме сходить, чтобы перевести и ответ написать. Отправил, а на другой день война началась.

– Редкой доброты человек, – говорила бабушка вечером маме. – Я уверена, что он этой французской семье до сих пор помогал.

Провели Хлебушка с Бабой в Руссе недолго, не больше недели и на прощание Баба сделал Лизе формальное предложение, после чего она стала называть его Бобочкой, потому что Бабочкой все же как-то неловко. Он даже снялся для нее в фотографии Иваново. Этот снимок по наследству от няни хранится у меня.

Потом и они уехали. Помню как мы стояли у окна гостиной и смотрели как Александр Матвеевич и Баба садились на извозчика у парадного крыльца, Лиза при этом всплакнула и крестила через стекло Бабу, хотя он был мусульманин. Бабушка тоже как-то слишком часто сморкалась, и все-таки не преминула сказать, что Баба вполне сойдет за офицера, а Хлебушко, в его мятой фуражке и шинели военного времени из солдатского сукна, как раз за вестового.

Когда после отъезда гостей Лиза пошла убирать комнату в мезонине, где была поставлена вторая кровать для Бабы, она почти тотчас спустилась оттуда с красными пятнами на щеках, неся довольно большую обернутую бумагой раму. В ней оказалась под стеклом искусно вышитая цветными шелками картина – величественная голова льва примерно в четверть натуральной величины, смотревшего на вас мудрыми, спокойными желтыми глазами. И рядом с его крупной, когтистой лапой – голова спящей под его защитой львицы. На обороте рамы была наклейка какого-то московского магазина предметов искусства и рядом надпись Хлебушки: «Гостеприимному дому Глинок. Август 1914 г.»

Но не картина заставила взволноваться мою бывшую няню. Рядом с нею на письменном столе она нашла футляр с золотым кольцом или вернее перстнем, украшенным небольшим, но чистой воды бриллиантом и двумя рубинами по сторонам его. И в замке футляра зашемлена бумажка со словами, написанными тем же почерком: «Лизочке от Бабы на память». – Ах, транжиры! – качала головой бабушка. – Но оба подарка – прелесть какие! Носи, Лиза, на здоровье. Он, право, хороший человек, если так к Хлебушке привязался... А лев-то прямо как живой смотрит! Отличная вышивка.



В сорок которой-то артиллерийской бригаде Александр Матвеевич получил в командование батарею, а Баба состоял у него наблюдателем, корректировавшим стрельбу по телефону. Он быстро заслужил солдатского Георгия довольно своеобразным проявлением храбрости, юмористически описанным в одном из писем Хлебушки. Баба сидел с телефоном далеко впереди батарейной позиции, в густых ветвях дерева, на которое взобрался ночью.

А утром был получен приказ

об отступлении. Разумеется Бабе тотчас передали приказ – сниматься и ползти к батарее, по возможности сохранив телефонный аппарат. Но не сказали в спешке, чтобы обрезал провод. Поэтому туркмен пошел от дерева по открытому месту во весь рост в своей белой папахе, тщательно сматывая провод – по его мнению ценное казенное имущество. Он явился отличной мишенью для немецких стрелков, был буквально осыпан пулями, папаха и шинель его прострелены, но сам дошел невредим. Генерал – командир бригады, наблюдавший этот «марш», по сообщению Хлебушки восхищенно воскликнул: – Представьте азиата к Егорию! Вполне нелепый, но бесспорный подвиг редкого бесстрашия и заботы о казенном достоянии!

Война шла своим страшным путем и даже я со своего детского места в жизни все больше и чаще видел ее страшный лик. Убиты были в Восточной Пруссии отцы двух моих одноклассников – офицеры, стоявшего в Руссе Вильмандstrandского пехотного полка. Двоюродный брат отца, веселый рыжеусый здоровяк, лишь за год до того произведенный в офицеры был также убит, и отправленная ему мамой посылка с теплым бельем вернулась в наш дом, как вестник несчастья с пометкой: «Возвращается со смертью адресата». Отец был на фронте под Варшавой, писал бодрые письма, но присланная фотография говорила, что он очень похудел и постарел за эти 3–4 месяца. Дворничиха того дома, где мы жили раньше, получила известие, что муж ее пропал без вести и выла три дня, как по покойнику. А в соседнем доме устроили частный лазарет, каких тогда было, к слову сказать, много, и из окон его на наш двор смотрели бледные лица в марлевых повязках. Все больше встречалось на улицах женщин в трауре. Для обучения новобранцев не хватало манежа и плаца при казармах и на недавно тихих переулках, в том числе около нашего дома, толклись солдаты и слышался крик унтеров: – На первый-второй, рассчитайся! Смирно!.. От кавалерии закройсь!.. Вперед коли, назад коли, вперед-назад прикладом бей!.. И солдаты с деревянными лицами бежали к соломенному чучелу и кололи его штыком, били прикладом, как учил отделенный. С ехавшим в отпуск под Руссу санитаром отец прислал обычную в те дни посылку: несколько немецких касок и образцов оружия – драгунский палаш, винтовку, штык с темляком. Но у одной из касок в лакированной коже оказалась круглая дырочка, под крылом налобного орла, очевидно от пули. И это начисто испортило мне удовольствие от этих «трофеев». Под козырьком этой каски мне упорно мерещилось восковое лицо убитого, лезла в голову мысль, что также в Германию могут прислать папаху моего отца, пробитую пулями и там дети будут играть ею, примерять перед зеркалом.

Летом 1915 года Александр Матвеевич с Бабой приехали в отпуск. Хлебушка был украшен Владимиром с мечами и георгиевским оружием, Баба – двумя солдатскими крестами. Несколько раз Александр Матвеевич с бабушкой ходил в театр,

а Баба с Лизой гуляли по городу и в курортном парке. Я сам не видел, но мои одноклассники говорили, смеясь, что юные пехотные прапорщики, встретив Бабу, одетого в отпуск в свой экзотический красно-желтый халат, первыми ему козыряли, а Баба только донашивал форму Текинского конного полка, в котором когда-то отбывал действительную службу, закрыв халатом унтер-офицерские погоны.

Александр Матвеевич стал молчалив, обычная его шутовскость пропала. Он не ходил на симфоническую музыку в парк, а подолгу сидел в саду с книгой, но больше смотрел не в нее, а на деревья и в небо с каким-то тоскливым выражением. И спал весь отпуск по полсуткам, а может, ворочался без сна, закрывшись в своей комнате. На этот раз Бабу поселили отдельно. На мои и братьев вопросы о фронте отвечал неохотно и односложно, а на прямой вопрос бабушки, скоро ли кончится война, ответил, что этого верно никто не знает, но что конца пока не видно, у немцев людей и вооружения хватает.

Вскоре после их отъезда осенью 1915 года было получено письмо, в котором сообщалось, что Александр Матвеевич произведен в полковники и переведен в другую бригаду командиром дивизиона, а Бабу, как кавалериста, откомандировали в соседний с этой бригадой 2-й драгунский Псковский полк, где он объезжает молодых офицерских лошадей. Потом пришло письмо, что Баба лежит в полевом госпитале – переломил ногу, упав вместе с конем. Старшие братья, конечно, не преминули отметить, что не упал с коня, а упал с конем, что будто бы кавалеристу не зазорно. Потом долго не было писем. Лиза ходила с заплаканными глазами и сетовала бабушка, что не может подавать в церковь «за здоровье», потому что Баба не нашей веры. Потом, Александр Матвеевич написал, что Баба умер от столбняка – перелом был открытым и в рану как-то попала земля. Много позже, через 8 лет, Хлебушка рассказал мне, что был в госпитале за сутки до смерти Бабы. Между приступами мучительных судорог текинец сказал Александру Матвеевичу только четыре слова: «Вас жалею, Лиза жалею...». А тогда Лиза не раз на рассвете ходила в церковь к ранней обедне и молилась за упокой души своего Бобочки, как она его называла.

– Это, – оказал ей отец Дмитрий Горский, наш приходский священник, – можно делать и за умершего иноверца. Тем больше, что покойный обещал тебе, Лизочка, перейти в православие.

Это была правда. Мы знали об этом и раньше, но зато Лиза обещала уехать с ним в Туркестан.

Хорошо помню как Хлебушка во второй раз приехал в отпуск с войны уже осенью 1916 года. Приехал вовсе сам не свой – молчаливый, осунувшийся и похудевший – совсем как тогда заболевший воспалением легких после поездки в Аргентину. Отец в это время уже служил в Руссе. После жестокого приступа ревматизма от простуды на фронте, уложившего его на 9 месяцев в госпиталь, он был переведен врачом в запасный пехотный полк, стоявший в Руссе. Но и со своим другом Александр Матвеевич вначале этого приезда разговаривал мало и неохотно. В первый же день попросил разрешения мамы не спускаться вниз, даже к столу, и целые дни проводил в своей комнате в мезонине, сидя перед печкой, которую сам топил, смотрел на огонь и курил папиросу за папиросой. Это я узнал со слов мамы, иногда заглядывавшей к гостю, когда ухаживала за своими цветами в большой комнате мезонина.

– Все тоже, – сказала она отцу, – сидит перед печкой, да курит.

– Он как бы оглушенный, – сказал отец. – Это на фронте бывает с добрыми, душевными людьми.

– Еще бы! – вставил я. – Целый дивизион, 3 батареи под его командой стреляют.

– Нет, брат, оглушили его не пушки, а война в целом, главное – гибель людей, – сказал отец.

– Может Владя ему свежих газет снесет, – предложила мама.

– Нет, книги и журналы вчера лежали там, где их третьего дня положил, – покачал головой отец. – Надо просто дать ему покой и поменьше туда соваться.

– Жаль, что нет у нас в городе хорошего невропатолога, – вздохнула мама.

– Не поможет здесь невропатолог, – уверенно сказал папа. – Войну кончать нужно, вот что. Кто третий год непрерывно убийства видит, тот даже если сам уцелеет, как Хлеба, то вполне может с ума сойти... А потом, знаешь ли, в этой новой его бригаде кто-то из офицеров или чиновников на хозяйстве проворовался и это тоже на него, видимо, сильно подействовало. Наживаться в такое время, и где?! – Рядом с ежедневной, ежечасной смертью...

– А как ты думаешь, отойдет он у нас хоть немного от такого состояния? – спросила мать. – Летом на музыку бы ходил, а сейчас все в четырех стенах... Может попросить Николая Александровича прийти поиграть вечером Рахманинова, которого так любил.

В это время музыкальные пятницы у нас прекратились или вернее не возобновлялись после возвращения домой отца. Один участник квартета ушел на войну, другого перевели из Руссы.

– Насчет музыки не знаю, – сказал отец, – Думаю, что ему сейчас уже лучше, сказал мне вчера, что спать стал ночами... Но ведь через 10 дней ему уезжать снова в то же пекло... Вот сегодня комиссия была. Находившихся в отпуску после ранений свидетельствовали. Представляешь, каково человеку снова на убой идти? Раз раной отделался, а дальше?..

Последние дни этого отпуска Хлебушка, действительно, явно подбодрился. Он уже спускался вниз к столу, сживал с бабушкой перед камином, разложил несколько раз с отцом пасьянс, что-то пересказал из острот своих денщиков. Но когда я был послан за чем-то мамой в большую комнату мезонина и на цыпочках поднялся по лестнице, чтобы не разбудить его, если дремлет, то увидел за раскрытой на лестничную площадку дверью Александра Матвеевича, в клубах табачного дыма сидевшего на коечке застланной кровати. Он оперся лбом на ладони уставленных в колени рук и смотрел в пол.

А потом пришла Февральская революция и вскоре после

Сестра милосердия Надежда Глинка. 1916



Операция в полевых условиях. В центре – врач М.П.Глинка

нее мои родители получили письмо от Хлебушки, где рассказывалось, что он ранен осколком в плечо, «но очень счастливо, – бекеша на меху, погон и китель ослабили удар, так что рука очевидно будет действовать». Лежит в госпитале в Двинске и собирается жениться на сестре милосердия Ольге Ивановне, которая за ним ухаживает. Она учительница русского языка в одной из московских женских гимназий, которая не выдержала, пошла в сестры милосердия и вот его выходила. Ольга Ивановна приписывала несколько любезных фаз, какие приняты в таких случаях, как счастлива была узнать Александра Матвеевича и рада, что он обещает познакомить ее со своими лучшими друзьями, расположение которых надеется заслужить.

По выходе из госпиталя, кажется в мае они приехали вместе и прогостили недели две. Хлебушка буквально сиял, глядя на свою «молодую». Однажды я слышал, как он сказал отцу, что подобного счастья никогда не ждал, что часто просыпается утром и не верит, что ему такое выпало, что они без сговора одинаково все видят и чувствуют в окружающем мире. Разве это не чудо?..

Ольга Ивановна оказалась некрасивой, но и не уродливой, вполне интеллигентной, живой, немного восторженной дамой или скорее недавней пожилой барышней, по высказываниям и манерам. Впрочем и Хлебушка был очень во многом из того же теста – поступками и помыслами, как дитя.

Он и она впервые вступили в брак и было что-то немного смешное и одновременно очень трогательное в том как влюбленно смотрели друг на друга, как Ольга Ивановна гордилась его орденами, чином, раной, а Хлебушка тоже горделиво оглядывая слушателей, когда его жена говорила что-нибудь «умное» по части литературы или истории – выказывала свои знания. И оба благодаря своему чувству почти не замечали того, что делалось в стране, что видели уже многие, в том числе мой отец, прозревавший всю несбыточность надежд февраля и марта.

В это лето в Старорусском курорте уже не играл симфонический оркестр, потому что парк ежедневно буквально заливало море солдат запасного пехотного полка, нежелающих заниматься уставами и строевыми учениями. Я видел как в нашем переулке кучка солдат выворотила на землю котел с чечевичной кашей, крича: – Пушай ее каптенармус да свиньи жрут! Небось офицерам другая пища! – Солдаты с красными бантами на гимнастерках ежедневно митинговали в клубах и на улицах, отказывались идти на фронт по призывам Керенского и «министров-капиталистов», хотя полковые и другие комитеты, состоявшие в большинстве из эсеров и трудовиков, призывали товарищей быть «сознательными и защищать завоевания революции».

На спектакли театра Незлобина солдаты ходили мало, его посещала по-прежнему «чистая публика» и Александр Матвеевич со своей «молодой» почти каждый вечер смотрели там спектакли. Возвращались они к ужину оживленные и счастливые. Ведь она была москвичка и ярая театралка.

Потом уехали, но часто писали. То-есть теперь писала уже Ольга Ивановна, а Хлебушка приписывал несколько строк. Надвинулся и прошел Октябрь. Письма после него перестали приходить. В январе Александр Матвеевич приехал один. Без погон, кокарды и оружия, серая мятая фуражка неизвестного воинского чина, каких тогда сотни тысяч двигались по России во всех направлениях в метели революции. Худой, голодный, вшивый, пропахший потом и махоркой, с землястым, застывшим, как в столбняк, лицом, с седыми висками, он ехал из Москвы трое суток на тормозных площадках товарных вагонов или в тамбурах пассажирских, потому что не умел силой врываться внутрь и ночью слезал с поезда, чтобы передохнуть от вони и толчков, поспать на станционном полу вповалку с другими пассажирами.

Я, 14-летний мальчик, единственный бывший дома из молодого поколения – оба брата были уже военными и еще не добрались до дому после демобилизации, старался быть к нему внимательным, – помог отмыться в ванне, отнес к знакомому сапожнику его стоптанные порыжевшие сапоги. Родители мои, сразу увидев, что он «не в себе», дали отдышаться, отоспаться и только на второй вечер отец спросил при мне, зайдя в комнату при своем кабинете, где теперь устроили Александра Матвеевича – мезонин не отапливался.

– Хлеба, а где же Ольга Ивановна?

– В Москве осталась, в своей квартире. Ждет меня там, а я приехал проститься и может быть кое-что из ее золотых вещей сменить на продовольствие, самое емкое в дорогу, если советом поможете, – пшеница, сахару сколько-то... Решили ехать в Забайкалье, на мою родину. Не знаю только проберемся ли, судя по тому как сюда ехал. Но в Москве жить невозможно, уже голод форменный, для таких как мы.

– А что там делать будешь? – спросил отец.

– Погляжу. Ольга Ивановна учительствовать, а я могу счетоводом стать, а то хоть садовником или чернорабочим. Теперь офицерство тому не помеха, – он криво усмехнулся. – Ты знаешь, Миша, я думал, что не люблю русскую армию, даже будто иногда ненавидел ее, а оказалось, что развал ее и гибель мне так тяжело дали, что и рассказать тебе не могу. Ведь это какая сила была... Рук, видишь, в России, не нашлось, чтобы ею управлять... И брошено сейчас имущество, на которое вся страна работала не одно десятилетие, на больше миллиона рублей – пушки, лошади, кухни, госпиталя... Рвут из этого солдаты, что урвать сумеют – от седел крылья на подметки режут, подлещи! Только винтовки да револьверы с собой ташут, чтобы по деревням разбойничать... Едва пережил, честное слово. Впервые в жизни застрелиться думал. Да Олю жалко. А был бы один... Да еще солдаты меня побили. Отчего так в Москве задержался.

– Твои солдаты? – сморщившись, спросил отец.

– Нет, что ты. Мои бригадные комитетчики дали и литер до Москвы и дальше в Забайкалье и продовольствие сколько могли с вестовым вдвоем унести. Он, милыга, до Москвы нас проводил и обратно в бригаду поехал... Чужие солдаты в Москве на улице били.

– Да за что же?

– За то, что офицер... Услышал как двое пехотных, должно быть, немного выпивших, пристали к женщине-старухе, вроде горничной, которая тоже старую собаку прогуливала. Ругают ее, что буржуйскую суку холит, грозятся, что ее и старуху в прорубь столкнут. Я вступился, думал урезонить. – А ты кто – офицер? За господ заступаешься? За буржуев? И давай бить кулаками по лицу. Один бьет, а другой сзади за локти держит. Здоровые оба, чувствую кровью рот, а потом и глаза залило. У него персты у подлещи вроде кастета... На мое счастье три других солдата проходили, да артиллеристы. Увидели по моим петлицам, что свой. – Стой! Чего бьете! За что? Кто такие? – Мы анархисты, – мои истязатели говорят, – а он буржуйку защищал. – А, анархисты! Где ты кольцо скрал, такое господское? Так-то революции служишь? – Тут новые трое давай тех двоих лупить. Да уж покрепче, чем меня – с ног долой да сапогами со шпорами: А я от греха поплелся, зубы выплевываю, да снег к лицу, к глазам...

– Когда это случилось? – спросил отец, поблдевший от такого рассказа. Меня тоже колотила дрожь. Мама ушла, плача, из комнаты.

– Месяц назад с деделей. Отлеживаться дома пришлось. Врач все лицо мне забинтовал, один глаз здоровый кажись, оставил. Хорошо, говорит, глаза уцелели... Одним-то он мне 2 недели смотреть запретил. А не подойди те артиллеристы, так убили бы. Морды звериные, от крови офицерской осатанели, в раж вошли. Верно не первого меня били... А у Ольги Ивановны комнаты нетопленные, мебели мы немало уже сожгли, надо уезжать.

– Так может тебе штатское свое надеть, в котором до отъезда в Туркестан ходил, оно, верно, у Лизы в сундуках цело. Или, еще вернее, тот плохонький костюм, в котором из Аргентины приехал.

– Может быть... – сказал Хлебушка, – хотя нет, ведь литер-то на военнотрудового бригады выписан, разве на будущий обмен захватить, который поновее. А тот, аргентинский, эта, как ее, эльзаска... стыдно, но забыл, как звали... гастошкина мамаша, на пароходе штаны мои не раз штопала, а я в одеяле сидел, – он улыбнулся этому воспоминанию, едва ли не в первый раз за этот приезд.

Через три дня Хлебушка уехал, увозя и золотые вещи Ольги Ивановны и мешок с добытым отцом у пациентов в кредит под будущее лечение двумя брусками шпига, фунтом чаю, жестяной банкой крупы, другой банкой меда и статским своим платьем. А главное порученный работам пожилого кондуктора, сына которого папа только что выгнал из сыпняка.

Все страшные, бурные годы гражданской войны ничего не было слышно о судьбе этой пары. Их вспоминали в числе друзей, которых унесло вихрем тех лет, о которых, как говорила бабушка Людмила Николаевна, то ли молиться «за здравие», то ли «за упокой»?.. Добрались ли они до Забайкалья или давно умерли где-то от тифа или дизентерии, а то расстреляны и зарыты на безвестном кладбище? Ведь такие оба беспомощные, неумелые, неспособные солгать, непригодные к жизни вне своих профессий. А он еще и полковник, к тому же.

Конечно и нашей семье жилось нелегко, непросто, неспокойно. Отца, работавшего в военных госпиталях, три раза арестовывали в качестве заложника и над ним висел расстрел. Один раз его судил ревтрибунал по обвинению во взятке за освобождение от военной службы, но оправдал полностью. Мы все трое были в армии и старший брат пропал без вести в 1919 году. Но профессия отца, его популярность среди местных крестьян, которых десятки лет лечил в больнице и в окрестных деревнях, в большинстве случаев бесплатно, давали возможность

жить и даже подкармливать нескольких друзей. То один, то другой пациент привозил муки, картошки, а то и масла, мяса: эта особенность нашего домашнего хозяйства подвигла моих добрых родителей взять из детского дома двух до предела изголодавшихся сирот, Валерьяна и Александра Закревских. Если добавить к этому, что еще с лета 1917 года в нашем доме появилась брошенная матерью девочка 9 лет, Лена Барканова, то можно представить сколько прибавилось отцу и маме забот, не только чтобы накормить, но еще одеть, обууть, блюсти этих ребят в чистоте и приглядывать за их школьными занятиями.

Кажется зимой 1918–1919 гг. в Руссе разместили штаб Западного фронта и на постой в отцовский дом поселили инспектора артиллерии фронта, бывшего полного генерала Василия Тимофеевича Гаврилова. По игре судьбы он оказался немного знаком с отцом с русско-японской войны, когда командовал 1-ой Забайкальской батареей. Крепкий, прямой, опрятный, немногословный с суровым выражением красноватого лица, Василий Тимофеич казался мне стариком, но по наведенным позже справкам в 1919 году ему было 53 года. Как теперь бы выразились, он был «работяга» – после часов проведенных в штабе, вечерами гнул нас над какими-то делами, которых часто бывало столько, что вносил их в дом под обеими руками. За ним по утрам подавали коляску парой и привозили его на ней же. За спиной Василия Тимофеевича был долгий боевой путь: китайская и японская войны в строю, в 1912–1914 гг. командование бригадой, потом на войне с немцами все выше, вплоть до корпуса. За японскую войну получил Георгия IV степени и звание флигель-адъютанта, но в свите не пришелся ко двору и вскоре вернулся в строй, произведенный в генералы, но без оставления в ее списках. Василий Тимофеевич никогда не был женат и всю самостоятельную жизнь содержал двух старших незамужних сестер. Им в Петроград то с курьером, ездившим в штаб округа, то со своим вестовым он раз в две недели отправлял половину своего пайка и целиком «табачное довольствие». Перед отправкой все сам пересчитывал, перевешивал, упаковывал и составлял опись, в которой сестры должны были расписаться.

Всего один раз за время его «постоя» я вошел в ту комнату в мезонине, где постоянно жила Хлебушка. Я принес Василию Тимофеевичу письмо, пришедшее по почте от «сестриц», как он называл, в то время, когда простудившись по настоянию отца три дня провел в постели. Мебель была та же, но порядок царствовал образцовый, хотя прибавился стол с керосинкой, пакетами круп и еще чего-то. Поблагодарив за письмо, он просил подать очки, лежавшие на письменном столе. Они нашлись не сразу – лежали под бумагами, над которыми, очевидно, работал. Красный и синий, отлично очищенные карандаши покоились тут же. Отыскивая очки я рассмотрел стоящую на столе фотографию: сидящие рядом две девушки с грубоватыми чертами лиц, одетые в одинаково строгие закрытые платья и за ними, опираясь на спинки стульев, выставив грудь увешанную орденами, застыл суровый полковник стриженный бобрком.

– Не привязанностью ли к этим одиноким девушкам, объясняется то, что генерал оказался здесь, а не у белых? – думал я, сходя с лестницы. – Что стало бы с двумя старушками без него, их единственного охранителя и кормильца? Или, как не раз уже слышал сознательно встал на эту сторону, в числе многих кадровых офицеров, увидевших во время войн все недостатки и бессилие старого режима?..

Я служил в это время в полку, квартировавшем в Руссе, и, если не дежурил или не плясал на бесчисленных танцуйках, то вечерами присутствовал при разговорах отца с Василием Тимофеевичем, приходившим вечером выпить чаю из самовара, принеся в коробочке мелко наколотый сахар. Однажды они заговорили о Хлебушке.

– Как же я хорошо помню Александра Хлебникова, – сказал Василий Тимофеевич. – Я служил во 2-й батарее, когда он туда из училища вышел. Редких способностей по математике офицер. Мы тогда над ним шутили, что вместо

романов читает таблицу логарифмов. Он ведь в инженерное училище хотел поступить, но войсковое начальство не разрешило. Сосчитали, что казаку там делать нечего, раз мы конное войско. И довольно глупо. Отлично бы строил нам же казармы и цейхгаузы... Да, я слышал, что он вышел в запас и куда-то за границу ездил, а потом в Туркестане у Самсонова служил. А теперь не знаете где?.. Насчет политики, нам кадетам и юнкерам, читать и говорить твердый запрет был положен. А дельному офицеру просто некогда этим заниматься было, если все делает, что предписано законами... Только теперь пытаюсь кое в чем разобраться – Плеханова, Каутского, Энгельса читаю, но и на них времени не хватает, если свои обязанности выполнять не кое как, если честно служить.

Через полгода штаб перевели в Смоленск и Василий Тимофеевич навсегда исчез из поля зрения нашей семьи, навсегда же оставшись в моей памяти как своеобразная тень тех лет с почти несомненным горестным, если не трагическим концом жизненного пути...

Прошло еще года три. Миновала гражданская война, шел кажется, 1923 год. Тихим летним вечером, перед тем как уйти поболтать в курортном парке, я колот дрова у дверей пустого теперь каретного сарая, превращенного в дровяник. А старший из мальчиков Закревских, Валерьян, носил наколотое и складывал в сарай. Калитка звякнула шекодой и на двор ступил невысокий человек в защитном бумажном обмундировании, неряшливо запоясанный и с вешевым мешком за плечом. В руке он держал летний шлем. Над лбом светились ровная шетина коротко стриженной седины.

– Будто, что Владея? – сказал он, ступив несколько шагов и тут только я узнал Хлебушку, сгорбленного и постаревшего, с изменившейся, тяжелой походкой. Мы обнялись. – Никак все-таки стал военным?

Я был в казенной базовой нижней рубашке и в синих галифе, остатках кавалерийского обмундирования, на ногах опорки высоких сапог.

– Нет, только был им. Теперь студент университета.

– Ну, слава богу. А я все, видишь, – он указал на свой левый рукав, там краснели выцветшие матерчатые звезда и три кубика.

– Дивизионом командуете.

– Нет, преподаю на командных курсах в Калуге. В первый раз отпуск получил.

– А Ольга Ивановна где же?

– Оленька умерла от тифа в Омске в январе 1920 года, – ответил Александр Матвеевич, как-то еще больше сгорбившись.

Но через минуту как-то встряхнулся, поправил за плечом вешевой мешок и прежде чем тронуться к крыльцу спросил: – Что родители, бабушка и Лиза здоровы, я уже знаю. От Москвы ехал с доктором Белгородским в одном купе, но разговорились только утром уже ввиду Руссы... А это что же за юноша такой? Здравствуй, – отнесся он к Валерьяну и подал тому руку.

На этот раз Хлебушка прожил у нас дней 20. Рассказывал, как служил у Колчака, по возрасту назначенный в артиллерийское управление, какая была там неразбериха и сколько по тылам болталось бездельных офицерских чинов, которых тшетно пытались отправить на фронт. Как заболела тифом Ольга Ивановна и он очевидно от нее заразился, как очнулся после долгого беспомысленства уже вдовцом и «под красными». Да еще оказался и без всякого имущества. Хозяева дома, где снимали комнату, сочли, что оба умерли и уходя от красных захватили все носильное, белье, одеяла, все, что смогли.

– Поправился я, немного окреп в госпитале, только благодаря доброте, твоего, Миша, коллеги, тамошнего главного врача Померанцева, – закончил свой рассказ Хлебушка. Он объявил меня красному начальству своим близким другом, которому будто чем-то обязан, хотя едва знакомы были до моей болезни, просто пожалел. А как стал выходить, то вызвали меня в военный комиссариат и предложили преподавать на командных курсах.

– А ты разве раньше преподавал? – удивился отец.
 – Один месяц в жизни, – улыбнулся Хлебушка. – Во время войны по просьбе генерала, начальника артиллерии корпуса в 3-х бригадах прочел офицерам курс ознакомления с французской 75-миллиметровой пушкой, так называемой «Пак-пак». Их тогда наше правительство за недостатком своих, к слову сказать, лучших, несколько тысяч закупило.

– А ты откуда эту французскую пушку знал? – удивился папа.
 – Тот же генерал мне ее чертеж и описание дал. Невелика мудрость. Но ты слушай дальше. Я конечно взялся преподавать, паек сразу дали, шинель, еще кое-что. Но недоумевал, откуда такое назначение? Только через месяц один из красных артиллеристов мне сказал, что он из тех, кто меня прапорщиком слушал, и узнавши, что я в госпитале в управление свое написал, чтобы использовать. Словом – тоже пожалел, спасибо ему. Важно конечно, что я у Колчака не в строю служил.

– Но почему вы не писали столько времени? – упрекнула мама.
 – Виноват, но просто страшно как-то было. Казалось, время такое, что может вы все умерли. Или с Михаилом Павловичем, с мальчиками что случилось и вам не до меня. К тому же воспоминаниями был придавлен – чего только не посмотрел за эти годы и Ольгу Ивановну потерял... Ведь даже могилы ее не нашел. В спешке кое-как тифозных хоронили, чтобы заразу пресечь. А теперь слух прошел, что нас всех демобилизуют, т.е. бывших офицеров, особенно же, конечно тех, которые у белых служили. Вот и решил – была не была, – поеду хоть на пепелище дорожке посмотрю, перед тем как навсегда в Забайкалье убраться.

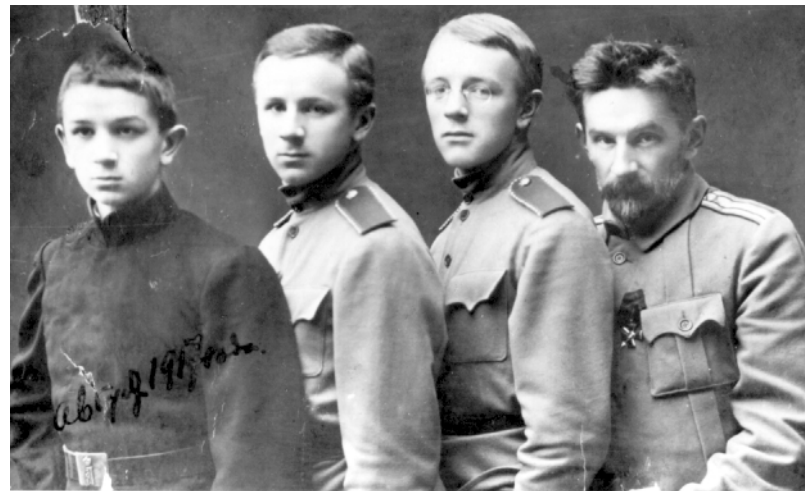
– Хочешь все-таки туда уехать? – спросил отец.
 – А куда же?... Кости лучше всего в родном краю сложить. «И хоть бесчувственному телу» – помнишь? Так вот «милый предел» для меня все-таки Забайкалье.
 – Ехал бы к нам сюда лучше. Найдем тебе работу.
 – Не знаю, Миша, подумаю. Спасибо... Но ведь и могила Ольги Ивановны, хоть точно неизвестно где, а все в том краю...

Мне кажется очень характерным, как отнесся Александр Матвеевич к появлению в нашем доме трех детей. Он не выражал, как делали некоторые знакомые, восторгов перед добротой моих родителей, взявших в семью три лишних рта в такое трудное время. Он принял ребят будто искони здесь существовавших, добродушно, ласково, чуть-чуть шутивно, хотя в тот приезд был, конечно, задумчивее и грустнее прежнего, даже второго отпуска за время войны. Но много позже, ставши уже студентом-медиком Валя Закревский рассказал мне, как почти ежедневно Хлебушка совал им все по карманам шоколадки, запрещал благодарить себя, а также говорить об этом кому-нибудь. А ведь командирское жалованье тогда платили самое мизерное и, несомненно, по части даже самого холостяцкого хозяйства в Калуге у него было весьма скудно.

В этот отпуск Хлебушка опять особенно много времени проводил в саду. Отец как раз в эти годы увлекся разведением роз и было у него уже кустов до 30, самых различных цветов и оттенков. Хотя Александр Матвеевич по-прежнему немало времени проводил в разговорах с бабушкой, хотя он не раз сопровождал отца, как бывало в Кисловодске, во время визитов к больным, но особенно запомнился он мне в саду. Из каретного сарая он принес небольшую чурбашку и вечерами садился на нее перед каким-нибудь кустом роз. Там и вижу его до сих пор. Сидит на дорожке один – старый, серый, мятый, но на скуластом желтом лице просветление, – восхищен кусочком прекрасной природы. Или обопрется спиной на ствол дерева и смотрит как ветки кустов и дерев колышет ветер, как листья под солнцем трепещут и поблескивают.

– Утешает то, – сказал он мне, когда я застал его за таким созерцанием, – что красота природы вечна и будет радовать еще миллионы и миллионы людей.

М.П.Глинка с сыновьями Владиславом, Сергеем и Михаилом. 1917



И еще запомнилось одно высказывание его в разговоре с отцом. Мы втроем сидели на скамейке в глубине сада и курили, отгоняя дымом вечерних комаров.

– Я их учу стрелять потому, что по-моему они в основном правы, – говорил Хлебушка. – То есть отбросив все жестокости, свойственные революции и гражданской войне, помноженные на дикую русскую природу, – в том правда, что вся земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. Это у большевиков справедливо. Что банки и заводы взяли в свои руки – тоже правильно. Ведь небось Временное, как и все белые правительства, даже насчет земли, в самом для России насущном вопросе, ничего путевого мужику обещать не могли. Так за кем же им идти? За теми, кто сразу в руки дает самое заветное, необходимое, или за теми, кто говорит: – Вот, уж, обсудим, пора ли вам это самое необходимое и законное отдать, и сколько из той земли господам помещикам оставить... А вот, что я никак не соглашусь правильным признать и что по-моему чистое преступление против нравственности – это, что водку опять начало само государство гнать и на любом углу ее продавать в неограниченном количестве. И все разговоры, что так борются с самогонщиками – это для детей или для дураков. Никогда кустарным путем и тысячной доли того не выгонишь, что казна впустит. Это я расцениваю не только как ошибку, но как именно как преступление перед тем народом, который за ними пошел в огонь и в воду. Водка губительно скажется на следующих поколениях, на их уме, на качестве любого труда.

Через несколько дней он уехал. Мы с папой проводили его на московский поезд, посадили его в вагон с корзинкой продовольствия и он помахал нам шлемом с красной звездой из окна. Таково было последнее свидание Хлебушки с нашей семьей. Через полгода написал, что его демобилизовали и дают литер до Читы, потом стал присылать письма, сообщал, что работает счетоводом в совхозе. А кажется в 1926 году, написал, что во второй раз женился и опять на учительнице. Мама утверждала, что даже почерк этой новой ее корреспондентки похож на почерк Ольги Ивановны и слог у них почти одинаковый. Мои родители, конечно, послали «молодым» 6 каких-то серебряных ложек, они благодарили и описывали, как хорошо у них в саду – питомнике при сельской школе II ступени, где она преподавала и во флигеле которой жили. А Хлебушка спрашивал отца о прививках на каких-то плодовых деревьях и я носил на почту зашитые в холстину саженцы, которые благополучно дошли и даже привились.

«Стареем, но счастливы нашей дружбой, окруженные природой, отношением взрослых и учеников», – писал Александр Матвеевич в одном из писем, кажется уже в 1928 или 1929 году.

А в 1930 году письма из Забайкалья перестали приходить. Потом мои родители получили треугольник без конверта и марки, опущенный женой Хлебушки на какой-то станции в Казахстане. Как дошел – бог весть. Она писала, что А.М. устно и письменно протестовал против несправедливостей, допущенных при коллективизации и что, очевидно, его уже нет в живых, а она едет на новое место другой работы, со старой ее уволили и «новое место точно указано» – понимай, что едет едва ли не под конвоем.

Вот вкратце история жизни друга моего отца – на мой взгляд – жизни одного из близко виденных мною «праведников».

Эльва – 1980 год

КОЛОКОЛА

Я родился и вырос в Старой Руссе, где на восемнадцать тысяч жителей было двенадцать церквей, звонари которых тоже, конечно, соперничали между собой. Но не о родном городе вспоминаю я на этих страницах. Русса лежит в девяноста верстах от тогдашнего губернского города, в котором жили родственники моего отца – двоюродный его брат и лучший друг Алексей Алексеевич Булатов с семейством и тетка Ольга Николаевна Бубнова со взрослой дочерью. В те годы я, младший из братьев, обычно ездил в Новгород с мамой, которая почти всегда останавливалась у Ольги Николаевны, вероятно, чтобы она не обижалась, потому что отец предпочитал проводить вечера у Булатовых, где мог поговорить с дядей Лешей о занимавших обоих земских делах, о политике и вспомнить детство, проведенное бок о бок.

Ольга Николаевна, которую отец мой называл тетей, собственно, не состояла с ним в родстве, а была вдовой рано умершего любимого сверстника и троюродного брата моей бабушки, армейского пехотного подполковника. [...]

Так вот эта для нас – братьев уже бабушка Оля жила в Новгороде на Нутной улице и очень хорошо знала голоса колоколов большинства городских и окрестных церквей. [...] Когда утром или вечером начинался благовест, она, перекрестясь, говорила:

– Вот за Ярославовым двором у Михаила Архангела ударили... Вот Федора Стратилата голос. Там звонарь торопыга, частит, чувства никакого... А вот из Юрьева по воде доплыло... Слышите? У них в главном колоколе серебро орловское...

А потом все перекрывал густой, мощный удар.

– Матушка София... – говорила тетя Оля.

В Новгороде тогда было более сорока действующих церквей, да вокруг него пять или шесть монастырей. И везде «правили» колоколами постоянные звонари, часто с помощниками и учениками. Пусть не все, но некоторые из них, несомненно, брались за это занятие, требовавшее силы и сноровки, если не искусства, и почти безотлучной жизни при церкви, как за ремесло, угодное Богу, с верой в его необходимость. Звон плыл над городом, плыл над водами и берегами Волхова, стлался над окрестными полями и перелесками. И все или почти все в городских домах и в избах, на улицах и во дворах, на дорогах и полях, за работой и во время отдыха, при начальных звуках этого освященного веками концерта обнажали головы и крестились.

Верно, тем, кто жил рядом с церквями, было тяжело от медных голосов над головой. Но как же, казалось, вросли в русскую жизнь вековые обычаи и как ее украшали.

Бабушка Оля не была особенно богомольной и не выстаивала по субботам и воскресеньям полные службы в церквях, как заходившие к ней две приятельницы, тоже вдовы старые дамы. Однако не пропускала некоторых праздничных служб и обязательно в конце мая ездил на торжественную вечерню в Юрьев монастырь. Для этого случая она и ее дочь, тетя Юля, одевались и причесывались, как к светлому празднику. Помнится, я слышал какое-то упоминание, что с этой вечерней в Юрьевом было связано некое важное воспоминание бабушки Оли – чуть ли не предложение выйти замуж, которое сделал ей тот самый кузен моей бабушки, возвращаясь после вечерни в город. Или он был ей представлен, то есть они познакомились, впервые подали друг другу руки при выходе из церкви. И такая возможность была вполне естественна, потому что в этот вечер в Юрьев монастырь съезжался, по выражению тети Оли, «весь Новгород», как на торжественный весенний праздник. Я не помню точно, но, может быть, это был Духов день или Троица, когда дома украшали молодыми березками и комнаты наполнялись прекрасным запахом их блестящих юных листков.

Итак, в мае 1914 года моя мама поехала в Новгород и взяла меня с собой. В ту весну я благополучно перешел во второй класс Реального училища, был освобожден от экзаменов и в награду за это поехал, чтобы познакомиться с новгородскими древностями под руководством тети Оли, которая будто бы все о них знала и любила их показывать. Она окончила гимназию, потом какие-то курсы в Петербурге и давала частные уроки четырех иностранных языков. Особенностью тети Юли была необычайная разговорчивость, так что мой отец как-то выразил уверенность, что обучаемые получают только пассивное знание языков, ибо она не дает им и слова сказать.

Моя мама ехала в Новгород с грустной миссией – надо было навестить в Комовской психиатрической больнице, находившейся в трех верстах от города, недавнего репетитора моих старших братьев студента-филолога Ивана Викторовича Русанова. Он был давно осиротевший сын какого-то старорусского мешанина, учился всегда отлично и вот помешался, будучи на последнем курсе университета, вообразив, что открыл нечто новое в языкознании. Главный врач больницы писал моему отцу, что не надеется на излечение пациента, но что тот очень одинок, и хорошо бы проявить к нему внимание.

Мы ехали с мамой на пароходе «Отец Иоанна Кронштадтский». Этот белый колесный ветеран был построен в Ливерпуле в 1860 году, о чем я много раз читал на медной литой доске, прикрепленной над трапом, ведшим в машинное отделение, казалась мне тогда чудом техники и комфорта. Сквозь люк этого железного рифленого трапа виднелись сверкающие сталью и маслом непрерывно движущиеся штивы, а в салоне первого класса стояли диванчики, обитые красным плюшем и столики «под красное дерево» на четыре персоны. И часа три подряд за окнами сверкало на солнце бескрайнее голубое озеро Ильмень – первое открытое море, которое я увидел.

Около десяти часов вечера причалили в Новгороде у тенистого Лерховского бульвара и были встречены бабушкой Олей с дочерью. Багаж наш состоял из одного небольшого чемоданчика, которым тотчас завладела энергичная тетя Юля, и мы двинулись пешком, потому что путь был недалекий. В Новгороде ночи в конце мая почти такие же белые, как в Петербурге, и вскоре мы вступили в глубину какого-то двора и оказались перед одноэтажным деревянным флигелем с множеством белых цветов на кустах в палисаднике перед фасадом. В комнате, куда мы вошли, на столе кипел сверкающий самовар, и кружились над лампой мотыльки, и вскоре я сладко засыпал на каком-то очень мягком диване под легким

пуховым одеялом. В открытые в палисадник окна шел запах цветущей черемухи. В моей памяти все в этом домике осталось каким-то особенно вкусным, чистым, уютным, праздничным, хотя жили в нем очень скромно.

Утром мама уехала за покупками и в Колмово, а мы с тетей Юлей пошли в Кремль. Когда, отойдя к собору, она рассказывала мне историю Корсунских врат и показывала смешные, как мне тогда казалось, тошние фигурки различного роста, изображавшие его строителей, то есть архитекторов и так называемых заказчиков, к нам присоединились два молодых человека – ее ученики. Один очень смешливый офицер в фуражке с красным околышем был с круглой юной мордочкой, очень похожей на веселого зайца из детского журнала, другой – наоборот, выглядел чрезвычайно серьезным. Он был тощий, длинноногий и длиннорукий, с какими-то очень чистыми длинными зубами и также будто бы только что вымытыми щеткой и отглаженными правильными чертами продолговатого лица. Одет он был в очень строгий серый костюм. Офицера звали Петей, а статского Олафом. Первый учился у тетки французскому языку, второй – русскому. Олаф – лейтенант или капитан шведской службы приехал в Новгород изучать русский язык и русскую историю, поскольку собирался стать атташе шведского посольства в Петербурге. А Новгород он выбрал потому, что в нем дешевле жить, чем в Петербурге, и в нем очень много старины. Приехал швед в Новгород и поселился на год без малейшей помехи. Вот такие были смешные времена.

Возвратившись на Нутную, мы позавтракали, мне дали посмотреть кипу английских спортивных журналов, а хозяйки занялись приготовлениями к вечерней поездке в Юрьев – что-то гладили, подшивали, завивали прически. Запахло духами, бензином и слегка опаленными волосами. К обеду возвратилась из Колмова очень грустная мама. Больной узнал ее, расспрашивал о знакомых, но под конец, понизив голос, попросил привезти ему карманный электрический фонарик, без которого он, работая тайно по ночам, не может закончить свой главный труд, доказывавший, что санскрит является языком всех франкмасонов мира.

– Ужасно, что сам человек ни в чем не виноват, – говорила мама, – и так страдает за грехи предков.

Как я уже позднее узнал, подразумевался запойный алкоголизм отца и деда.

Мы уже кончали обедать, когда под окнами, ведя велосипед, прошел Олаф. Войдя, он был представлен маме и уселся на диван. Я рассмотрел, что у него веселые серо-голубые глаза. Оказалось, что он не только умеет слушать тетю Олю, но и говорить по-русски – смело, хотя и забавно. На предложение пообедать, он ответил:

– Благодарю вас, я уже в пансионате все блюда съел.

Потом тетя Юля затрещала, вознаграждая себя за молчание во время еды, уверяя, что Наде, то есть моей маме, будет интересно побывать на торжественной службе в Юрьеве, увидеть этот древний храм, послушать хор, который там очень хорош. Из слышанного на меня сильное впечатление произвело то, что новгородский архиепископ Феогност, мощи которого почитают в монастыре, на последние три года жизни удалился от мира, чтобы «пребывать в безмолвии».

Воспользовавшись минутой, когда тетя, переводила дух, Олаф спросил, можно ли доверять церковным источникам – он подсчитал по только что услышанному, что Феогност был епископом 70 лет, а ведь до этого состоял же он священником, – так не много ли выходит? И священником ведь ранее двадцати лет навряд ли становились. На что тетя Юля, мига не задумавшись, ответила, что шестьсот лет назад, когда жил святой угодник, люди были куда крепче и что, наверное, именно оттого, что он более семидесяти лет говорил проповеди, ему и захотелось помолчать. У меня мелькнула дерзкая мысль, что она-то сама, столько бы ни жила, навряд ли захочет «пребывать в безмолвии». Я посмотрел на бабушку Олю и увидел, что, встретясь с моим взглядом, она с трудом сдержала улыбку.

А тетя Юля уже без перерыва повествовала дальше, и все про Юрьев монастырь – один из самых богатых в России... Тут бабушка Оля указала дочери глазами на стенные часы и та убежала в их спальню, чтобы переодеться.

До этого вечера я бывал только в небольшом женском Касинском монастыре под Старой Руссой. Монахини очень красиво вышивали буквы белой блестящей гладью, и мама отвозила туда метить столовое и постельное белье. За красной кирпичной стеной этого монастырька с зелеными воротами, открывался мошный двор с церковью и несколькими скромными постройками. В церкви по простонародному однотонно голосили несколько пожилых монахинь, и очень невнятно служил старый лысый священник отец Герасим в потертом облачении. Встретясь однажды с мамой и со мной на монастырском дворе, он, поздоровавшись, заговорил совсем крестьянским языком, жалуясь, что за время службы, даже летом у него стынют ноги «хоть в трое чулки шерстяные наденься». При этом отец Герасим простодушно выставил из-под края подрясника ногу, обутую в низкий башмак, вроде опорка от высокого сапога, над которым пузырились складками толстые серые шерстяные носки. Этот отец Герасим был самый земной, простой и пахло от него по-крестьянски дегтем и дешевым табаком. Зато монашка, присившая нам домой белье с готовыми метками, казалась мне существом особенным, из совсем другого мира. Мама звала ее Дунечкой, она носила еще платок, а не скуфейку, должно быть, была послушницей. У нее было молодое, тонко очерченное, очень красивое лицо с бледной, какой-то прозрачной кожей и бескровными губами. Ни на кого из нашей семьи, она, присев на кухне, ожидая расчета за работу, не поднимала глаз и отвечала на вопросы односложно и тихо. Только раз я слышал ее более повышенный голос. В тот морозный зимний день Дунечка принесла какой-то заказ, шла до города три версты, и мама уговорила ее присесть в столовой, где на диване монахиня разложила принесенные наволочки и полотенца. Я сидел, что-то рисуя за другим столом, спиной к ним, и услышал, как мама опросила:

– Дунечка, а вы никогда не жалеете, что пошли в монастырь?

И послушница ответила, как всегда тихо, но, не помедлив и минуты:

– А что я в миру видела, Надежда Сергеевна? Как отчим мамашу мою битьем в гроб загонял? А потом и самой от него жизни не стало... А тут хоть знаю, что работаю на обитель, на сестер. И в келью никто не вломится...

Мы ехали в Юрьев на очень чистой и покойной извозчицей пролетке. Бабушка Оля и мама сидели рядом, в очень похожих, как мне казалось, платьях сурового полотна, украшенных крестецкой строчкой, и в шляпах светлой соломки с бантами из лент. Мамин туалет красила только ее любимая брошка из резных кораллов в тонкой золотой отделке и тонкая же золотая цепочка с вечным ее лорнетом в черепаховой оправе. Бабушка Оля не украсила себя ничем, но была свежа, оживленна и о чем-то переговаривалась с мамой, когда удавалось вставить слово в нескончаемый поток болтовни тети Юли. А та в розовом, с массой каких-то сборочек и кружевных вставок платье и широкополой шляпе с искусственными розами, к моему удивлению, уселась со мной рядом, напротив основного сидения и, взмахивая рукой с серебряной кольчатой сумочкой и упершись в край пролетки светлой лайковой туфлей, все говорила и говорила. Сумочка ее звякала, как кольчуга. Я вспомнил, как папа и дядя Л□ша, называли за глаза свою кузину «кофейной мельницей» или «швейной машинкой».

Когда выехали из города на шоссе, то попали в поток направлявшихся в ту же сторону экипажей. Мы то перегоняли кого-то, то перегоняли нас, и очень многие раскланивались с Бубновыми. А Юля так и сыпала, видимо, для сведения моей молчавшей мамы, фамилиями, должностями, чинами, родством тех, кто мелькал мимо. В перегонку с экипажами ехали верхом офицеры, и на велосипедах барыш-

ни, статские молодые люди, гимназисты, реалисты, – все принаряженные и в летней одежде. Тут же по тропке вдоль дороги шли простолюдины – кто в городском платье, а кто в заплятаных деревенских одеждах, с котомками и посошками – явные богомольцы и богомолки, приехавшие, а то и прошагавшие немалые пути издали к этой вечерне.

Погода выдалась отличная, по-весеннему нежаркая, на близко подходивших к дороге разливах Волхова ослепительно искрилось солнце, деревья и кусты чуть колебались, играя первым зеленым убором. Сквозь пыль и запахи лошадиного пота и сбруи порой пробивался доносимый ветерком особенный весенний аромат проснувшейся к плодородию вспаханной земли. Оживленный говор, скрип рессор, цоканье копыт, звонки велосипедов звучали празднично и весело, будто все направлялось на беззаботный всеобщий пикник, а не к торжественной церковной службе.

Когда остановились у высокой белой монастырской стены, около нее уже выстроилось множество экипажей – ландо, колясок, дрожек. В стороне, у коновязи переступали и фыркали оседланные лошади, покрикивали на них привалившиеся поблизости на траву вестовые, под деревьями, прислоненные к их стволам, поблескивали никелем десятки велосипедов.

– Весь Новгород здесь! – торжествуя, словно в том была ее заслуга, заявила тетя Юля, резво спрыгивая на землю.

Действительно, за распахнутыми воротами во всю длину широкой, в четыре квадратных палиты дорожки, шедшей до самой паперти величественного белого под золотым куполом собора, стояли или сидели на расставленных почти сплошными бордюрами зеленых скамьях нарядно одетые дамы и господа. Статские серые и синие костюмы, белые кителя чиновников, защитного цвета – офицеров, мешались с блеклыми тонами летних платьев дам. Звучала русская и французская речь. Сверкали и брякали никелированные ножны сабель, звенели шпоры, постукивали по камням трости. Колебались кружевные зонты, склонялись к ручкам дам проборы мужских голов. Легкий запах духов, бриолина, табачного дыма витал над толпой.

Едва мы прошли десяток шагов, как бабушке Оле и маме предложила свои места на скамейке некая юная пара. Я встал около, а к Юле подошли два молодых офицера – артиллерист и, как мне показалось сначала, тот самый пехотинец Петя со смешливой «заячьей мордочкой», что с Олафом слушал тетку около Софии. Но когда Юля представила их маме, оказалось, что пехотинца зовут бароном Александром Павловичем Витте. Фамилию артиллериста я забыл, но звали его Милий Яковлевич, что в соединении с его мощным торсом и густыми черными бровями и такими же усами показалось мне очень неподходящим. Тут к ним присоединился Олаф, приехавший из Новгорода на велосипеде, нисколько не запыхав и не помяв своего костюма.

Они с Милием, явно дурачась, спрашивали барона, где его неразлучный братец, какая дама задержала его в городе? И тот хотя отшучивался, но как-то тревожно оглядывался, будто иша кого-то, видимо, действительно хотел поскорее увидеть брата-близнеца.

А я глубокомысленно размышлял, отчего очевидные родственники знаменитого министра служат не в гвардии, а в армейском Выборгском пехотном полку и почему они бароны, а он граф?

Тетя Юля и ее великовозрастные ученики продолжали, болтая, шутить. Один говорил, что это первый весенний журфикс у Господа бога, другой указывал на стоявшего неподалеку своего бригадного командира – что, мол, покрасуется здесь, а отсюда прямо в клуб за карты. Статный генерал, красные лампасы которого ярко горели на еще высоком солнце, стоял посередине дорожки, действительно явно красуясь. Он раскатисто смеялся, а стоявшая рядом дама слегка ударяла его по рукаву перчаткой.

– Архип... Архип... – слышались голоса.

Все подняли головы. На верхней площадке колокольни, видимый нам почти в рост со спины широкоплечий, ярко рыжеволосый монах – медные кудри лежали на черных плечах, не оборачиваясь на прихожан, взялся, было, за толстую веревку. Но, видно, не так как-то встал, опустил руки, переменял было, поплевал на ладони, ухватился снова, качнул раз-другой, отклоняясь, откидываясь корпусом, а затем как бы глубоко кланяясь, и густой, тяжелый и благозвучный удар прогудел над замолкшей толпой. Будто ветер дунул – все мужчины обнажили головы, а дамские шляпы склонились в поклоне. Стаи голубей сорвались с карнизов монастырских построек, а тучи галок взвились с деревьев за стенами монастыря. Голуби тотчас расселись снова по местам, а галки еще продолжали летать и гадеть. За первым ударом на чинном интервале последовал второй, третий, четвертый...

– Этот самый и есть две тысячи пудов отливали? – громко спросил между двумя ударами швед.

Как бы отступая от звона, мы, вслед за другими, медленно двинулись к паперти, но не мы одни, а многие из «чистой публики», не спешили войти в церковь. Все, как и наша группа, отступая от звона, медленно передвигались ближе к паперти, но вдруг общее движение замедлилось. С разных сторон, от окружавших собор монастырских построек, показались черные одежды, клобуки и скуфьи. Явно не желая смешиваться с празднично одетыми прихожанами, они направлялись к храму, но, приблизясь, неминуемо оказывались не только рядом, но и между надушенными, разодетыми барами, превратившимися в откровенных зрителей, бесцеремонно, хотя и вполголоса выражавших свои впечатления.

Монахи, их было несколько десятков человек, шли сквозь толпу «господ», верно, минут пять. Старые и молодые, пузатые и худощавые, важные и скромные, в шегольских или выгоревших на солнце рясах они походили друг на друга только тем, что шли, не поднимая глаз. И безмолвному их движению в храм сопровождали мерные удары колокола. А на паперти уже толпились богомольцы из простолюдинов, окружали некоторых монахов, подходили к ним под благословение. А следом за монахами, как бы нехотя двинулись в собор еще оставшиеся вне его господа, уступая друг другу дорогу, шаркая по плитам широких ступеней паперти, вполголоса переговариваясь, пересмеиваясь. Тут и там вспыхивали как бы искорки недавних оживленных замечаний.

И вдруг, будто волшебник шикнул на всех этих мирских гостей монастыря. Мигом умолкли голоса, все замерло на своих местах и, обернувшись, смотрели на кого-то, кого я, по моему росту, сразу не увидел. В разом водворившейся тишине, – колокол как раз тоже перестал бухать, – слышно стало внятное воркованье голубей и неспешные, легкие шаги одного человека.

– Схимник... Схимник... – прошелестело в толпе.

Милий Яковлевич, взяв меня за плечи, передвинул немного в сторону, и я увидел, на что смотрели взрослые. Как, верно, и Олаф Оскарович, я до этого дня не знал, кто такой схимник. Опираясь на плохо струганную суковатую палку, к нам медленно приближался невысокий человек в черном. Худ он был до крайности. Верхнюю часть его лица скрывал черный капюшон с вышитыми или, может быть, накрашенными белым крестом и орудиями страстей Господних и только тонкий кончик желто-серого носа выступал над седыми, с прозеленью недвижными усами и бородой, окружавшими тонкие лиловые губы. Он проходил почти рядом. Я с небывалым дотоле чувством, близким к благоговейному ужасу, смотрел на эту часть застывшего, уже как бы неживого и незрячего лица, которое из всего залитого солнцем весеннего мира, видел одну землю, и на длинную епитрахиль с изображением того же распятия, на поочередно показывавшиеся из-под края ее порыжелые носки больших сапог.

Но вот он миновал нас, остановился у паперти, перекрестился, поклонился в пояс, медленно распрямился, поднялся по ступеням и скрылся в проеме церков-

ной двери. И в том же глубоком молчании, как бы устыдившись за недавнюю болтливость, все только что главевшие на схимника, начали, крестясь и склонив головы, входить за ним следом.

– Как в древние веки, – негромко прокомментировал швед.

Никаких особенностей тогдашней церковной службы мне не запомнилось. Разве что хор звучал особенно стройно и мощно. Все ушло из памяти, кроме того, что бабушка Оля указала маме на бронзовую позолоченную решетку и шепнула, что она ограждает могилы архимандрита Фотия и графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской.

За вечерним чаем я спросил бабушку Олю, почему графиня Орлова не вышла замуж, а все свое богатство отдала монастырю. Уже спросив, сообразил, что вопрос мой довольно бестактен, ведь тете Юле уже лет под двадцать пять, а о браке еще не было слышно. Но Ольга Николаевна ответила мне спокойно, что отец графини был великий грешник, о чем Анна узнала, только став взрослой и единственной наследницей огромного состояния. Что она делала много добра, выкупала крепостных девушек и находила им занятия, жертвовала деньги на приюты и больницы, а потом поселилась здесь, около Юрьева монастыря, и все отдала, что имела, на его украшение. Я тогда удовлетворился таким ответом и только много позже, узнав о роли Алексея Орлова в убийстве Петра III и обманном привозе в Россию княжны Таракановой, понял, что веровавшей в Бога графине действительно было всю жизнь в пору замаливать такие тяжкие грехи, чтобы не сказать преступления, ее отца.

Мы пробыли в Новгороде еще один день. С утра мама снова уехала в Колмово, а тетя Юля, дав два урока, повела нас с Олафом Оскаровичем осматривать городские достопримечательности. Она рассказывала о кулачных боях на льду между молодцами Софийской и Торговой сторон, о сюжетах фресковых росписей, о мошах святых угодников, почивавших в сверкавших серебром раках. В любой части города мы встречали богомольцев и богомолков. Они покупали дешевую снедь в ларьках, отдыхали и переобувались на траве под кремлевскими стенами или били поклоны перед церквями. Швед слушал тетю Юлю еще внимательнее, чем я. Он буквально смотрел ей в рот и делал это столь деловито, что я не мог понять, только ли он учится, или она нравится ему, как барышня. Она же говорила почти непрерывно...

Когда мы с теткой пришли на Нутную и пообедали, я прилег на диванчик в гостиной с каким-то альбомом и вдруг заснул. А когда очнулся, то под головой у меня была подложена подушка, а ноги, оказавшиеся в носках, уложены на пододвинутый пуф. Над городом звучал вечерний благовест, и в соседней комнате бабушка Оля говорила маме:

– Некоторых, я знаю, этот звон тяготит. У нас ведь, что ни квартал, то церковь. А я, Надюша, коренная новгородка, и без вечернего звона мне просто чего-то нехватает... Все дела окончены, читать он мне не мешает, думать, тем более... Как некое древнее песнопение. Ведь так же, подумай, они звонили и двести и триста и пятьсот лет назад. Эти самые звуки, поди, Марфа Борецкая в ссылке во сне слышала. И Анна Орлова под них же грехи отцовские замаливала. И кто после нас через сто лет будет здесь жить, те же колокола услышит. Какой Новгород без них?

ОТРЫВОК

ИЗ «ДНЕВНИКА 1920 ГОДА»

(Этот «дневник» не документальный, а некая повесть «под дневник».)

...Однако, приступая к описанию нынешнего города, я не могу избежать еще одного необходимого отступления или вернее вступления. Думая о Петрограде, который ежедневно наблюдаю, я естественно сравниваю его с тем, каким увидел летом 1916 года, приехав из Орла в отпуск солдатом, а от него иду еще вглубь к тому времени, когда впервые воспринял этот город, тогда еще Санкт-Петербург, в конце августа 1912 года.

Младший и единственный брат папы, дядя Саша, военный врач, которому в то время было уже лет 35, наконец-то, собрался жениться, и мои родители поехали на его свадьбу, взяв меня с собой. Мне шел пятнадцатый год, я готовился начать пятый класс, считавшийся первым из старших, для представительности на Петербургском торжестве мне сшили единственный мой мундирчик с воротником, обведенным золотым галуном, у меня уже были собственные карманные часы и запонки для крахмальных манжет, я первый год стал причесываться на пробор, – словом, это была радостная заря юности.

Впечатления от свадебного обряда, от красивой, приветливой «молодой», от дяди в эполетах и орденах, полученных за японскую войну, от новенькой нарядной обстановки их квартиры, не имеют отношения к теме нынешнего дневника. Да и тогда, впервые увидев столицу, я был поглощен ею едва ли не больше всего остального. Сопровождая маму по магазинам, обходя и осматривая с нею и с отцом наиболее прославленные музеи, памятники и набережные города, я жадно всматривался в Петербург.

За решетками, ограждавшими каналы, теснились живорыбные садки и барки с дровами, сеном, углем, горшками, мимо которых сновали пароходики, перевозившие публику по этим своеобразным улицам. А по синей, сверкавшей под солнцем Неве бесчисленные буксиры ташили караваны барок и барж, бежали пароходы покрупнее, катера, яхты.

Конечно, наше Вильно, город тоже не маленький, хорошо обстроенный, красивый, для меня, верно, это самый красивый город на земле – я и теперь вижу Вильно в счастливых снах – но тогдашняя, буквально кипевшая жизнью столица, совершенно оглушила и ослепила меня. Я увидел Петербург в самое нарядное время года – в конце августа–начале сентября. Только что окончились летние ремонты улиц и окраска домов, состоятельные люди съезжались из поместий, с курортов и дач, а войска гвардии возвратились из лагерей. Улицы буквально запрудили нарядные экипажи, блиставшие лаком и никелем, запряженные вычищенными красивыми лошадьми, и еще ярче сверкающие разноцветные автомобили. Кучера и шоферы соперничали шегольством кафтанов и ливрей, перчаток, цилиндров, бород, бакенбардов, пылезаститных очков.

А по широким тротуарам Невского, Морской, Садовой, Литейного и других главных улиц плыла густая толпа нарядных оживленных людей. Бесчисленные, сплошь молодые и красивые дамы – так мне тогда казалось – в огромных шляпах и узких юбках семенили крошечными шажками в сопровождении кавалеров. Гремели сабли и палаши офицеров, шеголявших всеми цветами фуражек, мундиров, черкесок и рейтуз. Мелькали чиновники всех ведомств, студенты, лицеисты, правоведы и штатские в разнообразных костюмах, шляпах, постукивающие тросточками по тротуарам. Все это «текло» навстречу пятнадцатилетнему мальчику, который тогда впервые понял, что значит русское выражение «глаза разбегаются».



А вывески! Не говоря о золотых кренделях, перчатках, сапогах со шпорами, сколько было живописных, выполненных, как отличные натюрморты, изображавших сыры со слезой, окорока со срезами, буквально источавшими у зрителя слюнки, булки с подрумяненными корочками, фрукты, готовые отдать вам свою свежесть и аромат. Тогда среди петербургских торговцев вошло в моду заказывать живописные вывески «классным художникам», то есть лицам, окончившим курс в Академии художеств. Написанное золотом имя хозяина лавки стояло на фасаде или над дверью, а по бокам ее, под толстыми стеклами, сверкали такие картины – на, любуйся и соблазняйся! А на Михайловской у подъезда магазина, торговавшего резиновыми изделиями, стояли поразившие воображение недавнего читателя Жюль Верна две чугунные фигуры водолазов в натуральную величину, в скафандрах, державшие в поднятых руках по круглому фонарю с решетчатыми отверстиями, из которых вечерами на тротуар падали яркие снопы света. Но не меньше приковали меня к месту выставленные в Гвардейском Экономическом обществе чучела двух великолепных верховых лошадей в блестящей шерсти, оседланных по всем правилам – одна скаковым, а другая строевым седлом с полным व्यюком.

И все-таки главное очарование даже тогда было для меня не в этом многолюдстве и блеске. Я уже писал, что мы остановились той осенью у тети Сони на Солдатском переулке, близ угла Знаменской. Тогда она только что овдовела и переехала из казенной квартиры в новый дом на шестой этаж с лифтом. Ох, как потом, в 1918 году, когда этот лифт перестал действовать, милые мои старушки, должно быть, маялись, таша вверх дрова или мерзлую картошку... Но сейчас не об этом... Дверь гостиной вела на балкон, и мое утро в те необыкновенные десять дней ранней осени 1912 года начиналось с того, что, поспешно

вскочив с постели и кое-как умывшись, я пересекал натертый паркет этой комнаты, останавливался в дверях на балкон и «слушал» город. Над необозримым морем крыш, за которым вздымался золотой шпиль Адмиралтейства и блестели купола и кресты церквей, плыла удивительная симфония города. Фон ее составлял стук тысяч и тысяч копыт по торцам мостовых – большая часть центра города тогда была вымощена деревянным торцом, отчего стук подков смягчался, иногда, при этом, становясь музыкально гулким, особенно по утрам, когда дворники только что полили улицы и подмели их. Еще не успевшие устать лошади бодро бежали по сыроватому, чистому уличному паркету. Поскрипывали рессоры, покрывали извозчики и кучера. Эти звуки поднимались ко мне от лежащей почти под ногами Знаменской, с недалекого Невского. А с другой стороны, – от Лиговки, от Гончарного и со Старо-Невского, густо гремели по булыжникам подковы тяжеловозов и колеса ломовых подвод, везущих ящики и мешки с товарами на Николаевский вокзал, в гостиные дворы и на рынки Садовой улицы. Конечно, всякий залобуется шеголем-лихачом – его кудрями и шелковой рубашкой из-под синей безрукавки, легкой лакированной пролеткой с голубым сукном сиденья и с надувными шинами, запряженной нетерпеливым, горячим рысаком. Но и великан-тяжеловоз с ногами в густых шетках, со спиной, на которой встанет добрая садовая беседка, неторопливо влекущий подводу, груженную сотней пудов, не менее красив со своим богатырем-крючником, шагающим рядом в традиционной красной жилетке.

Однако я опять ушел в сторону. Так вот – мягкий цокот и гром копыт – это только звуковой фон. Его прорезывали дробные трамвайные звонки, соответствовавшие движению ноги вагоновожатого, а на поворотах трамвай протяжно стонал. Но главную, основную, нестройную, но чарующую партию вели человеческие голоса. Выкрикивали каждый свое разносчики всевозможных ягод, грибов, раков, рыбы. Старьевщики и точильщики предлагали свои услуги. Пели под шарманку женские и детские голоса. Наконец, из множества окон звучали на разные лады рояли и пианино. А я вслушивался во все это и думал об огромном нарядном городе, столице величайшей в мире империи, где кипит жизнь, создаются мудрые законы, пишут повести и оперы, учатся стольким специальностям юноши и прекрасные девушки.

Мне не приходилось тогда особенно долго стоять на балконе. Звали пить утренний кофе, потом я уходил куда-то с родителями. Но в те же десять-пятнадцать минут по утрам, слушая с балкона городскую симфонию, я грезил, что, окончив реальное училище, то есть ровно через три года, я снова приеду сюда, поступлю в институт гражданских инженеров и тогда всмотрюсь ближе в этот удивительный город, а, получив время вникнуть в его красоты и богатства, обойду его вдоль и поперек, узнаю театры и музеи и объеду прославленные пригороды. Дядя Саша сказал мне тогда – в свадебной суете и угаре он все-таки нашел время потолковать со мной, – чтобы я рассчитывал на его помощь, когда стану студентом. И только тогда я от него узнал, что...

СВАДЬБА

(Отрывок из рассказа "Мой крестный отец")

Прошло еще несколько лет, и окончивая университет, я задумал жениться на своей землячке и ровеснице – милой и красивой девушке, а посаженным отцом просил быть Владислава Владиславовича. И вот случилось, что за неделю до свадьбы – дело было на весенних каникулах 1926 года, в начале мая, – редкое половодье заставило Перерытицу разлиться и превратить нашу сторону набережной в венецианский канал, по которому передвигались на лодках. А брат Сергей, продолжав-

ший военную службу, держал своих верховых лошадей на террасе, выходившей в сад, и путешествовал в полк водой по брюхо коня, задрав колени на манер жокея.

Если говорить о предстоящей свадьбе, то половодье нас не беспокоило. Приходская церковь св. Георгия стоит на пригорке, до нее вода никогда не достигала. Во избежание лишних хлопот и расходов было решено, что после обеда для узкого круга родственников в нашем доме мы в тот же день уедем в Ленинград продолжать учебу – она тоже была студенткой.

За дня два до свадьбы мы с братом в лодке поплыли к священнику установить окончательно час совершения обряда, а затем дальше к Владиславу Владиславовичу, с которым надлежало поговорить, следует ли приехать за ним или он самостоятельно приплывет для благословения.

Весело переговариваясь, мы с Сережей приплыли к последнему дому набережной и, убрав весла, завернули в сени, обе створки внешних дверей которых стояли настежь. Перебираясь руками по стене, довели лодку до также открытых дверей на лестницу, где уже были причалены две лодки. И тут замерли. До нас сверху явственно донеслось панихидное песнопение. Встревоженные, на цыпочках, поднялись мы по лестнице. В ногах гроба в профиль ко мне со свечой в руке стоял крестный.

Панихида окончилась, и священник с дьяконом уплыли. Мы узнали, что Софья Петровна – панихида была по ней – скончалась накануне скорострительно.

– Вчера утром, – сказал Владислав Владиславович, – все тревожилась, как пройдет твоя необыкновенная свадьба – мол, как это – на лодках? Пила кофе, села раскладывать пасьянсы на ваше счастье и вдруг...

Я не решился спросить, не откажется ли мой крестный стать посаженным отцом через сутки после такого горестного обряда, и мы с братом уехали. На другое утро отец и мы оба участвовали в похоронах. Когда небольшой группой, в которой оказалось несколько старых земцев, мы вышли из кладбищенских ворот на мошную дорогу, Владислав Владиславович впервые в жизни взял меня под руку



Наводнение в Старой Руссе. Весна 1926 г. Свадьба В.М.Глинки и Лиды Павловой

и задержал так, что мы немного отстали от всех. Я почувствовал, как его пальцы сжали мое запястье, как бы привлекая внимание, и он сказал, что я не должен думать о Софье Петровне дурно. Что слабости ее происходили от малого образования и от среды, в которой воспитывалась. Но была она очень добрым и правдивым человеком. А его, моего крестного, она спасла когда-то от верной гибели. А что не всегда понимала, чем я он живет – не ее вина...

Он остановил меня, повернул к себе лицом и посмотрел так испытующе и напряженно, как никогда до того или после.

Вспоминая этот взгляд, я до сих пор гадаю: хотел ли убедиться в том, что я уже взрослый человек или он в чем-то предостерегал меня самого на новом этапе моей жизни, начинавшемся на другой день...

– Так завтра в 11 часов – я у вас дома, – сказал мой крестный, когда мы прошались у его лодки на берегу реки. – Если, понятно, вы с Лидией Ивановной не подумаете, что благословение на другой день после похорон будет не-счастливым?

– А разве есть такая примета? – спросил я.

Крестный пожал плечами. Мы сошли к лодкам – он со старой кухаркой поплыли вверх по реке, а мы вниз, к отцовскому дому, где все готовились к моей свадьбе.

Моя жизнь резко изменилась. Заленившись в любовном угаре, я весной не досдал трех последних экзаменов и взял на лето производственную практику на следственный участок в Руссе. Вникнув здесь в практическую работу юристов всех категорий, я с большим запозданием (как и во многом другом в своей жизни) добрался до ясного сознания, что выбрал совсем не пригодную для себя дорогу. Еще, не успев решить, что же делать дальше, как в августе заболела Лида, и ровно через четыре месяца после венчания, в той же церкви и на том же месте шел погребальный обряд. Моя 23-летняя жена скончалась от Бог знает где и как подхваченной тяжелой формы брюшного тифа. Возвратясь в Ленинград, я с трудом заставил себя закончить правовое отделение, чтобы иметь хоть какой-то вузовский диплом. Стал на учет биржи труда, но там мне сразу сказали, что хватает и опытных, но сейчас безработных юристов. Жил на деньги, присылаемые отцом, и на случайные заработки – делал акварельные рекламные рисунки женских причесок для частников-парикмахеров и холеных розовых женских рук с блестящими острыми ногтями для маникюрш, переписывал в архиве межевые дела XVIII века по десять копеек за



Л.И.Глинка, урожа. Павлова

страницу для одного бездарного псевдоисторика, ходил по музеям и выставкам, читал книги по архитектуре старого Петербурга, впервые осваивая летопись его улиц и каналов. Постепенно доходил до понимания, что любая старина – даже земельные кляузы мелких помещиков елизаветинского времени – оказывались мне куда интереснее юридических сочинений, которые влихивал в свою память насильно. Заходил в канцелярию двух музеев, спрашивал, не возьмут ли на работу. Но, осведомившись об образовании, отвечали, что ничего предложить не могут.

Второй раз В.М. вступил в брак в 1931 году. С Марианной Евгеньевной Таубе, которая была на пять лет моложе его, они вместе работали в пригородных дворцах-музеях. Отцом Марианны Евгеньевны был военный врач Евгений Петрович Таубе, умерший в 1928 году, матерью была Ольга Филипповна, урожденная Королева. Дед Марианны Евгеньевны - Филипп Николаевич Королев (1821-94), основатель первых в Москве женских курсов, а затем ректор петровской сельскохозяйственной академии, был родом из крестьян Харьковской губернии и добился всего своим трудом (см. о нем в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона). В 1932 году у Владислава и Марианны родилась дочь, которую также назвали Марианной.

Марианна Евгеньевна была искусствоведом, много лет после войны она работала в музее М.В.Ломоносова (в здании кунсткамеры) и в 1961 году выпустила книгу «М.В.Ломоносов. Опыт иконографии». Она была человеком редкой самоотверженности и прямоты, и, думаю, не способна была покривить душой. Обожая животных, она была деятельным членом общества их защиты и в доме не переводились подобранные ею и не ею на улице голодные, несчастные, больные, брошенные, потерявшие кошки и собаки... Но совместная жизнь Владислава Михайловича и Марианны Евгеньевны не была в течение всей их совместной жизни полностью безоблачной. Возможно, тому виной была длительная разлука, 1942-45 годов, когда Марианна Евгеньевна с дочерью и матерью была в эвакуации, в то время как Владислав Михайлович оставался в Ленинграде. Может быть, причиной была вовсе и не разлука, а какое-то изначальное несовпадение характеров или интересов, но в начале 1960-х годов они были уже в фактическом, хотя и не оформленном разводе. При этом ничего такого, что даже отдаленно напоминало бы враждебность или внутрисемейную вражду



М.Е.Глинка (урожденная Таубе). 1908–1979

Н.И.Глинка (урожд. Васильева). 1923–2000



не было и в помине. Между ними, вероятно, все уже было оговорено – свои планы были у дяди, Марианна Евгеньевна также предполагала соединить свою дальнейшую жизнь с другим, давно любившим ее человеком. Это был благороднейший и высокоинтеллигентный Андрей Иванович Корсун, работавший в библиотеке Эрмитажа. Мы, следующее поколение, не только прекрасно знали его в течение многих лет, но он бывал у нас дома, и мы (он жил в соседнем доме, на Дворцовой наб. 30) ходили к нему в гости. Внешне похожий на Дон-Кихота, огромного роста, сухошавый и величественно спокойный, он был полиглотом, генеалогом и знатоком поэзии. В его переводе в 1963 году библиотека «Литературных памятников» выпустила древнеисландские песни под названием «Старшая Эдда». Но осенью 1963 года Андрей Иванович скорострительно скончался. И, насколько я могу судить о дальнейшем, дядя и тогда и во все последующие годы старался смягчить для Марианны Евгеньевны этот страшный удар. Для всех окружающих это было высоким примером того, как человек, возложивший на себя обязанности заботы о женщине в пору молодости и любви, продолжает считать себя ее должником и тогда, когда все изменилось, и минули десятки лет. Надо помнить при этом, что обыкновенный человек в те времена ни купить, ни каким бы то ни было образом получить дополнительные квадратные метры жилья не мог... Квартирный, жилищный вопрос был тогда неразрешимым кошмаром для каждой второй-третьей семьи... Более цивилизованного, более деликатного и интеллигентного развода, чем тот, который, фактически произошел между этими, несомненно, прекрасными людьми, представить себе нельзя. И Владислав Михайлович с Марианной Евгеньевной прожили под одной крышей еще 16 лет. В 1979 году Марианна Евгеньевна скончалась.

В 1980 году дядя женился на Наталье Ивановне Никулиной. Они были знакомы с блокады. Оба были историками, оба писали книги, оба работали в архивах... Перу Натальи Ивановны Глинка принадлежат книги «Державин в Петербурге», «Строгий стройный вид», «Беседы о русском искусстве. XVIII век».

Более счастливого брака, чем этот, мне в моей жизни наблюдать не пришлось...

ДОРОЖКА КАВАЛЕРА

Ранней весной 1927 года мой друг геолог Евгений Осипович Погребницкий пригласил меня ехать на все лето в Донбасс коллектором.

Лучшей работы, чтобы отойти от горя и сомнений прошлых месяцев, нельзя было придумать. Мы поселились на окраине деревни Мануйловка в километре от полустанка Баронская, сняв комнату в домике бездетной четы — отставного горного техника Николая Пантелеймоновича Егорова и его жены Александры Николаевны. Он был немногословный, но приветливый крепш лет 70-ти, дельный



Донбасс. Лето 1927

по дому, на дворе, в саду, и, кроме того, вечно чинивший всем соседям-хлеборобам всякие домашние механизмы, а вечерами читавший вслух рукодельничавшей жене русских классиков и старые журналы. Она же лет на 15 моложе, сухонькая, верткая, хозяйственная и до сих пор миловидная, охотно взялась нам готовить, и я до сих пор, как первые впечатления этого домика, помню ее борщи, вареники и кулеши.

Но толком обедали мы через день. Режим работы был такой. Около 5 утра выпивали молока с хлебом и по холодку уходили в степь намеченным Женей маршрутом. Есть глупые люди, которые говорят, что степные пейзажи скучны. А, может быть, я глуп и безвкусен, но до сих пор помню свой восторг перед высокими цветущими травами, которые, постепенно выгорая, меняли общий цвет от сочно-зеленого к фиолетово-коричневому, и перед такой чистотой воздуха, что с возвышенности можно без бинокля увидеть даль на 25—30 км, — зелень балочек, каменистые кряжи, поселки с садами и серые пирамиды-терриконы около шахт. Мы шли по степи до полудня, я брал в бутылки с номерованными бирками воду из указанных мне Погребичким источников и нагружал ими рюкзак, он собирал образцы пород, отбивая их специальным молотком на длинной ручке. Часов до 3-х мы делали привал в какой-нибудь балочке с ручейком или „криничкой“, пили очень немного воды, ели хлеб с салом, курили и засыпали в тени часа на два. Потом опять шли до семи —

половины восьмого, нагружаясь образцами воды и пород. Женя отлично ориентировался, и прямая обратная дорога занимала часа два-три. Проходили мы за день километров от 30 до 40 и, добравшись домой, едва заставляли себя умыться, проглотить вечное блюдо — яичницу с помидорами, выпить чаю и валились на кровати.

Следующий день мы проводили дома. Евгений Осипович работал за столом в комнате, разбирая вчерашние образцы породы, ведя дневник „разведки“, отмечая на трехверстке маршруты. А я в беседке, стоявшей в саду, занимался анализами взятой вчера воды и записывал результаты в тетрадку.

Свободного времени у меня оставалось много, и я часто беседовал с Александрой Николаевной, весьма неглупой и разговорчивой, охотно поведавшей мне прошлое места, где мы жили и где, оказывается, она родилась. Деревня Мануйловка, как и еще несколько соседних, принадлежала когда-то вместе с населявшими их крепостными, украинскими и великорусскими крестьянами, помещикам Вуичам, все поколения которых рассказчица называла генералами и генеральшами.

Рядом с участком наших хозяев располагалась когда-то богатая барская усадьба, с кирпичным оштукатуренным двухэтажным домом комнат на двадцать и двумя симметричными флигелями, „фланкировавшими“ вымощенный полукруг перед парадным подъездом. И на заднем фасаде сохранилось ступенчатое нарядное крыльцо. С него открывался вид на одичалый и затоптанный скотом сад, полого спускавшийся к балке, в которой бежала речка с каменистым дном и чистой водой, где мы с Погребичким в „домашние“ дни купались.

Место для усадьбы было выбрано с большим вкусом, но теперь дом и флигеля стояли в таком виде, как множество дворянских усадеб через десять лет после революции: стены и крыша главного дома еще целы, но двери, оконные рамы, печи, половицы уже исчезли. Лепка сыпалась с потрескавшихся потолков, ключья обоев шелестели от гулявшего по комнатам сквозняка. Красивое, строенное на века, здание, пригодное для школы, больницы, санатория — ведь до Баронской было всего километр, — разрушалось от дождей и снега, залетающих вглубь комнат. Иногда в них перекликались деревенские ребята, обстреливавшие друг друга кусками штукатурки. Флигеля стояли в еще худшем виде — с них уже содрали железные крыши.

Бывший барский сад занимал в ширину метров 100 и примерно на 250 плавно спускался к речке. В нем еще сохранились две аллеи вековых дубов, тянувшихся от крыльев дома почти до воды, и читались следы цветников, хотя крытые гравием дорожки уже подернула „трава забвения“.

Из читанного о царствовании Елизаветы Петровны я знал, что именно в этих местах тогда образовалась Славяно-сербская провинция, населенная выходцами из австрийских владений. Знал, что мелькающие в русской военной истории Вуичи, Шевичи, Неранжичи, Милорадовичи, Зоричи, Демперадовичи и подобные им по звучанию фамилии были потомками офицеров именно сербских полков, поселенных по Дону для охраны тогдашней русской границы.

Конечно, думал я, за 60—70 лет, прошедших до 1820-х гг., эти сербы пережились на русских, всю жизнь с полками кочевали между войнами с одних квартир на другие, и, наверное, уклад этого поместья был обыкновенный российско-дворянский.

Участок наших хозяев от бывшего барского, как и от соседней крестьянской усадьбы, отделяли кирпичные оштукатуренные белые стенки, в рост человека, покрытые двускатными железными крышками. И тянулись эти стенки до самой речки, в то время как ширина участка не превышала 15—20 метров. Иначе сказать, он представлял собой узкую ленту, нарезанную вдоль границы барского сада и сохранившую, очевидно, свою первоначальную планировку. Боковой фасад дома без окон, ворота с калиткой и боковой же фасад сарая занимали всю лицевую



В.М.Глинка в геологической экспедиции. 1927

сторону участка. Дом и сарай были тоже кирпичные, штукатуренные, беленные и под железными кровлями. Они были симметрично вытянуты по сторонам двора фасадами друг к другу. Дом разделен на две равные части крыльцом, вводящим в прямой коридор. Дверь слева вела в хозяйские комнаты, которых было две, одна за другой, а дверь справа в занятую нами, по объему равную обеим хозяйским. Печи беленые, потолки невысокие, окна квадратные с дубовыми подъемными рамами и со ставнями. Окна хозяйских комнат смотрели на двор, два из наших — туда же, третье — в сад, который начинался сразу за небольшим двором. Против крыльца была дверь в сарай, и рядом — вторая — в кухню. Одно окошко кухни тоже выходило в сад. А он, несмотря на странную форму, был очень красив. Строго посередине, спускалась к речке единственная твердая дорожка, шириной

метра в два. Ее устилали кирпичи на цементе, поставленные на ребро, красивым рисунком чередующихся красноватых и светло-серых кирпичей, положенных поперек движения пешехода. Но по бокам тянулись еще два ряда кирпичей, повернутых перпендикулярно остальным, составляя как бы бордюры этой твердой ковровой дорожки. По ее сторонам шли кусты шиповника, за которыми вдоль обеих стенок росли яблони, вишневые деревья и ягодные кусты, а под самыми стенками — огородные грядки. На середине дорожки, справа, стояла беседка: две ступеньки, ведущие на также искусно мошный кирпичом пол, четыре колонки-столбика и железная квадратная крыша. Боковые и задняя сторона забраны перилами, три скамейки вдоль них, большой стол посередине... Ну, кажется, теперь описал все так подробно, как требует дальнейший рассказ.

Итак, вскоре после нашего поселения, я начал расспрашивать нашу хозяйку о прошлом усадьбы. Александра Николаевна окончила где-то прогимназию, говорила хорошим книжным языком, вставляя порой украинские словечки, которые я не запомнил, и, очевидно, была рада моим вопросам. В уединении занятой летними крестьянскими трудами Мануйловки, с добродушным, но немногословным мужем, разговоры со мной были для нее отдушиной.

О былых хозяевах усадьбы она рассказала мне еще немного. Только, что последний был сенатором, а первый, о котором что-то знала, воевал под командой Суворова, потом с Наполеоном (как я попал в точку!) и, выйдя

в отставку уже немолодым и „при капитале, взятом за женой», за пять лет обстроился тем, что осталось, и еще многим, что уже успели разобрать мануйловские крестьяне — конюшнями, скотным двором, амбарами, людскими, кирпичным заводом, от которых теперь виднелись только следы фундаментов. Был также театр, но его обветшавшее здание снесли еще в детстве Александры Николаевны, родившейся, кажется, в 1870 году.

И все это строилось по проектам и под присмотром прадеда рассказчицы, крепостного архитектора генерала Вуича. Его барин посылал в Москву учиться у какого-то француза, фамилию которого рассказчица забыла. Пробыл в Москве Федор Михеич — экое редкое отчество! — чуть не десять лет, пока барин воевал, выучился говорить по-французски лучше генерала и, вызванный, наконец, в Мануйловку, обстроил ее, после чего получил от барина вольную и тот участок, на котором построил себе дом и беседку, где мы разговаривали.

— Значит, домику вашему больше ста лет, — сказал я.

— Сто пять, ровнехонько, — подтвердила Александра Николаевна. — У нас в коридоре, на бруске над входной дверью в первую комнату большая подкова прадедушкой где-то найденная прибита и в ней, как в рамке, можете сами увидеть, вполне явственно выжжено „1822». Бабушка говорила, что в тот год сюда из барского флигеля перебрались.

— То-то я думаю, что в этом доме архитектуру с чертежами развернуть было бы тесновато.

— Федор Михеич, когда здесь поселился, свою чертежную во флигеле оставил. Он ведь еще несколькими помещикам в округе усадьбы и церкви строил. У него в той чертежной постоянно двое дворовых юношей работали, которых в помощь себе обучил.

— А себе вот какой скромный домик отстроил, — сказал я.

— Так он, бабушка рассказывала, от француза своего масонских идей набравшись был. Вроде нашего графа Толстого. Говорил, что никакому человеку лишнего имущества заводить не нужно. Тем больше, что сын его единственный тогда в Екатеринославе в гимназию определен уже был, сюда только на лето приезжал и собирался чиновником стать. Но зато строил-то как! На века. За сто пять лет только что железо на крышах да на ограде красили и стены белили. Даже в этой беседке столбы и скамейки дубовые с его времени, — погладила Александра Николаевна ближайшую колонку.

— Жалко, что в то время фотографии не существовало, посмотреть бы, каково Федор Михеич выглядел, — сказал я.

— А у нас прадедушкин портрет висит, хоть сейчас посмотреть можете.

Мы пошли из сада, где Александра Николаевна разбирала лепестки цветов шиповника для варенья, в дом, на их половину.

Николай Пантелеймонович, отогнув с обеденного стола скатерть и клеенку, чистил и смазывал ручную швейную машинку. Он сказал, что сейчас уберет свою работу и просил меня садиться.

— Я, Коленка, привела Владислава Михайловича прадедушкин портрет показать, — пояснила хозяйка.

— На свой семейный иконостас полюбоваться? — улыбнулся ее муж.

Над старинным диваном с блестящей полированной спинкой цельного дерева были симметрично развешаны штук шесть фотографических портретов, а посередине два акварельных, в одинаковых золоченых багетовых рамках под стеклами.

— Это я их так уравнила, раз оба мои прадеда, — похвалилась Александра Николаевна.

Один изображал в рост юного офицера в зеленом мундире с эполетами, оранжевым воротником и обшлагами. Под рукой — каска с гребнем, под другой — эфес палаша. Белые штаны на тщательно обрисованных, под античного атлета,

мускулистых ногах, уходили в сверкающие сапоги по колена. Нарочито взлохмаченные волосы и юное незначительно-миловидное лицо: румянец, бровки, глазки, бачки.

– Это бабушкин папенька штабс-ротмистр Сентянин, – проследила мой взгляд Александра Николаевна. – Он с турками на Дунае воевал, а потом, кажется, еще с французами, не раз ранен был. А, выйдя в отставку, все именице в карты продул и бабушку бесприданницей оставил. А рядом – Федор Михеич.

Ну, от этого быстро не отвернешься, как от кавалериста-картежника! Поясной, сидит в кресле, скрестив на груди руки без перстней. В пальцах правой, той, что с тонким обручальным кольцом, – циркуль – символ его профессии и масонских верований. За плечом открытое окно с видом на павильон с тесными колонками на фоне кудрявых деревьев и голубых небес. Пейзаж и корпус прадедушки в коричневом фраке нарисованы очень плохо, почти по-детски. А лицо, будто другой рукой – совершенно живое. Твердый взгляд темных глаз под сведенными густыми бровями, высокий слегка выпуклый лоб обрамляет седые волосы до плеч. Нос крупный с чуть вздернутым кончиком и твердой формы рот волевого человека. Впалые щеки подперты белыми углами воротничка, шея высоко обернута черным платком с бантиком спереди. Лицо образованного, деятельного человека. В углу, за локотником кресла, маленькими буквами «Mokain».

Лето 1927



– Его какой-то француз рисовал, и по возрасту уже, наверное, не в Москве во время учения, – сказал я.

– Да, это друг его закадычный, действительно француз настоящий, который тоже здесь на усадьбе долго жил, – сказала Александра Николаевна.

– Как удивительно! Будто два разных художника его писали. Лицо вполне мастерски передано, а все остальное неумелый ученик или барышня какая-нибудь оканчивала.

– А прадед ваш, по всему судя, был замечательный человек, – сказал Погребичкий. – Вот Владислав Михайлович мне пересказал, что все в этом имении и многое в окрестностях строил. И, очевидно, обладал прекрасным вкусом, это по фасаду здешнего барского дома видно.

– Да ведь и режиссер к тому же, как рассказывали, прекрасный был. В Москве-то хороших актеров насмотревшись, из крепостных здешних труппу составил, и со всей округи помешики с семьями съезжались трагедии смотреть и оперы слушать с балетными вставками. Всей музыкой и танцами его друг француз занимался, и он же оркестром дирижировал. Конечно, не то, как я читала у графов Шереметевых или Юсуповых было, однако, каждое воскресенье спектакли шли в мануйловском театре. У нас, по-моему, на чердаке и сейчас ноты и трагедии, тетрадами лежат. Понятно, оно все устарело, но ведь звучало когда-то и людей радовало... Ну, спасибо за угощение, пойду супруга кормить. Отдыхайте от трудов, раз дождь идет. – Она поднялась и начала собирать посуду.

– А Вы позволите мне как-нибудь посмотреть эти бумаги на чердаке? – попросил я, уже „наостривши уши» на старину.

– Да когда хотите, пожалуйста, если интересуетесь. Вы так двумя старинными портретами увлеклись, что на фотографии деда с бабушкой и отца моего с маменькой даже не взглянули, – с легкой укоризной сказала Александра Николаевна. – А они тоже не пустые люди были. Папенька мой на весь Донецкий край известный маркшейдер был, с ним самые видные горные инженеры советовались.

– Вы уж простите его, раз у него одно давнишнее на уме, – извинился за меня Женья.

[...] На следующий день снова сеял дождь, мы сидели дома и, разумеется, я полез на чердак. Ведшая туда крутая лестница замыкала собой коридор, разделявший „нашу» и хозяйскую половины. Люк ее закрывала толстая крышка на железных петлях. Действительно, в углах чердака лежали горки старых бумаг, но много поколений голубей, свободно влетающих сюда через слуховое полукруглое окно, так все загадили, что я с трудом раздирал листы, поднимая отвратительную пыль. Однако я разобрал-таки все, что покоилось на чердаке. Большую часть составляли оркестровые произведения, расписанные по инструментам. Но не умея читать ноты, я не мог понять, какого рода пьесы проходили передо мной. Почти все заголовки отсутствовали, и листы были перемешаны. Их, видимо, кто-то сгреб в кучу, переносил на чердак. Отдельными толстыми пачками, перевязанными тесемкой, лежали партитуры опер „Волшебная флейта» с французским текстом и „Ямшики на подставе». [...]

– Это все кавалерово наследство, он ноты очень четко и прилежно переписывал, – сказала Александра Николаевна, больше обращаясь к мужу.

– Что же это за кавалер был? – спросил я.

– Француз из Москвы, прадедушкин лучший друг, я уже вам про него не раз говорила. Он всей музыкой в театре заправлял. Сам на скрипке, на фортепьяно и на арфе хорошо играл и танцам, если по роли следовало, обучал. Сам-то до старости танцевал прекрасно, когда уже пальцы для музыки ослабели.

– Но Вы сказали „кавалер», – заметил я. – Он был кавалером какого-нибудь ордена, награжден им или его так за французскую любезность называли?

– Насчет орденов не слыхивала, чтобы у него имелись, и ведь он совсем

молодым сюда приехал, да и прожил до смерти. Прадедушка-архитектор 75 лет скончался, а кавалера этого даже я помню. Он, говорили, 90 лет помер, в 1880 году, и я на его похоронах очень горько плакала.

– Отчего же Вы плакали? Старичок к Вам добр был?

– Он ко всем был добр. Прадедушка, рассказывали, крутовато, случалось, с актерами обходился, когда роли ленились учить. А молодых музыкантов на репетициях, если в ноты не смотрят, даже за вихры дирил. И кавалер один мог его гнев смягчить. Раз в 1812 году прадедушке в Москве жизнь спас и прабабушку своей смелостью от бесчестия уберег.

– Так он из наполеоновских офицеров что-ли был? – догадался я, вспомнив велеречиво благородного капитана Ламбаля из „Войны и мира». – И почему ваш прадедушка в такое время в Москве остался?

– Ах, боже мой! Все от любви! Роман! Роман настоящий! – воодушевилась Александра Николаевна. [...] Ну вот, прадедушка, раз его хозяин – генерал, войнами занятый, в деревню работать не вызывал, то и жил в Москве, хотя учение давно закончил, но квартировал при своем французе, на него работал и жалование получал, из которого оброк барину исправно посылал. Когда Наполеон стал к Москве подходить, тот архитектор известный, его учитель, уехал от греха куда-то подальше, в имение знатных бар, где для них все строил, и прадедушке предлагал с собой ехать. Но тот остался, потому что давно уже был влюблен в соседскую дочку. А она уехать никак не могла, раз у нее отец параличный при смерти лежал, и она за ним ходила.

– Ты объясни, Сашенька, что тот сосед был вдовый, почему дочь-девица при нем осталась, – подал голос Николай Пантелеймонович.

– Все скажу, а ты не сбивай меня, раз сам рассказывать не любишь, – кротко попросила его супруга и продолжала: – А характер у того больного был крутой, и человек он был состоятельный, чиновник отставной и владел хорошим домом, взятками нажитым. Потому, чтобы дочку отдать замуж за крепостного, хотя бы и архитектора обученного, и слышать не хотел, хотя сама-то Настасья Петровна – так ее звали – очень уже прадедушку полюбила. А этот кавалер, т.е. его наверное называть бы надо шевалье, как у Дюма в романах, а так здесь в Мануйловке только переделали, был родня дальняя тому архитектору-учителю и с прадедушкой давно дружил, хотя лет на десять его моложе. Архитектору-то уж под 30 подваливало. Оттого в Москве кавалер и остался, чтобы друга своего с Настасьей Петровной и больным стариком, если понадобится, от земляков своих защитить, к начальникам ихним с жалобой броситься. [...]

– Так вот, может быть, хоть отчасти кавалер в Москве остался еще и чтобы своих земляков увидеть, которые тогда на весь мир победами прославились. Но зато потом уж Наполеона иначе не называл как „вождем грабителей» или „зловным гением Франции» за бесчинства его солдат и за то, что столько народу своего в наших снегах загубил... И надо бы, что в тот самый день, когда французы в Москву вступили, больной, может, от той самой вести и помер. А прислуга вся ихняя разбежалась, кроме одной девчонки, вроде горничной. Где священника искать, где гроб и крест добывать, когда беспорядок сразу пришел, грабежи начались, солдаты на постой ломятся? Первых из них, прадед с кавалером сразу покойником отпугнули, которого уже обмыли, одели и на стол положили. Но ведь надо не только похороны справить, но и прабабушку мою будущую уберечь. Она собой очень видная была. Даже в старости, рассказывали, все в церкви или если в Луганск по делам с прадедом отправятся, на нее внимание обращали. Такая вроде статуи богини Юноны – на затылке волосы длиннющие, совсем просто уложены, лицо бледное, черты правильные, корпус прямой и держала себя барыней... Так кавалер-то ее стеречь остался, а прадед пошел все к похоронам подготавливать. Крест и гроб нашел в брошенной мастер-

ской и на себе принес – он очень сильный был, а к церкви, какой ни подойдет, – все на замках и причт попрятавшись. Отыскал-таки батюшку, привел, отпели покойника. Да во время самой панихиды вваливаются два солдата французских, оба пьяные, и давай по дому шастать и шуметь. Прадедушка с кавалером как-то их опять же покойником застыдили и выпроводили. Тут же у проезжего французского обозного офицера, свое горе объяснивши, фуру казенную большую пароконную выпросили, в нее, кроме гроба с крестом, и прабабушку с горничной-девчонкой упрятали, чтобы одних дома не оставлять и поехали на кладбище. Там прадедушка с кавалеровой подмогой могилу выкопали, схоронили, крест поставили и поехали домой. Кавалер, слезши у двора, побежал того сострадательного офицера искать, чтобы фуру у него выпросить, или, может, купить для выезда, раз в городе русских-то лошадей вовсе не осталось, всех бежавшие от французов обыватели угнали. Только где же его в такой суматохе найти?.. А прадедушка с девицами возвращается и видит тех же двух пьяных солдат. Они уже в доме орудуют: один – с икон серебряные оклады сдирает, другой – из сундуков добро вытаскивает, шубы на себя мерит. Архитектор давай усовещевать, а они слышат по говору, что не природный француз, вдвоем на него навалились и после драки связали всего веревками и на пол бросили. А сами у него на глазах на прабабушку и на девчонку кинулись. И вот тут-то, на счастье, в самое вовремя кавалер прибежал. Увидел все и без лишних слов схватил тесак, что француз тут же на стуле бросил, да трах-трах обим насильникам головы и прорубил – крикнуть не успели. Вот тебе и танмейстер! Прадедушка рассказывал, – как два кавуна расколол. Ему веревки миглом перерезал, и скорее тех убитых в подвал под дом сволокли. Потом кое-что пощеннее похватили, в мундиры и в шапки убитых французов переоделись, которые те, шубы примерявши, от жары скинули – прямо ведь, как в романе или в пьесе какой!.. Прабабушку и девчонку со всем имуществом на дворе в фуру запихали и ну из Москвы скорей, будто французские обозники едут. И ведь проскочили, потому что еще в Москве полная суматоха была, только утром вступившее в нее войско по квартирам ставили, и грабежи, конечно, начались. Кавалер даже в квартиру к себе не забегал – мундир-то французский, а исподнее партикулярное. Хорошо, те шинели, салопы, шубы, что мародеры из сундуков выгребли, догадались в фуру напихать, да еще одеяла, перины, подушки, которыми спутниц своих до выезда из города завалили. На наших постах бумаги свои показали, французское платье и шапки в канаву бросили и так шажком на французских конях до Мануйловки месяца четыре, кажись, и ехали. Только горничную ту в родной ее деревне где-то отцу с матерью оставили. Уже отсюда кавалер через год в Москву съезди, пепелище ее нашел, но господам ведь заново строиться надо было, чем у него уроки ихним детям брать. Так и осел тут навсегда при прадедушке с женой. Они еще в дороге где-то, пока фуру с колес на полозья ставили, и обвенчаться успели. Не побоялась Анастасия Петровна в крепостное сословие вступить. И опять же зазорно считалось с мужчинами одной невенчанной ехать... А тут вскоре генерал с войны возвратился, начались всякие постройки и театр затеяли – при нем и кавалеру хлопот по музыке и танцам хоть отбавляй. И еще у нашего же генерала да у окрестных помещиков в домах уроки давал по всем своим искусствам.

– И, конечно, женился на здешней какой-нибудь барышне? – догадался я.

– Вот и представьте, что нет! – торжествуяше воскликнула Александра Николаевна. – И партии, будто, как тогда выражались, из богатых местных семей были самые подходящие – девицы молодые, красивые, образованные. Ведь у него бумаги на старое дворянство уже при себе были, чуть не из Франции выписаны, после войны, когда там Наполеона скинули. Шевалье природным значился, и генерал его в карты с собой играть сажал. Но полюбил одну актрису крепостную нашего же

барина. Да так полюбил, что ни на кого больше и смотреть не хотел. Учить благородных барышень – учил, а любил одну эту Таню, которую прозывали Таня маленькая, потому что ростом была невелика и среди актрис была еще одна Татьяна.

– Ну что же дальше то было? Женился он на этой Татьяне? Или барин ее не отпустил и своей любовницей сделал? – спросил я, привыкший по литературе к подобным положениям.

– Представьте, отпустил, как только про чувства кавалера узнал и бесплатно ей вольную выдал, раз француз его дочку единственную своему языку, музыке и танцам так прекрасно выучил, что она за гвардейца богатого, ремонтером имения здешние обезжавшего, очень счастливо вышла. И только условия поставил, чтобы пока в театре его хоть изредка спектакли играют, никуда ее не увозил. Но она-то за кавалера идти отказалась. Она всегда, рассказывали, с чудинкой была. Ее генерал Вуич у другого барина под Харьковом из театра купил, или, может, в карты выиграл – так и сяк говорили, – потому что талант его Танин до слез прошиб. А она, видите ли, до того как из кружевниц в актрисы выбрали, какому-то дворовому пареньку обещала век его любить и за него только замуж пойти. Однако его вскоре же по спешному набору в солдаты сдали. Вот она и забрала в голову, что раз тому обещала, то грех за другого своей волей идти. Кавалер кажется года два с ней бился, уговаривал. И его кругом насмех поднимали, от многих уроков даже отказ получил. Что за блажь такая – будто барышень благородных мало вокруг? – Так грубые люди судили.

– А как рассказывали, хороша она собой была? – спросил я.

– Да нет, как раз будто маленькая, черненькая, тшедушная, разве что на французский вкус. Но на сцене – суший огонь. Многие гости, как и наш генерал когда-то, от игры ее плакали и кошельки свои на сцену бросали. А она те деньги другим актрисам раздавала.

– Но что же дальше произошло? Так они и не поженились?

– А то, что одни мои прадедушка с прабабушкой сочувствовали и посоветовали ехать искать следы того дворового, что в солдаты сдан. Если, мол, узнаешь, что он в сражении убит или в госпитале помер, то Таня за тебя и пойдет.

– Но ведь тогда солдата в войске искать, все равно что иголку в стоге сена, – усомнился я.

– А вот слушайте! Наш генерал тогдашний был человек чувствительной души, он кавалеру письма дал к разным начальникам и к тому помещику, у которого Татьяну купил. Пустился француз искать, ездил никак с полгода – с весны до осени, все, что от уроков господам сберег, издержал. Ведь того – угости, другому – в кулак бумажку сунь. Но привез Татьяне бумаги форменные от помещика ее прежнего, что такой-то рекрут принят там-то в депо, так кажется называлось, имя рек таким-то офицером, и на то квитанция выдана по форме. Другую – из того уж депо, что определили сего рекрута в такой-то полк. И третью уже из полка, что служил в нем столько-то лет, выслужил унтера, женился, но помер бездетным и похоронен где-то далеко, чуть не в Польше.

– Тут она пошла, надеюсь, за шевалье? – не выдержав, спросил я.

– Повенчались честь-честью и очень счастливо лет восемь, кажется, жили во флигеле которм-то. Она на фортепьяно хорошо выучилась, он на скрипке – дуэт настоящий. Она по-французски уже свободно говорила. Жили, говорят, истинно душа в душу, хотя и бедновато. Господа дворяне окрестные ему за такой брак на „мужичке“ почти от всех уроков отказали. И театр у нас кончился. Старый генерал помер, сыновей двое куда-то служить разъехались, усадьба пустая стояла. Один прадедушка строить продолжал то у одного помещика, то у другого, и кавалера с собой часто брал, чтобы места будущих зданий обмеривать. А больше, я думаю, чтобы за это сколько-то денег взять согласился, потому что навсегда лучшими

друзьями его они с прабабушкой оставались. Советовали даже во Францию с Таней поехать, может, устроился бы там полчнее, и денег на то предлагали... – Александра Николаевна сделала паузу, допила давно остывший чай, посмотрела на свои натруженные хозяйством лежавшие на коленях руки и сказала с чувством: – А потом пришло кавалеру великое горе.

– Умерла Таня? – догадался я. Такое большое горе мне было знакомо.

– Нет. Но только и дальше все шло, как в книжке старинной или в театре... Ездил он куда-то подальше к месту новой постройки с прадедушкой дня на четыре. Возвратясь, архитектор его около флигеля высадил, и в этот дом поехал. Только поспел с женой поздороваться, как бежит мальчик, что кавалеру с Таней прислуживал: – Идите скорей, Федор Михеич, мой барин без чувств лежит! – Прадедушка скорее туда, да бегом, хотя уже на возрасте был. А тот вроде как в столбняке, навзничь на диване и на вопросы не отвечает. Едва добился, чтобы на записку указал, которая на столе лежала. А в ней рукой Тани только одна строка: „Вы меня обманули. Не ищите. Я ушла навсегда“. Тут же мальчик прадедушке рассказал, что в первый же день, как они с кавалером уехали, пришел к Тане какой-то усатый да седоватый человек в старой свитке, и начались у обоих слезы да охи. А потом она его накормила, сколько-то денег дала и проводила, а сама собрала узелок, переделась в черное платье, черным платком повязалась и куда-то тоже ушла. Мальчик за ней побегал было, и увидел, что за скотным двором прежним, где дорога расходится – усатый уже едва виднеется, далеко ушел, дрючком подпираясь, а она повернула вовсе в другую сторону, по старому бохмутскому чумацкому шляху, который теперь заглох.

Прадедушка велел сейчас же свежих лошадей заложить и по той дороге, куда мужчина пошел, с кавалером поехали. Прадед сказал: – Солдат отставной, при деньгах, да еще с такими чувствами дальше кабака не уйдет. И верно, хотя не в первом по пути, а малость подальше нашли того усача за стаканчиком с закуской и еще трезвого. Оказался, действительно, бывший когда-то Танин жених – не жених, а тот, с которым они в юности слово друг другу давали. Отслужил 15 лет, а тут новый закон вышел, срок сократили, его в отставку уволили. И пошел бобылем на родину, расспросил про Таню и зашагал ее повидать, если живая. Клялся, что ничего у нее не просил, что взял только денег немного, раз всем обзаводиться внове надо, а она за барином замужем. Сказал, что куда она делась вовсе не знает, а на расспрос, как же его помещик бывший выдал кавалеру запись, будто его тогда-то в солдаты сдал, а воинское начальство затем удостоверило, что там-то служил, да помер, этот же усач, подумавши, все разъяснил. Сказал, что у них в большом селе каких-то Петренков или Хоменков семей не одна и сейчас живет, а в те наборы, когда на войну с Наполеоном особенно много рекрутов требовали, видно пошли двое с тем же прозвищем и оба одного имени. Только сам он из дворни, а другой – от сохи. И квитанция рекрутская, на того выданная, сбита барина и воинское начальство, когда кавалер следы Таниного знакомца разыскивал... – Александра Николаевна сделала паузу и воскликнула: – Это ли не ошибка роковая?!

– Да уж, – согласился я. – Бедняга – кавалер... А Таня должна бы больше в честность своего мужа верить, столько лет его зная... Но что же дальше-то было?

– Дальше, конечно, попробовал кавалер поехать в ту сторону, куда Татьяна пошла. Но уж тут и вовсе как иголка в сене она оказалась. Мало ли одиноких пожилых женщин с узелком и тогда в любом месте промелькнуть могли? Ведь богомолоч сколько ходило по всей России! Вернулся бедняга ни с чем. Перевез его прадед к себе поближе, в этот самый домик. Тогда комната, где вы живете перегороджена на две была, одна с окнами на двор, а другая в сад. Так в дальней-то, где сейчас кровать Евгения Осиповича стоит, там кавалер и жил. Чтобы его чем-то занять, прадедушка снарядил его снова к тому помещику, который пре-



жний Танин хозяин был. Бумагу от него взять, что два парня одного имени и возраста в наборы тогда сданы. Это в надежде, когда Татьяна найдет, чтоб кавалера оправдать, раз ее не обманывал. Съездил, привез обе старинные квитанции рекрутские с полугодовой разницей на те же имена. Их помещик ему отдал, с извинением, что про такую оказию в свое время забыл. Но какой от тех бумаг толк? Разве, что готов сделался их сбывшей жене показать, когда бы ее нашел...

– Но неужто же Таня так навсегда исчезла? – спросил я в наступившей паузе.

– Нашлась года, говорили, через три. Пошла какая-то из здешних старух на богомолье в Киев и там в каком-то монастыре среди монашек Татьяну узнала. Пришла обратно и прабабушке рассказала. Та – прадеду, а он, подумавши, кавалеру, чтобы знал хоть, что жива его Таня.

– Но, как же она в монастырь вступить могла без мужнего согласия? – спросил я. – Надо было от него законную бумагу иметь.

– Вот и видно, что вы не зря юридический окончили, – сказал Николай Пантелеймонович, уже занявшийся за другим столом разборкой чых-то настенных часов.

– А у нее на руках была отпускная от помещика, – ответила Александра Николаевна, – где писано, что девица свободная. Вот ее и взяла с собой. А про замужество вовсе в монастыре скрыла, раз считала, что обманом ее кавалер венчаться уговорил. Я же вам сказала, что она с чудинкой была.

– И что же он сделал, когда узнал, где Таня скрывается?

– А что с монашкой сделаешь? Из монастыря обратного пути нету. Конечно, поехал туда, рассказал все, показал эти самые квитанции рекрутские. Она у него в слезах прощения просила, что худо про него думала. Наплакались оба, помолились, и поехал он сюда обратно, в этом доме долгий век доживать.

[...] Едва ли не в следующий свободный вечер я прогуливался по мошеной кирпичными дорожке, в то время как Александра Николаевна в беседке на керосинке варила очень душистое варенье из лепестков шиповника. В то лето я впервые его попробовал. Но мне показалось приторно сладко, и лепестки, после того как исчезал вкус сиропа, отдавали грубоватой

растительной материей, о чем, конечно, не сказал кулинарке.

Она варила, а я шагал по ровной, как паркет, кирпичной дорожке от садовой калитки до самой речки и раздумывал о том, что все-таки, возвратясь в Ленинград, буду пытаться вновь поступить в какой-нибудь музей или исторический архив, чтобы вплотную прикоснуться к старине, которая бывает вот такой волнующей. В тот день я, быстро проделав нужные анализы воды, до боли в руке рьяно записывал в тетрадку конспект истории архитектора с женой, шевалье и Тани-маленькой. Думал не без гордости и о том, что вот как в своем стихотворении угадал, что была у генерала дочка и тут же рядом жил пусть не гувернер ее, а учитель языка, танцев и музыки – француз, который мог, конечно, поздно вечером выйти прогуляться по саду. Ну, не кларнет, так скрипку издали она слышала, на струнах которой шевалье любовь свою к Тане изливал.

Когда в очередной раз я поравнялся с беседкой, Александра Николаевна сказала:

– Прадедушка, говорили, называл эту дорожку голландской, раз она сделана, как там тротуары в городах будто выкладывали, а папенька мне рассказал, что такие точно в Петергофе под Петербургом видел, кажется, около дворца Петра Великого. Но у нас она всегда называлась дорожкой кавалера.

– Он здесь гулять любил? – спросил я.

– Не только гулять, но и потанцевать.

– С кем же?

– А сам с собой. Ведь я вам говорила, что он почти до 90 лет дожил и умер, когда мне 8 лет было. В последние годы как бы немного ума лишился, а ногами и слухом все равно отлично владел. Вот, бывало, выйдет сюда один, вынесет свою музыкальную шкатулку, поставит на эти перила в беседке и давай по дорожке туда-сюда прохаживаться, чуть приседать, кланяться. И все так легко, плавно, красиво, хотя и очень древний старичок.

– Теперь от него только и осталось нам памяти, что эта шкатулка да еще табакерка деревянная в виде черепашки. Я ее вам, как с вареньем покончу, с удовольствием покажу. Только напомните.

– А могила кавалера уцелела-ли?

– Как же. Я все наши могилки не раз за лето прибираю. Вот на той неделе Спас будет и, если вы хотите, пойдете со мной на кладбище. Там и генерала нашего первого, Николая Васильевича, которому архитектор крепостным был, мраморная колонка с золоченым крестом стоит, и прадед с прабабушкой поблизости, а рядом с ними и кавалер себя завещал схоронить. И за соседней оградой мой дед с бабушкой. Ведь он тоже здесь почти всю жизнь прожил. После гимназии прослужил чиновником в Славяно-Сербске года три, а тут сын генерала в отставку вышел и, хозяйничать приехал и уговорил к себе управляющим перейти. Вот тут дедушка на Сентяниной и женился. Вздорная дама была, но ко мне очень добра. А уж мои папаша с мамашей сюда только в отпуск иногда ездили, как раньше и мы с Николаем Пантелеймоновичем. Да вот теперь на чистый воздух переселились, а помрем, и будет все владение выморочным. Строил архитектор на века, а похоже и здесь все скоро прахом пойдет, так же как рядом. «Река времен» – одним словом, как мой Николай Пантелеймонович любит говорить...

Но побывать на кладбище с Александрой Николаевной мне не довелось. На завтра после этого разговора Погребиский получил телеграмму, что его просят приехать в Харьков к начальству, а вслед затем и письмо, где сообщалось место, куда перенесется наша работа до конца лета после совещания в Харькове. Мы в несколько часов собрались и, простясь с Егоровыми самым сердечным образом, уехали из Мануйловки.

Уже в харьковской гостинице, разбирая чемодан, я вынул из него незнакомый маленький сверток. В нем оказалась деревянная табакерка в виде черепашки.

Сработавший ее мастер, очевидно, никогда не видел этого животного, головку он сделал чрезмерно малой по туловищу и лапам. Но спинку искусно выложил кусочками настоящего отполированного панциря и донце коробочки выстлал тем же материалом, как-то подкрасив его в розовый цвет.

Евгений Осипович сказал мне, что этот пакетик попросила его незаметно сунуть в мой чемодан Александра Николаевна. Так я и вывез из Мануйловки четыре сувенира: рукопись „Вадима Новгородского», патент на чин подпоручика Сентянина, забавную акварель с изображением двух собак над стихами и, главное, – память о шевалье Морэне – его табакерку.

[...] В ближайшую зиму я все-таки поступил на музейную работу, правда, сначала галерейным служителем в отдел декабристов Музея революции, а через полгода стал экскурсоводом по петергофским музеям XVIII века.

Как-то, уже работая хранителем Гатчинского дворца-музея, я показал табакерку кавалера Морэна высоко мной почитаемому Сергею Николаевичу Тройницкому.

– Мне кажется, она сделана еще в середине XVIII века, до напечатания сочинения знаменитого Бюффона. Позже искусные ремесленники яснее представляли себе черепаха, – сказал этот прекрасный знаток прикладного искусства. – Но насколько вещь становится интереснее, для тех, кто ее держит в руках или даже только видит, когда знаешь что-нибудь о прошлых ее владельцах. Ведь она могла проделать путь с отцом шевалье из Парижа в эмиграцию и, главное, лежать в кармане сына, когда раскрыл головы двум французским мародерам, спасая своих русских друзей. Хорошо, что он не забыл ее в кармане французского мундира, сбрасывая его на русских аванпостах.

– А может, он как раз в этом кармане ее и нашел? – предположил я. – Оставил себе на память о том дне?..

Сергей Николаевич погладил свою красивую рыжеватую бороду и сказал:

– Нет, не думаю. Во-первых, эта табакерка, мне кажется, чужда солдатскому вкусу, а во-вторых, кто же пользуется вещами убитого им человека? Он был шевалье, а не грабитель. Но очень вероятно, что угощал из нее понюшкой очевидно добродушного генерала Вуича, для которого был ровней – французским дворянином. И уж наверно взволнованно вертел в пальцах, когда объяснялся со своей Таней где-нибудь в кулисах крепостного театра... Но, конечно, не доставал ее в монастыре при последнем свидании. Тогда не до понюшек бедняге было... – Сергей Николаевич возвратил мне табакерку и добавил: – Впрочем, ей-то пожалуй еще горше пришлось, когда узнала, что такого человека напрасно заподозрила в обмане и сделала их обоих несчастными. Заподозрить друга во лжи, да еще как бы в своекорыстной – такой большой грех [...]

к/х Каменка VIII. 81 г.



КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Я не могу роптать на судьбу за отсутствие друзей, и сейчас, на восьмидесятом году жизни, есть у меня несколько человек, с которыми могу говорить как со своей душой – без малейшей утайки, обо всем, что меня радует, тревожит, печалит в прошлом, настоящем и будущем окружающего нас мира. Но самым близким другом за всю жизнь был встреченный на первом курсе правового отделения университета Михаил Александрович Шпаков. Он умер во время блокады Ленинграда от голода в те самые дни, когда я чудом выжил заботами другого друга – врача А.И.Ракова, уложившего меня на «военный паек» в госпиталь.

Полнота нашей действительно очень искренней, ни разу ничем не затемненной дружбы с Мишей Шпаковым, очевидно, хотя бы отчасти зависела от возраста, в котором мы встретились. В годы юности и возмужания близкий человек того же пола особенно нужен для обмена мыслями и чувствами, для разговоров «по душам». Пищей для этих разговоров, конечно, являлось все, нас окружавшее – в университете и вне его стен, прочитанные книги, первые опыты любви, мечты о том, какой бы хотелось сделать свою жизнь в будущем.

Словом, до сих пор, хотя мы дружили только восемнадцать лет, а Миши нет в живых уже больше сорока, я все еще нередко вспоминаю его гибкий и деятельный ум, доброе сердце, естественность всего душевного строя, открытое и приветливое выражение лица, походку, голос, его любимые обороты речи, которые порой звучат для меня почти вьяве. Он как бы все еще живет где-то рядом. Я не перестаю печалиться его судьбе и тому, что все эти сорок лет не мог общаться с ним. И даже самонадеянно думаю, что если бы он остался жив, а умер я, то мой друг так же вспоминал бы меня, как я теперь вспоминаю его – с грустью и благодарностью за то, что такая духовная близость была нам послана судьбой.

Краткая история жизни моего друга, которая пояснит смысл моего дальнейшего рассказа, такова. Отец его был купцом в Полоцке и, очевидно, весьма состоятельным, потому что, кажется, в 1912 году приобрел с торгов находившуюся близ Порхова выморочную усадьбу богатых дворян Бороздиных, носившую малопонятное название Костыжевы. Миша, родившийся в 1905 году, вспоминал, что его мать уговаривала отца не покупать Костыжицы, напоминая ему то, что несколько лет назад творилось с помещичьими усадьбами. Отец же возражал, уверяя, что крестьянам не за что будет их ненавидеть, он-то не будет помещиком, он покупает только дом со службами и парк, куда семья будет ездить из Полоцка как на дачу, не более того.

Большой каменный барский дом достался Шпаковым после последнего Бороздина то ли за неимением наследников, то ли за отказом их от имения, обремененного долгами, на покрытие которых пошли деньги Мишиного отца. Достался со



В.М.Глинка и М.А.Шпаков. 1920-е гг.



М.А.Шпаков

всей обстановкой, семейным архивом и библиотекой. У моего друга хранились две хорошие любительские фотографии двухэтажного белого дома. Одна изображала дом с колоннадой со стороны парадного двора, другая – где кулисами почти такого же фасада служили ветви парковых деревьев.

Когда война 1914 года заставила Шпаковых покинуть Полоцк, они переехали в Костыжецы. Отсюда моего друга, его брата и сестру ежедневно возили на своих лошадях в недалекий от усадьбы Порхов в гимназии и привозили после уроков обратно. Миша говорил, что в эти годы он очень полюбил костыжецкий дом с большими высокими комнатами, отличной старинной мебелью, зеркалами, портретами Бороздиных, картинами и старыми книгами, смотревшими ровным строем из-за стекол шкафов. При усадьбе была небольшая церковь, тоже с колонным портиком. В склепе под церковью лежали многие владельцы усадьбы. Был также обширный парк со столетними деревьями и беседкой-ротондой, на фасаде которой, как Миша рассказывал, с трудом читалась надпись «Lien de reflexions solitaires...»*

Потом, кажется, весной 1918 года, их семью выгнали из Костыжец, позволив захватить, что уместится на одной телеге – вероятно, лишь одежду да кое-что из постельного белья. Отец Миши через несколько дней после этого умер «от сердца», а мать с детьми поселилась в Порхове в двух комнатах у приютивших их знакомых. С этого времени им постоянно материально помогал брат Мишиной матери, петербургский юрист Виктор Измайлович Некрасов. Мальчики Шпаковы – им было 14 и 13 лет – летом 1918 года не раз ходили в свой бывший костыжецкий дом, где поместился комбед (комитет бедноты), клуб и школа ликбеза. Их пускали, но не позволяли ничего уносить, кроме старинных книг, которые за ненадобностью были свалены на чердаке. Там же на чердаке валялись и фамильные документы Бороздиных. В 1919 году братьев стали гонять от дома и вообще из усадьбы.

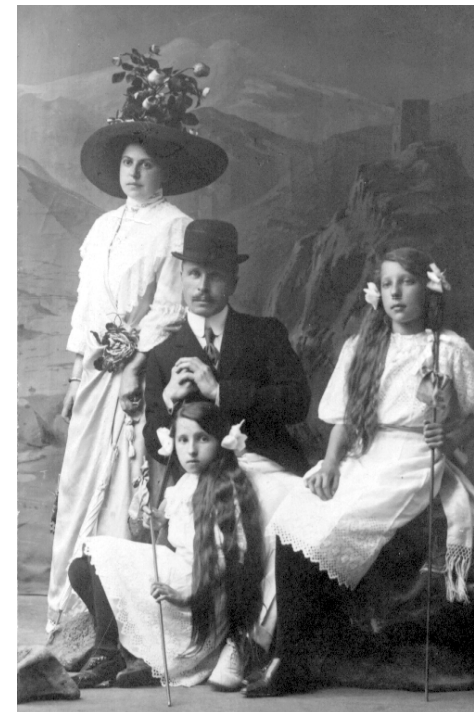
Когда мы подружились с Мишей, я уже начинал ощущать настоящую тягу к старине. Мне была интересна история предметов, которые служили раньше людям, и мой друг после каждой поездки в Порхов привозил мне в подарок несколько томов из костыжецкой библиотеки. Антикварная книга в эти первые годы НЭПа хоть невысоко, но все же ценилась, и мы решили, что все сочинения, которые удастся подобрать полностью, он будет продавать и посылать деньги матери, а разрозненные тома отдавать мне. Из подаренных мне тогда Мишей книг запомнились по одному тому изданных в середине XVIII века стихов Тредиаковского и Ломоносова, несколько частей «Естественной истории» Бюффона, с раскрашенными от руки

гравированными изображениями птиц и зверей, и томик истории Карла XII Вольтера. Все они были переплетены в светло-желтую глянцевиновую кожу с золотыми тисненными заглавиями на корешках, и форзацы их покрывала чуть шершавая многоцветная «мраморная» бумага явно ручного изготовления, на каждом сочинении разных оттенков. Как неповторимо пахли стариной страницы этих книг с не везде одинаково ровной толщины тряпичной бумагой – кисленькой, вековой затхлостью и засушенными почти в каждом томе веточками и лепестками цветов...

Все наши студенческие годы Миша жил у дяди Виктора Измайловича, ставшего в годы НЭПа преуспевающим адвокатом. Миша приучался к юридической практике – слушал разговоры с клиентами, писал под диктовку, а потом сам составлял искивые заявления и другие документы. В нашей группе из 30–40 студентов-швилистов Миша был, несомненно, самым ярким по интересу к предметам, которые нам читали и по интересам к судебной практике этих лет. Ответы свои на экзаменах он прекрасно формулировал. А я был, верно, самым пассивным, самым ленивым студентом. На лекциях, правда, я присутствовал, но с трудом заставлял себя готовиться к экзаменам, проглядывая по учебнику не больше того, что требовалось, чтобы получить зачет. Иных оценок тогда не существовало.

Когда я теперь думаю, почему, выяснив на первом же курсе, что юридические науки меня не интересуют, я не перешел на исторический факультет, то объясняю это тем, что наш преподаватель истории в реальном училище был мягкий и бездарный человек, который весьма скудно пересказывал нам, ничем не расцветивая и не волнуя наше воображение, сухие строки учебников. А новые сочинения

школы Покровского были и того тоскливей. Торговый капитал, эксплуатация крестьян, колонизация окраин, рост рабочего класса – все это без живых людей с их судьбами. Я был тогда истинно «ленив и нелюбопытен» и не сумел отдать себе отчета, что меня интересует история материальной культуры. Петляя в одиночку, я даже не знал, что помимо исторического факультета, существует целый Институт истории искусств с отделением музееведения, куда, наверное, мне и нужно было перебраться. Идя как-то «наошупь», я увлекся историей архитектуры Петербурга. Прочел Курбатова, Грабаря, Лукомского. И этим, замечу не без гордости, увлек и Мишу, так что, гуляя вместе, мы рассматривали здания, решетки, граниты набережных. Но старой русской художественной литературой, в которую, начиная с Карамзина, я погрузился, мне его увлечь не удалось. Так же, как и ему – увлечь меня Прустом и Дос Пассосом. А тут еще подошел столетний юбилей восста-



П.В. и Л.Н.Глинки с дочерьми Надеждой и Марией. 1913



Ленинградский университет,
юрфак, 1920-е гг. Второй ряд
сверху – третий слева
В.Ричиотти, пятый —
В.М.Глинка

ния декабристов, появилось множество статей, мемуаров, повестей о них. И я совсем потерялся в этом мире изысканных страданий и романтики. Однако этим я хоть немного заразил Мишу, так что мы вместе вечером 25 декабря пошли на Сенатскую площадь. Мы были там, пожалуй, одни в метель и порядочный мороз. Сняли шапки и постояли молча. О, юность!..

Но вернусь к судьбе старинных книг, подаренных мне Мишей. Чего-то во мне никогда не хватало, чтобы стать коллекционером, и, хотя через мои руки прошло немало старинных, порой красивых предметов, но я их все разда- ривал. Впрочем, давно сказано, что щедрость дарителя есть не более, как проявление своеобразного эгоизма – ему доставляет больше удовольствия улыбка одаренного, чем владение тем, что отдает. Когда я стал работать в музеях, утрата интереса к коллекционированию стала еще более обоснованной – я мог рассматривать столько прекрасных предметов, что собственное коллекционирование стало смешным. А тогда, в студенческие годы, каждую зиму снимая с кем-нибудь из земляков новую комнату, я, естественно, ограничивал свое имущество тем, что вешали два чемодана, поэтому вышло, что книги, подаренные мне Мишей, я, с его согласия, отнес в университетскую библиотечку, где их приняли с благодарностью.

Задержался у меня только подаренный им же к моему дню рождения в 1925 году изящный томик, переплетенный в красный сафьян с золотым тиснением в виде

рамочки. Это было напечатанное на голубоватой бумаге, в формате несколько вытянутом вверх, первое издание «Кавказского пленника». На обороте последней страницы стояла выведенная карандашом неуверенным, но старательным почерком подростка такая надпись: «C'est mon livre prefere. Mais celle qui me sauverait me tendera la main de l'ouest»... По моей просьбе одна родственница, хорошо знавшая французский язык перевела это так: «Это моя любимая книга. Но моя спасительница протянет мне объятия с Запада». Одновременно Миша подарил мне патент на чин статского советника. Патент был напечатан на пергаменте – телячьей коже, выделанной под бумагу. В патент, датированный четвертым августа 1849 года, было вписано от руки имя Александра Бороздина, и стояли собственноручные подписи четырех сенаторов. Трудно было соединить надпись на книге, вышедшей в 1822 году, с тем, кто получил патент. Уж слишком головокружительной должна была бы быть такая карьера. Но что означала эта тоскливая надпись рукой мальчика, а, может быть, девочки, начертанная не ранее середины двадцатых годов?.. Поговорив об этом с Мишей, мы, конечно, ни к чему не пришли, кроме того, что, скорее всего, писал мальчик. Ведь все-таки, «пленник», а не пленница. Впрочем...

Прошло года три. Мы окончили университет. Мой друг первым из нашей группы, буквально через две недели после получения свидетельства, блестяще сдал экзамены в коллегию защитников и стал практиковать как адвокат, потом перешел на работу юрисконсультом треста гостиниц. Он спокойно и уверенно шел не случайно выбранной дорогой. Пока жива была его мама, Миша ездил навещать ее в Порхов и рассказал мне как-то, что в Костыжецах закрыли церковь, арестовали священника, вырубает парк, и дом стоит уже без оконных рам, дверей, печей и паркета. Обычная судьба каменных барских домов в те годы. На фундаментах деревянных, которые спалили сразу же, к тому времени уже выростали деревья.

А я пережил осенью 1926 года тяжелое горе – смерть через четыре месяца после брака 23-летней жены, заразившейся где-то брюшным тифом. Потом пробыл полгода на учете Биржи труда, съездил на лето коллектором с другом-геологом в Донбасс и, наконец, приобшился-таки к делу дальнейшей жизни – сначала стал дежурным в зале музея Революции, посвященном движению декабристов, потом экскурсоводом, летом – во дворцах и парках Петергофа, а зимой в Шереметевском Фонтанном доме. Но столь различные профессии не ослабили нашу дружбу с Мишей. Мы не очень упорно и с малым успехом старались втянуть друг друга в сферы своих интересов. Мишу все серьезнее интересовали вопросы экономики и политики, а я окончательно зарылся в исторические работы и мемуары. Но очень часто бывали вдвоем в театрах и на концертах, и тут наши вкусы почти всегда сходились.

Летом, когда я уезжал в Старую Руссу, мы изредка перебрасывались открытками, и мой друг два раза приезжал погостить к моим родителям.

Зиму 1927–28 года я жил в квартире дяди Петра Васильевича на Кирочной, 17. Эту квартиру из шести комнат незадолго до этого мои родичи «самоуплотнили» – уступив две комнаты давним знакомым – Наталье Ивановне и Николаю Ивановичу Берберовым. Он в прошлом был чиновником Министерства финансов, статским



В.М.Глинка с сотрудниками Русского музея
(Фонтанный дом Шереметевых). 1932

советником, и теперь также работал по банковскому делу. Среднего роста, сухощавый, очень элегантный, в строгом стиле, весел, крепок, черная бородка «а ля Генрих IV», черные холщевые с острыми кончиками, не менее острые чуть колочие глаза под черными же бровями, седая, тщательно причесанная шевелюра с пробормом посередине головы, которую причесывал, как мне однажды пояснил, одновременно двумя щетками. Армянская кровь в его наружности чувствовалась отчетливо, и в этом издании не казалась мне особенно приятной. Что-то в его манерах было искусственно-игривое и не очень доброе – от старого ловеласа, который никак не уgomонится.

А Наталья Ивановна мне очень и безоговорочно нравилась. Она была из старой дворянской новгородской семьи Карауловых, но облик ее мне казался интернационально красивым. Породистая европейская дама с тонкими чертами матово-бледного лица и волнистой сединой над высоким лбом. Она всегда была тоже очень строго и со вкусом одета и обута. Кроме утра, когда шла из умывальной, я не видел ее в пеньюаре, однако свежем, душистом и сшитом по модной картинке 1910–12 годов. И, конечно, эти супруги казались мне очень пожилыми. Еще бы! Мне-то было 25 лет, а им, куда за 50! Иногда, чаще всего в передней, куда друг против друга выходили двери наших комнат, мы обменивались любезными фразами. Иногда Николай Иванович угощал меня папиросами собственной набивки прекрасным присланным с Кавказа табаком. Наталья Ивановна осведомлялась, что я читаю и почти все мемуары, которые я называл, она хорошо знала.

В середине зимы мое отношение к Николаю Ивановичу убедительно подтвердилось. В некий будний день мы с Мишей, встретясь после работы, зашли пообедать в «1-е Товарищество официантов» – нынешний «Метрополь». Ресторан был из дорогих – в красивом зале и с прекрасной кухней. Выбрав, что будем заказывать, я оглянулся и встретился глазами с Николаем Ивановичем. Он сидел через два столика от нас, лицом ко мне, а перед ним, спиной ко мне сидела явно довольно молодая дама с короткой стрижкой светлых волос. Встретясь со мной взглядом, Берберов расправил усы и, выбрав миг, когда его спутница нагнулась к своему прибору, чуть подмигнул мне. Я ни словом не обмолвился никому о нашей встрече, но мое уважение к соседу по квартире было погублено... Впрочем, кто из нас, особенно в молодости, не переживал иногда приступов пуританства?

Я часто бывал по вечерам в гостях, почти каждую неделю в конце Каменно-островского или на Васильевском острове. Засиживаясь в гостях, я потом, сломя голову, летел домой, потому что жена дяди не доверяла мне ключа от входной двери и просила приходиться до 12 часов. Очевидно, эта очень добрая дама так понимала свою опеку над 25-летним вдовцом, которого весьма заботливо кормила по утрам завтраками да и обедами, если я не пропадал в гостях. Как-то раз-другой я опоздал на полчаса и получил выговор за то, что заставил тетушку, бодрствуя, ожидать моего робкого звонка. Услышав часть такого разговора, Наталья Ивановна пригласила меня на другой день в свою комнату и сказала, что всегда до двух часов читает, и когда я опаздываю, то могу тихонько постучать в стенку рядом с входной дверью, в том месте, куда выходит угол их комнаты, и она мне охотно откроеет. Я пользовался этим разрешением редко, верно, раз в десять дней, но в этих случаях уже не надо было так нестись домой. Мы с Наталией Ивановной стали обмениваться книгами вновь изданных мемуаров декабристов, которых она почти не знала. Я иногда стал заходить к ней в первую от прихожей комнату, обставленную как кабинет и гостиная. Здесь на письменном столе Николая Ивановича и на ее туалете стояли две больших, хорошо выполненных фотографии молодой красивой дамы. На мой вопросительный взгляд, Наталья Ивановна сказала, что это их дочь – поэтесса Нина Николаевна, которая в 1922 году эмигрировала, живет сейчас в Париже и замужем за поэтом Ходасевичем. Каюсь, тогда по афишам театров мне была известна художница Валентина Михайловна Ходасевич,

и я вовсе не слышал об ее талантливом дяде, моем тезке, но Миша, оказалось, хорошо знает его стихи и многие прочел мне наизусть, когда я заикнулся о таком соседстве.

Иногда Нина Николаевна присылала родителям посылки – что-то матери по части туалетов; галстуки, гетры и носки отцу – сборники стихов свои и Ходасевича, вышедшие в Париже, и, кажется, в Берлине. В ответ родители слали ей какие-то сладости, которые любила, живя в Петербурге, новые книги – беллетристику и поэзию.

Однажды днем я, возвращаясь домой, догнал Наталию Ивановну, которая несла с почты пустой ящик для посылки, и получил разрешение донести его до квартиры. При этом узнал, что готовится посылка ко дню рождения дочери.

Мне бы тоже что-то послать ей, подумал я, Наталия Ивановна так ко мне любезна! Но что? Что можно подарить поэтессе, да еще тогда, когда она вдали от родины... Да, к тому же их там двое, и поэты оба... И вдруг я вспомнил о «Кавказском пленнике».

Я позвонил по телефону Мише на службу, рассказал о своем замысле и тотчас получил его сочувственное согласие. Наталья Ивановна сначала отказывалась принять подарок... Такой дорогой и нарядный, говорила она, но, очевидно, представив себе, какое удовольствие книга принесет дочери и, выслушав мои настойчивые просьбы, согласилась. Я показал ей загадочную надпись на последней страничке и услышал уже известный мне перевод. Мы погадали, кто бы мог это написать? Мальчик или девочка? И кто эта особа вне России? Быть может, писал подросток, влюбленный в свою возвратившуюся во Францию красивую гувернантку, которая получила на родине большое наследство и легкомысленно обещала приехать за своим горько плакавшим воспитанником?

Как хорошо, что эти строки я, когда их впервые мне перевели, занес в заветную тетрадку, в которую записывал свои плохие стихи тех лет. Возвратясь с почтамта, куда ездил отправлять посылку, Николай Иванович рассказал, что некто, кому надлежало просматривать содержимое посылок, отправляемых за границу, заметив тусклую надпись карандашом на иностранном языке, без разговоров стер ее резинкой, сделав еще Берберову выговор, что, видно, он хотел что-то сообщить «шифровкой».

Мы слегка потужили с Наталией Ивановной, что до поэтов не дойдет эта странная надпись-загадка. Важнее, конечно, было то, что они получают то, на чем эта надпись была сделана.

О том, что бандероль дошла, вскоре было получено восторженное сообщение.

Прошел 21 год. Из действующих лиц рассказа в живых остался я один. Миша умер от голода, а супруги Берберовы, высланные в начале 1935 года из Ленинграда «как чуждый элемент», начисто при этом разоренные, умерли где-то в глуши во время войны. Как они, наверно, каялись, что не эмигрировали вместе с дочерью.

А я уже несколько лет работал в Эрмитаже. Назывался Главным хранителем отдела, но ничего не хранил и ничего не умел делать, кроме устройства выставок. В феврале юбилейного пушкинского 1949 года, когда проходил по Военной галерее, то висящие подряд портреты Бенкендорфа, Воронцова, Инзова, Раевского, Давыдова и декабриста Волконского вдруг навели меня на мысль о том, сколько людей из тех, что смотрят на нас со стен этого своеобразного собрания, знали Пушкина! А когда, побродив по галерее, подобрал еще Милорадовича, Ермолова, Керна, Голицына, Сабанеева, Паскевича, другого Волконского – будущего министра двора и самого Александра I, я пошел к директору Эрмитажа И.А.Орбели и рассказал ему простейший замысел книги «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца».



Дж.Доу. Портрет Н.Н.Бороздина

– Сколько Вам надо времени, чтобы написать эту книгу? – спросил Орбели.

– Месяца три, – сказал я.

– Уложите в два и считайте себя с этого часа в творческом отпуску, – сказал директор, – иначе мы не успеем ее выпустить к юбилейным дням.

В том, чтобы быстро напечатать, проблемы не было, была бы рукопись. При Эрмитаже тогда существовало свое небольшое издательство, во главе которого стоял старый опытный полиграфист Алексей Федосеевич Коналов.

Следствием было то, что на несколько лет я погрузился в биографии генералов, участников войн 1812–1814 годов. остано-

виться на вышедшей к сроку небольшой книге было просто невозможно. Недаром галерея вдохновила великого поэта на создание стихотворения «Полководец», так тесно связанное с его собственной биографией, и его положением здесь, в Зимнем... И отвага этих генералов, каждодневная опасность, пролитая кровь, часто смерть в тяжких страданиях, сожженная Москва, покоренный Париж, которые были для Пушкина живыми событиями только что минувшего дня – уже на глазах отливались в бронзу, становились славой и гордостью России и залогом, как ему казалось, будущего ее величия. Как же не увлечься было и мне грешному – одному из многих, зачарованных «вечной

В.М.Глинка. 1940-е гг.



памятью двенадцатого года? Да еще почти ежедневно и порой не раз проходившему по галерее? Конечно, большинство дошедших до нас биографий, особенно двухсот с лишком генерал-майоров – это лишь схемы, почти голый перечень походов и сражений, часто начатых еще под командованием Суворова, и должностей, которые генералы занимали. До нас не дошли особенные, им одним свойственные черты характеров, истории любви, причины радостей, обид и подробности часто долгих лет доживания в отставке по медвежьим углам России. Но о жизни некоторых, какие же волнующие, какие романтические узнаешь подробности, попавшие на страницы мемуаров, на листы сохранных архивных писем и документов... Может быть, от того, что, благодаря Мише Шпакову, ту самую фамилию я хорошо запомнил, как и название его имения, но одной из особенно меня занявших оказалась биография генерала Николая Михайловича Бороздина.

Как и братья Тучковы, он был сыном генерала. Именно этот генерал-поручик Михаил Саввич Бороздин, должно быть, и отстроил Костыжецы. Как и в семье Тучковых, в годы войны с Наполеоном, в семье Бороздиных было несколько братьев-генералов. Так, кроме Николая Михайловича генералами были Андрей Михайлович и Михаил Михайлович. Андрей Михайлович командовал 8-м пехотным корпусом при Бородине и только из-за плохой, бестолковой работы Инспекторского департамента Главного штаба не был включен в число портретируемых для Военной галереи. Михаил Михайлович принял после Ришелье Одесское генерал-губернаторство. Это он предал дом в Грузифе для отдыха семьи Раевских, когда те путешествовали, захватив с собой из Кишинева опального Пушкина.

Героем дальнейшего рассказа является Николай Михайлович Бороздин, который начал свою службу в конной гвардии и при формировании Павлом Кавалергардского полка оказался его корнетом. Молодой красавец и прекрасный танцор он был желанным гостем столичных балов. На одном из них, увидев, что Анна Петровна Лопухина-Гагарина уронила перчатку, Бороздин мгновенно оказался около и с поклоном поднес ее даме. Анна Петровна в те дни пользовалась особым расположением Павла I, и на беду услужливому кавалеру император именно в этот момент входил в зал. Став свидетелем сцены и вспыхав ревностью, Павел приказал арестовать «дерзкого» и заключить в крепость. Увы, у императора и мальтийского рыцаря такой поступок был вполне возможным. Правда, когда государю доложили, что Бороздин только выполнил долг галантности, тотчас было приказано его освободить, и с этого дня началось его повышение в чинах.

В 1804 году Николай Михайлович вступил в брак с юной девицей Елизаветой Александровной, дочерью известной своими любовными приключениями сестры фаворита Зубова, Ольги Александровны Жеребцовой. В свете все знали о связи Ольги Жеребцовой с миллионером Демидовым, потом с английским послом Уитвортом, игравшим значительную роль в подготовке убийства Павла. Уехав с Уитвортом в Лондон, Ольга Александровна сблизилась с королем Георгом III. Там у нее родился сын, именованный Егором Егорычем, читай Георгием Георгиевичем и странной при таком имени-отчестве фамилией Норд. Снабженный хорошим состоянием этот бастард служил ряд лет в едва ли не самом дорогом и нарядном полку русской гвардии – лейб-гусарском. Скажем еще, что другая дочь Ольги Александровны Жеребцовой была замужем за будущим графом, позже князем и шефом жандармов Алексеем Федоровичем Орловым и снисходительной старухой описана в «Былом и думах» Гершеном, которому помогла получить разрешение покинуть Россию.

От брака с Бороздиным у Елизаветы Александровны был сын, рожденный в 1805 году, названный Александром, и три дочери. Судя по всему, первые десять лет брака были счастливыми. В начале кампании 1812 года генерал-майор Бороздин командовал кирасирской бригадой, входившей в армию Барклая и особенно отличившейся под Бородиным, где не раз водил свои полки в контратаки на

конницу Мюрата. Несущимся карьером на фланге полков изобразил Бороздина художник Хесс на своей картине правее группы, окружающей раненого Багратиона. В одном из боев уже компании 1813 года Бороздин остановил своих кирасир, рубивших французских пехотинцев и принял из рук легко раненого французского генерала графа Пире шпагу. А после этого отправил пленного в Петербург, поручив в письме его заботам Елизаветы Александровны.

Француз не покинул Петербурга после 1814 года, как сделали почти все его пленные соотечественники. Правда, Александр I назначил всем французским генералам щедрое жалованье. Но Пире, очевидно, еще что-то накрепко привязывало к России. В одном из ленинградских архивов хранится прошение генерала графа Пире о принятии его на русскую военную службу, поданное в 1817 году и отклоненное Александром I. Семейное предание сохранило сведения, что местом для свиданий генерала Пире и Елизаветы Александровны Бороздиной была квартира бывалой матушки Жеребцовой.

А Николай Михайлович и после войны продолжал служить в чине генерал-лейтенанта, командуя дивизией, затем кавалерийским корпусом, приезжая в столицу по делам службы для коротких свиданий с семьей и вновь возвращался к своим частям в центральной России.

И все шло такой чередой, пока в 1820 году, приехав в Петербург, он не застал супругу беременной, причем по срокам своего пребывания вблизи нее было ясно, что он не может быть отцом будущего ребенка. Срам на весь Петербург, на всю чиновную и родовитую Россию! И вызвать Пире к барберу нельзя – он все еще номинально числился военнопленным. Да еще от такой дуэли срам разгласится куда шире. Семейное предание говорит, что Бороздин был близок к самоубийству. Он все еще любил жену, до этого слепо верил ей и был сражен изменой. По не сходству черт стало ясно, что и рожденная в 1816 году дочка тоже не была его ребенком.

Александр I, который знал Бороздина смолodu, летом 1820 года сделал его своим генерал-адъютантом, выказав тем особенное внимание. Граф Пире получил приказ императора немедленно покинуть Россию, а мадам Бороздина, разрешившись сыном, который получил имя Владимира и фамилию ее законного супруга, последовала за своим возлюбленным в Париж, где и прожила до глубокой старости. Но развода покунувшей его жене Бороздин не давал, может быть, еще надеясь, что когда-нибудь она вернется к нему и детям...

Когда я дошел до этих сведений, то едва ли не воскликнул вслух: так вот кто оставил надпись на последней странице «Кавказского пленника»! Вот кто ждал избавительницы издалека! Вот кто тосковал о матери, с которой был разлучен! Но как книга попала в Костыжецы? Возможно, мальчика привозили в Костыжецы летом? А, может, книгу перевезли туда из петербургского дома?

Какова же дальнейшая судьба всех героев моего рассказа?

Николай Михайлович умер в 1830 году, всего 53 лет от роду генералом от кавалерии и членом Государственного Совета. Мадам Бороздина скончалась в Париже в 1861 году, и прах ее старший сын перевез в Костыжецы, где похоронил рядом с мужем. На памятнике были высечены слова «Супруга генерал-адъютанта Елизавета Александровна Бороздина». Рядом в свое время упокоился и тот Александр Николаевич, патент, на чин которого я получил от Миши. А в начале XX века в тот же склеп положили и останки последнего Бороздина этой линии – генерала Георгия Александровича, чью усадьбу со всем имуществом купили Шпаковы.

Владимира – сына Пире, носившего фамилию Бороздиных и хорошо обеспеченного номинальным отцом, в этом склепе не похоронили. О нем мне удалось узнать только, что был женат на некоей Александре Павловне Никитиной и умер 43 лет от роду, всего на два года пережив свою мать. Свиделся ли он когда-нибудь

с той, о ком, очевидно, так тосковал, оставшись в России ребенком, что сравнивал себя с «Кавказским пленником»? Может, на эти вопросы дал бы ответ Костыжецкий архив, но от него сохранился, насколько мне известно, только один документ – патент на чин Александра Бороздина, который я подарил Пушкинскому заповеднику как образец свидетельства о службе современника поэта – помещика Псковской губернии, с которым вполне возможно тот встречался и в Петербургском высшем обществе. Ведь известно, что с сестрами Бороздиными – Анастасией и Ольгой Николаевнами Пушкин был знаком еще до выхода их замуж, и по утверждению близко знавшей поэта А.О.Смирновой именно с ними связана строка из «Евгения Онегина» – «На вензель, двум сестрицам данный»...

Каменка, 1982



В качестве примечания к тому месту рассказа «Кавказский пленник», где говорится об университете, можно добавить, что, вероятно, первым из печатающихся литераторов, с которым В.М.Глинка столкнулся в своей жизни, был его однокурсник по юрфаку Владимир Ричиотти. Ричиотти был поэтом, состоящим в «Воинствующем ордене имажинистов». Оповещение о членстве в этом «ордене» на русском, французском и английском языках приклеено в виде эскиза на книжке, подаренной автором В.М.Глинке. Если вспомнить, какие времена предстояли нашим соотечественникам, родившимся в первые годы XX века, то смуглому юноше со средиземноморской фамилией и приверженностью к вступлению в сообщества с довольно сумбурной программой нельзя отказать в некоторой пронизательности

*С болью жду, как табор лет шумливых
Занесет в иные племена,
А потом прижмет к земле пугливой
В четырех березовых стенах...*



Курс юридического факультета ЛГУ, на котором учился В.М.Глинка. Второй ряд сверху – пятый слева В.М.Глинка, седьмой – В.Ричиотти

Что стало с «имажинистом» Ричиотти? Составителю данной книги известно лишь, что литературный архив Ричиотти находится в Пушкинском доме, но едва ли доступен, поскольку еще в конце 1970-х он еще не был разобран и описан, и вероятность, что до этого архива дойдет когда-нибудь очередь, уже тогда угасала.

Дарственная надпись, которую «имажинист» сделал на своей книжке, подаренной В.М. такова:

В знак того, что в мире, в ладе
Жили мы, на память Владе
Я дарю, - как кровь от плоти, -
Эту книгу
Ричиотти.

Впоследствии, за свою долгую жизнь В.М. получал, без преувеличения сказать, сотни книг с авторскими надписями, однако привести хотя бы незначительную часть этих надписей здесь совершенно невозможно. Тем не менее, чтобы не оставить тему автографов в совершенном забвении, приведем все-таки один пример - из тех, что относится к образцам, чуть не на полвека более поздним, нежели четверостишие Ричиотти. Так, в 1970 году В.М. получил от Льва Васильевича Успенского книгу «Записки старого петербуржца» с такой надписью:

Нам трудно, откровенно говоря,
Друг друга угощать духовным хлебом:
Вы - не писали «Жизни за царя»,
А я, уввы, - не называюсь Глебом...

- Какой же Лев Васильевич «старый петербуржец»? - говорил хорошо относящийся к А.Успенскому, но любящий во всем точность В.М. - Он же родился в девятисотом! Сколько ему было лет, когда Петербург стал Петроградом? Четырнадцать? Очень «старый» петербуржец, не правда ли?

Другое примечание к тому же рассказу касается одной почтовой открытки, посланной в середине августа юбилейного пушкинского года из Москвы в Ленинград.

Итак, август 1949 года. И обычная, вроде бы, открытка. Но присмотримся. В обоих адресах - как отправителя, так и получателя не указаны номера домов. Но открытка благополучно дошла. В чем дело? А в том, что домам этим не нужны номера. Дом правительства, откуда пишут, в СССР - один. И Эрмитаж, куда пишут, - тоже один. К тому же, как тот, кто пишет, так и тот, кому пишут - академики. Случай тем более редкий, что оба титула, которые могли подра-

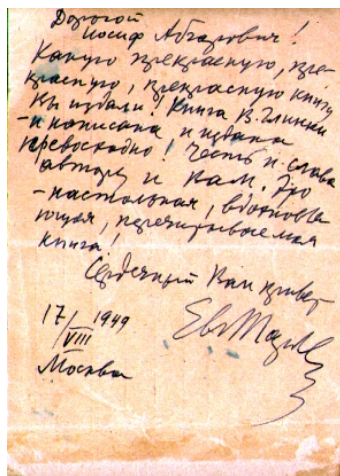


Академик Е.В.Тарле

зумеваться, здесь отчетливо продемонстрированы. При этом отправитель, для которого такая демонстрация едва ли привычна, слово «акад.» перед своим именем вписывает явно уже потом, словно спохватившись. Одним словом, немного театр. Для кого же? Наверно, для того, кому еще до адресата вменено читать переписку. Чтобы, прочтя слова «Дом правительства», сразу же отложил другие письма... Так что же в открытке? А ничего существенного. Похвалы некоей книге, но что за книга, даже не говорится, называется лишь ее автор - В.Глинка. И похвалы-то, как на юбилее: «Какую прекрасную, прекрасную, прекрасную книгу Вы издали!... Это - настольная, вдохновляющая, перечитываемая книга!» Похвалы, прямо скажем, с перехлестом, да еще с каким! Уж, прямо, «вдохновляющая», да еще «настольная»... И пишет это автор целой полки собственных исторических сочинений?

Книга же, о которой идет речь - «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца», вышедшая в издательстве Эрмитажа. Надо добавить, что первым откликом на нее было появление в «Ленинградской правде» заметки, в которой книга называлась «собранием дворцовых анекдотов»... А что за время - август 1949 года в Ленинграде? Время - хуже не придумаешь. Уже идет «Ленинградское дело». Арестованы Н.А.Вознесенский, А.А.Кузнецов, П.С.Попков... Именно в августе прихлопнули Музей обороны Ленинграда, директора которого Л.А.Ракова ждет скорый арест. Кто такой Раков? Это друг В.Глинки, кроме того, сам недавний сотрудник Эрмитажа, который был в музее даже ученым секретарем...

Утверждать, что специфическую открытку, (именно открытку, а не письмо) своему хорошему знакомому академику Евгению Викторовичу Тарле «заказал» сам директор Эрмитажа Иосиф Абгарович Орбели, мы не беремся. Но уж очень это похоже на правду. Оба прекрасно знали, что ни одно из их писем не останется без внимания. Утверждать, что даже если открытка и «заказная», то Орбели спасал именно Глинку, я бы тоже не стал, но «Ленправда» целила не просто в человека, целила, это очевидно, в Эрмитаж! Что же касается Е.В.Тарле, то он человек многоопытный - сам уже сидел (1930-34), а от вторичного ареста был спасен совершенно не ожидавшейся никем похвальной репликой самого Сталина, вследствие чего мгновенно возведенный в ранг неприкасаемых, вместо лагеря получил одну за другой три Сталинских премии. На своем собственном примере академик хорошо знал, из какого выеденного яйца может быть раздуто политическое дело, знал и то, что молния, благодаря счастливой случайности, может сверкнуть мимо. Так почему бы такой счастливой случайностью для В.Глинки (которого, впрочем, Тарле знал) не стать открытке трижды лауреата Сталинской премии из «Дома правительства»?



НА ДВОРЦОВОМ МОСТУ

Знаю, что это было в конце января **1937 года**. Точной даты я не записал (тогда мы ничего «лишнего» не записывали), не запомнил, и не в ней дело.

В то время мне приходилось работать вне дома не менее двенадцати часов в сутки. И все же моя семья – жена, дочка и я – жили очень скудно. Я состоял в штате одного из музеев, где сохранилась еще традиция, по которой научные работники проводят на службе часа четыре, а остальное «добирают» в библиотеках или дома – над книгами и рукописями. Такую вольность вскоре прикончили, но она существовала с 20-х годов, очевидно, как завуалированное признание мизерности музейных ставок, при которых мы все должны были искать возможности что-то к ним приработать. Другие четыре часа я состоял уже на полставки в Центральном историческом архиве, где ведал фондами Министерства двора и уделов. Кроме того я в то время был приглашен по договору на полугодовой срок консультантом в Институт русской литературы в связи с только что миновавшим столетием гибели Пушкина. На обновление экспозиции в сельце Михайловском Академия наук отпустила большие средства, и мне надлежало заново оформить там интерьеры. «Гвоздем» этого обновления являлся большой гарнитур гостиной из принадлежавшего Алексею Вульффу имения Малинники, в котором бывал Пушкин. За капитальной его реставрацией я наблюдал, и для дополнения к нему надлежало подобрать картины и осветительные приборы, а затем отвезти все это на место и расставить там согласно канонам помещичьего жилища. Наконец, я еще ежедневно просиживал часа два–три в читальном зале архива: два моих друга и я подготавливали сборник документов об истории удельного хозяйства по договору с дирекцией архива, выходил я из дома в половине девятого, а возвращался в девять–десять часов. И так же или подобно этому работали «на износ» тысячи людей близкого мне трудового профиля, чтобы хоть как-то прокормиться с семьями.

В тот январский вечер 1937 года, около половины восьмого, я шел из Пушкинского дома в Центральный исторический архив, где читальный зал работал до половины десятого. Пронзительно визжа на повороте с Университетской набережной на Дворцовый мост (его тогда переименовали в Республиканский) медленно позли трамваи. Из-за крепкого мороза прохожих почти не было. Я низко надвинул на лоб шапку, поднял воротник, вобрал голову в плечи и привычной дорогой двинулся через мост. Впереди, в нескольких шагах, так же быстро шла женщина с закутанной теплым платком головой, а перед ней, на чуть большем расстоянии – мужчина в коротком пальто и фуражке. Мы уже миновали середину моста, когда я услышал крик женщины, который навсегда запомнил:

– Дядька! Дядька! Ты чего!?

Я поднял голову из воротника и увидел, что мужчина, шедший перед нами, стоит на корточках на перилах моста. Очевидно, он только что вскочил на них – руки еще касались перил по сторонам ступней. Но это длилось не более нескольких секунд. Затем он чуть распрямылся и то ли прыгнул, то ли соскользнул вниз.

В то время к перилам мостов крепились круглые дощатые шиты, на которых висели пары больших пробковых шаров, обшитых крашеной холстиной и соединенных веревкой. Между мной и тем местом, где теперь над перилами склонилась женщина, был такой шит. Я бросился к нему и дернул за шары. Но веревка оказалась прикрученной проволокой к деревянным тычкам-вешалкам. Я дернул что было силы и оторвал шары вместе с тычками. Еще миг и я был уже рядом с женщиной, готовый бросить вниз спасательный снаряд. Но тут я увидел, что

человек рассчитанно прыгнул в тот незамерзающий водоворот, который и в большие морозы образуется около устоев моста. Несколько секунд еще были видны кисти его рук, видимо, инстинктивно схватившиеся за кромку льда, но тут же они исчезли. Бросать шары было незачем. На инее, покрывавшем перила моста (тогда они были деревянными), явственно отпечатались следы двух скользящих подошв и, по сторонам их, двух ладоней и пальцев.

– Надо заявить милиции, – сказала я женщине. – Зайдемте к ним в будку.

– Ой, что вы! Затаскают! – бросила она и не пошла, а побежала, припустила от меня к Адмиралтейской стороне.

Перекинув через плечо веревку с деревяшками и шарами, я направился обратно, к будке дежурных речной милиции. Мне и в голову не пришло, что это казенное имущество можно просто бросить: как-никак я отдрал его с места. Вот она – отрыжка буржуазного законопослушного воспитания!

Переходя наискось мост, я видел, как два милиционера в зимних шинелях с поднятыми воротниками бараньего меха и в валенках, очевидно, закончив обход моста, вошли в двери будки. Когда вошел и я, они уже сидели, сняв шапки и рукавицы, у жарко натопленной печки. Я сказал, что только что с моста бросился человек.

– Где? Где?

– Хватаясь за шапки, они вскочили с мест.

– Уже ушел под лед.

И я рассказал, что видел.

– Эх, черт! Это, наверно, тот, который на той стороне стоял да вниз глядел, – сказал один. – Мы его еще окликнули... А они часто так. Сначала примериваются.

– Садитесь, гражданин, – сказал второй, развертывая тетрадку большого формата. – Запишите свою фамилию, имя-отчество, адрес и где работаете. В управлении от нас требуют, если кто заявит.

Точно затаскают, подумал я. Однако делать нечего – пришлось показать служебный пропуск Исторического архива и записать все, что требовалось.

Но меня не таскали. Утром ближайшего выходного дня, когда мы с пятилетней дочкой перед топившейся печкой читали сказки, к нам пришел молодой командир милиции. Тогда еще слова «офицер» боялись, как огня, и нигде не употребляли иначе, нежели в качестве признака порочного прошлого, да еще в «Марше буденновцев», но и там применительно к одному Ворошилову и только для рифмы с «Эс-Эс-Эс-Эр», да потому, что он был всем известный политработник, а не строевой командир.

Морозы продолжали стоять крепкие. Юноша, ехавший в трамвае, с площади Урицкого (бывшей и будущей Дворцовой), где тогда располагалось Управление милиции, сильно заколечен и явно обрадовался, когда ему предложили снять шинель и выпить чаю. По обязанности хозяина я тоже присел к столу. Юноша сказал, что в милицию его перевели недавно по партийной линии, что он два года назад окончил пехотную школу и пока в милицеевских делах, «как в лесу». Поэтому ему поручают всякие пустяки, вроде записи моих показаний, и запись эта пойдет прямо в архив. И хотя бы в сухопутную милицию попал, а то в речную! Он еще явно не вошел в стиль своей новой работы, простодушие из него так и лезло. Сказал, что перевели как его, так и еще многих из среднего комсостава потому, что в милиции много начальства «забрали», и оттого сразу пошла передвигка вверх. Хотя вскоре, говорят, и в армии будет то же, и там бы он разом вышел на роту, а то и на батальон.

– Знать не знал, что в Ленинграде столько мостов, – сказал он, допив чай, и приговаривая записывать на печатный бланк мои показания. – И со всех – с больших и с малых, у которых водоверти незамерзающие около устоев имеются, и на Неве и на Невках ночами люди топятся. Нам, когда с утра начальство

инструктаж дает, постоянно в упрек ставит. Мол, постовые недосмотрели! А как их укараулить? Долго ли через перила? Другую ночь одних зарегистрированных за тридцать человек да про скольких не пишут, а то и не видят...

Мы с женой невольно выразили удивление такой цифре.

– А нам все понятно, – не без гордости сказал гость. – Разъяснение было сверху. Как все они почти враги народа, уклонисты, допустим, от генеральной линии партии... Или троцкисты-зиновьевцы, или еще за что наказания ждут. Почувствует такой элемент, что его ожидает, увидит, как его товарищей одного за другим разоблачают, вот и решится на любой конец. Первое – избежит того, что на следствии таких ожидает, а второе – надеется, что если сам навеки скроется, так, может, жену с детьми своей смертью от наказания избавит, раз сознает, что законная кара на него надвигается... Ну, спасибо, хозяйка, согрелся, даже пальцы в сапогах отошли... Давайте, что положено запишем, товариш научный сотрудник. Мне еще к двум заявителям поспеть бы. По выходным вернее дома застать. От начальства есть приказание такими опросами на производстве людей не отвлекать, ну, чтобы болтовни про это не было. И вас попрошу, чтобы... понятно, да? Значит, в котором часу вы через Республиканский мост шли?

Вот и все, что мне поначалу хотелось записать. Особенно, конечно, действовал на нас с женой рассказ простодушного командира. Одно дело – будучи беспартийными, знать понаслышке, что в рядах ВКП(б), где у нас нет никого близкого, идет жестокая «чистка», – другое – нечаянно заглянуть за этот занавес да еще услышать комментарий сколько-то осведомленного лица.

А следом за этим эпизодом память тянет на бумагу другое, как теперь говорят, тематически связанное с ним воспоминание того же времени.

За несколько месяцев до того, то есть осенью 1936 года, в Центральный исторический архив поступил научным сотрудником некий Юрий Алексеевич Онищенко. В Ленинград он – преподаватель истории СССР – переехал из Владивостока, как говорил, из-за того, что не ладил с женой. Снимал где-то близко от архива полкомнаты, питался в столовках, прилежно работал днем в фондах, а вечером в читальном зале архива, готовя статью о дальневосточной политике царизма в начале XX века. Об этой статье во время перекуров он рассказывал нам – троим друзьям, занимавшимся историей удельного хозяйства. До сих пор помню, что в статье фигурировал некий губернатор с итальянской фамилией Гондатти, разумеется, показанный в довольно темных тонах, но, казалось нам, обоснованно.

Новый наш знакомый был неглуп, довольно образован и увлечен своей работой – кроме как о ней, с нами он ни о чем почти не говорил. Костюм у него был опрятный, белье всегда чистое, но драповое пальто и кепка с наступлением холодов заставляли при выходе из архива отделяться от нас, одетых уже позимнему. Мы шли до трамвая обыкновенным шагом, а он уносился вперед почти бегом. То, что на круглом и бледном лице Онищенко лежало всегда несколько озабоченное, даже напряженное выражение, мы приписывали пережитому недавно во Владивостоке семейному конфликту. Поговорив как-то о его одиночестве и о том, что он явно худеет, мы трое решили по очереди звать его обедать по выходным.

В некий морозный день в декабре или в начале января Онищенко пришел к нам такой посиневший от холода, что моя жена, вызвав меня в коридор, шепотом сказала:

– А не дать ли ему хоть временно твою кенгуровую шапку и папин пуховый шарф?

Оба эти предмета лежали у нас без употребления и имели пристойный вид. Юрий Алексеевич легко и охотно согласился взять вещи. Он начинал лысеть, хотя не достиг еще сорока лет, и теплая шапка была особенно к месту.

В феврале Онищенко закончил свою статью и прочел ее нам – мы работали вчетвером в одном кабинете. Статья была серьезной. Он хорошо поработал в архивах Владивостока и Ленинграда, статья была написана кратко, последовательно и хорошо языком. Ободренный нами, он передал ее директору архива Арвиду Карловичу Дрезену, имевшему большой вес в редакции журнала «Красный архив». Директор тоже похвалил его работу, написал весьма положительный отзыв, и Юрий Алексеевич сам отправил его в Москву вместе со статьей.

А через несколько дней его вызвали утром к Дрезену. Самый добрый из нас, Валентин Борисович Хольцов, сказал, что, верно, уже пришел ответ из «Красного архива» о том, что статью будут печатать. Онищенко на это ничего не ответил, но я увидел, что рука, которая закрывала архивное дело, сильно дрожала.

Он не вернулся в нашу комнату, а на другой день было общее собрание сотрудников, на котором один из заведующих отделами архива, соотечественник Дрезена, латыш Круминь, сообщил, что Онищенко хитро скрывал свое подлинное лицо уклониста, исключенного из рядов партии, и здесь, укрывшись в архиве, пытался обманывать партию под маской аполитичного беспартийного. Но когда сталинская ЧК-ГПУ получила указание расправиться по заслугам с отщепенцами, единомышленником которых был Онищенко, то его собственная жена сообщила, куда нужно, где его искать. А теперь, когда он арестован, его не минует справедливое возмездие. Обманщик получит сполна то, что заслужил.

После этого оратора выступало еще несколько сотрудников – русских и латышей, и все требовали сурового наказания обманщика, осмелившегося пристать к шайке вредителей-уклонистов.

Дома жена сказала мне:

– Куда его теперь зашлют? Ну, хоть шапка у него есть...

Я уже упомянул об участии в подготовке интерьеров для тогдашнего дома в Михайловском, стоявшего на фундаменте еще пушкинских времен, но весьма сильно модернизированного в начале XX века. От тогдашней заведующей заповедником Н.Ф.Пашко я получил списки уже имевшейся в нем мебели, а также планы комнат с их размерами и перечислением того, что будет в них экспонироваться. Все имевшееся в наличии было, насколько я мог понять, довольно бедно и случайно, вроде биллиарда с кием и шарами, который скорее принадлежал сыну Пушкина, Григорию Александровичу, чем его отцу. Украшением дома должен был стать гарнитур мебели из Малинников, на котором несомненно, сиживал гостивший там Александр Сергеевич и который надо было во что бы то ни стало капитально отремонтировать и доставить в Михайловское к шестому июня.

История приобретения этой мебели была такова. Еще осенью 1936 года весьма пожилая чета интеллигентов, фамилию которых, к сожалению, не помню, проживавших где-то на Фонтанке в районе Коломны, предложила Пушкинскому дому к грядущему юбилею приобрести этот гарнитур, стоявший до 1917 года в гостиной барского дома в Малинниках. Доказательства были неоспоримые: документы о владении этой усадьбой продававшими мебель супругами и многочисленные фотографии, начиная с 1860-х годов, большой комнаты, где стояли эти самые диваны, кресла, стулья, а на стенах висели портреты Пушкина, Вульфа, Осиповых. Я был приглашен осмотреть гарнитуры и составить заключение о желательности его покупки. Деньги на обновление музея в Михайловском были переведены на счет института, и покупка состоялась. Сумма по тогдашним ценам на мебель была немалая – что-то около четырех тысяч рублей. Но и предметов было много: два зеркала с подзеркальниками, два дивана, два преддиванных стола и десятка два кресел и стульев, очень тесно, почти вплотную, составленных теперь в сравнительно небольшой комнате. Материал – красное дерево с накладными резными орнаментами на «гребешках» спинки и на рамах зеркал. Но, по крайней мере, половина этих украшений была утрачена так же, как несколько ножек у стульев, локотников

у кресел, не говоря о больших или малых отколах дерева почти на всех предметах.

Словом, купить-то купили, раз на этих креслах сживал Пушкин, а ремонт предстоял огромный, и мне требовалось сыскать мастеров, которые бы взялись за него по договору, так как своих столяров в Пушкинском доме не имелось. Тогда на подобные работы по договорам финансовые органы смотрели спокойно. Сунулся в лучшие известные мне столярные мастерские – в Эрмитаж. Отказ. Работы вечерней и воскресной у всех набрано много. Пошел в Русский музей – тот же ответ. Но здесь один из приятелей-столяров, Иван Иванович Малюхин, на мой вопрос, как же быть – ведь необходимо к середине мая мебель отреставрировать и доставить на место – сказал:

– Знаю только одного мастера, который и резьбу и вставки под текстуру так сделает, что новое от старого никто не отличит. Он в нашем деле профессор-академик. Но возьмет, как следует. Попробуйте к нему съездить. Скажите, что от меня. Он у меня сына крестил. Мы оба наследственные, охтинские. А он до революции у Мельцера на фабрике работал.

Мы в те годы, как я уже сказал, не хранили ни писем, ни записных книжек – уж такое было время, что любые случайные записи могли дурно обернуться. Поэтому я помню только, что фамилия мастера была Миронов и что жил он в какой-то улочке чуть севернее Сенной, во дворе, в небольшой отдельной квартире со звонкомдергалкой-колокольчиком.

В первый же свой приход застал его дома. Хотя немногим больше сорока лет, но, показался мне мас-

Н.С.Глинка с сыновьями. 1915



тером старого склада, каких знал раньше в пригородных дворцах-музеях, где таких очень берегли. Попросил присесть к столу и рассказать свое дело. Вел себя он вежливо, неторопливо, с чувством собственного достоинства. Я его рассматривал. Худенький, голубоглазый блондин, с мягкими негустыми волосами на боковой проборе, усами и бородкой. Может, именно эта бородка, которая была тогда редкостью, и приближала его по внешности к старшему поколению столяров.

Пока Миронов, выслушав мое дело, не спеша и очень внимательно рассматривал принесенные мной фотографии гостиной в имении, приобретенные вместе с мебелью, я огляделся. Комната, где мы сидели, и вторая, часть которой видел, были заставлены мебелью: столы, диван, кресло, буфет – как я понял, все работы хозяина. И все это было странным смешением старинных форм – чиппендейл, классика, ампир, модерн с декорировкой орнаментами другого цвета дерева – везде резные отполированные лилии, ирисы, чайки и волнообразные выкрутасы – не то листья, не то волны с пенистыми гребнями.

За десяток лет музейной работы глаз привык к совершенно иному стилевому подбору, и я рассеянно смотрел на эту, как казалось мне, искусно сделанную чепуху. И тут же уперся глазами в темного дерева киот в углу. Он был самой простой формы, а за его стеклом поблескивали серебряные оклады икон. Верно, родительское, подумал я.

Рассмотрев фотографии, мастер сказал, что за работу он, может быть, и возьмется, но должен обследовать каждый предмет, чтобы составить смету работам. Только тогда ясно будет, сколько потребуется на все времени и можно назначить справедливую цену. Ведь мебель фотографировалась на месте, где стояла сто лет, а оттуда после революции как везли? Верно, искалечили немало.

Все сказано было не спеша, рассудительно и с прямым ясным взглядом мне в глаза, что в те страшные годы бывало так редко при первом знакомстве. Наверно, подумал я, так глядели в глаза своим духовным детям чистые сердцем священники и монахи. Я поверил ему. И подумал, что стилевая мешанина в квартире, вероятно, лишь последствия работы в молодости у Мельцера, пережеванные на своей ладе.

На другой день мы съехались в Пушкинском доме, где в одном из освобожденных от экспозиции залов музея стоял теперь вульфовский гарнитур. Миронов часа три осматривал вещь за вещью, клал небольшие предметы на разостланные на паркете газеты, садился около них на корточки. Покачивал головой, как врач над тяжело больными, обстоятельно записывал что-то в тетрадку. Я уходил из зала в библиотеку института, пил чай с сотрудниками музея, возвращался в надежде, что он окончил осмотр, а он все неторопливо переворачивал стулья или кресла на полу или на сиденьях диванов, буквально обнюхивал рамы зеркал, шестиугольные тумбы и основания столов с платформами на львиных лапах. Наконец, сказал, что теперь должен составить смету и ушел, назначив свидание через день же.

А встретясь, вручил мне шесть тетрадных страниц, на которых не очень грамотно, но вполне разборчивым почерком перечислил против наименования каждой вещи необходимые работы, количество требуемого от института для них всех наклеенного полуфабриката и фанеры красного дерева и закончил суммой гонорара, немногим большей, чем было уплачено за мебель ее хозяевам. На словах же добавил, что берется полностью обновить гостиную, если ему отведут мастерскую с печью и вмазанным в нее котлом, над которым мог бы ставить «на пар» то, что надо сначала полностью расклеить, доделать недостающие части, подклеить в рисунок отколотую фанеру, переполлировать и заново собрать. Да, чтобы, понятно, хватило места и для двух верстаков. Ошеломленный такой сметой, я пошел с ней к своему другу, заведующему музеем института Матвею Матвеевичу Калаушину.

Гораздо более близкий, чем я, к финансовым вопросам Матвей Матвеевич, увидев итоговую цифру и выслушав перечисление дополнительных требований мастера, тоже, было, обзавелся. Но после моего рассказа об осмотре «больных» и

толкования перечня работ развел руками, и, наказав мне ждать, пошел к заместителю директора института по административно-хозяйственной части. В этой должности состоял тогда злбный и подозрительный товарищ Канайлов, शेголявший антипатией к интеллигенции и грубостью выражений. Эти качества делала особенно «уместной» его работу в Пушкинском доме, где, однако, находилось немало лебезивших перед ним сотрудников. Легко было графу Алексею Константиновичу рассуждать, «как люди в страхе гадки» – сам-то, небось, не трудился под взглядом товарища Канайлова.

Как рассказал мне позднее Калаушин, прочтя смету Миронова, замдиректора сначала ругнул «по-рабочему», то есть непечатно, весь музей при институте, а потом пошел в зал, где, присев на не «коллекционный» древтрестовский стул, ожидал мастер. Канайлов весьма грубо потребовал вполонину сбавить цену, говорил, что дирекция не утвердит такого явно раздутого расхода. Но столяр спокойно ответил, что лишнего не просит, работы предстоит на двоих человек по двенадцать часов в сутки на четыре с половиной месяца, и единственно, чем может облегчить заботы товарищу директору – это дать на время, кроме верстаков, еще и собственный котел, который лежит у него без дела в дровяном сарае, однако, если мастерская с печкой и этим вмазанным в нее котлом не будет предоставлена, то он и за названную сумму не возьмется работать, потому что время рассчитано в обрез. А куда ему сообщать открыткой решение начальства – на смете написано. Поклонился и ушел.

Много пришлось потратить красноречия и энергии Матвею Матвеевичу, чтобы убедить дирекцию инстиута в необходимости подписать договор с Мироновым, потом подыскать и очистить помещение, чтобы оно подходило по кубатуре, найти печника, выложить печку с мионовским котлом, который, как и верстаки его, требовалось перевезти из сарая в переулке за Сенной. Наконец, хлопотами Калаушина создана была близ вестибюля мастерская с печкой, водопроводом, яркими лампами, и в ней водворился Миронов с подмастерьем – юношей Федей, довадлившимся ему, кажется, племянником и похожим на дядю сухим складом не крупного тела, белокурыми мягкими волосами и голубовато-серым взором. Приходили они вместе ровно в восемь часов и уходили тоже в восемь.

Вот на их-то работу я и заходил посмотреть в тот памятный вечер, когда на моих глазах с моста бросился в Неву человек. Заходил я в мастерскую Миронова не реже раза в неделю, всегда после окончания институтского рабочего дня, когда не мог уже встретить товарища Канайлова и преданных ему сотрудников.

А посмотреть было на что. Миронов действительно расклеивал, разнимал на части многие предметы, искусно подклеивал к отколотым местам текстуру из распаренных и разглаженных тонких листов красного дерева, которые Канайлов, ругаясь на чем свет стоит, добыл, кажется, на фабрике музыкальных инструментов. А как интересно было наблюдать полировку, при которой уже снятую старую темно-коричневую сменяла бесцветная, выявлявшая подлинный солнечно-золотистый тон дерева. Полировкой больше занимался Федя, а мастер в это время искусно вырезал орнаменты для спинок – лавровые венки, завязанные бантиками из лент и продетые сквозь них луки или полого скрещенные стрелы. Впрочем, все, что умел делать Миронов, почти так же хорошо выполнял и его подмастерье, может, только не так споро. Они за работой почти не разговаривали, двигались будто неторопливо, но брат Сергей непрерывно выполняя свое дело, и, кажется, за день ни минуты не присаживались отдохнуть. Я имею в виду теперешние, как бы узаконенные в столярных мастерских учреждениях, ежечасные «перекуры» вполне добросовестных столяров в хорошо знакомых мне музеях.

Я думаю, что за двенадцать часов оба ничего основательного не ели. Никаких продовольственных припасов в мастерской я не видел. Только на плите у котла всегда стоял медный чайник, на нем другой – фарфоровый – заварной, и, когда

заходил, мне не раз предлагали чаю с сушками. Их, очевидно, постоянно возобновлявшаяся связка висела на гвоздике под полочкой, а над ней стояла синяя стеклянная вазочка с мелко наколотым сахаром. Еще рядом стояла небольшая иконка. В мастерской почти всегда было жарко, работали в рубашках, холщовых портах и парусиновых полуботинках на босу ногу. Впервые в советское время я увидел у обоих на волосах тонкие ремешки, чтобы не падали на лоб, не мешали. Оба мастера очень напоминали мне фигурки с литографий Шедровского. В них был какой-то исконно русский канон.

Двери они держали на запоре. Впускали по условленному троекратному стуку только Калаушина и меня. Раз или два буквально вломился Канайлов – проверяя, работают ли. Но это было видно и по тем предметам, которые возвращались в зал наверху, заново рожденные и тщательно обернутые папирусной бумагой.

А когда нам удалось купить в комиссионном магазине большой комплект портьер добротного голубого шелка, и после химчистки обойщик обтянул ими сиденья полудюжины готовых стульев и кресел, то, право, глаз стало не оторвать от красивой и нарядной мебели.

Но, уж, конечно, такой никогда не стояло в скромном Михайловском!

К этой части рассказа остается добавить очень немного. Я так и не увидел отреставрированную мебель там, где ее собирались расставить.

В марте 37-го на Северном Кавказе арестовали моего брата – Сергея Михайловича. Он служил на военно-конном заводе. Еще не зная об его аресте, я был без объяснения причин уволен из Исторического архива. Сунулся было к Дрезену, но он через секретаршу передал, что нам не о чем разговаривать. На счастье, работать в музее оставили и пропуска в читальный зал архива не лишили, так что я мог продолжать вечерами трудиться над фондами удельного хозяйства. Верно, Дрезен счел, что заниматься хозяйством царской семьи может и брат вредителя. Конечно, узнав об аресте брата, я рассказал все Матвею Матвеевичу, задав ему новую заботу. Ведь Михайловское тогда находилось почти в пограничной зоне, и на проезд туда для работы надо было выправлять пропуск, а мне получить таковой и пробовать не стоило – лучше помалкивать. Вот и вышло, что я «расставил» мебель на планах комнат в виде бумажных прямоугольников различной величины, и Калаушин обещал мне следовать моим пожеланиям.

Брат, несмотря на жестокие истязания, не сознался во «вредительстве» (его обвиняли в отравлении кровных арабских жеребят), и при смене Ежова Берией, когда делался вид, что до этого допускались преступные перегибы, был освобожден и даже получил звучавшее насмешкой предложение возвратиться на прежнее место службы. После трех лет тюрьмы без передач и свиданий, бесчисленных избиений и допросов он превратился в призрак с потухшими, казалось, навеки глазами, морщинистыми щеками над ввалившимся ртом. Почти все зубы были выбиты при допросах. Для Сергея стало еще тяжелым ударом, что за год до его освобождения умер наш отец, уверенный, что его уже нет в живых. Ведь, повторяю, ни свидания, ни передачи за три года жене брата не давали, на запросы и заявления ее и наших родителей ни разу не ответили. Вот уж, истинно, было время, когда каждый из нас повторял без конца: «и от судеб защиты нет»...

Через год, живя в Старой Руссе, Сергей только несколько оправившись от пережитого, начал было писать заключения на работы по коневодству, которые присылало ему из московского зоотехнического института, за что переводили ему зарплату научного сотрудника. Он уже пытался восстановить труд по конному делу, отобранный у него при аресте и, разумеется, пропавший в недрах той «пеши огненной», из которой он чудом вышел живым. А потом началась война, брата мобилизовали как командира запаса, хотя он имел «белый билет» из-за хромоты

после давнего тяжелого перелома ноги. И тринадцатого марта 1942 года он был убит на окраине Колпина.

В июне на краткосрочные курсы с фронта приехал бывший помощник Сергея в штабе 65-го стрелкового полка. Найдя меня по адресу, данному братом «на всякий случай», лейтенант пересказал подробности его гибели: недостаточно нагнулся в ходе сообщения между окопами, был без каски, и немецкий снайпер прострелил ему голову.

– Сергей Михайлович иногда бывал какой-то странный, – рассказывал очень молодой офицер. – Среди разговора задумается, будто видит не то, что перед нами находилось. А потом сожмурится, дернет головой, будто муху с лица сгоняет, и снова все, как надо. Думаю, какие-то воспоминания... Может несчастная семейная жизнь была?

– Нет, по этой части все хорошо у него сложилось, – заверил я.

Проводив гостя, я мысленно дополнил его рассказ тем, чего лейтенант не знал: да, очевидно, как ни держал себя Сережа в руках, а три страшных года следственной тюрьмы давали себя знать. Он как-то обмолвился, что в Ростовской тюрьме, в «одиночке» царского времени в самую летнюю жару их бывало набито до двадцати человек. При этом через камеру проходила раскаленная кухонная труба. Большую часть суток они стояли. Сокамерники были в большинстве из комсостава Красной Армии. Допросы продолжались три года.

Как потом стало известно из писем жене брата от знакомых по конным заводам, получаемым, когда он уже был на свободе, тем, что Сергей так и не подписал признания во вредительстве, он спас от приговора нескольких сослуживцев, которые не выдержав



С.М.Глинка. 1936

следствия, подписали нужные следователям бумаги. Но без подписи брата их общее «дело» нельзя было «закрывать», то есть отправить всех в лагерь или дать «высшую меру».

Но, видимо, Сергей столько перерасходовал в этой борьбе воли и нервов, что за год свободы так и не сумел оправиться. Не осталось воли к жизни. А там на фронте, «на передке» чтобы выжить, надо было крепко за нее держаться... Каска... Да разве в каске дело?

Долго маялся я без сна в ту белую ночь. Каюсь, я уже в который раз, пререлопачивая прошлое, представлял себе, что, может, если бы Сережа сдался, подписал сразу сознание в том, чего не совершал, то, отбыв срок в лагере, вернулся бы когда-то к жене и детям, не спалив в тюрьме всю свою душу и физические силы. Но мало ли что придет в голову в такие ночные минуты, особенно тому, кто сам не сидел? Я ведь не знал тогда, какова жизнь в лагерях, насколько трудно там выжить твердому и смелому человеку, не знал и того, что в это время шел набор заключенных в штрафбаты, где «искупали кровью вину перед родиной», после чего редко возвращались живыми...

Те, кто будут читать эти строки пусть простят мне такое длинное отступление, но где же рассказать все это, как не в записках о тех годах?*

Попал я в Михайловское только после войны, во время которой вульфовский гарнитур пропал бесследно. Его увезли при разгроме заводчика не то немцы, не то некий Просяник – последний тамошний заведующий. Цел ли этот гарнитур? Если цел, то где красуется? Или он сгорел в одном из эшелонов с вражескими трофеями, пушенных под откос нашими партизанами?

Еще несколько слов о судьбе столярного мастера Миронова. В 1939 году Григорий Михайлович Козинцев въезжал в новую квартиру в Доме кинематографистов на Посадской улице (ныне бр. Васильевых). Он просил меня рекомендовать хорошего столяра-краснодеревца, чтобы привести в порядок старинную мебель, только что купленную в комиссионных магазинах. Я дал адрес Миронова и рассказал о его работе.

Через несколько дней Козинцев зашел ко мне в музей и, вызвав в вестибюль, сказал:

- Никому больше его не рекомендуюте.
- Отказался работать?

– Его нет больше в городе, – понизил голос Григорий Михайлович. – Арестован два года назад, и жена выслана куда-то. В его квартире среди современной мебели живет с семьей сотрудник с Литейного. Пристал ко мне, откуда я знаю Миронова? Хорошо, что вы рассказали мне про Пушкинский дом, я мог сослаться, что слышал.

- Но за что? Болтать он не любил.

– Оказывается, состоял где-то в церковной тройке. За религиозную пропаганду.

Когда я передал этот разговор Калаушину, он уверенно сказал:

- Это его Канайлов посадил.

– Почему ты думаешь?

– Он икону в мастерской на полке увидел. И никак раза три меня ею ткнул:

– Вот вы с Глинкой к нам какого-то попа-расстригу работать привели, который даже в институт иконку свою поганую впер. Ну, пусть только кончит свою работу, не зря я партбилет ношу...

Ах, как я бранил себя, что пригласил Миронова на работу в Пушкинский дом! Правда, как здесь, так в ином месте, везде в те годы командовали вездесущие товарищи канайловы. И они обязательно обнаружили и уничтожили бы этого человека, не опускавшего и перед ними прямого ясного взгляда. А какой был мастер! И, если вспомнить время сразу после войны, то вот когда пригодилось бы

его умение и любовь к труду, которой, твердо верю, можно заразить учеников и сослуживцев при реставрационных работах во дворцах-музеях. Впрочем, если бы он не сгинул в 1938, то почти наверняка при таком характере и натуре умер бы в блокаду... Вероятности уцелеть у такого человека почти не было.

Как же я-то выжил в те годы и в блокаду? Тысячи раз спрашиваю себя. Чудо? Счастье? Случайность? Наверно, и то, и другое, и третье. А то, что остался жив, накладывает обязанность описать хоть малую часть того, что видел.

Оглядываясь назад, перебираю длинный ряд насильственно удаленных из жизни людей, каждый из которых мог принести столько пользы своим трудом. Но все были брошены в жертву всплывавшим заново и заново кампаниям «борьбы с классовыми врагами» самых различных окрасок, уничтожены именно за то, что хоть чем-то выделялись из серой, покорной массы.

Вот еще трое, кого, думается, уместнее других помянуть в данном рассказе, хотя несколько нарушив его хронологическую последовательность. До 1936 года мы жили на шестом этаже дома номер 14 на Большой Московской. Две смежные комнатки, в обеих по 14,5 метров, в которых сначала жил я один, после рождения дочки стали нам очень тесны. Но мы ценили соседство с моим другом и товарищем по летней работе экскурсоводами в Петергофе – историком Николаем Николаевичем Дмитриевым. Его советам я обязан знакомству со многими трудами по времени, которым занимаюсь всю жизнь, он впервые свел меня в читальный зал архива. Николай Николаевич имел несчастье родиться сыном архитектора, некогда работавшего в дворцовом ведомстве, в 1917 году не возвратившегося в Петроград с Крымской дачи, после чего эмигрировавшего во Францию. К нему в Париж в 1920-х годах уехала жена Николая Николаевича с очень любимым отцом маленьким сыном. Мог тогда же уехать и мой друг, но не захотел стать эмигрантом, не решился расстаться с болезненной старухой-матерью, жившей в соседнем доме по Большой Московской с вдовой дочерью. Не раз войдя в комнату Николая Николаевича, когда он сидел за роялем, я слышал тотчас же оборванную музыку к стихам Пушкина «для берегов отчины дальней». И когда летними вечерами сживали на мраморной террасе Монплезира, ловил его пристальный тоскливый взгляд, провожавший пароходы, идущие из Ленинграда. Ведь любимый сын уже чуть не десять лет рос в Париже чужим ему человеком. Может быть, томила и тоска по уехавшей жене.

Когда после гибели Кирова началась массовая «чистка Ленинграда от социальных чуждых элементов», хотя убийца, Николаев, не имел к ним никакого отношения, в число высылаемых попала и старая Елена Васильевна Дмитриева. Вся вина ее заключалась в том, что ей иногда из Парижа писал 87-летний муж, который, конечно, не мог понять, что в этом преступного. А за ней потянули и Николая Николаевича, раз оказывал матери материальную помощь, часто заходил к ней. Верно, управдом или паспортистка дали знать об этом родстве, куда следует. Явились ночью, сделали обыск, три дня продержали в тюрьме на Арсенальной и в трое суток приказали собраться (то есть по существу лишили всего имущества). Он выехал в Саратов. А там, конечно, очень старая женщина вскоре умерла, и Николая Николаевича через три месяца снова арестовали. Через год он умер в одном из северных лагерей – Пинеге, как сообщили позже его родным. А ведь до сих пор историки русской промышленности XVIII века пользуются его статьями и особенно объемной монографией «Первая русская ситценабивная мануфактура XVIII века», вышедшей в 1935 году, за полгода до ссылки автора.

По тому же «делу» и с такой же формальной процедурой обыска и ареста из квартиры во втором этаже дома 20 по Баскову переулку выслали художника-живописца Александра Степановича Янченко. Он доводился братом старой знакомой родителей моей жены, знакомой, которой на этот раз «чаша сия» не косну-

лась. Хотя они с братом жили в одной квартире, но носили различные фамилии. А бедняга Александр Степанович, высланный в Самару, был там через полгода арестован и пропал навсегда. Насколько мне известно, значительная часть высланных в марте-апреле 1935 года разделила ту же участь. Ведь их сразу по приезду брали на учет определенные ведомства, которым также надо было оправдывать свое существование. Но Александра Степановича я знал мало, и о нем подробнее говорить не могу. Разве добавлю только, что был он очень добрым человеком и талантливым живописцем.

Прошло еще два года, и аресты пришли уже в нашу квартиру. Арестовали мужа Марии Степановны, рожденной Янченко, инженера Бориса Александровича Богушевского, занимавшего какое-то ответственное место в Управлении автотранспорта Ленинграда. Его вина заключалась в том, что живя в 20-х годах в Средней Азии, он – один из старейших в России знатоков и любителей автомобильного спорта – был инициатором и возглавил первый автопробег через пески Кара-Кума. А интересовался этим пробегом и принимал на своей даче его участников председатель Совнаркома Узбекской республики и ЦИК СССР Файзулла Ходжаев. Теперь Ходжаев был объявлен «врагом народа», арестован со всем своим окружением, и вот добрались до Богушевского. Может, и забыли бы, если бы не существовала книжка о пробеге, предисловие к которой написал товарищ Файзулла, упомянув с похвалой «капитана пробега инженера Богушевского». Вот почему шестидесятилетнего Бориса Александровича тоже поглотила тюрьма. Вскоре выслали из Ленинграда и жену Богушевского. Через год ей сообщили, что муж ее умер во время следствия. Борис Александрович был несколько суровый, мужественный человек и, должно быть, его просто забили на допросах. А в нашу квартиру выехала разведенная жена сотрудника Большого дома с двумя детьми. О «своих» это ведомство очень заботилось.

И вот, наконец, последние абзацы этой главки воспоминаний.

Судьба того труда, над которым мы – трое друзей – работали более года по вечерам в читальном зале Исторического архива, куда я спешил через Дворцовый мост в памятный вечер, описанный в начале рассказа, плачевна.

Как уже было упомянуто, это был сборник документов по истории хозяйства Департамента Уделов. Теперь мало, кто, даже мельком, слышал о существовании такого учреждения. Разве что из примечания к стихам Некрасова «У парадного подъезда». А учреждение это существовало более ста лет, имея целью содержать членов царской семьи на доходы от эксплуатации земель, раз и навсегда выделенных при Павле I из государственных, населенных крестьянами земель и лесных массивов. Главный интерес для историков представляет экономическая жизнь этого учреждения во второй половине XIX века. Тогда Уделы, переставшие получать оборочную плату от сотен тысяч крестьян и в то же время принужденные обеспечивать крупными средствами все увеличивавшееся число царских родственников, начали не только сдавать землю в аренду или подчистую вырубать вековые леса на экспорт, но пытались, и не без результата, перейти к хозяйству капиталистического типа. При помощи лучших русских, а порой и приглашенных из-за рубежа специалистов, в 1880–1900-х годах на удельных землях было создано плановое лесоводство, сахароварение, виноделие, хлопководство и даже заведены первые в России чайные плантации.

Сборник документов был построен так, что каждый автор подобрал наиболее выразительные и существенные документы по взятой им на себя отрасли хозяйства и написал к ним вступительную статью. За год с лишним упорной работы мы создали том в 65 печатных листов и в срок сдали работу заказчику – Ленинградскому Историческому архиву, по поручению которого сборник был отрецензирован одним из профессоров университета. Отзыв был самый положительный. Получив две трети гонорара, мы стали мечтать о выходе в свет работы и прикидывать,

М.Глинка

СЛОВО ОБ ОТЦЕ

как употребим на необходимые покупки оставшуюся часть гонорара.

Но тут все руководство архива, состоявшее из суровых латышей, которых подобрал Арвид Карлович Дрезен, арестовали и затем, объявив «врагами народа» и, кажется, шпионами, расстреляли. Этому обвинению, конечно, из нас троих никто не поверил – суровых латышей пожрала та самая система, в создании которой они участвовали и которая выдвинула их на руководящие посты. Года полтора мы не заикались о своей работе, – все, что делалось с ведома Дрезена, было под подозрением и запретом. Потом, кажется, в 1940 году, несколько осмелев, написали письмо, прося рассмотреть заново наш труд, на который имелся неаннулированный договор, выполненный нами в срок. Ответ последовал обнадеживающий. Новое руководство архива рассмотрит нашу работу и даст ответ. Но с ним не торопились. А потом пришла война. Во время блокады умерли от голода оба мои друга и соавтора – Михаил Захарович Крутиков и Валентин Борисович Хольцов. Умерли, как и очень многие музейные сотрудники всех рангов, память о которых скоро навсегда погаснет вместе с жизнью тех, кто их знал и любил. Среди них за этим рассказом вспомнил я скромного и доброжелательного старшего столяра Русского музея Ивана Ивановича Малюхина, а за ним для меня тянутся дорогие тени испытанных, незаметных, но и незаменимых, преданных музейному делу помощников – маляров, слесарей, галерейных служителей – всех тех, кого по возрасту не призвали в армию и кто умирал от голода во флигелях Русского музея и в домах Эрмитажа на Дворцовой набережной.

Где-то в недрах архива, может быть, и сейчас лежат три экземпляра нашей работы, в которой я подбирал документы по истории удельного хлопководства и виноделия, сочиняя к ним вступительные статьи. Этот том, я в этом уверен, и теперь мог бы очень пригодиться историкам, но то ли еще не пропало в годы, о которых рассказываю? А потом ведь он бы напоминал любому читателю, что расходы членов семьи Романовых, особенно после 1881 года, строго ограничивались заранее запланированными суммами, а отчеты о мероприятиях и бюджете Департамента Уделов ежегодно публиковались, так что могли обсуждаться в печати, как случилось с неудачно построенной Султанбентской плотиной для орошения хлопковых полей в Мургабском имении, принадлежавшем самому царю.

В тех же недрах архива должна бы покоиться и статья бедного Юрия Алексеевича Онищенко, несомненно, бесполезная для изучения политики царского правительства по отношению к гилякам и еще каким-то аборигенам Дальнего Востока. Но уж она-то наверняка уничтожена, как вдвойне крамольная: и автор, и первый ее рецензент – Дрезен, давший положительный отзыв, оба – «враги народа».

Почему эти страницы я озаглавил «На Дворцовом мосту»? Ведь первый эпизод занял в них такую малую часть. Но мучительное впечатление январского вечера 1937 года – увиденные на миг кисти рук, инстинктивно вцепившиеся в ледяную кромку полыньи, и сопровождавшие эти видения пояснения милицейского командира, отчего каждую ночь в Ленинграде топится столько людей, показались мне достойным началом воспоминаний о погибших, которых близко знал. Воспоминаний о времени, когда ежедневно, и, особенно, еженощно каждого из нас мучало ожидание подобной страшной судьбы. Ведь мы все сознавали, что никак не менее виноваты, чем те, кого она уже постигла, что вот-вот за окном смолкнет шум остановившегося автомобиля, хлопнут его дверцы, и через несколько минут у дверей позвонят. Если машина сразу отъезжала, каждый из нас думал: а где, в каких тюрьмах и лагерях страдают сейчас наши близкие? Увидим ли их когда?

И таким надеждам почти никогда не доводилось сбыться...

Каменка, лето 1981–82 гг.

В 1940 году, после трех лет отсутствия, вернулся домой мой отец. Мне было четыре года. В памяти остался цвет отцовского лица. Помню скамейку в саду (мы жили в Старой Руссе), и на этой скамейке сидит, согнувшись почти вдвое, пока еще полужнакомый мне отец, а перед ним или точнее слегка сбоку стоит на коленях второй человек, совсем незнакомый.

Отец погиб на фронте в сорок втором, мама умерла в сорок четвертом. Когда, уже через несколько лет, я спросил у бабушки, что мог означать этот стоящий на коленях человек, ничего объяснить она мне не смогла. Сказала только, что к отцу перед самой войной приезжали двое или трое из тех, с кем он вместе был в тюрьме. О том, в каких условиях сидел отец, бабушка не знала, он ей об этом не рассказывал. Знал об этом лишь Владислав Михайлович, который после гибели отца меня усыновил. Кое-чем он со мной поделился, правда, уже в хрущевские времена.

Забирали отца с Терского военно-конного завода на Северном Кавказе, где отец был начком (заместителем директора по научной части). Обвинили в отравлении лошадей. Только с Терского завода по этому делу пошло человек тридцать. Сидели сначала в Минводах и Пятигорске, потом в Ростове. Время шло, а следствие по этому делу двигалось, видно, не так быстро, как требовалось, и вот, когда началась летняя жара (дядя не помнит точно, был это 38-й год или уже 39-й), всех, кто еще не признал свою вину, после ночных допросов стали сгонять в одиночки и оставлять там до следующей ночи. В той камере, куда попал отец, помещалось, стоя вплотную, восемнадцать человек. Через камеру проходил снизу вверх жестяной рукав, который отводил жар из находившейся этажом ниже кухни. Тех, кто умирал, до конца дня не забирали, и они продолжали стоять между живыми. Общими усилиями их старались передвинуть к горячей трубе. На следующий день мертвых заменяли живыми. Кроме мертвых заменяли и тех, кто ночью подписывал показания на себя, а также на других.

Следствие по делу военно-конных заводов закончено так и не было. Несколько человек до самого 40-го года во вредительстве все же так и не признались. Благодаря этому после падения Ежова дело было приказано считать затеянными Ежовым с вредительскими целями. Отцу повезло, он вернулся домой. Правда, за время, что его не было, умер его отец, мой дед, не числивший сына в живых (ни одного известия за три года), в сухой стручок превратилась бабушка, да заболела мама, туберкулез бывает ведь не только от дурного питания да от палочки Коха...

Что же касается зеленого его лица, когда он вернулся из тюрьмы, да того, что со сломанной, неверно сросшейся ногой он рвался поскорей па фронт и погиб почти сразу — так кому это теперь интересно? Реабилитировали ведь? Реабилитировали!

От отца мне остался полотняный кисет, изготовленный им в ростовской тюрьме. На кисете посеженими черными нитками вышита голова ахалтекинской лошади. Обрывки ниток сантиметровой длины отец вышывал из брючных швов, иглой служила проволока тетрадной скрепки. Я дорожу этим предметом, надеюсь, сохранят его и внуки. Для 37-го года, да еще когда именно за лошадей тебя и посадили, и мучают, чтобы ты признался, что ты есть не ты,— вышить такой кисет — не так мало.



Самого дядю арестовали в тридцать восьмом. Несколько дней он просидел во внутренней тюрьме при Большом доме на Литейном проспекте. Затем, так же, не объясняя причин, как при аресте, его выпустили.

В пятьдесят пятом году, через несколько дней, после того, как «Известия» опубликовали снимок, на котором можно было увидеть, как дядя ведет по Эрмитажу премьер-министра Индии Джавахарлала Неру, к нему в перерыве между заседаниями какой-то конференции подошла пожилая женщина и, не сказав своего имени, спросила, не родом ли он из Старой Руссы и не сын ли он врача. Дядя ответил утвердительно.

— Я так и думала, — сказала женщина. Затем, понизив голос, она сообщила, что в тридцать восьмом году по направлению райкома работала в особой тройке и это она вычеркнула дядю из списка. Ни своей фамилии, ни того, что сделал для нее дед, она не сообщила и скрылась в толпе.

Из лагерей многих уже выпускали, но до XX съезда оставался еще год...

БЛОКАДА

Июль-август 1979 года, Эльва.

Памяти моих товарищей —
музейных работников всех категорий,
умерших в Ленинграде в 1941-42 гг.

Я убежден, что первый год блокады был самым важным для истории России и самым страшным из пережитых мной. Конечно жизнь моя не была легкой, а такой, как у всех моих современников и соотечественников средних по способности интеллигентов. Но по сравнению с теми из них, кто прошел тюрьмы, лагеря, активно воевал или потерял во время войны многих, а то так и всех близких, я прожил счастливо. Дожил до 76 лет, болею только обычными стариковскими недугами, у меня есть родные и друзья, которых люблю, я всю жизнь занимался тем, что считал полезным окружающим, и что мне давало удовлетворение, наконец, сейчас не утратил трудоспособности, хотя, очевидно, она слабеет. Последнее и заставляет меня, приехав на отдых в тихую Эльву, взяться не за статью, заказанную мне ИРЛИ (Институт русской литературы — М.Г.) и не за рассказ для журнала, а за воспоминания 1941-42 годов. Боюсь откладывать дальше. То, что прошло уже 40 лет, не особенно меня смущает. Даже кажется, что память сохранила ясными именно главные эпизоды виденного и пережитого, отбросив все второстепенное, и это теперь облегчает мою задачу. Вероятно, и сейчас не заставил бы себя последовательно вспоминать то страшное время, если бы встретил в напечатанном справедливое его отражение. Конечно я читал не все, что печатается о блокаде, но читанное мной за редчайшими исключениями преступно лживо, если автор пытается отразить будни среднего ленинградца, чудом не умершего от голода. Или написано, может, несколько правдивее, но тогда с позиций людей, живших в привилегированном положении — генералов, ответственных работников, жен подобных лиц, вроде супруги директора мединститута В.М.Инбер и т.п. Большинство первых писали свои воспоминания так, чтобы их напечатали, то есть прежде всего распространялись о различных проявлениях героизма ленинградцев, которые «умирали, но выстояли», намеренно умалчивая о таких общеизвестных явлениях, как грабеж управхозами имущества умерших и спекуляции их продовольственными карточками, о черном рынке, где за продовольствие отдавали все от одежды и

обуви до бриллиантов и регалий, умалчивая даже о судьбах таких многочисленных категорий населения, обязательно виденных всяким жившим тогда в Ленинграде, как сотни тысяч бездетных одиночек — холостяков, незамужних или вдовых, существовавших до войны на скромную зарплату, а также стариков и старух, родителей солдат и офицеров, бывших на фронте или уже там погибших, об их женах и детях, если они не эвакуировались и не были особенно «пробивными». А именно эти группы населения были обречены умереть раньше других. Если же что и было написано обо всем этом в воспоминаниях блокадников, принятых к печатанию, то редакторы потрудились начисто убрать все, не входящее в установленный свыше «канон» героизма. Пожалуй, особенно гадкими кажутся мне поддельные дневники. Я убежден, что вести подневные записи можно было до декабря 1941 года и, начиная с мая 1942 г. В промежутках между этими датами нормальный человек, не получавший особого продовольственного снабжения, которое он бы ел, воровски прячась от близких и окружающих, не мог бы и думать о записывании того, что видел. Или он не был бы человеком, а чудовищем бездушия, сейсмографом, механически запечатлевшим то, что не отражает окружающей его трагедии.

Прежде, чем начать свое повествование, скажу, что буду описывать только то, чему сам был свидетелем, или, в немногих случаях, что слышал от людей, мною здесь названных и заслуживающих, на мой взгляд, абсолютного доверия.

Война застала меня старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Эрмитажа...



В.М.Глинка, 1942 г.

Группа награжденных за блокаду. Третий справа — В.М.Глинка, третий слева — В.А.Мануйлов



А.И.Болдырев



В.А.Мануйлов



Здесь, вероятно, следует пояснить то обстоятельство, что В.М.Глинка, числившийся работающим в Эрмитаже только с весны 1941 года, «путешествовал» с музейными коллекциями, составившими, в конце концов, большую часть фондов Отдела истории русской культуры Эрмитажа (ОИРКа) к тому моменту уже девять лет. Коллекции эти, вскоре после 1917 года сконцентрированные в особняке Бобринских на Галерной улице, первоначально были основой Историко-бытового отдела Русского музея (ИБО), имевшего свои филиалы в Фонтанном доме Шереметевых, а также в корпусе Бенуа на канале Грибоедова. Огромное собрание живописи, рисунков, гравюр, костюмов, осветительных приборов, самоваров, фарфора, стекла, мебели, нумизматики (а по существу целый музей, насчитывавший несколько сот тысяч единиц хранения), год за годом, и тут не обходилось без идеологии, никак не могло найти себе окончательного пристанища и перемещалось из корпуса Бенуа в Зимний дворец, затем оттуда – в музей Этнографии (угол Инженерной и Садовой) и костел св. Екатерины на Невском, а оттуда – снова в Зимний. История многочисленных переездов этих многотрадных коллекций с конца 1920-х до начала 1940-х – это отдельная повесть о том, как легко уничтожить предметы искусства и каких трудов в 1920-30-е годы стоило их сохранить.

Во всех этих перемещениях В.М.Глинка участвовал и как научный работник, хранитель экспонатов и как простой упаковщик, а очень часто и как грузчик.

А уже через три месяца после окончательного перехода коллекций в Эрмитаж началась война, а с нею и очередная, самая тщательная упаковка для эвакуации всего наиболее ценного...

Блокада, я специально выделяю это слово, заняла в жизни Владислава Михайловича, как и у всех тех, кто ее перенес, совершенно особенное, ни с чем другим не

сравнимое место. Заняла она потом особое место и в воспоминаниях. Этим страшным годам Владислав Михайлович посвятил отдельный труд большого объема, поместить который в настоящей книге полностью нет никакой возможности, а печатать лишь фрагменты было бы по отношению к столь важной для всякого ленинградца теме, на наш взгляд неверным. Для того же, чтобы хоть слегка приоткрыть то, чему посвящена эта работа, которую мы надеемся издать в будущем, мы даем лишь первую страницу ее и сообщаем, что автор пережил в осажденном городе всю блокаду от первого ее дня до последнего. Многие дни проведены им в бомбоубежищах Эрмитажа, В.М.Глинка первым из музейщиков (как в прошлом работник Гатчинского дворца) был направлен в Гатчину на следующий день после ее освобождения, чтобы дать по радио первую информацию о разрушениях. При продвижении же наших частей по Карельскому перешейку, Владислав Михайлович (вместе с писателем В.Саяновым) был прикомандирован к англо-американской комиссии, двигавшейся вслед за войсками с целью обнаружения союзниками следов расположения дальнобойной артиллерии (финны заявили в Лиге наций, что обвинения их советской стороной в обстреле Ленинграда дальнобойной артиллерией лишены оснований)...

Вплоть до конца жизни раз в году зимой четверо блокадников – В.М.Глинка, М.И.Стеблин-Каменский, А.И.Болдырев и В.А.Мануйлов неукоснительно собирались в таком именно неизменном составе и проводили вечер, никого более не приглашая. Если это бывало у нас, то они сидели в кабинете дяди, и двери к ним были закрыты. О чем они говорили? Оттуда не доносилось громких голосов, не слышно было ни споров, ни даже отдельного возгласа. Если кто-то к ним заглядывал, их разговоры прерывались, и они ждали молча, пока дверь снова не закроется...



В.М.Глинка



М.И.Стеблин-Каменский

ИЗ ПИСЬМА ГРАНИНУ

Проведя всю блокаду в Ленинграде и едва выжив, я весной 1944 года, будучи заведующий музеем Института русской литературы (Пушкинского дома), выехал утром 27 мая в командировку в Старую Руссу, чтобы проверить, существует ли дом Достоевского. На два запроса, адресованные Горисполкому по этому поводу, Институт не получил ответа. Ехал я так: пассажирским поездом до Чудова и на платформе с песком, вместе с несколькими офицерами и бойцами до Новгорода. Ташились мы столь медленно, что доехали около 11 часов вечера, и мои спутники пригласили меня переночевать у коменданта, где-то на Софийской стороне. Тут мне гостеприимно была предоставлена койка и даже какой-то ужин. Странное и страшное осталось у меня воспоминание от Новгорода, увиденного в эту ночь, когда, положив вешмешок на койку и поужинав, я вышел покурить за двери. Я хорошо знал Новгород до войны, в 1919 году стоял в нем с полком, потом неоднократно бывал там как музейный работник. Знал, что Новгород очень пострадал, что на противоположных берегах Волхова долго располагались передовые наши и фрицев и били друг по другу артиллерийским и минометным огнем, и все же я не ожидал видеть эту пустыню бывших улиц, на которых лишь кое-где торчали дымовые трубы, окруженные травой, и во все стороны на различном расстоянии видны были белые кубы церковей без главок или с остатками их, с пробоинами в стенах и обвалившимися углами. Только они одни несокрушимо устояли наперекор всему, эти Новгородские церкви, окруженные изуродованными и полужасохшими деревьями, на которых в эту ночь, не умолкая, шелкали десятки соловьев. Вышло как-то, что когда я шел от железнодорожных путей до комендатуры, разговаривая с попутчиками, я все думал, что мы дойдем до каких-то более явных остатков улиц и только тут, куря перед сном, понял, что я в самом Новгороде и только в одном направлении вижу нечто хорошо знакомое - красноватую стену полуразрушенного кремля и очертание не блесневшего больше купола Софии за ней.

Утром комендант посадил меня на военный грузовик, и по усталой жердям дороге мы довольно быстро прокатили до

Шимска. Там я переехал на лодке через Шелонь - мост лежал взорванным в воде, и пешком пошел в Руссу. Все мосты на этом шоссе были взорваны, двигались только пешеходы.

По официальным данным, которые сообщил мне на другой день председатель Старорусского горисполкома, бывший командир партизанской бригады, кажется, тов. Пучков, в Руссе сохранилось 6% жилого фонда. Я и сейчас могу назвать те дома, которые стояли тогда, через четыре месяца после освобождения Руссы от немцев на ряде улиц, тех улиц, которые я обошел за три дня пребывания в Руссе. На одной набережной Перерытыцы, на которой я родился и вырос, я могу указать три кирпичных штукатуренных дома, которые имели тогда четыре стены, междуэтажные перекрытия и были уже заселены, не считая дома Достоевского, о сохранении которого я особенно просил тов. Тучкова, ибо он стоял еще без окон, с забитой накрест двумя досками входной дверью. Я мог бы исписать целую страницу рассказами о том, как выйдя, скажем, на угол бывших Успенской и Ильинской улиц, увидел слева - сильно искромсанные снарядами очертания казарм, прямо перед собой - красно-кирпичные развалины аптеки и направо вдали руины дома на углу Пятницкой улицы. Все остальные дома Ильинской, как Вы помните, были деревянными и все выгорели без следа. Мостовые, тротуары избитые, но на своих местах, а дальше по обеим сторонам улицы - высокая трава. И впереди слева - черная гуща деревьев парка, так поврежденных обстрелами, что они еще и не начинали зеленеть. Лучше других сохранилась, мне показалось тогда, Соборная сторона, где также могу ткнуть перстом в шесть стоявших тогда каменных домов, а также Введенская сторона, т.е. налево за Живым мостом. Путевой дворец был начисто разрушен. Да еще живо помнится, как в Курорте вода из Соленого озера разливалась по прежнему «Пятачку» и под покореженной снарядами сеткой когда-то застекленного футляра бил как-то вкось заменитый Муравьевский фонтан.

Ночевал я в комфортабельно устроенном офицерском, а, м.б., и в генеральском бункере, устроенном под зданием полуразрушенного Гостиного двора, в его подвалах, там где когда-то хранились фрукты, ибо на этом месте был магазин Вихорева. Двери и окошечки бункера со стальными ставнями выходили в сторону Полисти. Владел этой комфортабельной квартирой из двух комнат с душевой кабиной, в которую вода накачивалась ручным насосом из реки, начальник Старорусского отделения НКВД капитан Венюков. Вечером 28-го, придя в Руссу очень усталым, без привычки прошагав 45 км., я на Ленинградской улице, памятуя гостеприимство новгородского коменданта, обратился к встречному офицеру с вопросом, где бы можно переночевать. Офицер расспросил меня, кто я и зачем пришел в Руссу. Я был с рикаком за плечами и палкой в руках. Услышав кем и зачем я командирован, он предложил мне остановиться у себя. Перед сном мы вышли к реке покурить, и он показал мне совсем недалеко от берега спавших уток. Рассказал, что в городе сейчас зарегистрировано 800 жителей, которые целиком все свободное время посвящают огородам. Капитан Венюков посетил меня осенью того же года в Ленинграде и рассказал, что переехал в нормальное жилище где-то на Красном берегу.

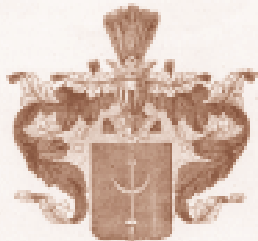
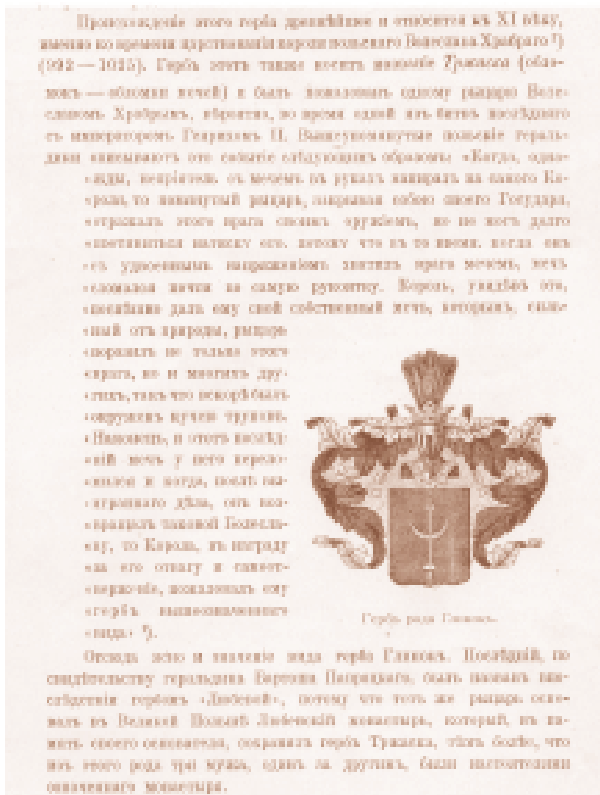
На месте отцовского дома я нашел только камни фундамента. Но могилы отца, бабушки и своей первой жены на Симановском кладбище обрел в полном порядке, только кусок железной ограды был разорван и искорежен снарядами. Церковь, и особенно колокольня, вблизи могил моих близких, превратились в руины.

На этом я и закончу рассказ о том, что видел в Руссе. Очень многое из того, что я прочел у Вас, близко к тогда перечувствованному. Помню еще, что я вспоминал читанное в детстве о разорении литовцами и шведами Старой Руссы в начале XVII века, когда в церкви Мины были устроены конюшни кавалеристов генерала Деллагарди. Каким далеким и ужасным казалось это в детские годы и как действительность, которую я увидел, превзошла все страшные описания прошлого.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Это страница из книги Ник. Финдейзена «Михаил Иванович Глинка. Его жизнь и творческая деятельность». СПб. 1896.



Герб рода Глинки.



Болеслав Храбрый! Ломаные мечи! Куча трупов! Одиннадцатый век! Это ж надо такого исторического тумана нагнать! И нет, наверно, поля, более подходящего для того, чтобы истинно по-польски растопыривать локти и подкручивать усы, чем герботворчество... Что тут можно сказать? Из такого тумана если и выходит, так не с деловой же серьезностью? Мы ведь того не помним, что происходило пять лет назад, а тут одиннадцатый век... Ох, эта шляхта!

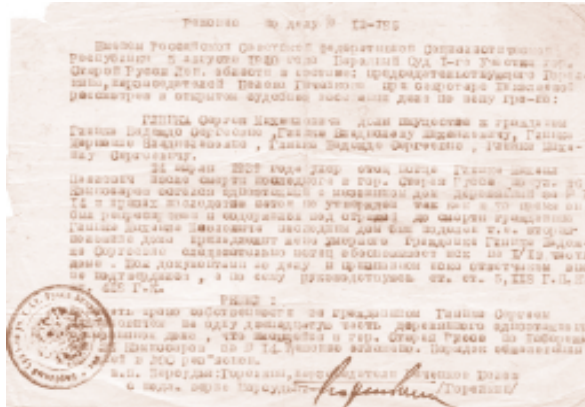
Тем не менее, автор этих примечаний в бытность его лейтенантом экипажа атомной подводной лодки К-11 (1960 год) с удовольствием носил железное кольцо тульской работы с эмблемой *Тряски*. Что заставляло замполита лодки тов. Гандюхина постоянно нервничать. Тов. Гандюхин неустанно уговаривал меня его снять. Пришлось демобилизоваться...

В таком виде (без головы) Мария Петровна (1901-1983), кузина Владислава Михайловича Глинка (темноволосая, лежит на ковре у ног отца) хранила в 1930-40-х изображение деда-губернатора, наивно полагая, что, в случае обыска, никто не догадается, кто это.



1911 год. Семья Подольского губернатора Василия Матвеевича Глинки (1836-1901). Второй слева – Петр Васильевич Глинка - в его квартире на Кирочной, 17., в 1928 году жил Владислав Михайлович Глинка и супруги Берберовы (см. рассказ «Кавказский пленник»). В 1930-х Петр Васильевич будет сослан вместе с женой, а затем, вернувшись, умрет от голода в блокаде Ленинграде в 1942 году. За плечом Петра Васильевича девочка с косами – его старшая дочь Надежда, (1900-1986), в конце 1920-х она поедет в ссылку за своим мужем, мотоциклистом 1-й мировой войны С.Н.Исаевым (см. рассказ «Петя Елисеев»). Крайний справа – Яков Васильевич Глинка (1870-1950), с 1906 по 1917 управляющий делами Государственной Думы, сенатор (место в Думе - за спиной М.В.Родзянко), впоследствии театральный художник. Под репрессии не попадал ни разу (!).





«Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 5 августа 1940 года Народный суд I-го Участка гор. Старой Руссы Лен. области в составе: председательствующего Горевкина, нарзаседателей Белова, Гаченкова при секретаре Николаевой рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску гра-на: ГЛИНКА Сергея Михайловича доли имущества к гражданам Глинка Надежде Сергеев-не, Глинка Владиславу Михайловичу, Глинка Марианне Владиславовне, Глинка Надеж-де Сергеевне, Глинка Михаилу Сергеевичу...»



Юридические законы конца 1930-х были таковы, что стать равноправным членом своей семьи освобожденный из заключения мог, лишь подав имущественный судебный иск на свою же семью.

Сергей Михайлович Глинка был арестован в 1937-м году и выпущен после расстрела ген. комиссара госбезопасности Н.И.Ежова в 1940-м. За это время умер от горя отец С.М.Глинки, выплакала все слезы мать. Не чая больше увидеть мужа, заболела туберкулезом жена. Но закон есть закон – и мало того, что государство продержало невинного человека три года в застенке, но оно предписывало ему еще и судиться с теми, кто был ему дороже всего – с матерью, братом и своими детьми шести и четырех лет...



П.В.Глинка. 1913

1942. Справка больницы им. Куйбышева. ...«доставлен трупом»... (Блокада).

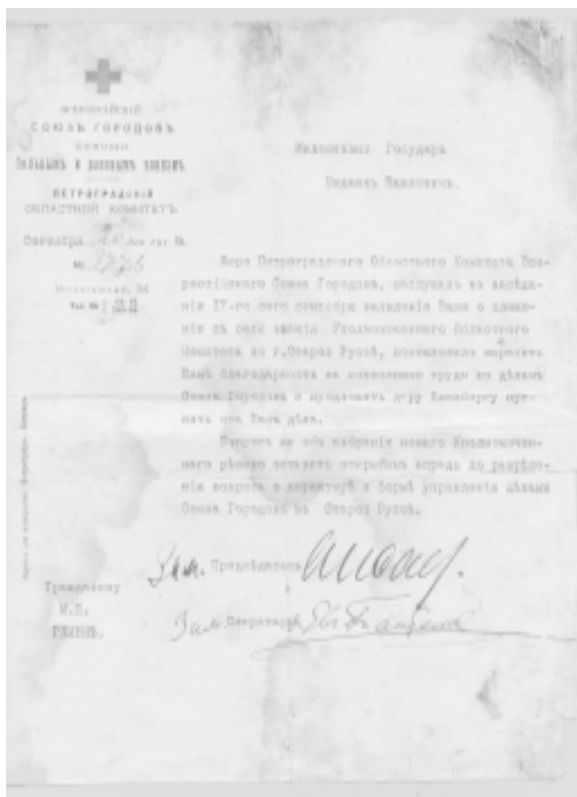




Священник Иоанн Румянцев – собеседник и близкий друг Ф.М.Достоевского.

В.В.Карцев – внук лицейского преподавателя Пушкина.

М.П.Глинку арестовывали впоследствии шесть раз



Список печатных работ В.М.Глинки

- Случай на маневрах.** Рассказ. – Костер, 1938, □□ 3, 4.
- Бородино.** Повесть. Л., 1941
- Домик магистра.** Повесть. Звезда, 1943, □ 5, 6.
- Старосольская повесть.** Л., 1948
- Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца.** Научно-популярные очерки. Л., 1949 (1988)
- Жизнь Лаврентия Серякова.** Повесть. М., 1959
- Военная галерея Зимнего дворца.** (в соавторстве с А.В.Помарнацким). Научно-популярные очерки. Л., 1963 (1974)
- Повесть о Сергее Непейцыне.** М. 1966 (1973)
- Дорогой чести.** Роман. М., 1971
- Пожар 1837 года.** В кн.: Эрмитаж. История и архитектура зданий. Л., 1974 (и др. издания)
- История унтера Иванова.** Роман. М., 1976.
- Судьба дворцового гренадера.** Роман. М., 1979
- О работах Яна Гладыша, выполненных в Петербурге в 1806-1807 гг.** – В кн.: Памятники культуры. 1980. Новые открытия. Ежегодник. Л.,
- Кто изображен на четырех рисунках Кипренского.** – Сообщения Государственно-Эрмитажа. XXXVII. Л. 1973
- Кто изображен на портретах работы Б.-Ш. Митуара.** – Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1980. «Наука». Л.
- Был ли офицер Петя Ростов исключением по возрасту?** – Панорама искусств □ 3, м., 1980
- К методике определения личностей, изображенных на портретах, и датировки произведений искусства по форме одежды и орденским знакам.** – Геральдика. Материалы и исследования. Л., 1983
- Исторические повести.** Л., 1987
- Русский военный костюм XVIII-начала XX века.** Л., 1988

Консультационные работы В.М.Глинки после 1945 г.

I. СПЕКТАКЛИ

1. «Горе от ума». Академический театр драмы им.А.С.Пушкина, 1946
2. «На всякого мудреца довольно простоты». Академический театр комедии, 1947
3. «Суворов». Академический театр драмы им.А.С.Пушкина, 1948
4. «Дело». Академический театр комедии, 1948
5. «Софья Ковалевская». Академический театр комедии, 1948
6. «Пушкин». Ленинградский драматический театр им.В.Ф.Комиссаржевской, 1949
7. «Дубровский». Ленинградский театр юного зрителя (ТЮЗ), 1949
8. «Повести Белкина». Академический театр комедии, 1949
9. «Пушкин». Псковский областной драматический театр, 1949
10. «Рождение поэта/Лермонтов/. Ленинградский драматический театр им.В.Ф.Комиссаржевской, 1950
11. «Табачный капитан». Театр музыкальной комедии, 1951
12. «Барышня-крестьянка». Малый театр оперы и балета, 1952
13. «Ревизор». Академический театр драмы им.А.С.Пушкина, 1952
14. «Холопка». Театр Музыкальной комедии, 1952
15. «На всякого мудреца довольно простоты». Академический театр драмы им.А.С.Пушкина, 1952
16. «Суворов». Малый театр оперы и балета, 1952
17. «Мертвые души». Академический театр комедии, 1952
18. «Пролог». Большой драматический театр им.М.Горького, 1953
19. «Тени». Театр им.Ленсовета, 1953
20. «Лермонтов». Академический театр драмы им.А.С.Пушкина, 1953
21. «Огоньки». Театр музыкальной комедии, 1953
22. «Горе от ума». Ленинградский театр юного зрителя (ТЮЗ), 1954
23. «Новые люди» /«Что делать?»/. Театр им.Ленсовета, 1954

24. «Недоросль». Ленинградский театр юного зрителя (ТЮЗ), 1954
25. «Дело». Театр им.Ленсовета, 1955
26. «Пучина». Академический театр драмы им.А.С.Пушкина, 1955
27. «Давным-давно». Академический театр комедии, 1957
28. «Идиот». Большой драматический театр им.М.Горького, 1957 (возобновлен в 1966 для Лондона)
29. «Последние». Театр им.Ленсовета, 1959
30. «Дачники». Большой драматический театр им.М.Горького, 1959
31. «Накануне». Ленинградский театр юного зрителя (ТЮЗ), 1960
32. «Горе от ума». Большой драматический театр им.М.Горького, 1962
33. «Три сестры». Большой драматический театр им.М.Горького, 1965
34. «Адвокат Ульянов». Большой драматический театр им.М.Горького, 1970

II. КИНОКАРТИНЫ

1. «Давид Гурамшвили». Тбилисская киностудия, 1946
2. «Пирогов». Ленфильм, 1947
3. «Александр Попов». Ленфильм, 1948
4. «Белинский». Ленфильм, 1949
5. «Тарас Шевченко». Киевская киностудия, 1950
6. «Концерт мастеров искусств». Ленфильм, 1951
7. «Тени». Ленфильм, 1953
8. «Великия открытия/Ломоносов/. Ленфильм, 1954
9. «Софья Ковалевская». Ленфильм, 1955
10. «Чокан Валиханов». Алма-Атинская киностудия, 1956
11. «Отцы и дети». Ленфильм, 1958
12. «Шинель». Ленфильм, 1958
13. «Капитан 1-го ранга». Таллинская киностудия, 1958
14. «Дама о собачкой». Ленфильм, 1959
15. «Война и мир». Мосфильм, 1961–1967
16. «Зеленая карета». Ленфильм, 1967

III. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ФИЛЬМЫ

1. «Кулибин». 1950
2. «Судьба одной книги/Радишев/. 1953
3. «Художник-декабрист/Н.А.Бестужев/. 1960

АКИМОВ Николай Павлович (1901–1968) режиссер, художник. В 1935–1949 гг. и с 1955 – главный режиссер Ленинградского академического театра комедии. Ставил дерзкие, ироничные и элегантные спектакли: «Тень» и «Дракон» Е.Л.Шварца; «Дело» А.В.Сухово-Кобылина и др. Многолетний друг В.М.Глинки.

АНДРОНИКОВ (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович (1908–1990) писатель, литературовед, мастер устного рассказа. Основные исследования посвящены М.Ю.Лермонтову.

БЕРБЕРОВЫ Николай Иванович и Наталья Ивановна – родители поэтессы и писательницы Н.Н.Берберовой, эмигрировавшей в 1921 г. Соседи В.М.Глинки по квартире в 1927–1928 гг. (Кирочная, 17). Были высланы из Ленинграда в 1935 г.

БОГУШЕВСКИЙ Борис Александрович (1880?–1937?) – выпускник Пажеского корпуса, в 1896–1900 и 1914–1917 гг. офицер. После 1917 г. – инженер. Сосед по квартире семьи В.М. и М.Е.Глинок в 1930-е г.

БОЛДЫРЕВ Александр Николаевич (1909–1993), филолог-иранист, профессор Ленинградского государственного университета, автор замечательного блокадного дневника «Осадная записка», близкий приятель В.М.Глинки, начиная с блокадных лет.

БОНДАРЧУК Сергей Федорович (1920–1994) – киноактер и режиссер, профессор. Снимался в фильмах: «Тарас Шевченко», «Попрыгунья», «Отец Сергей» и др. Поставил фильмы: «Судьба человека», «Война и мир», «Стель», «Красные колокола» и др.

Борис Владимирович (1877–1943) великий князь, внук Александра II, двоюродный брат Николая II. В 1919 г. эмигрировал, умер во Франции.

БОРОЗДИН Николай Михайлович (1777–1830) – генерал-лейтенант, командовал кирасирской бригадой при Бородине. Генералами в те же годы были также его братья – Андрей Михайлович и Михаил Михайлович (1767–1837).

БУЛАТОВ Алексей Алексеевич – фамильное сочетание имени и фамилии у четырех поколений (с середины XIX в.) семьи близких родственников В.М.Глинки. См. в настоящей книге «Письмо

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

В.М.Глинки двоюродному брату А.А.Булатову» от 1975 г. (с.).

ВИЛИНБАХОВ Борис Афанасьевич (1898–1969) – военный историк, крупнейший коллекционер экслибрисов военных библиотек. На протяжении всей жизни был другом семьи Глинок.

ВИЛИНБАХОВ Георгий Вадимович (р. 1949), Глава геральдической службы при президенте РФ, заместитель директора государственного Эрмитажа по науке, историк, искусствовед и музейный работник. Ученик, преемник и ближайший друг В.М.Глинки.

ГАБАЕВ Георгий Соломонович (1877–1957) – виднейший специалист по мундироведению, автор трудов по истории русских знамен и саперных частей. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус и Николаевское инженерное училище. В 1916 г. – командир лейб-гвардии Саперного батальона. В 1917 г. произведен в генерал-майоры. В 1947 г. выслан в Будогощь. В 1940–1950-х гг. – корреспондент В.М.Глинки.

ГЕЙЧЕНКО Семен Степанович (1903–1993) – музейный работник, в 1945–1989 директор музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское». Автор книг: «У Лукоморья», «Пушкиногорье», «Сердце оставляю вам».

ГЛИНКА Лидия Ивановна (ур. Павлова), (1903–1926) – жена В.М.Глинки, уроженка Старой Руссы, скончалась от тифа через три месяца после свадьбы.

ГЛИНКА Людмила Николаевна (ур. Казачок), (1878–1961) – жена Петра Васильевича Глинки.

ГЛИНКА Марианна Евгеньевна (ур. Таубе), (1908–1979) – жена В.М.Глинки с 1930 г. Внучка Филиппа Николаевича Королева (1821–1894), общественного деятеля и педагога, основателя первых Московских женских курсов и ректора петровской земледельческой академии. Музейный работник, искусствовед, автор книги «М.В.Ломоносов, опыт иконографии».

ГЛИНКА Михаил Павлович (1872–1939) – врач, выпускник Военно-медицинской академии, участник русско-японской и Первой мировой войны, отец В.М.Глинки.

ГЛИНКА Надежда Сергеевна (1877–1956) урож. *Кривенко* – мать В.М.Глинки. Дочь публициста-народника, редактора журнала “Русское богатство” С.Н.Кривенко.

ГЛИНКА Наталия Ивановна (ур. Васильева, в первом браке Никулина), (1923–2000) – жена В.М.Глинки с 1980 г., искусствовед, автор книг «Державин в Петербурге», «Строгий стройный вид», «Беседы о русском искусстве XVIII века».

ГЛИНКА Павел Константинович (1844–1902) – дед В.М.Глинки, генерал-лейтенант по адмиралтейству – председатель Севастопольского военно-морского суда.

ГЛИНКА Петр Васильевич (1870–1942) – троюродный дядя В.М.Глинки, в квартире которого на Кировной, 17, В.М.Глинка жил в 1927–1928 гг.

ГЛИНКА Сергей Михайлович (1899–1942) – брат В.М.Глинки, специалист по военному коннозаводству. В 1937–1940 гг. подвергался репрессиям. Погиб на Ленинградском фронте.

ГРАНИН Даниил Александрович (р. 1919) – писатель, автор книг: «Искатели», «Иду на грозу», «Эта странная жизнь», «Клавдия Вилор», «Картина», «Зубр», «Блокадная книга» (в соавторстве с А.Адамовичем) и др. Повесть «Обратный билет», посвящена Старой Руссе, – городу, в котором автор провел юность и потому близком ему, как и В.М.Глинке, в Старой Руссе родившемуся.

ДАВИДОВИЧ Яков Иванович (19?–1966) – доктор юридических наук, историк-любитель, знаток военной формы, атрибутики, быта и нравов старой русской армии.

ДУДИН Михаил Александрович (1916–1993) – известный ленинградский поэт, автор множества книг («До востребования», «Время», «Полюс») фронтовой лирики – (“Фляга”, “Переправа” и др.) поэм и рассказов.

ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Илья Самойлович (1905–1988) – искусствовед, литературовед, коллекционер живописи и графики.

Инициатор и один из редакторов «Литературного наследства» (с 1931 г.). Автор книги «Художник-декабрист Николай Бестужев» и др. Передал в дар государству собрание картин.

ИСАЕВ Сергей Николаевич (1890?–1961) – муж Н.П.Исаевой (ур. Глинки), четвероюродной сестры В.М.Глинки. Во время войны 1914–1917 гг. мотоциклист 1-ой русской мотороты. Подвергался репрессиям в конце 1920-х-начале 1930-х гг. (Беломорканал). Ограничения в выборе места жительства. С 1940-х гг. директор средней школы в пос. Крестцы, Новгородской области.

ИСАЕВ Борис Николаевич (1893?–1980-е) – брат С.Н.Исаева. Мотоциклист 1-ой русской мотороты, репрессирован в конце 1920-х-начале 1930-х гг. (Беломорканал), затем ограничения в выборе места жительства. Во время войны 1941–1945 участник партизанского движения. С 1940-х гг. преподаватель средней школы в пос. Крестцы, Новгородской области.

КАРЦЕВ Владислав Владиславович (1854–1934) – крестный отец В.М.Глинки, Председатель Старорусской земской управы в 1886–1911 гг., внук лицейского преподавателя А.С.Пушкина – Якова Ивановича Карцева (математика).

КАТАЕВ Валентин Петрович (1897–1986) – писатель, автор пьесы «Квадратура круга», книг: «Время вперед!», «Белеет парус одинокий», «Сын полка», мемуарных повестей «Святой колодец», «Трава забвения», «Алмазный мой венец». В 1955–61 – главный редактор журнала «Юность».

КАССИНИ Анжела (в замужестве) – прабабушка В.М.Глинки.

КОЛОУШИН Матвей Матвеевич – в 1940–50-е гг. директор музея Института русской литературы Академии наук, а затем Всесоюзного музея А.С.Пушкина, близкий приятель В.М.Глинки.

КОРСУН Андрей Иванович (190?–1963) – генеалог, переводчик, библиограф, сотрудник Эрмитажа.

КРИВЕНКО Сергей Николаевич (1847–1906) – дед (отец матери) В.М.Глинки, публицист-народник, деятельный сотруд-

ник и редактор журнала «Русское богатство». Неоднократно арестовывался за антиправительственную направленность своей литературно-публицистической деятельности. Подвергся критике В.И.Ленина в работе «Что такое «Друзья народа» и как они воюют с социал-демократами».

КУКРЫНИКСЫ (псевдоним) по первым слогам фамилий – творческий коллектив графиков и живописцев: Куприянов Михаил Васильевич (1903–1991), Крылов Порфирий Никитич (1902–1990), Соколов Николай Александрович (1903–2000). Работали методом коллективного творчества. Остроготескные злободневные карикатуры на темы внутренней и международной жизни, а также иллюстрации к произведениям М.Е.Салтыкова-Щедрина, А.П.Чехова, М.Горького.

КУРОПАТКИН Алексей Николаевич (1848–1925) – генерал от инфантерии (1901). В 1898–1904 гг. – военный министр. В русско-японской войне 1904–1905 гг. командовал войсками в Манчжурии. В Первую мировую войну командовал армией и Северным фронтом. В 1916–1917 гг. – туркестанский генерал-губернатор. Автор военно-исторических и военно-географических работ. Однокурсник С.Н.Кривенко (деда В.М.Глинки) по Павловскому военному училищу.

ЛИХАЧЕВ Дмитрий Сергеевич (1906–1999) – литературовед и общественный деятель, академик. В 1928–1932 был репрессирован. Фундаментальные исследования «Слова о полку Игореве», литературы и культуры Древней Руси. Работы по изучению русской культуры и вопросам наследования ее традиций.

ЛОТМАН Юрий Михайлович (1922–1993) – литературовед, профессор Тартусского университета, академик АН Эстонии. Проблемы истории, теории литературы и культуры исследовались в широком историко-философском и историко-бытовом контексте. Автор книг о Пушкине, Карамзине и др., а также циклов телепередач «Беседы о русской литературе».

ЛОЖКИНА Елизавета Матвеевна, няня Лиза, Лиза (1880–1972) – крестьянка из деревни Бурегги Старорусского уезда, няня В.М.Глинки и его братьев, а также следующего поколения старорусской семьи Глинок.

МАННЕРГЕЙМ Карл Густав (1867–1951) – генерал-лейтенант русской армии до 1917 г., финский маршал (1933), главнокомандующий финской армии в войнах с СССР 1939–1940 гг. и 1941–1945 гг. В 1944–1946 гг. президент Финляндии.

Мануйлов Виктор Андроникович (1903–1987) – литературовед, доктор филологических наук, профессор Ленинградского государственного университета, автор многочисленных работ о жизни и творчестве М.Ю.Лермонтова, вдохновитель огромного авторского коллектива создателей «Лермонтовской энциклопедии» и главный ее редактор. Близкий друг В.М.Глинки, начиная со времени совместной работы во время блокады Ленинграда.

МИХАИЛ Александрович (1878–1918) – великий князь, брат Николая II, четвертый, младший сын Александра III.

НЕКРАСОВ Виктор Платонович (1911–1987) – писатель. Его повесть «В окопах Сталинграда» – одна из первых, раскрывавших правду о войне. В 1960–1970-х гг. – яркий публицист. С 1974 г. в эмиграции, где публиковал очерки и воспоминания.

НИКОЛЬСКАЯ Вера Серафимовна – работница “Мосфильма”. В 1961–1967 гг. по поручению режиссера С.Ф.Бондарчука осуществляла связь киносъемочной группы “Войны и мира” с консультировавшим историко-бытовые аспекты съемки В.М.Глинки.

ОРБЕЛИ Иосиф Абгарович (1887–1961) – академик-востоковед. Директор государственного Эрмитажа в 1934–1951 гг.

ПАХОМОВ Алексей Федорович (1900–1973) – график и живописец, иллюстрировал к книги о детях и для детей.

ПЕТРОВ Всеволод Николаевич (1912–1978) – искусствовед, писатель, критик. Сын онколога Н.Н.Петрова и внук инженер-генерала Н.П.Петроваю. Автор работ о творчестве Б.К.Растрелли, М.И.Козловского, П.К.Клодта, Ф.И.Шубина, художников «Мира искусства» и множества других. Входил в круг общения А.А.Ахматовой, М.А.Кузмина, Д.И.-Хармса. Близкий друг В.М.Глинки.

ПЕТРОВ Николай Николаевич (1876–1964) – хирург, один из основоположников отечественной онкологии, академик АМН, отец искусствоведа В.Н.Петрова.

ПИОТРОВСКИЙ Борис Борисович (1908–1990) – археолог и востоковед, академик. Директор Эрмитажа с 1964 г. Отец М.Б.Пиотровского. Б.Б.Пиотровского и В.М.Глинку связывала многолетняя дружба.

ПОМАРНАЦКИЙ (Пац-Помарнацкий) Андрей Валентинович (1903–1981) – историк, искусствовед, сотрудник русско-го отдела Эрмитажа, автор книг «Портреты Суворова. Очерки иконографии», «Суворов и его современники» в соавторстве с В.П.Никифоровым, «Военная галерея Зимнего дворца» в соавторстве с В.М.Глинкой. Товарищ по работе, близкий друг семьи и многолетний соавтор В.М.Глинки по литературным работам и созданию музейных экспозиций.

Раков Лев Львович (1904–1970) – историк, искусствовед, драматург. Организатор и первый директор музея Оборона Ленинграда (1944), директор Публичной библиотеки (1948–1949). В 1937–1939 и в 1950–1954 гг. был репрессирован. Труды по истории форменной одежды в России (рукописи в Российской Национальной библиотеке), автор пьесы «Опаснее врага» в соавторстве с Д.Алем. Многолетний друг и собеседник В.М.Глинки.

РОДЗЯНКО Михаил Владимирович (1859–1924) – один из лидеров октябристов, в 1911–1917 председатель 3-й и 4-й Гос. думы. После 1917 эмигрировал. Автор книги воспоминаний – «Крушение империи» (опубл. 1929).

СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич (р. 1918) – знаменитый писатель. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» и др.

СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ Михаил Иванович (1903–1981) – филолог-скандинавист, специалист по древне-исландской литературе. Дружба с В.М.Глинкой, начиная с блокадных лет.

ТОВСТОНОГОВ Георгий Александрович (1913–1989) – режиссер, с 1956 г. – главный режиссер Ленинградского Большого драматического театра им.М.Горького. Один из режиссеров, определивших пути развития театра второй половины XX века. Сформировал и воспитал

труппу крупных мастеров.

УСПЕНСКИЙ Лев Васильевич (1900–1978) – прозаик, переводчик, литературовед, филолог, автор книг чрезвычайно широкого тематического и жанрового диапазона. Особенно следует выделить книги по вопросам культуры речи и языковедения.

ХЛЕБНИКОВ Александр Матвеевич – казачий офицер, есаул, сослуживец отца В.М.Глинки по русско-японской войне.

ХОДЖАЕВ Файзулла (1896–1938) – политический деятель, с 1924 г. Председатель Совнаркома Узбекской ССР. Репрессирован.

ЧИРСКОВ Борис Федорович (1904–1966) – сценарист, драматург. Сценарии: «Валерий Чкалов», «Зоя», «Хождение по мукам», «Если позовет товарищ» (по В.В.Конешкому) и др.

ШВАРЦ Евгений Львович (1896–1958) – драматург, автор иронических пьес-сказок «Голый король», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо».

ШМАРОВ Юрий Борисович (1898–1989) – московский корреспондент В.М.Глинки, специалист по истории дворянских усадеб, исследователь генеалогии дворянских родов, по образованию юрист. В 1916 – вольноопределяющийся, гв. гусар, с 1930 по 1937 подвергался заключению, до 1957 жил в Воркуте, затем в Москве.

ШПАКОВ Михаил Александрович (1905–1942) – юрист, сокурсник по университету и близкий друг В.М.Глинки.

ШУЛЬГИН Василий Витальевич (1878–1976) – политический деятель, монархист. Один из лидеров правого крыла Государственной думы. Принимал вместе с А.И.Гучковым отречение от престола Николая II. После 1917 г. эмигрировал. В 1944 г. арестован в Югославии и до 1956 г. находился в заключении. Гражданства СССР после освобождения не получил, но был приглашен Н.С.Хрущевым быть гостем на XX съезде КПСС. В 1960-х гг. снимался в фильме Ф.Эрлера «Перед судом истории». Автор книг: «Дни» (1920), «1920-й год» (1927).

Эйдельман Натан Яковлевич (1930–1989) – писатель, историк, публицист. Книги об общественном и культурном движении в России XVIII–XIX вв.: «Лунин», «Герцен против самодержавия», «Грань веков» и др.

ХРАНИТЕЛЬ 5
Вступительная статья М.С.Глинки

I. АДРЕС – РУССКАЯ ИСТОРИЯ 17
Статья о пожаре 1837г., письма, фрагменты лекции по истории Отечественной войны 1812г.

II. НА СТРАЖЕ ДОСТОВЕРНОСТИ 17
Консультации, письма, высказывания о литературных произведениях на исторические темы

III. КТО ИЗОБРАЖЕН НА ПОРТРЕТЕ? 17
Статьи по атрибутированию портретов неизвестных, письма

IV. ВО ЧТО ОБУТЬ ФАМУСОВА И ЧАЦКОГО? 17
Консультации театральных постановок и кинофильмов, воспоминания, письма

V. ЭСТАФЕТА 5
О преемственности в музейном деле, устные рассказы, записанные со слов В.М.Глинки

VI. МИНУВШЕЕ ПРОХОДИТ ПЕРЕДО МНОЮ 17
Автобиографическая проза В.М.Глинки

Мои предки, родичи и время их 5
Мой крестный отец 5
Одна из дорогих теней 5
Есаул Хлебников 5
Колокола 5
Отрывок из “Дневника 1920 года” 5
Свадьба (Фрагмент рассказа “Мой крестный отец”) 5
Дорожка кавалера 5
Кавказский пленник 5
На Дворцовом мосту 5

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 333
Слово М.С.Глинки об отце 5
Блокада 5
Из письма Гранину 5

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 444
Из семейного архива 5
Список печатных работ В.М.Глинки 5
Консультационные работы В.М.Глинки после 1945 г. 5
Именной указатель 5

к 100-летию
со дня рождения
В.М.Глинки

Михаил Сергеевич ГЛИНКА

ХРАНИТЕЛЬ

*Редактор Г.П.КУКУШКИНА
Дизайн А.П.ВИНОГРАДОВ
Корректор Х.Х*



ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО "АРС"
190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., 7/12
т. 114-4233, т/ф 114-4822

Отпечатано в